P. o. russ. 21 ᵉ/6

2. Ex.

№ 257

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ

СОЧИНЕНІЙ

Д. В. ГРИГОРОВИЧА

въ 12 томахъ.

3-е, вновь пересмотрѣнное и исправленное авторомъ изданіе.

ТОМЪ ШЕСТОЙ.

Bayerische
Staatsbibliothek
München

Приложеніе къ журналу „НИВА" на 1896 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе А. Ф. МАРКСА.
1896.

Дозволено цензурою. СПБ. 12 апрѣля 1896 г.

Aus dem Tausch der Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft

Типографія А. Ф. МАРКСА, Средняя Подъяческая, д. № 1.

СОЧИНЕНІЯ

Д. В. Григоровича.

VI.

ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ.

(РОМАНЪ ИЗЪ НАРОДНАГО БЫТА.)

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

I.

Заѣзжій торгашъ.

Только что наступили первые майскіе дни.

Было воскресенье. Благодаря отличной погодѣ и, особенно, праздничному дню, улица сельца Мàрьинскаго снова оживилась, какъ только прошелъ послѣобѣденный часъ. До сихъ поръ, то-есть между полуднемъ и четырьмяпятью часами вечера, большинство мàрьинскихъ жителей отдыхало; на улицѣ слышались только возгласы мальчишекъ, игравшихъ въ бабки на недавно-просохнувшихъ, но гладко уже утоптанныхъ лужайкахъ; къ этимъ крикамъ присоединялся теперь мало-по-малу скрипъ воротъ, которыя пѣли на всевозможные лады; на завалинкахъ показывались старики съ заспанными глазами и всклоченными волосами, въ которыхъ виднѣлись соломенные стебли—знакъ, что народъ перебрался уже на лѣтнія квартиры: въ сараи и риги; къ старикамъ выходили сосѣди. Группы вскорѣ увеличились присутствіемъ старухъ съ внучатами на рукахъ и бабъ въ пестрыхъ праздничныхъ передникахъ и писанныхъ яркихъ головныхъ платкахъ. Старухи и бабы недолго, впрочемъ, останавливались у завалинокъ: онѣ бòльшею частью выходили на середину улицы и становились отдѣльными кучками, въ которыхъ тотчасъ же обнаруживался характеръ суеты и безпокойства; покажется ли баба въ отдаленіи, ее уже

никакъ не пропустятъ мимо: „Тётка Авдотья, а, тётка Авдотья... куда ты... ась?.. подь къ намъ, касатка!—а?..“ Минуту спустя, голосъ тетки Авдотьи дребезжитъ заодно съ голосами ея товарокъ. На улицѣ, освѣщенной лучами вешняго солнца, замѣтно уже склонившагося къ западу, чаще стали появляться молодыя дѣвки, сопровождаемыя неизмѣнными ихъ спутницами, маленькими дѣвчонками; посмѣиваясь въ ладони и шушукая при встрѣчѣ съ парнями, дѣвки направлялись къ хлѣбному магазину, расположенному на одной линіи съ избами и отдѣлявшемуся отъ послѣднихъ вётлами. Тамъ, подъ навѣсомъ, бросавшимъ желтоватую тѣнь, которая дѣлалась все сквознѣе и золотистѣе по мѣрѣ того, какъ солнце опускалось къ горизонту, собралась уже порядочная ватага молодежи; кто стоялъ перешептываясь съ сосѣдкой, кто сидѣлъ, закрывъ ладонью нижнюю часть лица и украдкой поглядывая на парней. Парни, въ свою очередь, переминались съ ноги на ногу и также молчали. Казалось, вся молодежь Мàрьинскаго собралась уже подъ навѣсомъ, но никто еще не подавалъ голоса; до сихъ поръ по разговорной части отличалась одна лишь молоденькая бабенка съ вздернутымъ, раздвоеннымъ на концѣ носомъ и быстрыми карими глазами.

— Что жъ вы, дѣвки? а?.. Ну, что сидите руки-то скламши? а? полно вамъ взаправду!.. надсаживалась она, перебѣгая отъ одной группы къ другой.—Становись въ хороводъ, хватайся за руки—ну!..—и—и—эхъ!

На горѣ-то макъ, макъ,
Подъ горою такъ, такъ!..

— Что жъ вы, красныя? становитесь! „За-а-инька, бѣленькій!..“ подхватывала она, снова принимаясь пѣть, при чемъ всякій разъ зажмуривала глаза и выставляла напоказъ рядъ мелкихъ бѣлыхъ зубовъ.—Что жъ вы не подтягиваете? а? да ну же, ну! Полно вамъ спесивиться-то!

Но старанія ея не подвигали дѣла; слышно было покуда, какъ щелкали орѣхи, какъ шушукали и втихомолку посмѣивались; вообще, подъ навѣсомъ царствовала та нерѣшительность, выражающаяся подталкиваньемъ локтемъ и вопросительными взглядами, которая предшествуетъ дѣвичьему веселью. Улица между тѣмъ все болѣе и болѣе оживлялась, говоръ усиливался; кой-гдѣ слышался хохотъ, кой-гдѣ раздавались нетерпѣливые спорные возгласы; кой-гдѣ, и преимущественно изъ бабьихъ круж-

ковъ, раздавалось дребезжанье, весьма похожее на звукъ битой посуды, которую положили бы въ кастрюлю и начали бы трясти изо всей мо̀чи; въ одномъ изъ такихъ кружковъ сильное размахиванье руками и слишкомъ уже часто повторяемыя имена Домны и Дарьи служили несомнѣннымъ доказательствомъ, что тамъ успѣли уже повздорить.

Наконецъ, въ дальнемъ углу амбарнаго навѣса, робко, вполголоса затянули пѣсню; повидимому этого только и ждали: къ голосамъ этимъ тотчасъ же присоединились другіе. Подстрекаемые востроглазой запѣвалкой, парни и дѣвки выступали изъ-подъ навѣса, схватывались за руки и становились въ кругъ; хороводъ устанавливался. Еще минута, и нѣтъ сомнѣнія, звонкая пѣспя заглушила бы уличный говоръ... но надо же было случиться, чтобъ въ эту самую минуту въ околицу Ма̀рьинскаго въѣхалъ возъ съ краснымъ товаромъ.

Въѣздъ сопровождался такимъ неистовымъ, единодушнымъ лаемъ собакъ, что всѣ стоявшіе спиною къ околицѣ невольно обернулись. Хозяинъ воза или *варягъ*— такъ называютъ въ нашихъ деревняхъ этихъ торгашей— не успѣлъ подобрать ногъ отъ собакъ, которыя, какъ ядра, летѣли къ нѐму навстрѣчу, какъ ужъ вся деревня замѣтила его появленье. Началось съ того, что бабы, хлопотавшія болѣе другихъ о примиреніи Домны и Дарьи, немедленно направились къ возу.

Достойно замѣчанія, что Домна и Дарья, предоставленныя на собственный произволъ, тотчасъ же успокоились; въ головѣ Дарьи мгновенно возникла мысль о ситцевомъ передникѣ, который посулилъ купить мужъ, какъ только пріѣдетъ торгашъ; Домнѣ пришла вдругъ крайняя надобность прикупить тесемки; одна побѣжала отыскивать мужа; другая, поправляя головной платокъ, устремилась къ торгашу. Примѣру ея послѣдовали многіе дѣвки и парни. Изъ хоровода то и дѣло убывало, къ великому неудовольствію запѣвалки, которая давно ужъ била въ ладоши и щелкала пальцами надъ головою; впрочемъ, она вскорѣ утѣшилась и побѣжала, куда бѣжали другіе.

Спустя самое короткое время, возъ такъ облѣпили, и такая густая толпа окружила его, что старикамъ, сидѣвшимъ на завалинкахъ, стали только видны шапка торгаша и верхній конецъ дуги надъ ушами его клячи. Все разомъ говорило, тискалось и осыпало разспросами тор-

гаша, который рѣшительно не зналъ, куда повернуть голову.

„Кумачъ есть?..“—„Покажи тесемку...“—„Почемъ иголки?..“—„Эй, слышь, на яйца мѣняешь?..“—„Дѣвушки, касатушки, глянь-ка-сь, серьги-то, серьги!..“—„Ой, батюшки, задавили!..“—„Куда лѣзешь?.. чего не видали?“—„А тебѣ, небось, одной глядѣть-то хоцца!.. ишь ее прётъ... Ну!—ну!..“—„Ты, слышь, братъ, отколѣва?..“ спрашивали невпопадъ съ другой стороны.

Покупали, однакожъ, очень мало; до сихъ поръ торгашъ отмѣрилъ только два аршина тесемки, сбылъ мотокъ нитокъ да муравленую глиняную дудку—и тѣ, впрочемъ, промѣнены были на яйца. Тѣмъ не менѣе всѣ продолжали тискаться, спрашивали о цѣнѣ каждой вещи, лѣзли другъ на дружку, не щадя боковъ. Нѣкоторыя бабы, побойчѣе, взмостились даже на облучокъ воза. Хозяина окончательно затормошили. Бабы, сидѣвшія на облучкѣ, видя, что толку не доберешься, принялись сами распоряжаться: кто примѣрялъ наперстокъ, кто щелкалъ ножницами, кто накидывалъ на голову платокъ, кто прикладывалъ кусокъ ситца къ переднику. Но и тутъ-таки болѣе другихъ показала себя востроглазая бабенка, такъ много хлопотавшая подъ амбарнымъ навѣсомъ: повязавшись желтымъ платкомъ, перекинувъ черезъ голову полновѣсное ожерелье изъ цвѣтныхъ бусъ, она подпрыгивала на облучкѣ и, показывая присутствующимъ раскраснѣвшееся, смѣющееся лицо, поминутно вскрикивала: „И-ихъ-на!“

— Что жъ это вы, въ самомъ дѣлѣ, бабы?.. Экъ ихъ! заговорилъ, наконецъ, торгашъ, потряхивая шапкой, устроенной въ родѣ кучерскихъ шапокъ, съ тяжестью на макушкѣ, но тяжесть, вѣроятно отъ долгаго употребленія, съѣхала на сторону и образовала какой-то неуклюжій, тяжелый комъ, находившійся въ страшномъ противорѣчіи съ движеніемъ головы своего владѣльца. Комъ этотъ то сползалъ на затылокъ, то свѣшивался на глаза, то переваливался справа налѣво, но всякій разъ въ сторону противоположную той, куда наклонялась голова — обстоятельство, не очень, повидимому, безпокоившее хозяина; однакожъ, несмотря на сильныя эволюціи верхней своей части, шапка все-таки плотно держалась на лысой головѣ.

— Ну, чего, чего лѣзете?.. Совѣсти въ васъ нѣтъ, ни-

какого постоянства нѣтъ! подхватилъ старый торгашъ, голосомъ не столько сердитымъ, сколько поддразнивающимъ.

— Что ты на насъ, касатикъ? развѣ мы? бойко возразили двѣ бабы, торопливо сбрасывая платки,—вишь вонъ энта-то... глянь-ка-сь, вишь что навертѣла! Ей небось не скажешь, прибавила одна изъ нихъ, кивая головою на запѣвалку, которая никакъ не могла освободиться отъ ожерелья, украшавшаго ея шею.

— Вотъ оборви нитку-то, разсыпь, разсыпь бусы-то! сказалъ старикъ, протягивая руку. — Давай сюда... эка баба... давай!

— Нà, нà, нà, ѣшь! возразила запѣвалка, освобождаясь, наконецъ, отъ ожерелья и отталкивая его съ видомъ величайшаго пренебреженія,—разсыпишь! подхватила она, передразнивая старика и вспыхивая,—не видали дряни какой!.. Ты за другими-то лучше поглядывай! заключила она, бросая недоброжелательные взгляды двумъ бабамъ, сидѣвшимъ насупротивъ.

— Ладно, ладно! слѣзай лучше до грѣха! перебилъ старикъ.—Повернуться не дадутъ, облѣпили какъ!.. Покупать такъ покупать, а то что такъ-то языкомъ болтать?.. Никакого въ васъ постоянства нѣтъ, бабы! право нѣтъ! Слѣзай, говорю...

— А ну его взаправду, бабы! плюньте! вишь невидаль какая! проговорила востроглазая бабенка, соскакивая съ воза.

— Ладно, ладно!.. Эка заноза какая! право, заноза! Коли покупать не хотите, стало стоять здѣсь нечего... одни пустые разговоры...

— И то, промолвилъ какой-то мужикъ, до той поры стоявшій совершенно смирно,—вонъ! чего лѣзете? вонъ! неожиданно добавилъ онъ, принимаясь работать локтями.

Послышались хохотъ, пискъ, брань; толпа стала рѣдѣть. Немного погодя, подъ амбарнымъ навѣсомъ раздалась пѣсня, возвѣстившая, что хороводъ снова устроился. Это обстоятельство еще замѣтнѣе очистило толпу вокругъ воза. Вскорѣ осталось нѣсколько мужиковъ и бабъ, которые не отошли прочь потому только, что въ праздничный день дѣлать нечего и надо же стоять гдѣ-нибудь.

— Поди жъ ты, что надѣлали! не сообразишь никакъ!.. Взяли на два гроша всего, а разрыли мало-что на пять рублевъ, сказалъ старый торгашъ, оглядывая присутствующихъ, которые засмѣялись.

Торгашу было ужъ лѣтъ шестьдесятъ, но онъ представлялъ изъ себя еще свѣжаго, здороваго старика; лицо его, шея и руки сохраняли постоянно такую красноту, какъ будто старикъ никогда не сходилъ съ баннаго полка́, гдѣ его парили самымъ жгучимъ вѣникомъ; краснота эта была отличительнымъ и самымъ рѣзкимъ свойствомъ его наружности, не лишенной веселости и прямодушія.

— Что станешь съ ними дѣлать, съ бабами-то? подхватилъ онъ, потряхивая головою надъ грудами взбудораженнаго товара и приводя въ движеніе макушку шапки,—не соберешь никакъ... та: „дѣдушка, подай!" другая: „дѣдушка, покажь!" никакъ не сообразишь... совсѣмъ затормошили!

— Ничаво не сдѣлаешь! отозвался кто-то.

— Извѣстно, бабы—кто имъ радъ? проговорилъ разсудительнымъ тономъ мужикъ, исполнявшій за минуту предъ тѣмъ должность полицейскаго.

— Такой ужъ видно ихній родъ! смѣясь, замѣтилъ другой.

— И диковинное это, право, дѣло... началъ было снова старикъ; но третій мужикъ, малый лѣтъ тридцати, косой, какъ заяцъ, и рябой, какъ кукушка, который во все время предыдущаго разговора ощупывалъ лошадь торгаша, разсматривалъ съ величайшимъ любопытствомъ его сбрую и подводу, перебилъ его:

— Откелѣва Богъ несетъ? спросилъ онъ.

— Ѣду, то-есть, откуда?

— Нѣтъ, какихъ, примѣрно, губерній? подхватилъ рябой мужичокъ, укладывая локоть правой руки на облучокъ, а пальцами правой руки притрогиваясь къ оловяннымъ зеркальцамъ, сверкавшимъ изъ бумажнаго свертка.

— Губерніи Ярославской, словоохотливо возразилъ старикъ,—а вы, братцы, здѣшніе?

— Здѣшніе, отозвались мужики, при чемъ тотъ, который лежалъ на локтѣ, приподнялъ уголъ бумаги, скрывавшей мотки съ шёлкомъ.

— Ваша деревня какъ, братцы, прозывается... Мàрьинское?.. такъ, что ли?

— Мàрьинское...

— Такъ и есть; стало, здѣсь... такъ и сказывали: на третьей верстѣ, сказывали, отъ большой дороги, проговорилъ старикъ, озираясь на стороны.—Скажите, братцы, нѣтъ ли у васъ такого мужичка... Тимоѳеемъ звать?.. не припомню только: Ѳедосеевъ ли, Демьяновъ ли...

— Есть... Өедосеева нѣтъ, а Демьяновъ есть.

— Какой-такой Демьяновъ? У насъ трое Демьяновыхъ. Вонъ насупротивъ одинъ... вонъ...

— Эй, братцы! ужъ не Лапша ли? ухмыляясь, спросилъ весельчакъ.

— Какой Лапша?

— А такъ прозвали у насъ одного мужичка Лапшою... Лапша да Лапша—такъ и стали звать.

— Тебѣ, дядя, какъ сказывали?

— Сказывали: какъ въѣдешь, говоритъ, въ околицу, на лѣвой рукѣ, тутъ и живетъ... никакъ пятая изба, никакъ шестая съ краю... не помню...

— Ну такъ и есть, Лапша! воскликнулъ рябой мужичокъ, отличавшійся любознательностью.

— Стало, есть какая надобность?

— Нѣтъ, братъ его наказывалъ кланяться, возразилъ старикъ, принимаясь за укладку товара.

При этомъ извѣстіи, мужики переглянулись между собою, послѣ чего глаза ихъ съ замѣтнымъ любопытствомъ обратились къ старику, и всѣ разомъ заговорили:

— Гдѣ ты его встрѣлъ?.. гдѣ?.. въ коемъ мѣстѣ?..

— Нонче зимою встрѣлъ, ѣхамши изъ Алексина.

— Ахъ онъ разбойникъ! закричали мужики въ одинъ голосъ.

Восклицаніе было такъ неожиданно и вмѣстѣ съ тѣмъ такъ единодушно, что торгашъ невольно поднялъ голову и взглянулъ на нихъ пристальнѣе.

— Что вы, братцы? спросилъ онъ.

— Да вѣдь этотъ-то, что съ тобой встрѣлся, первый что ни есть мошенникъ! заговорили опять разомъ всѣ присутствующіе.—Вотъ ужъ никакъ пятый годъ въ бѣгахъ. Тѣмъ только и спасся—бѣжалъ! Ему давно бы въ Сибири быть...

— Какъ такъ?

— Да такъ! Такихъ дѣловъ надѣлалъ... и-и-и!..

— Онъ мнѣ сказывалъ, какъ я съ нимъ встрѣлся, сказывалъ, сапожнымъ, вишь, мастерствомъ занимается.

— Ахъ онъ разбойникъ! подхватили опять присутствующіе.

— Гдѣ ты съ нимъ встрѣлся? спросилъ одинъ изъ толпы.

— Точно, теперь какъ припомню... точно, чудно какъ словно, началъ старикъ. — Ѣхалъ я нонѣ зимою, про-

бирался къ Алексину городу; недалече ужъ было до ночлега—можетъ, этакъ, верстъ пятокъ оставалось; ужъ примеркать стало... знамо, дѣло зимнее, день-то короткій, къ тому и время такое было: мятель, погода такая посыпала... Слѣзъ этто я съ воза-то, рукавицами похлопываю, самъ иду подлѣ лошаденки. Иду такъ-то, смотрю, вижу—идетъ впереди человѣкъ; съ нимъ паренекъ... такъ мальчоночекъ лѣтъ, этакъ, восьми, а можетъ и всѣхъ десять годковъ будетъ... Ну, поровнялись, нагналъ ихъ, поздоровались. Куда? примѣрно, откуда? Разговорились... Сталъ этто онъ у меня просить парнишку посадить—посадилъ. Такъ и такъ, говоритъ, сапожнымъ, говоритъ, мастерствомъ пробавляюсь. „Это, говорю, сынъ у тебя?"—„Нѣтъ, говоритъ, чужой, въ ученье взятъ..." А самъ такой-то обдерганный: ни на немъ, ни на парнишкѣ полушубка нѣтути. Я и давай спрашивать: „гдѣ жъ, говорю, поклажа-то у тебя? чай струментъ есть?"—„Жительство, говоритъ, имѣю поближности, въ деревнѣ; тамъ, говоритъ, струментъ оставилъ..." Такой-то словоохотный, спрашиваетъ, куда ѣду. „Вы, говоритъ, вездѣ слоняетесь; неравно, говоритъ, доведется въ Каширѣ побывать, въ нашей сторонкѣ; тамъ есть, говоритъ, сельцо такое, Марьинское прозывается... коли приведетъ Богъ побывать, говоритъ, спроси мужичка Тимоѳея"—сказалъ, какъ примѣрно найтить—„кланяйся ему; скажи, молъ, братъ поклонъ посылаетъ..."

— Ну такъ, такъ! онъ и есть, онъ! Вишь, разбойникъ!.. заговорили опять въ толпѣ.

— Поди жъ ты, что выдумалъ—а? сапожникъ! Ахъ онъ проклятый!.. И парнишка съ нимъ... по отцу пойдетъ; ужъ это какъ есть что по отцу. То-то давно слуховъ-то не было... Поди жъ ты! сказалси!

— Такъ, стало, паренёкъ-то ему не чужакъ? спросилъ удивленный старикъ.

— Какой чужакъ! Говорятъ тебѣ: сынъ, родной сынъ, подхватили мужики, перебивая другъ друга.—Въ тѣ поры, какъ бѣжалъ отъ насъ, въ тѣ поры и парнишку свово увелъ. Вотъ ужъ пятый годъ въ бѣгахъ...

— О чемъ вы тутъ? неожиданно спросилъ новый мужикъ, подходя къ возу.

— Слышь, вотъ старикъ съ Филиппомъ встрѣлся!.. Филиппъ, слышь, Лапши нашего братъ, бѣглый-то.

Вѣсть эта произвела, казалось, на новоприбывшаго такое же точно впечатлѣніе, какъ и на его товарищей.

— Поди жъ ты, какое дѣло! проговорилъ торгашъ,— а мнѣ и не въ догадку; думалъ, взаправду мастеровой.

— Вотъ нашелъ! Плутъ первый сортъ, темный плутъ! Чудно, какъ онъ съ тобою чего не спроворилъ. Знамо, такими дѣлами животъ кормитъ. Спроси, здѣсь всякій скажетъ... его по всей округѣ-то и то знаютъ... Эй, Пантелей! подь сюда! заключилъ вдругъ рябой мужичокъ, принимаясь махать руками по направленію къ околицѣ,— слышь, ей! Филиппа видѣли, Лапши нашего брата... вотъ старикъ встрѣлъ...

— Гдѣ? въ коемъ мѣстѣ? спросилъ, ускоряя шагъ, Пантелей, человѣкъ мрачнаго и суроваго вида, въ которомъ, по чернымъ и обгорѣлымъ рукамъ и носу, выпачканному сажей, не трудно было узнать кузнеца.

— Далеко, братъ! не поймаешь! А ты ужъ обрадовался, думалъ возьмешь, началъ-было весельчакъ, но другіе мужики перебили его и заговорили вмѣстѣ:

— Не нонче встрѣлъ, зимою, у Алексина... далеко, братъ, не догнать...

— Вотъ, дядя, спроси у него, у него спроси: онъ-ти скажетъ, какой-такой Филиппъ человѣкъ есть, перебилъ, въ свою очередь, рябой мужичокъ, стараясь обратить на себя вниманіе торгаша,—совсѣмъ-было по міру пустилъ, совсѣмъ рѣшилъ! прибавилъ онъ, выразительно моргая на кузнеца.—Эй, ребята! Эй, слышишь? довершилъ онъ, снова начиная махать руками и поворачиваясь то въ одну сторону улицы, то въ другую.—Эй, сватъ Нефедъ! ступай сюда: Филиппа видѣли, Лапши нашего брата... эй...

Даже безъ этого извѣстія многіе изъ пожилыхъ мужиковъ и бабъ, не принимавшихъ участія въ хороводѣ, направлялись къ возу. Достаточно, вѣдь, увидѣть издалека двухъ-трехъ человѣкъ, собравшихся около одного мѣста, чтобъ привлечь толпу; но, при имени Филиппа, брата Лапши, каждый изъ подходившихъ ускорялъ шагъ. Вскорѣ вокругъ воза снова составился порядочный кружокъ. Рябой мужичокъ пересталъ, между тѣмъ, кричать: онъ торопливо передавалъ новость, переходя отъ одного къ другому—никто, однакожъ, не хотѣлъ слушать: послѣ первыхъ двухъ словъ, каждый махалъ только рукою, отходилъ прочь и обращался съ разспросами къ торгашу.

— Надо полагать, братцы, этотъ Филиппъ далъ себя знать... вишь какъ вы о немъ хлопочете! сказалъ старикъ, котораго начинало забирать любопытство.

Осажденный новыми разспросами, онъ очень охотно повторилъ встрѣчу свою съ Филиппомъ. Во время разсказа, прерывавшагося бранью, какъ только произносилось имя Филиппа, рябой мужичокъ ни на секунду не оставался въ покоѣ; его точно укусила ядовитая муха: каждый членъ его, каждая черта лица его, особенно глаза и брови, находились въ страшной подвижности; онъ то подмигивалъ, то дергалъ за рукавъ сосѣда, приглашая его быть внимательнѣе, то обращался съ пояснительными жестами, наконецъ не выдержалъ и неожиданно крикнулъ:

— Экой разбойникъ!

Выходка эта встрѣтила на этотъ разъ живое сочувствіе въ окружающихъ; крупная брань, какъ картечь, посыпалась отовсюду.

— Слышь, дядя! у этого, вонъ у этого двѣ лошади увелъ! вмѣшался рябой мужичокъ снова, указывая на кузнеца.—Двѣ лошади увелъ, самъ тебѣ скажетъ... Скажи, Пантелей, какъ дѣло-то было...

Глаза присутствующихъ мгновенно перешли отъ торгаша къ Пантелею; но Пантелей обманулъ всеобщія ожиданія: онъ упорно молчалъ и только выраженіе его грубаго лица, да нахмуренныя брови высказали чувства, пробуждавшіяся въ немъ при воспоминаніи о Филиппѣ.

— Кому онъ здѣсь только не врагъ? сказалъ сѣдой старикъ,—о-сю-пору всѣ поминаютъ. Даромъ пятый годъ слуховъ нѣтъ, всѣмъ на шею сѣлъ.

— Воръ воруетъ — міръ горюетъ. Кто ему, вору-то, радъ!

— И парнишку-то свово погубилъ, окаянный! прокричала некстати какая-то старуха.

— То-то, я чай, нашъ Лапша-то подивится, какъ провѣдаетъ. Онъ думаетъ, брата давно ужъ въ живыхъ нѣту; самъ намедни сказывалъ...

— А ты и повѣрилъ! сурово перебилъ кузнецъ Пантелей.

— На такихъ людей погибели нѣтъ; ничего имъ не дѣлается, замѣтилъ кто-то.

— Ну, а что, братцы, каковъ у васъ этотъ-то братъ? спросилъ торгашъ.

— Лапша-то?

— Да.

— Все единственно... такой же разбойникъ! проговорилъ кузнецъ.

Выходка кузнеца не заключала въ себѣ, казалось, ничего особенно-забавнаго, тѣмъ не менѣе въ толпѣ многіе разразились хохотомъ; надо полагать, сближеніе, которое сдѣлалъ кузнецъ между Лапшою и его братомъ, показалось присутствующимъ черезчуръ ужъ несбыточнымъ, невѣроятнымъ.

— Стало, такой ужъ видно весь ихній родъ: всѣ однимъ путемъ-дорогой пошли! произнесъ торгашъ, покачивая головою, при чемъ макушка его шапки обнаружила нѣсколько разъ намѣреніе сорвать съ плечъ голову своего владѣльца.

— Вся семья таковская! одинъ въ одного! упрямо подтвердилъ кузнецъ.

Снова нѣкоторые засмѣялись.

— Полно, братъ Пантелей, полно! не грѣши! съ укоромъ произнесъ степеннаго вида мужикъ, молчавшій до того времени.—Станешь такъ-то про другихъ худо говорить, узнаешь и про своихъ. Коли говорить, такъ говори настоящее...

— Я и то настоящее говорю: мошенникъ — да и все тутъ!

Степенный мужикъ досадливо махнулъ рукою и отвернулся.

— Извѣстно, одинъ братъ грабитъ, другой концы хоронитъ, сурово подхватилъ кузнецъ.—Слышь, не знаетъ Лапша, живъ ли братъ—какъ же! Думаешь, какъ лѣтось пастухъ нашъ встрѣлъ Филиппа у рощи, думаешь, этотъ не зналъ? Они заодно дѣйствуютъ. Ты вѣрь ему, что онъ дурачкомъ-то прикидывается, вѣрь...

— Полно, говорю, началъ опять степенный мужикъ,— не чужимъ разсказываешь. Тотъ ограбилъ тебя—точно; ты на него и серчай: говори кому хошь, всякой скажетъ: „грабитель". А этого позорить тебѣ не за что. Братъ за брата не отвѣтчикъ! Лежачаго, братъ, не бьютъ—не приходится!

— Ужъ это какъ есть...

Многіе изъ присутствующихъ, въ томъ числѣ и бабы, вступились за Лапшу.

— Ну васъ совсѣмъ! съ досадливымъ нетерпѣніемъ крикнулъ Пантелей и, толкнувъ плечомъ двухъ-трехъ сосѣдей, пошелъ своей дорогой.

— Какъ распрогнѣвался! не по скусу, стало, пришло! смѣясь, замѣтили въ толпѣ.

— Не пуще силенъ, не страшно! сказалъ съ пренебре-

женьемъ степенный мужикъ, вступившійся за Лапшу.— Знамо: ну, за что онъ его позоритъ? И безъ того обиженный человѣкъ кругомъ какъ есть. Черезъ брата своего всего рѣшился, да за его же худыя дѣла отвѣчать должонъ.

— Это точно, настоящее говоритъ. Человѣкъ точно смирный, отозвалось нѣсколько голосовъ, въ числѣ которыхъ особенно прозвенѣлъ голосъ рябого мужика.

— Такой-то смирный, касатикъ, и... и... телята свои лижутъ! опять некстати крикнула старуха.

— Кабы, какъ вотъ онъ говоритъ, заодно дѣйствовали, этотъ не сидѣлъ бы безъ хлѣба. Отъ міра не утаишься: все на виду! подхватилъ степенный мужикъ, оставшійся, повидимому, совершенно равнодушнымъ къ поощрительнымъ возгласамъ окружавшихъ,—а то вѣдь мы видимъ: бѣднѣе ихней семьи не сыскать по всей округѣ...

— Ужъ очевидно добрѐ отощали, родимый, послѣ брата-то, какъ братъ-то убѣгъ, отощали добрѐ, снова вмѣшалась старуха.

— Ребятъ много: они пуще всего одолѣли! замѣтила другая.

— Экъ сказала! рази у него одного ребята-то! небось у всѣхъ есть! проговорилъ полунебрежно, полунасмѣшливо высокій мужикъ, съ желтыми, какъ лимонъ, волосами.

Мужикъ этотъ, котораго звали Мореемъ, одинъ изъ всей толпы не вмѣшивался до сихъ поръ въ разговоръ; онъ только слушалъ, щурилъ глаза и почесывалъ затылокъ съ такимъ видомъ, что никакъ нельзя было опредѣлить, сердится онъ или радуется.

— Что жъ? онъ правду говоритъ: у кого достатки, и тѣмъ ребята въ тягость; а вотъ какъ у Лапши ихъ шестеро, знамо, сокрушаютъ! сказалъ степенный мужикъ,— только совсѣмъ не черезъ это Лапша разстроился; главная причина: самъ, черезъ себя, а тутъ еще пришелъ да братъ доконалъ.

— Такъ что жъ? ему теперь поправляться надыть; радоваться надыть, что отъ худого человѣка ослобонился, сказалъ торгашъ.

— Вотъ поди жъ ты! а онъ еще хуже сталъ жить.

— На него, касатикъ, напущено; лихой человѣкъ напустилъ! неожиданно перебила все та же старуха.

Морей сомнительно покачалъ головою и недовѣрчиво усмѣхнулся; послѣ этого лицо его сдѣлалось вдругъ, въ одно мгновеніе ока, серьезнымъ и даже гнѣвнымъ; онъ

пригнулся къ старухѣ и быстро, какъ словно выстрѣливая изъ пушки, прокричалъ ей въ самое ухо:

— Напущено! кто напустилъ? самъ напустилъ!

Послѣ этого Морей снова впалъ въ молчаніе и только улыбками выражалъ свое неудовольствіе, когда вступались за Лапшу, что̀, скажемъ мимоходомъ, случалось довольно рѣдко.

— Еще Господа Бога благодарить должонъ, что такая жена ему попалась, сказалъ степенный мужикъ, — кабы не она, кажись, не было бы у него съ ребятенками-то ни хлѣба прокормиться, ни рубашонки покрыться; такъ ходили бы, нагишомъ, голодные!.. Не ему бы только ею владѣть, потому, надо правду молвить, мужикъ пустяшный; только женой одной все и держится — голова всему дому!..

Во время этихъ объясненій, старый торгашъ не переставалъ заниматься укладкою своихъ товаровъ. Прикрывая возъ кожею, онъ попросилъ, чтобъ ему указали избу Лапши.

— Вонъ, седьмая съ краю, отъ околицы; вонъ, что крыша-то обвалилась, ворота обдерганыя! заговорилъ, махая руками и двигая бровями, рябой мужичокъ, — то-то, я чай, подивится Лапша-то, какъ про брата провѣдаетъ... особливо коли взаправду думалъ, брата давно въ живыхъ нѣтъ...

— Ахъ-э! крикнулъ неожиданно Морей и схватилъ себя за голову.

— Что ты?

— Зачѣмъ я ему далъ крупу-то! крикнулъ Морей съ видомъ отчаянья.

— Кому далъ?

— Лапшѣ! сталъ это просить, присталъ: „дай, да дай“ — я ему и далъ.

— Ну, такъ что жъ?

— Отдать, говоритъ, нечѣмъ, пропало, значитъ, добро! Ахъ-э! заключилъ Морей, снова схватывая себя за голову.

— Ну что! есть о чемъ горевать! сказалъ торгашъ, — коли бѣдный человѣкъ, Господь воздастъ тебѣ за него. А я заѣду къ нему, погляжу, промолвилъ онъ, какъ бы раздумывая самъ съ собою, — заѣхать все надобно, поклонъ отвезти: каковъ ни есть, все братъ; одна полоса мяса — не оторвешь.

— Что говорить! сказалъ степенный мужикъ, — только

врядъ порадуется, какъ провѣдаетъ. Добрѐ ужъ очненно тотъ-то худую по себѣ память оставилъ.

Старикъ приладился па облучкѣ, раскланялся съ толпою и поѣхалъ къ избѣ Лапши, сопровождаемый, съ одной стороны, рядомъ, безпокойнымъ мужичкомъ, который началъ его убѣждать перемѣнить чеку, оказавшуюся, по его мнѣнію, ненадежною, съ другой стороны, хороводной пѣсней, которая то звенѣла въ ушахъ, какъ сотня колокольчиковъ, то гудѣла, какъ шмель, смотря по тому, подхватывали ли бабы и дѣвки, подстрекаемыя востроглазой запѣвалкой, или подтягивали одни парни.

II.

Лапша и его семейство.

Подъѣхавъ къ Тимоѳеевой избѣ, старый торгашъ соскочилъ наземь, внимательно осмотрѣлъ, плотно ли увязана кожа, прикрывавшая товаръ, и пошелъ къ воротамъ.

Напрасно искалъ онъ веревочки, которая обыкновенно приводитъ въ движеніе деревянный засовъ — засова не существовало, да и не къ чему было: цѣлыхъ двухъ тесинъ недоставало въ воротахъ, и будь они даже крѣпко замкнуты изнутри—все равно: каждый могъ бы свободно проникнуть во дворъ. Старикъ покачалъ головою, отперъ ворота и вступилъ на тѣсный тонкій дворикъ; темные, кривые столбы, изъѣденные снизу сыростью, сверху червоточиной, еле-еле поддерживали сѣрый, полусгнившій соломенный навѣсъ, выказывавшій голыя стропила; плетень огибалъ дворъ съ трехъ сторонъ и составлялъ заднюю стѣну навѣсовъ; онъ сваливался фестонами то на одинъ бокъ, то на другой, такъ что мѣстами можно было бы разсматривать, что̀ дѣлалось у сосѣдей, если бъ сосѣдскіе плетни не отличались крѣпостью. Въ задней и самой темной части навѣса находились еще ворота; въ настоящую минуту они были настежь отворены и представляли, посреди темноты, ихъ окружавшей, яркое солнечное пятно, въ которомъ рисовались, какъ на картинкѣ, узенькая тропинка, протоптанная въ крапивѣ, гряды огорода, изрытыя копытами, и въ отдаленьи — рига, грозившая разрушеніемъ. Косые лучи заходящаго солнца, обдавая яркимъ блескомъ всю эту заднюю часть владѣній Лапши, значительно еще скрашивали ихъ пустоту и бѣдность.

Живые глазки стараго торгаша снова перенеслись во

внутренность двора; но смотрѣть было рѣшительно не на что: если и выглядывало кой-гдѣ хозяйственное орудіе, то все до такой степени было ветхо и запущено, что доброму мужику оставалось только плюнуть или пожать плечами. Солнечные лучи, проходя сквозь щели плетней и дыры навѣсовъ, дѣлали изъ двора Лапши какое-то подобіе стараго, брошеннаго рѣшета. Дерево врядъ ли даже годилось на дрова. Осмотрѣвшись еще разъ вокругъ, и видя, что никто нейдетъ, старикъ направился къ дверямъ сѣней (сѣни, примыкавшая къ нимъ клѣтушка и задняя часть избы занимали почти половину двора); въ это самое время на порогѣ сѣнныхъ дверей показалась высокая, худощавая женщина, съ лицомъ смуглымъ и энергическимъ; на рукахъ ея покоился грудной ребенокъ.

— Кого тебѣ, батюшка? несовсѣмъ ласково спросила она, остановясь и раскрывая удивленные глаза.

— Здравствуй, касатка.

— Кого надо? перебила она ужъ съ явнымъ нетерпѣніемъ.

— Здѣсь живетъ мужичокъ... Тимоѳеемъ звать?..

— Здѣсь, какъ будто нерѣшительно выговорила она; на лицѣ ея пробѣжала тѣнь неудовольствія; она не старалась даже скрыть его и промолвила сурово:

— Ты бы, батюшка, коли надобность есть, постучалъ съ улицы, а то прямо на дворъ влѣзъ.

— Я, матушка, не за худымъ дѣломъ...

— Все одно: такъ лѣзть безъ спросу не годится,— спросилъ бы прежде...

— Ты, видно, хозяйка?

— Хозяйка.

— Дома мужъ?

— Дома.

Съ этими словами ворота заскрипѣли, и на дворъ вбѣжали сломя голову двѣ чихающія овцы; съ улицы послышался ревъ, блеянье и топотъ бѣжавшаго стада, которое только что, вѣроятно, вогнали въ околицу. Слѣдомъ за овцами показалась молоденькая, круглолицая дѣвушка съ хворостинкой въ рукѣ. Увидя чужого человѣка, она остановилась, поправила ветхій платокъ на головѣ и вопросительно взглянула на смуглую женщину.

— Маша, сходи за отцомъ, сказала та, — онъ никакъ въ ригу пошелъ: скажи, спрашиваютъ, молъ.

Дѣвушка съ замѣтною торопливостью направилась къ

заднимъ воротамъ. Профиль ея фигуры рѣзко обозначался въ свѣтломъ отверстіи воротъ; ступивъ на тропинку, гдѣ снова освѣтило ее заходящимъ солнцемъ, она безъ оглядки бросилась бѣжать по направленію къ ригѣ. Видно было, что гости очень давно не заглядывали къ Тимоѳею: появленіе новаго незнакомаго лица приводило хозяйку въ замѣтное недоумѣніе; черныя ея брови словно подергивало отъ внутренняго безпокойства; она глядѣла на старика такими глазами, какъ будто старалась дознаться, что̀ могло привести его къ нимъ. Чувство недовѣрчивости и подозрительности вообще свойственно простому народу, но бѣдные люди этого сословія присоединяютъ еще къ этимъ двумъ свойствамъ пугливость, иногда вовсе даже ни на чемъ не основанную, но выходящую, вѣроятно, изъ сознанія собственнаго безсилія и ничтожества.

— Надобность, что ли, есть до мужа-то? спросила она съ тою рѣзкостью, которую обнаруживаютъ обыкновенно недовольные раздраженные люди, поставленные въ необходимость скрывать свои чувства.

— Надобности никакой нѣтъ, возразилъ старикъ,— только что вотъ повстрѣчался я нонѣ зимою съ братомъ мужа, наказывалъ кланяться.

Трудно выразить, какое дѣйствіе произвели послѣднія эти слова на хозяйку. Недовольное лицо ея мгновенно выразило испугъ и замѣшательство; смуглыя, энергическія черты ея вдругъ вытянулись, задрожали и покрылись желтоватою блѣдностью: но это продолжалось всего секунду; ужасъ ея мгновенно уступилъ мѣсто выраженію злобы и ненависти.

— Такъ вотъ ты зачѣмъ! крикнула она, быстро перенося ребенка въ лѣвую руку и принимаясь правой махать по воздуху, — ступай, ступай по-добру, по-здорову... не надыть намъ ни чьихъ поклоновъ, не нуждаемся! Брата нѣту у насъ никакого... Коли кланяться велѣлъ, стало, на-смѣхъ... Ступай, ступай! Отколѣва пришелъ, туда и ступай! Мы не нуждаемся...

— Я этихъ дѣловъ вашихъ не знаю, перебилъ старикъ, ошеломленный этимъ потокомъ непривѣтливыхъ словъ.— По мнѣ, пожалуй, пойду... Сказала бы: не надо—и дѣлу конецъ; безъ крику эвтого ушелъ бы... Я ни въ чемъ этомъ непричастенъ... потрудилъ только себя, къ вамъ зашелъ, васъ же жалѣючи...

— Всѣхъ не пережалѣешь, батюшка! мы и въ этомъ

не пуще чтобы нуждались, возразила она какъ бы топомъ оскорбленія, но съ меньшею, однакожъ, запальчивостью. Кроткій, почтенный видъ старика очевидно обезоружилъ ее; кромѣ того, и ребенокъ на рукахъ ея, отъ сильнаго движенія и крика матери, проснулся и заплакалъ.

— Все это ваше дѣло, на томъ стало и быть; но только серчать такъ-то не надо бы... Вамъ же хотѣлъ послужить, а выходитъ, чуть взашеи не вытолкали. Ну, спасибо, касатушка, спасибо...

Сказавъ это, старикъ, красное лицо котораго превратилось въ багровое, поправилъ шапку и готовился уже повернуть къ воротамъ, когда глаза его встрѣтили Тимоѳея (такъ, по крайней мѣрѣ, подумалъ старикъ). Тимоѳей торопливо ковылялъ по тропинкѣ, сопровождаемый круглолицей дѣвушкой.

Одинъ видъ приближавшагося мужика невольно уже какъ-то приводилъ на память данное ему прозвище. Нельзя сказать, чтобъ онъ былъ чрезмѣрно тощъ, бѣлокуръ и длиненъ; но все существо его, казалось, насквозь проникнуто переминаньемъ и мямленьемъ. Ногами передвигалъ онъ довольно скоро, но онѣ выступали нерѣшительно, путались и бились другъ о дружку; туловище его, съ узенькою, глубоко впалою грудью, и руки словно повиновались движенію ногъ и колыхались безъ всякой видимой цѣли; лицомъ онъ былъ, какъ говорится, *бѣденъ*, то-есть худощавъ и невзраченъ; оно сохранило желтоватый, болѣзненный видъ, къ чему примѣшивалось еще выраженіе какого-то безпокойнаго ожиданія и пугливости. Онъ выступалъ впередъ нѣсколько наискось, бочкомъ, на манеръ того, какъ ходятъ раки, тяжело кашлялъ и часто выпрямлялся, чтобъ перевести одышку; даже зрѣніе его казалось слабымъ: онъ щурилъ глаза, словно глядѣлъ на солнце. Ему было лѣтъ сорокъ-пять съ небольшимъ, но волосы его замѣтно уже начали вытираться на макушкѣ; мягкіе какъ пухъ, но плоскіе какъ трава, они свѣшивались длинными, жиденькими прядями до бороды, которая была такъ рѣдка, что позволяла различать очертаніе рта и остраго, выдавшагося впередъ подбородка. Словомъ, это былъ совершеннѣйшій типъ безсилія и слабости. Физическое безсиліе, казалось, соотвѣтствовало въ немъ и нравственному. При взглядѣ на Тимоѳея, приходила невольно слѣдующая мысль: какъ это могло статься, чтобъ у такого человѣка было такое множество дѣтей?.. Достойно

замѣчанія, что большею частію люди этого рода, которые готовы, кажется, сейчасъ распасться на куски и еле-еле живы, производятъ почти всегда многочисленное поколѣніе. Одна черта рѣзко только и обозначалась во всей наружности Тимоѳея: то были брови; онѣ отличались густотою и чернотою; но эта самая особенность служила, казалось, къ тому лишь, чтобъ окончательно досказать характеръ внѣшняго и внутренняго безсилія, проникшаго все существо этого человѣка. Вступая въ разговоръ или даже слушая кого-нибудь, онъ усиленно какъ-то приподымалъ то одну бровь, то другую, иногда даже обѣ вмѣстѣ: онъ точно призывалъ на помощь какую-то небывалую силу и внутренно старался ободрить себя.

Разварная наружность Тимоѳея, вѣроятно, заслужившая ему прозвище Лапши, поражала своимъ контрастомъ съ наружностью его дочери, шедшей рядомъ; она не была хороша собою, но вся фигура ея дышала необыкновенною подвижностью и оживленіемъ; въ смуглыхъ чертахъ дѣвушки отражались энергія и умъ, которые такъ рѣзко отличали черты ея матери; черные выразительные глаза, окруженные длинными рѣсницами, и свѣжесть румянца, который игралъ на щекахъ вопреки стѣсненному воздуху избы, дыму и худой пищѣ, составляли, вмѣстѣ съ молодостью, всю красоту Маши.

По мѣрѣ того, однакожъ, какъ приближался Тимоѳей, лицо торгаша принимало выраженіе обычной веселости.

— Э! знакомый человѣкъ! воскликнулъ онъ, какъ только Тимоѳей показался подъ навѣсомъ. — Вотъ не чаялъ, не гадалъ! Такъ, стало, ты самый и есть Тимоѳей? подхватилъ онъ, выступая впередъ, между тѣмъ, какъ дочь пошла къ матери.

Встрѣча эта, по неожиданности своей, поразила удивленіемъ и дочь, и мать.

— Здорово, братъ Тимоѳей, здорово! Вотъ Господь привелъ свидѣться... не думалъ, не гадалъ, что къ тебѣ на дворъ зашелъ... аль не признаешь?

— Какъ не признать! началъ Лапша протяжнымъ, груднымъ голосомъ, но вдругъ закашлялся, схватился обѣими руками за грудь и замоталъ головою.

Вѣсть о приходѣ незнакомаго человѣка, видно, еще сильнѣе взволновала его и потревожила, чѣмъ жену. Руки и ноги его дрожали.

— Какъ же! я тебя знаю, продолжалъ онъ тѣмъ же

нерѣшительнымъ, робкимъ, груднымъ голосомъ,—не помню вотъ только, какъ звать...

— Неужто забылъ? простодушно воскликнулъ старикъ, откидывая голову назадъ, при чемъ макушка его шапки съѣхала ему на глаза. — Дядю-то Василья забылъ! И то сказать, много время прошло... Ахъ, Тимоѳеюшка, Тимоѳеюшка!.. А я, признаться, совсѣмъ ужъ было идти хотѣлъ... Хозяйка твоя добре на меня взъѣлась, такъ вотъ и рветъ, со двора гонитъ... Мы, слышь, тетка, съ мужемъ-то старые знакомые, подхватилъ онъ, обращаясь къ женѣ, которая съ выраженіемъ удивленія переносила глаза отъ гостя къ мужу, — два года будетъ зимою... кабы не онъ, добрый человѣкъ, напался, я бы совсѣмъ и съ возомъ-то доселѣва въ Окѣ сидѣлъ: онъ, спасибо ему, подсобилъ... только насъ двое тогда и было... Съ обозомъ никакъ ѣхалъ тогда!..

— Съ обозомъ, возразилъ, едва оживляясь, Тимоѳей,— отъ своихъ поотсталъ тогда... подъ Каширой; точно, сошлись на рѣкѣ... ты мнѣ еще тогда цѣлковый рубль далъ... за хлопоты...

— Что поминать объ этомъ! Я вѣкъ долженъ тебя помнить: кабы не ты...

— Да ты спроси у него, зачѣмъ пришелъ, нетерпѣливо перебила жена, выразительно указывая мужу на гостя.

Тимоѳей замигалъ глазами.

— Кабы зналъ я, примѣрно, обо всѣхъ этихъ вашихъ дѣлахъ, лучше бы и говорить не сталъ; какъ передъ Богомъ, не сталъ бы! началъ старикъ.—Вотъ что, братъ Тимоѳей, слышь: нонѣ зимою, ѣхамши подъ Алексинымъ, повстрѣчалъ я твово брата; больше ничего; велѣлъ только кланяться...

— Вѣсть о братѣ произвела на Тимоѳея совершенно другое дѣйствіе, чѣмъ на жену его: онъ не пришелъ въ негодованіе, а, напротивъ, окончательно уже раскисъ; руки его опустились, голова свѣсилась — онъ весь опустился, какъ будто держался прежде помощью костылей и костыли эти вдругъ отняли.

— Что̀ за диковина, право! Я, признаться, ума не приложу, о чемъ ужъ вы больно такъ сокрушаетесь, сказалъ старикъ, разводя руками. — Знамо, худой человѣкъ, ну... ну, и Богъ съ нимъ! Что слава-то худая, ну такъ что жъ? Худыя дѣла съ нимъ и останутся... Братъ за брата не отвѣтчикъ ни передъ кѣмъ...

— Главная причина, робко проговорилъ Тимоѳей,—на деревнѣ провѣдаютъ...

— Это о чемъ?

— О томъ вотъ, что живъ-то онъ и кланяться мнѣ велѣлъ...

— Ну, братъ Тимоѳей, въ эвтомъ, признаться, виноватъ, погрѣшилъ. Главная причина, не зналъ я ничего объ этихъ вашихъ дѣлахъ, произнесъ торгашъ, — какъ быть-то! Началъ спрашивать, гдѣ, молъ, такой Тимоѳей живетъ, такъ и такъ, отъ брата, говорю, поклонъ привезъ... стали разспрашивать: тары-бары... ну, признаться, маненько, того... объ этомъ потолковали... Ты не взыщи на мнѣ, потому не зналъ я ничего этого...

— Проходу теперь не дадутъ! проговорилъ Лапша, ударяя объ полы руками, съ видомъ крайняго замѣшательства.

Все это, очевидно, столько же непріятно было женѣ, сколько и мужу. Неудовольствіе ея особенно высказывалось взглядами, которые не переставала она бросать къ той сторонѣ двора, гдѣ располагались уличныя ворота; она передала наконецъ ребенка дочери и нетерпѣливо пошла къ воротамъ: увидя нѣсколькихъ бабъ, съ любопытствомъ смотрѣвшихъ къ ней на дворъ, она выместила на нихъ всю свою досаду.

— Ну, что̀ стали?.. народъ только тѣшить! съ сердцемъ сказала она, возвращаясь на дворъ, обращаясь къ гостю и мужу, — коли есть о чемъ толковать, ступайте въ избу!

— Зайди, добрый человѣкъ, проговорилъ Лапша, переминаясь.

— Я бы ништо, пожалуй; время къ вечеру, ужъ солнце садится... ѣхать погодить надо до завтра, простодушно вымолвилъ старикъ,—опасаюсь вотъ только насчетъ воза, какъ будто на улицѣ оставить не годится... не тронули бы...

— Пожалуй, дочка поглядитъ, сказалъ Лапша.

— Погляди, касатка, пока съ отцомъ посижу, подхватилъ старикъ.—Оченно ужъ, вижу, убивается... надо, примѣрно, поговорить съ нимъ... Хоша я и не причиненъ, а все какъ словно черезъ меня дѣло-то вышло...

Дѣвушка укутала ребенка въ ободранную отцовскую овчину, висѣвшую на плечахъ ея, и, обмѣнявшись взглядомъ съ матерью, пошла къ воротамъ. Катерина (такъ

звали Тимоѳееву хозяйку) послѣдовала за мужемъ и гостемъ. Войдя въ избу, маленькую, тѣсную и курную, съ почернѣвшей печью въ лѣвомъ углу, старикъ набожно перекрестился передъ иконами.

Въ настоящую минуту въ избѣ было очень свѣтло; кромѣ того, что низенькія окна, обращенныя къ западу, пропускали красноватый блескъ огненнаго заката, послѣдніе солнечные лучи, скользнувъ изъ-подъ длинныхъ багровыхъ тучъ, играли на правой стѣнѣ; эти солнечныя пятна, принимавшія видъ пылающихъ угольевъ, разливали по всей избѣ золотисто-желтоватый полусвѣтъ, такъ что легко было различить предметы въ самыхъ дальнихъ углахъ. Въ одномъ изъ нихъ старикъ увидѣлъ женскую фигуру, сидѣвшую на лавочкѣ. Принявъ ее за родственницу хозяевъ, онъ поздоровался.

— Не взыщи, касатикъ, она ничего не смыслитъ, умомъ повредилась, сказалъ Лапша.

— Съ чего жъ такъ?

— Такъ ужъ, видно, Господу угодно, подхватила Катерина, съ явнымъ намѣреніемъ прекратить дальнѣйшіе разспросы.

Гость сдѣлалъ видъ, будто остался доволенъ объясненіемъ, но воспользовался первымъ удобнымъ случаемъ, чтобы снова глянуть въ уголъ. Безумная, которой всего было лѣтъ тридцать, сидѣла, поджавъ ноги и положивъ подбородокъ на колѣни; въ рукахъ у нея было полѣно (истертое и почернѣвшее полѣно отъ долгаго пребыванія въ рукахъ); оно было обернуто въ тряпьё; прижавъ полѣно крѣпко къ груди и укачивая какъ ребенка, она не переставала бормотать что-то скороговоркою подъ носъ. Старикъ невольно покачалъ головою, но, встрѣтивъ взглядъ хозяйки, поспѣшилъ сѣсть на лавку подлѣ Тимоѳея, который, казалось, все еще не успѣлъ оправиться отъ смущенія; складки худенькой рубахи сильно измѣняли дрожавшимъ рукамъ и колѣнямъ; усиленно приподымая то одну бровь, то другую, онъ видимо старался ободрить себя; наконецъ, послѣ долгаго переминанья на одномъ мѣстѣ, послѣ взглядовъ, направленныхъ къ женѣ, которая прибирала что-то у печки, онъ кашлянулъ нѣсколько разъ и какъ бы собрался съ духомъ.

— Гдѣ жъ это ты... говорилъ, гдѣ... хм! хм! вишь одолѣлъ, проклятый... почитай... гм! почитай съ самой вотъ осени... Гдѣ это ты... съ нимъ встрѣлся?.. добавилъ онъ,

сопровождая каждое слово пугливымъ взглядомъ, обращавшимся то къ женѣ, то къ гостю.

Катерина мгновенно отошла отъ печи и, судорожно скрестивъ на груди руки, нахмуривъ брови, остановилась подлѣ разговаривавшихъ. Гость очень охотно приступилъ къ разсказу.

Съ первыхъ же словъ безумная перестала бормотать и подняла голову, едва прикрытую платкомъ, изъ-подъ котораго вырывались въ безпорядкѣ пряди бѣлокурыхъ волосъ; сначала она исключительно какъ бы занималась разсматриваніемъ незнакомца; мало-по-малу блуждающіе голубоватые глаза ея остановились на одной точкѣ, и лицо осмыслилось выраженіемъ страха; ноги ея свѣсились, шея вытянулась; съ каждой секундой дѣлалась она внимательнѣе; съ именемъ Филиппа она задрожала всѣми своими суставами и съ выраженіемъ неописаннаго страха скрыла полѣно подъ лохмотья одежды.

Присутствующіе такъ были заняты своими собственными мыслями и соображеніями (старикъ не отрывалъ живыхъ глазъ своихъ отъ Катерины и ея мужа), что не замѣчали происходившаго въ углу, гдѣ сидѣла сумасшедшая. Разсказчикъ дошелъ такимъ образомъ до Стёпки, сына Филиппа. При этомъ въ избѣ раздался вдругъ такой крикъ, что старикъ, Лапша и его жена нѣсколько секундъ стояли, какъ громомъ пораженные. Когда они опомнились, безумная лежала уже на полу, рвала на себѣ волосы, страшно колотилась головою ǒ-земь; посреди рыданій ея, отъ которыхъ должна бы разорваться на части грудь ея, слышалось имя Степки, сопровождаемое всякій разъ болѣзненно-мучительнымъ стономъ, какъ будто она умирала. Катерина бросилась къ ней со всѣхъ ногъ.

— Дунюшка! Дуня! заговорила она, придерживая ее одною рукою за голову, тогда какъ другая рука осѣняла безумную крестнымъ знаменіемъ,—Дуня! полно, касатка!.. Христосъ съ тобою!.. Послушай только меня... подхватила она съ особенною торопливостью,—слышь: Степку привели! тамъ, въ огородѣ стоитъ, сердечный... тебя дожидаетъ... подь къ нему, болѣзная, подь... Вотъ погляди-ка-сь, вотъ этотъ самый дѣдушка привезъ его, на дорогѣ нашелъ... большой такой сталъ... погляди-тка... подь къ нему, родная, подь!.. продолжала она, стараясь приподнять больную и время отъ времени высвобождая руку, чтобъ привести въ порядокъ разсыпавшіеся ея волосы.

Дикое отчаянье Дуни, которую Катерина продолжала крестить и всячески успокоивать, перешло мало-по-малу въ притупленное вниманіе; вытянувъ шею съ раздувшимися жилами и какъ бы прислушиваясь къ отдаленнымъ звукамъ, она не отрывала глазъ отъ двери. Немного погодя, она неожиданно встала на ноги и быстро побѣжала изъ избы, такъ что хозяйка едва успѣвала за нею слѣдовать.

— Чтò за причина такая? спросилъ старикъ, все еще находившійся подъ впечатлѣніемъ удивленія.

— Да вотъ съ того самаго дня, какъ братъ увелъ парнишку, съ того дня и повредилась... И прежде-то была какъ словно не въ своемъ разумѣ... житье добре горькое было ей отъ мужа-то, а какъ увелъ парнишку, ну и совсѣмъ повихнулась, проговорилъ Тимоѳей разслабленнымъ тономъ.

— Эка горькая, подумаешь! Стало, она у васъ и живетъ?

— У насъ; хозяйка пожалѣла, взяла... ничего вѣдь не сдѣлаешь! добавилъ Лапша.

— Что жъ? доброе дѣло! васъ за это Господь не оставитъ. А я, признаться, Тимоѳей, маленечко, того... погрѣшилъ противъ жены твоей, не зналъ я въ ней такой добродѣтели... Ужъ очень съ начатія-то она на меня взъѣлась, такъ вотъ и рветъ!.. Теперь все у меня на виду, какъ есть, примѣтно... баба, значитъ, точно, душа въ ней есть... хорошая, должно быть, баба...

Вмѣсто отвѣта, Тимоѳей приподнялъ только брови и свѣсилъ голову. Дядя Василій съ минуту поглядѣлъ на него молча, всталъ и подошелъ къ окну, въ которомъ все еще горѣло зарево заката.

— Я, братъ Тимоѳей, все насчетъ, то-есть, воза сумнѣваюсь, молвилъ онъ, прикладывая красное, добродушное лицо свое къ стеклу и наклоняя на бокъ голову, чтобъ удобнѣе взглянуть на возъ, — не напроказили бы тамъ; время праздничное, народу много добре на улицѣ-то.

— Ты бы его къ намъ на дворъ свезъ, сказалъ Тимоѳей, котораго болѣе еще, чѣмъ старика, безпокоила мысль, что возъ стоитъ у воротъ.

Обращая на себя вниманіе стоявшихъ на улицѣ, возъ невольно приводилъ на память причину посѣщенія стараго торгаша; о Филиппѣ начали уже забывать — и вотъ снова подымутся толки о немъ. Этого весьма основательно опасался Лапша.

— Ничего, можно, пожалуй, и на дворъ свезти, сказалъ старикъ, — я ужъ заодно бы у васъ и ночевать остался. Куда теперь поѣдешь?.. Все одно, надо же гдѣ-нибудь... ты человѣкъ знакомый... сѣнцо у меня свое есть; а коли потребуется насчетъ, то-есть, себя, я не то, чтобы... я заплачу какъ слѣдуетъ.

Съ этими словами вошла Катерина. Проводивъ Дуню, она, видно, зашла взглянуть на дочь, потому что ребенокъ снова находился на рукахъ ея. Старикъ тотчасъ же передалъ ей свое намѣреніе и, принявъ минутное молчаніе хозяйки за согласіе, суетливо вышелъ на улицу, которая изъ конца въ конецъ оглашалась веселыми кликами игравшихъ дѣтей и пѣснею хороводницъ.

III.

Ребятишки.

Спустя нѣкоторое время, на дворѣ заскрипѣлъ возъ и послышался голосъ старика. Когда, немного погодя, Тимоѳей и жена его явились на дворъ, лошадка дяди Василья была уже выпряжена, а самъ онъ суетливо развязывалъ кожу, прикрывавшую товары; онъ не переставалъ болтать съ Машей, которая стояла подлѣ. Солнце уже сѣло, но надъ самымъ дворомъ висѣло круглое, румяное облако, которое дѣлало предметы яснѣе и давало всему двору больше свѣта, чѣмъ въ иной полдень. Съ первыхъ же словъ старика, Катерина и ея мужъ узнали, что онъ непремѣнно настаивалъ на томъ, чтобъ дѣвушка взяла отъ него платочекъ, на память.

— Что ты, батюшка, что ты! Господь съ тобою! торопливо сказала мать, — она къ этому непривычна, не надоть намъ ничего... мы не изъ того тебя пустили.

— Нѣтъ, ужъ ты, матушка, не замай, брось, оставь ты это дѣло... ужъ это моя, примѣрно, забота... Какъ же, слышь, подхватилъ онъ, принимая шутливо-озабоченный тонъ, — слышь, дѣвки поютъ на улицѣ, играютъ, потѣшаются... ну, знамо, и ей хочется—человѣкъ молодой! все любезнѣе будетъ, какъ новенькій-то платочекъ повяжетъ... Ну, вотъ тебѣ, красавица, не побрезгай, возьми, заключилъ старикъ, тряхнувъ пестрымъ бумажнымъ платкомъ и подавая его дѣвушкѣ, которая не трогалась съ мѣста.

— Мнѣ... не надо, проговорила она нерѣшительно, взглядывая на мать.

— Бери, бери; что ужъ тутъ! Бери, коли даютъ, сказалъ старикъ, добродушно посмѣиваясь.

— Ну, что жъ! возьми, когда такъ... когда по душѣ даетъ, сказала мать, обращаясь къ дочери, которая взяла, наконецъ, платокъ, при чемъ щеки ея вспыхнули, а лицо изобразило такую радость, какъ будто это былъ первый подарокъ со дня ея рожденія.

— Ну, спасибо тебѣ, касатикъ, подхватила мать, стараясь сохранить какое-то внутреннее достоинство,—намъ хоша чужого и не надобно, а коли охота твоя такая, по душѣ далъ, намъ обижать тебя не приходится; спасибо, кормилецъ!

Тимоѳей умильно поглядывалъ на присутствующихъ и моргалъ глазами.

— Какъ ужъ и благодарить намъ тебя! Не заслужили мы этого, касатикъ... Платокъ-то, вѣдь, можетъ, рубля два стоитъ! промолвилъ онъ, наконецъ, голосомъ, словно не ему дали, а онъ вынужденъ былъ дать подарокъ.

— Есть о чемъ разговаривать! И весь-то всего гривенникъ стоитъ! перебилъ старикъ.—Ты какъ изъ Оки-то меня тащилъ, не на гривенникъ мнѣ добра сохранилъ. Вотъ случай привелъ хошь дочку твою потѣшить. Ну, что жъ ты стоишь, красавица? Ступай, покажься на улицѣ-то... вишь пѣсни какъ знатно играютъ—и ты поди! промолвилъ онъ, обращаясь къ Машѣ.

— Что жъ? сходи, поди, сказала мать.

Маша какъ будто не рѣшалась, совѣстилась, наконецъ вошла въ избу; минуту спустя, она явилась на дворѣ, повязанная новымъ платочкомъ, и быстро юркнула въ ворота.

— Много у васъ дѣтей-то? спросилъ старикъ, провожая ее глазами.

— Въ чемъ другомъ, батюшка, въ этомъ, кажись, нѣтъ недостатка: семья большая, возразила Катерина, и первый разъ на губахъ ея появилась улыбка.

— О-охъ! тоскливо простоналъ Тимоѳей.

— Ну, что охаешь-то? охъ да охъ! смѣясь, сказалъ старикъ, дѣлавшійся веселѣе по мѣрѣ того, какъ ознакомливался съ хозяевами.—О чемъ? что дѣтей-то много? Это значитъ благословеніе Божіе.

— Шостеро человѣкъ! произнесъ Тимоѳей съ такимъ сокрушеннымъ видомъ, какъ будто самъ произвелъ ихъ всѣхъ на свѣтъ и вторично предстояло ему родить ихъ.

— Ты бы вотъ, Тимоѳей, на жену-то поглядѣлъ лучше... вишь: развѣ она ими скучаетъ? а чай, больше твоего объ нихъ сердце-то болитъ; право такъ! добавилъ старикъ, указывая на Катерину, которая въ это время высоко подымала обѣими руками младенца и заставляла его смѣяться.

Дядя Василій хотѣлъ было что-то еще сказать, но прерванъ былъ звонкимъ лаемъ, раздавшимся у самыхъ ногъ его. Обернувшись назадъ, онъ увидѣлъ маленькую, шершавую, черную собачонку, съ стоячими ушами, вострой мордочкой, украшенной двумя желтыми крапинами надъ глазами и коротенькими кривыми передними ногами, расположенными какъ у танцмейстера; лай ея звенѣлъ, какъ тоненькій колокольчикъ; шерсть на спинѣ стояла торчмя, а хвостъ закручивался, вѣроятно, отъ злобы, такимъ тугимъ кренделемъ, что, казалось, не было силы, которая могла бы его выпрямить. Застигнувъ врасплохъ чужого человѣка на своемъ дворѣ, она, безъ сомнѣнія, вцѣпилась бы въ икру его, если бъ, вслѣдъ за ея появленіемъ, въ воротахъ не раздались четыре тоненькіе голоска, которые разомъ закричали: „Волчокъ! Волчокъ!“

Волчокъ тотчасъ же задвигалъ своимъ кренделемъ и полетѣлъ навстрѣчу четыремъ мальчуганамъ, входившимъ во дворъ. Трое изъ нихъ были еще очень малы— лѣтъ пяти, шести и семи; ручонками, выпутыми изъ рукавовъ, болтали они за пазухой, которая до того была набита всякой всячиной, что животы ихъ казались втрое толще обыкновеннаго; одежда ихъ, ноги съ засученными выше колѣнъ штанишками и самыя лица до того были выпачканы свѣжею грязью, что мать раскрыла только глаза и отступила. Четвертый мальчикъ былъ лѣтъ девяти, съ продолговатымъ, оживленнымъ лицомъ и черными умными глазами — вылитый портретъ матери; но энергическія, нѣсколько рѣзкія черты Катерины, перейдя къ сыну, какъ бы смягчились и во многомъ напоминали отца. Одежда его, состоявшая изъ рубашонки и штанишекъ, также засученныхъ выше колѣнъ, была, однакожъ, чище и показывала въ немъ бережливость и даже вниманіе къ самому себѣ; но пазуха была такъ же туго набита, какъ и у братьевъ.

Увидя незнакомаго человѣка, первые три мальчика остановились сначала, какъ вкопанные, потомъ бочкомъ

стали подбираться къ матери и вдругъ разомъ обхватили ея юбку; старшій, между тѣмъ, поглядывая на старика и желая, вѣроятно, показать себя передъ нимъ, топалъ ногою и посвистывалъ съ самымъ серьезнымъ видомъ, призывая Волчка, который снова заливался на гостя. Пронзительный лай Волчка мгновенно превратился въ ворчливое визжанье, потомъ Волчокъ подбѣжалъ къ мальчику, прыгнулъ ему на грудь передними ногами и, развернувъ свой крендель, принялся мотать имъ во всѣ стороны самымъ дружелюбнымъ образомъ.

— Поди-жъ-ты—а! вишь какъ его слушаетъ! Сейчасъ отошла; а поди злющая какая! вымолвилъ, посмѣиваясь, старикъ.

— Нельзя же, возразила повеселѣвшая мать, — она знаетъ своего хозяина... Щенкомъ взялъ; поне зимою замерзлаго почитай въ домъ принесъ, подъ плетнемъ гдѣ-то нашелъ... Ужъ такая-то о немъ забота: хлѣбца дашь, и тотъ пополамъ дѣлитъ; ну, она и слушаетъ.

— Это значитъ свово благодѣтеля почитаетъ, добро его помнитъ... Эки вы, право, ласковые, добродушные какіе! собакъ, и тѣхъ жалѣете...

— Ахъ, отцы вы мои! да гдѣ жъ это вы были-то? заговорила вдругъ Катерина, оглядывая парнишекъ, жавшихся у ея юбки,—смотри какъ выпачкались!.. чумазые какіе! Гдѣ вы были-то? Не отмоешь никакъ... такъ, смотри, теперь и останетесь.

— Ничего не сдѣлаешь! проговорилъ Тимоѳей голосомъ, какъ будто въ самомъ дѣлѣ нечего уже было дѣлать, и дѣти его весь вѣкъ останутся облѣпленными грязью съ головы до ногъ.

— Гдѣ жъ вы были-то? въ лѣсу, чай?

— Въ лѣсу были, да очень добре́ вязко, не обсохло, сказалъ старшій мальчикъ, щелкая пальцами надъ головою Волчка.

— Отцы вы мои! глянь-кась, чего только не нанесли! подхватила мать, отрывая поочередно отъ юбки то одного, то другого и начиная вытряхивать пазухи, изъ которыхъ посыпались наземь камешки, трава, мохъ, прошлогодніе жолуди и кусочки цвѣтной глины, которую въ изобиліи находятъ въ ручьяхъ окрестныхъ мѣстъ.

По окончаніи этой операціи, мальчуганы, дико смотрѣвшіе на гостя, снова припали головами къ подолу матери.

— Эки молодцы какіе! смѣясь, воскликнулъ старикъ,— право, молодцы! вотъ хошь бы этотъ пузанъ какой! добавилъ онъ шутливо, тыкая пальцемъ въ животъ одного изъ нихъ.

Но ребенокъ затрясся всѣмъ тѣломъ, открылъ ротъ, закричалъ благимъ матомъ и затопалъ ногами.

--- Полно, Костюшка! чего запужался, глупый? не бойся...

— Постой, постой! у меня вотъ тутъ есть штука такая... сейчасъ обзнакомимся, вымолвилъ старикъ, направляясь къ возу.—Костюшка, глядь-кась, что у меня? ась? заключилъ онъ, подавая глиняный свистокъ, устроенный въ видѣ какой-то фантастической утки.

Заслышавъ голосъ старика, обращенный уже къ нему собственно, Костюшка еще глубже нырнулъ головою въ юбку, и не прежде, какъ когда раздались восклицанія его братьевъ, рѣшился выглянуть однимъ глазкомъ изъ своей засады.

— Ну, ужъ нечего, видно, дѣлать, надо и другихъ потѣшить, чтобъ завидки не брали, промолвилъ дядя Василій, снова направляясь къ возу, между тѣмъ, какъ Костюшка пялилъ глаза свои навыкатъ, разсматривая дудку, а мать разсыпалась въ благодарностяхъ.

Получивъ каждый по дудкѣ, мальчуганы, одинъ за другимъ, выпустили изъ рукъ подолъ матери, сбились въ кучку, съ минуту заглядывали другъ другу въ руки, потомъ приставили дудки ко рту и вдругъ наполнили дворъ неистово-дикими трелями, такъ что двѣ курицы, совсѣмъ уже было заснувшія подъ навѣсомъ, стремительно ринулись наземь и, растопыривъ крылья, забѣгали, какъ угорѣлыя, по всѣмъ угламъ.

— Ну, а ты, глазунъ, что на меня смотришь? подхватилъ дядя Василій, потряхивая головою передъ старшимъ мальчикомъ, ласкавшимъ Волчка, который присмирѣлъ, хотя все еще взвизгивалъ, когда старикъ подходилъ къ дѣтямъ,—вотъ тебѣ, глазунъ, нà, возьми, добавилъ торгашъ, подавая ему маленькій писанный образокъ,—ты постарше тѣхъ, тебѣ и вещь такая соотвѣтственная—возьми.

Подарокъ привелъ мальчика въ бòльшій еще восторгъ, чѣмъ подарки, данные братьямъ; онъ бросился показывать его матери. Она, повидимому, совсѣмъ уже примирилась съ гостемъ; извѣстіе, привезенное старикомъ и

такъ сильно встревожившее ее и мужа ея, было ею, по-видимому, забыто. Тимоѳей кланялся, двигалъ бровями, кашлялъ и моргалъ глазами.

— Эки чудные! за что благодарите... рази я даромъ?.. вотъ вы меня за это покормите ужиномъ...

— Душою рады, родной, не взыщи только... у насъ вѣдь хлѣбъ одинъ.

Тимоѳей, съ видомъ безсилія, замоталъ головою.

— А то чего жъ еще? Вотъ! я не привередливъ; быть бы только сыту... А эти молодцы забыли никакъ объ ужинѣ-то съ своими дудками? добавилъ старикъ, указывая на мальчугановъ, прыгавшихъ и наполнявшихъ дворъ визжаньемъ.

Слово „ужинъ“ напоминало имъ, однакожъ, голодъ, который привелъ ихъ домой, и они приступили къ матери. Катерина пошла въ избу и, минуту спустя, вынесла нѣсколько кусковъ хлѣба, словно отломанныхъ отъ разныхъ хлѣбовъ и собранныхъ въ разное время. Получивъ по куску, ребятенки бросились къ воротамъ, то кусая хлѣбъ, то дуя въ свои дудки.

— А ты что жъ, Петя? и ты бы пошелъ къ нимъ, батюшка! сказала мать старшему, все еще не отрывавшему глазъ отъ образочка.

— Нѣтъ, не хочется, сказалъ мальчикъ,—я въ избу пойду...

— Ну, подь, родной, подь, съ нами поужинаешь, сказала мать и, выждавъ минуту, когда мужъ и гость вошли въ сѣни, погладила мальчика по головкѣ и оглянула его съ выраженьемъ особеннаго какого-то самодовольства и нѣжности.

IV.

Бесѣда.

Ужинъ, точно, не превзошелъ обѣщаній хозяйки: онъ состоялъ изъ обломковъ хлѣба, накрошенныхъ въ чашку и приправленныхъ кисленькимъ кваскомъ.

— Гдѣ жъ та-то... какъ бишь звать-то ее?.. ну, вотъ, братнина-то жена? Что жъ она нейдетъ ужинать? спросилъ старикъ.

— Бродитъ, я чай, поблизности гдѣ-нибудь, а не то въ поле ушла; она теперь ни за что не придетъ, отвѣчала Катерина, дѣлавшаяся все довѣрчивѣе и словоохот-

ливѣе,—она и все такъ-то, какъ прійдетъ случай вспомянуть ей мальчика, словно въ разумъ войдетъ; день, иной разъ два дня домой не показывается: уйдетъ въ лѣсъ, либо въ поле, ляжетъ на-земь въ укромное какое мѣсто, голову платкомъ закроетъ... Слушать тяжко, какія словеса говоритъ; насилу домой приведешь... Петя, ты бы, батюшка, поглядѣлъ, сходилъ, нѣтъ ли ея гдѣ поближности, заключила Катерина, ласково обратившись къ мальчику, который усѣлся было подлѣ старика и не спускалъ съ него глазъ. — Коли тутъ она, снеси-ка ей, поди, хлѣбушка. А тамъ пошелъ бы къ ребятамъ на улицу. Ну, что̀ тебѣ съ нами-то? Подь, родной; право-ну!

— Эки, подумаешь, горькія есть какія! промолвилъ старикъ послѣ того, какъ мальчикъ вышелъ изъ избы.—Вотъ и не старъ человѣкъ, а сколько горя-то принялъ! Ну ужъ, точно, должно-быть, злодѣй былъ мужъ-то—правду люди сказывали. Шутка, сколько зла сотворилъ! Знамо, ужъ коли лихой человѣкъ навернется, и уйдетъ онъ, а все о себѣ вѣсть подаетъ, все сказывается! Однако, я, тетка, въ толкъ не возьму: онъ врозь жилъ съ вами, въ раздѣлѣ, али вы вмѣстѣ жили?

— Оттого вся бѣда наша, что вмѣстѣ! сказала Катерина, лицо которой вмигъ утратило свою веселость.

— Какъ же это такъ? Видя черезъ него себѣ такую погибель, вамъ бы надыть въ тотъ самый часъ отъ него отрѣшиться. Вѣдь это, выходитъ, по охотѣ по своей въ дому злодѣя держать—право, такъ!

— Охоты нашей держать его не было, проговорила Катерина, скрещивая на груди руки и потупляя голову.

Тимоѳей, между тѣмъ, притупленно глядѣлъ въ землю, тяжко покрякивалъ и кашлялъ.

— Кабы зналъ ты, что̀ это за человѣкъ былъ! Ни стыда въ немъ, ни совѣсти! проговорила наконецъ Катерина, съ выраженіемъ ненависти, которая закипала въ ея сердцѣ всякій разъ, когда рѣчь касалась Филиппа.—Мало ли билась я, мало ли колотилась, чего-чего ни дѣлала: „не хочу, молъ, да не хочу дѣлиться!“ только и отвѣтъ его былъ. Каменный былъ человѣкъ. Какъ отецъ съ матерью жили, все кой-какъ держался, опаску имѣлъ; а какъ померли они — и пошелъ, и пошелъ, словно того только и ждалъ: такъ закурилъ, безъ удержу безъ всякаго; а ужъ женатъ былъ и дѣтей двое было; только одинъ-то померъ, остался въ живности большенькій — вотъ съ кѣмъ

ты на дорогѣ-то встрѣлся. Вовсе не сталъ тогда ничего опасаться: тащитъ, бывало, изъ дому что подъ руку попадетъ!..

Тимоѳей тоскливо замоталъ головою.

— Мнѣ самой въ эвти дѣла съ начатія-то какъ словно не приходилось вступаться, продолжала жена,—взята была я къ нимъ въ домъ сиротою; приданаго ничего этого за мной не было; знамо, совѣсть беретъ, сумлѣнье. Къ тому. и помоложе была въ ту пору; скажешь, только: „Филиппъ, Бога-то хоть побойся!“ а сама иной разъ поглядишь такъ-то на своихъ на ребятъ (Машѣ десятый годокъ былъ, Петя въ зыбкѣ лежалъ), погляжу такъ-то, да такъ вотъ сама и зальюсь. Иной день уйдешь отъ грѣха въ лѣсъ съ ребятёнками, да тамъ и проплачешь. Потомъ ужъ и терпѣнья моего не стало: вижу, совсѣмъ пришло дѣло къ разоренью. Были у насъ въ ту пору двѣ лошадки: онъ возьми да одну и уведи, и увелъ-то самую хорошую. Какъ провѣдала я, такъ инда кровь во всей во мнѣ запечаталась! Пристала я къ нему тогда, крѣпко пристала: „давай, говорю, дѣлиться!“ Хошь бы онъ что, дѣдушка; въ глаза только посмѣялся!..

— Чего жъ ты-то глядѣлъ? и-ихъ! досадливо перебилъ дядя Василій, обращаясь къ Тимоѳею, который продолжалъ кряхтѣть, да пропускалъ между зубами какіе-то неопредѣленные звуки.—Ты старшій братъ, тебѣ надо было сокращать его. Мало ли что можно сдѣлать, подхватилъ онъ, перенося глаза къ хозяйкѣ.—Сходили бы къ господамъ, а господъ нѣтъ, свели бы его къ управителю...

— Ходила, батюшка, ходила я къ управителю, возразила она съ такою живостью, какъ будто спѣшила оправдать мужа въ глазахъ старика. — Увелъ этто онъ у нашего кузнеца двухъ коней (своихъ-то ужъ не было — извелъ, разбойникъ), возьми да и продай ихъ; знамо, и люди-то недобрые, что купили. Приходитъ опосля; мы ничего не знаемъ; приходитъ, да спьяну-то и разскажи обо всемъ. Ну, думаю, провѣдаютъ—всѣхъ насъ запуталъ, злодѣй! Пошла къ управителю; думаю: авось послѣ такого дѣла увидитъ человѣка, раздѣлитъ насъ—этого пуще всего хотѣлось...

— Что жъ управитель-то?

— Да что, добрѐ ужъ очень-то онъ у насъ смиренъ, простъ добрѐ, къ нашему крестьянскому дѣлу непривыченъ, отъ господъ поступилъ къ намъ. Знамо, потачки

не далъ: наказать наказалъ; а только зачѣмъ ходила, этого не взялъ въ разсужденье, не велѣлъ дѣлиться: „Хуже, говоритъ, тогда разоритесь; семья ослабнетъ, рабочихъ рукъ меньше будетъ“. И добро бы, кормилецъ, было бы ужъ что и разорять-то; разорять-то ужъ было нечего: все рѣшилъ!

— Эки дѣла, подумаешь, эки дѣла!.. вымолвилъ старикъ, между тѣмъ, какъ Лапша, приподымая то одну бровь, то другую, продолжалъ стонать и охать.

— Ужъ это точно, и нѣтъ того хуже, какъ отъ домашнихъ прійдетъ бѣда, продолжала Катерина. — Ближняя собака, знамо, та завсегда скорѣе укуситъ. Чужой человѣкъ прійдетъ, украдетъ—и нѣтъ его: и украдетъ-то, что подъ руку попадетъ; а какъ свой такой заведется, все одно, что пожаръ въ дому загорѣлся: ничего не утаишь, все пожжетъ. Цѣлый годъ жили мы, такъ-то мучились. Отъ одного сумлѣнья, бывало, ночи не спишь, только и слышишь отъ бабъ: „добрѐ, говорятъ, на тебя очень серчаетъ. Она, говоритъ, показала на меня управителю; я ей, говоритъ, дамъ себя знать! будетъ помнить!“ все такъ-то передъ людьми похваляется... А самъ хоть бы мнѣ видъ какой показалъ—весь въ себѣ затаился. Знамо, оттого еще пуще сумлѣнье беретъ... Кто его знаетъ, чтò у него тамъ на разумѣ-то! Только, бывало, и покажетъ себя, какъ за жену за его вступишься... Шибко билъ онъ ее въ ту пору, и билъ-то такъ, ни за что, словно намъ на зло—сердце такое имѣлъ каменное. Опосля ужъ и вступаться не стала: вижу хуже, серчаетъ только. Слышимъ мы, на сторонѣ, говорятъ, опять сталъ безобразничать: въ дому-то взять нечего—раза два у сосѣдей поймали...

— Что жъ управитель-то? опять въ вотчинѣ оставилъ? спросилъ старикъ полусердито-полунасмѣшливо.

— Можетъ-статься, и услалъ бы куда-нибудь, да ужъ послѣднихъ этихъ его дѣловъ не зналъ управитель: стали таить отъ него; всякій, вѣстимо, за себя опасался. „То, говоритъ, надѣлаю“, грозитъ такъ-то по деревнѣ: „вамъ, говоритъ, и во снѣ того не вкинется!“ Бояться стали, не поджегъ бы какъ: знамо, отъ такого человѣка все станется. Пуще всего я за ребятъ за своихъ боялась; неоднова, сказывали бабы, неоднова стращалъ ими... Такой страхъ напалъ на меня! Работу, бывало, возьмешь, такъ вотъ изъ рукъ и валится, особливо когда ребятъ дома нѣтъ; все думается: не сотворилъ бы худобы какой; ни

днемъ, ни ночью спокою не было. Стращалъ, стращалъ, а подъ конецъ самъ, злодѣй, загубилъ себя, присовокупила она послѣ минуты молчанія. — Остановился разъ у насъ купецъ: ѣхалъ въ Тулу, сказываютъ; мятель захватила его; онъ къ намъ и заѣхалъ, у старосты ночевать остался. Въ эту самую ночь у него деньги-то и пропади; и денегъ-то вишь много было. Хвать-похвать... за становымъ послали, начали спрашивать: тутъ міромъ на Филиппа и показали. Вѣстимо, ужъ всѣ были о немъ извѣстны! Взяли этто его, повезли, въ судъ представили... Ужъ чего, кажется? онъ взялъ, его было дѣло: окромя некому; такъ нѣтъ же, поди, всѣхъ началъ путать: на того покажетъ, на другого покажетъ, всю, почитай, деревню такъ-то запуталъ, всѣхъ въ судъ таскали. Подъ конецъ самъ же вѣдь во всемъ повинился: „мое, говоритъ, дѣло!“ Сами, признаться, обрадовались, какъ въ острогъ его засадили. „Братъ, братъ, да и Богъ съ нимъ!“ думаемъ: „никто не понуждалъ, самъ того захотѣлъ!“ Маненечко безъ него вздохнули. Однимъ скучали: черезъ него народъ-то оченно нами обижался; всѣмъ горекъ былъ — всѣ на насъ и напали. Первое время и на улицу-то выйти не смѣй: такъ всякій тебя въ глаза и позоритъ; за водой пойдешь—у воротъ-то топчешься, топчешься бывало... А все радуешься: слава ти, Боже, думаешь, ослобонилъ Господь!.. Что жъ бы ты думалъ, дѣдушка? Вѣдь этимъ злодѣй не кончилъ: и осудили его, и въ острогъ засадили— нѣтъ, опять показалъ себя! Къ веснѣ время было; разъ вдругъ пропалъ у насъ паренекъ, его-то сынишка. Туда-сюда искать кинулись — нигдѣ нѣтъ. До смерти перепужались! Тѣмъ временемъ и слухи пришли: слышимъ мы, бѣжалъ Филиппъ изъ острога! Тутъ и догадались: его было дѣло! Должно-быть, ночью какъ-нибудь забрался къ намъ, да и увелъ его. Вотъ и ты сказывалъ, видѣлъ его съ парнишкой...

— Рыженькій такой?

— Ну, да; онъ и есть! Вотъ съ той самой поры, она, сердечная, Дарья-то, она въ умѣ и повредилась. Надо сказать, злодѣй былъ: и себя погубилъ, и своихъ-то всѣхъ, да и насъ-то, почитай, къ тому подвелъ! Сказать нельзя, сколько мы отъ однихъ людей-то черезъ него натерпѣлись, батюшка; ужъ на что ребятёнки наши, и тѣмъ проходу не давали: всякій коритъ да хаетъ! Мы за это не серчаемъ, Богъ съ ними! Знамо, обидно: потому мы

ни въ чемъ ни словомъ, ни худыми дѣлами, никакимъ этимъ дѣламъ его, ни въ чемъ, дѣдушка, не причастны.

— Вижу, матушка, вижу! возразилъ торгашъ, — очи ушей вѣрнѣе; на правду немного словъ надобно!

— Проходу теперь опять не дадутъ! неожиданно заговорилъ Тимоѳей, опуская ладони на колѣни, — начали какъ словно забывать его. . и насъ, какъ словно, не трогали... теперь, какъ провѣдали, живъ онъ, опять житья намъ не будетъ!..

— А пущай ихъ! Слышь, что жена-то говоритъ? Пущай! сказалъ старикъ, — совѣсть своя чиста: стало, и сокрушаться не о чемъ! Живите себѣ смирно, никого не трогайте; Богъ молъ съ вами, когда такъ — да! А главная причина, самому, братъ Тимоѳей, не слѣдъ тебѣ такъ, чтобъ ужъ оченно опускаться, прибавилъ онъ увѣщевательнымъ тономъ, — надо по мѣрѣ силы возможности хозяйкѣ подсоблять — вотъ что! трудиться, хлопотать надыть... А то что̀ хорошаго?..

— О-охъ! простоналъ Лапша, котораго снова началъ давить кашель,—ничего не сдѣлаешь... Всѣмъ добрѐ много очень задолжали, никакъ не осилишь... такъ задолжали, сами того не стоимъ. Вотъ теперь и то ужъ стращать зачали, какъ провѣдали, господа ѣдутъ... жаловаться хотятъ!..

— Можетъ-статься, это такъ только народъ болтаетъ; можетъ, господа-то не пріѣдутъ...

— Нѣтъ, точно, касатикъ, ѣдутъ. На прошлой недѣлѣ къ управителю писали: безпремѣнно, сказывали, будемъ! замѣтила Катерина.

Тимоѳей зналъ не хуже жены обо всѣхъ подробностяхъ касательно несомнѣннаго пріѣзда господъ, а между тѣмъ слова ея подѣйствовали на него почти такъ же, какъ если бъ услышалъ онъ величайшую новость. Робкіе, пугливые люди нетерпѣливо всегда ожидаютъ, чтобъ имъ противорѣчили, или ихъ обманывали въ томъ, въ чемъ они сами увѣрены, и даже что очевидно. Съ послѣдними словами Катерины, Тимоѳей окончательно упалъ духомъ. Онъ ударилъ ладонями о колѣни, замоталъ головою и выразилъ желаніе умереть какъ можно скорѣе.

— О томъ только и прошу Господа! заключилъ онъ, свѣшивая на грудь голову.

— Полно, полно! ну куда тебѣ умирать! зачѣмъ? перебила жена увѣщевательно, тогда какъ лицо ея ясно го-

ворило, что мысли и чувства ея, встревоженныя воспоминаніями о Филиппѣ и вообще предшествовавшимъ разговоромъ, далеко не были мирнаго свойства. — Ну что жъ, что хотятъ жаловаться? пущай ихъ! Я сама къ господамъ пойду: „взять, скажу, намъ нѐоткуда", сама просить стану: пускай пошлютъ въ другую вотчину, къ должности какой приставятъ... Лучше въ чужомъ мѣстѣ жить, лишь бы покой былъ. Здѣшняя-то жизнь у насъ вотъ гдѣ сидитъ... Всѣ сказываютъ: у насъ господа-то добрые; они въ толкъ возьмутъ. Надыть радоваться, стало-быть, что ѣдутъ, а не то, чтобы... Слышь, дѣдушка, умирать сбирается!.. Ну, ты помрешь; а мы-то какъ безъ тебя останемся? Куды я тогда съ сиротами-то дѣнусь?.. Ахъ, ты, разумная твоя головушка! заключила она почти весело и очевидно съ тѣмъ лишь намѣреніемъ, чтобъ ободрить мужа и польстить ему.

Слова эти точно подѣйствовали какъ будто ободрительно, но не столько на самого Лапшу, сколько на его брови, которыя тотчасъ же пришли въ движеніе и начали приподыматься на узенькомъ лбу; но это слабое выраженіе бодрости прошло мгновенно; тогда старикъ спросилъ, являлся ли къ нимъ Филиппъ, съ тѣхъ поръ, какъ увелъ мальчика. Робкій, пугливый взглядъ, брошенный Тимоѳеемъ на жену, и смущеніе послѣдней не были, однакожъ, замѣчены торгашомъ: онъ сидѣлъ потупясь и задумчиво потиралъ лобъ и лысину. Перекинувшись новымъ взглядомъ, мужъ и жена поспѣшили сказать, что съ той поры о Филиппѣ не было ни слуху, ни духу. Послѣ этого отвѣта, бесѣда тотчасъ же почти прекратилась. Ее прервалъ шумъ въ дверяхъ и приходъ дѣтей.

— Пойти поглядѣть на лошадь, подбираетъ ли кормъ, произнесъ старикъ, приподымаясь съ мѣста.

— Пойдемъ, подхватилъ Тимоѳей, слѣдуя его примѣру.

— И я съ вами пойду! сказалъ Петя, старшій изъ мальчиковъ.

— Ну, пойдемъ, ласковый, пойдемъ, вымолвилъ повеселѣвшій старикъ, гладя его по головѣ,—пора ужъ, я чай, и на боковую. Завтра рано надо подыматься. Спасибо тебѣ, хозяюшка, за хлѣбъ, за соль, за угощенье... а пуще того, за ласку за твою.

— Нѐ на чемъ, батюшка...

Старикъ, Тимоѳей и мальчикъ выбрались на дворъ, гдѣ немедленно присоединился къ нимъ и Волчòкъ.

Синяя звѣздная ночь давно ужъ обняла небо. Полный мѣсяцъ стоялъ высоко, и черная тѣнь отъ навѣсовъ, изгибаясь по столбамъ, перерѣзывала дворъ пополамъ. Въ непроницаемой тѣни одного изъ угловъ слышалось мѣрное чваканье лошади. Извнѣ, съ улицы, все еще неслась пѣсня и по временамъ долетали хохотъ и говоръ; хороводъ, очевидно, однакожъ, убавился наполовину; самые голоса тянули какъ-то слабѣе, сонливѣе. Время-отъ-времени, пѣсня словно обрывалась, переходила въ одинъ трепетный, замирающій звукъ, и тогда съ разныхъ концовъ деревни, изъ стараго барскаго сада, изъ рощи, изъ болота раздавались совершенно неожиданно звонкіе соловьиные перекаты.

Осмотрѣвъ лошадь и ощупавъ возъ, торгашъ, сопровождаемый Лапшою, мальчикомъ и Волчкòмъ, направился къ ригѣ, мѣсту ночлега. Войдя въ ригу и отыскавъ себѣ уголъ, старикъ оставилъ товарищей, а самъ вышелъ въ загородь и, повернувшись къ востоку, долго крестился. Когда онъ возвратился назадъ, Тимоѳей и его сынишка ужъ спали; одинъ только Волчòкъ бодрствовалъ, но и онъ, впрочемъ, успокоился, какъ только увидѣлъ, что старикъ улегся на солому, покрывшись полушубкомъ. Дядя Василій долго не могъ сомкнуть глазъ; все слышанное и видѣнное имъ въ этотъ день поневолѣ занимало его мысли. Переваливаясь съ боку на бокъ, онъ то прислушивался къ пѣснѣ, все еще неумолкавшей въ отдаленьи, то къ раскатамъ соловья, раздававшимся поблизости, то устремлялъ глаза къ звѣздному небу, которое глядѣло на него сквозь многочисленныя щели навѣса.

Мало-по-малу всѣ эти звуки стали какъ будто слабѣть и отдаляться... тише, тише, и наконецъ, по всей окрестности воцарилось мертвое молчаніе.

V.

Притонъ.

Для дальнѣйшаго развитія предполагаемой повѣсти, намъ необходимо теперь перенестись верстъ за восемь отъ Мàрьинскаго, въ деревню Чèрнево.

Чèрнево расположено по обѣимъ сторонамъ большой дороги, уже теперь совершенно почти заброшенной, благодаря шоссе, которое проходитъ верстахъ въ восемнадцати. Тутъ прогоняютъ только гурты и проѣзжаютъ обозы

изъ окрестныхъ деревень. Середина деревни прерывается небольшой лощиной, такъ что, миновавъ одну половину деревни, вы никакъ не попадете на другую, не засѣвъ сначала на днѣ лощины; грунтъ до того рухлъ и вязокъ, что не въ силахъ держать въ границахъ ручья, который расползается во всѣ стороны и превращаетъ все это мѣсто въ густой кисель, мѣстами покрытый ржавчиной. Здѣсь спoконъ вѣку вязнутъ возы, и колеса уходятъ по ступицу. Черезъ мостъ, возвышающійся влѣво на столбахъ, очевидно еще опаснѣе ѣздить: это одинъ изъ тѣхъ мостовъ, который, какъ говорится, не мараетъ, да ноги ломаетъ. Глухою осенью, когда проходитъ дождливая пора и морозъ скуётъ грязь, изрытую копытами и колесами, путь черезъ Чѐрнево дѣлается окончательно невозможнымъ. Нѣтъ деревни, которая такъ хорошо оправдывала бы свое прозвище: ее обступаютъ темныя черноземныя поля, не оживленныя ни одной рощей. Избы по обѣимъ сторонамъ дороги тѣсно лѣпятся другъ къ дружкѣ и представляютъ однообразно-скучные ряды сѣрыхъ бревенъ, вороховъ бурой соломы и кривыхъ плетней. Съ того времени, какъ заброшена дорога, самые домы кажутся какими-то заброшенными; въ косой дождь, когда стѣны избушекъ намокнутъ, ихъ трудно даже отличать отъ грунта. Сѣрое безъ просвѣту небо, дождь, глухая осенняя пора идутъ, впрочемъ, какъ-то къ Чѐрневу; вообще говоря, Чѐрнево незавидное мѣсто.

Влѣво отъ дороги дно лощины замыкается грубой земляной плотиной, изъ которой вкривь и вкось торчатъ пучки хвороста; двѣ старыя вётлы, обезображенныя галочьими гнѣздами, похожими издали на наросты, предохраняютъ плотину отъ вѣрнаго разрушенія въ наводки. Съ правой стороны лощина нѣсколько живописнѣе: грязь постепенно зарастаетъ травою и, немного далѣе, виднѣется ужъ лужайка — любимое убѣжище чѐрневскихъ гусей и утокъ. Ручей собирается въ одно русло и на пространствѣ трехъ саженъ дѣлаетъ нѣсколько изворотовъ; лѣниво, чуть-видно течетъ онъ въ мягкихъ берегахъ своихъ, кажущихся по-мѣстамъ совершенно голубыми отъ множества незабудокъ; листъ, брошенный въ воду, почти не трогается съ мѣста, и вы десять разъ сядете отъ усталости, прежде чѣмъ онъ отплыветъ на аршинъ; гнилые корни, принимающіе въ водѣ подобіе волнующихся косматыхъ волосъ, а также и желѣзная руда, образчики которой

находятъ въ лощинѣ, сообщаютъ ручью какой-то буро-золотистый цвѣтъ. Шаговъ двѣсти далѣе, ручей уже пропадаетъ въ осокѣ и тинѣ, которая такъ плотна и зелена, что часто обманываетъ пѣшехода: думая ступить на траву, онъ прямёхонько бултыхается въ воду по поясъ.

Недалеко отъ этого мѣста, которое называется „благи́мъ" (тутъ когда-то, въ глухую осеннюю ночь, утонулъ мужикъ—совсѣмъ утонулъ, съ возомъ и лошадью), находится крошечная, одинокая избенка. Далѣе нѣтъ ужъ жилья; далѣе идутъ, то расширяясь, то суживаясь, обнаженныя щеки лощины, которая огибаетъ, вмѣстѣ съ ручьемъ, большое пространство; въ этомъ ручьѣ, верстъ восемь дальше, ма́рьинскія бабы полощутъ бѣлье. Избушка, о которой мы упомянули, бросается въ глаза своею ветхостью; она, кажется, минуты бы не удержалась на своемъ основаніи, если бъ не прислонилась однимъ бокомъ къ обрыву. Передняя стѣна ея наполовину закрыта завалинкой; единственное волоковое окно смотритъ словно изъ земли; со стороны входа устроенъ родъ сѣней изъ плетня, на которомъ видны еще слѣды глиняной штукатурки; солому на кровлѣ лѣтъ десять ужъ не смѣняли; мѣстами она совсѣмъ истлѣла и выказывала жерди и хворостъ, мѣстами сползала книзу и свѣшивалась волнистыми буграми, подъ которыми такъ любятъ прятаться воробьи во время осеннихъ ливней и зимнихъ мятелей.

Лачуга, построенная давнымъ-давно отставнымъ солдатомъ, переходила нѣсколько разъ отъ одного хозяина къ другому, пока, наконецъ, лѣтъ десять назадъ, не сдѣлалась собственностью одной старухи, чѐрневской уроженки; она занималась знахарствомъ и жила совершенно одиноко.

Грачи́ха (такъ звали ее) пользовалась большою извѣстностью по всему околотку; ее знали верстъ на двадцать въ окружности. Не могу вамъ сказать, съ котораго времени Грачиха начала пользоваться такою популярностью и съ чего именно началась ея извѣстность; знаю только, что трудно было найти въ сосѣднихъ деревняхъ мужика и бабу, которые хоть разъ въ жизни не имѣли бы въ ней надобности. Кромѣ знахарскаго дѣла, которымъ занималась она успѣшно—потому что никто лучше ея не могъ заговорить отъ рострѣла, никто такъ скоро не возвращалъ здоровье коровѣ, переставшей доиться, ничье спрыскиванье не исцѣляло такъ вѣрно отъ тоски наносной, потряси́хи, ушиби́хи и другихъ недуговъ — кромѣ

всего этого, Грачиха чуть ли еще не успѣшнѣе занималась ворожбой и колдовствомъ. Не было почти случая, чтобъ обокраденный человѣкъ не находилъ пропавшей вещи, если только прибѣгалъ во̀-время къ Грачихѣ.

Разъ у ма̀рьинскаго мужика увели лошадь. Мужикъ метался, какъ угорѣлый, двое сутокъ по всѣмъ дорогамъ безъ малѣйшаго толку; въ одной изъ деревень ему сказали, что видѣли наканунѣ какого-то оборваннаго человѣка, проскакавшаго во весь духъ на лошади, во всемъ схожей примѣтами съ пропавшей—гдѣ ужъ тутъ искать? Мужикъ махнулъ рукою и поплелся домой. Дома жена и родственники приступили къ нему: сходи да сходи къ Грачихѣ; мужикъ взялъ посу̀лы: штофъ вина, полтинникъ, полотенце, и отправился въ Чѐрнево. Въ первый приходъ Грачиха ничего не открыла, сказала только, что воръ близко, и велѣла зайти на другой день. На слѣдующій день она несравненно долѣе противъ перваго раза ходила вокругъ чаши съ водою, поставленной посреди избы, чаще нагибалась, смотрѣла въ воду, шептала, и объявила, наконецъ, что воръ человѣкъ дальній, что искать его нѣтъ ужъ надобности, что силою своего заклинанья она отняла у него лошадь, которая стоитъ теперь въ осиновой рощѣ. Мужикъ кинулся на показанное мѣсто—и точно нашелъ лошадь... Но не перечесть всѣхъ чудесъ чѐрневской колдуньи; достаточно, кажется, приведеннаго случая, чтобъ убѣдиться, что Грачиха точно находилась въ таинственныхъ сношеніяхъ съ „лихимъ человѣкомъ“.

Встрѣчались, однакожъ, люди, которые не давали вѣры ея связи съ нечистымъ; носились слухи, будто Грачиха давала пріютъ ворамъ и мошенникамъ всякаго рода; но слухи ничѣмъ не оправдывались и, наконецъ, тѣ самые, которые распускали ихъ, напрямикъ отклёпывались отъ своихъ словъ, когда дѣло доходило до положительныхъ объясненій. Изъ этого видно, что даже смѣлыя головы околотка хорохорились на словахъ; на самомъ же дѣлѣ внутренно раздѣляли страхъ, который повсемѣстно внушала Грачиха.

Съ виду она не представляла ничего особеннаго. То была низенькая, сгорбленная старуха; ея походка и голосъ показывали, впрочемъ, крѣпость и здоровье. Изъ-подъ дыряваго платка, прикрывавшаго ея голову и мѣстами пропускавшаго клочки сѣрыхъ волосъ, выглядывало худощавое лицо земляного цвѣта, сморщенное, какъ чер-

посливъ; тонкій, нѣсколько кривой носъ состоялъ, казалось, изъ одного хряща, заостреннаго, какъ у хищной птицы; ротъ, лишенный зубовъ, провалился и дѣлался весьма похожимъ на петлю, крѣпко стянутую ниткой. Старуха поминутно надвигала на лобъ головной платокъ, чтобы защитить отъ свѣта больные глаза, страдавшіе отъ золотухи; но въ этомъ народъ находилъ новый поводъ къ разсказамъ: говорили, что у Грачихи красные глаза.

Что жъ касается до внутренняго вида лачуги, она ни въ какомъ уже случаѣ не могла дать повода къ суевѣрнымъ вымысламъ. Въ жилищахъ нашихъ ворожеекъ и знахарокъ вообще рѣдко встрѣчаешь внѣшній признакъ, имѣющій какое-нибудь отношеніе къ ихъ ремеслу: ремесло, само по себѣ, такъ сильно дѣйствуетъ на воображеніе простолюдина и такую приноситъ выгоду знахаркѣ, что нѣтъ надобности прибѣгать къ вспомогательнымъ средствамъ. Войдя въ лачугу Грачихи, вы подумали бы сначала, что тутъ никто не живетъ. Свѣтъ, проходившій въ волоковое окно, вырубленное въ одномъ бревнѣ, смутно освѣщалъ уголъ печи и часть грубой дощатой перегородки, которая шла отъ угла печи и упиралась въ стѣну, гдѣ было окно. Земляной полъ, вырытый въ вязкой почвѣ лощины, распространялъ кислый запахъ, хватавшій за горло; при свѣтѣ лучины, въ углахъ и на потолкѣ выказывались бѣловатыя селитряныя пятна; сырость покрывала липкимъ слоемъ дерево и сверкала каплями въ шершавыхъ полосахъ мха, которыя чернѣли между бревнами. Въ этой половинѣ своей лачуги хозяйка принимала посѣтителей и совершала свои заклинанья. Грачиха жила собственно или на печкѣ, или за перегородкой. Тамъ нашли бы вы и кадушки, и ухватъ, и горшки—словомъ, всякую домашнюю рухлядь. Волоковое окно, такой же величины, какъ и въ первой половинѣ, позволяло различать столъ и лавки, расположенные прямо противъ жерла печки. Одиночество старухи не было совершенно исключительно: его раздѣляла во всякое время дня и ночи тощая желтая кошка съ зелеными глазами, свѣтлыми и блестящими, какъ стекло.

Въ тотъ самый вечеръ, какъ началась наша повѣсть, часами двумя-тремя послѣ появленія торгаша въ Марьинскомъ, за перегородкой горѣла лучина. Грачиха была не одна. На скамьѣ за столомъ сидѣли человѣкъ среднихъ

лѣтъ и мальчикъ; передъ ними лежали обломки хлѣба, возвышалась солоница и чашка съ кашей. Жадность, съ какою оба припадали къ ѣдѣ, ясно показывала, что они недавно вошли и первымъ ихъ дѣломъ было позаботиться объ удовлетвореніи голода. Ворчливое лицо старухи не оставляло сомнѣнія, что она была не рада гостямъ; она даже и не скрывала своего неудовольствія: роясь подлѣ печки безъ всякой видимой цѣли, она не переставала ворчать и съ сердцемъ отталкивала каждый предметъ, попадавшійся ей подъ руки.

Но человѣкъ, сидѣвшій за столомъ, мало, повидимому, объ этомъ заботился: онъ продолжалъ уписывать кашу такъ же усердно, какъ будто пришелъ домой послѣ тяжкой полевой работы.

Ему было лѣтъ за сорокъ и ни одна еще сѣдина не серебрилась въ его черствыхъ, черныхъ какъ смоль волосахъ, разсыпавшихся нечесанными кудрями по всей головѣ; лицо его, оканчивавшееся коротенькой, но густой бородкой, было бы красиво, если бъ не портилъ его тотъ отвратительный, болѣзненно-бурый цвѣтъ кожи, мѣстами покрытый свинцовыми оттѣнками, цвѣтъ, исключительно почти свойственный бродягамъ, арестантамъ, или людямъ, ведущимъ самую безпорядочную, неправильную жизнь. Небольшіе сѣрые глаза, оттѣненные жёсткими бровями со множествомъ маленькихъ вихровъ (знакъ строптиваго, безпокойнаго нрава), отличались подвижностью, и если останавливались на одномъ предметѣ, то смотрѣли невыразимо плутовато и бойко. Бойкость взгляда несовсѣмъ, однакожъ, отвѣчала общему выраженію физіономіи: не было черты, которая обозначала бы рѣшимость, энергію; все въ ней было какъ-то мелко, хоть правильно, и выказывало природу въ высшей степени порочную, хитрую, но лишенную настоящей отваги и смѣлости. Голова его, приплюснутая съ боковъ, отвѣсно почти срѣзанная на затылкѣ, была рѣзко заострена на макушкѣ. Есть лица, которыхъ нѣтъ возможности забыть, хоть встрѣчаешь ихъ разъ, да и то мелькомъ; большею частью васъ поражаетъ въ нихъ не столько рѣзкая особенность, сколько самое выраженіе, или мелкая черта: родимое пятно, рябинка и проч. Такъ въ человѣкѣ, представленномъ вниманію читателя, трудно было забыть его тонкій носъ съ горбикомъ посерединѣ и подвижными, приподнятыми ноздрями, которыя открывали съ обѣихъ сторонъ часть носовой пере-

городки; носъ этотъ никогда ужъ не изглаживался изъ памяти, и стоило только припомнить эти открытыя ноздри, какъ ужъ все лицо тотчасъ же ясно обрисовывалось. Однимъ словомъ, это была фигура, которая поразитъ несовсѣмъ пріятно при встрѣчѣ въ лѣсу... Одежда незнакомца состояла изъ бараньяго полушубка, покрытаго заторами и прорѣзами; правое плечо и локоть выглядывали наружу; вмѣсто петель и пуговицъ, чернѣли только ямки; на груди выставлялась разодранная стеганая на ватѣ манишка, какую носятъ подгородные мѣщане, фабричные и солдаты; изъ-подъ зеленоватыхъ сермяжныхъ панталонъ, протертыхъ на колѣняхъ и зазубренныхъ внизу, выступали ветхіе лапти, переложенные соломой. Дороги теперь, особенно бойныя, совсѣмъ ужъ пересохли; грязь, покрывавшая лапти незнакомца, невольно заставила подозрѣвать о случайной ходьбѣ, то-есть такой, которая вынуждала его оставлять бойныя, всѣми посѣщаемыя дороги и пробираться полями.

Тѣ же слѣды грязи были и на лаптишкахъ мальчика-карапузика, лѣтъ десяти, съ отчаянно-плутоватой, насмѣшливой рожицей. Круто вздернутый носъ, оканчивающійся вострячкомъ, принималъ видъ толстой, коротенькой запятой, обращенной вострымъ концомъ кверху; верхняя губа его, разсѣченная пополамъ, и острые зубы, расположенные угломъ, какъ у грызуновъ, дѣлали его похожимъ на зайца; щурившіеся каріе глазки далеко, однакожъ, не отличались заячьими свойствами: въ нихъ свѣтилось почти столько же хитрости и лукавства, сколько въ глазахъ его товарища; этимъ, впрочемъ, и ограничивалось сходство; волосы мальчугана, жесткіе и почти красные, торчали вострякам во всѣ стороны, что̀ дѣлало голову его весьма схожею со встрепаннымъ артишокомъ; лохмотья еще безобразнѣе, еще обношеннѣе, чѣмъ у товарища, покрывали члены ребенка, отличавшіеся здоровьемъ и силой.

— Тетка Лукерья, слышь! что ужъ тутъ? угощать, такъ угощай! началъ незнакомецъ, отодвигая чашку съ кашей къ мальчику, который казался ненасытнымъ,—полно скупиться... Ну, для стараго-то дружка угости, касатка! прибавилъ онъ тономъ принужденной веселости, какъ бы заранѣе сомнѣваясь въ успѣхѣ своей просьбы.

И точно, вмѣсто отвѣта, старуха толкнула только заслонку печи. Мальчикъ, смекнувшій, видно, причину ея неудовольствія, звонко засмѣялся.

— Ты что̀, пострѣлъ, зубы-то скалишь?.. туда же! Ѣлъ бы, когда некупленнымъ кормятъ! проговорила Грачиха.

— Слышь, тетка, одинъ стаканчикъ всего: заслужу! подхватилъ незнакомецъ.

— Спасибо скажи, что пустили-то — вотъ что̀! сердито проворчала колдунья.— Много васъ здѣсь шляется! А ты чему обрадовался? давай! неожиданно заключила она, подходя къ столу и протягивая руку къ чашкѣ съ кашей.

Мальчикъ однимъ быстрымъ движеніемъ скрылъ чашку подъ столъ. Выходка эта окончательно разсердила старуху; она разразилась бранью и протянула руки, чтобъ ухватить мальчишку за волосы; ребенокъ быстро откинулъ назадъ голову, запряталъ чашку еще дальше подъ столъ, смѣялся и смотрѣлъ на нее своими плутовскими глазами. Грачиха, безъ сомнѣнія, не совладала бы съ пострѣломъ, если бъ не вмѣшался незнакомецъ.

— Отдай! сурово крикнулъ онъ, ударивъ кулакомъ по столу.

Мальчикъ нимало, повидимому, не смутился и отдалъ чашку.

— Эхъ, Лукерьюшка! заговорилъ тогда незнакомецъ,— забыла, знать, стараго дружка, не нуженъ сталъ теперича! То-то вотъ и есть, не по-нашему значитъ; по-нашему: зналъ дружка въ радости, не оставляй въ горести.

Онъ покосился на мальчика, и замѣтивъ, что тотъ исподтишка толкалъ ногою ухватъ, чтобъ уронить его наземь, далъ ему подзатыльника и послѣ того продолжалъ какъ бы ни въ чемъ не бывало:

— Признаться, на тебя на одну только надѣялся, право такъ. Вотъ, думалъ, приду въ свои мѣста, тетка Лукерья выручитъ. Помнючи, примѣрно, прежнюю твою добродѣтель, какъ въ тѣ поры выручила, такъ все одно, примѣрно, и теперь въ надеждѣ былъ... Э-эхъ-ма!..

Онъ пріостановился, провелъ ладонью по волосамъ, пожалъ губами, крякнулъ и, пристально устремивъ глаза на старуху, продолжалъ выпытывающимъ голосомъ:

— Ка̀къ еще шелъ-то къ тебѣ, словно къ сродственницѣ шелъ!.. Думалъ еще деньжонками у тебя позаняться—вотъ какъ...

Старуха, стоявшая лицомъ къ печкѣ и обнаруживавшая самое полное равнодушіе къ словамъ гостя, вдругъ обернулась.

— Ступай, ступай, отколѣва пришелъ! крикнула она,

выказывая такую досаду, какъ будто въ словахъ гостя заключалась горькая обида, — дали тебѣ ѣсть: чего еще? ну и ступай!

— Да ты выслушай... полно серчать-то... выслушай...

— Коли шелъ затѣмъ, подхватила она, разгорячаясь,— шелъ бы не ко мнѣ, шелъ бы лучше...

— Куда? съ суровой усмѣшкой перебилъ гость.

— Туда... знаешь... начала было старуха и вдругъ замялась и остановилась, повинуясь взгляду, которымъ гость указалъ ей на мальчика.

— Степка! отрывисто сказалъ незнакомецъ, — сытъ теперича? Ну и ладно. Пошелъ въ сѣни, либо выйдь къ ручью... походи тамъ маленько; далеко не ходи, смотри— слышь?

— Мнѣ не хоцца, я здѣсь посижу, бойко возразилъ мальчикъ.

— Ступай! запальчиво крикнулъ незнакомецъ, дѣлая движеніе, чтобъ привстать съ мѣста, и замахиваясь.

Но и въ этотъ разъ угроза, казалось, слабо подѣйствовала на мальчика; онъ только откинулся въ сторону; на губахъ его появилась лукаво-насмѣшливая улыбка, которая ясно показывала, что онъ очень хорошо понималъ, зачѣмъ хотятъ его выпроводить. Улыбка эта не сходила съ лица его; и во все время, какъ пятился онъ къ двери, щурившіеся глаза его переходили отъ старухи къ ея товарищу.

— Добре́ смышлёнъ! сказалъ незнакомецъ, когда мальчикъ вышелъ изъ лачуги, — главная причина—шустёръ оченно, плутоватъ, окаянный; слово скажешь, глазомъ мигнешь — смекаетъ. Неравно что̀ и сболтнетъ... Шибко связалъ онъ меня!

— Точно приневоливали; самъ взялъ! неохотно проворчала Грачиха.

— Жену поучить хотѣлъ, потому больше, сурово возразилъ гость, — вижу, стала держать ихъ руку, я его и увелъ. Выходитъ, только себя наказалъ. Пожалуй, опять бы теперича отдалъ — лишняя только тягота—да первое дѣло мать умомъ повихнулась; второе дѣло, опасливо: болтать станетъ; все смыслитъ, даромъ на видъ не казистъ; вездѣ таскалъ съ собою, мало ли что̀ видѣлъ; гдѣ примѣрно бывалъ—обо всемъ этомъ повѣдаетъ... И то кажинный разъ какъ *туда* иду, не беру съ собою—опасливо, боюсь, мать признаетъ, люди увидятъ.

— Что жъ ты его, разбойникъ, ко мнѣ-то привелъ? крикнула Грачиха.

— Эка вздорная какая! Дай сказать! съ досадою перебилъ гость, — рази кто насъ видѣлъ, какъ сюда шли? И то въ лощинѣ сидѣли, ночи дожидались...

— Ступай, ступай! ну васъ совсѣмъ! Я чай, рыщетъ теперь пострѣлъ... уйдетъ еще на деревню, наткнется на кого: всѣ тебя знаютъ по всему околотку. Ступай; ну васъ! Ступай, говорю!

— Полно, тетка, перестань! началъ упрашивать гость,— коли только изъ этого, духомъ сбѣгаю, приведу его; ночь темная—никто не увидитъ. Дай, слышь, дай хоть ночь-то переночевать! Лѣто придетъ, въ лѣсу тепло будетъ, не стану тревожить. Сдѣлай милость, не сумлѣвайся... Эка, право, какая!.. Сейчасъ кликну, здѣсь будетъ.

И, не дожидаясь возраженія, онъ кинулся вонъ изъ лачуги. Нѣсколько минутъ спустя, въ сѣняхъ послышался голосъ его и голосъ мальчика; онъ снова вернулся за перегородку.

— Чего опасалась? Онъ тутъ подлѣ избы сидѣлъ; ничего, говорю; изъ сѣней теперь не выступитъ, проговорилъ бродяга, между тѣмъ, какъ старуха вставляла новую лучину. — Эхъ-эхъ! пришло, знать, и мое времечко! добавилъ онъ, выразительно тряхнувъ кудрявою своею головою.

Онъ прошелся раза два отъ печки къ столу, сѣлъ, провелъ ладонью по волосамъ, потомъ снова всталъ.

— Тетка, слушай, сказалъ онъ тономъ упрека, который худо скрывалъ досаду, отражавшуюся въ каждой чертѣ лица его, — слушай: не знаешь, гдѣ найдешь, гдѣ потеряешь!.. Полно, тетка! подхватилъ онъ, смягчая рѣчь и голосъ, потому что первыя слова его не произвели ни малѣйшаго дѣйствія на старуху—ну за что̀ серчаешь, за что̀? Провалиться, не вѣдаю!.. Хлѣба, и того стало жаль. Полно, говорю, не Богъ знаетъ чего прошу... Прошу: не оставь!.. Нужда шибко взяла, потому прошу... Вишь, какъ обносился, вишь, смотри... примолвилъ онъ, поворачиваясь къ ней то однимъ бокомъ, то другимъ и выставляя напоказъ прорѣхи и заплаты,—тоже вишь и лаптей нѣтъ... Право, пособи... А ужъ насчетъ, то-есть... за себя постоимъ! Скажешь: Филиппъ, сдѣлай то — тутъ и есть! Укажи только, укажи на какое хошь дѣло... намъ рази впервые съ тобой вѣдаться?.. Шепни, примѣрно, у кого

какая лошадь—завтра же къ тебѣ придутъ за нею, въ упросъ просить станутъ...

— Не надыть, не проси... ничего не дамъ! упрямо сказала старуха.

— Ты думаешь насчетъ парнишка, то-есть, связалъ меня? онъ помѣшаетъ?

— Хоть бы такъ...

— На то время можно здѣсь у тебя оставить...

— Нужда мнѣ съ нимъ возиться! Кто за нимъ усмотритъ? Вишь онъ, окаянный, шустрый какой!..

— Слышь: выручи только, объ одномъ прошу; выручи; каяться не станешь; выручи только... хоть на время выручи...

— Стало, ужъ *тамъ* взять-то нечего? *туда* бы шелъ! перебила Грачиха.

— Былъ и *тамъ*, вечоръ еще былъ, торопливо подхватилъ Филиппъ.—Коли тебя пришелъ просить—безъ толку, стало-быть, ходилъ: не токма̀ денегъ, хлѣба, и того нѣтъ. Я ужъ и такъ, и сякъ стращалъ — ничего нѐ возьмешь; ужъ это значитъ вѣрно, что нѣтъ ничего; а то бы дай, мое было бы; постращай только его — братъ ничего не утаитъ... Мы это дѣло-то знаемъ, какъ съ нимъ справляться: не впервòй!.. Потому больше къ тебѣ и пришелъ: нужда заставила. Сдѣлай милость, Лукерьюшка, пособи! снова присталъ Филиппъ,—такъ, малость самую... тревожить больше не стану, уйду; и то сказать, опасливо теперь здѣсь оставаться. Въ другое время—ништò, пожилъ бы; теперь убираться надо. Узналъ я вечоръ, какъ къ брату ходилъ, сказывали: господъ ждутъ; не нонѣ, завтра ждутъ; при нихъ какъ разъ сцапаютъ... надо убраться во-время, потому больше и прошу: пособи, тетка, сама знаешь, безъ лаптей не далеко уйдешь.

На этомъ самомъ мѣстѣ, въ сѣничкахъ, гдѣ находился мальчикъ, послышался вдругъ такой дикій крикъ, что Филиппъ и старуха дрогнули всѣмъ тѣломъ. Не успѣли они сдѣлать шагу, какъ новый крикъ еще диче, пронзительнѣе раздался въ сѣняхъ. Филиппъ кинулся было къ лучинѣ съ намѣреніемъ потушить ее, но Грачиха остановила его, сказавъ: „погоди“, и, ковыляя, побѣжала къ двери.

— Кто тутъ? спросила она.

Въ отвѣтъ на это, надъ самою ея головою повторился новый крикъ, еще звонче, еще отчаяннѣе первыхъ двухъ.

— Ахъ ты, разбойникъ! закричала старуха, тотчасъ же, вѣроятно, смекнувъ, въ чемъ дѣло. — Постой! я жъ тебя, окаяннаго!.. Эй, Филиппъ! подхватила она, торопливо возвращаясь въ избу, — это твой пострѣлъ съ кошкой... Кошку куда-нибудь, разбойникъ, запряталъ... Я жъ ти, погоди!

Грачиха взяла лучину и побѣжала въ сѣни; Филиппъ послѣдовалъ за нею. Крики становились все жалобнѣе и протяжнѣе. При свѣтѣ лучины, старуха точно увидѣла желтую свою кошку, которая болталась на перекладинѣ, привязанная къ хвосту. Мальчикъ, свернувшись клубкомъ въ углу сѣней, спалъ крѣпкимъ сномъ; но храпѣнье, которое издавалъ онъ для вящшаго эффекта, измѣнило ему: старуха налетѣла на него, какъ разъяренная насѣдка, проворно перенесла лучину въ лѣвую руку и правою рукою схватила его за волосы; мальчикъ тряхнулъ головою—и, не подоспѣй во-время отецъ, онъ укусилъ бы старухѣ руку.

— Оставь его, тетка! я его самъ лучше проучу; твои руки старыя; дай только сперва кошку отцѣпить.

Сказавъ это, онъ приставилъ къ перекладинѣ лѣсенку, которая вела на чердакъ и которую мальчикъ ухитрился поставить на прежнее мѣсто. Секунду спустя, бѣдная кошка рухнулась на-земь, вскарабкалась на стѣну и, фыркая, исчезла на чердакѣ.

— Теперь я до тебя доберусь! сказалъ Филиппъ, подходя къ ребенку.

Тотъ, по обыкновенію своему, не обнаружилъ ни малѣйшаго испуга; онъ безъ сопротивленія дался отцу.

— Хорошенько его, хорошенько! закричала колдунья, становясь на порогѣ и подымая лучину надъ головою.

— Вотъ тебѣ! помни! вотъ тебѣ! приговаривалъ, между тѣмъ, отецъ, дѣлая видъ, что деретъ его за волосы, но на самомъ дѣлѣ тормоша ему только голову, что́ заставило, однакожъ, сына биться по полу и кричать такъ пронзительно, какъ будто съ него сдирали кожу.

Старуха, испуганная крикомъ, который легко могъ дойти до Чѐрнева, велѣла отцу оставить и поплелась въ избу.

— Сюда! крикнулъ Филиппъ, слѣдуя за нею и обращаясь къ Стёпкѣ.

Стёпка вошелъ въ избу, продолжая хныкать и тереть лицо кулакомъ, изъ-подъ котораго выпрыгивали поперемѣнно то одинъ плутовской взглядъ, то другой, сопрово-

ждаемые не менѣе плутоватой усмѣшкой. Отецъ украдкой подалъ ему знакъ и подмигнулъ на старуху, которая суетилась ворчливо у лучины; Стёпка кивнулъ головой и тотчасъ же пересталъ хныкать.

Но едва только воцарилась тишина, какъ въ наружную дверь избушки кто-то сильно застучалъ. Филиппъ, старуха и мальчикъ переглянулись съ удивленіемъ. Два-три громкіе удара снова потрясли наружную дверь избы. Однимъ прыжкомъ Филиппъ очутился у лучины, пригнулъ испуганное лицо къ огню и задулъ его.

— Отопри! прокричалъ въ то же время за дверью басистый, хриплый голосъ.

— Тсс! молчи! шепнулъ Филиппъ.

— Можетъ... ко мнѣ... за дѣломъ, проговорила Грачиха.

— Такъ бы громко не стучался, возразилъ Филиппъ.

Голосъ сильно, однакожъ, измѣнялъ ему. Какъ всѣ люди, имѣющіе основательную причину бояться преслѣдованія, онъ думалъ одно только: ужъ не узнали ли случайно о его возвращеніи? Не встрѣтился ли онъ вчера на дорогѣ въ Марьинское съ кѣмъ-нибудь, кого самъ не замѣтилъ? Не выдалъ ли братъ, или, вѣрнѣе, братнина жена?.. Мысли эти съ быстротою молніи мелькнули въ головѣ его, и съ каждымъ новымъ ударомъ въ дверь сердце его билось ускореннымъ тактомъ, дыханіе спиралось въ груди и пересыхало въ горлѣ.

— Отпирай! эй! раздался снова басистый голосъ, но ужъ теперь съ другой стороны лачуги, и кулакъ застучалъ подъ окномъ.

— Пусти, матушка, Христа-а-ра-а-ди!.. неожиданно подхватилъ другой, старческій, жалобный голосъ.

Не успѣлъ онъ замолкнуть, какъ ужъ раздался третій, звонкій, дребезжащій, какъ у козла:

— Эй, тётенька, спишь, что ли? Вставай, глазки протирай, слышь: сваты пріѣхали!..

При первыхъ звукахъ послѣдняго голоса, Грачиха покинула свое мѣсто.

— Слѣпые, проворчала она.

— Съ коихъ мѣстъ? торопливо спросилъ Филиппъ.

— Чужіе! возразила какъ бы изъ милости Грачиха.

Она подошла къ окну, отняла палку, которая придерживала старый скомканный зипунъ, закрывавшій окно, и спросила, какъ водится, обыкновенно, для виду: кто тутъ?

— Мы, мы, касатка, разомъ отозвались три голоса.

— Полно вамъ горло-то драть: слышу. Богъ подастъ! проворчала старуха.

— Осердчалая какая! Видно, съ просонья, замѣтилъ козлячій голосъ.

— Пусти переночевать! подхватили другіе.

— Вотъ нашли постоялый дворъ... Ну васъ совсѣмъ!.. тѣсно и безъ васъ...

— „Щадни" *), что ли? спросили за окномъ.

— Ступайте на деревню; мало ли дворовъ... тамъ и ночуете, сказала Грачиха.

— Были, касатка, да „лунёкъ" (собакъ) много добрé, лютыя такія, къ „рыму" (дому) не подпущаютъ, замѣтилъ, посмѣиваясь, козлячій голосъ. — Пусти, тетка; „сушакъ" (хлѣбъ) свой; „меркòшъ", „не зѣть ничего" (ночь, ничего не видно); „отцѣпи", „масья" (отопри, хозяйка-мать); пошли бы дальше, да лошади стали, добавилъ онъ, принимаясь турукать и посвистывать, какъ будто и въ самомъ дѣлѣ подлѣ него стояли лошади.

— Не впервые у тебя ночуемъ; пусти! буркнулъ басъ,— дѣло есть до тебя...

— „Перебу̀шки растерялъ, вершать нечѣмъ, безъ котю̀ра сталъ!" **) пояснилъ козлячій голосъ.

— Съ вами еще кто есть? спросила Грачиха.

— Нѣтъ, мальчикъ только, „котю̀ръ", отвѣчали нищіе.

Грачиха поправила платокъ на головѣ, нѣсколько секундъ стояла, какъ бы въ нерѣшимости, и, наконецъ, сказала:

— Ну, ступайте; дайте только лучину вздуть.

И, не обращая вниманія на Филиппа, который упрашивалъ ее не пускать гостей, Грачиха вздула лучину и поплелась въ сѣни.

VI.

Немного погодя, въ избу, одинъ за другимъ, вошли три человѣка. Грачиха неправильно назвала ихъ слѣпыми: изъ трехъ одинъ только оказался въ самомъ дѣлѣ слѣпымъ,

*) „Щадни", — гости, на условномъ языкѣ тульскихъ и рязанскихъ нищихъ, которые какъ бы составляютъ одну семью. Здѣсь, разумѣется, исключительно говорится о нищихъ по ремеслу. Мы не долго будемъ пользоваться терпѣніемъ читателя и приведемъ только нѣсколько образчиковъ этого языка, Богъ-вѣсть откуда взявшагося и кѣмъ созданнаго.

**) Глаза растерялъ, глядѣть нечѣмъ, лишился вожака-мальчика, который водитъ слѣпыхъ.

а именно тотъ, который былъ веселѣе другихъ, говорилъ и смѣялся козлинымъ голосомъ.

Странное противорѣчіе представляли ухмыляющіяся, можно сказать, прыгающія отъ веселости черты его съ бѣловатыми, неподвижно-мертвыми зрачками. Но такимъ полнымъ довольствомъ сіяло толстое, красное лицо его, такъ забавно вздергивался маленькій, какъ пуговица, носъ, такъ насмѣшливо передвигались губы, едва-закрытыя рѣдкими волосами, что невольно исчезало непріятное впечатлѣніе, производимое зрачками. Въ самой фигурѣ его, неуклюжей, коротенькой, напоминавшей медвѣжонка, даже въ его пріемахъ было что-то скоморошное, комическое. Онъ возбуждалъ смѣхъ, несмотря на его лѣта и на безчисленныя прорѣхи и заплаты, которыя покрывали его съ головы до ногъ, такъ-что съ которой бы стороны ни смотрѣть, всюду представлялся какой-то пѣгій человѣкъ.

Другой его товарищъ казался постарше: это былъ человѣкъ около пятидесяти-пяти лѣтъ, исполинскаго роста, атлетическаго сложенія, съ чернымъ лицомъ, какъ у цыгана, мрачно-нахмуреннымъ и грубымъ; совершенно-открытое темя, исполосанное глубокими морщинами и покрытое загаромъ, несмотря на только-что начинавшуюся весну и длинный промежутокъ зимы, дѣлалось еще смуглѣе въ сосѣдствѣ съ сѣровато-желтыми клочками волосъ, которые закрывали ему уши; его короткія мускулистыя руки, пальцы съ пучками волосъ между суставами и могучая шея показывали страшную силу; не только не чувствовалъ онъ тяжести полновѣсной сумы, висѣвшей у него за спиною, но ничего, казалось, не значило бы ему взвалить на плечи любой мельничный валъ. Говорилъ онъ отрывисто, и голосъ его звучалъ, какъ изъ бочки.

Третій товарищъ былъ тщедушный, низенькій старичокъ, согбенный годами; ему безошибочно можно было дать восемьдесятъ лѣтъ; на сморщенномъ лицѣ его всѣ черты какъ-будто прищуривались; оно сохраняло самое жалкое, униженное, полазчивое выраженіе. Глаза его видѣли еще ясно; но, вѣроятно, повинуясь жалкой роли своей, старикъ закрылъ ихъ, какъ-только вошелъ въ избу и увидѣлъ, при свѣтѣ лучины, посторонняго человѣка.

Весельчакъ, между-тѣмъ, суетливо выступалъ впередъ, держась одной рукой за конецъ палки, которая находилась въ рукахъ худенькаго, блѣднаго мальчика лѣтъ восьми, обутаго въ такіе лапти, что они пришлись бы

впору великану; другою рукою весельчакъ водилъ по воздуху; ладонь его случайно встрѣтила лицо старичка, и онъ закричалъ во все горло:

— Ослѣпъ! ослѣпъ! Братцы-кормильцы, ослѣпъ! Слышь, Верстàнъ (это было прозвище великана), смотри-тка: старикъ-то нашъ ослѣпъ! а вѣдь сейчасъ еще видѣлъ; недавно ослѣпъ и ничего ужъ не видитъ, сердечный!..

— Молчи, чужой... шепнулъ Верстàнъ.

— Свой, шепнула въ свою очередь Грачиха, шедшая, чтобъ запереть дверь.

— Что жъ ты намъ, „масьѝ“ (мать), ничего не сказала? крикнулъ весельчакъ, — э-эхъ! купилъ, значитъ, корову, привелъ домой, сталъ-было доить, а тутъ ужъ былъ быкъ! добавилъ онъ, уперевъ руки въ бока и ставъ козыремъ.

— Мальчикъ его? спросилъ Верстàнъ, указывая старухѣ на Степку.

— Мой! отозвался Филиппъ, къ которому, послѣ перваго бѣглаго взгляда, возвратилась увѣренность.

Весельчакъ остановился, внимательно прислушался къ голосу незнакомца. Услышь онъ его хоть десять лѣтъ назадъ, онъ и тогда не ошибся бы; но голосъ былъ ему незнакомъ; принявъ Филиппа за своего брата слѣпца (предположеніе, которое вызвано было присутствіемъ мальчика), онъ повернулся къ нему и спросилъ:

— Откуда, небоже?

— Прохожій...

— Вотъ это ладно, похвалить можно, произнесъ слѣпой тономъ недовѣрчивымъ и насмѣшливымъ, — отколева ни шелъ, насъ не миновалъ, къ кумѣ въ гости зашелъ— это ладно!..

Но, вѣроятно, не довольствуясь неопредѣленнымъ отвѣтомъ Филиппа и побуждаемый подозрительнымъ любопытствомъ, свойственнымъ слѣпымъ, весельчакъ обратился къ вожаку своему и сказалъ ему на своемъ нарѣчіи, чтобъ онъ подвелъ его къ чужому мальчику; поровнявшись со Степкой, слѣпой неожиданно опустилъ ему на голову свободную руку свою и такъ быстро ощупалъ ему лицо, что тотъ не успѣлъ отвернуться.

— Э-е! курносый какой!.. да и зубы-то заячьи — ѣдовàтъ, должно-быть, паренекъ-то... Мотри, Мишка, близко не подходи: укуситъ!.. произнесъ слѣпой.—Эвна... э! ахъ ты! поди какой, драться еще вздумалъ! подхватилъ онъ, почувствовавъ на рукѣ кулакъ Степки,—ну, давай, давай,

когда такъ... только, чуръ, мотри, подножки не ставь... давай, берись; кто кого...

— Полно тебѣ, бѣшеный... какъ-те звать-то?

— Фуфаевъ, касатка... Фуфаевъ!.. Зовутъ Евдокимъ, величаютъ Фуфаевъ...

— Полно, когда такъ; чего развозился? продолжала Грачиха, появляясь въ маленькой дверцѣ между печью и перегородкой.

Тамъ, за перегородкой, успѣли ужъ расположиться мрачный Верстанъ, старикъ, Филиппъ, и слышались разспросы: откуда? куда?—разспросы, на которые Филиппъ отвѣчалъ самымъ сбивчивымъ образомъ.

— Мишка, сказалъ слѣпой, пробираясь ощупью по палкѣ къ своему вожаку, получившему отъ Степки на свой пай нѣсколько ударовъ, предназначавшихся слѣпому, — Мишка, прибавилъ онъ, сбрасывая наземь суму, — садись-ка, поужинай... Вишь у насъ съ тобой сколько корокъ-то!.. живой человѣкъ—проглотишь!.. да и товарища угости. Выбирайте что̀ ни-на-есть самую сладенькую изъ всѣхъ—гуляемъ, значитъ!.. А жёстко покажется, хозяйка молочка дастъ для праздничка... Гдѣ нищій не бывалъ; тамъ, слышь, по двѣ милостыни даютъ—такъ ли „масья̀“, а?..

— Полно, полно балясничать-то! ворчала Грачиха, — спать ложись; не время съ вами возиться.

Оставивъ вожака своего, который сѣлъ, пригорюнясь, на лавку въ первой половинѣ избы, слѣпой ощупью направился къ хозяйкѣ.

Войдя за перегородку, онъ ощупалъ ладонью каждаго изъ присутствующихъ, расположился подлѣ Филиппа и, приподнявъ руку, провелъ, какъ бы нечаянно, ладонью по лицу его.

— Дальше, братъ; я этого не люблю, проговорилъ онъ грубо, отталкивая руку.

— Экой ты, какой!.. какъ же такъ?.. Вѣдь вотъ товарищи тебя видятъ... а мнѣ такъ ужъ стало-быть и нельзя... и мнѣ хочется!.. Даромъ у меня глаза-то глядятъ, какъ собаки ѣдятъ, и ничего не вижу!.. „Перебухѝ-то у меня въ пучки сбѣжали“... (глаза у меня въ пальцы ушли), тамъ и остались, удержалъ насилу... Ты этимъ не обижайся... какъ-те звать-то?

— Евдокимомъ, наобумъ отвѣчалъ Филиппъ.

— Э! ну вотъ еще и тёзка!.. Эка знатная у тебя компанія собралась, „масья̀“! Ты не чаяла, небось, дорогихъ

гостей... оно и все такъ-то: около проруби и все слетаются бѣлые голуби!.. подхватилъ Фуфаевъ,—чѣмъ-то насъ только угощать станешь?.. Не брезгливый народъ! давай хошь „крёса“ (мясца), и то съѣдимъ... мы люди заѣзжіе, у тебя добро-то завозное—жалѣть, стало, нечего.

— Хлѣбъ ѣшь, коли голоденъ...

— Да что хлѣбъ! „Сушакъ“ (хлѣбъ) у насъ и свой есть! въ своихъ амбарахъ много, вишь! сказалъ онъ, похлопывая по сумѣ старика, который жадно ухватился за нее обѣими руками,—чего испугался, дядя Мизгӥрь? ужъ полно, нѣтъ ли у тебя тутъ денегъ,. въ сумѣ-то? подхватилъ Фуфаевъ.

Онъ остановился, поднялъ брови, выразительно кивнулъ головою на старика и продолжалъ:

— Ты, тетка, можетъ, еще не знаешь... и ты, Евдокимъ, не знаешь... Вѣдь дядя-то этотъ у насъ богачъ! Не смотрите, онъ такимъ общипаннымъ кажетъ: онъ это такъ, для виду... у него деньги-то и-и! только накопилъ, самъ счетъ забылъ... Намъ бы самимъ невдогадъ, подхватилъ Фуфаевъ, видимо забавляясь проклятіями, которыя посылалъ ему старикъ,—сами не вѣдали, гдѣ у него деньги-то спрятаны, да намедни проговорился... во снѣ выдалъ: все про какую-то кубышку бормочетъ... мы давай приставать; что жъ? дознались, вѣдь, сказалъ: у него, слышь, кубышка, съ деньгами-то въ Журавлинской рощѣ зарыта... Не сойти мнѣ съ этого мѣста, коли не такъ!

— И не сойдешь когда такъ! не сойдешь, окаянный! злобно проговорилъ Мизгирь, — ну чего присталъ? чего привязался?.. Оставь! добавилъ онъ, огрызаясь, какъ старый беззубый волкъ, настигнутый собаками.

— Диковинное дѣло: кому онъ только деньги-то копитъ? продолжалъ еще усерднѣе приставать Фуфаевъ, для котораго не было лучшаго увеселенія, какъ дразнить старика,— самъ вѣдь въ гробъ глядитъ, а „юсы“ (деньги) копитъ. Умрешь, ничего вѣдь съ собой не возьмешь... И не умираетъ-то онъ, братцы, потому больше, боится: дорого возьмутъ за похороны... Скупые всѣ въ одново; они что̀ „маркӳши“ (овцы): спроси овцу, кому шерсть растӥтъ — рази для себя? другимъ же достанется... Скажи лучше, дядя Мизгирь, право скажи, въ кое мѣсто кубышку зарылъ?.. Ой, скажи!

— Экой шутъ какой! смѣясь, замѣтилъ Филиппъ, — и все-то онъ у васъ такой веселый?

— О чемъ скучать-то? что глазъ-то нѣту? эвна! да ты мнѣ назадъ ихъ отдай — не возьму, право не возьму! зачѣмъ они мнѣ? Глаза человѣку непріятели.

— Ну, нѣтъ, братъ, съ глазами-то все повеселѣе! сказалъ Филиппъ, посмѣиваясь.

— Тебѣ, може статься, такъ; ты, можетъ, богачъ, вотъ какъ нашъ дядя Мизги́рь, все одно; живешь, можетъ, въ каменныхъ палатахъ, ходишь по садамъ съ цвѣтами всякими... есть и жена красавица, есть, стало, на что и смотрѣть... А у меня, какъ нѣтъ этого ничего, смотрѣть нѐ на что, такъ и глазъ не надыть... безъ нихъ лучше. Вотъ хоть бы теперь: всѣ вы для меня въ сапогахъ, всѣ въ пестрыхъ рубахахъ... Баба какая подвернется, та и красавица... всѣ въ обновкахъ на глаза мои, словно кажинный день праздникъ...

— Ну, а самъ-то о себѣ ничего, не тужишь? Всѣ въ обновкахъ, а у самого заплаты однѣ, сказалъ Филиппъ.

— Что жъ, что заплаты? Бѣдный — что горбатый: что̀ на спину попало, то̀ и носитъ; намъ это ничего... была бы мошна, чтобъ краюха вошла, былъ бы животъ, чтобъ въ него перешло!

— Что жъ вы?.. Говорили, за дѣломъ пришли; коли за дѣломъ, сказывайте, а не то спать ложись... проворчала Грачиха.

— Стой, тетка, стой, твоя рѣчь впереди! перебилъ Фуфаевъ, — вотъ ты говоришь: спать пора; твоя рѣчь разумная... только слышь: у насъ теперь дѣло пойдетъ, о чемъ, примѣрно, говорили... такъ надо, примѣрно, сперва-наперва винца выпить, умъ подкрѣпить, словеса подобрать такія, примѣрно, къ дѣлу пригодныя... какъ хошь, а безъ винца ужъ этого нельзя никакимъ манеромъ.

— Нѣтъ, не уймешь его! что̀ жерновъ мелетъ безъ устали!.. Вишь его неугомонный какой... проговорили Филиппъ и Верста́нъ, первый съ усмѣшкой, второй съ досадой.

— Дай сказать... Чего взаправду лѣзешь?.. дѣло есть! забасилъ Верста̀нъ.

— Ну, говори! произнесъ Фуфаевъ, наклоняя голову, чтобъ слушать.

— Вотъ... началъ Верста̀нъ.

— Ну, что: вотъ!.. Вотъ, да и нѣтъ ничего! перебилъ Фуфаевъ. — Тебѣ, братъ, не дождаться... дай я разскажу. Слышь, тетка: былъ у него, у Верста̀на, мальчикъ — вожакъ по-нашему; былъ да сплылъ; пришелъ срокъ, отецъ

назадъ взялъ... Сталъ онъ теперь одинъ; скучаетъ, сирота какъ есть; такъ вотъ спросить пришелъ, не знаешь ли, гдѣ бы, примѣрно, вожака достать...

— Я бы и денегъ не пожалѣлъ, сказалъ Верстанъ,— есть теперь рублевъ съ десятокъ, всѣ бы отдалъ, кабы потрафилось найти малаго...

— Да на что̀ тебѣ? спросилъ Филиппъ,—глаза худо видятъ, что ли?..

— Экой ты, братецъ! воскликнулъ Фуфаевъ,—видитъ-то онъ лучше быть нельзя! брось полушку на траву—его будетъ, ужъ это безпремѣнно!.. А все безъ вожака все, нельзя никакъ. Ну, кто будетъ его по деревнямъ-то водить?.. вѣдь ужъ такая напасть на него: покажись только околица—сейчасъ ослѣпнетъ! Ей-Богу такъ!.. Вотъ дядя Мизгирь, такъ тотъ еще за версту отъ околицы ничего ужъ не видитъ; сердечный, совсѣмъ слѣпой сдѣлается.

— Эка ягоза̀, право ягоза̀! такъ и шипитъ, ягоза̀ проклятая! злобно проворчалъ старикъ.

— Теперь вотъ что̀, продолжалъ Фуфаевъ,—пришли мы въ деревню—ладно; какъ нѣтъ у Верста́на малаго, волей-неволей съ нами идти долженъ, потому слѣпъ, сердечный, самъ идти не можетъ, спотыкается... Вотъ стали мы у двора—ладно; поемъ Лазаря... знамо, наше дѣло такое: горломъ хлѣбъ достаемъ... Ладно; всякъ примѣрно и судитъ: видитъ, трое: „на̀-те, молъ, вамъ, касатики, ломтикъ, а больше не просите, нѣтути“; ну, и дѣлишь ломоть-то на-трое... А какъ малый-то есть у Верста̀на, идетъ онъ съ нимъ по одной сторонѣ деревни, я да Мизгирь по другой—этакъ больше наберешь...

Тутъ Верста̀нъ толкнулъ локтемъ разсказчика, давая ему знать, вѣроятно, чтобъ онъ не слишкомъ давалъ волю языку при постороннемъ.

— Ты всѣхъ, тетка, по округѣ-то знаешь, сказалъ онъ,—нѣтъ ли малаго на примѣтѣ? Право, десять рублевъ есть, не пожалѣю, всѣ отдамъ.

Грачиха отвѣчала, что никого не знаетъ.

— Я знаю! воскликнулъ вдругъ Филиппъ, ожидавшій съ явнымъ нетерпѣніемъ отвѣта старухи.

— Говори, когда такъ! сказалъ Верста̀нъ.

— Вѣрны ли деньги?

— Вотъ онѣ. Малаго въ руки—и деньги въ руки...

— Слушай, коли такъ, произнесъ Филиппъ, оживляясь вдругъ до послѣдняго суставчика,—вечоръ проходилъ я...

тутъ недалече есть такая деревня, Мàрьинское прозывается, началъ онъ, переглянувшись предварительно съ Грачихой и обративъ потомъ быстрые, сверкающіе глаза къ Верстàну,—остановился обѣдать у мужика... не помню, какъ его звать (мы не здѣшніе, проходимцы, въ Москву идемъ, знать не для чего). Такъ вотъ, видѣлъ я у него парнишку, во всемъ тебѣ съ руки, какой надобенъ... У отца ихъ никакъ цѣлая дюжина... Кабы переговорить съ нимъ, отдалъ бы... потому бѣдность шибко взяла, ѣсть нечего, да и должишками спутался, сказывалъ. Ужъ это вѣрно, что отпуститъ... а паренечекъ такой... тебѣ въ самый разъ... годковъ десятокъ; отпуститъ, говорю—были бы деньги.

— Мы въ этомъ не постоимъ, сказалъ Верстанъ,—вотъ и за того, что былъ у меня, десять рублевъ въ годъ отцу давалъ. Гдѣ эта деревня-то? въ кое сторону?

Филиппъ, лицо котораго все болѣе и болѣе оживлялось, разсказалъ во всѣхъ подробностяхъ дорогу въ Мàрьинское; онъ сообщилъ, какъ сыскать домъ, гдѣ находился мальчикъ.

— Дѣло немудрое, заключилъ онъ,—седьмая изба съ краю... войдете въ околицу: съ лѣвой стороны. Только вотъ что̀, братъ, какъ станешь, примѣрно, разговоръ вести, не говори, смотри, обо мнѣ, что, дескать, я посылалъ; отъ себя, примѣрно, дѣло веди, какъ словно прежде не зналъ ничего, пришло къ случаю.

— Зачѣмъ говорить!

— То-то; вѣрно говорю, никакого толку не будетъ, подтвердилъ Филиппъ, перекидываясь новымъ взглядомъ съ Грачихой, которая во все это время посматривала на него съ любопытствомъ, но какъ бы не совсѣмъ хорошо понимая, къ чему клонится разговоръ.

— Ну, „масья̀“! воскликнулъ Фуфаевъ, поворачивая смѣющееся лицо къ хозяйкѣ,—одно дѣло справили, теперь другое... Слышь: дай винца! Вотъ и Верстàнъ скажетъ...

— Что жъ! можно... произнесъ Верстàнъ.

— И я бы ужъ, такъ и быть, выпилъ, сказалъ расходившійся Филиппъ.

— Много у васъ прислужниковъ-то въ кабакъ ходить! Ничаво, и такъ уснете, возразила Грачиха съ меньшею, однакожъ, суровостью, чѣмъ когда отказала въ той же просьбѣ Филиппу.

— Зачѣмъ въ кабакъ? Э, полно! Поищи-ка, тетка; авось у тебя найдется...

Присутствующимъ очень хорошо было извѣстно, что въ подвалѣ знахарки находится запасъ штофовъ, которые достались ей за трудъ, то-есть даромъ, и она радовалась всегда случаю сбывать провизію за деньги; эта продажа достававшихся ей запасовъ составляла одну изъ главныхъ отраслей ея доходовъ. Нельзя было, однакожъ, высказать прямо свою готовность: необходимо было прежде поломаться; основываясь на этомъ, она повернулась къ нимъ спиною и принялась бормотать что-то сквозь зубы.

— Ну, полно же, тетка, полно! пошевеливайся!.. на чистыя вѣдь деньги беремъ... али не вѣришь? смотри...

Фуфаевъ торопливо вынулъ изъ-за пазухи небольшой кошелекъ изъ холстины, болтавшійся на веревкѣ; развязавъ его зубами, онъ высыпалъ на ладонь мѣдные гроши, въ числѣ которыхъ сверкнули серебряныя мелкія монеты, и принялся считать ихъ съ невообразимою быстротою и ловкостью.

— Давай складчину, ребята... по гривеннику съ брата!.. Давай, Верстàнъ.

Верстàнъ вынулъ изъ-за пазухи такой же точно мѣшочекъ и отсчиталъ нѣсколько мѣдныхъ пятаковъ. Ощупавъ ихъ и убѣдившись, что счетъ вѣренъ, Фуфаевъ обратился къ старику, который сначала дѣлалъ видъ, будто ничего не слышитъ, потомъ началъ жалобно увѣрять, что у него всего два гроша, и наконецъ рѣшительно объявилъ, что пить не станетъ. Филиппъ, между тѣмъ, привсталъ съ мѣста, отвелъ старуху въ уголъ и началъ съ нею шептаться.

— Лучше не проси; не дамъ безъ денегъ. Коли они угостятъ—пей... я безъ денегъ не дамъ, сказала она.

— Я жъ тебѣ говорю, вѣдь это все одно, возразилъ Филиппъ, понижая голосъ,—ужъ эти деньги, что брату попадутъ за мальчика, ужъ это мои—все одно; къ тому, примѣрно, все дѣло подвелъ; отдамъ, значитъ. Завтра же вечеромъ схожу... всѣ отдастъ до копейки... не впервой мнѣ, сама вѣдаешь... ну...

Тутъ голосъ его совсѣмъ понизился. Надо полагать, онъ нашелъ, однакожъ, способъ окончательно убѣдить старуху; черты ея смягчились, и она утвердительно кивнула головою. Тѣмъ не менѣе она украдкою погрозила ему кулакомъ и снова замотала головою, когда Филиппъ, вернувшись къ столу, выразительно мигнулъ ей на деньги,

лежавшія на ладони слѣпого. Пересчитавъ деньги, старуха зажгла лучину и вышла въ сѣни.

Во время всѣхъ этихъ объясненій, никто не обратилъ вниманія на шумъ, раздававшійся въ передней половинѣ избы, гдѣ сидѣли мальчики. Голоса ихъ, прерванные вдругъ жалобнымъ воплемъ, заставили присутствовавшихъ приподнять голову.

— Эй вы, молодцы! али кто кого обидѣлъ? крикнулъ Фуфаевъ.

Жалобный вопль, превратившійся въ рыданіе, остановилъ его.

— Ну ихъ совсѣмъ, сказалъ Филиппъ.

— Пущай обзнакомятся! подхватилъ Верстанъ съ глупымъ смѣхомъ.

— Нѣтъ, погоди, никакъ мой Мишутка хлюпаетъ, вымолвилъ Фуфаевъ, прислушиваясь, — точно онъ!.. Мишка, подь сюда... подь, глупый, не бойся.

Съ этими словами, въ маленькой двери, между печью и перегородкой, показался худенькій мальчикъ, обутый въ исполинскіе лапти; блѣдное, изнуренное лицо его, казавшееся еще худощавѣе, блѣднѣе между длинными прядями черныхъ, давно нестриженныхъ волосъ, искажалось теперь отъ усилій сдержать рыданія; но усилія были напрасны: длинныя рѣсницы, окружавшія его темные глаза, пропускали потоки слезъ; прижимая изо всей мочи маленькій, костлявый кулакъ къ узенькой, впалой груди своей, онъ все-таки силился подавить наружные признаки горя; но горе было видно слишкомъ сильно, и рыданія, прерываемыя кашлемъ, вырывались одно за другимъ.

— Вишь нюни-то распустилъ! сказалъ Филиппъ съ суровымъ презрѣньемъ.

— Эка зюзя! промолвилъ Верстанъ,—такой-то ужъ мокрый: обо всемъ реветъ! Былъ бы ты у меня, я бы тебя проучилъ...

— Вотъ что, Верстанъ, перебилъ Фуфаевъ,—добудешь малаго, вотъ про котораго онъ тебѣ сказывалъ, того и учи; а объ моемъ не сумлѣвайся. Мишка, подь ко мнѣ... о чемъ? спросилъ онъ, ощупывая ладонью лицо ребенка.

— Я... я... началъ, всхлипывая, мальчикъ,—я... я его не трогалъ...

— Стало, онъ?

— Онъ все меня бьетъ... продолжалъ мальчикъ, заливаясь слезами, — я его не трогалъ ничѣмъ... онъ давно

дерется... Я все ничего не сказывалъ... да больно ужъ дерется...

— Что жъ это ты, братъ, не уймешь его? Я уйму, когда такъ! проговорилъ Фуфаевъ, и на лицѣ его въ первый разъ исчезла улыбка.

Филиппъ только разсмѣялся.

— Эхъ ужъ эти курносые! погоди! подвернешься ко мнѣ въ сильныя руки, я те отжучу!.. сказалъ Фуфаевъ, обращая рѣчь къ Степкѣ, скрывавшемуся за перегородкой, и, погладивъ по головѣ Мишку, прибавилъ весело:— полно, Мишутка, придетъ и его чередъ: онъ тебя побилъ, и его побьютъ; наскочитъ!.. Надо, братъ, привыкать: малъ бывалъ, корки ѣдалъ; выростешь — кашу ѣсть станешь, да еще масляную.

Рѣчь его была прервана появленіемъ старухи, которая несла штофъ.

— Ай да тетка! молодца! Ей-Богу, женюсь на тебѣ! право-слово, женюсь! закричалъ окончательно повеселѣвшій Фуфаевъ.—Давай я разолью! присовокупилъ онъ, быстро протягивая руки и завладѣвая штофомъ.—Ты, Верстанъ, у тебя руки невѣрны, какъ разъ солгутъ, особливо коли себѣ наливать станешь... Тебя, братъ, мы не знаемъ; каковъ твой обычай, не вѣдаемъ, подхватилъ онъ, повертываясь къ Филиппу, — ты, можетъ-статься, другимъ только подливаешь—себя обижаешь... и это неладно... Мизгирь свидѣтель невѣрный: полушкой подкупить можно... Тетка не вѣсть чью руку держитъ... Я разолью! У васъ глаза и мѣра на глазъ, у меня мѣрка настоящая, вѣрная — вотъ! заключилъ онъ, подымая кверху указательный палецъ.

Взявъ стаканъ изъ рукъ старухи, онъ опустилъ въ него палецъ и, наливъ вино по самый край, подалъ его Верстану. Такимъ же порядкомъ налилъ онъ и Филиппу.

— Братцы! сказалъ онъ, принимая стаканъ отъ Филиппа,—у васъ глаза глядятъ, какъ собаки ѣдятъ; погляди-ка на старика: что какъ онъ, примѣрно, съ виду-то... хочетъ винца? Ну, такъ ужъ и быть! нальемъ ему!.. На, Мизгирь, бери!.. заключилъ Фуфаевъ, подавая ему стаканъ.

Старикъ прикоснулся уже было пальцами къ стакану, но Фуфаевъ этого только, видно, и ждалъ: онъ ловко отнялъ руку, отпилъ вина, приподнялъ стаканъ надъ головою и прокричалъ неистово-восторженнымъ голосомъ:

— Эхъ, запили заплатки, загуляли лоскутки! Веселись, значитъ, нищая братія!..

Послѣ этого онъ залпомъ допилъ вино, стукнулъ стаканомъ по столу, повернулся лицомъ къ старику и, принявъ молодецкую позу, залился во все горло...

VII.

Тѣсныя обстоятельства.

Облачный, багровый закатъ, въ которомъ наканунѣ сѣло солнце, оправдалъ, какъ нельзя лучше, предсказаніе марьинскихъ стариковъ; въ ночь поднялся вѣтеръ, и къ утру небо обложилось изъ края въ край зловѣщими облаками, которыя постепенно суживались и сгущались, приближаясь къ горизонту; дальняя линія горизонта казалась берегомъ бушующаго моря. Заря едва замѣтно пробивалась блѣдно-лиловыми полосами. Обманутый позднею темнотою утра, старый торгашъ поднялся на ноги позже, чѣмъ думалъ. Онъ разбудилъ Тимоѳея, и оба, оставивъ въ ригѣ спавшаго мальчика, направились къ избѣ. На дворѣ они встрѣтили Катерину и ея дочь, съ коромыслами на плечахъ и вальками; подлѣ прыгали три мальчугана съ дудкою въ одной рукѣ, съ коркою въ другой: тутъ же красовался Волчокъ, который дружелюбно моталъ своимъ кренделемъ и время отъ времени подхватывалъ на лету брошенный ему обломокъ хлѣба.

— Ну, прощай, хозяюшка! сказалъ старикъ, подходя ближе.—Можетъ-статься, ужъ не увидимся; сейчасъ запрягать стану. Спасибо за хлѣбъ, за соль...

— И-и, полно, родимый, словно не вѣсть чѣмъ угощали! Я, чай, и легъ-то голодный... одного хлѣбушка поѣлъ!

— Значитъ, слышь, пуще благодарить надо... Въ такой тѣснотѣ живете и не пожалѣли; ужъ это значитъ добрая ваша душа! ласково возразилъ старикъ, нахлобучивая шапку, макушка которой тотчасъ же съѣхала на сторону и приняла направленіе совершенно противоположное тому, куда наклонилась голова, — ну и я, того... не безстыжій какой, подхватилъ онъ,—пришелъ, примѣрно, поѣлъ, взялъ шапку и прочь пошелъ! такъ не приходится... особливо вашу тѣстноту видючи, какъ вы, примѣрно, во всемъ нуждаетесь...

— Это ты о чемъ, родимый?

— Надо, примѣрно, чтобъ вамъ сошлось что-нибудь за хлопоты; а то какъ же? У васъ у самихъ ничего нѣтъ!..

— Что ты, Христосъ съ тобою, дѣдушка! Намъ этого, что ты говоришь, не надо... мы сами денегъ не давали, такъ, значитъ, и съ тебя брать не станемъ; ты объ этомъ не поминай...

— Знаю... что жъ?.. этого не надо, машинально проговорилъ Тимоѳей.

— Какъ же такъ, матушка?

— А такъ же, вѣстимо, какъ у добрыхъ людей водится: охотой пустили тебя, да съ тебя же потомъ деньги брать—что ты!

— Всякому свое добро дорого.

— Коли такъ считаться, то мы у тебя въ долгу, дѣдушка!

— Какимъ манеромъ?

— Какъ есть въ долгу, подтвердилъ Тимоѳей, подымая брови.

— Какъ же такъ? спросилъ старикъ, обращаясь на этотъ разъ къ Лапшѣ.

Но Лапша сильно, казалось, затруднился отвѣтомъ; онъ опустилъ брови и вопросительно поглядѣлъ на жену.

— Одинъ платокъ, что вотъ ей далъ, стоитъ втрое противъ того, что съѣлъ ты у насъ хлѣба-то! сказала Катерина, указывая на дочь,—да и другихъ моихъ ребятишекъ обдѣлилъ, всякаго чѣмъ-нибудь порадовалъ...

— Ну, какъ знаешь, хозяюшка! вымолвилъ старикъ.— А, слышь, промолвилъ онъ послѣ молчанія, — я, слышь, съ начатія-то, какъ вечоръ пришелъ къ вамъ, шибко въ тебѣ обознался, тетка... ей-Богу, право!.. Теперича вижу только, какой ты есть, примѣрно, человѣкъ... Дай тебѣ Господь всякаго благополучія — и тебѣ, и дѣткамъ твоимъ!..

— Спасибо, кормилецъ; пошли и тебѣ Господь! Опять будешь въ нашихъ мѣстахъ, опять заѣзжай: мы завсегда тебѣ рады... Ну, прости, дѣдушка; намъ пора!..

Сказавъ это, Катерина подняла на плечо коромысло съ тряпьемъ, висѣвшимъ на обоихъ концахъ, дочь ея взяла вальки, и обѣ пошли къ воротамъ, напутствуемыя привѣтствіями дѣдушки Василья. Старикъ, не откладывая минуты, началъ готовиться въ путь. Тимоѳей, покашливая и покрякивая, принялся пособлять ему. Почти въ то

же время въ заднихъ воротахъ показался старшій мальчикъ, оставленный въ ригѣ.

— А, ласковый! воскликнулъ старикъ, между тѣмъ, какъ Волчокъ, окончательно уже развернувъ свой крендель, производилъ неистовые прыжки вокругъ мальчика.— Ну, ласковый, ступай и ты подсоблять!

Вызовъ старика, очевидно, польстилъ ребенку, и, обрадованный случаю показать свою силу, онъ такъ дѣятельно принялся за дѣло, что оказался даже полезнѣе отца.

— Ты, дѣдушка, лошадку-то напоилъ? спросилъ онъ съ озабоченнымъ видомъ.

— Нѣтъ еще, касатикъ; у васъ колодезь-то недалеко отъ дому: напою, какъ выѣду. Что это у тебя, Тимоѳей, паренёкъ-то знатный какой! промолвилъ старикъ, добродушно посмѣиваясь и поглядывая на мальчика, суетившагося подлѣ лошади, — вишь бравый какой! намъ безъ него что̀ бы тутъ дѣлать? ка̀къ есть провозились бы до обѣда... молодецъ! право молодецъ!

Мальчикъ тряхнулъ волосами и съ самой озабоченной, серьезной миной побѣжалъ отворять ворота.

— Ну, а вы-то, молодцы, чего зѣваете? заговорилъ старикъ, поворачиваясь къ остальнымъ тремъ мальчуганамъ, смотрѣвшимъ во всѣ глаза на эти приготовленія,— садись на возъ! надо и вамъ подсоблять; безъ васъ дѣло не сладится! Садись, говорю, садись; полно зѣвать! заключилъ онъ, подсаживая кого на облучокъ, кого попросту сажая на кожу.

Тутъ между братьями началось было маленькое несогласіе: каждый хотѣлъ завладѣть вожжами и править лошадью; старикъ поспѣшилъ примирить ихъ: плотно обмотавъ вожжи вокругъ облучка, онъ отдалъ концы двумъ мальчикамъ, а третьему поручилъ кнутъ; всѣ остались очень довольны.

— Дѣдушка, дай мнѣ, дай я проведу! закричалъ старшій мальчикъ, видя, что старикъ бралъ лошадь подъ-уздцы,—дай, дѣдушка!

— Возьми, ла̀сковый, возьми. Смотри только, въ воротахъ не зацѣпи...

— Нѣтъ, дѣдушка, не бойся, не зацѣплю! подхватилъ мальчикъ, отгоняя рукою Волчка́, который подпрыгивалъ къ самому лицу его, — ужъ я, дѣдушка, знаю, проведу, небось; мнѣ не впервинку!..

Онъ подобралъ уздечку въ лѣвую руку, принялъ оза-

боченный видъ и, размахивая правою рукою, повелъ лошадь, преслѣдуемый лаемъ Волчка́ и возгласами братьевъ, которые разразились крикомъ и затрубили въ дудки, какъ только возъ показался на улицѣ. При этомъ Тимоѳей, шедшій подлѣ, торопливо принялся дергать и тыкать пальцемъ ребятишекъ.

— Полно вамъ... цыцъ! д... дряни этакія... Ну что̀ кричите-то?.. перестань!.. заговорилъ онъ, понижая голосъ и бросая въ то же время робкіе, боязливые взгляды во всѣ стороны улицы, гдѣ только находился народъ...

Но Тимоѳей напрасно опасался. Хотя точно народа на улицѣ было довольно, но никто о немъ не думалъ; всеобщая забота состояла въ томъ, чтобъ скорѣе припрячь лошадь въ соху и борону и отправиться въ поле. Тучи, замѣтно сгущавшіяся и затемнявшія небо, сырость, приносимая порывами вѣтра, ласточки, летавшія такъ низко, что задѣвали почти землю — все предвѣщало скорый дождикъ. Па̀хота недавно началась, и каждый спѣшилъ, слѣдовательно, кончить работу до ненастья; и безъ дождя поля̀ не успѣли еще просохнуть; земля еще „мазалась“, какъ говорится. Приближеніе дождя побуждало къ дѣятельности почти всѣхъ безъ исключенія; мальчишки заранѣе засучивали штанишки выше колѣнъ и прыгали по травѣ, въ ожиданіи удовольствія прыгать въ лужахъ; бабы раскидывали холсты, предназначавшіеся для бѣленья; предусмотрительныя хозяйки спѣшили запасаться водою, которая могла замутиться послѣ дождя; другія шли съ тряпьёмъ и коромыслами къ пруду, сверкавшему вправо отъ деревни, между послѣдними избами и угломъ стараго барскаго сада; звонкая стукотня вальковъ возвѣщала, что бабы, въ числѣ которыхъ находилась Катерина и ея дочь, усердствовали, не разгибая спины.

Появленіе Тимоѳея, сопровождавшееся скрипомъ воза, лаемъ Волчка̀, возгласами ребятишекъ и пискотнею дудокъ, едва удостоилось нѣсколькихъ взглядовъ. Но Тимоѳею довольно уже было того, что онъ вынужденъ былъ показаться на улицѣ; мысль, что вчера всѣ узнали о существованіи Филиппа, что Филиппъ послалъ ему поклонъ, что всѣ, имѣвшіе причины жаловаться на брата, снова припомнили теперь нанесенное имъ когда-то зло, и снова начнутъ приставать къ нему и вымещать на немъ свое неудовольствіе—мысль эта, не покидавшая бѣднаго Лапшу со вчерашняго вечера, приводила его въ крайнее замѣ-

шательство. Во все время, какъ старикъ поилъ у колодца лошадь, онъ не посмѣлъ поднять головы, не посмѣлъ кашлянуть, самыя брови его оставались недвижны; какъ видно, онъ не старался даже ободрять себя. Когда старшій его мальчикъ снова взялъ лошадь подъ-уздцы и повернулъ на дорогу возъ съ ребятишками, Тимоѳей поспѣшилъ стать между торгашомъ и возомъ; но сколько онъ ни корчился, сколько ни уничтожался, голова его все-таки приходилась выше воза и выше головы торгаша. До сихъ поръ все шло, однакожъ, благополучно: никто не окликнулъ его; каждый, встрѣчаясь съ торгашомъ, который приподнималъ шапку, отвѣчалъ тѣмъ же и молча принимался за работу. Тѣмъ не менѣе, глаза Тимоѳея щурились и лицо его принимало разслабленное, жалкое выраженіе каждый разъ, когда лаялъ Волчокъ, или когда который-нибудь изъ ребятъ, сидѣвшихъ на возу, дулъ въ дудку, или же когда старшій сынъ, въ припадкѣ усердія и дѣтской гордости, кричалъ уличнымъ ребятамъ, чтобъ они давали дорогу. Одинъ только обычай, требующій, чтобъ хозяинъ провожалъ своего гостя до околицы, или, по крайней мѣрѣ, до средины улицы, могъ вынудить Лапшу подвергнуть себя такой пыткѣ.

Дядя Василій, между тѣмъ, разсѣянно глазѣлъ направо и налѣво, похваливалъ строеніе, лошадей, встрѣчавшихся по дорогѣ, и не переставалъ подымать тяжеловѣсную свою шапку.

— Тимоѳей! а Тимоѳей! глянь-кась, братъ, сказалъ онъ, толкая локтемъ сосѣда, — посмотри, кто это?.. не управитель ли вашъ ѣдетъ? присовокупилъ онъ, кивая головою на всадника въ дубленомъ полушубкѣ, который неожиданно повернулъ изъ-за угла крайней избы и показался у околицы.

Тимоѳей бросилъ робкій взглядъ въ ту сторону и тотчасъ же опустилъ голову.

— Нѣтъ, сказалъ онъ, двигая бровями и пожимая губами при каждомъ словѣ, — это изъ дворовыхъ... вечоръ въ городъ посылали... на почту: стало оттедова...

Всадникъ припустилъ рысью и проѣхалъ мимо; но почти въ ту же минуту подлѣ старика и Лапши послышался стукъ копытъ, и въ ушахъ того и другого прозвучалъ знакомый голосъ:

— Здорово, дядя!.. Лапша, куда ты?.. ай гостя прово-

жать вышелъ?.. А я... я въ поле... На́дыть попахаться до дождичка...

То былъ рябой мужичокъ, отличавшійся наканунѣ безпокойнымъ любопытствомъ и суетою; онъ сидѣлъ верхомъ на лошади и такъ немилосердно болталъ босыми ногами, что каждый разъ, какъ пятка его прикасалась къ ребрамъ клячи, слышался глухой звукъ, и кляча фыркала и вздергивала голову; позади, дребезжа, подпрыгивая и подымая клубъ пыли, тащилась соха, обращенная сошникомъ кверху.

Старикъ поздоровался.

— Слышь, эй, Лапша! а вѣдь Филиппъ-то живъ! воскликнулъ неожиданно рябой мужичокъ.

Тимоѳей страшно замигалъ глазами и покосился на стороны, желая узнать, не было ли кого-нибудь по близости, кто бы могъ слышать неумѣстное восклицаніе; но онъ успокоился, увидѣвъ, что они приближались уже къ околицѣ.

— То-то, я чай, подивился ты, какъ узналъ о немъ! началъ снова рябой мужикъ,—мы всѣ думали, его давно ужъ и въ живыхъ нѣту... одинъ вѣдь только Пантелей кузнецъ... Эй, дядя! дядя! подхватилъ онъ вдругъ, принимаясь неистово болтать ногами и махать руками,—эй, пррр... мотри, за околицу зацѣпишь... Эй, Петрушка, держи лѣвѣй... ворочай налѣво лошадь-то... дергай ее лѣвѣй... такъ!

Онъ осадилъ назадъ и далъ имъ проѣхать околицу, послѣ чего выровнялся съ возомъ, который остановился.

— Ты, дядя, куда?

— Въ Чѐрнево; сказывали, есть такая деревня отъ васъ недалеко.

— Тебѣ, стало, надо прямо ѣхать въ гору. Тамъ перекрестокъ, часовню увидишь... ступай все прямо, а тамъ забирай все влѣво... а мнѣ сюда! довершилъ онъ, кивая головою направо,—прощай, дядя!

— Прощай, братъ!.. сказалъ старикъ, провожая глазами рябого мужика, который пустилъ рысью, разставивъ ноги, какъ птичьи крылья.—Ну, братъ, Тимоѳей, пора и намъ проститься! заключилъ дядя Василій, обратившись къ Лапшѣ, стоявшему съ опущенною головою и руками.

— Прости, касатикъ... вымолвилъ Тимоѳей со вздохомъ.

— Ты, я вижу, все объ томъ же... о чемъ вечоръ сокрушался, объ этомъ и нонче! сказалъ старикъ, — полно,

братъ, не хорошо! Ну, право же, не годится такъ-то... плюнь-ка ты, право, на пустыя ихнія словеса... этимъ нѣчего обижаться, а особливо, коли вины твоей нѣтъ никакой. Главная причина себя призирать надо да трудиться, вотъ что! А тамъ Богъ милостивъ! Обтерпись, говорю... право, обтерпись!

— Нѣтъ, ужъ силушки моей нѣтути, дядя. Терпѣли, терпѣли и конца этому не видимъ, возразилъ Тимоѳей, уныло поглядывая на деревню.

— Ему говори, а онъ все свое! произнесъ старикъ съ замѣтнымъ нетерпѣніемъ.—Эхъ, Тимоѳей, Тимоѳей! не видалъ, значитъ, ты настоящаго-то горя. Въ такой ли тяготѣ люди живутъ, да вѣдь терпятъ же! Значитъ, баловство одно, право такъ. По душѣ говорю; потому вижу, какой ты есь человѣкъ примѣрно, добрый и все такое... Ты бы хошь на жену на свою поглядѣлъ: что ты, что она — все единственно, горе-то у васъ одно, а все держится бодрѣе тебя, ей-Богу, бодрѣе, а еще баба! Человѣку дана, примѣрно, сила такая — да; надо собою владать, а не то, чтобы такъ, отъ всякой бездѣлицы опускаться... Ну, что хорошаго?.. По душѣ говорю, потому, какъ я, примѣрно, человѣкъ старый, преклонный, видалъ много на вѣку. Тàкъ не слѣдъ; право, не годится!.. Ну, прощай, братъ; авось, Господь приведетъ, свидимся, поправишься ты во всѣхъ дѣлахъ своихъ... а мнѣ пора... Слѣзай, ребятишки! Надыть до дождя поспѣть въ Черневo... вишь какъ заволокло!

И точно, небо часъ отъ часу все сильнѣе нахмуривалось; утро давно уже началось, но окрестность и самая деревня окутывались какимъ-то полусумрачнымъ, синеватымъ свѣтомъ, напоминавшимъ осеннія сумерки. Не будь вѣтра, который разгонялъ облака, дождь, вѣроятно, давно бы полилъ ливмя.

— Ну, прощай, ласковый! сказалъ старикъ, обращаясь къ старшему мальчику, который особенно полюбился ему. Онъ обращался къ нему съ тою лаской и привѣтливостью, съ какими обращался къ его матери, особенно послѣ того, какъ съ нею ознакомился. — Прощай, паренёкъ! Опять пріѣду, опять привезу гостинецъ... Ну, и Костюшкѣ привезу... и всѣмъ! заключилъ старикъ, вторично наклоняясь къ старшему, чтобъ погладить его по головѣ, и давая этимъ движеніемъ шапкѣ своей случай съѣхать на самый затылокъ.

Распрощавшись вторично съ Тимоѳеемъ, старикъ взмостился на облучокъ, тронулъ вожжами и началъ подниматься въ гору. Время отъ времени онъ оборачивался къ околицѣ, и всякій разъ движеніе это сопровождалось возгласами мальчиковъ, которые слѣдили за нимъ глазами. Что жъ касается до Лапши, онъ сохранялъ то же самое положеніе, съ какимъ выслушивалъ наставленіе старика; свѣсивъ руки, опустивъ голову, онъ не трогался съ мѣста и смотрѣлъ на землю съ выраженіемъ человѣка, котораго ни за что, ни про что обидѣли.

И въ самомъ дѣлѣ, не грѣхъ ли было дядѣ Василью намекать ему о трудѣ, о необходимости подкрѣплять себя духомъ? Не грѣшно ли было совѣтовать взяться за дѣло и пренебречь пустыми толками, тогда какъ Лапша ждалъ только заступничества и оправданія въ настоящемъ своемъ положеніи?.. Но, съ другой стороны, какъ могъ знать дядя Василій, что лучшими радостями Лапши было то, когда о немъ громко жалѣли или начинали съ нимъ заодно вздыхать и охать?.. Оправдать разстройство его безпутнымъ поведеніемъ брата, мірскими гоненіями, людскою злобой и несправедливостью—значило навѣрное осчастливить Лапшу на нѣсколько дней; онъ ходилъ тогда съ высоко-приподнятыми бровями, выказывалъ даже меньше покорности и снисхожденія въ обращеніи съ женою и всѣхъ винилъ и бранилъ, выставляя собственную правоту свою. Онъ, очевидно, обманулся въ старикѣ. Мысли его устремлялись также къ предстоящему возвращенію на улицу. Съ нѣкоторыхъ поръ, щурившіеся глаза его чаще обращались къ деревнѣ и переходили отъ одной группы мужиковъ къ другой; изба Тимоѳея приходилась почти посрединѣ правой стороны улицы; не было никакой возможности обогнуть задами: вправо отъ околицы шли огороды, примыкавшіе къ оврагу; слѣва шла полевая дорога, куда выходили гумна крайнихъ къ околицѣ избъ; за ними тянулся скотный дворъ, службы, а потомъ садъ, непосредственно примыкавшій къ пруду.

— Батя, пойдемъ! дѣдушка уѣхалъ; вонъ ужъ и не видать совсѣмъ, сказалъ Петя, когда, наконецъ, макушка шапки на головѣ дяди Василья болтнулась еще разъ надъ горизонтомъ и скрылась.

Тимоѳей повернулся къ деревнѣ и, боязливо посматривая впередъ, направился къ околицѣ, куда успѣли уже вбѣжать ребятишки. Отецъ крикнулъ-было, чтобъ они шли

за нимъ, но, какъ нарочно, въ эту самую минуту пучеглазый Костюшка приставилъ дудку къ губамъ; братья мгновенно послѣдовали его примѣру, и всѣ трое огласили улицу звонкою трелью. Вторичное появленіе Лапши совершилось такимъ образомъ еще торжественнѣе, чѣмъ въ первый разъ. Онъ началъ браниться и звать ребятъ, но сдѣлалъ еще хуже: услышавъ его голосъ, ребятишки побѣжали къ нему навстрѣчу и задудили еще звонче.

— Прочь пошли, окаянные! крикнулъ онъ, отгоняя ихъ, кромѣ Петруши, впрочемъ, который смирно шелъ подлѣ.— Прочь пошли!.. Вотъ я васъ! Домой, пострѣлы! заключилъ онъ, бросая вокругъ себя растерянные взгляды.

На этотъ разъ было точно чего опасаться: пронзительные звуки дудокъ заставили приподнять голову плѣшиваго старика, изъѣденнаго оспой и покрытаго веснушками; до того времени, онъ смиренно стоялъ спиною къ улицѣ и чинилъ борону. Пробираясь къ избѣ, Лапша издали еще съ особенною неловкостью косилъ на него глазами.

— Лапша, подь-ка, братъ, сюда! прохрипѣлъ старикъ, прикладывая ладонь ко лбу.

Смущеніе Тимоѳея смѣнилось истиннымъ страхомъ, когда, поднявъ глаза, увидѣлъ онъ кузнеца Пантелея, который приближался въ ихъ сторону. Въ минуты, подобныя той, какую испытывалъ Лапша, когда нѣтъ ужъ возможности пуститься въ бѣгство, люди, смотря по характеру своему, поступаютъ обыкновенно слѣдующимъ образомъ: они или стряхиваютъ съ себя робость и идутъ смѣло, напроломъ, или принимаютъ видъ крайней озабоченности, или же, наконецъ, стараются придать своей физіономіи, по возможности, жалкій видъ, съ цѣлью возбудить состраданіе противника и смягчить его сердце. Тимоѳей прибѣгнулъ къ послѣднему способу и, вѣроятно, самому неудачному: рябое лицо плѣшиваго старика хотя и не было злобно, но изобразило скорѣе досаду, чѣмъ умиленіе.

— Тимоѳей, что жъ ты? Вѣдь ужъ Святая прошла: долго ли намъ ждать-то, а? сказалъ онъ, пристально устремляя зрачки на Лапшу, который топтался, какъ гусь, и робко поглядывалъ то на собесѣдника, то на приближавшагося къ нему кузнеца.—Да ты полно, братъ, кашлять-то; только заминаешь... Говори, когда деньги отдашь?

— Не справились... обожди, Карпъ Иванычъ, проговорилъ Тимоѳей, раскисляясь.

— Какъ же не справились? Вѣдь ты клялся, божился, говорилъ, на Святой отдашь...

— Не справились, Карпъ Иванычъ! могъ только произнести Лапша.

— Такъ что жъ это ты, безстыжая твоя голова, долго ль станешь такъ-то водить? промолвилъ старикъ.—Такъ развѣ дѣлаютъ, а?.. Была надобность—пришелъ, говорилъ, черезъ недѣлю отдамъ, а теперь каждый разъ только и слышишь: не справился!.. Вотъ, братецъ ты мой, Пантелей, вотъ суди ты: люди-то какіе! подхватилъ онъ, обращаясь къ подошедшему кузнецу,—два года назадъ, денегъ забралъ, а теперь отнѣкивается...

— Я рази отнѣкиваюсь? сказалъ Тимоѳей, забывшій, повидимому, совершенно о своемъ мальчикѣ, который внимательно, между тѣмъ, прислушивался къ каждому слову и переносилъ любопытные, живые глаза отъ Карпа къ отцу, отъ отца къ кузнецу.

— Все одно, не отдаешь, на то же выходитъ!

— Они и все такъ-то! перебилъ кузнецъ, сурово нахмуривая брови.—Какъ братъ его мошенничалъ, такъ и этотъ, все единственно... такой ужъ родъ ихній! Къ тому же, видно, и щенка своего пріучаетъ...

— Анъ нѣтъ, не щенокъ! возразилъ мальчикъ, наклоняя на бокъ голову.

Лапша хотѣлъ что-то сказать, но Пантелей не далъ ему произнести слова:

— Что съ нимъ разговаривать, дядя Карпъ! сказалъ онъ, презрительно кивая головою.—Вотъ теперича я съ барскаго двора; сказывали, господа ѣдутъ; обожди, пока пріѣдутъ, сходи-ка, пожалуйся... одинъ конецъ, а то что съ нимъ разговаривать...

Вѣсть о пріѣздѣ господъ нѣсколько отвлекла старика отъ Тимоѳея, и онъ спросилъ:

— Вѣрно ли ѣдутъ?

— Точно; сейчасъ Алексѣй съ почты вернулся: письмо, сказываютъ, прислали... А то разговаривать еще сталъ! подхватилъ кузнецъ, взглядывая съ ненавистливымъ презрѣніемъ на Лапшу.—Стòитъ ли онъ, чтобъ съ нимъ еще разговаривать? Разскажи обо всемъ господамъ: они сократятъ ихъ. Да у него, Карпъ Иванычъ, ты не вѣрь ему, у него и деньги есть! продолжалъ Пантелей,—онъ нищенкой только прикидывается, глаза отводитъ... Они заодно вѣдь съ братомъ воровали... и теперь промежъ себя знаются...

— Пантелей! Богу ты отвѣчать станешь! воскликнулъ Лапша.—Али я тебѣ какое зло сдѣлалъ? али супротивное слово сказалъ? Братъ лошадей увелъ у тебя—точно, опять я этому не причиненъ...

— Толкуй, разсказывай сивой кобылѣ, она развѣ повѣритъ? съ грубымъ смѣхомъ возразилъ кузнецъ. — Вишь какимъ смирнячкомъ прикидывается — поди ты!.. Знамо, вы заодно съ братомъ дѣйствуете, злобно подхватилъ онъ.—Вечоръ еще поклонъ послалъ—такъ какъ же, коли не заодно?.. Постойте, дайте пріѣхать господамъ: обо всемъ имъ скажутъ, обо всѣхъ дѣлахъ вашихъ; все на виду окажется, васъ разберутъ тогда, кто къ чему принадлежитъ. Може-статься, и того еще потащутъ, кто поклонъ-то возилъ; далеко не уѣдетъ... изъ вашей же, можетъ, шайки, такой же мошенникъ этотъ старикъ-отъ!..

— Анъ нѣтъ, не мошенникъ! не мошенникъ! подхватилъ мальчикъ, выставляя впередъ кудрявую свою голову.

— Ты что̀, щенокъ?

— Анъ нѣтъ, не щенокъ! Сами ребята твои щенки... а дядя Василій не мошенникъ! сказалъ мальчикъ.

— Молчи! пришибу!

— Не смѣешь! сказалъ мальчикъ съ такимъ смѣлымъ видомъ, какого отецъ во всю жизнь не посмѣлъ выказать.

Пантелей сдѣлалъ шагъ впередъ; мальчикъ прижался плечомъ къ отцу, но принялъ оборонительную позу; личико его разгорѣлось, брови выгнулись, глаза сверкали; въ эту минуту мягкія черты лица его, дѣлавшія его нѣсколько похожимъ на Тимоѳея, какъ бы исчезли и смѣнились одушевленными, энергическими чертами матери. Пантелея, конечно, не остановили бы ни смѣлость мальчика, ни робкое заступничество Лапши, если бъ не удержалъ его заблаговременно Карпъ Ивановичъ. Во все время предыдущаго разговора Карпъ гладилъ свою лысину и о чемъ-то раздумывалъ.

— Полно, Пантелей, не замай! сказалъ онъ, приближаясь къ Лапшѣ,—такъ какъ же, Тимоѳей? а? надо рѣшить чѣмъ-нибудь... Есть деньги—отдай лучше до грѣха; право, отдай. Нѣтъ—я господамъ стану жаловаться. Коли до завтра не принесешь шесть съ гривной—сколько взялъ, ей-Богу, не сойти съ этого мѣста, къ господамъ пойду. Это послѣднее мое слово; стало, и дѣлу всему конецъ! заключилъ Карпъ, поворачиваясь къ Пантелею, глядѣвшему торжествующими глазами на сокрушеннаго Лапшу.

Тимоѳей, котораго давно уже тащилъ мальчикъ, медленно повернулся къ нимъ спиною и, тяжко покашливая, поплелся къ избѣ своей. Но едва сдѣлалъ онъ нѣсколько шаговъ, какъ снова услышалъ свое имя:

— Лапша!

Голосъ выходилъ на этотъ разъ изъ-подъ воротъ, расположенныхъ на одной линіи съ воротами Тимоѳея.

— Лапша! повторилъ голосъ, и вслѣдъ затѣмъ изъ-подъ воротъ выставилась долговязая фигура желтоватаго Морея, принимавшаго вчера участіе въ бесѣдѣ съ торгашомъ.

— Что жъ ты мнѣ крупу-то когда отдашь? началъ Морей довольно снисходительно, и вдругъ, совершенно нежданно, какъ будто съ этою мыслью о крупѣ ему попали въ грудь раскаленные уголья, онъ замахалъ длинными руками, затопалъ ногами и разразился крупной бранью. Тимоѳей стоялъ понуря голову и слушалъ; жалкое, болѣзненное лицо его сохраняло выраженіе, какъ будто къ нему въ ухо нечаянно залетѣлъ комаръ и онъ внимательно прислушивался къ его жужжанью.

— Да, взялъ, такъ отдавай! А то что жъ хорошаго: взялъ — не отдаешь! Ничего хорошаго нѣтъ. Мы сами крупой-то скучаемъ, самимъ надобно, подхватилъ Морей, переходя такъ же неожиданно на снисходительный тонъ.

— Пойдемъ, батя, пойдемъ! сказалъ мальчикъ, цѣпляясь за рукавъ отца и притягивая его къ дому.

— Пойдемъ? Нѣтъ, стой, погоди! скажи прежде, когда крупу отдашь? Стой! когда крупу? воскликнулъ Морей и снова, какъ помѣшанный, замахалъ кулаками, затопалъ ногами и такъ сильно затрясъ головой, что желтые его волосы совершенно закрыли ему лицо.

Этимъ бы, безъ сомнѣнія, не кончилось объясненіе, если бъ Морей не былъ вдругъ развлеченъ суматохою, поднявшеюся на противоположномъ концѣ улицы. Причиной суматохи былъ, казалось, староста, который говорилъ о чемъ-то съ одушевленіемъ. Гнѣвъ Морея какъ рукой сняло; онъ выпрямился, откинулъ волосы, устремилъ глаза въ ту сторону, гдѣ былъ староста, и забылъ повидимому о должникѣ. Тимоѳей воспользовался случаемъ и торопливо заковылялъ къ дому. Почти противъ воротъ своихъ онъ встрѣтился со старостой.

— Ступай, шевелись, метлу бери — на барскій дворъ... бабъ гони со скребками... ребятъ посылай... дорожки въ саду прочищать... дворъ мести! произнесъ староста, спѣшно

бросая слова направо и налѣво,—гони, посылай, скорѣй... Господа послѣзавтра ѣдутъ. Скорѣй всѣ на красный дворъ—живо! пошевеливайся!

Но скорость и быстрота движеній не даны были, какъ уже извѣстно, въ удѣлъ Лапшѣ. Пока доплелся онъ до воротъ, староста успѣлъ уже достигнуть конца деревни, бросая попрежнему направо и налѣво:

— Метлу бери... гони ребятъ... бабъ высылай... скреби... на красный дворъ... господа ѣдутъ...

Спустя, однакожъ, минутъ десять, на улицѣ снова показался Тимоѳей, и появленіе его совершилось чуть ли еще не торжественнѣе, чѣмъ въ первые два раза: впереди скакалъ пучеглазый Костюшка съ дудкою въ зубахъ; за нимъ бѣжали два маленькіе брата; за ними бодро выступали Катерина, ея дочь и Петя со скребками на плечахъ. Позади всѣхъ, припадая съ ноги на ногу и покашливая, тащился Лапша, влача за собою тоненькую, жиденькую метлу, на которой, казалось, меньше еще было прутьевъ, чѣмъ волосъ на плѣшивой головѣ Карпа Ивановича.

VIII.

Барскій домъ. Управитель. Пѣснь Лазаря.

Старинный барскій садъ не примыкалъ къ деревнѣ, какъ это казалось издали; между нимъ и послѣдними избами лѣвой стороны находилось порядочное пространство, но его скрадывала перспектива. Мѣсто было такъ велико, что даже вмѣщало въ себѣ многочисленныя постройки. Сначала тянулся валъ, обсаженный крестъ-накрестъ ветлами; потомъ шло длинное зданіе скотнаго двора, которое можно было принять за худо оштукатуренную и еще хуже выбѣленную стѣну, если бъ не попадались мѣстами узенькія полукруглыя окна, съ выбитыми, впрочемъ, стеклами. Потомъ должно было пройти мимо небольшого участка земли, отданнаго дворовымъ людямъ. Тутъ, на пространствѣ десяти саженъ, возникала маленькая, но чудовищно-безобразная колонія, состоящая изъ кривыхъ, слѣпыхъ и косыхъ клѣтушекъ, сдѣланныхъ изъ теса, драни, плетня, рогожи, которыя лѣзли другъ на дружку, цѣплялись крышками и углами... Въ общей сложности, все это представлялось фантастическимъ ла-

биринтомъ, въ которомъ ноги вязли въ грязи, голова стукалась о выступающіе углы или путалась въ развѣшанномъ на шестахъ трябьѣ; дыханіе стѣснялось отъ духоты, носъ чихалъ, а слухъ наполнялся квактаньемъ курицъ, блеяньемъ овецъ и телокъ. Клѣтушки прерывались кирпичнымъ флигелемъ, гдѣ помѣщалась контора и гдѣ жилъ управитель; здѣсь уже начиналась ограда изъ каменныхъ столбовъ; приближаясь къ саду, она превращалась постепенно въ частоколъ, потомъ въ плетень, который огибалъ всю часть сада, виднѣвшуюся изъ деревни.

Попасть на барскій, или красный дворъ, какъ преимущественно называли его крестьяне, можно было не иначе, какъ черезъ большія ворота, расположенныя по срединѣ ограды, между флигелемъ и садомъ. Два каменные столба съ карнизами и выступами, частью обвалившимися, обозначали въѣздъ: на верхушкѣ одного изъ нихъ виднѣлся еще остовъ исполинскаго желѣзнаго фонаря; макушка другого украшалась только желѣзнымъ шпилемъ и пучками бѣлесоватой травы, изъ которой дѣлаютъ метелки для чищенья платья. Зданія, окружающія дворъ, носили также признаки запустѣнія; нѣкоторыя были каменныя и даже съ колоннами; но крыши были большею частью соломенныя. Это послѣднее обстоятельство всегда сильно сокрушало управителя, добродушнѣйшаго и добрѣйшаго старика. Въ письмахъ своихъ къ барину онъ всякій разъ упоминалъ о необходимости употребить сумму на ремонтъ, но всякій разъ получалъ только изъявленіе благодарности за усердіе, и вслѣдъ затѣмъ требованіе о наивозможно скорѣйшей высылкѣ денегъ. Ремонтъ откладывался съ году на годъ.

Самая тѣнистая часть сада занимала, вмѣстѣ съ барскимъ домомъ, всю правую сторону двора. Домъ поражалъ своею огромностью; онъ былъ деревянный, въ три этажа съ длинными флигелями по бокамъ, соединявшимися съ главнымъ корпусомъ крытыми галлереями, которыя подпирались колоннами. Внутренній видъ комнатъ невольно заставлялъ думать, какъ, откуда, какимъ способомъ дѣды и прадѣды старыхъ фамилій доставали столько денегъ, и какъ все, что̀ ни строили они, превосходитъ размѣрами, прочностью и даже изяществомъ все, что теперь строится въ томъ же родѣ... Ма̀рьинскій домъ построенъ былъ дѣдомъ настоящаго владѣльца, и построенъ съ тѣмъ только, чтобы проживать въ немъ два-три лѣт-

ніе мѣсяца; а между тѣмъ вы бы нашли тутъ массивную дубовую лѣстницу съ вычурными точеными балясами, которая одна могла стоить иного современнаго помѣщичьяго дома; нашли бы дорогіе обои, съ изображеніемъ миѳологическихъ богинь, гирляндъ и храмовъ, огромныя изразцовыя печи, покрытыя голубыми разводами и украшенныя колонками, галлереями, впадинами и переходами. Комнаты оставались почти тѣми же, какими были въ то время, когда ихъ отдѣлали: вдоль стѣнъ возвышались полновѣсные золоченые стулья съ овальными спинками, обтянутыми штофомъ; въ углахъ стояли брюхастые комоды, выложенные бронзой, костью и цвѣтнымъ деревомъ; рѣзное дерево почти всюду замѣняло дешевую лѣпную работу; въ гостиной, устроенной въ родѣ ротонды, окруженной низкими диванами и украшенной высокимъ каминомъ, до сихъ поръ еще висѣла люстра съ плоскими гранеными стеклышками, съ большимъ хрустальнымъ шаромъ внизу и голубымъ фарфоровымъ столбикомъ посрединѣ. Зала, оштукатуренная подъ розовый мраморъ, съ голубыми колоннами и хорами, проходила черезъ весь домъ и занимала его средину; одна дверь отворялась на парадную лѣстницу, другая въ садъ. Съ этой стороны шли вправо и влѣво маленькія комнаты; тутъ находились: диванная, образная, боскетная. Густая зелень липъ и акацій, заслонившая теперь окна сверху до низу, сообщала всей этой половинѣ мрачный полусвѣтъ; иконы, которыми увѣшаны были стѣны образной, едва-едва выступали изъ мрака; кой-гдѣ развѣ, случайно продравшись между листьями, тонкій лучъ свѣта задѣвалъ ризу или дробился въ серебряныхъ желобкахъ богато чеканеннаго оклада. Сквозь маленькія четыреугольныя стекла дубоваго шкапа съ трудомъ можно было различать остатки богатаго сервиза, чашки съ медальонами, блюда, исполинскіе кубки богемскаго стекла съ вензелями и крышками. Кое-гдѣ на стѣнахъ попадались картины, писанныя красками и пастелью; послѣднія имѣли большею частью овальную форму, но всѣ безъ исключенія изображали прадѣдовъ въ бородахъ и безъ бородъ, въ панцыряхъ и шитыхъ кафтанахъ, или бабушекъ въ шубейкахъ и бисерныхъ глазетовыхъ кокошникахъ, въ фижмахъ, или опутанныхъ кисеею, съ полумѣсяцемъ надъ головою и колчаномъ за плечами. Всѣмъ этимъ предметамъ, покрытымъ пылью и паутиной, стоявшимъ, висѣвшимъ и лежавшимъ лѣтъ семьдесятъ безъ

употребленія, суждено было, наконецъ, увидѣть свѣтъ Божій. Это случилось въ то самое утро, когда Лапша, провожая за околицу дѣдушку Василья, встрѣтилъ посланнаго изъ города.

Въ настоящую минуту окна и двери во всемъ домѣ были настежь отворены. По всѣмъ комнатамъ бродили бабы съ тряпьемъ и ушатами; дворовыя женщины и мужчины бѣгали взапуски съ мочалками и длинными, круглыми щетками, весьма похожими на головы, у которыхъ волосы стали вдругъ дыбомъ. Въ верхнихъ этажахъ слышались говоръ и топотъ; на внутреннихъ лѣстницахъ раздавались торопливые шаги, потрясавшіе ступени. Къ этому примѣшивался шумъ нѣсколькихъ десятковъ метелъ и скребковъ, скоблившихъ давно-заросшія садовыя дорожки. На дворѣ происходила такая же точно суета, если еще не больше.

Съ лицевой стороны дома, почти въ каждомъ окнѣ нижняго этажа, сидя или стоя на подоконникѣ, торчала баба, вооруженная чашкой и мочалкой; человѣкъ въ жилетѣ, надѣтомъ сверхъ ситцевой рубашки, стоялъ на высокой лѣстницѣ, приставленной къ стѣнѣ, и, макая длинную кисть въ ведро, висѣвшее на веревкѣ, спѣшно замазывалъ тѣ части, гдѣ проглядывалъ кирпичъ; на противоположномъ концѣ два мужика страшно стучали молоткомъ, приколачивая ставень. По всѣмъ направленіямъ краснаго двора бродили растрепаннымъ строемъ бабы, мужики и ребята съ граблями, лопатами и метлами; телѣга, наполненная соромъ и щепками, показывала, что она не уступала въ дѣятельности лицамъ, наполнявшимъ садъ и внутренность дома. Словомъ, какъ дворъ, такъ и „хоромы“ представляли самую оживленную картину, все двигалось и суетилось; работа кипѣла даже на самыхъ границахъ двора: чинили плетни, подмазывали фундаментъ, красили ограду. Послѣдняя работа подвигалась, надо сказать, несравненно-медленнѣе другихъ: сверхъ-того, что ею занимался одинъ только человѣкъ, но и этотъ человѣкъ работалъ съ очевиднымъ неудовольствіемъ. Наружность маляра, одѣтаго въ истасканный халатъ и такіе же башмаки, сохраняла во все время самый нахмуренный, несообщительный видъ; онъ не столько дѣйствовалъ кистью, сколько ворчалъ, и не столько красилъ, сколько сердито тыкалъ кистью въ мѣста, требующія поправки. Это особенно случалось всякій разъ, какъ поблизости раздавался

голосъ управителя, или самъ онъ показывался на дворѣ. Тыканье маляра принимало тогда освирѣпѣлый характеръ, какъ будто онъ хотѣлъ сказать: „на̀ же тебѣ! на̀, на̀, когда такъ!“

Нельзя сказать, однако, чтобъ наружность управителя могла внушать враждебное чувство или даже опасеніе. Это былъ маленькій, сухопарый старичокъ хлопотливаго, озабоченнаго вида, съ маленькимъ, краснымъ лицомъ, выражавшимъ самую безвредную суетливость. Волосы его, обстриженные подъ гребенку, были бѣлы, какъ снѣгъ; голову держалъ онъ нѣсколько на-бокъ и носилъ сережку въ лѣвомъ ухѣ. Несмотря на глухую деревенскую жизнь, располагающую къ распущенности, никто никогда не видалъ его иначе, какъ въ синемъ чистомъ сюртукѣ, такомъ же жилетѣ и галстукѣ, который онъ преимущественно носилъ всегда бѣлаго цвѣта. Никто не слыхалъ также, чтобъ Герасимъ Аѳанасьевичъ (такъ звали его) употреблялъ худыя слова или вообще велъ себя непристойно. Сейчасъ видно было, что онъ принадлежалъ къ числу слугъ истинно-барскаго дома и былъ даже однимъ изъ самыхъ приближенныхъ. Испытывая на себѣ постоянно учтивое, ласковое обращеніе (истинные господа всегда учтивы и ласковы съ людьми), такого рода слуги сами невольно дѣлаются учтивыми и приличными. Герасимъ Аѳанасьевичъ переживалъ уже второе поколѣніе въ семействѣ господъ своихъ. Онъ представлялъ совершеннѣйшій типъ тѣхъ вѣрныхъ, преданныхъ слугъ, которые подъ старость дѣлаются какъ бы членами барскаго семейства, добровольно превращаются въ нянекъ, страшно балуютъ дѣтей и пользуются, по всей справедливости, неограниченнымъ довѣріемъ. Если Герасимъ Аѳанасьевичъ не остался въ домѣ, это произошло единственно потому, что старый баринъ, отецъ нынѣшняго, уговорилъ его уѣхать на родину покоить старыя свои кости.

Управленіе Ма̀рьинскимъ не было сопряжено съ большими хлопотами. Марьинское было на оброкѣ; слѣдовательно, дѣла управителя ограничивались собираніемъ оброка и отправкою денегъ въ Петербургъ; съ хлѣбопашеннымъ хозяйствомъ онъ бы и не справился. Въ полевыхъ работахъ Герасимъ Аѳанасьевичъ ни до чего „не доходилъ“, какъ выражались сами крестьяне. Вся работа его сосредоточивалась на домѣ; старанія его устремлялись къ тому только, чтобъ домъ сохранилъ по возможности бар-

скій видъ: „по крайней мѣрѣ, если спроситъ проѣзжій, чей домъ, чтобъ безъ стыда можно было сказать; пускай думаетъ: вотъ, дескать, какъ настоящіе-то господа живутъ!" Легко представить себѣ, въ какое смущеніе приводили старика развалившіяся колонны и соломенныя крыши; но хлопоты его о поправкѣ всего этого оставались, какъ уже сказано, безполезными. Нечего, конечно, и говорить, что старикъ не помышлялъ даже о какихъ-нибудь доходахъ для себя собственно; онъ не проживалъ даже получаемаго жалованья — некуда было. Единственными расходами его были: свѣчка въ церковь да сѣмя на чижей и всякихъ птицъ, до которыхъ онъ былъ страстный охотникъ. Нельзя же старому холостяку, да еще деревенскому жителю, существовать безъ какой-нибудь привязанности! Вы непремѣнно нашли бы въ его комнатѣ во всякое время года до десяти клѣтокъ. Въ настоящую минуту все, однакожъ, было забыто — и пташки, и клѣтки. Съ тѣхъ поръ, какъ Герасимъ Аѳанасьевичъ находился въ Марьинскомъ—этому скоро девять лѣтъ—никто изъ помѣщиковъ ни разу туда не являлся. Теперь вдругъ разомъ всѣ собрались: и баринъ, и барыня, и дѣти. Изъ письма, полученнаго утромъ, значилось, что всѣ ѣхали въ деревню провести весну, лѣто и даже часть осени.

Въ это утро Герасимъ Аѳанасьевичъ сдѣлалъ, конечно, болѣе десяти верстъ, бѣгая по одному только двору. Сѣдая голова его появлялась почти въ одно время во всѣхъ окнахъ огромнаго дома, и голосъ его, ободрявшій рабочихъ, неумолкаемо раздавался въ саду, въ комнатахъ и во всѣхъ концахъ двора. До пріѣзда оставалось еще два дня, но старикъ торопился, боясь дождя, который грозилъ съ минуты на минуту оборваться съ неба. Появляясь на дорогѣ дома, управитель всякій разъ съ безпокойствомъ поглядывалъ на сизыя облака, и всякій разъ, дѣлая видъ, будто не замѣчаетъ крупныхъ капель, которыя падали ему на носъ, съ удвоенною суетливостью обращался къ работникамъ:

— Ну-ка, братцы, не зѣвай, не зѣвай! половину ужъ дѣла сдѣлали—молодцы!.. Софронъ, вонъ тамъ щепку забылъ, подбери поди—не хорошо. Дружнѣй, ребята, дружнѣй! надо убраться до дождя; время и безъ того мало: дождикъ пойдетъ—не успѣемъ.

— И безъ того ужъ давно каплетъ, Герасимъ Аѳанасьичъ, замѣтилъ, осклабляясь, молодой парень.

— Гдѣ?.. развѣ идетъ? Это такъ! подхватилъ управитель, торопливо снимая пальцемъ каплю съ кончика носа,—а что за бѣда, если и идетъ? пускай его! Не сахарные, не растаемъ. Ну-ка-сь, братцы, полно, полно! Надо такъ сдѣлать, чтобъ заслужить отъ господъ благодарность. Видите, какую они намъ честь дѣлаютъ, что къ намъ ѣдутъ! Мало ли у нихъ вотчинъ-то, а небось въ Марьинское собрались: это значитъ васъ любятъ! Ну, живо! живо!

И Герасимъ Аѳанасьевичъ, чтобъ не получить замѣчанія о дождѣ, который не на шутку начиналъ падать, поспѣшно удалился въ другую сторону, шелъ къ скотному двору, обходилъ службу, появлялся въ домѣ или направлялся къ старому маляру, который тотчасъ же принималъ мрачный видъ и начиналъ тыкать своимъ помазкомъ въ рѣшетку. Наконецъ дождь такъ усилился, что самъ Герасимъ Аѳанасьевичъ убѣдился въ невозможности продолжать работу.

— Ну, братцы, дѣлать нечего; такъ, знать, Богу угодно! сказалъ онъ, снова появляясь на серединѣ двора.—Вотъ что, ребята, погодите-ка на минуту: бабы пускай идутъ по домамъ, а вы постойте; надо намъ кой-о-чемъ переговорить. Эй, сходи кто-нибудь за тѣми, которые въ саду работаютъ, зови сюда, скорѣе! заключилъ старикъ, принимаясь почесывать переносицу и расхаживая съ озабоченнымъ видомъ мимо собравшихся въ кучу мужиковъ.

Немного погодя, изъ саду показалась другая толпа, также съ граблями и скребками; всѣ обступили полукругомъ управителя.

— Вотъ, братцы, началъ онъ, весело оглядывая присутствовавшихъ,—господа дѣлаютъ намъ великую честь, къ намъ ѣдутъ. Смотрите же, братцы, держать себя какъ можно въ аккуратѣ: ни пьянства чтобъ этого не было, ни шума, ни шалостей никакихъ; господа этого не любятъ, оборони помилуй! Вотъ еще о чемъ я вамъ хотѣлъ сказать: вотъ вы теперь молчите, а пріѣдутъ господа, полѣзете къ нимъ со всякимъ вздоромъ—ужъ это безпремѣнно... это нехорошо, и господамъ будетъ не въ удовольствіе. Такъ вотъ что́, братцы: если у кого есть теперь просьбы какія, недостатки или жалобы, лучше теперь говорите, потому, главная причина, не надо этимъ господъ безпокоить... Если въ чемъ самъ не смогу помочь, не въ моей будетъ власти, скажите только, все равно, я господамъ передамъ. Вы меня знаете: значитъ, вѣру мо-

жете дать; ужъ я этого никакъ не сдѣлаю, чтобъ, примѣрно, прійдетъ кто изъ васъ да скажетъ: то-то и то-то, а я пошелъ бы, примѣрно, къ господамъ, да сказалъ другое... это ужъ на что̀ хуже! Главная причина, не надо самимъ вамъ ходить, не надо господъ безпокоить— вотъ что̀!

— Знамо не годится, на что жъ ходить? Мы сами знаемъ! послышалось съ разныхъ концовъ толпы.

— Ну, то-то же! объ томъ и я говорю, братцы, что не хорошо, подхватилъ Герасимъ Аѳанасьевичъ, поглаживая ладонью мокрую голову (дождикъ усиливался съ каждой минутой), — такъ если у кого надобность есть, говорите теперь, добавилъ онъ, отступая шагъ и закидывая руки за спину.

Съ самаго начала этой рѣчи, нѣсколько мужиковъ протискались впередъ; въ числѣ ихъ особенно бросался въ глаза долговязый, желтоголовый Морей. Съ послѣдними словами управителя, онъ неожиданно замахалъ руками и заговорилъ скороговоркою:

— Вели крупу отдать, Герасимъ Аѳанасьичъ! Тимоѳей Лапша взялъ—не отдаетъ! Я и то господамъ хотѣлъ жаловаться. Спроси у любого—сами нуждаемся; вели отдать.

— Да ты толкомъ говори, не разберешь никакъ. Какая крупа?

— Лапша, то-есть, такъ прозывается, Лапша взялъ... самимъ надобно, подхватилъ было Морей, снова одушевляясь, но Герасимъ Аѳанасьевичъ не дослушалъ его и обратился къ лысому Карпу Ивановичу, который, въ свою очередь, выступилъ впередъ:

— Тебѣ что̀?..

— Да вотъ тоже насчетъ денегъ, Герасимъ Аѳанасьичъ: взялъ — не отдаетъ! говоритъ: „нѣтути!“ о Святой еще взялъ...

— Кто?

— Все тотъ же Лапша.

— Братъ того, который бѣжалъ, тотъ самый! Они всѣ съ однова̀, весь ихній родъ такой! вмѣшался вдругъ кузнецъ Пантелей.

— Эхъ! вѣдь вотъ вы какіе! сами дадите зря, безъ толку, потомъ жалуетесь! произнесъ управитель, не обративъ вниманія на замѣчаніе кузнеца.—Эй, Лапша! поди-ка, братъ, сюда! промолвилъ онъ, отыскивая его глазами.

Изъ толпы послышался удушливый кашель и вслѣдъ

затѣмъ выставилась чахлая фигура Тимоѳея; подъ дождемъ она казалась еще плачевнѣе; съ каждымъ шагомъ Лапша подгибалъ колѣни и съ безпокойнымъ ожиданіемъ оглядывался назадъ; но такъ какъ жены его нигдѣ не было и не было даже надежды, чтобъ она явилась на выручку, потому что давно ушла домой съ бабами, смущеніе видимо одолѣвало его все болѣе и болѣе; длинныя костлявыя руки его такъ сильно дрожали, что онъ два раза выронилъ метлу, прежде чѣмъ подошелъ къ управителю. Увидя должника, Морей мгновенно пришелъ въ неописанное раздраженіе и снова было замахалъ руками, но Герасимъ Аѳанасьевичъ остановилъ его.

— Какъ же это ты такъ, Тимоѳей? снисходительно сказалъ старикъ,—дожилъ до того, что всѣ на тебя жалуются? У этого крупу взялъ — не отдаешь, у этого— деньги...

Лапша прищурился и усиленно приподнялъ правую бровь.

— Власть ваша... пробормоталъ онъ.

— Какая тутъ моя власть? Моя власть вотъ какая: коли взялъ, отдать надо—вотъ что̀! а не то, чтобъ доводить до такихъ непріятностей. Бралъ ты у нихъ крупу и деньги?

— Бралъ, произнесъ Лапша, роняя метлу въ третій разъ.

— Ну, такъ чтобъ завтра же было отдано — слышь? Чтобъ господа и не слыхали объ этомъ дѣлѣ—слышь?

— Рады бы... не осилимъ, Герасимъ Аѳанасьичъ! взять нѐоткуда! сказалъ Лапша, совсѣмъ растерявшись.

— Ну, какъ знаешь, а чтобъ долгъ отданъ былъ до пріѣзда господъ! вымолвилъ съ нѣкоторою досадой старикъ.—Отчего же другіе ведутъ дѣла свои исправно, какъ слѣдуетъ? Отчего же ты одинъ разорился? Оттого, что на печкѣ любишь обжигаться—вотъ что̀! Плохой ты мужикъ, какъ погляжу я. Эхъ! хуже тебя нѣтъ во всей вотчинѣ— срамъ, просто срамъ—да... лѣнь, да! Въ тебѣ все такое-этакое (Герасимъ Аѳанасьевичъ подогнулъ колѣни и скорчилъ жалкую физіономію)—да, такое-этакое... Ничего нѣтъ такого-этакого! (Онъ выпрямился молодцомъ и закинулъ назадъ голову.) Дрянной ты мужичокъ—вотъ что̀! А долги чтобъ были отданы до господъ—это безпремѣнно!.. Ну, братцы, дождикъ-то видно зарядилъ не на шутку, подхватилъ управитель, обратившись къ мужикамъ, обсту-

нившимъ его съ просьбами,—если кому что нужно, приходите завтра утромъ въ контору; теперь сами видите: такъ и льетъ. Ступайте домой! А вы куда, голубушки? вы куда собрались? крикнулъ онъ поспѣшно, направляясь къ бабамъ, которыя повалили изъ дому, какъ только увидѣли, что мужики пошли къ воротамъ.

— Мы думали, ты насъ отпустилъ по домамъ, бойко сказала востроглазая бабенка, та самая, что такъ много хлопотала объ устройствѣ хоровода.

— Это ты съ чево взяла, голубушка? возразилъ Герасимъ Аѳанасьевичъ, — мужики пошли потому, что дождь; а вамъ развѣ въ домѣ дождь-то мѣшаетъ? Ступай-ка, ступай назадъ!

— Что жъ это такое, бабы? Мужиковъ отпустили, насъ нѣтъ: чѣмъ мы хуже?.. Знамо, дождя нѣтъ, а все одно: работа, чай, та же!.. запальчиво крикнула бабенка, размахивая руками.

— Ступай, ступай безъ разговоровъ, когда велятъ! закричалъ, въ свою очередь, Герасимъ Аѳанасьевичъ, спѣша къ подъѣзду. — Экая эта скверная бабенка! Я вотъ тебя до завтра заставлю полы мыть, когда такъ. Всего первая затѣйница! Эка заноза, право! И для господъ-то, и то потрудить себя не хочетъ!

Сказавъ это, старикъ приподнялъ воротникъ синяго сюртука и поспѣшилъ войти съ бабами въ домъ. Дождь полилъ какъ изъ ведра.

Первымъ дѣломъ Лапши, когда онъ вернулся въ избу, было, конечно, разсказать женѣ обо всемъ случившемся. Катерина ничего еще не знала о новыхъ жалобахъ и рѣшеніи управителя. Безпечность Лапши, который наполнилъ избу охами и стонами, началъ жаловаться на ломъ въ поясницѣ и кончилъ тѣмъ, что завалился на печку— окончательно раздражила ее. Никогда не случалось, чтобъ она жаловалась на мужа при постороннихъ; ее удерживало, вѣроятно, самолюбіе, чувство, которое такъ же сильно у женъ крестьянскихъ, какъ и у всякихъ другихъ, и заставляетъ ихъ иногда, наперекоръ внутреннему убѣжденію, вступаться и горячо стоять за мужей, вовсе этого не стоящихъ. Но теперь ничто ее не стѣсняло: въ избѣ, кромѣ дѣтей и сумасшедшей Дуни, никого не было; она принялась осыпать его упреками:

— Всякій добрый человѣкъ то же скажетъ! говорила она, дѣлая очевидныя усилія, чтобы не дать волю вскн-

пѣвшей досадѣ,—чѣмъ охать да жаловаться безъ толку, шелъ бы лучше да дѣло дѣлалъ! Кто просилъ денегъ у Карпа Иваныча? кто ходилъ за крупою? Развѣ мы тебя посылали? Самъ хотѣлъ; самъ просилъ! Лѣнь было у нихъ работы просить! Вотъ теперь хоть бы у Карпа братъ пролежалъ всю пахоту: что жъ ты не сходилъ къ нему, не нанялся?.. Вѣрно не сталъ бы онъ тогда на тебя жаловаться! Всякій человѣкъ, въ комъ совѣсть есть, заботу о себѣ имѣетъ, о своей семьѣ; видали-ль мы черезъ тебя пользу какую? Вотъ навяжется этакой, прости Господи! весь вѣкъ съ нимъ бейся да мучься! Точно сердце мое чуяло, когда неволей шла за тебя, точно сердце чуяло, какая моя жизнь будетъ... Двадцать лѣтъ колочусь какъ окаянная какая-нибудь, а за что̀? Отъ одново брата твово вся высохла... Шелъ бы ужъ лучше, когда такъ, оставилъ бы меня одну̀ съ ребятами... Наказалъ меня Господь, наказалъ за тяжкія мои прегрѣшенія!..

На все это Тимоѳей не отвѣчалъ ни слова; онъ неподвижно лежалъ на печкѣ и только жалобами на усиливающуюся боль въ поясницѣ давалъ иногда знать о своемъ присутствіи. Ребятишки также были очень смирны, зная по опыту, какъ опасно шутить съ матерью, когда она въ сердцахъ. Они тихонько играли у двери и исчезали въ сѣни всякій разъ, какъ требовалось рѣшить споръ или начать ссору. Маша, старшая дочь, молча подсобляла матери въ работѣ и казалась скорѣе задумчивою, чѣмъ веселою; даже безумная Дуня какъ будто понимала всеобщее разстройство: она просидѣла въ углу и, закрывъ голову платкомъ, уткнувъ подбородокъ въ колѣни, ни разу не подала голоса.

Къ вечеру только, когда Маша зажгла лучину, а Катерина собрала ужинъ, изба немножко оживилась. Но и это произошло скорѣе случайно и притомъ благодаря совершенно посторонней причинѣ. Ужинъ приближался ужъ къ концу (что̀, мимоходомъ сказать, было очень близко къ его началу), когда со стороны околицы неожиданно раздался пронзительный лай собаки. Въ одно мгновеніе ока лай подхваченъ былъ всѣми собаками Ма̀рьинскаго. Несмотря на шумъ дождя и глухое завыванье вѣтра, который усилился къ вечеру, слышалось, какъ вся эта разношерстная стая стремительно бросилась къ околицѣ. Улица, погруженная до того времени въ тишину невозмутимую, наполнилась вдругъ изъ конца въ конецъ не-

истовымъ, освирѣпѣлымъ визгомъ и воемъ. Казалось, собаки разрывали кого-то на части.

— Чего онѣ такъ?!. ужъ не волка ли почуяли?.. сказалъ, покашливая, Лапша.

При такомъ неожиданномъ предположеніи, сдѣланномъ Лапшою съ тѣмъ лишь, чтобъ сказать что-нибудь (онъ не разъ ужъ покушался вызвать жену на разговоръ), одинъ изъ маленькихъ сыновей его и за нимъ пучеглазый Костюшка быстро ухватились за поняву матери, которая готовилась поставить на столъ чашку съ квасомъ; третій мальчикъ, самый младшій, сидѣвшій поодаль отъ братьевъ, выпустилъ изъ рукъ ложку, зажмурилъ глаза, раскрылъ ротъ, затрясся всѣмъ тѣломъ и вдругъ залился воплемъ.

— Полно, Вася! не плачь! батя такъ только постращалъ... это не волкъ... волки ходятъ только зимою, сказалъ Петя, старшій сынъ, подвигаясь къ маленькому брату, чтобъ взять его на руки.

— Умникъ, батюшка, умникъ! Какіе тутъ волки! Слышь, что́ Петя-то говоритъ... Ну, пусти же, пусти! заговорила Катерина, стараясь высвободить свою юбку, но вмѣстѣ съ тѣмъ боясь пошевелить руками, изъ опасенія опрокинуть чашку на столъ,—пусти, говорю, оставь! никакого нѣтъ волка... Маша, отыми ты ихъ отъ меня... того и смотри, тюрю всю расплескаешь... Прійдетъ же вѣдь этакое въ голову! заключила она, не взглянувъ даже на мужа.

— Должно-быть, воръ... на мельницу пробирается... произнесъ Лапша, думая этимъ поправить свою ошибку.

Но и это предположеніе оказалось невѣрнымъ. Посреди визга и лая собакъ, послышалась вдругъ глухая, заунывная пѣсня, которую тянули нѣсколько голосовъ.

— Это нищенки! побирушки! воскликнулъ Петя, смѣясь и оглядывая братьевъ своихъ, которые тотчасъ же умолкли.

Угрюмый, мѣрный напѣвъ дѣлался слышнѣе и слышнѣе; вскорѣ можно даже было различать отрывистыя слова пѣсни. Нищіе приближались; вмѣстѣ съ ними приближалась и собачья стая. Иногда хоръ какъ будто ослабѣвалъ и обрывался. Разъяренный визгъ собакъ показывалъ, что пѣвцы принуждены были переносить вниманіе отъ голоса къ собственнымъ ногамъ, которыя слѣдовало защищать отъ нападеній; немного погодя, однакожъ, басистый голосъ запѣвалы, гудѣвшій какъ исполинскій шмель, подхватывалъ съ новою силой:

Жилъ себѣ сла-а-венъ богатъ человѣкъ,
Пилъ, ѣлъ сладко, кормилъ хорошо.

Къ нему тотчасъ же приставали три другіе голоса, въ числѣ которыхъ особенно заливался одинъ, дребезжащій, какъ у козла, и пѣсня шла своимъ чередомъ:

Лежитъ Лазарь, ле-ежитъ весь изра-а-ненъ,
Съ убожествомъ, съ немочью...

Обойдя такимъ образомъ большую половину деревни, нищіе остановились передъ избою Лапши; но тутъ, волей-неволей, они должны были замолкнуть. Волчокъ, сидѣвшій до тѣхъ поръ на заваленкѣ, ждавшій, вѣроятно, своей очереди и изрѣдка только присоединявшій свой голосъ къ голосамъ товарищей, которые преслѣдовали нищихъ, ринулся вдругъ со всѣхъ ногъ и, если бъ который-нибудь изъ нихъ зазѣвался, онъ, безъ сомнѣнія, вцѣпился бы ему въ икру.

— Эка злющая эта собачонка! проговорилъ Лапша, между тѣмъ какъ за окномъ слышалась брань и яростное хрипѣнье Волчкà, который цѣплялся зубами за палки, подставляемыя нищими.

Секунду спустя, въ окнѣ раздался стукъ, и жалобный, слезливый голосъ прокричалъ:

— Отцы-милостивцы, подайте милостинку во имя Христово!..

— Вотъ нашли у кого просить! самимъ ѣсть нечего! съ горечью произнесла Катерина.

Она собрала, однакожъ, со стола нѣсколько корокъ и подошла къ окну.

Заслышавъ чужой голосъ, Дуня, продолжавшая сидѣть въ углу, сорвала платокъ, который покрывалъ ея голову, и насторожила слухъ; но едва только Катерина подняла окно и безумная увидѣла постороннее, незнакомое лицо, она быстро поднялась съ мѣста и спряталась за печку.

— Не взыщите, касатики; больше нѣтути! сказала Катерина, подавая корки нищему, который жадно за нихъ ухватился,—сами нуждаемся... Богъ подастъ!..

— Наши плачутъ, стало и ваши не радуются! замѣтилъ козлячій голосъ.

Катерина готовилась уже захлопнуть окно, какъ вдругъ передъ нею выставилось широкое, багровое лицо Верстàна.

— Чего тебѣ еще?.. Вѣдь дали!.. Ступай въ другое мѣсто; больше у насъ нѣтъ ничего, сказала Катерина.

— Пусти, касатка, переночевать; вымокли всѣ! заба-

силъ Верстанъ, оглядывая быстрыми глазами внутренность избы.

— Гдѣ тутъ съ вами возиться! самимъ тѣсно!

— Пусти, родная, присталъ Верстанъ,—мы, пожалуй, не даромъ: по копеечкѣ съ человѣка положимъ; насъ четверо; пусти только... хлѣбъ свой... деньги хошь сейчасъ отдадимъ, коли не вѣришь...

— Пусти, тётенька, подхватилъ козлячій голосъ,—четыре человѣка, стало два гроша—куча хороша!

Тимоѳей дернулъ жену за рукавъ и отвелъ ее въ сторону.

— Вотъ вѣдь ты какая! шепнулъ онъ тономъ упрека и какъ бы поддразнивая ее,—сама ругаешься, говоришь: такой я сякой, а сама что̀ дѣлаешь?.. Все черезъ тебя выходитъ... Четыре копейки даютъ—не пущаешь... Завтра бы деньги-то Карпу отдалъ... А все я во всемъ виноватъ... То-то же вотъ и есть! добавилъ онъ съ выраженіемъ, которое ясно показывало, что онъ вѣрилъ въ дѣльность словъ своихъ.

Катерина только плюнула и пошла убирать со стола. Но Лапша не обратилъ на это вниманія. Чтобъ окончательно доказать женѣ несправедливость ея обвиненій и показать себя предъ нею дѣловымъ, заботливымъ хозяиномъ, онъ направился къ окну и началъ даже торговаться съ нищими; но такъ какъ ему не уступали, и въ сущности его не столько занимала прибыль, сколько появленіе новыхъ лицъ, бесѣда съ ними и сладкая перспектива высказать имъ несправедливыя гоненія судьбы и людей, онъ тотчасъ же согласился на все.

— Ну, да полно вамъ тутъ, о чемъ говорить! словами воздуха не наполнишь! Коли пущать, такъ пущай!.. Дождикъ идетъ!.. нетерпѣливо крикнулъ козлячій голосъ, и лицо Фуфаева, вымоченное дождемъ, показалось за плечами Верстана.

— Отгони-ка поди собаку-то... такъ и рветъ проклятая! сказалъ Верстанъ.

— Сейчасъ; ступайте къ воротамъ! возразилъ Лапша, захлопывая окно.

— Вотъ вѣдь всегда такъ: во всемъ я помѣха, подхватилъ онъ, останавливаясь передъ женою и высоко приподымая брови,—и такой я, и сякой... а что̀, кабы не я теперь?..

— Ну, хорошо, хорошо! съ досадою перебила Катерина, поворачиваясь къ нему спиной.

— Да, теперь хорошо; то-то же вотъ и есть! произнесъ Лапша съ выраженіемъ полнаго сознанія собственной правоты своей.

Но въ эту самую минуту въ воротахъ раздался страшный стукъ, и Лапша торопливо заковылялъ къ двери. Минуты три спустя, въ сѣняхъ послышались голоса, шумъ шаговъ, и нищіе, предводительствуемые хозяиномъ, вошли въ избу.

IX.

Сдѣлка.

Съ появленіемъ нищихъ, которые посреди окружавшаго ихъ сумрака принимали видъ какихъ-то пугалъ, мальчуганы Катерины побросались съ лавокъ и побѣжали къ матери. Только Петя и старшая сестра его, Маша, остались на мѣстахъ своихъ; они оглядывали гостей любопытными глазами.

— Здорово, хозяйка! пробасилъ Верстанъ, отряхая мокрую свою шапку.

Вмѣсто отвѣта, Катерина принялась съ сердцемъ кричать на дѣтей, жавшихся у ея понявы.

Фуфаевъ, между тѣмъ, велѣлъ своему мальчику вести его къ хозяйкѣ. Положивъ руку на плечо ребенка, онъ пошелъ впередъ, оставляя на полу слѣды воды, которой пропитаны были его лохмотья.

— Чего лѣзешь? крикнула Катерина, бросая ухватъ въ уголъ печки,—чего надо? подхватила она еще нетерпѣливѣе и сдѣлала движеніе, чтобъ оттолкнуть мальчика, но жалкій, изнеможенный видъ Мишки (вожака Фуфаева) обезоружилъ ее.

— Здравствуй, хозяюшка! трещалъ между тѣмъ Фуфаевъ, моргая бѣлыми глазами,—здравствуй со хозяиномъ своимъ, малыми цецеревятками, со всѣмъ домомъ на многія лѣта! Дай Богъ коровкамъ твоимъ кажинный день доиться, овцамъ кажинный день стричься, одеждѣ не изнашиваться, стѣнамъ не...

— Ладно, ступай только назадъ, въ сѣни: тамъ и отряхивайся! перебила Катерина, сердито оглядывая слѣпого.

— Это ты насчетъ воды, касатка, что водой полъ вымочилъ? подхватилъ Фуфаевъ, — ты на это не серчай: вода, слышь, благополучіе — право такъ! Вотъ я тебѣ скажу...

— Оставь; хозяйкѣ не до насъ; полно врать-то! проворчалъ Верстанъ, дергая его за рукавъ,—вралъ, вралъ, да и къ ужину оставилъ...

— А то какъ же безъ ужина-то? неожиданно воскликнулъ Фуфаевъ.

Онъ отстранилъ рукою Мишку, который служилъ предметомъ особеннаго любопытства для Пети; потомъ ухватился ладонями за колѣни и принялся отвѣшивать хозяйкѣ низкіе поклоны.

— Хозяюшка, матушка, голубушка! взмилуйся, касатка, дай поужинати! Многаго не спросимъ: что хошь давай—не бросимъ! присовокупилъ онъ вдругъ шутовскимъ тономъ, который рѣдко покидалъ его. — Намъ хоть щи, больше не ищи! Не о себѣ хлопочу, матушка: мнѣ что̀? А вотъ съ нами сидитъ богачъ одинъ, капиталы свои имѣетъ... знамо, богачи уже всѣ набалованные, безъ ужина никогда не ложатся... Дядя Мизгӣрь, гдѣ ты?..

— Чего тебѣ, бѣшеный? чего надо?.. злобно проворчалъ старикъ сквозь беззубыя свои десны.

— О немъ, примѣрно, хлопочу, подхватилъ Фуфаевъ,—сама суди, касатушка, какъ ему безъ ужина-то быть—а?.. Никакимъ манеромъ нельзя!.. Ослободи горшки изъ неволи—за тѣмъ пришли... Знамо, касатка, живой человѣкъ живое и думаетъ!.. Эхъ, щами-то какъ знатно попахиваетъ! насмѣшливо заключилъ онъ громко, обнюхивая воздухъ.

Но Катерина обманула ожиданія слѣпого: шутовскія выходки Фуфаева, вмѣсто того, чтобъ смягчить ее, казалось, еще больше ее раздражали.

— Ступай, ступай! Нечего здѣсь балясничать: не за тѣмъ шли совсѣмъ, сурово сказала она,—вѣдь они ночевать просились, такъ что жъ ты сюда, въ избу-то ввелъ? промолвила она, обратившись къ мужу, который, съ тѣхъ поръ, какъ ввелъ нищихъ въ избу, сохранялъ видъ, какъ будто самъ не зналъ, что̀ дѣлать съ гостями,—намъ и безъ чужихъ тѣсно! Денегъ вашихъ, что̀ сулили, ненадобно, только ослободите избу... Ступай съ ними въ ригу, тамъ и ночуйте... Дай ему, батюшка, палку-то, веди его! заключила она, повертываясь къ вожаку слѣпого, между тѣмъ какъ Лапша подмигивалъ Верстану то однимъ глазомъ, то другимъ, давая знать, что жена не въ духѣ, и не лучше ли въ самомъ дѣлѣ уйти въ ригу: вѣдь все равно—отъ нея теперь ничего не добьешься!

Верстанъ былъ съ этимъ совершенно согласенъ. Не трудно было смекнуть, что приступить теперь къ дѣлу, которое привело его къ Лапшѣ, значило бы испортить его навѣрное; онъ рѣшился отложить до утра. Нѣсколько словъ, сказанныхъ имъ на своемъ нарѣчіи, подѣйствовали на Фуфаева лучше всякихъ убѣжденій; слѣпой тотчасъ же замолкъ и велѣлъ Мишкѣ вести его къ двери; за нимъ послѣдовали Верстанъ, Мизгирь и Лапша. Послѣдній отсталъ было отъ нихъ съ очевиднымъ намѣреніемъ сказать что-то женѣ, но яростный лай Волчка, раздавшійся въ сѣняхъ, и крики нищихъ заставили его поспѣшно возвратиться къ гостямъ.

Дурное расположеніе духа не оставляло Катерины во весь остатокъ вечера. Вернувшись въ избу, Лапша слова отъ нея не добился; онъ и самъ, впрочемъ, неохотно пускался въ объясненія и какъ будто хотѣлъ показать женѣ, что сердится не на нее; но такъ какъ неудовольствіе его выражалось подниманіемъ бровей и кашлемъ, то она мало обращала на него вниманія, молча уложила дѣтей, помолилась передъ образами и пошла спать вмѣстѣ съ дочерью въ клѣть, которая отдѣлялась отъ избы сѣнями и выходила на дворъ. Происшествія этого дня были такого рода, что, думая о нихъ, Катерина долго не могла сомкнуть глазъ. Этому, надо также сказать, не мало способствовалъ Волчокъ. Съ той самой минуты, какъ нищіе ушли въ ригу, онъ не переставалъ волноваться; ему не сидѣлось на мѣстѣ: онъ—то выбѣгалъ къ заднимъ воротамъ, то снова возвращался на свое обычное мѣсто, свертывался кренделемъ подъ телѣгой и снова, безъ всякой причины, летѣлъ на задній дворъ, наполняя стихнувшую окрестность мелкимъ, дребезжащимъ лаемъ. Онъ не угомонился во всю ночь. На зарѣ лай его разбудилъ Катерину.

Первою мыслью ея, когда она раскрыла глаза, были нищіе. Неистовый вой собаки, которая металась какъ бѣшеная, подлѣ риги, далъ ей понять, что гости проснулись и, вѣрно, готовятся отправиться въ путь. Катерина поспѣшила предупредить ихъ; она боялась за рубашки, вывѣшенныя наканунѣ на плетнѣ, мимо котораго должны были проходить гости. „Кто ихъ знаетъ, какіе они! Пройдетъ, хвать, сунулъ въ мѣшокъ—а тамъ ищи поди!“ подумала она, торопливо выходя на задній дворъ. Она тотчасъ же успокоилась, однакожъ, увидя бѣлье на

своемъ мѣстѣ; сомнѣнія ея окончательно разсѣялись, когда, подойдя ближе къ ригѣ, услышала тамъ голосъ мужа.

— Я бы ништо! говорилъ Лапша своимъ вялымъ, лѣнивымъ, груднымъ голосомъ,—вотъ только съ ней, съ женой-то, развѣ не сговоришь никакъ: коли упрется — ну, ничего и не сдѣлаешь!.. А я бы ништо; у насъ вѣдь ихъ пятеро, совсѣмъ одолѣли!.. Какъ одинъ-то уйдетъ, все меньше тѣсноты будетъ... Съ ней вотъ только, боюсь, не сговоришь никакъ... Ничего этого въ толкъ не возьметъ... Шутка ихъ поить, растить да кормить! довершилъ Тимоѳей такимъ озабоченнымъ голосомъ, какъ будто на немъ одномъ лежали всѣ эти обязанности.

Катерина торопливо перешла на траву, чтобъ не такъ были слышны шаги ея; она приблизилась къ ригѣ и притаилась за воротами подлѣ плетня.

— Съ чего жъ ей такъ-то артачиться? подхватилъ Верстанъ.—Мы парнишку-то не съѣдимъ, цѣлъ будетъ! Походитъ съ нами, опять къ вамъ вернется...

Катерина вошла въ ригу.

— О чемъ это вы тутъ? спросила она, стараясь скрыть свое негодованіе.

— Вотъ... все о Петрушкѣ старикъ толкуетъ, сказалъ, переминаясь, Лапша.

— Ну, такъ что жъ? сказала она, стискивая губы, начинавшія дрожать отъ сдавленной досады.

— Полюбился добрè нашему товарищу твой паренекъ! воскликнулъ Фуфаевъ,—самъ я не видалъ, хорошъ, сказываютъ... весь въ тебя, касатка...

— Да, мальчикъ знатный! проговорилъ Верстанъ, одобрительно кивая головою.

— Тебѣ-то что жъ? Хорошъ! Стало, намъ лучше; при насъ и останется, быстро возразила Катерина.

— Такъ-то такъ; да чтò тебѣ въ немъ? Покудова малъ еще, ни въ дѣло, ни въ работу, только хлѣбъ ѣстъ! началъ нищій.—Слышь, касатка, отпусти-ка ты его съ нами. Право-ну!.. всего на годъ на одинъ... Вишь, вѣдь другіе же отпущаютъ! прибавилъ онъ, указывая на блѣднаго, изнуреннаго Мишку, который стоялъ, какъ живой укоръ родителямъ, которые отдали его нищимъ.—Годъ походитъ съ нами, не понравится—опять къ себѣ возьмешь... Наша жизнь, сама видишь, тяготы большой не имѣетъ... Отдашь на фабрику—хуже изматется...

— Жизнь веселая, тетка! перебилъ Фуфаевъ.—Слышь,

Лазаря пѣть выучимъ! беззаботное житье: вѣтромъ покачиваетъ, дождемъ помачиваетъ, тепломъ попариваетъ, какъ въ банѣ, право-слово!

— Не даромъ прошу, касатка, подхватилъ Верстанъ, сказавъ на своемъ нарѣчіи нѣсколько словъ Фуфаеву, который тотчасъ же замолкъ, — знамо, не даромъ: сколько вотъ товарищъ за своего вожака далъ, столько, примѣрно, и я дамъ. По крайности вамъ хошь польза черезъ него будетъ; одно — деньги возьмете; другое — хлѣба ѣсть не станетъ...

— Слушай же, что̀ скажу тебѣ, воскликнула Катерина, изгибая брови и подходя къ нищему съ стиснутыми кулаками, — коли ты за тѣмъ пришелъ — вонъ ступай отселева, вонъ! чтобы духомъ твоимъ здѣсь не пахло, нехристь ты этакой!.. Проваливай! заключила она, выпрямляясь и нетерпѣливо указывая на ворота.

— Да ты послушай прежде, что̀ онъ скажетъ-то... вотъ ты всегда такъ! началъ плачевно Лапша, — выслушай прежде... тринадцать рублевъ сулитъ...

— А хошь бы тысячу, по мнѣ все одно! А ты и обрадовался! подхватила она, обратившись къ мужу съ негодующимъ, блестящимъ взглядомъ. — Тринадцать-то рублевъ дороже, стало, родного дѣтища?.. Долги, говоришь, платить надо, хлѣба нѣту?.. Коли такая ужъ бѣдность одолѣла, что жъ ты самъ нейдешь наниматься? а? Ступай съ ними, иди!.. Я пока не жалуюсь: ребята мои не въ тяготу мнѣ, не скучаю ими! Мнѣ этого, что̀ онъ говоритъ, ничего этого не надо! Плюю я на его деньги! Пока сила есть во мнѣ, пока руками владаю, будетъ у насъ и хлѣбъ, и одежда, какая ни на есть — все будетъ!.. Да я за срамъ-то за одинъ, что ты говоришь мнѣ объ этакомъ дѣлѣ, не возьму съ тебя денегъ! Ахъ ты нехристь, что̀ выдумалъ! а?.. Словно, право, сердце мое вечоръ чуяло: недобрые люди пришли... Вонъ же, когда такъ! вонъ, окаянные! чтобъ ноги вашей поганой здѣсь не было!..

— О чемъ шумишь-то?.. проговорилъ было Верстанъ; но Катерина разразилась такимъ негодованіемъ, что онъ счелъ уже лишнимъ продолжать переговоры.

Онъ снова сказалъ нѣсколько словъ на своемъ нарѣчіи; товарищи его перекинули мѣшки за спину и приготовились оставить ригу. Но каждый разъ, однакожъ, когда Катерина обращалась къ мужу, Верстанъ пользовался слу-

чаемъ и подавалъ ему нѣсколько знаковъ; онъ кивалъ Лапшѣ головою за ригу.

— Съ чего это ты такъ, матушка... Господь съ тобою! Кажись, ничѣмъ тебя не обидѣли... сказалъ онъ, выходя изъ воротъ, между тѣмъ, какъ товарищи его, повинуясь его знаку, направились къ лугу, куда выходили сараи.— Я такъ, примѣрно, сказалъ о мальчикѣ, къ слову пришлось... Никто тебя не понуждаетъ... Знамо, твое дѣтище; не отдаешь—силой никто не возьметъ...

— Ступай, ступай! одно слово: ступай! крикнула Катерина, нетерпѣливо махнувъ рукою.

Въ ту самую минуту, какъ она обернулась назадъ, Верстанъ подалъ Лапшѣ новый знакъ и указалъ ему на лугъ; тотъ кивнулъ головою и медленно поплелся за женою.

Ступивъ на тропинку, ведущую къ заднимъ воротамъ, Катерина раза два взглянула на лугъ и покосилась на мужа; но всякій разъ Лапша принимался кашлять; лицо его дѣлалось такимъ плаксивымъ и жалкимъ, что у нея всякій разъ расходилось сердце, и остатокъ гнѣва, готовый пасть на его голову, ослабѣвалъ самъ собою. Кашель продолжалъ душить Лапшу до той минуты, пока жена не исчезла за воротами; онъ весь тогда какъ будто даже оживился. Постоявъ минутъ пять подлѣ воротъ и время отъ времени посматривая въ щели, онъ вдругъ приподнялъ брови и пустился отхватывать задами по направленію къ лугу. У самаго послѣдняго сарая, которымъ оканчивалась деревня, онъ встрѣтился съ нищими; они стояли подпершись палками и, какъ видно, ждали его, потому что лица ихъ были обращены въ его сторону.

— Ну ужъ, братъ, баба у тебя! вотъ такъ ужъ баба! сказалъ, посмѣиваясь, Фуфаевъ, который узналъ Лапшу по его шагу,—настоящимъ вѣникомъ выпарила! А я еще жениться сбирался, невѣсту пріискивалъ; нѣтъ, спасибо; закажу другу-недругу!..

— Я вѣдь вамъ сказывалъ, началъ Лапша,—ничего съ ней не сдѣлаешь...

— А ты и поддался ей! грубо перебилъ Верстанъ, — ужъ не говорилъ бы лучше, не срамился!.. Слышь, добрый человѣкъ, полно ты ее слушать-то; отдай парня; отдай, говорю; ты отецъ—стало, и сынъ твой; дочь у матери, сынъ у отца подъ началомъ — ужъ это по закону такъ водится... Что̀ ты ее слушаешь! знамо, баба пустоголовая, съ вѣтру вретъ, сама своей пользы не вѣдаетъ.

И то сказать: съѣдимъ мы, что ли, парня-то?.. цѣлъ останется... Главная причина, деньги возьмешь, долги отдашь... Потакай ей, она пуще тебя запутаетъ; ужъ мы видимъ, какая баба: заноза!.. Може-статься, и пропалъ-то все черезъ нее... Видано ль дѣло, чтобы баба такое распоряженіе имѣла?.. Плюнь ты на нее, не слушай! Спасибо скажешь, добрый человѣкъ попался, къ добру наставилъ... Деньги возьмешь, долги отдашь... Самъ, вѣдь, сказывалъ: нѣтъ тебѣ спокою ни днемъ, ни почью.

Въ короткій промежутокъ свиданія съ нищими сегодня утромъ и наканунѣ Лапша дѣйствительно успѣлъ уже передать имъ почти всѣ свои горести. Онъ, какъ уже сказано, никогда не пропускалъ случая жаловаться на горькую судьбу свою; минуты эти были для него лучшими во всей его жалкой жизни; онъ какъ будто оправдывалъ тогда самъ передъ собою свои слабости и, полный чувства собственной правоты, начиналъ тотчасъ же бодриться. Обвиняя Катерину, будто она во зло употребляла свою власть, Верстанъ сильно польстилъ ему; Лапша не подтверждалъ обвиненій, не бранилъ жены, но зато каждый разъ, какъ заходила рѣчь о ней, опускалъ брови, пожималъ плечами, подгибалъ колѣни и очень охотно принималъ видъ жертвы.

Но все, что ни говорилъ Тимоѳей о горькомъ своемъ положеніи, уже было извѣстно нищимъ, особенно Верстану. Ясно видно было, что Филиппъ распоясался наканунѣ за попойкой и, передавъ имъ кой-какія подробности о братѣ, указалъ вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ вѣрнѣе на него дѣйствовать. Старый нищій, надо отдать ему справедливость, ловко пользовался урокомъ: онъ то возбуждалъ въ немъ бодрость, говорилъ ему, что онъ, глава семьи, можетъ распоряжаться сыномъ какъ хочетъ, совѣтовалъ забрать жену въ руки; то начиналъ пугать его, принимался высчитывать долги его, напоминалъ ему о пріѣздѣ господъ, сожалѣлъ о немъ, говорилъ, что господа, наскучившись жалобами на него, вѣрно сошлютъ его на поселеніе. Тринадцать рублей, конечно, деньги небольшія, но онѣ составляли почти половину долга; отдавъ ихъ, Лапша, безъ сомнѣнія, спасалъ себя отъ половины жалобъ—судьба его тогда значительно облегчалась... Такъ говорилъ Верстанъ. Не было сомнѣнія, что старшій нищій хлопоталъ такъ много совсѣмъ не потому, что мальчикъ полюбился ему или пришелся по вкусу: онъ о немъ мало даже ду-

малъ; ему было все равно—этотъ ли, третій, десятый; въ нахмуренныхъ, плутоватыхъ глазахъ его очевидно проглядывало какое-то намѣреніе. Мальчикъ самъ по себѣ: но онъ смекнулъ, видно, съ кѣмъ имѣлъ дѣло, и убѣждалъ такъ сильно Тимоѳея, имѣя, вѣроятно, въ мысляхъ воспользоваться его простотою.

Въ началѣ разговора Фуфаевъ часто ввертывалъ прибаутки, которыя для всякаго другого, кромѣ Лапши, служили бы предостереженіемъ; но подъ конецъ, движимый чувствомъ товарищества и, вѣроятнѣе, опасенія (несмотря на свои шестьдесятъ лѣтъ, Верстанъ владѣлъ страшною силой; величина кулаковъ его была соразмѣрна его исполинскому росту), Фуфаевъ перешелъ на сторону нищаго и сталъ ему поддакивать. Подъ вліяніемъ того же чувства, къ нему раза два присоединялся и дядя Мизгирь.

— Ну, такъ какъ же, добрый человѣкъ, по рукамъ, стало-быть? сказалъ Верстанъ, когда убѣдился, что дѣло почти сдѣлано.

— По мнѣ хоть сейчасъ... возразилъ Тимоѳей, молодцовато потряхивая головой и приподнимая брови чуть не до корня волосъ.

— Ладно. Стало, и разговаривать нечего...

— Такъ-то такъ... началъ Лапша и вдругъ снова сплюснулся, какъ пузырь, въ которомъ прокололи дырку.

— Что жъ еще?..

— Сумнѣваюсь... насчетъ, примѣрно... какъ я его теперь выведу, мальчишку-то... Увидитъ она, ни за что не дастъ... ничего съ ней не сдѣлаешь... Кабы вечеромъ...

— Знамо, не теперь! Знамо, вечеромъ, какъ стемнѣетъ... къ ночи дѣло будетъ...

— Ночь матка—все гладко! подсказалъ Фуфаевъ, сдѣлавъ выразительный жестъ.

Онъ ничего не зналъ о намѣреніяхъ товарища касательно Лапши; онъ понялъ только, что Верстанъ назначилъ ночь съ тою цѣлью, чтобъ приведенному мальчику труднѣе было найти дорогу, въ случаѣ, если бъ онъ захотѣлъ вернуться назадъ, что̀, по всѣмъ вѣроятностямъ, и случится.

— Теперь, продолжалъ нищій, — теперь ступай прямо къ вашему управителю; возьми видъ мальчику, примѣрно, отпускъ такой. Скажи, отдаешь, молъ, на жительство, либо въ работу какую... онъ дастъ. Скажи только, къ примѣру этакъ: деньги даютъ за парня, долги хочу упла-

тить... Онъ и то, сказывалъ ты, стращалъ тебя... Отказу, стало, не будетъ... Возьмешь видъ (намъ безъ этого опасливо: мало ли какого народу на дорогѣ попадается!), дома мотри ни гу-гу!.. А вечеръ придетъ, смеркнется, возьми его, скажи; „въ поле иду...“ Мы тебя станемъ дожидаться. Знаешь лѣсъ... какъ, чай, не знать? Ну, вонъ, что̀ мимо-то старая черневская дорога проходитъ! Туда и ступай; тамъ и ждать будемъ... Аукни только — тутъ и есть! сейчасъ откликнемся.

— Вотъ такъ ужъ расписалъ! Ай-да Верстанъ! Словно языкъ-то масломъ смазали! замѣтилъ Фуфаевъ.

Верстанъ, для большей вѣрности, снова привелъ на память Лапшѣ долги его, постращалъ его пріѣздомъ господъ, выставилъ ему на видъ ссылку на поселеніе, коснулся съ насмѣшкою Катерины и такъ ловко сумѣлъ возвысить Лапшу въ особенномъ его мнѣніи, что тотъ, подъ конецъ, снова началъ молодечествовать. Послѣ этого, нищій заставилъ его побожиться, что не обманетъ, и ударился съ нимъ по рукамъ.

— Ну, Мишка, радуйся, товарища нашли! провозгласилъ Фуфаевъ, направляя бѣлые зрачки свои къ вожаку, который стоялъ во все это время подпершись палкой и робко поглядывалъ на говорившихъ. — Веселись, Мишка, пляши! наша, значитъ, взяла! подхватилъ Фуфаевъ и принялся выдѣлывать какія-то колѣнца, но Верстанъ толкнулъ его, сказавъ, что время отправляться.

Всѣ трое простились съ Лапшою, повторили ему, что станутъ ждать его въ лѣсу послѣ заката, и поплелись къ дорогѣ, которая вилась по лугу и пропадала за рощей. Вскорѣ и сами они пропали изъ виду.

Какъ ни былъ бодръ Лапша, онъ не пошелъ, однакожъ, домой по улицѣ. Ему нечего было теперь бояться встрѣчи съ Мореемъ и дядей Карпомъ: онъ не сегодня, такъ завтра могъ отдать одному крупу, другому—деньги; но Лапша очень основательно разсудилъ, что встрѣча съ ними будетъ заключать въ себѣ нѣчто даже пріятное, когда въ рукахъ его будутъ вѣрныя средства зажать имъ ротъ; возможность зажать имъ ротъ, восторжествовать надъ ними въ ту минуту, какъ они набросятся на него съ новыми угрозами, представлялась воображенію Тимоѳея блистательной побѣдой, торжествомъ надъ Мореемъ и Карпомъ. Настроившись подъ такой ладъ, онъ твердою поступью выступалъ по задамъ Марьинскаго. Въ болѣзнен-

ныхъ, вялыхъ чертахъ его проглядывало что-то настойчивое, упрямое, что даже легко было принять за твердую рѣшимость; но у людей слабыхъ упрямство часто съ успѣхомъ замѣняетъ твердость духа; вооруженные имъ, они дѣлаютъ иногда чудеса, достойныя энергическихъ характеровъ.

Какъ бы ни сильна была степень упрямства Лапши, трудно предположить, чтобъ оно не разлетѣлось вдребезги отъ соприкосновенія истинно-твердаго, энергическаго духа Катерины. Встрѣться теперь жена — рѣшительность его вѣрно бы поколебалась; но Катерина не встрѣтилась. Узнавъ, что она ушла на прудъ, Тимоѳей сдѣлался еще молодцоватѣе, еще выше приподнялъ брови. Опасаясь толковъ, пересудовъ и подозрѣній, которые могли возникнуть въ случаѣ, если бъ увидѣли его, входящаго въ контору, онъ разсудилъ, что лучше будетъ попасть туда, обогнувъ барскій садъ и гумно. Такъ онъ и сдѣлалъ: онъ вошелъ въ контору не прежде, какъ внимательно осмотрѣвшись на всѣ стороны.

Нищій угадалъ вѣрно: Герасимъ Аѳанасьевичъ не сдѣлалъ ни малѣйшихъ затрудненій касательно отпуска мальчика. Онъ не освѣдомился даже, куда отдаютъ его, полагая, что отецъ, вѣрно, сыскалъ ему хорошее мѣсто: стараго управителя уже радовало, что деньги, вырученныя за Петю, избавятъ господъ отъ жалобъ, которыми грозили Морей и Карпъ. Впрочемъ, Герасиму Аѳанасьевичу въ настоящую минуту было не до разбирательствъ, онъ готовился ѣхать въ городъ для разныхъ хозяйственныхъ закупокъ, и потому находился въ страшной суетѣ.

Пять минутъ спустя, послѣ появленія Лапши въ контору, онъ вышелъ оттуда, снабженный запиской, въ которой значилось, что „такого-то уѣзда, такой-то вотчины, отпускается мальчикъ Петръ Тимоѳеевъ на заработки, срокомъ на годъ отъ нижеписаннаго числа...“ Внизу была конторская печать и подпись управителя.

Но осторожность, соблюдаемая Лапшою при выходѣ изъ конторы, оказалась лишнею: едва подошелъ онъ къ лабиринту клѣтушекъ, гдѣ помѣщались дворовые, какъ его окликнули по имени; онъ успѣлъ только засунуть отпускъ за пазуху. Обернувшись въ ту сторону, откуда раздался голосъ, онъ почти насунулся на молодого, бѣлокураго парня, который тотчасъ же полѣзъ съ нимъ цѣловаться. Суконный жилетъ съ синими, стеклянными пуговицами

синій кафтанъ, сапоги и волосы, зачесанные въ скобку, обличали въ немъ мастерового; но въ лицѣ его не было видно ни бойкости, ни самоувѣренности, свойственной этому классу народа: круглыя, какъ бы немножко припухшія черты его, полны были кроткаго, добродушнаго выраженія. На толстыхъ губахъ его сіяла такая полная, такая добрая улыбка, что, взглянувъ разъ на лицо парня, никакъ нельзя было вообразить его безъ этой улыбки; она бросалась въ глаза прежде носа, глазъ, и рѣшительно поглощала остальныя черты.

— Здравствуй, дядя Тимоѳей, здравствуй! радостно заговорилъ онъ, снова принимаясь чмокать Лапшу. — А я, признаться, ждалъ тебя... я вѣдь видѣлъ, какъ ты въ контору шелъ... Дай, думаю, погожу.

— Здравствуй, Ваня, произнесъ тотъ, плачевно прищуриваясь.—Слышь, не сказывай только объ этомъ... не говори, примѣрно, что видѣлъ меня въ конторѣ; особливо нашимъ не сказывай, сдѣлай милость такую!.. Ходилъ, просилъ управителя, насчетъ, то-есть, нельзя ли должишки обождать... боюсь, народъ болтать начнетъ... не говори, касатикъ!

— Зачѣмъ говорить! Сказано: не надо—ну, и нечего, стало-быть...

— То-то, братецъ! А то народъ-то нашъ оченно ужъ сталъ завистливъ... и то поѣдомъ съѣли. Такъ обнищали! такъ-то ужъ нуждаемся... и-и-и!..

— Слышалъ, слышалъ! сказалъ Ваня, тоскливо качая головой, но не покидая, однакожъ, своей улыбки.—Я какъ только пришелъ, дядя Тимоѳей, сейчасъ о васъ спросилъ: какъ, примѣрно, живете, всѣ ли живы-здоровы...

— Ты что жъ это изъ города-то, съ оброкомъ, что ли? разсѣянно освѣдомился Лапша.

— Да; одна статья—оброкъ; другая статья—хочу просить, чтобы здѣсь оставили: больно по деревнѣ соскучился... Хоша и нѣтъ никого сродственниковъ, а все на своихъ поглядѣть хотѣлъ. Ужъ, кажется, какъ хорошо было жить! Хозяинъ добрый, работой не отягощаетъ; мы вѣдь больше по обойной части—дѣло не большой тягости и жалованье также хорошее получаемъ, а все сюда такъ тебя и тянетъ. Можетъ-статься, господа пріѣдутъ; попрошусь—здѣсь оставятъ, здѣсь поживу...

— Ну, ну, прощай, Ваня; мнѣ недосугъ... есть дѣло одно... Смотри же не сказывай... особливо, коли нашихъ

увидишь. Къ намъ потомъ заходи, добавилъ принужденно Лапша.

— Какъ же! ужъ это безпремѣнно! радостно возразилъ Иванъ, при чемъ улыбка его засiяла еще пуще прежняго.

Во весь остатокъ этого утра Тимоѳей тщательно избѣгалъ встрѣчи съ женою. Когда время обѣда соединило ихъ вмѣстѣ, усадило за одинъ узенькiй столъ другъ противъ дружки, Тимоѳей и тогда старался не смотрѣть на жену; онъ не переставалъ кашлять, всячески норовилъ показать, что ему сильно нездоровится. Безпокойный, встревоженный видъ его точно легко было принять за нездоровье. Катерину все это мало трогало; она также, казалось, избѣгала взглядовъ его и разговоровъ. Но сколько мрачны и молчаливы были отецъ съ матерью, столько веселы и говорливы были дѣти; особенно отличалась на этотъ разъ Маша, старшая дочь Катерины. Всегда спокойная и тихая, она теперь на себя была не похожа: съ той самой минуты, какъ отецъ, возвращаясь домой, сказалъ ей о приходѣ Ивана въ Марьинское, она вдругъ повеселѣла. Откуда чтò взялось у нея: она неумолкаемо смѣялась съ маленькими братьями, ходила по всему дому, дѣятельно пособляла матери въ хозяйственныхъ хлопотахъ, причесала и повязала платкомъ голову безумной Дуни, которая въ эти два дня совсѣмъ почти не была дома; даже теперь, во время обѣда, Маша говорила и смѣялась больше другихъ; но отецъ и мать, занятые каждый своими мыслями, не замѣтили этой внезапной перемѣны.

Тимоѳей поднялся съ лавки прежде всѣхъ; онъ вышелъ въ огородъ, прошелся раза два-три взадъ и впередъ по тропинкѣ, вошелъ потомъ въ ригу и легъ на солому. Но ему что-то не спалось: сколько ни ворочался онъ съ боку на бокъ, сколько ни лежалъ съ закрытыми глазами—сонъ не являлся. Онъ снова вернулся въ избу и взлѣзъ на печку; но и тамъ ему было какъ-то неловко; то же самое повторилось и на полатяхъ, и на лавкѣ; словомъ, куда ни переходилъ онъ, куда ни укладывался — нигдѣ не лежалось. Соскучившись, видно, перекладываться съ мѣста на мѣсто, взялъ онъ шапку и вышелъ на дворъ; но ему не стоялось точно такъ же, видно, какъ и не лежалось; со двора перешелъ онъ въ огородъ, изъ огорода снова перешелъ на дворъ; подойдетъ къ лугу, поглядитъ-поглядитъ, потрясетъ головою и снова идетъ къ дому. Въ одну изъ этихъ прогулокъ онъ встрѣтился съ Петей.

— Куда ты, батя? спросилъ мальчикъ, взглянувъ на шапку отца.

При этомъ вопросѣ Лапша поперхнулся и кашель одолѣлъ его до того, что онъ долго потомъ держался обѣими руками за грудь.

— Хотѣлъ вотъ пройти въ лѣсъ... сказалъ онъ, боязливо поглядывая на стороны,—я чай, теперь, послѣ дождято, грибовъ много...

— Возьми меня съ собою! весело крикнулъ мальчикъ, какъ бы зная впередъ, что отказа не будетъ.

— Ладно... пойдемъ... возразилъ Лапша, сопровождая каждое слово тяжелымъ покрякиваньемъ и безпокойными взглядами.—Въ избѣ есть кто-нибудь? примолвилъ онъ.

— Нѣтъ, ушли всѣ. Мама и Маша пошли къ пруду; братья на улицѣ съ ребятами.

— Пойдемъ-ка въ избу, сказалъ отецъ, оглядывая мальчика щурившимися глазами,—я чай, одѣться надо... шапку возьми... лапти надѣнь...

— Э! мнѣ ничего!.. вѣдь теперь лѣто; я и такъ пойду... Тепло! крикнулъ мальчикъ, засучивая свои штанишки.

Но Лапша, въ которомъ все болѣе и болѣе замѣтно было смущеніе, сказалъ, что они пойдутъ далеко, что ночь можетъ захватить ихъ на дорогѣ, что рóсы велики, такія теперь рòсы, хуже дождя вымочитъ!

Они вошли въ избу. Тимоѳей сталъ пособлять ребенку надѣвать лапти.

— Э-э! крякнулъ онъ неожиданно, опустилъ вдругъ руки и тоскливо замоталъ головою.

— Чтò ты, батя?

— Такъ... что-то все нездоровится... что-то... произнесъ Лапша, но снова какъ будто ободрился и сказалъ:—пойдемъ, бери шапку.

— То-то мамка-то подивится, какъ мы ей грибовъ-то принесемъ! воскликнулъ Петя, радостно выходя на крылечко,—вотъ какой ворохъ навалимъ ей грибовъ-то! подхватилъ онъ, подымая худенькую руку на аршинъ отъ земли,—слышь, не взять ли намъ кузова?

— Нѣтъ... мы такъ... лучше въ шапку, либо за пазуху...

— Ну, ладно!

И мальчикъ запрыгалъ впередъ по тропинкѣ, сопровождаемый отцомъ, который спѣшилъ миновать огородъ и съ каждымъ шагомъ оглядывался назадъ.

— Мы, Петя, лучше нашимъ оврагомъ пойдемъ къ лѣсу-то... Тутъ, знамо, ближе.

— Ну, что жъ! пойдемъ!.. Я, батя, съ тобой до смерти люблю ходить! воскликнулъ Петя, лицо котораго сіяло радостью и краснорѣчиво подтверждало слова его. — Ну, что̀ съ ребятами-то пойдешь? кричатъ только, балуются, дерутся... Да и далеко-то въ лѣсъ не ходятъ: все говорятъ: „волкъ! волкъ!“ Я чай, только стращаютъ—а?..

— Знамо, стращаютъ, разсѣянно проговорилъ отецъ.— Ты, Петя, если увидишь кого... по дорогѣ идетъ, ты, мотри, скажи... прибавилъ онъ, ускоряя шаги.

Съ этой минуты, веселые, ласковые глаза мальчика начали съ дѣтской заботливостью устремляться во всѣ части широкаго луга, который развертывался все шире и шире, по мѣрѣ того, какъ оба они удалялись отъ деревни; но никого не замѣтилъ мальчикъ.

— А что̀, батя, гдѣ-то теперь нашъ дѣдушка Василій! Я чай, далеко теперь?.. неожиданно спросилъ Петя, когда оба очутились на днѣ глубокаго оврага.

— Кто его знаетъ?.. надо быть далеко...

— То-то добрый старичокъ какой! ужъ такой-то добрый! такой добрый!.. простодушно сказалъ ребенокъ, — вишь какой образокъ подарилъ! ни у кого нѣтъ такого... Вечоръ мамка обшила его холстинкой, на шнурокъ привѣсила, „вѣкъ, говоритъ, носи! память, говоритъ, отъ добраго человѣка!“ Я и то буду носить... самодовольно довершилъ онъ, запрятывая образокъ за пазуху.

Долго шли они оврагомъ и еще дольше шли полями. Съ каждымъ шагомъ впередъ, Лапша дѣлался безпокойнѣе и молчаливѣе; ребенокъ, напротивъ, не переставалъ скакать и болтать безъ умолку.

— Гдѣ жъ, батя, лѣсъ-то? спрашивалъ онъ время отъ времени.

— Не видать еще; скоро будетъ видно...

Они перешли старую черневскую дорогу; мѣстность пошла скатомъ, и передъ ними открылся лѣсъ. Косые лучи солнца, которое клонилось къ горизонту, обливало золотымъ блескомъ безкрайныя поля, слившіяся во всѣ стороны; одинъ только лѣсъ, изгибавшійся острыми углами и глубокими впадинами, представлялся темнымъ, мрачнымъ пятномъ посреди сіявшей окрестности. Тимоѳей и маленькій сынъ его не замедлили достигнуть опушки и вскорѣ совершенно скрылись изъ виду.

X.

Открытіе. Поиски.

Свѣтлая майская ночь смѣнила уже сумерки; небо усѣяно было звѣздами, и окрестность постепенно освѣщалась серебристымъ блескомъ мѣсяца, который всплывалъ надъ темнымъ горизонтомъ, когда Лапша снова очутился на лугу. Первый человѣкъ, который увидѣлъ его, была та самая востроглазая, тараторливая бабенка, слывшая въ Марьинскомъ первой запѣвалкой и хороводницей. Она выбѣжала на лугъ выкликать телку, которая нигдѣ не отыскивалась, и прямехонько налетѣла на Тимоѳея.

— Охъ! пронзительно вскрикнула она, откидываясь въ сторону; но испугъ ея прошелъ мгновенно, какъ только всмотрѣлась она въ черты мужика.

— Фу, какъ ты меня испугалъ! Я думала, и Богъ знаетъ кто! заговорила она, поглядывая на Тимоѳея, котораго мѣсяцъ цѣликомъ освѣщалъ съ головы до ногъ,— батюшки! да ты никакъ хмеленъ? И то хмеленъ!.. Гдѣ это тебя угораздило? примолвила она со смѣхомъ.

Тимоѳей дѣйствительно качался изъ стороны въ сторону; онъ безсмысленно водилъ шальными глазами; волосы его торчали въ безпорядкѣ; рубашка и ноги были выпачканы грязью; онъ держался обѣими руками за грудь, изъ которой вырывалось глухое хрипѣнье.

— Гдѣ жъ ты это былъ-то? а?.. подхватила она, — словно лѣшій какой выпачкался, право!.. Что̀ ты? промолвила она, пристальнѣе вглядываясь въ Тимоѳея, который вдругъ страшно застоналъ, — что̀ съ тобой дѣлается? ась?..

— Расшибся... охъ!.. въ вертепъ упалъ, расшибся... добрѐ... слабымъ, сдавленнымъ голосомъ произнесъ Лапша, продолжая водить глазами и покачиваться съ ноги на ногу.

Онъ очевидно былъ хмеленъ.

Востроглазая бабенка, надо полагать, совершенно удовольствовалась этимъ объясненіемъ. Она оглянула его еще разъ и пустилась по лугу, покрикивая пискливымъ голоскомъ: „пусень! пусень“...

Лапша простоялъ минуты двѣ на одномъ мѣстѣ, страшно распяливая глаза и какъ бы желая припомнить, гдѣ онъ. Наконецъ, сознаніе будто возвратилось къ нему; онъ продолжалъ путь; но не столько, казалось, управляла имъ

мысль, сколько тяжесть туловища, головы и рукъ, которыя сами собою наклонялись къ землѣ и влекли его впередъ. Онъ машинально добрелъ до своей риги; ворота были заперты; онъ пытался нѣсколько разъ отворить ихъ, но не осилилъ и повалился у входа лицомъ къ землѣ.

А между тѣмъ въ домѣ у него еще бодрствовали; спали только маленькія дѣти. Катерина и Маша стояли подъ уличными воротами; онѣ очевидно ждали чего-то.

— Диковинное дѣло, право! нейдетъ, да и полно! сказала Катерина, въ сотый разъ выглядывая на улицу.

— Должно быть, съ ребятишками убёгъ куда-нибудь... Далеко, можетъ, зашли, замѣтила Маша.

— Куда имъ зайти? Ночь давно... Давно бы прійти пора. Этого никогда не бывало, чтобъ малые ребятёнки по ночамъ шлялись, нетерпѣливо возразила мать.

Услыша дѣтскіе голоса недалеко отъ околицы, она вышла изъ-подъ воротъ и, сопровождаемая дочерью, пошла по улицѣ.

— Петруша! крикнула она.—Петя!

— Я здѣсь, отозвался голосъ.

Катерина ускорила шагъ.

— Петя, ты? спросила она, приближаясь къ группѣ мальчишекъ.

Это точно былъ Петя, но только не ея сынъ, а бѣлокурый, курносый мальчуганъ.

— Ума не приложу! сказала она, обнаруживая на этотъ разъ очевидное безпокойство.

Она медленно возвратилась къ избѣ своей и сѣла на заваленку. Дѣтскіе голоса стали умолкать; на улицѣ становилось все тише и тише; кое-гдѣ слышался говоръ мужиковъ и бабъ, которые сидѣли подлѣ воротъ своихъ. Мѣсяцъ поднялся уже выше крышъ, и дальняя часть улицы, которая находилась до сихъ поръ въ тѣни, начала озаряться голубоватымъ свѣтомъ. Но Петя все еще не являлся.

— Вотъ такъ-то: сидишь-сидишь, ждешь-ждешь, и невѣсть, право, что́ въ голову приходитъ! проговорила Катерина съ грустнымъ оттѣнкомъ въ головѣ. — Ужъ не пошелъ ли онъ на мельницу?.. въ воду не упалъ ли?.. Да нѣтъ, пришли бы, сказали... Главная причина потому больше беретъ сумнѣнье: больно мальчикъ-то смиренъ; нѣтъ этого у него, чтобъ онъ баловать сталъ, либо сунулся зря куда ни попало.

— Слышь, матушка, да вонъ онъ гдѣ! радостно воскликнула Маша, — не пошелъ ли онъ съ ребятами въ ночную, лошадь стеречь?.. Пойдемъ, спросимъ-ка, пока не ушли еще...

Онѣ встали и проворно пошли къ околицѣ. Не дойдя еще до конца улицы, онѣ встрѣтили двухъ мальчиковъ, которыхъ звала бабушка, сидѣвшая у избы.

— Ребята, не видали вы, не пошелъ мой Петрушка съ ребятами въ ночную?

— Нѣтъ.

— Кто же въ ночную-то поѣхалъ?

— Двое: Костюшка Дороѳеевъ, да Васька Кузнецовъ, только одни и поѣхали...

— Чай, дядя Степанъ съ ними, съ живостью подхватилъ одинъ изъ мальчиковъ.

— Знамо, съ ними; да вѣдь она про ребятъ спрашиваетъ...

— Ахъ ты Господи, Творецъ небесный! да гдѣ жъ онъ? произнесла Катерина взволнованнымъ голосомъ.

— Ты это о чемъ, касатка? спросила, подходя къ ней, старуха, сидѣвшая на заваленкѣ и призывавшая мальчиковъ.

— Да вотъ, тетушка, парнишка пропалъ у меня, начала Катерина, оглядываясь вокругъ и прислушиваясь къ каждому крику, срывавшемуся время отъ времени съ отдаленныхъ полей,—боюсь, не прилучилось бы чего, не вѣсть куда дѣлся...

— И-и, касатка, чему случиться! Вѣдь онъ съ отцомъ ушелъ, спокойно возразила старуха.

— Какъ, съ отцомъ? Когда?

— Да нòнѣ, вечеромъ... Тетка Арина въ рощу ходила; идетъ оттуда, а они идутъ... Прошли, говоритъ, лугомъ-то, да въ оврагъ и схоронились...

— Вишь, матушка, а ты сумнѣвалась! сказала Маша,— я говорила: ничего!

— Да развѣ отецъ-то не привелъ его? спросила старуха.

— Онъ самъ не приходилъ, самого дома нѣтъ, сказала Маша.

— Что̀ ты, касатка? онъ давно дома; его давно видѣли! возразила старуха. — Эй, невѣстка, а невѣстка! крикнула она, обернувшись къ избѣ.

— Ась? отозвался дребезжащій голосъ, по которому присутствующія узнали востроглазую запѣвалку.

— Ты, никакъ, говорила, Тимоѳея, Катеринина мужа, встрѣла?..

— А что?

— Да вотъ, говорятъ, дома его нѣтути... Съ нимъ парнишка-то его былъ?..

— Нѣтъ, одинъ шелъ... да добре очень ужъ хмеленъ, бормочетъ не вѣсть что... не разберешь ничего... расшибся, говоритъ, въ вертепъ упалъ... Какой, я чай, должно быть, по дорогамъ валялся. Нѣтъ, парнишки съ нимъ не было...

Съ послѣдними словами Катерина, волненіе которой возрастало съ каждой секундой, повернулась къ дому и пошла быстрѣе прежняго. Маша, слѣдовавшая за нею, нѣсколько разъ забѣгала впередъ и съ удивленіемъ поглядывала на мать: дыханіе Катерины было такъ тяжело и порывисто, что слышалось въ десяти шагахъ. Она не могла дать себѣ отчета въ томъ, что чувствовала; ей хотѣлось только, болѣе чѣмъ когда-нибудь, увидѣть своего Петю. Вопреки одобрительнымъ мыслямъ, которыми старалась она подкрѣплять себя, смутное, но тягостное предчувствіе чего-то недобраго тѣснило ея сердце и волновало кровь. Шагъ ея постепенно ускорялся, и наконецъ, въ нѣкоторомъ разстояніи отъ избы, она бросилась бѣжать. Минута—и она была въ избѣ; еще минуты довольно было ей, чтобъ убѣдиться, что мужа тамъ не было. Она выбѣжала на дворъ и безъ оглядки пустилась къ ригѣ.

Тимоѳей лежалъ у воротъ въ томъ же положеніи, какъ мы его оставили. Надо думать, въ первую минуту своего паденія въ вертепъ, онъ не почувствовалъ, какъ сильно расшибся; этому способствовалъ отчасти, можетъ-быть, и хмель; и наконецъ, въ первую минуту ушиба часто не такъ страдаешь, какъ послѣ. Боль въ груди его, вѣроятно, только теперь начинала сказываться; онъ стоналъ, какъ умирающій. Подбѣжавъ къ нему, Катерина оглянулась вокругъ; этотъ взглядъ убѣдилъ ее, что Петруши здѣсь не было. При этомъ, она совершенно какъ будто растерялась, бѣшено бросилась на мужа и съ силою, которая дается въ минуты отчаянья, подняла его какъ тряпку.

— Гдѣ Петя?.. крикнула она, прислоняя его къ воротамъ,—гдѣ Петя?.. повторила она, вцѣпляясь ему въ рубашку, которая заходила изъ стороны въ сторону вмѣстѣ съ Лапшою;—гдѣ... Говори, говори!..

— Матушка... простоналъ Тимоѳей, подгибая колѣни.

— Гдѣ сынъ? гдѣ Петя?.. снова закричала она, бѣшено встряхивая его.

Маша бросилась было къ матери, думая удержать ее, но та оттолкнула ее и снова приступила къ мужу, требуя отъ него отвѣта.

— Не знаю... ничего не...

— Врешь, разбойникъ! тебя видѣли съ нимъ!.. Говори... говори! задушу!.. кричала Катерина въ какомъ-то бѣшеномъ изступленіи.

Рыданія заглушили вдругъ голосъ Тимоѳея, и онъ произнесъ едва внятно:

— Они денегъ... денегъ посулили.

— Кто? вымолвила Катерина, у которой пробѣжалъ холодъ въ волосахъ.

— Нищіе...

— Гдѣ жъ Петя?.. пробормотала она, опуская руки, которыя какъ будто вдругъ отнялись у нея.

— Они увели... силой отняли...

Страшный, раздирающій душу вопль вырвался изъ груди Катерины; она схватила себя за волосы и вдругъ бросилась бѣжать, какъ сумасшедшая, къ улицѣ, не переставая кричать на всю деревню:

— Батюшки! парнишку украли! Спасите, родные! помогите! Парнишку увели... силой отняли!.. спасите! увели!..

Крики эти, раздавшіеся еще звонче посреди ночного затишья, мгновенно всполошили бабъ и мужиковъ, остававшихся на заваленкахъ; на улицѣ послышались голоса и торопливый шумъ шаговъ.

Выбѣжавъ на улицу, Катерина вторично вырвалась изъ рукъ дочери, которая старалась удержать ее, и прямо кинулась въ контору. Ея вопли и крики переполошили точно такъ же маленькое народонаселеніе, наполнявшее клѣтушки дворовыхъ; въ одинъ мигъ всѣ показались въ дверяхъ; минуту спустя, густая толпа, которую увеличивали прибѣгавшіе съ улицы, обступила плачущую навзрыдъ Машу. Одинъ изъ первыхъ, который подбѣжалъ къ ней, былъ Иванъ обойщикъ. Узнавъ, въ чемъ дѣло, онъ тотчасъ же бросился въ контору.

Онъ засталъ тамъ двухъ писарей и еще старика, которые всячески старались втолковать Катеринѣ, что Герасимъ Аѳанасьевичъ въ городѣ и пріѣдетъ не ранѣе завтрашняго дня; но она продолжала рыдать и биться; она говорила, что надо послать въ погоню за нищими,

послать сейчасъ же: иначе разбойники уведутъ мальчика на край свѣта; наконецъ, съ помощью Ивана, который болѣе другихъ хлопоталъ около нея, Катерину кое-какъ уговорили и вывели на свѣжій воздухъ. Она казалась теперь совершенно уже обезсилѣвшею. Въ одинъ этотъ часъ истратила она, повидимому, всю энергію и силу, которыя поддерживали ее цѣлую жизнь. Если бъ не Иванъ и Маша, она врядъ ли даже могла бы держаться на ногахъ; голова ея, съ разбросанными въ безпорядкѣ волосами, безжизненно свѣшивалась на-бокъ; рыданія разрывали грудь, и потоки слезъ струились по щекамъ ея.

Такъ привели они ее къ избѣ. Во все это время толпа, прибывавшая какъ изъ клѣтушекъ дворовыхъ, такъ и съ улицы, сопровождала ихъ; отовсюду слышались слова удивленья и соболѣзнованія. У порога избы, гдѣ все напоминало сына, горе окончательно какъ бы сломило Катерину, отняло у нея послѣднія силы. Это было такъ неожиданно, что Иванъ и Маша не успѣли подхватить ее; она упала на́-земь и голосомъ, полнымъ страшнаго отчаянья, стала призывать Петю. Иванъ, Маша и нѣсколько бабъ снова принялись уговаривать ее—все было напрасно: она колотилась головою о̀-земь и кричала, чтобъ ей отдали Петю. Иванъ шепнулъ тогда нѣсколько словъ Машѣ и пустился стремглавъ къ ригѣ. Немного погодя онъ вернулся назадъ, протискался сквозь толпу и припалъ лицомъ къ лицу Катерины.

— Тетушка, заговорилъ онъ, силясь приподнять ее,— полно! встань, очнись! Чѣмъ время-то терять попусту, пойдемъ-ка лучше искать его... Я знаю, гдѣ его оставили... Богъ милостивъ, найдемъ! Встань, говорю... право, найдемъ!.. слезами ничего не возьмешь... Пойдемъ лучше, пока время!..

Она медленно приподняла голову и такъ же медленно начала въ него всматриваться, какъ бы не хорошо еще понимая слова его. Иванъ повторилъ ей свою просьбу; Маша между тѣмъ приводила въ порядокъ ея волосы и также старалась уговорить ее. Въ толпѣ всѣ разомъ говорили и махали руками; общій смыслъ всего этого былъ тотъ, что точно времени терять нечего, что если пойти теперь, то можно еще легко напасть на слѣдъ нищихъ.

Мало-по-малу Катерина очнулась.

— Господи! сказала она, оглядываясь вокругъ и осѣняя себя крестнымъ знаменіемъ,—Господи, что̀ это такое?..

Господи! Творецъ милосердый! подхватила она, становясь на колѣни, подымая глаза къ ясному, усѣянному звѣздами небу, и съ горячностью начиная снова креститься.—Господи! спаси его, дѣтище мое ненаглядное! Сотвори, Отецъ небесный, милость мнѣ грѣшной! Не дай, Господи, пропасть ему у злыхъ людей!.. Отыми, Господи, силы мои, отыми хлѣбъ мой, дай только взглянуть на него, моего дитятку!..

Говоря все это, она горько плакала, но ужъ плакала какъ-то тихо, какъ бы боясь оскорбить излишнимъ горемъ и недовѣрчивостью Всевышняго, Котораго молила о возвращеніи сына.

— Ну, пойдемъ же, тетушка Катерина! сказалъ Иванъ, утирая глаза, что̀ дѣлали и многіе другіе, находившіеся поблизости,—время терять нечего—пойдемъ!

Катерина перекрестилась еще разъ, покрылась овчинкой, которую принесла Маша и, сказавъ: „Господи благослови!“, быстрыми шагами пошла по улицѣ, преслѣдуемая шумной толпою. Приближаясь къ околицѣ, она пошла такъ скоро, что за нею могли поспѣвать только Иванъ да Маша, единственныя лица изо всей многочисленной толпы, которыхъ оживляло въ этомъ случаѣ истинное, сердечное участіе. Народъ, провожавшій ихъ, началъ мало-по-малу отставать. Каждый, прощаясь съ ними, считалъ, однакожъ, непремѣнно своею обязанностью высказать имъ свое мнѣніе и снабдить ихъ совѣтомъ. Они давно уже миновали лугъ и, слѣдовательно, ничего не могли слышать, кромѣ звука собственныхъ шаговъ; но совѣты, толки, пересуды и предположенія все еще раздавались на улицѣ; наконецъ, всѣ стали расходиться по домамъ; немного спустя, на улицѣ воцарилась такая же тишина, какъ и въ поляхъ, которыя серебрилъ мѣсяцъ, свѣтившій теперь прямо надъ деревней.

Но стоило, впрочемъ, пройти къ огороду Тимоѳея, чтобъ убѣдиться, что въ Ма̀рьинскомъ не все еще успокоилось. Не нужно даже было тонкаго слуха, чтобъ услышать съ этого мѣста охи и глухіе, затаенные вопли. Они выходили изъ риги; ворота на этотъ разъ были настежь отворены; лунный свѣтъ, проходя сквозь многочисленныя щели кровли, позволялъ различать тощую фигуру Лапши, лежащую въ дальнемъ углу. Лицо его было уткнуто въ солому, руки раскинуты врозь; иногда онъ подымалъ одну изъ нихъ, сжималъ кулакъ и начиналъ колотить себя въ го-

лову; иногда только глухіе стоны выказывали его отчаяніе. Время отъ времени онъ замолкалъ вовсе и какъ бы погружался въ горячую думу.

Въ одну изъ этихъ минутъ, когда становилось опять такъ тихо, что раздавалось даже ржанье жеребенка съ дальнихъ полей, съ наружной стороны риги, въ густыхъ кустахъ травы, послышался какъ будто шорохъ. Немного погодя, выставилось что-то черное; тѣнь головы неожиданно мелькнула на плетнѣ и скрылась въ ригѣ. Нѣсколько времени ничего не было ни видно, ни слышно; наконецъ, мало-по-малу, подлѣ Тимоѳея явственно обозначился человѣкъ въ мохнатой шапкѣ. Секунды три стоялъ онъ какъ бы въ нерѣшительности, осматривался, прислушивался и вдругъ пригнулся къ Лапшѣ и началъ толкать его, нашептывая ему что-то скороговоркою. При первыхъ звукахъ этого голоса, Лапша дрогнулъ, приподнялъ голову и прижался спиною къ плетню.

— Филиппъ... братъ?.. пробормоталъ онъ, цѣпенѣя отъ страха.

— Я! Никого здѣсь нѣтъ? прошепталъ Филиппъ, озираясь на стороны.

— Бога ты не боишься! говорилъ:—не прійдешь никогда... денегъ взялъ... началъ Лапша жалобнымъ, дрожащимъ голосомъ, между тѣмъ какъ братъ обшаривалъ углы риги и прислушивался въ воротахъ,—погубилъ ты насъ совсѣмъ... мало тебѣ этого!.. Чего еще хочешь?

— Тсс... молчи! грубо возразилъ Филиппъ, возвращаясь къ брату.

Онъ наклонился къ лицу его, ухватилъ его за плечи и произнесъ отрывисто:

— Давай деньги!

— Нѣтъ у меня ничего.

— А вотъ поговори у меня! прошепталъ сквозь зубы Филиппъ,—давай деньги, тринадцать рублёвъ, что̀ нищіе дали...

При словѣ „нищіе“, которое напомнило Лапшѣ все, что̀ произошло въ этотъ вечеръ, онъ горько заплакалъ.

— Молчи! пришибу! сказалъ Филиппъ, быстро озираясь назадъ,—говорятъ, деньги давай!

— Да нѣтъ же у меня ничего! началъ Лапша, всхлипывая.—Они меня обманули... напоили... охмелѣлъ... они парнишку увели... только полтинникъ дали, да три копейки...

— Давай! произнесъ Филиппъ.

— И тѣхъ нѣту, продолжалъ Лапша,—и тѣ обронилъ, какъ въ вертепъ свалился... На, ищи пожалуй... Я дома еще не былъ.

Одной секунды достаточно было разбойнику, чтобъ обшарить брата и удостовѣриться въ справедливости словъ его. Онъ разразился въ страшныхъ проклятіяхъ и угрозахъ.

— Ладно же! шепнулъ онъ,—я все узнàю; коли обманулъ, я ти припомню... Только, значитъ, и жилъ—помни это!..

— Провалиться мнѣ на этомъ мѣстѣ! отсохни у меня руки, коли не такъ... началъ-было Лапша.

— Ладно, перебилъ Филиппъ, — обо всемъ развѣдаю: коли не такъ, такого „краснаго пѣтуха“ *) пущу, долго будешь помнить! заключилъ онъ, бросаясь къ воротамъ.

Тѣнь его снова мелькнула мимо плетня, трава зашуршукала, и снова стало все такъ же тихо, какъ было прежде.

Катерина и молодые ея спутники не теряли между тѣмъ времени. Къ нимъ присоединился теперь, впрочемъ, еще четвертый товарищъ—Волчокъ. Онъ догналъ ихъ на первой полуверстѣ — обстоятельство, которое несказанно обрадовало Ивана. Отъ самаго Марьинскаго Иванъ не умолкалъ ни на минуту, стараясь всячески успокоить тетку Катерину; и хотя широкая улыбка сіяла теперь на губахъ его точно такъ же, какъ и всегда, но ясно уже видно было по его глазамъ, пожиманью плечъ и переминанью, что онъ исчерпалъ до дна весь свой запасъ утѣшеній и приходилъ въ сильное затрудненіе. Волчокъ явился какъ будто затѣмъ, чтобъ его выручить.

— Вотъ вѣдь, тетушка, а я только что о немъ думалъ! сказалъ Иванъ, указывая на собаку, которая прыгала и лизала руку Катерины,—въ этакомъ дѣлѣ собака лучше всякаго товарища. Разъ, мнѣ сказывали, мужикъ на базаръ поѣхалъ, и захвати его мятель; бился-бился, сердечный, никакъ изъ оврага не вылѣзетъ; въ оврагъ попалъ; совсѣмъ ужъ заметать стало... Что жъ ты думаешь? собака спасла! право, собака! Оставила этто она его въ оврагѣ-то; туда-сюда рыскать, на деревню и напала;

*) Пустить „краснаго пѣтуха“, на языкѣ разбойниковъ, значитъ поджечь.

лаетъ, говорятъ, зоветъ, не то, чтобъ кусаетъ, а только, знаешь, тащитъ, примѣрно, къ околицѣ. Смекнули дѣло: сѣли на лошадей, поѣхали... Что жъ ты думаешь? Вѣдь привела! право, привела!

Но Катерину мало, повидимому, утѣшалъ разсказъ Ивана, точно такъ же какъ все, что̀ ни придумывалъ онъ для облегченія ея горя. Всѣ чувства ея души, даже слухъ и зрѣніе, принадлежали, казалось, одной мысли, которая давила и уничтожала всѣ остальныя. Выступая все тѣмъ же твердымъ, торопливымъ шагомъ, она не отрывала безпокойныхъ глазъ отъ туманной, низменной дали, которая казалась еще глубже при серебристомъ мерцаніи луннаго свѣта.

Иванъ не разъ пытался примѣнить къ дѣлу Волчка; онъ пускался бѣжать впередъ по дорогѣ, указывалъ ему пальцемъ на землю, говорилъ: „Ищи, тю-тю-тю, ищи!“ но все это безъ малѣйшей пользы—потому ли, что слѣдовъ не было, потому ли, что природа обидѣла Волчка, отнявъ у него чутье, потому ли, наконецъ, что Волчокъ былъ голоденъ, но только онъ предпочиталъ рыскать по полямъ и откапывать мышей, чѣмъ обнюхивать дорогу. Вѣрнѣе всего, что слѣдовъ не было. Если бъ Иванъ имѣлъ время долѣе поговорить съ Лапшою, онъ узналъ бы, что слѣдовъ и быть не могло. Лапша и Петруша шли совсѣмъ не по этой дорогѣ: они пробирались къ лѣсу краткимъ путемъ, шли цѣликомъ, полями. Это обстоятельство было причиною, что наши спутники стали приближаться къ цѣли своего путешествія уже къ исходу ночи. Заря занималась на востокѣ, когда они увидѣли лѣсъ.

Думала ли Катерина, проходя мимо этого лѣса столько разъ въ своей жизни, думала ли она, что видъ его пробудитъ въ ея душѣ столько скорби и терзаній? Нужно было все усердіе Ивана, вся любовь Маши, чтобы удержать ее отъ порывовъ страшнаго отчаянья. Она побѣжала такъ скоро, что спутники ея, хотя и были вдвое ея моложе, едва поспѣвали за нею.

Достигнувъ опушки, она вдругъ остановилась; ее точно пугало обширное пространство лѣса: она боялась крикнуть и не получить отзыва. Иванъ и Маша обмѣнялись взглядами, которые говорили, чтобъ не оставлять ея одной. Не отпуская ее изъ виду, всѣ трое вошли въ чащу, которая тотчасъ же огласилась криками и ауканьемъ. Но все безмолвствовало. Только лѣсъ уныло гудѣлъ, какъ бы

негодуя на раннихъ посѣтителей, которые пришли тревожить его отъ сладкаго усыпленья.

Они подвигались все дальше и дальше. Вскорѣ не стало дерева, которое не слыхало бы нѣсколько разъ повтореннаго имени Петруши. Катерина заглядывала во всѣ кусты, забиралась въ самыя глухія, непроходимыя чащи. Иванъ и Маша подсобляли ей усердно; даже Волчокъ помогалъ имъ. Разъ даже онъ чуть-было не возвратилъ имъ надежды, которая начала уже оставлять ихъ. Онъ вдругъ залаялъ, завилялъ хвостомъ и поскакалъ впередъ, обнюхивая траву; у Катерины замерло сердце; она бросилась по слѣдамъ Волчка, не переставая креститься. Проскакавъ шаговъ тридцать, собака остановилась, подняла голову, долго обнюхивая воздухъ, и возвратилась къ Машѣ: она, очевидно, потеряла слѣдъ; сколько потомъ ни бились подлѣ этого мѣста, сколько ни подстрекали ее искать, собака лизала только руки и махала хвостомъ.

— Матушка, полно! Христосъ съ тобою! Вѣдь этимъ не поможешь, хуже только ослабнешь, лучше искать давай, сказала Маша, наклонясь къ матери, которая, рыдая, бросилась на траву.

— Подумай только, тетушка Катерина, подхватилъ Иванъ съ неизмѣнной своей улыбкой, хотя ему, конечно, было не до смѣху,—подумай, вѣдь этакъ сколько у насъ время-то проходитъ! Чѣмъ раньше за дѣло возьмешься, тѣмъ вѣрнѣе... Далеко уйти не могли... найдемъ еще, можетъ-статься... Богъ милостивъ!..

Одна только эта мысль способна была снова подкрѣпить ея силы. Она перекрестилась, и они пошли далѣе.

Лѣсъ давнымъ-давно ожилъ; давно изъ конца въ конецъ раздавались птичьи хоры; мѣстами, въ самой глубинѣ его, встрѣчались лужайки, которыхъ ярко уже обливало солнце... Они все еще ходили взадъ и впередъ, не переставая кричать и аукать. Все было напрасно! Тогда Маша посовѣтовала обойти окрестныя деревни и особенно тѣ, которыя выходили на черневскую старую дорогу. Хотя дорога заброшена, но все еще по ней проходило довольно народу и можно было, разспрашивая встрѣчныхъ, добиться толку. Иванъ подтвердилъ эту мысль, и всѣ трое вышли изъ лѣсу.

Было уже около полудня, когда они очутились на черневской дорогѣ. Они не пропустили ни одного человѣка безъ того, чтобъ не разспросить его о нищихъ—никто не

встрѣчалъ ихъ. Въ Черневѣ результатъ ихъ разспросовъ былъ почти тотъ же: проходилъ какой-то старикъ съ сумою, стучался подъ окнами, но только онъ былъ безъ мальчика. Такъ переходили они изъ одной деревни въ другую, останавливаясь для того лишь, чтобъ развѣдать что-нибудь о мальчикѣ, но не получали даже намека, который могъ бы служить имъ путеводной ниткой. Едва передвигая ноги, измученные, усталые и, болѣе того, сокрушенные горемъ, пришли они къ ночи въ большое село, находившееся верстахъ въ десяти отъ Марьинскаго. Насилу могли убѣдить Катерину, что было бы теперь напрасно продолжать поиски: ночь была темная; густой наволокъ покрывалъ небо; едва можно было отличать дорогу отъ полей. Весь слѣдующій день былъ проведенъ точно такъ же, какъ и первый; Петя все-таки не отыскивался; онъ точно въ воду канулъ! Слезы, отчаянье такъ истомили бѣдную Катерину, что она не могла ужъ идти далѣе. Они вторично остановились ночевать въ одной деревнѣ, лежавшей въ совершенно противуположной сторонѣ той, въ которой ночевали наканунѣ. Переговоривъ съ Машей, Иванъ рѣшился нанять телѣгу, чтобъ доѣхать до Марьинскаго. Чтобъ удостовѣрить мужика, который взялся везти ихъ, что ему заплатятъ, Иванъ снялъ съ себя сапоги и кафтанъ и вручилъ ихъ въ видѣ задатка. Ихъ смущало одно только: они боялись сопротивленія Катерины, которая, вѣрно, потребуетъ продолженія поисковъ. Они ясно ужъ видѣли, что поиски напрасны; но думали, что Катерина разсудитъ иначе. Все обошлось, однакожъ, гораздо спокойнѣе, чѣмъ они ожидали. Къ утру, Катерина впала въ какое-то безчувствіе, по крайней мѣрѣ ко всему, что̀ совершалось вокругъ нея. Она не замѣтила, казалось, какъ усадили ее въ телѣгу. Во всю дорогу она не сказала слова и только тихо вздрагивала и крестилась. Разъ только овладѣлъ ею страшный припадокъ отчаянья. Это случилось въ полуверстѣ отъ Марьинскаго.

Подъѣзжая къ маленькой березовой рощицѣ, за поворотомъ которой открывалась деревня, ѣхавшіе въ телѣжкѣ услышали голосъ безумной Дуни. Она лежала, видно, гдѣ-нибудь у опушки и, по обыкновенію своему, причитала о пропавшемъ сынѣ, какъ о покойникѣ. Катерина, которая, повидимому, совсѣмъ уже лишилась твердости духа, принялась ей вторить и начала биться, такъ что Иванъ и Маша едва могли удержать ее въ телѣжкѣ.

Въѣздъ въ Марьинское окончательно испортилъ дѣло. Было послѣобѣденное время, именно въ то самое время, когда на улицѣ бываетъ довольно много народу. Какъ только увидѣли Ивана и Машу, ихъ тотчасъ же обступили. Одинъ вопросъ былъ на всѣхъ языкахъ:

— Нашли ли Петрушку?..

Напрасно Иванъ и Маша подавали имъ знаки, напрасно указывали на Катерину, метавшуюся въ безпамятствѣ, всѣ лѣзли и разспрашивали о мальчикѣ. Такая же толпа, какъ два дня назадъ, обступила теперь избу Лапши, когда остановилась передъ нею телѣга и начали высаживать Катерину. Двадцать рукъ протянулось, чтобы пособить Ивану и Машѣ внести бѣдную бабу въ клѣтушку.

Наконецъ, помощію соединенныхъ усилій, изъ которыхъ больше половины были безполезны и даже мѣшали дѣлу, потому что такъ много народа натискалось въ сѣни, что трудно было двигаться, Катерину внесли въ клѣть и уложили на постель. Въ самую эту минуту на улицѣ кто-то крикнулъ:

— Господа ѣдутъ!

Крикъ этотъ подхватили тотчасъ же тридцать голосовъ.

— Господа ѣдутъ! Ѣдутъ! Ѣдутъ! заговорили всѣ разомъ, и толпа повалила со всѣхъ ногъ изъ сѣней на улицу.

Въ клѣти остались только Иванъ, Маша и Катерина, которая ничего не слышала, ничего не чувствовала, ничего не понимала и, ломая руки, рыдала какъ безумная...

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

I.

Пріѣздъ.

Крики: „господа ѣдутъ!“, раздавшіеся подлѣ избы Лапши, пробѣжали съ быстротою батальнаго огня по всему Мàрьинскому.

„Господа ѣдутъ! ѣдутъ! ѣдутъ!“ заговорили разомъ въ каждой избѣ, на каждомъ дворѣ. Въ ту же секунду, по обѣимъ сторонамъ деревни, на огородахъ, отдѣлявшихъ избы отъ сараевъ, ригъ и амбаровъ, показались бабы, ребята, дѣвчонки; онѣ летѣли со всѣхъ ногъ, опережая другъ дружку, перескакивая черезъ гряды, черезъ маленькихъ зазѣвавшихся дѣтей, теряя, впопыхахъ, головные платки и оставляя на пути коты; все это стремительно неслось въ переулки, выходившіе на улицу. Иной старичокъ и старушка, смиренно работавшіе гдѣ-нибудь на задвóркѣ, видя, что всѣ бѣгутъ и кричатъ, оставляли работу и направлялись къ избамъ; узнавъ, въ чемъ дѣло, они оживлялись не хуже молодыхъ, и спѣшили пробраться къ воротамъ.

Такая же суматоха, если не больше, происходила въ тѣсномъ лабиринтѣ, гдѣ помѣщалась дворня. Мужики и бабы — люди отдаленные отъ господъ; въ какой одеждѣ ни явись они передъ ними—все равно: съ нихъ не взыщется. Дворня—дѣло совсѣмъ другого рода: это сословіе, ужъ нѣкоторымъ образомъ посвященное въ тайны приличія и галантерейности. Какой-нибудь Агапъ Акйшевъ, назначенный управителемъ для исправленія должности лакея и въ свободное время занимающійся портняжнымъ ремесломъ, понималъ очень хорошо, что невозможно ему

выбѣжать встрѣчать господъ въ прорванной на локтяхъ рубашкѣ, съ моткомъ нитокъ въ рукѣ, и сапогахъ, изъ которыхъ выглядывали пальцы. И такъ какъ марьинскіе дворовые, подобно вообще всѣмъ дворовымъ, были большею частью люди мастеровые, ремесленные, и такъ какъ въ настоящее утро каждый сидѣлъ за своимъ дѣломъ, предоставляю вамъ судить, какъ завозились они, когда раздался крикъ: „господа ѣдутъ!" Старухи страшно застучали сундучками, хранившими чистые головные платки; мужчины забѣгали, какъ угорѣлые, съ жилетомъ въ одной рукѣ, съ галстукомъ въ другой, въ каждой клѣтушкѣ сильно сшибались въ дверяхъ и стукались головами.

Посреди всей этой суматохи нашелся, однакожъ, молодой человѣкъ, который вспомнилъ объ управителѣ. Воодушевленный блистательнымъ случаемъ прислужиться начальнику, онъ полетѣлъ въ контору съ быстротою стрѣлы, пущенной изъ лука, и на пути онъ сшибъ съ ногъ какую-то старуху Макрину Дементьевну... Дѣло извѣстное: предпріимчивые люди, стремящіеся къ вѣрной цѣли, всегда идутъ напроломъ и ни передъ чѣмъ не останавливаются: онъ перескочилъ только черезъ старуху, и не успѣла она крикнуть, какъ онъ былъ уже въ конторѣ.

Герасимъ Аѳанасьевичъ, заключенный въ своей комнатѣ, глядѣвшей окнами на красный дворъ, ничего не подозрѣвалъ изъ того, что̀ совершалось въ Марьинскомъ. Онъ только что разложилъ кулечки съ гвоздями и свѣчами, привезенными изъ города. Въ числѣ этихъ покупокъ, свертокъ съ конопляным сѣменемъ, предназначавшимся для чижиковъ, которые громко распѣвали въ комнатѣ, особенно привлекъ вниманіе старика. Отвернувъ уголъ свертка, Герасимъ Аѳанасьевичъ готовился уже засыпать кормъ въ первую клѣтку, когда вбѣжалъ услужливый молодой человѣкъ.

— Герасимъ Аѳанасьичъ, господа ѣдутъ! господа ѣдутъ! крикнулъ онъ, какъ бы выстрѣливая изъ ружья.

При этомъ извѣстіи старикъ засуетился какъ шутиха, къ которой приложили огонь.

— Сюртукъ! сюртукъ!.. могъ только проговорить онъ, метаясь по комнатѣ и, впопыхахъ, не отличая оконъ отъ дверей. — Сюртукъ! сюртукъ! подхватилъ онъ, продолжая бѣгать и не замѣчая, что держалъ вверхъ ногами свертокъ съ сѣменемъ, которое било каскадомъ на его сапоги и панталоны.

Молодой человѣкъ отцѣпилъ между тѣмъ сюртукъ и ходилъ за начальникомъ, стараясь стать къ нему лицомъ, чтобы врѣзать черты свои въ его памяти; но Герасимъ Аѳанасьевичъ упорно поворачивался къ нему спиною, совалъ безъ толку руки вправо и влѣво и твердилъ только: сюртукъ!.. сюртукъ!.. Наконецъ сюртукъ очутился на плечахъ его; въ то же мгновеніе, не разобравъ даже, кто говорилъ съ нимъ, старикъ прыснулъ изъ конторы въ переулокъ, оттуда на дворъ, оттуда къ воротамъ. Тутъ только замѣтилъ онъ, что свертокъ, заключавшій въ себѣ сѣмя, все еще находился въ рукахъ его; онъ проворно затопталъ его ногами, оглянулъ дворъ, обдернулъ сюртукъ и выбѣжалъ за ворота.

Обѣ стороны улицы, какъ пестрымъ ковромъ, убраны были народомъ. Можно было головою ручаться, что изъ тысячи глазъ, здѣсь находившихся, не было ни одного, который бы не устремлялся на дорогу, спускавшуюся къ околицѣ. Два экипажа быстро подвигались въ облакѣ пыли. Первый экипажъ былъ обширный дормёзъ, запряженный шестернею съ форейторомъ.

Подъѣхавъ къ околицѣ, форейторъ, рослый дѣтина изъ ямщиковъ уѣзднаго города, надвинулъ на бокъ шапку, пріосанился, какъ бы ввинтился въ сѣдло и замахалъ кнутомъ; но напрасно молодцовалъ онъ: никто даже не взглянулъ на него—всѣ смотрѣли на экипажъ, заключавшій въ себѣ господъ. Верхъ дормёза былъ откинутъ. На почетномъ мѣстѣ сидѣла молоденькая, красивая дама въ соломенной шляпѣ и темномъ шелковомъ капотѣ, на которомъ четко обрисовывалось шитье воротничка и манжетокъ; въ рукахъ ея, обтянутыхъ свѣжими цвѣтными перчатками, находилась легонькая омбрелька, открывавшая, впрочемъ, совершенно лицо барыни, которая, очевидно, хотѣла, чтобъ ее видѣли. Подлѣ нея помѣщался ея мужъ, господинъ лѣтъ тридцати-пяти, съ бѣлокурымъ, круглымъ, добродушнымъ лицомъ; костюмъ его, за исключеніемъ пастушеской сѣрой шляпы, мало чѣмъ отличался отъ туалета людей порядочнаго круга, ведущихъ дачную петербургскую жизнь. Противъ него вертѣлась, какъ бы сидя на иголкахъ, гувернантка-француженка съ орлинымъ носомъ, похожимъ на флюгеръ, съ черными синеватыми волосами, причесанными такъ круто, что розовая шляпка ея поминутно съѣзжала назадъ; затянутая въ струнку, она сохраняла такой видъ, какъ будто готовилась играть

на фортепіано передъ многочисленнымъ собраніемъ. Подлѣ гувернантки и противъ дамы стояла, держась за дверцы экипажа, хорошенькая бѣлокурая дѣвочка, одѣтая съ необыкновеннымъ вкусомъ; но болѣе всего, казалось, занимала крестьянъ ея огромная широкополая соломенная шляпа, украшенная яркими лентами, концы которыхъ развѣвались по воздуху.

Миновавъ первыя двѣ-три избы, форейторъ гикнулъ и пустилъ вскачь; но баринъ тотчасъ же приказалъ остановить и ѣхать шагомъ. Онъ находился, повидимому, въ отличнѣйшемъ расположеніи духа; въ каждой чертѣ его добраго, круглаго лица проглядывала наивная, простодушная радость, которая показывала въ немъ человѣка впечатлительнаго и, сверхъ того, не слишкомъ озабоченнаго тягостною стороною жизни. Выставившись немножко впередъ, онъ кланялся направо и налѣво; но глаза его преимущественно, кажется, останавливались на сѣдыхъ головахъ, и онъ не переставалъ покрикивать: „здорово, старикъ! здорово, старикъ!“ Жена его посылала также привѣтливые знаки народу и улыбалась; она поминутно говорила дочери: „Mais saluez donc, Mery, mais saluez donc!“ хотя шляпа дѣвочки и безъ того наклонялась во всѣ стороны. Гувернантка, которая, при въѣздѣ въ околицу, сбросила съ себя мантилью для того, вѣроятно, чтобъ поразить русскій народъ гибкостью и тонкостью своего стана, ласково щурила глаза, кивала головою и произносила съ необычайной быстротою: „Здрасти̂! здрасти̂, батушка̀!“ Во всемъ этомъ поѣздѣ, одинъ лишь ямщикъ-форейторъ да еще камердинеръ, сидѣвшій на козлахъ, и горничная, сидѣвшая на запяткахъ, сохраняли свое равнодушіе; послѣдніе проникнуты даже были какимъ-то надменнымъ внутреннимъ достоинствомъ, которое рѣшительно ничѣмъ не оправдывалось. Что жъ касается до повара, другого лакея и другой горничной, сидѣвшихъ во второмъ экипажѣ, они только шептались, посмѣивались и вовсе даже не смотрѣли на народъ, который валилъ по обѣимъ сторонамъ дормёза.

— Вотъ и домъ, наконецъ! Voici le château! сказалъ помѣщикъ, указывая глазами на старинное зданіе, которое начинало показываться изъ-за флигеля.

— Oh! mais c'est charmant! Я въ совершенномъ восхищеніи!.. Я не знаю, можетъ-быть, это потому, что я первый разъ въ деревнѣ, но все это мнѣ чрезвычайно нра-

вится, возразила жена его по-французски. — Я понимаю теперь, что можно въ самомъ дѣлѣ находить большое удовольствіе въ сельской жизни, далеко отъ шумнаго, душнаго города... L'air qu'on y respire... mais saluez donc, Mery, saluez donc...

— Здравствуй, старикъ! здорово, старикъ! говорилъ мужъ, продолжая кланяться.—Очень радъ, другъ мой, что ты повѣрила, наконецъ, прелестямъ этой простой жизни... Пожалуйста, братцы, не подходите такъ близко, особенно дѣтей не подпускайте: какъ разъ подъ колесо попадутъ, подхватилъ онъ, заботливо обратившись къ поселянамъ, жавшимся подлѣ экипажа. — А! вотъ посмотри, Alexandrine, посмотри... заговорилъ онъ опять по-французски и указалъ женѣ на стараго управителя, который дожидался подлѣ воротъ, — вотъ нашъ старый, добрый нашъ Герасимъ...

— Tiens, quel drôle de nom: Karassin! Karassin!.. произнесла француженка, раскрывая удивленные глаза.

Помѣщикъ, его жена и даже дочка засмѣялись; но мысль, что смѣхъ можетъ быть растолкованъ окружающими въ обидную сторону, возвратила тотчасъ же на лица супруговъ спокойное выраженіе. Сдѣлавъ полукругъ, дормёзъ съ грохотомъ въѣхалъ въ ворота.

— Здравствуй, Герасимъ. Все ли благополучно? крикнулъ помѣщикъ.

— Все, сударь, слава Богу! Съ пріѣздомъ честь имѣю поздравить! возразилъ Герасимъ Аѳанасьевичъ, пускаясь вдогонку за экипажемъ, но въ ту же секунду откинулся назадъ и устремился къ воротамъ, чтобъ удержать народъ, ломившійся на дворъ. Ворота были тотчасъ же заперты, но въ тотъ же мигъ вся задняя часть рѣшетки усѣялась головами и руками; послышался даже мѣстами легкій трескъ, болѣзненно отозвавшійся въ сердцѣ управителя; но ему было не до разбирательствъ: онъ спѣшилъ предупредить дворню, которая бѣжала къ парадному крыльцу и тѣснилась вокругъ экипажей.

Выйдя изъ дормёза, помѣщикъ, его жена, дочь и гувернантка шагу не могли ступить—такъ дружно осадила ихъ дворня; особенно мѣшалъ имъ двигаться впередъ какой-то мальчикъ въ бѣлой рубашонкѣ, съ бѣлыми, какъ снѣгъ, волосами, торчавшими щеткой, и краснымъ, какъ макъ, лицомъ, усѣяннымъ веснушками; онъ совался имъ подъ ноги, неожиданно выросталъ то съ одного бока, то

съ другого, яростно порывался впередъ каждый разъ, какъ затирали его въ толпѣ, и съ какимъ-то свирѣпымъ азартомъ бросался въ двадцатый разъ цѣловать руки господамъ своимъ. Помѣщики рѣшительно уже не знали, куда дѣваться отъ тѣсноты, жары и болѣе всего отъ преслѣдованій краснолицаго мальчика; имъ совѣстно было обидѣть дворню, и они продолжали привѣтливо улыбаться, но дѣлали это уже противъ воли, особенно помѣщица, на которую съ особеннымъ усердіемъ нападалъ краснолицый мальчикъ; къ счастію, скоро подоспѣлъ на выручку Герасимъ Аѳанасьевичъ.

— Здравствуй, мой милый... здравствуй, Герасимъ. Все ли у васъ благополучно?.. Здравствуйте... хорошо... хорошо... повторялъ помѣщикъ, цѣлуясь съ дворовыми, напиравшими все сильнѣе и сильнѣе.

— J'étouffe! крикнула гувернантка.

— Здравствуйте, сударь... Съ пріѣздомъ честь имѣю... поздравить... подхватилъ управитель, не переставая укоризненно кивать головою людямъ, которые лѣзли впередъ. — Наконецъ-то, сударыня, Александра Константиновна, дождались мы васъ... Пожалуйте ручку, сударыня... довершилъ онъ, протискиваясь впередъ и подхватывая руку помѣщицы. Но въ ту самую секунду, какъ онъ готовился приложить губы къ перчаткѣ, откуда ни возьмись, снова вынырнулъ мальчикъ, схватилъ руку барыни и припалъ къ ней.

— Что это за ребенокъ? спросила Александра Константиновна, обращаясь къ управителю, который украдкою толкнулъ мальчика ногою.

— А это, сударыня, внучекъ мой... внучекъ, сударыня, умиленно повторяла Макрина Дементьевна, та самая, которую сшибъ съ ногъ молодой человѣкъ, бѣжавшій въ контору, — радуется, сударыня, пріѣзду вашему... цѣлые три дня все объ этомъ... Цѣлуй ручки, глупый; скажи: пожалуйте, молъ, сударыня, ручку.

— Ну, друзья мои! воскликнулъ неожиданно помѣщикъ, появляясь подлѣ жены и простирая руки,—я, къ сожалѣнію, не могу перецѣловаться со всѣми вами, но все равно, я за всѣхъ васъ поцѣлую Герасима Аѳанасьевича: это все равно... Здравствуй, старикъ! заключилъ онъ съ нѣкоторою торжественностью и обнялъ управителя, который горячо припалъ къ плечу его.

Послѣ этого помѣщикъ подалъ руку женѣ и поднялся

на парадное крыльцо, сопровождаемый дочкой, которую несъ камердинеръ, и гувернанткой, которая обдергивала платье и поправляла свою розовую шляпку. За ними, кромѣ двухъ горничныхъ и лакея, вошелъ въ домъ одинъ только Герасимъ Аѳанасьевичъ.

Первыя минуты были исключительно посвящены осмотру комнатъ стариннаго дома. По мѣрѣ того, какъ Сергѣй Васильевичъ Бѣлицынъ (такъ звали владѣтеля Мàрьинскаго) подвигался впередъ, пріятное расположеніе духа замѣтно овладѣвало имъ сильнѣе. Нельзя сказать, чтобъ онъ слишкомъ былъ занятъ своимъ происхожденіемъ, тѣмъ не менѣе, однакожъ, прогуливаясь по комнатамъ родового дома, онъ чувствовалъ себя какъ-то веселѣе, чѣмъ въ своей петербургской *квартирѣ*, очень, впрочемъ, хорошей квартирѣ, помѣщавшейся въ бельэтажѣ аристократическаго дома. Сергѣй Васильевичъ, все еще ведя жену подъ-руку, преимущественно останавливался передъ портретами предковъ.

— Вотъ это бабушка Анисья Тимоѳеевна, говорилъ онъ съ улыбкой, которая достаточно свидѣтельствовала о пріятномъ настроеніи души его,—а это... это дѣдъ Нилъ Васильевичъ Бѣлицынъ, знаменитый умомъ своимъ, проницательностью и вмѣстѣ съ тѣмъ эксцентрическими своими выходками... словомъ, это тотъ самый, который, помнишь, я говорилъ тебѣ, подписывалъ всегда свои письма: „слабый во всѣхъ частяхъ старикъ“; но почему слабый—этого до сихъ поръ никто понять не можетъ. А! вотъ и прабабушка Лизавета Ниловна, дочь Нила Васильевича, жена Степана Степаныча, которая всякій разъ, какъ уѣзжала куда-нибудь, запирала бѣднаго своего мужа въ спальню... А вотъ и воевода Бѣлицынъ... Mery, viens voir ton grand-grand oncle le voyevode!.

— Oh Dieu, quelle barbe! воскликнула гувернантка, становясь съ Мери передъ портретомъ воеводы и содрогаясь, какъ должна была содрогаться Андромеда при видѣ чудовища.

Сергѣй Васильевичъ и Александра Константиновна добродушно засмѣялись и продолжали переходить отъ одного знаменитаго предка къ другому; при чемъ всякій разъ въ голубыхъ глазахъ Бѣлицына засвѣчивался какой-то ласковый пламень, нижняя губа слегка выставлялась впередъ и станъ выпрямлялся. Александра Константиновна была также очень весела и довольна; но радость

ея не столько, казалось, возбуждали изображенія предковъ, сколько видъ старинной мебели, о которой мы упоминали выше.

— Mais c'est superbe! говорила она, останавливаясь передъ какимъ-нибудь брюхатымъ комодомъ en marquetterie съ бронзовыми вычурными ручками, во вкусѣ Помпадуръ,— c'est magnifique!.. Какъ же ты, Serge, никогда ничего не говорилъ мнѣ объ этомъ?..

— Я самъ ничего этого не подозрѣвалъ... зналъ, что есть что-то такое, но все это носилось передо мною въ какомъ-то туманѣ; я думалъ такъ-себѣ, старый домъ, и больше ничего... Такъ, стало-быть, тебѣ все это нравится?..

— Еще бы! Mais c'est du meilleur gout! Это оправдывается тѣмъ, что теперь снова возвращаются къ этому вкусу... Помнишь, прошлаго года мы заказали Туру такой же точно комодъ-Помпадуръ для гостиной? Что̀, если бъ мы знали, что въ Марьинскомъ хранятся такія сокровища?.. Стоило только послать привезти... Надо будетъ, однакожъ, непремѣнно это сдѣлать. Жаль видѣть здѣсь такія вещи; c'est un sacrilège! онѣ сто̀ятъ, чтобъ ими любоваться. Мы непремѣнно сдѣлаемъ выборъ и увеземъ все это въ Петербургъ: notre salon sera vraiment magnifique!

— Да, наши дѣды умѣли жить! возразилъ Сергѣй Васильевичъ,—это были настоящіе grand-seigneurs. Не забудь, Alexandrine, что весь этотъ домъ, со всѣмъ, что̀ ты здѣсь видишь, выражаетъ только капризъ дѣдушки Нила Васильевича. Когда онъ объѣзжалъ какъ-то имѣнья свои, ему понравилось Марьинское; онъ велѣлъ построить домъ, и послѣ этого въ какіе-нибудь два-три года онъ пріѣзжалъ сюда провести много-много одинъ лѣтній мѣсяцъ... Впрочемъ, надо тебѣ сказать: у Нила Васильича было тогда девять тысячъ душъ, что̀, по тогдашнему образу жизни, значило то же, если бъ имѣть теперь двадцать тысячъ душъ!..

Александра Константиновна приказывала управителю снимать чехлы съ каждаго дивана, съ каждаго стула. Фарфоръ, хранившійся въ старинномъ шкапу, былъ также подверженъ внимательному осмотру. Она мысленно какъ-будто переносила все это въ петербургскую гостиную, придумывала каждой вещи соотвѣтственное мѣсто и заранѣе любовалась общимъ эффектомъ. Гостиная ея и безъ того

была очень хороша и стоила много денегъ, больше даже, чѣмъ бы слѣдовало. Но свѣтъ ужъ такъ устроенъ, что въ домахъ, гдѣ находится парадная лѣстница съ ковромъ, каминами, съ boiseries и швейцаромъ, парадныя комнаты, и особенно гостиная, никогда не могутъ быть достаточно великолѣпны. Дѣло въ томъ, что какъ ни великолѣпна ваша гостиная, всегда найдется другая въ Петербургѣ, которая еще великолѣпнѣе; никакъ не угоняешься! Въ этой скачкѣ съ препятствіями къ цѣли, которой никогда не достигнешь, заключается, можетъ быть, тайна исчезновенія многихъ семействъ изъ Петербурга въ деревню. Не поручусь, что появленіе въ Марьинское... Но, впрочемъ, какое намъ до этого дѣло? мы радуемся пріѣзду Бѣлицыныхъ ничуть не меньше Герасима Аѳанасьевича.

Бѣлицыны распорядились какъ нельзя лучше касательно помѣщенія. Принимая въ соображеніе лѣтнее время и наступающіе жары, они выбрали комнаты, выходившія въ садъ и защищенныя круглый день деревьями отъ лучей солнца. Полукруглая спальня, раздѣленная пополамъ рѣшетчатымъ альковомъ, боскетная и диванная поступили во владѣніе Александры Константиновны; туда тотчасъ же перенесены были чемоданы, ящики и картонки; комнатка подлѣ спальни, служившая въ старые годы будуаромъ, назначена была Мери; гувернанткѣ дали двѣ комнаты наверху.

— Ну, mesdames, теперь, прощайте! весело сказалъ Сергѣй Васильевичъ,—что̀ до меня касается, я помѣщаюсь въ комнатахъ, которыя занималъ дѣдушка Нилъ Васильичъ; его кабинетъ будетъ моимъ кабинетомъ. Дѣло въ томъ, что сколько дѣдъ ни былъ grand-seigneur, онъ очень исправно занимался дѣлами: я хочу послѣдовать его примѣру... Кромѣ этого, тебѣ, Alexandrine, предстоитъ еще та выгода, что весь этотъ народъ, который будетъ ходить по комнатѣ, вся эта возня,—потому что я рѣшительно самъ лично хочу заняться дѣлами—все это не будетъ тебя безпокоить.

— Вотъ это мнѣ нравится! смѣясь, перебила Бѣлицына.—Неужели ты думаешь, что я пріѣхала въ деревню для того только, чтобъ рвать незабудки и нюхать ландыши? Извините-съ, я также намѣрена заниматься дѣлами...

— Bravo! съ комическою восторженностью воскликнулъ супругъ,—ну, и прекрасно! посмотримъ...

— Увидимъ: rira mieux, qui rira le dernier!..

Войдя въ кабинетъ—довольно мрачную комнату, гдѣ камердинеръ успѣлъ уже разложить несессеръ и все необходимое для перемѣны туалета, Сергѣй Васильевичъ позаботился прежде всего, чтобъ поставили на столъ чернильницу, бумагу, счеты—словомъ, все нужное для письма и дѣловыхъ занятій. Если вѣрить Лафатеру, въ наружности Сергѣя Васильевича рѣшительно не было знака, который бы могъ обличить натуру, особенно воспріимчивую и дѣятельную; но, надо полагать, онъ былъ одаренъ необыкновенно живымъ воображеніемъ. Принявъ намѣреніе лично заняться своими дѣлами, онъ такъ сильно порывался къ дѣятельности, что ему не сидѣлось на мѣстѣ; десятки проектовъ, одинъ другого новѣе, одинъ другого сложнѣе, касательно преобразованій въ Марьинскомъ по части хозяйства, возникали въ головѣ его. Такъ какъ въ настоящую минуту не было никакой возможности приступить къ дѣлу, то онъ началъ прогуливаться по большой залѣ. Герасимъ Аѳанасьевичъ слѣдовалъ за нимъ въ почтительномъ разстояніи, съ руками, заложенными за спину. Замѣчательно было въ этой прогулкѣ, что большіе пальцы на рукахъ управителя вертѣлись одинъ вокругъ другого съ неуловимою быстротою.

— Спасибо, спасибо, мой милый! говорилъ Бѣлицынъ,— я очень доволенъ порядкомъ, который нашелъ въ домѣ... Спасибо также, что ты сохранилъ мнѣ старую эту мебель: она очень понравилась Александрѣ Константиновнѣ. Я, признаться, думалъ найти эти стѣны гораздо старѣе, чѣмъ онѣ есть. Шутка! вотъ скоро восемьдесятъ лѣтъ, какъ онѣ воздвигнуты! Скажи, пожалуйста, Герасимъ, а эти службы... неужто онѣ одного времени съ домомъ? быть не можетъ! промолвилъ онъ, останавливаясь у окна и указывая на амбары, крытые соломой.

— Все единственно, сударь, въ одно время съ домомъ...

— Отчего жъ онѣ смотрятъ такими развалинами... Это, братецъ, никакъ нельзя такъ оставить, это нехорошо...

— Что жъ хорошаго, сударь? совсѣмъ нехорошо! Я вотъ объ этихъ самыхъ строеніяхъ имѣлъ честь вамъ письменно докладывать: ремонтъ требуется...

— Хорошо, ты завтра напомни мнѣ объ этомъ... Впрочемъ, я думаю совсѣмъ снести ихъ отсюда; имъ здѣсь вовсе не мѣсто: онѣ только дворъ стѣсняютъ, который и безъ того очень малъ... Мнѣ это тотчасъ же бросилось въ

глаза. Что̀ тамъ находится, за этими скверными амбарами?

— Тамъ, сударь, помѣщаются дворовые...

— Ихъ точно такъ же надо будетъ переселить въ другое мѣсто... Я, главное, хочу, чтобъ дворъ... дворъ былъ какъ можно шире, просторнѣе. Мнѣ хочется разбить все это мѣсто въ видѣ англійскаго сада: вездѣ клумбы, дорожки, проговорилъ Сергѣй Васильевичъ, простирая кисть правой руки и какъ бы мысленно усыпая дворъ дорожками и клумбами, — ну, а тамъ что̀, за помѣщеніемъ дворовыхъ?

— Тамъ, сударь, фруктовый садъ, больше все яблони...

— Жаль, о-очень жаль!.. Впрочемъ, что жъ! можно и его перевести... Все зависитъ отъ того, приноситъ ли онъ какую-нибудь пользу, доходъ?

— Какъ же, сударь, мы всякій годъ продаемъ его... цѣна не всегда вѣрная: иной годъ ходитъ за восемьсотъ, другой больше; бываютъ годы, продаемъ за тысячу...

— Серебромъ?

— Нѣтъ-съ, на ассигнаціи.

— Что жъ такъ дешево?

— Также и въ этой статьѣ, сударь, ремонтъ требуется... Съ тѣхъ поръ, какъ померетъ изволили покойный вашъ папенька, ни одной яблони не было подсажено... я ужъ имѣлъ честь письменно докладывать вамъ объ этомъ...

— Да... помню, помню... Ну, что жъ дѣлать? Въ такомъ случаѣ садъ надо будетъ оставить. Вообще все, что̀ приноситъ пользу, доходъ—все останется на своемъ мѣстѣ неприкосновеннымъ. Восемьсотъ рублей, конечно, небольшія деньги, но въ общемъ оборотѣ, въ общемъ доходѣ по хозяйству, это весьма важная статья... Дворъ упрется, слѣдовательно, въ садъ, который можно будетъ съ этой стороны оградить какой-нибудь красивой рѣшёткой; снесутся, слѣдовательно, только амбары и жилья дворовыхъ.

Герасимъ освѣдомился о томъ, куда Сергѣй Васильевичъ намѣренъ снести амбары; но Сергѣй Васильевичъ самъ пока не зналъ ничего объ этомъ. Амбары, по мнѣнію молодого помѣщика, могли занять мѣсто гумна, потому что гумно было слишкомъ близко къ дому, или вообще могли перенестись куда-нибудь въ другое мѣсто. Гумно можно было расположить тамъ, гдѣ находились теперь огороды дворовыхъ, или вообще куда-нибудь въ другое мѣсто. Огороды можно было раскинуть подлѣ крестьянскихъ огородовъ; а если тамъ не позволяло пространство,

то все равно перенести ихъ куда-нибудь въ другое мѣсто.

— Я вообще намѣренъ здѣсь сдѣлать много перемѣнъ, много преобразованій, сказалъ Сергѣй Васильевичъ. — Женѣ очень понравилось Марьинское, мнѣ также. Мы, вѣроятно, будемъ каждый годъ проводить здѣсь нѣсколько мѣсяцевъ, и потому мнѣ хочется придать всему этому нѣкоторый видъ... Пожалуйста, приготовь мнѣ всѣ бумаги: списки, счеты, расчеты; приведи все это въ порядокъ и завтра же утромъ принеси мнѣ: мы съ завтрашняго же утра займемся съ тобою всѣмъ этимъ.

Сказавъ это, Бѣлицынъ пошелъ одѣваться къ обѣду.

Намѣреніе Сергѣя Васильевича—заняться дѣлами, было похвально въ высшей степени. Онъ совершенно довѣрялъ Герасиму, этому старому слугѣ, который тридцать пять лѣтъ пользовался довѣріемъ покойнаго отца его. Но ему хотѣлось лично вникнуть въ дѣла, частью потому, что этого требовало его положеніе, какъ помѣщика, частью, чтобъ выяснить себѣ, какъ могло случиться, что, при порядочномъ числѣ душъ, онъ вѣчно сидѣлъ безъ денегъ. Сергѣй Васильевичъ могъ бы несравненно легче объяснить себѣ тайну этого дѣйствительно страннаго обстоятельства въ Петербургѣ, чѣмъ въ деревнѣ; но человѣкъ такъ ужъ видно сотворенъ, что любопытство его жадно стрѐмится къ отдаленнымъ вопросамъ и сохраняетъ полное равнодушіе къ тому, что̀ совершается у него подъ носомъ. Впрочемъ, это все равно: вникая въ дѣла Марьинскаго, онъ могъ съ успѣхомъ удовлетворить своему любопытству: счеты, списки, приходы и расходы должны были убѣдить Сергѣя Васильевича, что онъ проживалъ больше, чѣмъ получалъ доходовъ.

Въ пятомъ часу всѣ члены семейства и гувернантка явились въ большую залу, гдѣ былъ накрытъ столъ. Лѣтнее платье изъ свѣтло-розовой тафты необычайно шло къ легкому стану Александры Константиновны; маленькій чепчикъ на головѣ ея былъ просто заглядѣнье! Мери казалась еще миловиднѣе безъ шляпки, въ клѣтчатой юбкѣ съ голенькими икрами; ростъ mademoiselle Louise значительно выигрывалъ отъ ботинокъ съ каблуками, и смуглый цвѣтъ ея кожи казался бѣлѣе, благодаря черному атласному платью. Сергѣй Васильевичъ только выбрился и перемѣнилъ бѣлье; жакетка на немъ была та же, что̀ и въ дорогѣ, но зато камердинеръ и другой привезен-

ный лакей были во фракахъ, бѣлыхъ жилетахъ и перчаткахъ.

Обѣдъ прошелъ какъ нельзя веселѣе. Приключенія дороги, благополучное окончаніе путешествія, новыя мѣста, новыя впечатлѣнія—все служило пищею для оживленія бесѣды. Очень много также смѣялись надъ именемъ Karassin, которое дала гувернантка управителю; тутъ же рѣшено было звать его не иначе, какъ этимъ именемъ. Не малымъ поводомъ къ веселости служили также Агапъ Акйшевъ и еще другой лакей, назначенные управителемъ къ службѣ за столомъ. Два раза, въ поспѣшности своей, они стукнулись лбами въ дверяхъ, стремительно бросались впередъ при каждомъ звукѣ голоса господъ и, становясь за стульями, такъ страшно выкатывали глаза, что можно было думать, оба питали злостное намѣреніе истребить блюда, появлявшіяся на столѣ.

Обѣдъ приближался уже къ концу, какъ вдругъ изъ прихожей раздались дикіе и пронзительные крики. Это было такъ неожиданно, что присутствующіе дрогнули; гувернантка схватилась за спинку стула; Мери бросилась къ матери; Александра Константиновна слегка поблѣднѣла; Сергѣй Васильевичъ обратился ужъ къ людямъ, но новые, неистовые крики оглушили его совершенно. Въ эту же минуту вошелъ Герасимъ Аѳанасьевичъ и возвѣстилъ, что мужики желаютъ поздравить господъ съ пріѣздомъ и пришли съ поклономъ.

Обѣдъ былъ конченъ, и всѣ тотчасъ же отправились въ прихожую. Они нашли тамъ почти всѣхъ стариковъ Марьинскаго; въ рукахъ каждаго было какое-нибудь приношеніе: у одного чашка съ яйцами, у другого — хлѣбъ, третій держалъ подъ мышкою гуся; знакомый намъ Карпъ Ивановичъ стоялъ съ поросенкомъ, запрятаннымъ въ мѣшкѣ. Выслушавъ поздравленія, что̀ было довольно трудно по причинѣ хрюканья и криковъ куръ и гусей, Сергѣй Васильевичъ поцѣловалъ каждаго старика, а потомъ поцѣловалъ и управителя. Жена его въ это время благодарила крестьянъ; француженка сочла своею обязанностью погладить и пожалѣть животныхъ, съ нѣжностью, свойственною ея націи; одна Мери не рѣшалась отойти отъ двери и съ ужасомъ во всѣхъ чертахъ смотрѣла на приношенія, на этихъ *страшныхъ звѣрей*, какъ потомъ она выразилась. Отблагодаривъ крестьянъ виномъ и деньгами, Бѣлицыны отправились на террасу пить кофе. Когда жаръ

немножко упалъ, дамы взяли омбрельки, Сергѣй Васильевичъ пастушескую свою шляпу—и всѣ пошли въ садъ.

Густолиственныя липовыя аллеи, массы сирени, которыя раскидывались тѣмъ роскошнѣе, что были брошены на произволъ судьбы, столѣтніе величественные дубы, одиноко возвышающіеся посреди пространныхъ газоновъ—все это сильно подѣйствовало на воображеніе Сергѣя Васильевича; этому способствовалъ отчасти характеръ запустѣнія сада; въ одинъ мигъ въ головѣ помѣщика возникли новые проекты преобразованія. Александра Константиновна подавала также свои мысли. Одно изъ первыхъ предположеній состояло въ томъ, чтобъ сдѣлать прудъ вдвое, втрое длиннѣе и шире, сдѣлать просѣку черезъ весь садъ, такъ чтобъ видъ съ террасы замыкался водою. Бесѣдка, воздвигнутая на той сторонѣ пруда, нисколько не могла повредить виду—таково было мнѣніе жены.

— Напротивъ, она придастъ виду еще больше эффекта, съ одушевленіемъ сказалъ мужъ.

Тотчасъ же послано было за Karassin. Начались толки о землекопахъ, справки о родникахъ, питающихъ прудъ, вычисленія и соображенія. Увлекаемый все болѣе и болѣе дѣятельностью воображенія, Сергѣй Васильевичъ касался также мимоходомъ другихъ вопросовъ, и, наконецъ, такъ втянулся въ дѣло, что оставилъ дамъ въ саду, а самъ пошелъ съ управителемъ осматривать многосложныя части своего хозяйства. Домъ, дворъ, амбары, службы, гумно, фруктовый садъ, огороды дворовыхъ — все было мелькомъ осмотрѣно. Сергѣй Васильевичъ говорилъ безъ умолку; бòльшая часть рѣчей его состояла изъ вопросовъ, и Герасимъ вторилъ ему усердно; бесѣда, питаемая разнообразными предметами, которые подвергались осмотру, должна была также отличаться разнообразіемъ. Герасимъ говорилъ о починкѣ кровель, Сергѣй Васильевичъ говорилъ о бесѣдкѣ на той сторонѣ пруда; Герасимъ говорилъ о посадкѣ новыхъ яблонь, Сергѣй Васильевичъ говорилъ о просѣкѣ; Герасимъ пріискивалъ мѣсто для амбаровъ, Сергѣй Васильевичъ пріискивалъ мѣсто посреди двора для огромной липы, которая дала бы двору англійскій характеръ; Герасимъ переходилъ къ огородамъ, Сергѣй Васильевичъ переходилъ къ пруду; мысли Герасима стремились къ гумну, воображеніе Сергѣя Васильевича влекло его къ садовой рѣшеткѣ. Все это ничѣмъ не кончилось, потому что дѣла собственно отложены были до

слѣдующаго утра. Сергѣй Васильевичъ возвратился домой, когда уже сѣло солнце. Дамы его пили чай на террасѣ.

— Уфъ, сказалъ онъ, бросаясь въ кресло между женою и Мери.

Садъ между тѣмъ покрывался тѣнью. Кусты и деревья начали отдѣляться черными массами на газонахъ, которые серебрила роса, запахъ сирени сдѣлался ощутительнѣе и наполнялъ террасу; кругомъ воцарилась торжественная тишина; время отъ времени прерывали ее раскаты соловьевъ, которые какъ бы перекликались изъ конца въ конецъ стариннаго сада. Наконецъ, когда изъ-за горизонта показался полный, красный мѣсяцъ и цѣликомъ отразился въ прудѣ, Сергѣй Васильевичъ, его жена, Мери и mademoiselle Louise не могли удержаться отъ восторженнаго восклицанія. Всѣ рѣшительно были въ восхищеніи, что пріѣхали въ деревню.

II.

Дѣловое утро.

Десять часовъ утра; полукруглая спальня, раздѣленная рѣшетчатымъ окномъ, уже убрана; старинныя, тяжелыя занавѣси съ крупными разводами подняты; окно въ садъ отворено. Противъ алькова, между двумя окнами, находится столъ, покрытый ковромъ; посреди его возвышается овальное зеркало въ серебряной рамкѣ; направо и налѣво разложено множество туалетныхъ принадлежностей, которыя совершенно невѣрно называютъ *бездѣлушками*, потому что онѣ стоятъ очень дорого, несравненно дороже барановъ, дровъ, съѣстныхъ припасовъ — словомъ, всего того, что̀ именуется дѣльнымъ. Свѣтъ, наполняющій спальню, дробится въ граненыхъ цвѣтныхъ флаконахъ, скользитъ по рѣзной слоновой кости и черепахѣ и выставляетъ блестящую полировку серебряныхъ крышечекъ на хрустальныхъ коробкахъ, наполненныхъ порошками, помадой и духами, которые успѣли уже распространить тонкій ароматъ свой по всей комнатѣ. Противъ зеркала, въ большихъ старинныхъ золоченыхъ креслахъ съ овальною спинкой, обтянутой голубымъ штофомъ, сидитъ Александра Константиновна. Бѣлый батистовый пеньюаръ, сквозь который просвѣчиваютъ ея круглыя розовыя плечи, и внизу широкое англійское шитье юбки обнимаютъ ее своими мягкими воздушными складками;

ножки ея, обтянутыя чулками à jour, кажутся также розовыми; черныя туфли, съ свѣжимъ голубымъ chou, придаютъ имъ такой аппетитный видъ, что, кажется, не оторвался бы и глядѣлъ бы на нихъ съ солнечнаго восхода до заката. Роскошные, бѣлокурые и слегка вьющіеся волосы Александры Константиновны распущены: они, безъ сомнѣнія, коснулись бы ковра на полу, если бъ не поддерживала ихъ горничная, которая убирала голову барыни.

Направо отъ креселъ стоитъ небольшой кругленькій столикъ, закрытый тяжелымъ металлическимъ подносомъ; на немъ виднѣется нѣжно-голубая чашка, украшенная медальонами съ пастушкáми; крышечка съ такими же медальонами, и прозрачность чашки, въ которую бьетъ свѣтъ изъ окна, не позволяетъ сомнѣваться въ ея аристократическомъ, кровномъ саксонскомъ происхожденіи; тутъ же сверкаютъ ложки, щипчики для сахару, фарфоровая корзина для хлѣба и старинная овальная серебряная сахарница, устроенная въ видѣ баульчика, съ лапками вмѣсто ножекъ, съ фантастическимъ чеканенымъ звѣркомъ на макушкѣ. По другую сторону кресelъ находится еще столикъ; но, Боже, какой контрастъ! на немъ лежатъ нѣсколько тетрадей изъ грубой бумаги; листы покрыты каракулями, чернильными пятнами и мѣстами сильно захватаны пальцами. Къ довершенію контраста, въ глаза такъ и мечутся слѣдующія надписи: „Коровы дойныя...“, „Пухъ съ сорока трехъ индюковъ“, „Восьмнадцать шкуръ“, „Зарѣзано девять барановъ...“, „Продано сала...“ и т. д.

Надо полагать, горничная Александры Константиновны грамотная: она безпрестанно заглядываетъ черезъ голову госпожи своей и устремляетъ глаза на тетради, но всякій разъ щуритъ глаза съ видимымъ отвращеніемъ: мысль о коровахъ, индюкахъ и салѣ, повидимому, непріятно дѣйствуетъ на ея тонкій, изящный вкусъ. Этотъ изящный вкусъ горничной проглядываетъ въ каждомъ ея движеніи и даже въ манерѣ держать гребень, которымъ расчесываетъ она волосы барыни. Бѣлицыны, говоря о ней между собою, называютъ ее обыкновенно: lady Furie; но трудно предположить, чтобъ вострый, какъ шило, носъ горничной, ея выщипанныя ноздри и узенькія губы могли имѣть что-нибудь общее съ такимъ названіемъ. Несомнѣнно лишь то, что горничная проникнута въ высшей степени чувствомъ собственнаго достоинства; вѣроятно,

чтобъ придать больше значенія гордой головѣ своей, она причесываетъ ее à la Margot; но Александра Константиновна ничего не замѣчаетъ: нагнувшись къ столику налѣво, нахмуривъ сперва брови, она не отрываетъ глазъ отъ дѣловыхъ списковъ.

— Позвольте, сударыня; мнѣ этакъ никакъ невозможно, говоритъ горничная съ оттѣнкомъ нетерпѣнія, которое можетъ выказать лучше всякихъ словъ безконечную доброту ея госпожи.

— Ахъ, какъ это скучно!.. Ну! возражаетъ Александра Константиновна, выпрямляясь въ креслѣ.

Взглядъ, брошенный ею въ зеркало, показываетъ ей нахмуренное лицо горничной.

— Ты, Даша, кажется, очень недовольна, что пріѣхала въ деревню?..

— Наше дѣло такое, сударыня: куда прикажутъ, туда и ѣдемъ.

Слова эти, проникнутыя покорностью, сдѣлали бы величайшую честь Дашѣ, если бъ лицо ея не противорѣчило словамъ.

— Тебѣ, стало-быть, деревня не нравится?

— Ужъ, конечно, сударыня, ничего нѣтъ хорошаго, подхватываетъ горничная, очевидно смягченная ласковымъ голосомъ барыни, — удивляюсь только, сударыня, какъ она вамъ можетъ нравиться... То ли дѣло, какъ изволили жить на Каменномъ Острову: съ утра до вечера ѣзда... оживленіе такое, въ одинъ часъ проѣдетъ и пройдетъ больше публики, чѣмъ здѣсь во сто лѣтъ... Да здѣсь и публики-то нѣтъ: глушь! мужики!.. взглянуть такъ даже гадко...

— Что жъ? развѣ они не такіе же люди? закусывая губки, спрашиваетъ барыня.

— Извѣстно, такіе же, только нѣтъ никакого обхожденія, приличія нѣтъ... одни эти ихніе лапти—такъ это ужасти!.. Нечесаные, небритые, неуклюжіе... ручищи-то даже описать невозможно, какія страсти!.. Да вотъ теперь даже дворовые, вотъ хоть эти, что̀ въ комнату взять изволили, просто чучелы какія-то; никакой рѣшительно образованности!.. Кромѣ этого, сударыня, самая жизнь какая-то скучная. Ходишь-ходишь — слова сказать не съ кѣмъ! Никто не проѣдетъ, никто не пройдетъ, даже взглянуть не на что̀: поля, луга, лѣса... Если бъ, по крайней мѣрѣ, жили мы хоть на большой дорогѣ.

— Но такъ какъ мы не живемъ на ней, то тебѣ прійдется долго еще скучать...

— Неужели, сударыня, вы здѣсь долго останетесь?

— Разумѣется, и даже очень-очень долго; я думаю, до осени... Ну, готово? произнесла Александра Константиновна, поворачивая голову вправо и влѣво, чтобъ разсмотрѣть свою прическу,—хорошо. Теперь прибери, пожалуйста, все это, подхватила она, указывая на чайный приборъ, — потомъ ты скажешь женщинамъ, которымъ я велѣла придти и которыя, вѣроятно, дожидаются, скажешь имъ, что онѣ могутъ войти...

Александра Константиновна снова пригнулась къ дѣловымъ тетрадямъ. Она внутренно начинала уже сознаваться, что все это страхъ скучно и, вдобавокъ, перепутано, дико, непонятно; но она твердо рѣшилась побѣдить скуку и надѣялась, что современемъ будетъ читать эти тетради, если не съ тою пріятностью, то такъ же свободно, какъ любой романъ графини Дашъ и Поля Феваля. Кашель, раздавшійся у двери, прервалъ ее. Она увидѣла среднихъ лѣтъ бабу въ котахъ, клѣтчатой понявѣ, коротайкѣ и темномъ платкѣ на головѣ. Если смотрѣть безпристрастно, лицо бабы было далеко непривлекательно: круглый носъ, толстыя губы, калмыцкія скулы; но каріе, узенькіе глаза выкупали зато одутлость лица — такъ много написано было въ нихъ лукавства, пронырства и хитрости. Была еще одна особенность, которая возбуждала вниманіе: глаза и виски бабы были окружены множествомъ полукруглыхъ морщинъ; когда морщины эти собирались, лицо бабы казалось плачущимъ, несчастнымъ и робкимъ; когда же, повинуясь какому-то внутреннему механизму, которымъ произвольно располагала баба, морщины расходились, лицо мгновенно принимало выраженіе юркости и бойкости неописанной. Въ настоящую минуту всѣ несчастія, какія ходятъ только по бѣлу-свѣту, выбрали, казалось, бѣдную бабу своею жертвой.

— Подойди сюда, милая! сказала барыня, призывая на помощь самый мягкій и ласковый голосъ, чтобъ ободрить несчастную жертву,—ты что̀ такое... то-есть какая твоя должность, моя милая?

— Скотница, сударыня, со вздохомъ произнесла баба, робко подвигаясь впередъ.

— Какъ твое имя?

— Василиса, сударыня.

Новый глубокій вздохъ.

— Подойди ближе, моя милая. Я позвала тебя потому... Мнѣ, вотъ видишь ли, хотѣлось узнать, кàкъ все это идетъ у насъ на скотномъ дворѣ — понимаешь? сколько расхода, прихода и проч. Скажи мнѣ прежде всего: сколько у насъ коровъ, всего-на-все?..

— Дойныхъ, сударыня, которыя для вашей милости оставляются? спросила скотница, начинавшая мало-по-малу расправлять свои морщины.

— Да, да, дойныхъ; сколько дойныхъ?

— Восьмнадцать, сударыня.

— Это, кажется, мало?

— Очень мало, сударыня. Оно, то-есть, по положенію, больше бы держать надобно... въ прежнее время... сказываютъ, по сорока коровъ держали... Да только это не наше дѣло... знамо, сударыня, дѣло управительское, подхватила Василиса съ таинственностью. — Я имъ докладывала, сударыня. „Ничего, говоритъ, довольно и этихъ“. Извѣстно, почему-то не входятъ они въ эту должность: ужъ и лѣта его такія, сударыня... больше все въ комнатѣ своей и находится... А я не то, чтобъ, доложу я вашей милости, душой всей хлопочу, сударыня, ночи не спишь, сумнѣваешься... Если, паче чаянія, вашей милости чтò и сказали, такъ это все, сударыня...

— Нѣтъ, нѣтъ, я совсѣмъ не объ этомъ, милая, перебила Александра Константиновна, — мнѣ просто хотѣлось узнать, сколько вы получаете масла?

— Да разное, сударыня, годъ на годъ никакъ не пригонишь: иной разъ Господь травку дастъ — ну тогда, ништо, даются; другое время въ полъ-лѣто взять нечего, только тѣмъ и живы, сердечныя, что вотъ листокъ подбираютъ... знамо, какое ужъ тутъ молоко!.. Сѣна намъ, сударыня, брать не велѣно... только что вотъ на тёлокъ отпускается, продолжала Василиса голосомъ угнетенной невинности, — разумѣется, молчишь, сударыня, наше дѣло подвластное.

— Да; но много ли, мало ли, вы все-таки сколько-нибудь да получите масла?

— Какъ же, сударыня...

— Куда жъ оно дѣвается?

— Продаемъ, сударыня... только что бездѣлицу самую...

— Все равно... Ну, а деньги-то куда идутъ?

— Чтò съ масла-то получаемъ?

— Да.

— На соль идутъ, сударыня, соль покупаемъ.

— Соль? Неужели идетъ такъ много соли?

— А то какъ же, сударыня! Очення много соли требуется... Коли не посолить хорошенько, масло, сударыня, совсѣмъ пропадетъ.

— Да вѣдь вы его продаете, это масло?

— Продаемъ...

— Я спрашиваю тебя, моя милая: куда же деньги идутъ, деньги, которыя вы получаете за масло?

— Я докладывала вашей милости: соль покупаемъ.

— Но вѣдь соль идетъ на масло?..

— На масло, сударыня...

— Такъ какъ же это?.. Я тутъ рѣшительно ничего не понимаю! проговорила Александра Константиновна, проводя ладонью по лбу.

Въ эту минуту кто-то постучался въ дверь.

— Кто тутъ?

— Это я, maman! отозвался тоненькій голосокъ Мери.

— C'est nous; peut on entrer, madame Bélissine? прозвучалъ въ свою очередь голосъ гувернантки.

— Entrez...

Въ спальню, подпрыгивая на тоненькихъ своихъ ножкахъ, вбѣжала Мери; увидавъ бабу, она торопливо обогнула кресло и, не спуская глазъ съ Василисы, принялась цѣловать мать.

— Bonjour, madame Bélissine! сказала гувернантка, граціозно присѣдая.

На Мери была надѣта ея широкополая соломенная шляпа; въ рукахъ m-lle Louise находилась омбрелька.

— Куда это вы собрались? спросила Александра Константиновна.

— Мы, maman, въ лѣсъ идемъ...

— Nous allons au bois, chercher des griboui! перебила гувернантка.

— Des griboui! смѣясь, подхватила Мери,—des griboui!.. dites: des griby...

— Eh bien: des griby... Cette bonne femme nous dira où il faut aller... comment est ce qu'on la nomme?

— Vasilissa.

— Скажйтъ, Сисилисà... начала было француженка, къ величайшему удовольствію Мери, но Бѣлицына перебила ее и обратилась къ скотницѣ.

— Скажи, пожалуйста, гдѣ здѣсь больше всего грибовъ? спросила она.

— Въ Глинницѣ, сударыня; также вотъ и на Забро̀дномъ.

— Нѣтъ, ты просто разскажи, какъ пройти туда.

— Она тутъ и есть, за околицей, какъ лугъ пройти изволите, сударыня, это и прозывается у насъ Забро́днымъ. Только теперь, доложу вашей милости, грибовъ нѣтути...

— Какъ же такъ?

— Да вѣдь они только осенью бываютъ, и то, когда дожди пойдутъ...

Мери быстро перевела все это m-lle Louise.

— Comme c'est désagréable!.. хи, хи, хи!.. j'ai envie de pleurer... съ дѣтскимъ простодушіемъ проговорила гувернантка, — eh bien, nous irons faire un tour au jardin! примолвила она, мгновенно оживляясь.

Во время этого разговора лицо скотницы постепенно умилялось и принимало притворное, униженное выраженіе. Подъ конецъ она ужъ какъ будто не могла бороться долѣе съ чувствами своими, сдѣлала шагъ впередъ и проговорила, обратившись къ Мери:

— Барышня, пожалуйте ручку, сударыня.

— Donnez donc votre main à cette femme! сказала Бѣлицына дочери, которая недовѣрчиво глядѣла на бабу.

— Красавица вы наша ненаглядная! воскликнула скотница, присѣдая на корточки и страстно припадая къ рукѣ ребенка, — ужъ какъ мы вамъ, сударыня, рады!.. какъ рады-то! Думали: кабы Господь привелъ намъ хоть поглядѣть-то на нашу барышню.. хоть только глазкомъ-то однимъ взглянуть!..

— Laissez-moi, сказала Бѣлицына гувернанткѣ, — j'ai à faire!

— Un baiser à maman et partons! произнесла m-lle Louise.

Какъ только ребенокъ и гувернантка вышли, глаза и виски Василисы мгновенно покрылись складками; она отошла къ стѣнѣ, свѣсила голову и опустила руки. Александра Константиновна думала снова приступить къ разспросамъ, но лицо бабы показалось ей до того несчастнымъ, что она не рѣшилась.

— Вы, можетъ, думаете, сударыня... я насчетъ, то-есть, пользуюсь чѣмъ-нибудь отъ добра вашего, начала совершенно неожиданно Василиса, прикладывая руку къ груди, — можетъ, матушка, вамъ обо мнѣ наговорили: все это, какъ есть, одна напраслина... Отсохни у меня руки, лопни

мои глаза, коли я отъ господскаго добра хошь на синюю порошинку пользовалась!..

— Нѣтъ, нѣтъ! кто это тебѣ сказалъ? Я совсѣмъ этого не думаю, торопливо проговорила Александра Константиновна.

— Матушка! воскликнула Василиса и вдругъ упала въ ноги и залилась горькими слезами,—матушка! подхватила она, мотая головою съ видомъ изнеможенія, — заступись за горькихъ сиротъ своихъ!.. Осталась я одна послѣ мужа съ четырьмя малыми дѣтками.... Вступись, милосердая мать, за горькихъ червей моихъ!.. Прошу не глупыми рѣчами моими, прошу несносными своими сиротскими слезами, заступись за насъ горькихъ...

— Полно, полно... встань, пожалуйста, встань! какъ тебѣ не стыдно? проговорила барыня, стараясь приподнять бабу, — я все тебѣ сдѣлаю, только встань пожалуйста... Скажи, чтò тебѣ нужно?

— О-охъ! простонала Василиса, приподымаясь и стараясь оправиться, хотя лицо ея все еще не переставало обливаться несносными сиротскими слезами,—осталась я, матушка, послѣ мужа съ четырьмя малыми дѣтками, подхватила она, всхлипывая, — получала я на нихъ тогда мѣсячную... отняли, сударыня!

— Какъ же это такъ? произнесла барыня, очевидно взволнованная всей этой сценой.

— То-есть мнѣ-то, сударыня, оставили мѣсячную; получаю три пуда... А только что вотъ, чтò ребятенкамъ принадлежало, то все отняли, матушка... Объ томъ и прошу васъ: заступись за горькихъ сиротъ своихъ...

— Непремѣнно, непремѣнно. Гдѣ же твои дѣти, съ тобой живутъ, на скотномъ дворѣ? съ участіемъ примолвила барыня.

— Одинъ только со мной, матушка, одинъ всего...

— А другіе-то гдѣ жъ?

При этомъ Василиса приложила ладонь къ щекѣ и залилась еще горче прежняго.

— Гдѣ жъ другіе-то? повторила Александра Константиновна.

— Померли, матушка, померли... О-охъ, троихъ схоронила: осталась одна горькая... какъ нива безъ огорода осталась... сирота одинокая...

— „Pauvre femme!“ подумала Александра Константиновна, поспѣшно протягивая руку къ какой-то коробоч-

кѣ. — На̀, возьми, моя милая, подхватила она, подавая цѣлковый Василисѣ, которая одной рукой схватила цѣлковый, другой рукой руку барыни,—это тебѣ такъ, покуда. Я поговорю барину, и мы постараемся какъ-нибудь поправить твое дѣло... Пожалуйста, только не плачь и успокойся... Теперь ты можешь идти... Постой! постой! Если ты увидишь старостиху, пошли ее ко мнѣ.

Но мы оставимъ Александру Константиновну заниматься дѣлами и перейдемъ въ кабинетъ Сергѣя Васильевича.

Трудно, я полагаю, даже невозможно представить себѣ помѣщика, который провелъ бы короткій промежутокъ какого-нибудь часа съ такой пользой, какъ Сергѣй Васильевичъ. Предоставляю вамъ судить о справедливости этого замѣчанія: въ одинъ этотъ часъ Сергѣй Васильевичъ узналъ о числѣ полей въ Марьинскомъ, узналъ о числѣ десятинъ въ каждомъ полѣ и о свойствахъ земли каждаго участка; въ одинъ этотъ часъ вполнѣ усвоилъ онъ значеніе словъ: „яровое“, „озимое“, „паръ“, „въ клину“, „кулига“, „въ два потому жъ“ и множество другихъ многозначащихъ техническихъ терминовъ; въ одинъ этотъ часъ узналъ онъ, сколько было у него луговъ, и какихъ именно, сколько было болота и гдѣ именно. Нѣтъ, рѣшительно нѣтъ возможности найти помѣщика, который въ такое короткое время обогатился бы столькими свѣдѣніями по части своего хозяйства! Но Сергѣй Васильевичъ не довольствовался этимъ; напротивъ, по мѣрѣ того, какъ обогащался онъ свѣдѣніями, любознательность его дѣлалась ненасытнѣе: онъ не переставалъ осаждать вопросами Герасима Аѳанасьевича, который стоялъ за его стуломъ съ сложенными за спиною руками и быстро вертѣлъ большими своими пальцами. Помѣщикъ освѣдомлялся о способахъ усиленія произрастительности почвы, о средствахъ умноженія числа копенъ на десятинахъ и числа стоговъ па лугахъ; съ жаромъ, свойственнымъ однимъ лишь фанатическимъ агрономамъ, предлагалъ онъ разныя баварскія и саксонскія методы обработки земли и вмѣстѣ съ тѣмъ разспрашивалъ о пользѣ, которую можно извлечь изъ запольныхъ земель. Сергѣй Васильевичъ не допускалъ существованія запольной земли, и въ этомъ случаѣ не только Герасимъ, но даже никто въ мірѣ не могъ бы его переспорить. „Начать съ того, что въ основаніи самаго дѣла лежитъ уже очевидная нелѣпость“, говорилъ онъ: „никакая земля не можетъ быть безплодна; доказательствомъ этому служитъ то̀, что она

покрывается травою, какъ только перестаютъ пахать ее; земля, слѣдовательно, не хочетъ отдыхать; и не виновата она нисколько, если человѣкъ, не ознакомившись съ ея свойствами, сѣетъ на ней овесъ тогда, когда слѣдуетъ сѣять, можетъ-быть, горохъ или чечевицу.“ Сергѣй Васильевичъ сильно заботился объ увеличеніи доходовъ; онъ обращалъ мысленный взоръ свой на каждый пустырь Марьинскаго; но такъ какъ у него, кромѣ Марьинскаго, были еще двѣ другія деревни, находившіяся подъ вѣдѣніемъ марьинской конторы, то онъ съ каждой минутой открывалъ новые источники богатства. Такъ, напримѣръ, узналъ онъ, что въ глубинѣ Саратовской губерніи находилось у него около семисотъ десятинъ луга, о которомъ не имѣлъ онъ прежде ни малѣйшаго понятія.

— Какъ же это могло случиться, что посреди отдаленной губерніи очутился вдругъ у насъ одинокій лугъ? воскликнулъ Сергѣй Васильевичъ.—Помню, у батюшки была въ Саратовской губерніи деревня; лугъ принадлежалъ ей, вѣроятно; но деревня продана, какъ же могъ лугъ остаться?

Герасимъ Аѳанасьевичъ пересталъ вертѣть большими пальцами и откашлянулся въ ладонь.

— Надо полагать, сказалъ онъ,—въ то время, какъ у покойнаго папеньки была деревня, они изволили имѣть надобность въ лугѣ и купили его у сосѣда; купивши его, они, надо полагать, изволили забыть приписать его къ деревнѣ; какъ продали деревню, лугъ такъ и остался ни при чемъ...

— Прекрасно! остался ни при чемъ, и остается ни при чемъ десять лѣтъ сряду! иронически замѣтилъ Сергѣй Васильевичъ.—Надо думать, однакожъ, не всѣ такъ беззаботны въ отношеніи къ добру своему, какъ марьинскіе помѣщики. Тамъ, безъ сомнѣнія, давно кто-нибудь пользуется этимъ лугомъ...

— Онъ примыкаетъ, сударь, къ маленькой деревушкѣ, никакъ двадцать душъ, либо тридцать... помѣщица Иванова какая-то... надо полагать, они лугомъ пользуются...

— Очень хорошо! очень, о-о-очень хорошо! перебилъ Сергѣй Васильевичъ,—если бъ всѣми нашими имѣньями пользовались такимъ образомъ, было бы еще лучше!

— Да вѣдь это, сударь, Сергѣй Васильевичъ, осмѣлюсь вамъ доложить, если судить по здѣшнимъ мѣстамъ, такъ, конечно, лугъ этотъ большой важности значитъ, произ-

несъ управитель, думая успокоить барина,—я вѣдь, сударь, былъ въ Саратовской губерніи: тамъ луга ни по чемъ. Иной верстъ на сто тянется, какъ есть степь. Въ другихъ мѣстахъ даже такъ оставляютъ, совсѣмъ даже не косятъ...

— Что жъ это доказываетъ? съ живостью проговорилъ Сергѣй Васильевичъ, поворачиваясь на своемъ стулѣ, — это доказываетъ только, что мы живемъ спустя рукава и ничѣмъ не умѣемъ настоящимъ образомъ пользоваться — да! Я никогда не былъ въ Саратовской губерніи, но очень хорошо знаю положеніе края: тамъ, напротивъ, слѣдуетъ дорожить каждымъ стебелькомъ травы—да; тамъ круглый годъ проходятъ гурты скота, который идетъ во всю Россію. Я знаю, тамъ отдаютъ эти луга на арендное содержаніе гуртовщикамъ, наконецъ, просто отдаютъ ихъ внаймы на одинъ разъ...

— Да вѣдь это, сударь, осмѣливаюсь доложить, на дорогахъ только... замѣтилъ Герасимъ, — и притомъ, по множеству луговъ, плата должна быть очень незначительная...

— Во-первыхъ, въ хозяйственномъ дѣлѣ все значительно. Въ общемъ оборотѣ каждый пятакъ, каждая копейка что-нибудь да значатъ! воскликнулъ Сергѣй Васильевичъ съ горячимъ убѣжденіемъ (что̀, если бъ это убѣжденіе о значеніи, не говорю уже пятаковъ, по сотенъ рублей, не покидало его тотчасъ же, какъ только въѣзжалъ онъ въ Петербургъ!); — а во-вторыхъ, подхватилъ Сергѣй Васильевичъ съ возрастающимъ жаромъ,—все зависитъ отъ распорядительности и умѣнья взяться за дѣло... Надо сейчасъ же сдѣлать распоряженіе касательно этого луга... Семьсотъ десятинъ! Семьсотъ десятинъ луга—бездѣлица! Я докажу, какая это бездѣлица! когда выстроится тамъ мазанка, когда выроется колодезь, когда устроются водопои для скота, когда за каждую голову быка, кромѣ кормежныхъ денегъ, будутъ брать за водопой, когда гуртовщики найдутъ пріютъ отъ дождя, отъ непогоды, и слѣдовательно, зная это, прійдутъ на мой лугъ въ сто разъ охотнѣе, чѣмъ на всякій другой! продолжалъ Сергѣй Васильевичъ, все болѣе и болѣе увлекаясь своимъ проектомъ. — Надѣюсь, у насъ сохраняются въ конторѣ всѣ акты касательно этого луга, то-есть я разумѣю, купчая, изъ которой видно, что я настоящій владѣлецъ?.. заключилъ Бѣлицынъ, превращаясь весь въ одно нетерпѣливое ожиданіе.

— Все, сударь, въ исправности, сказалъ старый управитель.

Получивъ такое извѣстіе, Сергѣй Васильевичъ такъ оживился, какъ будто объявили ему, что лугъ скрываетъ въ себѣ золотые пріиски. Онъ сказалъ, что надо будетъ немедленно, если не сегодня, такъ завтра, приступить къ осуществленію проекта. Такая поспѣшность, очевидно, ошеломила Герасима Аѳанасьевича.

— Осмѣлюсь доложить, Сергѣй Васильевичъ, такъ скоро никакъ невозможно...

— Отчего невозможно? У васъ все невозможно!..

— Это значитъ, сударь, надобно вѣдь будетъ кого-нибудь туда выселить...

— Ну, что жъ? Ну, выселить, такъ выселить! Въ чемъ же затрудненье?.. Неужто у насъ въ Марьинскомъ нѣтъ человѣка, способнаго охранять лугъ и вести расчеты съ гуртовщиками? Дѣло, кажется, не большой сложности. Въ чемъ же затрудненье? Я спрашиваю, въ чемъ затрудненье?..

Осажденный съ такою настойчивостью, Герасимъ Аѳанасьевичъ прищурилъ глаза и мысленно пробѣжалъ по всѣмъ крестьянскимъ дворамъ Марьинскаго: ему хотѣлось какъ можно скорѣе удовлетворить барина отвѣтомъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, хотѣлось такъ сдѣлать, чтобъ не лишить марьинскую барщину дѣльнаго, полезнаго человѣка. Другой на его мѣстѣ брякнулъ бы первое встрѣтившееся имя, или, всего вѣрнѣе, назвалъ бы семью, съ которой находился во враждѣ; но у Герасима враговъ не было. Онъ не торопился потому, во-первыхъ, что боялся повредить интересамъ барщины, слѣдовательно, интересамъ барина, къ которому привязанъ былъ въ самомъ дѣлѣ; во-вторыхъ, нетерпѣніе Сергѣя Васильевича могло только затруднить старика, но нимало его не пугало. Чего ему бояться? Онъ носилъ еще на рукахъ Сергѣя Васильевича, а теперь считалъ его добрѣйшимъ помѣщикомъ во всемъ свѣтѣ; притомъ старикъ ничего не домогался: онъ былъ какъ нельзя болѣе доволенъ своимъ положеніемъ; единственная слабость его—чижики, скворцы и другія пташки—удовлетворялась въ изобиліи; чего же ему еще? На такой вопросъ онъ самъ не придумалъ бы отвѣта. Но сколько мысли Герасима ни метались по дворамъ Марьинскаго, вездѣ встрѣчали онѣ, какъ нарочно, свѣжій, здоровый и полезный народъ. Моргая глазами, повертывая пальцами, старикъ закинулъ уже руки за спину и снова завертѣлъ

съ непостижимою быстротою пальцами, что выражало всегда затруднительное положеніе, какъ вдругъ вспомнилъ онъ о Лапшѣ. Тутъ онъ даже подивился, какъ подобная мысль не пришла ему прежде въ голову.

— Скоро ли, мой милый? Нашелъ ли, наконецъ? нетерпѣливо спросилъ Сергѣй Васильевичъ, замѣтивъ оживленіе въ птичьей физіономіи управителя.

— Нашелъ, сударь, нашелъ! отвѣчалъ, ухмыляясь, Герасимъ. — Такой именно человѣкъ, сударь, какой нуженъ для этой должности; и онъ черезъ это ничего не потеряетъ, и барщина, надо тоже сказать, ничего не потеряетъ...

— Что жъ это за человѣкъ?

— Зовутъ, сударь, Тимоѳеемъ. Я думаю, онъ и самъ радъ будетъ, какъ его выселятъ отсюда, потому что живетъ здѣсь ни при чемъ, все единственно, ни лошади, ни коровёнки... совсѣмъ, какъ есть, сударь, человѣкъ разоренный...

— Какъ такъ? Этого быть не можетъ! въ Марьинскомъ не можетъ быть такого разоренья!..

— Этотъ одинъ только такой и есть, Сергѣй Васильевичъ...

— Все равно; я не угнетаю своихъ крестьянъ: не могутъ они быть безъ коровъ и лошадей! перебилъ Сергѣй Васильевичъ, и первый разъ съ пріѣзда его въ Марьинское добродушное лицо его выразило неудовольствіе.

— Помилуйте, сударь, какое же это угнетенье! Ваши крестьяне должны вѣкъ Бога благодарить за ваши милости. Извольте сами обойти дворы, посмотрѣть, какъ живутъ: у многихъ до сихъ поръ еще прошлогодній хлѣбъ найдете. Ничѣмъ, слава Богу, не отягощены; не только, Сергѣй Васильевичъ, въ нашихъ мѣстахъ, поближности, но даже во всемъ уѣздѣ идетъ слава о вашихъ мужичкахъ: никто лучше ихпяго не живетъ...

— Все это прекрасно! возразилъ нѣсколько успокоенный помѣщикъ. — Но отчего же этотъ могъ дойти до такого разоренья?

— Да разныя, сударь, причины; частью, разумѣется, черезъ себя — самъ виноватъ; и то надо также сказать: человѣкъ больной, слабый; даже духомъ какой-то этакой... совсѣмъ даже въ немъ духа этого нѣтъ; а, впрочемъ, въ остальномъ человѣкъ смирный, кроткій; нѣтъ въ немъ никакой этакой худобы: пьянства или другого чего... Ну,

вотъ также, сударь, семья очень велика... все одно къ одному; а главная причина его разоренья, это, разумѣется, братъ... Ужъ такой-то плутъ, разбойникъ, я такого еще и не видывалъ...

— Гдѣ же онъ?

— Я вамъ докладывалъ о немъ. Помните, лѣтъ пять или шесть, писалъ я вамъ, что случилась у насъ покража... купца обокрали?

— Помню что-то такое. Ну?.. произнесъ Сергѣй Васильевичъ, на котораго вообще непріятно дѣйствовало всякое извѣстіе, не приносившее особенной чести Марьинскому.

— Ну, такъ вотъ этотъ самый и есть его братъ, который обокралъ купца, подхватилъ Герасимъ Аѳанасьевичъ, закидывая руки за спину и склоняясь нѣсколько нà бокъ. — Еще до этого случая, сударь, сколько разъ отличался! Кромѣ того, что брата разорилъ, обокралъ совершенно, пойманъ былъ неоднократно у сосѣдей; у трехъ нашихъ мужиковъ лошадей увелъ, такъ что потомъ даже не нашли никакъ... Но этого, сударь, мало: посадили его въ острогъ, онъ оттуда бѣжалъ; пришелъ разъ ночью сюда... какъ ужъ онъ это ухитрился—понять нельзя, потому что у насъ всю ночь караульные ходятъ,—подобрался къ избѣ брата, возьми да и уведи своего сына; одинъ только и былъ у матери... То, сударь, было, что даже разсказать невозможно! Черезъ это даже баба въ умѣ повредилась; такъ даже теперь безумная и ходитъ...

— Это ужъ чтò такое! Это просто какой-то разбойникъ!.. воскликнулъ помѣщикъ, который представить себѣ не могъ, чтобъ посреди мирныхъ полей, окружавшихъ Марьинское, могло происходить что-нибудь подобное. — Но гдѣ же теперь эта бѣдная женщина, жена этого мерзавца?

— Проживаетъ у Тимоѳея; сжалилась надъ ней жена его, къ себѣ взяла; такъ теперь у нихъ и проживаетъ.

— Ну, слава Богу! есть одинъ утѣшительный фактъ! Изъ этого все-таки видно, что по крайней мѣрѣ родственники этого негодяя добрые люди.

— Я вамъ докладывалъ, Сергѣй Васильевичъ! люди смирные, кроткіе: противъ этого грѣхъ сказать; не будь нездоровья да бѣдности, были бы не хуже другихъ... Вы только извольте сказать имъ насчетъ того, что выселить ихъ хотите, они, я думаю, даже этому обрадуются, потому, сударь, сами видятъ свое положеніе, особливо жена

Тимоѳея; одно то, что недостатки, разоренье... противъ людей даже совѣстно; другое дѣло, вотъ также народомъ обижены.

— Это еще что̀ такое? перебилъ Сергѣй Васильевичъ.

— Да все, сударь, черезъ этого плута, черезъ брата; одни въ злобѣ за то, что лошадей увелъ, другихъ запуталъ во всѣ эти дѣла свои, когда къ допросу водили... Ну, разумѣется, на этихъ всѣ и напали. Я даже сколько разъ ихъ усовѣщевалъ! Особливо въ первое время послѣ того, какъ братъ убѣжалъ, проходу даже имъ не давали; просто даже жалости было подобно...

— Это возмутительно!.. c'est une horreur! воскликнулъ Сергѣй Васильевичъ въ порывѣ истиннаго негодованія.— Я никакъ не ожидалъ этого отъ моихъ марьинскихъ крестьянъ... совсѣмъ не ожидалъ! Это просто какая-то корсиканская vendetta, и я никакъ не думалъ... фу, Боже мой, да вѣдь могутъ же они понять, наконецъ, что если тотъ братъ надѣлалъ имъ вреда, такъ этотъ, по крайней мѣрѣ, ничего имъ не сдѣлалъ, ни въ чемъ не виноватъ?

— Простой народъ, сударь, вездѣ одинъ: онъ этого не разбираетъ...

— Такъ я же докажу имъ, что я разбираю! произнесъ Сергѣй Васильевичъ съ такимъ одушевленіемъ, что даже полныя его щеки вспыхнули.

Онъ торопливо взглянулъ на часы и снова обратился къ управителю:

— Теперь, къ сожалѣнію, очень ужъ поздно, сказалъ онъ болѣе спокойнымъ голосомъ, — но тотчасъ же послѣ обѣда приведи мнѣ этого Тимоѳея, приведи также жену его; скажи имъ, чтобъ они взяли съ собою всѣхъ дѣтей своихъ, всѣхъ непремѣнно: я всѣхъ ихъ хочу видѣть... Очень тебѣ благодаренъ, старикъ, что ты сообщилъ мнѣ объ этомъ; спасибо тебѣ!.. Я лично хочу переговорить съ ними и надѣюсь, что они поймутъ, что я желаю имъ добра; надѣюсь, они поймутъ это... Ахъ, бѣдные, бѣдные!.. Меня одно, впрочемъ, затрудняетъ, присовокупилъ онъ, вставая со стула и принимаясь расхаживать по кабинету, между тѣмъ, какъ управитель отступилъ нѣсколько шаговъ, чтобъ дать ему больше простора, закинулъ руки за спину и опять завертѣлъ пальцами, — одно меня затрудняетъ; если, какъ ты говоришь, этотъ Тимоѳей такой больной и слабый, можетъ ли онъ взять на себя должность, для которой я его предназначаю? Не лучше ли

будетъ придумать для него и его семейства что-нибудь другое, а на его мѣсто послать другого кого-нибудь?..

— На этотъ счетъ, сударь, не извольте безпокоиться, возразилъ Герасимъ, выставляя впередъ правую ногу и съ видомъ увѣренности наклоняя голову,—онъ хотя человѣкъ, конечно, болѣзненный, слабый, но тамъ вѣдь не потребуется отъ него никакой тяжкой работы; тамъ, сударь, будетъ для него гораздо свободнѣе здѣшняго: ни пахоты, ничего этого, что̀ здѣсь требуется, ничего не будетъ; потребуется только присматривать за порядкомъ и вести расчеты съ гуртовщиками—дѣло небольшой важности; и, наконецъ, осмѣлюсь доложить вамъ, Сергѣй Васильичъ, у него жена, можно сказать, женщина настоящая, постоянная; она даже теперь одна, можно сказать, всю семью поддерживаетъ; женщина трудолюбивая, разсудительная; ей только поручить извольте; на нее можно, то-есть, совершенно можно положиться: женщина очень хорошая...

— Ну, и прекрасно! очень радъ, очень радъ! сказалъ Бѣлицынъ, принимаясь снова расхаживать.—Такъ, стало-быть, послѣ обѣда ты тотчасъ приведешь ихъ, Герасимъ. Не забудь только, пожалуйста, сказать, чтобъ они взяли съ собою всѣхъ дѣтей своихъ, всѣхъ рѣшительно: я всѣхъ ихъ хочу видѣть.

Камердинеръ давно уже ждалъ барина въ сосѣдней комнатѣ; онъ даже три раза перемѣнилъ воду для бритья, которая успѣла остыть. Посылая къ нечистому стараго управителя, такъ долго державшаго барина, камердинеръ въ сотый разъ уже прикладывалъ пышные свои бакенбарды къ двери кабинета, когда появился вдругъ Сергѣй Васильевичъ. Но улыбка на губахъ ка̀мердина, какъ называлъ его Агапъ Акишевъ, была непродолжительна: съ той секунды, какъ Сергѣй Васильевичъ опустился въ кресло и подставилъ ему свой подбородокъ, до той секунды, какъ, совсѣмъ одѣтый, вышелъ снова въ кабинетъ, онъ не переставалъ торопить камердинера, два раза назвалъ его неловкимъ и суетилъ безпощадно. Съ такимъ же суетливымъ видомъ Сергѣй Васильевичъ прошелъ всѣ нижнія комнаты родового дома и вездѣ спрашивалъ: гдѣ барыня? Узнавъ, что барыня на террасѣ, онъ тотчасъ же направилъ туда шаги свои. Появленіе его было такъ неожиданно и вмѣстѣ съ тѣмъ лицо его дышало такимъ непривычнымъ оживленіемъ, что Александра Константиновна быстро опустила работу и спросила:

— Qu'as tu, mon ami?..

— J'ai tout un roman à vous raconter—цѣлый романъ! произнесъ Сергѣй Васильевичъ.

Онъ пожалъ руку женѣ, поздоровался съ гувернанткой, которая тотчасъ же запрыгала на своемъ стулѣ отъ нетерпѣнія, опустился на сосѣднее кресло и повторилъ:

— Да, цѣлый романъ!..

Сергѣй Васильевичъ всегда имѣлъ въ своемъ кругу репутацію интереснаго, пріятнаго разсказчика. Можете представить себѣ послѣ этого, какъ сильно должна была подѣйствовать на слушательницъ исторія о несчастіяхъ и гоненіяхъ бѣднаго крестьянскаго семейства! Александрѣ Константиновнѣ никогда еще не приводилось слышать что-нибудь въ этомъ родѣ; ей до сихъ поръ казалось, что въ однихъ только повѣстяхъ и романахъ встрѣчается совокупленіе такихъ злосчастныхъ обстоятельствъ. Картина дѣйствительности такъ поражала ее, что она нѣсколько разъ складывала руки, какъ бы умоляя о пощадѣ, и неоднократно подымала прекрасные глаза свои къ небу, какъ бы умоляя его о защитѣ. У Александры Константиновны также былъ въ запасѣ маленькій романъ, который намѣревалась она передать мужу; но романъ, въ которомъ роль героини разыгрывала Василиса, умолявшая о прибавкѣ муки, показался Бѣлицыной до того ничтожнымъ и блѣднымъ сравнительно съ горестями крестьянскаго семейства, о которомъ говорилъ мужъ, что она не рѣшилась даже упоминать о немъ. Ея вниманіе и симпатія принадлежали теперь исключительно Тимоѳею, le pauvre Timothée, какъ восклицала дѣвица Луиза: бордосскую уроженку болѣе всего поразилъ, повидимому, эпизодъ съ сумасшедшей Дуней.

— Oh! cette pauvre Dounia! Cette malheureuse Dounia! не переставала твердить она, отрываясь затѣмъ только, чтобъ взглянуть на Мери, которая въ десяти шагахъ занималась издѣліемъ пирожковъ и булокъ изъ сырого песку.

Но тягостное впечатлѣніе, испытанное слушательницами, мигомъ, однакожъ, разсѣялось и превратилось даже въ состояніе близкое къ восхищенію, когда Сергѣй Васильевичъ сообщилъ имъ свой планъ касательно Тимоѳея.

— Я сказалъ Karassin, чтобъ онъ всѣхъ ихъ, всѣхъ, не выключая даже и маленькихъ дѣтей, привелъ къ намъ тотчасъ же послѣ обѣда, заключилъ Сергѣй Васильевичъ.

— Bravo, m-r Bélissine! c'est ainsi qu'il faut faire les bonnes actions! восторженно произнесла гувернантка.

— Я очень рада буду ихъ видѣть, очень, очень! сказала въ свою очередь Александра Константиновна съ чувствомъ искренней, сердечной радости,—случай этотъ окончательно примиряетъ меня съ сельской жизнью. Если, съ одной стороны, деревня нѣсколько разрушаетъ поэзію, которою привыкли мы окружать ее, зато, можетъ быть, нигдѣ не представляется столько случая дѣлать истинное, положительное добро, сколько въ деревнѣ. Если бъ вообще всѣ мы жили больше въ своихъ имѣньяхъ, я увѣрена, тогда было бы несравненно меньше несчастныхъ... Я очень рада, Serge, очень рада, что мы пріѣхали въ Марьинское!..

III.

Планъ осуществляется.

Александра Константиновна, Сергѣй Васильевичъ, гувернантка и Мери сидѣли послѣ обѣда въ гостиной, когда камердинеръ возвѣстилъ, что привели крестьянское семейство. Всѣ тотчасъ же встали и пошли въ переднюю.

Первое впечатлѣніе, сдѣланное на господъ Лапшою и его семействомъ, было какъ нельзя выгоднѣе для послѣдняго. Какъ ни были господа симпатично настроены, какъ ни воображали они дѣйствующихъ лицъ романа, разсказаннаго Сергѣемъ Васильевичемъ, но дѣйствительность превзошла ожиданія. Въ настоящую минуту Лапша, его жена и дѣти могли въ самомъ дѣлѣ возбудить участіе даже въ такомъ человѣкѣ, который не зналъ бы ихъ исторіи. Лапша, надо полагать, не шутя расшибся, упавъ тогда въ вертепъ; страданія отъ боли ясно отпечатывались въ его опущенныхъ, но изогнутыхъ бровяхъ, виднѣлись въ его потухшемъ, напряженномъ взорѣ, въ его позѣ и лицѣ, покрытомъ известковою, зеленоватою блѣдностью; къ этому примѣшивалось также сильное волненіе: онъ страшно оробѣлъ, когда сказали ему, что господа требуютъ; рубашка на груди его колебалась, какъ будто раздували ее мѣхомъ, хрипѣвшимъ и шипѣвшимъ отъ усиленнаго надавливанія; руки и ноги тряслись какъ въ лихорадкѣ. Но даже подлѣ Лапши Катерина останавливала па себѣ особенное вниманіе: она замѣтно похудѣла въ эти послѣдніе два дня; выразительныя, энергическія

черты ея сдѣлались какъ бы еще рѣзче, но онѣ служили теперь выраженіемъ такой глубокой скорби, такъ много написано было въ нихъ тоски и душевной затаенной пытки, что, взглянувъ на нее, Александра Константиновна почувствовала слезы на глазахъ своихъ; слезы ея вызваны также были жалкимъ видомъ младенца на рукахъ женщины; она не могла глядѣть безъ сердечнаго замиранья на грубое, дырявое тряпье, прикрывавшее его нѣжные худенькіе члены. Бѣлицына никогда даже не воображала возможности существованія такой бѣдности. Съ глазами, полными истиннаго, сердечнаго состраданія, смотрѣла она на лохмотья Катерины и ея лицо, казавшееся еще несчастнѣе въ сосѣдствѣ съ круглымъ, молоденькимъ и свѣжимъ лицомъ Маши. Что же касается до трехъ мальчугановъ Катерины, ихъ не было возможности разсмотрѣть: ихъ головы и туловища исчезали совершенно: Бѣлицыны, гувернантка, Мери и Герасимъ, стоявшій подлѣ печки съ сложенными за спину руками, могли только видѣть нѣсколько ручонокъ, которыя крѣпко держались за складки понявы и такъ ихъ натягивали, что превращали въ совершенно прямыя линіи.

Сергѣй Васильевичъ, тронутый почти столько же, сколько жена и гувернантка, приступилъ къ объясненію съ тою лихорадочною торопливостью, которая овладѣваетъ всѣми добрыми людьми, приступающими къ исполненію давно задуманнаго благодѣянія.

— Пожалуйста, прошу васъ, успокойтесь, успокойтесь! проговорилъ онъ тотчасъ же, какъ только поздоровался, и для того, вѣроятно, чтобъ ободрить ихъ, потрепалъ по плечу сначала Лапшу, потомъ Катерину и, наконецъ, Машу,—я призвалъ васъ совсѣмъ не для того, чтобъ вы меня боялись и были печальны, подхватилъ онъ,—напротивъ, вамъ надо теперь повеселѣть... Я узналъ, сколько вы терпѣли, узналъ обо всѣхъ вашихъ несчастіяхъ, и теперь все это кончится: я и жена, мы постараемся исправить ваши обстоятельства...

— Да, непремѣнно, непремѣнно! сказала Бѣлицына, приближаясь къ Катеринѣ,—я очень обрадовалась, когда услышала, что ты такая добрая женщина: твой поступокъ съ женою брата твоего мужа достаточно это показываетъ... Повѣрь, моя милая, я и мужъ, мы этого не забудемъ... мы сдѣлаемъ для тебя все, все, что̀ только возможно.

Но изъ всего того, что̀ могла сдѣлать барыня, Катеринѣ нужно было одно только. Въ головѣ ея была одна мысль; она не покидала ее ни днемъ, ни ночью; съ этой мыслью шла она къ барскому дому, съ этою мыслью стояла она передъ господами. Робость и еще болѣе неувѣренность въ участіи господъ — чувство, свойственное всѣмъ бѣднякамъ, поставленнымъ лицомъ къ лицу съ людьми сильными — принуждали Катерину къ молчанію. Услыша ласковый голосъ барыни, она въ первый разъ подняла черные, печальные глаза свои; лицо Александры Константиновны окончательно, казалось, ободрило бѣдную бабу; быстро передала она младенца дочери и упала въ ноги барынѣ.

Движеніе это, неожиданное для Александры Константиновны, было еще неожиданнѣе для трехъ мальчугановъ, державшихся за юбку матери: увлеченные ея паденіемъ, но откинутые въ стороны разбѣжавшимися складками понявы, одинъ изъ нихъ покатился подъ ноги гувернанткѣ, другой подъ ноги Сергѣю Васильевичу. Одинъ пучеглазый Костюшка успѣлъ во-время выпустить изъ рукъ поняву, но положеніе его отъ этого нимало не выиграло; напротивъ, увидя себя передъ господами, онъ побагровѣлъ какъ клюква, секунды двѣ стоялъ въ какомъ-то оцѣпенѣніи и скрылся за сестрою тогда уже, когда младшіе его братья находились въ защитѣ за отцовской спиною.

— Матушка! заступись! заступись! вели сыскать!.. говорила между тѣмъ Катерина, рыдавшая теперь навзрыдъ, — заступись!.. мальчика увели у меня... увели, отняли родное дѣтище... нищіе украли!.. Вели сыскать... три дня увели всего... три дня!.. Одна и была у меня утѣха, одна радость, и ту отняли!.. Матушка! пока жизнь во мнѣ будетъ, стану и день, и ночь молить за тебя Бога... не оставь меня своею милостью, вели сыскать его...

— О какомъ мальчикѣ она говоритъ? Это еще что̀ такое? спросилъ Сергѣй Васильевичъ, суетливо обращаясь къ Герасиму, тогда какъ Александра Константиновна всячески успокаивала бабу и старалась приподнять ее, — ты ничего не сказалъ мнѣ объ этомъ? промолвилъ онъ вспыльчиво.

— Я самъ, сударь, въ первый разъ слышу; я ничего... рѣшительно ничего не знаю, проговорилъ управитель, разводя руками и повидимому удивляясь не менѣе барина.

Герасимъ точно ничего еще не слыхалъ о пропажѣ

мальчика. Ошеломленный этимъ извѣстіемъ, онъ вспомнилъ, что, дней пять назадъ, далъ второпяхъ видъ сыну Лапши, но въ первую секунду никакъ не могъ сообразить, почему могъ пропасть мальчикъ и почему баба упоминала о нищихъ. Съ той минуты, какъ пріѣхали Бѣлицыны, что случилось четверть часа спустя послѣ возвращенія управителя изъ города, марьинское населеніе такъ было занято пріѣздомъ господъ, что происшествіе съ Катериной совершенно изгладилось изъ памяти каждаго; никому даже въ голову не пришло сообщить о немъ управителю, и, наконецъ, во все это время Герасимъ суетился до такой степени, что всякій, кто обращался къ нему за собственнымъ дѣломъ, долженъ былъ караулить его часа по три, и то безъ малѣйшаго успѣха.

— Въ первый разъ слышу, Сергѣй Васильевичъ, подтвердилъ старикъ,—пять дней назадъ пришелъ вотъ онъ ко мнѣ видъ просить для сына; я ему далъ... а что вотъ она говоритъ насчетъ, то-есть, пропажи... объ нищихъ— впервые слышу... довершилъ онъ, поглядывая съ недоумѣніемъ на Катерину, которая продолжала рыдать у ногъ барыни.

— Что жъ это значитъ? произнесъ Сергѣй Васильевичъ, обращаясь къ Лапшѣ.

Съ той минуты, какъ Катерина бросилась барынѣ въ ноги и заговорила о мальчикѣ, Лапша закрылъ глаза, какъ человѣкъ, обрывающійся въ пропасть. Прохваченный до костей холоднымъ пòтомъ, онъ чувствовалъ только, что все заходило кругомъ въ головѣ его; вопросъ барина произвелъ на него дѣйствіе сильнаго толчка и кинулъ его въ жаръ.

— Что жъ это значитъ, братецъ, я тебя спрашиваю? повторилъ нетерпѣливо Сергѣй Васильевичъ.

Лапша моргнулъ только бровями, и какъ бы истративъ на это движеніе остатокъ силъ, онъ такъ вдругъ раскисъ и закашлялся, что если бъ не ребятишки, державшіе его сзади за рубашку, онъ, можетъ-быть, не удержался бы на ногахъ.

— Ничего не понимаю! сказалъ Сергѣй Васильевичъ, пожимая плечами. — Полно, моя милая, не плачь, пожалуйста, успокойся! подхватилъ онъ ласково, обратившись къ Катеринѣ и принимаясь вмѣстѣ съ женою упрашивать ее, чтобъ она встала, — мы обѣщаемъ тебѣ сдѣлать все, все, что возможно; только разскажи обстоятельно, о чемъ

ты просишь... Слезами тутъ не поможешь; мы только время теряемъ. Какъ это было?

Катерина поспѣшно провела ладонью по глазамъ; но такъ какъ сердце ея слишкомъ уже переполнилось слезами, чтобъ можно было удержать ихъ, она дала имъ полную свободу.

— Вотъ, сударь, ка̀къ дѣло было, сказала она прерывающимся голосомъ.—Передъ тѣмъ, какъ вашу милость ждали, пришли къ намъ нищіе, увидали они у меня мальчика и стали просить его... хотѣли съ собой взять... они и все такъ-то съ малолѣтными ходятъ!.. Знамо, сударыня, кабы были они люди путные или мастеровые, я бы, ништо, послушала ихъ; какъ ни жаль свое дѣтище, отдала бы имъ: по крайности научился бы отъ нихъ доброму дѣлу, человѣкомъ бы сталъ... Съ нищими отпустить—все одно погубить, значитъ, малаго: окромѣ худобы, ничему не научатъ... Какъ сказали мнѣ они объ этомъ, я возьми да и прогони ихъ изъ дому...

— И прекрасно сдѣлала, моя милая, прекрасно! Продолжай, пожалуйста! сказали въ одинъ голосъ Бѣлицыны.

— Какъ прогнала ихъ, они потомъ гдѣ-то съ мужемъ и встрѣтились; меня въ ту пору дома-то не было... ничего я этого не знала, продолжала Катерина, горько всхлипывая,—стали этто они его уговаривать... денегъ сколько-то посулили... На этомъ мѣстѣ рыданія заглушили голосъ Катерины; минуту спустя, она продолжала:—Въ ту пору, сударыня, насъ долгами оченно стращали... вашей милости жаловаться хотѣли... побоялся онъ этого, сударыня... ну... ну... и польстился на такія ихнія рѣчи... взялъ да и отдалъ имъ мальчика...

— Если бъ я зналъ, сударь, что онъ мальчика нищимъ хочетъ предоставить, я бы, конечно, не далъ ему вида, вмѣшался Герасимъ, досадливо поглядывая на Лапшу, который казался въ эту минуту изнемогающимъ отъ боли и страха,—онъ мнѣ тогда ничего не сказалъ объ этомъ...

— Какъ же ты могъ на это рѣшиться! воскликнулъ Сергѣй Васильевичъ съ горячностью.—Какія бы ни были твои обстоятельства, какъ могъ ты отпустить сына съ нищими, съ бродягами?..

Лапша поднялъ голову, раскрылъ дрожащія губы и вдругъ заплакалъ, но такъ горько, что Александра Константиновна и, за ней, гувернантка отвернулись къ двери и начали сморкаться, чтобъ скрыть собственныя свои слезы.

— Долги, сударь... могъ только проговорить Лапша, — долги... очненно стращали... совсѣмъ замучили...

— Laissez le, mon ami... tu vois qu'il est déjà assez malheureux... c'est le malheur qui l'a conduit!.. сказала Бѣлицына, желая смягчить мужа, что было совершенно лишнее, потому что онъ былъ уже давно смягченъ несчастнымъ видомъ Лапши и его слезами.

— Онъ и самъ не радъ этому, сударыня, самъ день и ночь убивается! проговорила Катерина, опять давая полную волю рыданіямъ. — Матушка! сжалься надъ нами, вели сыскать мальчика! Все сердце о немъ высохло! Помилуй! подхватила она, снова бросаясь господамъ въ ноги.

Въ этомъ движеніи Катерины не было ничего униженнаго и подобострастнаго; она не выпрашивала у барыни муки или другой какой-нибудь милости въ томъ же родѣ; если падала она въ ноги, такъ это потому, что, въ отчаяніи своемъ, не находила болѣе убѣдительнаго способа вымолить у нея погоню за сыномъ. Оправившись нѣсколько послѣ этого вторичнаго порыва отчаянья, она передала господамъ о томъ, какъ нищіе зазвали мужа и мальчика въ лѣсъ, какъ воспользовались они его слабостью и одиночествомъ, какъ обманули его и силою увели ребенка; разсказъ о ея двухдневныхъ безполезныхъ поискахъ такъ сильно подѣйствовалъ на Александру Константиновну, что она два раза прикладывала платокъ къ глазамъ своимъ.

— Будь увѣрена, моя милая: все, что̀ только можно сдѣлать, будетъ сдѣлано, заговорилъ Сергѣй Васильевичъ съ необычайнымъ оживленіемъ. — Герасимъ, надо будетъ сейчасъ же распорядиться, сейчасъ же послать верховыхъ по всѣмъ дорогамъ: надѣюсь, у насъ найдутся для этого и люди, и лошади?..

— Да, сейчасъ послать, послать какъ можно скорѣе, подтвердила Александра Константиновна, ободряя Катерину движеніемъ прекрасной руки своей.

— Все это можно-съ... произнесъ Герасимъ съ видомъ покорности, хотя вертѣвшіеся пальцы за спиною ясно показывали, какъ затруднялся онъ въ исполненіи этого намѣренія, — осмѣлюсь только доложить вамъ: мы теперь ничего не отыщемъ... прошло ужъ пять дней; нищіе вѣрно поспѣшили уйти куда-нибудь подальше...

— Близко ли, далеко ли, надо, однакожъ, поймать ихъ, поймать непремѣнно! произнесъ, разгорячаясь, Сергѣй Васильевичъ.

— Лучше всего, сударь, послать, чѣмъ-свѣтъ, извѣстить исправника; также вотъ становымъ приставамъ надо дать знать: это всего вѣрнѣе.

— Хорошо; такъ завтра же чѣмъ-свѣтъ, чтобъ это было сдѣлано!.. Ну, полноте же плакать, полноте! подхватилъ Сергѣй Васильевичъ, принимаясь вмѣстѣ съ женою успокоивать Катерину,—слышите: завтра все будетъ сдѣлано; я самъ напишу исправнику, самъ попрошу его объ этомъ; онъ вѣрно для меня постарается... Утрите же ваши слезы...

— Батюшка! Сергѣй Васильевичъ! отецъ ты нашъ! воскликнула Катерина, приводя въ дѣйствіе приказаніе барина, — какъ благодарить тебя за твои милости?.. Мои словеса глупыя, не взыщи на нихъ... не знаю, какъ сказать тебѣ... Пускай Богъ воздастъ тебѣ за всѣ ваши милости, что насъ, бѣдныхъ, не оставляете!..

— Пока, моя милая, не за что еще благодарить... Входя въ ваши дѣла, я исполняю свои обязанности, перебилъ Сергѣй Васильевичъ съ легкимъ колебаніемъ въ голосѣ, которое показывало, что онъ говорилъ отъ всего сердца, — я принимаю въ васъ участіе потому, что это мой долгъ, долгъ христіанина и помѣщика. Для того и помѣщикъ, чтобъ вникать въ ваши нужды, пещись о вашемъ благосостояніи, поддерживать васъ добрымъ совѣтомъ... Поэтому-то собственно я и призвалъ васъ къ себѣ, я узналъ о вашемъ тяжкомъ положеніи, и мнѣ хотѣлось помочь вамъ... Я вижу, вы дѣйствительно добрые, хорошіе люди и заслуживаете этого...

При этомъ Александра Константиновна, слушавшая мужа съ восхищеннымъ вниманіемъ, оживилась необыкновенно; слова мужа внушили ей, казалось, мысль, которая приводила ее въ восторгъ; она подошла къ француженкѣ, шепнула ей что-то на ухо, потомъ пошептала Мери, и когда эти послѣднія побѣжали въ залу, подпрыгивая и хлопая въ ладоши, она съ видомъ внутренняго самодовольствія снова возвратилась на прежнее мѣсто.

— Вотъ въ чемъ дѣло, продолжалъ Сергѣй Васильевичъ,—я узналъ, къ сожалѣнію, узналъ слишкомъ поздно, но, слава Богу, поправить еще можно, узналъ, какое вамъ было худое житье, какъ вы бѣдствовали, какъ преслѣдовали васъ нѣкоторые изъ вашихъ сосѣдей...

— Совсѣмъ, сударь, заѣли... какъ есть заѣли!.. неожиданно произнесъ Лапша, медленно приподымая правую

бровь, тогда какъ лѣвая оставалась на прежнемъ своемъ мѣстѣ и совсѣмъ почти закрывала глазъ, но, все равно, это показывало, что онъ начиналъ уже ободряться.

Сергѣй Васильевичъ взглянулъ на него, улыбнулся и продолжалъ:

— Знаю, знаю... Но мнѣ извѣстно также, Тимоѳей, подхватилъ онъ наставительно,—что ты вошелъ въ долги. Я начну съ того, разумѣется, что заплачу ихъ; но прежде скажу тебѣ, скажу все равно, какъ бы сказалъ это отецъ своимъ дѣтямъ, что надо впередъ быть осторожнѣе: долги никогда не доводятъ до добра... Сколько у тебя всего-на-все долговъ?..

— Всего-то... сударь... да рублевъ двадцать! проговорилъ Лапша съ сокрушеннымъ видомъ, хотя правая его бровь ни на волосъ не опустилась; замѣтно даже было, что лѣвая начала приходить въ движеніе.

— Двадцать! воскликнули въ одинъ голосъ Сергѣй Васильевичъ и жена его,—какъ, подхватилъ Сергѣй Васильевичъ,—и за двадцать рублей тебѣ не давали покоя? за двадцать рублей васъ преслѣдовали?.. Признаюсь, Герасимъ, я никакъ не думалъ, чтобъ марьинскіе мужики мои были такъ жадны...

— Всякіе есть, сударь; есть и хорошіе, есть и худые, промолвилъ Герасимъ, который впалъ съ нѣкоторыхъ поръ въ задумчивость, не отличавшуюся, впрочемъ, спокойнымъ свойствомъ, потому что всякій, кто заглянулъ бы за его спину, увидѣлъ бы, что большіе пальцы его вращались съ непостижимою быстротою.

— Итакъ я заплачу ваши долги и вообще поправлю васъ совершенно; но только это съ однимъ условіемъ, съ однимъ условіемъ—слышите ли? проговорилъ Бѣлицынъ, поочередно взглядывая на Катерину и ея мужа,—у меня въ Саратовской губерніи есть лугъ... Отсюда всего верстъ четыреста, много пятьсотъ; я хочу васъ туда переселить... Ну что вы на это скажете—а?

— Ужъ оченно бы это хорошо!.. Чѣмъ здѣсь такъ-то... Вѣкъ стали бы за тебя Бога молить! произнесъ Лапша, приподымая лѣвую бровь, такъ что она стала теперь въ-уровень съ правой.

Катерина ничего не сказала; по лицу ея, наклоненному къ землѣ, видно было, что предложеніе Сергѣя Васильевича не нашло въ ней большого сочувствія: ей хотѣлось прежде всего, чтобъ отыскали Петю; покинуть Марьин-

ское въ настоящую минуту, значило отдалиться еще больше отъ мальчика. Будь у ней теперь Петя, она обрадовалась бы столько же, можетъ-быть, сколько и Лапша. Замѣтивъ грустное выраженіе ея лица, Александра Константиновна обратила на него вниманіе мужа.

— Я вамъ повторяю: этотъ лугъ всего какихъ-нибудь четыреста, пятьсотъ верстъ отъ Марьинскаго, подхватилъ убѣдительнымъ тономъ Сергѣй Васильевичъ,—и наконецъ, чего вамъ здѣсь? Вы видите, васъ здѣсь не любятъ. Положимъ, вы не отвѣчаете за поступки вашего брата, вы нисколько не виноваты, но все-таки къ вамъ питаютъ непріязнь, а вѣдь это тяжело; главное, я тутъ никакъ ужъ не могу пособить вамъ. То ли дѣло, если переселитесь... я не говорю: навсегда, но на время... тамъ посмотримъ... Вы заведетесь тамъ своимъ домкомъ, хозяйствомъ, будете жить мирно, тихо; никто не знаетъ тамъ ни васъ, ни вашего брата; слѣдовательно, никто и попрекать не станетъ... Къ тому же вамъ обоимъ будетъ тамъ несравненно легче; ваше дѣло будетъ состоять въ томъ только, чтобъ чужіе люди не травили лугъ, чтобъ всегда въ исправности содержался колодезь, чтобъ гуртовщики исправно платили деньги... Это несравненно легче, чѣмъ пахать, особенно для тебя, Тимоѳей: ты такой больной, слабый...

Лапша закашлялся и крякнулъ съ такимъ видомъ, какъ будто силился приподнять съ пола огромную тяжесть.

— Однимъ словомъ, вамъ лучше будетъ тамъ во всѣхъ отношеніяхъ; край тамъ привольный: всего много—не то, что здѣсь! продолжалъ Сергѣй Васильевичъ, невольно увлекаясь при мысли о саратовскомъ лугѣ, который рѣшительно сдѣлался его конькомъ,—вотъ какъ я вамъ скажу: тамъ даже арбузы сѣются, какъ у насъ картофель; просто въ полѣ растутъ...

— Ужъ это на што жъ лучше, Сергѣй Васильичъ?.. У насъ ничего этого нѣтути, замѣтилъ Лапша, стараясь принять толковый, дѣловой видъ, — оченно бы, сударь, хорошо это было...

— Я говорю вамъ, что тамъ вамъ будетъ гораздо лучше, перебилъ Сергѣй Васильевичъ съ чувствомъ сильнаго убѣжденія, — избу вашу мы продадимъ, и вырученныя деньги будутъ вамъ отданы; кромѣ этого, я вамъ еще дамъ, потому что тамъ надо будетъ выстроить избу или мазанку, вырыть колодезь и вообще обзавестись. Ужъ если

я взялся за что, такъ, конечно, буду наблюдать, чтобъ вамъ было хорошо... Но ты, моя милая, кажется, какъ будто не совсѣмъ довольна? Скажи мнѣ прямо, скажи, въ чемъ заключается твое неудовольствіе? прибавилъ онъ, обращаясь къ Катеринѣ.

— Помилуйте, сударь, Сергѣй Васильичъ, могу ли я быть недовольна! съ чувствомъ сказала Катерина,—должна я понимать, какія вы милости для насъ дѣлаете! Отцы родные такой заботы не имѣютъ о своихъ дѣтяхъ, какъ вы о насъ сокрушаетесь... Очённо я довольна вашими милостями и Бога должна благодарить... Одна у меня только забота... прибавила она, опуская глаза и вздыхая,— все о немъ, объ мальчикѣ о своемъ думаю... Безъ него какъ словно горько мнѣ уйти отсюда...

— Еще бы! Но ты, пожалуйста, объ этомъ не безпокойся: завтра же чѣмъ-свѣтъ будутъ посланы письма къ исправнику и становымъ: мальчикъ твой найдется, непремѣнно найдется, только молись хорошенько Богу! заговорили вмѣстѣ баринъ и барыня. — Такъ ты, стало быть, также съ охотой переселишься отсюда? присовокупилъ Сергѣй Васильевичъ.

— Коли такая ваша воля, я, сударь, на все согласна... вы намъ худа не желаете... спокойно возразила Катерина.

— Mais arrivez donc! arrivez donc! on vous attends!.. весело воскликнула Александра Константиновна, обращаясь къ двери залы, въ которой показались гувернантка и Мери, сопровождаемыя горничной Дашей, или lady Furie, какъ называли ее Бѣлицыны.

При первомъ взглядѣ на вошедшихъ, мысль, оживлявшая Бѣлицыну, тотчасъ же объяснилась. Руки гувернантки заняты были лентами и ботинками; Мери, милое личико которой сіяло такимъ же восхищеніемъ, какъ лицо матери, несла хорошенькій портмонэ и большую бѣлую бонбоньерку съ вычурными золотыми разводами; горничная, выступавшая позади и преисполненная, болѣе чѣмъ когда-нибудь, чувствомъ собственнаго достоинства, держала въ рукахъ маленькій кружевной чепецъ, платокъ, стеганую кофту и еще кое-что изъ бѣлья; хотя всѣ эти предметы въ сотый разъ находились въ рукахъ Даши, но, судя по ея взглядамъ, они возбуждали въ ней въ эту минуту чувство непобѣдимаго презрѣнія, такого презрѣнія, что она поспѣшила даже перенести гордый, негодующій взглядъ свой на крестьянъ, стоявшихъ передъ господами.

Мысль Александры Константиновны необыкновенно понравилась Сергѣю Васильевичу.

— Ты меня предупредила; я только что думалъ объ этомъ, шепнулъ онъ, наклоняясь къ женѣ, которая разбирала ленты.

До сихъ поръ Катерина, Лапша и Маша не понимали, казалось, хорошенько намѣренія господъ; по крайней мѣрѣ, на лицахъ ихъ не произошло никакого измѣненія; яркіе цвѣта лентъ и ослѣпительный блескъ бонбоньерки произвелъ, повидимому, только дѣйствіе на трехъ мальчугановъ, начавшихъ-было выглядывать изъ-за понявы сестры и матери: всѣ трое поспѣшно скрылись, какъ скрываются зайцы при видѣ сверканія огнестрѣльнаго оружія.

— Ну, это не по моей части... жена хочетъ кое-что подарить вамъ, я въ это не вмѣшиваюсь, съ добродушною веселостью произнесъ Сергѣй Васильевичъ.

Онъ далъ мѣсто женѣ, которая подходила съ чепцомъ и кофтой къ Катеринѣ, взявшей у дочери своего младенца.

— Вотъ это тебѣ, моя милая... для твоего ребенка... приподыми его, я сама на него надѣну, произнесла Александра Константиновна, накидывая чепецъ на голову младенца, который разразился вдругъ неистовымъ воплемъ,—по крайней мѣрѣ головка его будетъ теперь закрыта отъ солнца, продолжала Александра Константиновна, — а вотъ тебѣ еще кофточка, чтобъ закутывать его...

— Напрасно, матушка, изволите себя безпокоить... Много довольны мы и безъ того вашими милостями, не знаемъ, какъ и благодарить васъ... Только намъ этого ничего не надобно... простодушно сказала Катерина, между тѣмъ какъ Лапша не переставалъ кланяться на-отмахъ, что̀ приводило всякій разъ въ сильное замѣшательство трехъ мальчугановъ, избравшихъ теперь мѣстомъ засады пространство между выходной дверью и спиною отца.

Но Александра Константиновна не хотѣла слушать Катерину; она заставила ее взять платокъ, бѣлье и дала ей, сверхъ того, нѣсколько денегъ, взятыхъ изъ портмонэ— обстоятельство, которое, неизвѣстно почему, особенно сильно подѣйствовало на аристократическія чувства Даши; губы ея до того сузились, что совсѣмъ почти исчезли; носъ до того заострился, что если бъ приставить къ нему

листъ бумаги, онъ непремѣнно проткнулъ бы его; гордый взглядъ ея, сдѣлавшійся ядовито-насмѣшливымъ, быстро обратился къ Герасиму; но взглядъ пропалъ даромъ, потому что старикъ бесѣдовалъ въ эту минуту съ бариномъ. Александра Константиновна перешла между тѣмъ къ Машѣ.

— А это тебѣ, моя красавица, сказала она, подавая ей ленты,—у тебя же такая славная, черная коса!

Горничная Даша машинально провела ладонью по собственному затылку, и это было очень кстати, потому что коса ея, отъ чрезмѣрнаго потрясенія гордой головы ея, грозила съѣхать на спину, что̀ было бы очень нехорошо, потому что затылокъ ея оказался бы тогда голымъ, какъ ладонь; коса у lady Furie была фальшивая.

— Madame Bélissine, comment est ce qu'il faut dire?.. заговорила въ свою очередь гувернантка.—Ботинъ! примолвила она, подавая старыя свои ботинки Машѣ,—ботинъ! пожалиста... ботинъ... нужна ботинъ!..

— Mais elles ne portent point cela... замѣтила улыбаясь Александра Константиновна.

— Oh! воскликнула съ такимъ комически-плачевнымъ видомъ гувернантка, что Бѣлицына, Мери и Сергѣй Васильевичъ засмѣялись.

Тотъ только, кто вынужденъ былъ сдерживать злобно-желчный смѣхъ, пойметъ, сколько власти надъ собою должна была имѣть Даша, чтобъ сохранить свое спокойствіе.

— Катерина, покажи намъ своихъ мальчиковъ. Что это они все прячутся? сказала барыня.

— Ничего съ ними не сдѣлаешь! вымолвилъ Лапша, совсѣмъ теперь ободрившійся.—Я васъ! пусти руки, говорятъ!.. эки шустрые! добавилъ онъ и выставилъ впередъ пучеглазаго Костюшку, который сильно упирался ногами.

Мери, повинуясь движенію матери, раскрыла бонбоньерку и поднесла ее мальчику.

— Ай! ай! ай! закричалъ во все горло Костюшка, кидаясь головою впередъ въ поняву матери, которая выставляла впередъ двухъ другихъ.

Мери снова поднесла бонбоньерку.

— Ай! ай! ай! закричали еще звонче братья Костюшки и, вырвавшись изъ рукъ матери, стремительно побросались за отцовскую спину.

— Этакіе глупенькіе! смѣясь сказала Александра Константиновна и, взявъ нѣсколько конфетъ, отдала ихъ Машѣ,—все равно, отдай ихъ потомъ; скажи имъ, что это даетъ имъ барышня.

Лапша переглянулся съ женою и дочерью, обнаруживая намѣреніе броситься въ ноги господамъ; но господа остановили его во̀-время. Дѣло о переселеніи было уже рѣшено, и потому Сергѣй Васильевичъ не нашелъ нужнымъ говорить о немъ Лапшѣ и женѣ его; онъ сказалъ только, чтобъ они съ возможной поспѣшностью приготовились къ сборамъ, и повторилъ Катеринѣ, что съ завтрашняго же утра начнутся дѣйствія касательно возвращенія ея сына.

Когда крестьянское семейство, обласканное, обнадеженное обѣщаніями и снабженное подарками, покинуло прихожую, Александра Константиновна, гувернантка и Мери обнаружили желаніе взглянуть, какъ пойдетъ оно по двору. По этому случаю въ залѣ открыто было окно. Группа, образовавшаяся такимъ образомъ въ окнѣ, была достойна замѣчанія по своей полнотѣ и разнообразію; ее составляли на первомъ планѣ: Александра Константиновна, гувернантка и Сергѣй Васильевичъ, державшій Мери на рукахъ; на второмъ планѣ: Герасимъ съ птичьей, задумчивой физіономіей и заложенными за спину руками; на третьемъ планѣ Даша, съ гордо приподнятою головою, причесанною à la Margot, съ ядовитой улыбкой на тонкихъ губахъ и длиннымъ носомъ, который какъ-будто видимо и притомъ самъ собою заострялся.

IV.

Препятствіе.

Лица (въ настоящемъ случаѣ было бы неучтиво сказать люди), лица, привыкшія вести въ столицахъ свѣтскую, разсѣянную жизнь, вообще говоря, рѣдко бываютъ постоянны въ своихъ вкусахъ и стремленіяхъ. Предметъ, вызывающій искренній вздохъ, возбуждающій живѣйшее участіе или располагающій къ порыву веселости, встрѣчаетъ иногда, по прошествіи самаго короткаго срока, полнѣйшее равнодушіе. Это происходитъ оттого, кажется, что свѣтская столичная жизнь представляетъ слишкомъ много впечатлѣній. Упрекать свѣтскаго человѣка въ непостоянствѣ вкусовъ и перемѣнчивости—то же самое, что̀ упрекать бабочку, которая потому только и перепархиваетъ

съ цвѣтка на цвѣтокъ, что цвѣтовъ разсыпано передъ ней милліоны. Посадите бабочку въ клѣтку и дайте ей одинъ цвѣтокъ: она, безъ сомнѣнія, просидитъ на немъ очень долго, пока не высосетъ изъ него всего соку. Свѣтскій человѣкъ ѣдетъ въ театръ, нетерпѣливо устремляетъ глаза на сцену и черезъ полчаса зѣваетъ или разсматриваетъ хорошенькихъ сосѣдокъ. Повезите провинціала въ звѣринецъ Зама: онъ будетъ говорить объ этомъ пять недѣль сряду. Все это въ порядкѣ вещей.

Но хотя Бѣлицыны жили постоянно въ столицѣ и вели свѣтскую разсѣянную жизнь, однако все сказанное нами нимало къ нимъ не относится—ни на волосъ не относится; нѣтъ, не таковы были Бѣлицыны!

Послѣ того, какъ ушло крестьянское семейство, Сергѣй Васильевичъ и Александра Константиновна такъ же горячо говорили о немъ, какъ если бъ оно находилось передъ ними; но этого мало: участіе ихъ не ограничивалось словами. Тотчасъ же послѣ чая Сергѣй Васильевичъ отправился писать письмо исправнику; Александра Константиновна приказала принести себѣ холста, нитокъ, иголокъ и, съ помощью гувернантки, принялась кроить кофты, чепчики и рубашонки дѣтямъ Катерины. Даже маленькая Мери съ такимъ усердіемъ сѣла обметывать рубецъ, что невольно хотѣлось поцѣловать ее въ хорошенькую, бѣлокурую головку.

Планъ переселенія Лапши въ саратовскій лугъ и устройства тамъ колодца и мазанки не мало также занималъ Сергѣя Васильевича. Написавъ письмо исправнику, онъ сдѣлалъ маленькую смѣту „о вѣроятныхъ доходахъ“, которые принесетъ лугъ: смѣта оказалась въ высшей степени удовлетворительною. Все подтверждало мысль Сергѣя Васильевича, что переселеніе должно быть совершено со всевозможною поспѣшностью. Такъ онъ и думалъ сдѣлать, но, къ сожалѣнію, не такъ сдѣлалось.

Проектъ о переселеніи смѣнился совершенно неожиданно, и даже совершенно независимо отъ Сергѣя Васильевича, проектомъ объ устройствѣ сельской больницы. Это произошло вотъ по какому случаю: на другое утро, когда письмо къ исправнику было отослано, Сергѣй Васильевичъ отправилъ къ Лапшѣ Агапа Акишева; ему хотѣлось узнать, дѣлаются ли тамъ какія-нибудь приготовленія къ отъѣзду. Черезъ пять минутъ посланный вернулся съ отрицательнымъ отвѣтомъ.

— Самъ я не видѣлъ, сударь, подхватилъ Акишевъ,— а только сказываютъ: очень, то-есть, разнемогся.

— Кто разнемогся?

— Тимоѳей, сударь; всю ночь, то-есть, жаловался, а теперь такъ даже встать никакъ, то-есть, не можетъ...

Доброе лицо Сергѣя Васильевича изобразило въ одно и то же время сожалѣніе и досаду: онъ взялъ свою пастушескую шляпу и, сопровождаемый Герасимомъ, направился къ избѣ Тимоѳея. Катерина повела ихъ въ клѣть, гдѣ лежалъ ея мужъ.

— Въ ночь, сударь, схватило; думали, ужъ совсѣмъ помретъ, сказала она, — сначала на грудь жаловался: „духъ, говоритъ, не переведу“, потомъ и весь разнемогся, отнялись руки и ноги; даже владать ими не можетъ...

— Ну, а теперь какъ? заботливо спросилъ помѣщикъ.

— Теперь какъ словно полѐгчило маленечко; заснулъ.

— Тсс... Ну, такъ оставь его, пускай спитъ! шепнулъ Сергѣй Васильевичъ, останавливаясь у дверей клѣтушки.— Странно, что это такъ вдругъ случилось... Впрочемъ, я вчера еще замѣтилъ: онъ былъ несовсѣмъ здоровъ.

— Онъ ужъ давно, сударь, на грудь жалуется, возразила Катерина.—Пять дней тому, какъ мальчика-то моего... вотъ что я вамъ, батюшка, сказывала... онъ въ оврагъ упалъ, расшибся добрѐ... должно-быть, не черезъ это ли теперь мучится...

Сергѣй Васильевичъ приказалъ дать знать, когда Лапша проснется, и вышелъ на улицу.

— Надо будетъ тотчасъ послать въ уѣздный городъ за докторомъ, сказалъ онъ, оборачиваясь къ управителю.

— Слушаю-съ... Осмѣлюсь только доложить, Сергѣй Васильичъ, напрасно, сударь, изволите себя безпокоить: докторъ ничего здѣсь не сдѣлаетъ... напрасно деньги отдать изволите...

— Прекрасно! пре-е-красно! вскрикнулъ съ горячностью Бѣлицынъ.—Надо, слѣдовательно, предоставить этого человѣка на произволъ судьбы: пускай онъ страдаетъ, пусть умретъ даже — не такъ ли, а?.. Это удивительно, что̀ за народъ! Удивительно, удивительно! подхватилъ онъ, досадливо надвигая на глаза пастушескую шляпу.

Герасимъ Аѳанасьевичъ замялся.

— Я, то-есть, въ томъ разсужденіи, Сергѣй Васильичъ, что они доктора не послушаютъ, сказалъ онъ,—ужъ это,

сударь, народъ такой; никакимъ манеромъ не сообразишь съ нимъ... Эти случаи ужъ бывали: докторъ скажетъ то и то надо исполнить—они ничего этого не сдѣлаютъ; ужъ это, сударь, вѣрно! Они пойдутъ къ какой-нибудь ворожеѣ, своей же бабѣ, ей повѣрятъ, а доктора ни за что, сударь, не послушаютъ.

— Но вѣдь должны же они понимать, что докторъ человѣкъ ученый, что онъ всю свою жизнь занимается лѣченіемъ, тогда какъ баба какая-нибудь ничего не смыслитъ и только плутуетъ...

— Они этого, Сергѣй Васильичъ, не берутъ въ разсужденье. Иной втрое передастъ противъ того, что̀ взялъ бы докторъ... да дѣло не въ счетѣ; положимъ, хошь бы черезъ эфто какую пользу себѣ получилъ, а то, вѣдь, другой разъ на всю жизнь несчастнымъ остается... и все-таки, сударь, пойдетъ скорѣе къ ворожеѣ, чѣмъ къ доктору. Вотъ, я вамъ доложу, прошлую осень какой былъ случай: вижу я, захромалъ кузнецъ; поглядѣлъ—такъ, рана маленькая отъ обжоги; приложилъ я ему сала; черезъ три дня совсѣмъ заживать стала; прошла недѣля—не видно кузнеца; спрашиваю, говорятъ: ноги лишился. Я къ нему; точно: ногу какъ бревно разнесло, смотрѣть, такъ даже ужасно... Что жъ? вѣдь признался: у ворожеи былъ; „думалъ, говоритъ, скорѣе заживетъ!“ Она возьми да и намажь ему рану-то скипидаромъ—просто всю ногу разъѣло! Насилу, сударь, вылѣчили... То ли еще дѣлаютъ! купоросъ къ ранамъ прикладываютъ, мышьякомъ присыпаютъ...

— Это ужасно! сказалъ Сергѣй Васильевичъ, раскланиваясь очень сухо съ проходившими мимо него бабами и мужиками и какъ бы желая дать почувствовать, что не совсѣмъ-то ими доволенъ. — Такъ, однакожъ, никакъ нельзя оставить, примолвилъ онъ, — этакъ вся деревня превратится въ калѣкъ.

— Выздоравливаютъ, сударь! спокойно возразилъ Герасимъ. — Русскій человѣкъ крѣпокъ! Благодаря Бога, у насъ въ Марьинскомъ всѣ теперь здоровы, кромѣ, вотъ, Тимоѳея, и, между тѣмъ, всѣ, сударь, съ поконъ вѣку у ворожеекъ лѣчатся...

— Это не резонъ! Если до сихъ поръ не произошло несчастія, то можно ожидать его. Надо будетъ непремѣнно принять мѣры, примолвилъ Сергѣй Васильевичъ

тономъ, который показывалъ, что онъ сильно углубился въ самого себя.

Вернувшись домой, онъ прошелъ прямо въ кабинетъ, взялъ листъ бумаги и надписалъ сверху: „Проектъ марьинской больницы“ и принялся выставлять цифру подлѣ цифры. Предположено было сначала устроить десять постелей. Но заключительный счетъ, въ который вошли расходы постройки, наемъ фельдшера, покупка медикаментовъ и содержаніе больныхъ, былъ такъ великъ, что число постелей убавлено было тотчасъ же наполовину. Цифра все-таки превышала ожиданія Сергѣя Васильевича; но это его не остановило: набросавъ карандашомъ легкій планъ постройки, онъ понесъ его къ женѣ. Съ первыхъ словъ мужа, Александра Константиновна протянула ему обѣ руки свои.

— У тебя всегда такія славныя идеи, Сержъ! сказала она радостно, глядя ему въ глаза. — Я сидѣла здѣсь и думала именно: что̀, если бъ всѣ мы жили больше въ своихъ деревняхъ, ближе бы знакомились съ сельскимъ бытомъ... сколько добра можно сдѣлать! сколько пользы! И какъ все это легко: сто̀итъ только чуть-чуть себя принудить. Принужденье даже совсѣмъ нетрудное: сельская жизнь имѣетъ также свою пріятную сторону, свою поэзію... Вотъ хоть бы теперь эти бездѣлицы! присовокупила она, приподымая пеструю ситцевую шапочку, предназначавшуюся для младшаго ребенка Катерины.—Ты представить себѣ не можешь, сколько мнѣ это доставляетъ удовольствія!.. Одна мысль, что бѣдные эти люди будутъ счастливы, радуетъ мое сердце. Ахъ, да, кстати: что̀ подѣлываютъ наши protégés?..

— У нашихъ protégés несовсѣмъ ладно...

— Ахъ, Боже мой! что̀ жъ такое?

— Тимоѳей очень боленъ...

— Qu'arrive-t'il à Timothée? съ оживленіемъ спросила гувернантка.

Сергѣй Васильевичъ разсказалъ о прогулкѣ своей и передалъ все слышанное отъ Катерины. Участіе, выказанное при этомъ гувернанткой, сдѣлало бы величайшую честь ея доброму сердцу, если бъ не было черезчуръ уже сильно. Она слушала Сергѣя Васильевича съ такимъ же почти выраженіемъ, какъ долженъ былъ слушать Тезей разсказъ о несчастіяхъ сына своего Ипполита. Она предложила сдѣлать тотчасъ же для больного de la tisane, а

въ ожиданіи этого снадобья, послать ему чашку бульона; но Сергѣй Васильевичъ сказалъ, что все это лишнее, что онъ сдѣлалъ уже самое необходимое распоряженіе, а именно, послалъ за уѣзднымъ лѣкаремъ.

Слово „лѣкарь", по тѣсной связи своей съ больницей, направило мысли Александры Константиновны къ новому проекту мужа. Планъ и система были тотчасъ же представлены на ея разсмотрѣніе. Все это привело ее въ восхищеніе, хотя она и замѣтила, что Сергѣй Васильевичъ поступилъ въ этомъ случаѣ нѣсколько эгоистически.

— Ты, Serge, думалъ только о своихъ мужикахъ и совершенно забылъ моихъ добрыхъ бабъ, сказала она.—Ты какъ будто удалилъ меня отъ добраго дѣла; но я также хочу принять въ немъ участіе; я хочу, чтобъ и моимъ бабамъ было мѣсто въ больницѣ; необходимо также, чтобъ были двѣ-три постели для больныхъ дѣтей.

— Все это прекрасно; но тогда нужно устроить двѣнадцать постелей.

— Ну, да, конечно; если ужъ дѣлать, такъ дѣлать.

Сергѣй Васильевичъ показалъ счетъ; сумма была очень значительна; но все-таки не слѣдовало изъ этого, чтобъ строить больницу для одного мужескаго пола: это было бы крайне несправедливо. Рѣшено было посовѣтоваться съ уѣзднымъ лѣкаремъ.

Лѣкарь пріѣхалъ вечеромъ. Бѣлицыны не ожидали его такъ рано; вообще говоря, пріѣздъ лѣкаря былъ для нихъ во многихъ отношеніяхъ пріятнымъ сюрпризомъ: лѣкарь оказался очень милымъ и образованнымъ человѣкомъ; онъ успокоилъ ихъ совершенно насчетъ Лапши. Болѣзнь мужика была слѣдствіемъ паденія и ушиба; онѣмѣніе въ членахъ происходило оттого, что ему не пустили кровь въ свое время; теперь все уже сдѣлано, и лѣкарь надѣялся, что въ скоромъ времени послѣдуетъ выздоровленіе. Что жъ касается до проекта о постройкѣ больницы, уѣздный эскулапъ одобрилъ его какъ нельзя больше.

— Это было бы истинное благодѣяніе, сказалъ онъ, — но о размѣрахъ ващего плана ничего не могу сказать: размѣры находятся въ полной зависимости отъ средствъ помѣщика. Впрочемъ, богатымъ людямъ все возможно, заключилъ онъ, сопровождая слова свои наклоненіемъ головы и взглядомъ, который окончательно расположилъ къ нему Бѣлицыныхъ.

Съ этого вечера больница сдѣлалась любимымъ пред-

метомъ бесѣды Сергѣя Васильевича; зданіе выростало съ каждымъ часомъ въ воображеніи предпріимчиваго помѣщика, но съ каждымъ часомъ все болѣе и болѣе заслоняло, повидимому, саратовскій лугъ: Сергѣй Васильевичъ замѣтно охладѣлъ къ послѣднему; семейство Лапши было передано на руки Александры Константиновны. „Что могутъ значить отдѣльныя личности, когда имѣется въ виду общественная польза?“ Такова, если не ошибаюсь, была настоящая мысль Сергѣя Васильевича. Но Александра Константиновна не имѣла ни малѣйшаго понятія о политической экономіи: она продолжала заниматься своими protégés съ истинно-материнскою заботливостью. Агапу Акишеву вмѣнено было въ обязанность узнавать каждый день о томъ, какъ идетъ выздоровленіе Лапши; каждый разъ, когда вставали изъ-за стола, Александра Константиновна посылала больному супу; гувернантка присоединяла къ этому ломоть бѣлаго хлѣба; когда Лапша сталъ поправляться, супъ замѣнился котлеткой, хлѣбъ—стаканомъ краснаго вина, необходимаго, какъ говорила бордосская уроженка, для подкрѣпленія силъ больного. Все это опять-таки поручалось Агапу Акишеву, что, мимоходомъ сказать, начинало дѣлаться для него невыносимымъ.

Дворовые не давали ему проходу съ Лапшою; особенно сильно смѣялись тѣ, которые, считая себя во всѣхъ отношеніяхъ достойными служить господамъ, были, однакожъ, удалены въ пользу Агапа.—„Что взялъ!“ говорили ему: „хвасталъ, хвасталъ—что, какой авантажъ получилъ? Вотъ-те и барскій лакей, къ какой должности приставили: служишь по винной части землемѣромъ!“ Отправляясь къ Лапшѣ съ супомъ, Агапъ испытывалъ невыносимыя пытки: едва ступалъ онъ на улицу, какъ ужъ изъ лабиринта, гдѣ жили дворовые, раздавались хохотъ, фырканье, ядовитыя восклицанія: „Иди скорѣй!“ кричали ему: „супъ простынетъ: Лапша любитъ горячій; онъ тебѣ хохолъ-то намнетъ!“—„Эй, слышь, Агапъ! кланяйся госпожѣ Катеринѣ, цѣлуй у ней ручки; о здоровьи спроси!“ Или тоненькій голосокъ запѣвалъ вдругъ изъ-за угла:

У дороднаго, добра молодца,
Много было на службѣ послужено:
Съ крутомъ за свиньями похожено.

Каждое изъ этихъ словъ вонзалось, какъ шило, въ оскорбленное сердце Агапа. Извѣстно, противъ жара и камень треснетъ. Агапъ былъ далеко не каменный; онъ

такъ возненавидѣлъ все что хоть сколько-нибудь прикасалось къ Лапшѣ, что, встрѣтивъ разъ на дорогѣ пучеглазаго Костюшку, надавалъ ему тузовъ безъ всякой видимой причины. Ненависть, разжигаемая насмѣшками товарищей, усиливалась въ немъ съ каждымъ часомъ; онъ не смѣлъ, однакожъ, выказывать ее слишкомъ явно, опасаясь жалобъ Катерины. Прійдетъ въ избу, швырнетъ хлѣбъ, пихнетъ супъ—и только; но, поощренный смиреніемъ и молчаніемъ враговъ своихъ, онъ обнаружилъ вскорѣ настоящія свои чувства. Недѣлю спустя послѣ того, какъ захворалъ Лапша, посѣщенія съ супомъ не столько уже тяготили Агапа, сколько Катерину; она ни на волосъ не отступала, однакожъ, отъ своего обычая: молчаніемъ отвѣчала на выходки раздраженнаго Акишева. Точно такъ же поступала она въ отношеніи къ другимъ жителямъ Марьинскаго, которые и прежде ей недоброжелательствовали, а теперь рѣшительно ее преслѣдовали. Появленіе Катерины на улицѣ пробуждало бранныя слова и ропотъ. „Вотъ оно что: изъ послѣднихъ стали первыми!“ говорили мужики и бабы: „вотъ что подольщаться-то значитъ! Ишь какъ подъѣхали? Прежде христарадничали, у собакъ хлѣбъ отнимали, теперь съ барскаго стола ѣдятъ... Кругомъ оплели господъ-то!..“ — „А вы думаете какъ? рази спроста? знамо, что оплели!“ подхватывалъ всегда кузнецъ Пантелей, главный зачинщикъ всѣхъ этихъ толковъ: „они только для виду мальчика свово нищимъ отдали; тѣмъ временемъ, какъ двато дни пропадала—къ ворожеямъ ходила: тѣ, знамо, и научили приманкамъ всякимъ. Кабы не это, господа первымъ дѣломъ сослали бы ихъ отселева, потому что имъ извѣстны всѣ ихнія мошенничества, что одну руку, примѣрно, съ братомъ-разбойникомъ держатъ... А намѣсто того, ихъ же благодѣтельствуютъ... Знамо, не спроста, все через колдовство; дай имъ срокъ, они не то еще сдѣлаютъ!..“ Толки эти приняли чудовищные размѣры, когда барыня, ея дочь и гувернантка, возвращаясь съ прогулки, два раза сряду лично навѣстили Катерину. Въ то время, какъ господа находились въ избѣ, на задворкахъ Марьинскаго происходила такая же почти бѣготня, какъ когда помѣщики въѣзжали въ околицу. Разговаривая съ Катериной, Александра Константиновна не могла не замѣтить грусти и смущенія на лицѣ бабы; но сколько она ни разспрашивала, Катерина молчала.

— Тебѣ, можетъ-быть, не хочется разставаться съ Марьинскимъ—я это понимаю, моя милая, сказала, наконецъ барыня,—грустить въ такомъ случаѣ не о чемъ; ты только прямо скажи мнѣ: я поговорю съ Сергѣемъ Васильевичемъ, и онъ—я въ этомъ увѣрена,—не захочетъ переселять васъ противъ воли.

— Нѣтъ, сударыня, возразила Катерина съ пугливымъ какимъ-то оживленьемъ,—нѣтъ, ужъ если такая ваша милость, вы ужъ лучше переселите насъ. Мы, сударыня, этимъ не обижаемся; мы всей душой рады этому. Мы еще прежде, матушка, хотѣли васъ трудить этимъ... завсегда этого желали; покрайности, мы тамъ вашей милости пользу принесемъ, трудиться станемъ, да и самимъ лучше будетъ. Здѣсь, коли такъ насъ оставите, станутъ намъ только завидывать... попрекать станутъ вашими милостями...

— Какъ это можно! Неужели здѣсь такіе злые?

— Не по злобѣ, матушка, а такъ, по глупости по своей, по зависти! со вздохомъ проговорила Катерина.—Всякій, знамо, себѣ добра желаетъ; обошли его, другому досталось—ну, онъ и досадуетъ... Нѣтъ ужъ, сударыня, сдѣлайте такую Божескую милость, ослобоните насъ! убѣдительно подхватила она,—вѣкъ, матушка, станемъ за васъ Бога молить...

Обманутая въ своихъ ожиданіяхъ, но радуясь въ душѣ своей ошибкѣ, потому что боялась огорчить мужа, который ни за что бы не рѣшился переселить крестьянъ противъ воли, Александра Константиновна старалась успокоить Катерину насчетъ Пети. Къ сожалѣнію, она не могла сообщить много утѣшительнаго. О мальчикѣ не было до сихъ поръ ни слуху, ни духу. Впрочемъ, надежды терять никакъ не слѣдовало: исправникъ въ отвѣтѣ своемъ ясно высказалъ, что сдѣлаетъ все возможное, чтобъ только угодить Сергѣю Васильевичу. Но потому ли, что несчастіе дѣлаетъ недовѣрчивымъ, или по другимъ причинамъ, которыхъ Катерина не хотѣла открыть барынѣ, она оставалась неутѣшною, и выразительпое лицо ея продолжало сохранять всѣ признаки глубокой, внутренней скорби.

V.

Дѣло опять пошло на ладъ.

Александру Константиновну нешутя начинало огорчать, что Петя такъ долго не отыскивался. Ей такъ пріятно

было бы сообщить Катеринѣ пріятную вѣсть! Не проходило часа, чтобъ маленькая Мери не спрашивала: „нашли ли мальчика?“ Дѣло въ томъ, что ей собственно предоставлено было удовольствіе передать бѣдной матери радостное извѣстіе.

Нетерпѣніе Александры Константиновны объяснялось еще другой причиной: она не сомнѣвалась, что возвращеніе Пети развлечетъ, разсѣетъ Сергѣя Васильевича, который вотъ ужъ пятый день ходилъ съ задумчивымъ видомъ и былъ, очевидно, не въ духѣ. Александра Константиновна не ошиблась: Сергѣй Васильевичъ точно нуждался въ разсѣяніи. Онъ находился въ положеніи человѣка, который долго питаетъ въ душѣ какую-нибудь мысль и вдругъ видитъ необходимость съ ней разстаться. Послѣ первой бесѣды съ Герасимомъ касательно устройства больницы, онъ убѣдился, что планъ его осуществиться никакъ не можетъ. Старикъ словно ждалъ этого случая, чтобъ раскрыть передъ бариномъ настоящее положеніе марьинскаго хозяйства. Едва Сергѣй Васильевичъ заговорилъ о больницѣ, Герасимъ выставилъ ему на видъ кровлю овина, которая грозила упасть на голову работникамъ. Сергѣй Васильевичъ сказалъ, что одно не мѣшаетъ другому: можно выстроить больницу и починить кровлю. Герасимъ ловко перешелъ тогда къ скотному двору, требующему поспѣшной поправки; Сергѣй Васильевичъ замѣтилъ, что для него здоровье крестьянъ всего дороже. Герасимъ совершенно согласился, но тутъ же началъ распространяться о хлѣбныхъ амбарахъ и закромахъ, которые, благодаря ветхости, пропускали со всѣхъ сторонъ сырость, такъ-что мука, пролежавъ тамъ мѣсяцъ, превращалась въ камень. Переходя такимъ образомъ отъ одной развалины къ другой (а такихъ нашлось въ Марьинскомъ великое множество), старикъ имѣлъ очевидное намѣреніе нанести рѣшительный ударъ не только больницѣ, но даже всѣмъ остальнымъ проектамъ: увеличенію пруда, постройкѣ бесѣдки, перемѣщенію службъ, превращенію краснаго двора въ англійскій скверъ, и проч.

Не знаю, въ какой степени старый управитель достигъ своей цѣли, но только съ этого дня Сергѣй Васильевичъ впалъ въ задумчивость и пересталъ говорить о своихъ проектахъ. Проекты эти были главными возбудителями дѣятельности, выказанной имъ до этого времени; лишившись ихъ, онъ сдѣлался вдругъ страшно-равнодушнымъ

въ отношеніи ко всему Марьинскому. Существованіе помѣщика-хозяина, представлявшееся Сергѣю Васильевичу въ такомъ поэтическомъ свѣтѣ, явилось передъ нимъ во всей прозаической наготѣ своей. „Дѣйствительно, прежде чѣмъ строить новыя зданія, надо поправить старыя", думалъ онъ: „въ деревнѣ неуклюжій какой-нибудь хлѣбный амбаръ дѣйствительно полезнѣе бесѣдки, потому что хлѣбъ... словомъ, Герасимъ правъ... Все это, однакожъ, страхъ скучно... надо признаться!.." заключалъ онъ, бросая разочарованные взгляды на дворъ и окружающіе его постройки, крытыя соломой. Дни начинали казаться ему невыносимо длинными; имъ овладѣла скука и апатія, которую напрасно старалась разогнать Александра Константиновна. Катанье въ лодкѣ, прогулки въ длинныхъ дрогахъ, чай въ лѣсу и другія сельскія увеселенія, придуманныя ею для развлеченія мужа, развлекали только гувернантку и Мери. Сергѣй Васильевичъ раза два былъ на скотномъ дворѣ, гдѣ ставили стропилы и выстилали кровлю; но все это показалось ему такъ незанимательнымъ, что онъ туда ужъ не возвращался.

Скука между тѣмъ усиливалась, и Богъ знаетъ, чѣмъ бы все это кончилось, если бъ не одно обстоятельство, которое снова воскресило заснувшую дѣятельность помѣщика. Лапша выздоровѣлъ. Сначала извѣстіе это принято было Сергѣемъ Васильевичемъ очень равнодушно, но, казалось, ему стоило даже нѣкотораго усилія, чтобъ уступить женѣ, которая явилась въ кабинетъ съ веселымъ лицомъ и звала его взглянуть на Лапшу.

Выздоровленіе Тимоѳея не произвело большой перемѣны въ его наружности: онъ, казалось, укрѣпился скорѣе духомъ, чѣмъ тѣломъ; по крайней мѣрѣ брови его такъ высоко теперь подымались, что между ними и корнями волосъ оставалась только тоненькая морщинистая полоса мяса.

— Очень радъ, очень радъ, мои милые, разсѣянно проговорилъ Сергѣй Васильевичъ, кивая головою Катеринѣ и ея мужу,—очень радъ... Вотъ я слышалъ, вы лѣчиться не хотите, ходите къ какимъ-то ворожеямъ, которыя васъ только обираютъ, примолвилъ онъ холоднымъ тономъ упрека,—вотъ что̀ значитъ, однакожъ, лѣченье, что̀ значитъ докторъ: видишь, ты теперь на ногахъ! Если бъ была у насъ больница въ Марьинскомъ и тебя положили бъ туда, какъ только ты занемогъ (брови

Лапши задвигались безпокойно), ты тогда поправился бы еще скорѣе...

Катерина и ея мужъ, успѣвшій снова ободриться, начали благодарить Сергѣя Васильевича за попеченіе.

— Меня не за что, рѣшительно не за что; благодарите барыню: она о васъ заботилась, произнесъ помѣщикъ, поглядывая въ окно.

Поклонившись Александрѣ Константиновнѣ, Катерина остановила на ней нерѣшительные глаза и наконецъ сказала:

— Когда жъ, сударыня... когда прикажете собираться?

— Ахъ, да! перебилъ Сергѣй Васильевичъ,—ну, что?.. какъ?.. подумали ли вы, о чемъ я тогда говорилъ вамъ?

Катерина упала ему въ ноги; Лапша какъ будто этого и ждалъ: онъ послѣдовалъ примѣру жены съ особенною торопливостью. Изъ словъ ихъ дѣлалось яснымъ, что они крѣпко обдумали предложеніе барина и рады отправиться хоть сію минуту.

— Хорошо, очень радъ. Я переговорю объ этомъ съ Герасимомъ. Во всякомъ случаѣ, приготовляйтесь къ отъѣзду... приготовляйтесь...

Сказавъ это, Сергѣй Васильевичъ отпустилъ крестьянъ и направился въ кабинетъ. Оставалось еще два часа до обѣда; онъ отыскалъ записку о саратовскомъ лугѣ и отъ нечего дѣлать сталъ повѣрять сдѣланныя прежде вычисленія. Какъ ужъ сказано, „вѣроятные доходы", которые могъ приносить лугъ, превышали ожиданія помѣщика; въ занятіи этомъ онъ не нашелъ, слѣдовательно, ничего скучнаго; напротивъ, все подтверждало, что мысль о переселеніи была практическая мысль и сдѣлала бы честь любому хозяину. „Надо, однакожъ, заняться и кончить это дѣло", подумалъ Сергѣй Васильевичъ, когда его позвали обѣдать. Во время обѣда онъ былъ разговорчивъ и вообще казался веселѣе, чѣмъ въ послѣдніе пять дней. Бесѣда сдѣлалась еще оживленнѣе, когда всѣ расположились на террасѣ. Александра Константиновна точно угадала причину, которая подѣйствовала на мужа: она съ особеннымъ жаромъ и увлеченіемъ говорила о саратовскомъ лугѣ.

— Да, сказалъ Сергѣй Васильевичъ, откидываясь на спинку стула,—я очень радъ, что мнѣ пришла эта мысль; я рѣшительно не вижу причины жертвовать этимъ лугомъ въ пользу госпожи Ивановой... Karassin (Александра Кон-

стантиновна, Мери и гувернантка засмѣялись) очень добрый, почтенный и честный человѣкъ, mais c'est une poule mouillée—мокрая курица! и притомъ имъ, какъ, впрочемъ, вообще всѣми ими, управляетъ рутина. Онъ ничего не говорилъ мнѣ объ этомъ, но, я увѣренъ, онъ не одобряетъ моей мысли; а отчего, спроси: оттого, что боится истратить какихъ-нибудь двѣсти рублей, необходимыхъ для переселенія, а между тѣмъ лугъ, надо тебѣ сказать, приноситъ восемьсотъ рублей! Но они всѣ таковы: держатся за гривенникъ и пропускаютъ цѣлковые. Рутина! рутина!.. А между тѣмъ кричатъ: хозяйство! хозяйство!.. Хозяйство заключается въ общихъ соображеніяхъ доходовъ, а не въ мелочахъ какихъ-нибудь. Нѣтъ, не шутя, я очень радъ этой мысли.

— Я, Serge, вдвойнѣ ей рада, весело подхватила Александра Константиновна,—деньги сами по себѣ; но мысль эта дала еще тебѣ способъ сдѣлать истинно доброе дѣло: эти бѣдные люди будутъ тамъ такъ счастливы!..

— Oh, mon Dieu, oui! воскликнула гувернантка, складывая съ умиленіемъ руки и подымая восторженные глаза къ небу.

Коснуться при mademoiselle Louise предмета, который сильно занималъ ея воображеніе—значило почти то же, что приложить огонь къ фейерверку. Она заговорила вдругъ съ такою увѣренностью о счастіи, ожидавшемъ семейство Лапши, какъ будто ее неожиданно намагнетизировали и она говорила въ восторженномъ экстазѣ сонамбулизма. Свѣжій воздухъ луговъ, запахъ цвѣтовъ должны были, по словамъ ея, тотчасъ же расширить грудь Лапши, укрѣпить его легкія и разлить румянецъ на блѣдныхъ щекахъ всѣхъ членовъ его семейства. Зрѣніе Лапши (онъ, какъ ужъ сказано, слабо видѣлъ, и во время его болѣзни гувернантка неоднократно посылала ему смѣсь изъ чая, рома и розовой воды для примочки), зрѣніе Лапши, постоянно устремленное къ безкрайному горизонту степи, должно было получить силу. Она завидовала пучеглазому Костюшкѣ, который, подобно степному орленку, будетъ расти и развиваться посреди дикой свободы. Самый духъ Катерины, ея дѣтей и мужа долженъ былъ воскреснуть и возвыситься въ виду широкаго, величаваго простора луговъ. Она привела въ примѣръ Патфайндера и напомнила Бѣлицынымъ поэтическія американскія степи Купера. Самая обыкновенная мысль, по-

павъ въ воображеніе бордосской уроженки, мгновенно вспыхивала, расширялась, какъ пороховой газъ, производила дѣйствіе взрыва и, смотря по содержанію своему, повергала ее въ восторгъ, въ отчаяніе или въ неистовую дѣтскую радость; она ни о чемъ вообще не могла говорить, ничего не могла дѣлать безъ увлеченія и сильныхъ порывовъ. Она прикладывала страсть даже тогда, когда дѣлала вмѣстѣ съ Мери песочные пирожки и выводила на нихъ самые замысловатые узоры. Случалось ей бѣжать съ дикимъ крикомъ черезъ всѣ комнаты, держа въ рукахъ муху, которой хотѣла дать свободу (въ домѣ было множество пауковъ); освободивъ la malheureuse, она долго слѣдила за ея полетомъ и радостно била въ ладоши. Утенокъ, унесенный коршуномъ, повергалъ ее въ такой ужасъ, что можно было думать, что съ Мери произошло несчастіе.

Бѣлицыны знали очень хорошо восторженныя свойства гувернантки; но тѣмъ не менѣе она увлекала ихъ яркостью своихъ описаній: картина поэтическихъ луговъ Купера произвела на нихъ особенно сильное впечатлѣніе.

— Луга! луга!.. Въ луга, когда такъ! поѣдемте же въ луга! воскликнули въ одинъ голосъ Сергѣй Васильевичъ, его жена и дочь.—Вели закладывать длинныя дроги: мы ѣдемъ въ луга! подхватилъ Сергѣй Васильевичъ, когда на звонъ его явился лакей.

Въ одинъ мигъ дамы поднялись и пошли одѣваться. Сергѣй Васильевичъ послѣдовалъ ихъ примѣру съ живостью, которой давно ужъ не выказывалъ.

Полчаса спустя, всѣ сидѣли въ длинныхъ дрогахъ и ѣхали по направленію къ мельницѣ, за которой начинались превосходные заливные луга Марьинскаго. Принимая въ соображеніе восторженное настроеніе духа и нетерпѣніе, съ какимъ ждали всѣ появленія луга, надо было думать, Бѣлицыны пробудутъ тамъ по крайней мѣрѣ до солнечнаго заката. Оно бы, вѣроятно, такъ и было, если бъ не Сергѣй Васильевичъ. Едва Александра Константиновна, гувернантка и Мери успѣли составить себѣ по букету, какъ ужъ лицо его выразило озабоченность; онъ обнаружилъ желаніе вернуться скорѣй домой; ему жаль было разстроить прогулку, но вмѣстѣ съ тѣмъ видно было, что его побуждала къ этому очень важная причина.

— Все это прекрасно, c'est charmant, я совершенно раздѣляю вашъ восторгъ, сказалъ онъ, бросая быстрые,

но очевидно разсѣянные взгляды по окрестности,—но все это напоминаетъ другой лугъ, о которомъ мы совершенно забыли. Ты знаешь мое правило: никогда не откладывать дѣло въ долгій ящикъ, и, наконецъ, дѣло прежде всего. Я совершенно выпустилъ изъ виду одно обстоятельство и теперь только вспомнилъ: приближаются петровки; надо какъ можно скорѣе отправить это семейство, въ противномъ случаѣ, госпожа Иванова надѣлаетъ тамъ дѣла...

— Что̀ такое петровки? спросила Александра Константиновна, поглядывая на суетливо-озабоченное лицо мужа, который махалъ кучеру, чтобъ онъ подъѣзжалъ.

— Петровки—это время покоса, торопливо возразилъ Сергѣй Васильевичъ.—Если мы замѣшкаемъ съ нашими переселенцами, лугъ будетъ скошенъ, добавилъ онъ, кидая нетерпѣливые взгляды по направленію къ Марьинскому.

— Какъ ты все это знаешь? проговорила жена.

— Il le faut bien, ma chère! Это азбука нашего брата, хозяина, проговорилъ Сергѣй Васильевичъ, краснѣя отъ внутренняго удовольствія.

Дѣятельность его, охлажденная доводами Герасима, пробудилась тѣмъ сильнѣе, чѣмъ долѣе находилась въ усыпленіи. Въѣзжая во дворъ, Сергѣй Васильевичъ крикнулъ, чтобъ ему тотчасъ же, не медля ни минуты, позвали управителя. Дѣло о саратовскомъ лугѣ изложено было такъ быстро, и такъ много видно было со стороны Сергѣя Васильевича желанія, чтобъ переселеніе совершилось скоро, что старику Герасиму оставалось только вертѣть пальцами за спиною. Но духъ прямоты и противорѣчія, отличавшій старика, и тутъ-таки взялъ свое: онъ выразилъ сомнѣніе, чтобъ можно было на другой день найти покупщика на избу Лапши, которую Сергѣй Васильевичъ хотѣлъ продать съ тѣмъ, чтобъ на эти деньги отправить переселенцевъ.

— Вѣчныя затрудненія! воскликнулъ помѣщикъ.—Потвоему, надо, стало-быть, ждать покупщика, а между тѣмъ Иванова скоситъ лугъ. О-о, очень хорошо! славное распоряженіе!.. Оцѣнить избу, выдать имъ деньги изъ конторы, а тамъ, когда продадутъ ее (тутъ Сергѣй Васильевичъ обратился къ входившему лакею и велѣлъ какъ можно скорѣе позвать Тимоѳея и его жену), а тамъ, подхватилъ онъ, обратившись къ Герасиму,—продадутъ избу, деньги опять вернутся въ контору—не все ли это равно?

Черезъ десять минутъ объявлено было Лапшѣ и Кате-

ринѣ, чтобъ они какъ можно скорѣе приготовлялись въ путь. Узнавъ о времени, которое потребуется имъ для сборовъ, Сергѣй Васильевичъ спросилъ у Герасима, сколько дней, приблизительно, нужно, чтобъ доѣхать до саратовскаго луга. Оставшись повидимому очень доволенъ отвѣтами, онъ отпустилъ крестьянъ и управителя и принялся писать объяснительное письмо госпожѣ Ивановой.

VI.

Разставанье.

На другой день, какъ только Сергѣй Васильевичъ проснулся, первымъ дѣломъ его было послать къ Лапшѣ Агапа Акйшева: ему хотѣлось узнать, какъ идутъ сборы.

— Приготовляются, сударь, сказалъ Акишевъ, на глупомъ лицѣ котораго нельзя было не прочесть радости.

Но радость была преждевременная: въ этотъ день Сергѣй Васильевичъ посылалъ его, по крайней мѣрѣ, разъ двадцать къ Тимоѳею.

Сборы продолжались всего два дня, благодаря тому, вѣроятно, что собирать почти было нечего. Наступилъ день, предшествовавшій отъѣзду. Семейство Лапши собралось въ прихожую, чтобъ проститься съ господами.

Слѣдуя совѣту Герасима и также собственнымъ соображеніямъ, Сергѣй Васильевичъ поручилъ всѣ бумаги касательно луга, письмо помѣщицѣ Ивановой и всѣ деньги Катеринѣ. При этомъ Лапша, протянувшій уже руку съ самымъ дѣловымъ видомъ, меланхолически опустилъ брови; но онъ снова поднялъ ихъ, когда баринъ обратился къ нему и сказалъ, что собственно *ему* поручаетъ надзоръ за лугомъ и полагается на него въ этомъ дѣлѣ, какъ на самого себя. Это очевидно польстило Лапшѣ, и во все время, когда баринъ объяснялъ ему его обязанности, онъ глядѣлъ совершеннымъ молодцомъ. Барыня, ея дочь и француженка надѣляли между тѣмъ Катерину и ея дѣтей подарками. Наконецъ, господа поцѣловали каждаго изъ присутствующихъ (все это не обошлось, разумѣется, безъ крика со стороны Костюшки и другихъ ребятишекъ), простились съ крестьянами и, нѣсколько растроганные, вышли на террасу.

Въ тотъ же день, послѣ солнечнаго заката, Александра Константиновна, сопровождаемая гувернанткой и Мери, гуляла по саду. На поворотѣ аллеи онѣ встрѣтили Ка-

терину; встрѣча была такъ неожиданна, что всѣ три вскрикнули; Катерина упала въ ноги барынѣ, и смущеніе ея на этотъ разъ было такъ велико, что долго не могли добиться отъ нея толку. Наконецъ, она сказала, что пришла сказать о пропавшемъ сынѣ; она цѣловала руки и ноги барыни и всячески заклинала ее не оставить Петю въ Марьинскомъ въ случаѣ, если онъ отыщется; она умоляла отправить его къ нимъ, въ степь. Александра Константиновна дала слово исполнить просьбу; она хотѣла вести бабу къ мужу, полагая, что слово Сергѣя Васильевича окончательно ее успокоитъ; но Катеринѣ достаточно было слова барыни. Прежде чѣмъ Александра Константиновна успѣла повторить ей свое обѣщаніе, она уже скрылась.

Было совершенно темно, и на улицѣ мало уже встрѣчалось народа, когда Катерина подошла къ избѣ своей. Она готовилась уже отворить ворота, но въ самую эту минуту услышала голосъ мужа и, вслѣдъ затѣмъ, голосъ сосѣдки. Это ее озадачило: сосѣдка давно находилась съ ними въ разладицѣ. Катерина обогнула избу и вошла въ переулокъ. Близость мѣста и окрестная тишина позволили ей слышать каждое слово.

— Да, тетка Матрена, даже изъ собственныхъ рукъ цѣловалъ меня... вотъ въ эвто само мѣсто, повѣствовалъ Лапша.—„Я, говоритъ, располагаюсь, говоритъ, на тебя, Тимоѳей, братецъ ты мой, все одно, что на себя, говоритъ, распоряжайся ка̀къ знаешь“... Какъ управителя, значитъ, туда посылаетъ—все едино.

— Счастье вамъ, счастье! поддакнула шепелявымъ голосомъ сосѣдка.

— Ну также вотъ хлопотъ оченно много, оченно хлопотливо! продолжалъ Лапша озабоченнымъ тономъ, — имѣнье большущее: однихъ арбузовъ четыреста десятинъ сѣютъ...

— Ахти, касатики!.. Ну, счастье вамъ!.. Значитъ, чѣмънибудь угодили передъ господами?..

— Главная причина, тетка, почему, что самъ до всего доходитъ. „Я, говоритъ, не вѣрю про кого худо говорятъ; для людей худъ, для меня хорошъ, говоритъ... Вижу, примѣрно, какой ты есть такой человѣкъ, потому и даю тебѣ распоряженье... за то, говоритъ, что терпѣлъ отъ людей напраслину, значитъ, за твою добродѣтель“...

— Нѣтъ, не за то! крикнула Катерина, неожиданно

появляясь въ огородѣ,—за то насъ высылаютъ, что хуже мы всѣхъ—вотъ за что! за худобу нашу, а не за добродѣтели! Хорошіе люди, кто трудится, работаетъ, тѣ всѣ здѣсь остаются: они господамъ надобны. Худые, лежебоки вонъ отсылаются: лугъ стеречь, а не вотчинами править.

— Такъ-то вѣрнѣе, Лапша! смѣясь, воскликнула сосѣдка и удалилась.

Лапша кряхтѣлъ, корчился и щурился.

— Господи! отыми ты лучше мою жизнь, чѣмъ мнѣ такъ-то мучиться! сказала Катерина, досада которой перешла вдругъ въ тоску.—Двадцать лѣтъ терплю, двадцать лѣтъ нѣтъ мнѣ спокою... Ни разума, стало-быть, нѣтъ въ тебѣ, ни совѣсти! подхватила она, обращаясь къ мужу.— Ну, что ты здѣсь разсказываешь—а? Мало, значитъ, было мнѣ черезъ тебя горести? Хошь бы о ребятахъ-то о своихъ подумалъ, хошь бы для нихъ помолчалъ! Нѣтъ, нѣтъ въ тебѣ ни совѣсти, ни разума!

— Ну, что шумишь-то? что шумишь? пробормоталъ Лапша.

Но видя, что жена не унимается, махнулъ рукою и медленно поплелся къ ригѣ; онъ потряхивалъ головою съ такимъ видомъ, какъ будто говорилъ себѣ: „не стòитъ связываться: самая, что ни на есть, пустяшная баба!“

Сердце бѣдной женщины такъ было переполнено горестями всякаго рода, что въ немъ не оставалось мѣста для другого чувства. Досада противъ мужа исчезла, какъ только онъ скрылся изъ виду. Она вошла черезъ заднія ворота во дворъ; но тутъ слухъ ея былъ встревоженъ затаеннымъ всхлипываніемъ. Подойдя къ крыльцу, она увидѣла дочь. Маша сидѣла на послѣдней ступенькѣ и, закрывъ лицо руками, въ три ручья разливалась.

— О чемъ это ты, дитятко? вымолвила Катерина ласковымъ, но твердымъ голосомъ.

Маша заплакала еще горче.

— Полно, дитятко, сказала мать, притрогиваясь къ рукѣ дочери.—Ну, о чемъ?.. Вотъ у меня годовъ-то втрое больше твоихъ: стало, втрое больше привыкла я къ здѣшнимъ мѣстамъ, а видишь, я ничего... я не плачу... замѣтила она, плотно сжимая свои губы, между тѣмъ, какъ судорожно дрожавшія ноздри ясно показывали, какихъ усилій ей стоило, чтобы не примѣшать къ слезамъ дочери своихъ собственныхъ.—Полно, дитятко; надо еще намъ переговорить съ тобою о Дунѣ... слышь...

— Слышу, матушка, вымолвила Маша, приподымаясь и не давая себѣ труда утереть глаза.

Она чувствовала, что будетъ напрасно: слезы не изъ глазъ текли, изъ сердца—пальцами не удержишь.

— Слышь, какъ намъ теперь съ Дуней-то управиться? Хлопотливо будетъ, продолжала Катерина,—надо какъ-нибудь придумать уговорить ее, потому что здѣсь оставить, значитъ, только грѣхъ принять на душу на свою. Господа хоша и сулили оберегать — слово ихъ крѣпко, да вѣдь они не вѣкъ жить будутъ въ Марьинскомъ; безъ нихъ да безъ насъ заѣдятъ сердечную, потому что злоба противъ насъ большая, противъ всего нашего рода. Вишь она простая какая, словно дитя малое; ребятишки, и тѣ грязью закидаютъ. Боюсь, не пойдетъ она съ нами, коли такъ, спроста сказать... Развѣ вотъ что̀ сказать: „за Степкой, молъ, господа посылаютъ"; ты такъ-то поговори съ ней, а я потомъ скажу, какъ надоть будетъ ѣхать...

Во всю эту ночь Катерина и Маша не смыкали глазъ; хотя весь домашній скарбъ, всѣ цѣлые горшки (ихъ было мало) уложены были на подводу, которая стояла подъ навѣсомъ вмѣстѣ съ лошадью, купленною наканунѣ бариномъ, однако, хозяйки бродили по всей избѣ, ощупывали всѣ углы и старались припомнить: уложена ли такая-то тряпка, такой-то горшокъ. Нѣсколько разъ, безъ всякой видимой цѣли, обѣ выходили на улицу или въ огородъ: постоятъ-постоятъ въ огородѣ, подперевъ ладонью мокрую щеку, вздохнутъ и перейдутъ опять на улицу, и тамъ молча поплачутъ. Какъ только забѣлѣло на востокѣ, Катерина сказала Машѣ, чтобъ она будила ребятъ, а сама пошла въ ригу.

— Вставай! промолвила она, толкая мужа, который храпѣлъ во всю ивановскую.

— А что? пора?.. лѣниво пробормоталъ Лапша.

— Вставай! повторила Катерина,—надо сходить... на поля поглядѣть...

— Ну, пойдемъ... сказалъ Лапша, приподымаясь и протирая глаза кулаками, такъ что локти его сдѣлались выше головы.

Когда они вернулись во дворъ, ребятишки были уже на ногахъ; Маша умывала послѣдняго, Костюшку, который кричалъ благимъ матомъ и болталъ въ воздухѣ ногами. Дуня сидѣла на крыльцѣ и укачивала младенца

Катерины; Волчокъ сидѣлъ насупротивъ и безпокойно двигалъ своимъ кренделемъ.

— Ну, пойдемте всѣ въ поле, проговорила Катерина, взявъ ребенка изъ рукъ Дуни,—пойдемте поглядѣть... можетъ въ послѣдній...

Она не договорила и быстрыми шагами вышла на улицу. Всѣ, не выключая Дуни и Волчка, послѣдовали за нею. На улицѣ ни души не было; ни одна собака не залаяла. Впрочемъ, и рано было; даже на востокѣ, который свѣтлѣлъ и постепенно дѣлался алымъ, кой-гдѣ еще вздрагивали звѣзды.

Поле Лапши неприкосновенно переходило въ его родѣ отъ отца къ сыну: такъ вообще бываетъ у крестьянъ наслѣдственныхъ имѣній, принадлежащихъ помѣщикамъ, которые уважаютъ порядокъ, установленный ихъ отцами. Поле это, покрывавшееся когда-то изъ года въ годъ золотымъ моремъ колосьевъ, или тяжелыми гроздами овса, перейдя въ руки Лапши, постепенно скуднѣло и сдѣлалось самымъ плохимъ полемъ Марьинскаго. Вотъ уже седьмой годъ какъ оно не удобрялось. Съ тѣхъ поръ, какъ въ домѣ не стало лошади, имъ исключительно занималась Катерина: весною займетъ зерна, найметъ лошадь у сосѣда и потомъ во весь годъ одна надъ нимъ сокрушается; дѣло Лапши состояло въ томъ, чтобъ вспахать ниву; но бо̀льшею частью допахивала Катерина: послѣ первыхъ двухъ дней у Лапши такъ всегда разбаливалась поясница, что онъ оставлялъ работу и пластомъ ложился. Поле занимало вершину одного изъ холмовъ, которые окружали деревню. Выйдя за околицу, Катерина прибавила шагу; ей хотѣло́сь вернуться домой до восхода. Къ сожалѣнію, это сдѣлалось невозможнымъ: на половинѣ пути ихъ слишкомъ долго задержала Дуня; она совершенно неожиданно отбѣжала въ сторону, бросилась на-земь и начала свои плачевныя причитанія; оставить ее не было возможности: она могла уйти Богъ знаетъ куда и замедлить такимъ образомъ отъѣздъ. Наконецъ кой-какъ ее уговорили. Но когда семья приблизилась къ полю, яркое зарево обнимало уже востокъ и жаворонки весело распѣвали въ воздухѣ. Ступивъ на межу, раздѣлявшую поле на двѣ половины, Катерина быстро отошла въ сторону сажень на двадцать. Лапша остался съ дѣтьми на межѣ; онъ повидимому рѣшительно не зналъ, зачѣмъ привела его жена: онъ глазѣлъ по сторонамъ, дѣлалъ время отъ времени

неодобрительныя замѣчанія касательно худой обработки того или другого поля (свое собственное считалъ онъ всегда безплоднымъ, невознаграждающимъ тяжкіе труды его), или съ особеннымъ вниманіемъ слѣдилъ за жаворонками. Маша слушала отца разсѣянно, словно нехотя; она не отрывала глазъ отъ матери, высокая фигура которой рисовалась въ отдаленіи на огненномъ заревѣ восхода. Наконецъ, она подмигнула отцу на Дуню и пошла къ матери. Катерина не замѣтила приближенія дочери; она стояла къ ней спиною и обернулась тогда лишь, какъ Маша тронула ее за руку.

— Что ты, матушка? спросила Маша, останавливая удивленные глаза на лицѣ ея, исполосованномъ слезами.

— Ничего... дитятко... такъ... сгрустнулось что-то... сказала Катерина.

Она передала младенца Машѣ, опустилась на колѣни, разложила платокъ и принялась накладывать въ него комки земли.

— Это ты зачѣмъ, матушка?..

— А то какъ же, дитятко, какъ же?.. Съ собой возьмемъ, въ дальную, чужую сторону... всякому изъ васъ по кусочку зашью въ ладонку, чтобъ помнили... Память по родной сторонѣ останется...

— Эй, Катерина! ступай!.. эй! время! крикнулъ въ эту минуту Лапша.

Катерина обратила глаза въ ту сторону; но первый солнечный лучъ, брызнувшій вдругъ изъ-за горизонта, заставилъ ее отвернуться. Она торопливо свернула платокъ съ землею и поднялась на ноги.

— Вотъ, сказала она, снова обративъ заплаканное лицо къ солнцу, которое величественно восходило въ ясномъ небѣ,—вотъ, дитятко, ужъ не видать намъ съ этого мѣста яснаго солнышка!..

— Катерина! что жъ ты стала? ступай! крикнулъ снова Лапша, махая издали руками.

Катерина сдѣлала нетерпѣливое движеніе; но лицо ея снова приняло выраженіе тоски, и она снова заплакала, когда въ послѣдній разъ взглянула на поле.

— Прощай, мать сыра земля, кормилица наша! сказала она, не переставая креститься,—прощай!.. Воскормила ты, возрастила меня самоё и дѣтей всѣхъ моихъ... Не привелъ Господь святымъ хлѣбомъ твоимъ питаться до скончанія вѣка нашего... Прости, кормилица!..

Маша также теперь плакала; но слезы ея выходили видно изъ другого источника, чѣмъ у матери: тогда какъ Катерина смотрѣла на поле, глаза дочери устремлялись на Марьинское, которое разстилалось темнымъ пятномъ на днѣ долины.

Заплаканныя лица жены и дочери возбудили удивленіе Лапши; нѣсколько разъ пытался онъ заговорить, но такъ какъ рѣчь его заключалась бòльшею частью въ похвалахъ жаворонкамъ, Маша и Катерина не отвѣчали. Видя, что толку не доберешься, Лапша присоединился къ ребятишкамъ, Дунѣ и Волчку, которые шли впереди; но такъ какъ и съ этой стороны не отдали словамъ его должнаго вниманія, онъ забросилъ руки за спину, высоко приподнялъ брови и пошелъ особнякомъ. О чемъ онъ думалъ— рѣшить трудно; мысли его, надо полагать, стремились больше къ саратовскимъ арбузамъ, о которыхъ говорилъ онъ съ утра до вечера и которыми часто даже бредилъ во время болѣзни.

Полчаса спустя послѣ всего описаннаго, передъ избою Лапши стояла порядочная толпа: ее составляли больше бабы; тутъ были также и дворовыя; между ними особенно звонко тараторила скотница Василиса, одна изъ главныхъ поджигательницъ ненависти противъ Катерины (Александрѣ Константиновнѣ она не понравилась съ перваго же дня, и она забыла о ней точно такъ же, какъ забыла о ея просьбѣ). Въ толпѣ виднѣлось также нѣсколько мужиковъ; въ числѣ послѣднихъ знакомъ намъ только кузнецъ Пантелей. Между толпою и воротами перебѣгали поминутно дѣвчонки и мальчишки; одинъ изъ самыхъ суетливыхъ былъ мальчикъ съ бѣлой головой и краснымъ лицомъ, который съ такою свирѣпостью припадалъ къ рукамъ господъ во время ихъ пріѣзда; мальчикъ этотъ отличался вообще необыкновеннымъ любопытствомъ: гдѣ бы ни собралась толпа, онъ уже былъ тутъ какъ тутъ. Огромныя щели воротъ были рѣшительно замуровлены головами ребятъ; къ нимъ вскорѣ присоединилась востроглазая бабенка, марьинская запѣвалка и хороводница, та самая, чтò встрѣтила Лапшу, когда онъ возвращался домой послѣ паденія въ вертепъ.

— Лошадь ужъ запрягли, сейчасъ выѣдутъ! сказала она, поглядѣвъ въ щель.

Дѣйствительно, лошадь уже была запряжена, и всѣ

члены переселяемаго семейства стояли подлѣ подводы. Они только что вышли изъ избы, куда заходили съ тѣмъ, чтобъ въ послѣднiй разъ проститься съ жилищемъ. Прощанье, надо думать, было очень тяжело: глядя на дочь и на жену, даже Лапша словно раскисъ немного. Имъ оставалось теперь только отворить ворота и ѣхать; но стеченiе народа передъ избою смущало Катерину. Она сожалѣла, что ходила въ поле и не уѣхала до свѣта; отъѣздъ ихъ совершился бы тогда никѣмъ не замѣченный. Куда какъ тяжко было ей въ настоящую минуту! Къ счастью, совершенно неожиданно явилось облегченье.

За воротами послышался голосъ Герасима Аѳанасьевича. Толпа мигомъ разсѣялась. Герасимъ вошелъ на дворъ.

— Ну, готово? Хорошо. Я съ вами пришелъ проститься, сказалъ онъ, оглядывая добродушно присутствующихъ, которые поклонились.

Катерина подошла къ старику и шопотомъ передала ему объ уловкѣ, придуманной ею для заманки Дуни (Дуня стояла въ десяти шагахъ, угрюмо опершись на палку). Герасимъ громко повторилъ слова Катерины, послѣ чего передалъ всѣмъ барскiй поклонъ и приступилъ къ подробному изложенiю ихъ обязанностей какъ въ отношенiи къ самимъ себѣ, такъ и въ отношенiи къ исполненiю службы.

— Ну, съ Богомъ теперь, съ Богомъ! заключилъ онъ, отходя въ сторону.

Ворота заскрипѣли, заскрипѣла подвода, и раздались глухiя, сдержанныя рыданiя.

Герасимъ Аѳанасьевичъ шелъ между Катериной и ея дочерью и не переставалъ ихъ уговаривать; особенно часто обращался онъ къ послѣдней, которая не могла такъ владѣть собою, какъ мать, и громко плакала. Хотя управителя не больно боялись, но, зная его близость къ господамъ, никто изъ ненавистниковъ переселяемаго семейства не посмѣлъ выразить своего прощальнаго привѣта. Пантелей, скотница Василиса и другiе враги Катерины уходили въ глубину воротъ по мѣрѣ того, какъ подвода проѣзжала мимо. Герасимъ Аѳанасьевичъ проводилъ ее вплоть до конца улицы. Сергѣй Васильевичъ поручилъ ему лично присутствовать при отправленiи и потомъ сообщить ему о томъ во всей подробности.

Простившись съ управителемъ, Катерина, Маша и Лапша пошли догонять подводу, которою правилъ Костюшка, си-

дѣвшій на облучкѣ съ братьями. Волчокъ скакалъ впереди по дорогѣ. Дорога шла черезъ лугъ. Вскорѣ гумна стали закрывать улицу Мàрьинскаго. Катерина остановилась и въ послѣдній разъ взглянула на деревню; сердце ея какъ будто оборвалось въ эту минуту. Долго стояла она на одномъ мѣстѣ, сама не сознавая, что̀ творилось въ душѣ ея: чувствовала только, что тамъ больно-горько. Хотя разумъ и говорилъ ей, что ждетъ ее лучшая судьба, чѣмъ въ Мàрьинскомъ, но вѣдь родина то же, что̀ мать родная: иногда и бьетъ она, больно бьетъ, а все-таки крѣпко ее любишь!

Лапша и дѣти были уже на горѣ, у опушки рощи, когда Катерина нагнала ихъ. Приближаясь къ нимъ, она услышала чей-то посторонній голосъ, но рыданія Маши мѣшали ей разобрать, чей именно; Волчокъ не лаялъ, слѣдовательно нельзя было думать о чужомъ человѣкѣ. Высвободившись изъ кустовъ, которые заслоняли поворотъ дороги, Катерина увидѣла столяра Ивана, единственнаго человѣка, который съ самаго своего дѣтства былъ съ ними неизмѣнно ласковъ и друженъ.

Онъ кинулся ей навстрѣчу.

— Вотъ, тетушка Катерина, пришелъ сюда нарочно... ждалъ, хотѣлъ съ вами проститься, сказалъ онъ, глядя на нее заплаканными глазами, хотя улыбка его раздвигалась шире обыкновеннаго,—вы были мнѣ какъ родные, лучше родныхъ всякихъ... какъ же вы такъ это теперь?.. что же это будетъ такое? подхватилъ онъ, поглядывая на Машу, которая прислонилась къ телѣгѣ обѣими руками и, положивъ на нихъ голову, разливалась, плакала. —Да нѣтъ же!.. нѣтъ... я, слышь, тетушка... мы, можетъ, еще свидимся... приведетъ Господь... Вотъ я и дядѣ Тимоѳею то же говорю; господамъ я не нуженъ... стану на оброкъ опять проситься... Въ Москвѣ ужъ наскучило, приду въ вашу сторону... Ну, право же слово, приду, тетушка Катерина! заключилъ онъ съ улыбкой, которая не покидала его даже въ тѣ минуты, когда лицо изображало всѣ признаки горести.

Иванъ началъ обниматься и цѣловаться поочередно со всѣми. Маша во все это время не покидала своего положенія и горько рыдала. Иванъ подошелъ наконецъ и къ ней.

— Ну... ну... прощай, Маша! сказалъ онъ,

Улыбка его въ эту минуту переходила предѣлы возможнаго, а слезы такъ вотъ и капали одна за другой.

— Прощай, Маша...

Маша подняла голову, хотѣла что-то сказать и вдругъ припала къ матери. Иванъ замоталъ волосами и бросился въ кусты. Онъ бѣжалъ безъ оглядки подъ гору вплоть до самаго луга. Тутъ онъ остановился, снова тряхнулъ волосами и сталъ прислушиваться. Отдаленный, чуть-внятный скрипъ телѣги раздался разъ-другой, и потомъ все смолкло.

— Эхъ! произнесъ Иванъ, махнулъ обѣими руками и, улыбаясь отъ праваго уха до лѣваго, что̀ не мѣшало ему утирать кулакомъ глаза, пошелъ частымъ шагомъ къ Ма̀рьинскому.

VII.

Нищіе.

Между тѣмъ, какъ исправникъ дѣлалъ „все возможное, чтобъ угодить Сергѣю Васильевичу“ (такъ было сказано въ краснорѣчивомъ письмѣ его), знакомые намъ нищіе шли-себѣ да шли, никакого лиха не чая. Достойно замѣчанія, что въ тотъ самый день, какъ исправникъ далъ знать становымъ о пропажѣ мальчика, слѣпой Фуфаевъ, Верста̀нъ и даже Мизгѝрь благополучно достигали границъ сосѣдняго уѣзда. Они даже вовсе не торопились и только избѣгали большихъ почтовыхъ трактовъ; но, кромѣ безопасности, проселки представляли еще ту выгоду, что народъ, населяющій ихъ, гораздо проще, снисходительнѣе и гостепріимнѣе народа, живущаго на большихъ, бойныхъ дорогахъ: нищіе не пропускали ни одной деревни, слѣпли у каждой околицы, стучали подъ каждымъ окномъ, ночевали въ сараяхъ и ригахъ, прозрѣвали снова, когда являлась въ этомъ надобность—словомъ, совершали свой путь со всевозможнымъ комфортомъ.

Петруша и другой вожакъ, худенькій мальчикъ жалкаго, болѣзненнаго вида, не отставали ни на шагъ отъ своихъ хозяевъ. Первый начиналъ уже, повидимому, привыкать къ новому образу жизни; по крайней мѣрѣ, онъ не бросался теперь въ ноги Верстану, не просился къ отцу, къ матери, не выражалъ наружныхъ знаковъ отчаянія, не впадалъ въ упорное молчаніе, какъ это было въ первые дни пребыванія его у нищихъ; являлись минуты,

когда Петя дѣлался разговорчивымъ; иной разъ даже улыбка какъ будто оживляла лицо его, значительно, однакожъ, похудѣвшее. Къ такой перемѣнѣ не столько способствовало время, умаляющее рано или поздно всякія скорби и горести, не столько страхъ, внушаемый Верстаномъ, его побои и угрозы, сколько присутствіе маленькаго вожака, который раздѣлялъ его участь. Кромѣ того, горе его находило облегченіе въ томъ, что было раздѣлено (утѣшеніе, основанное на эгоизмѣ, свойственное всѣмъ людямъ и особенно дѣтямъ): Петя нашелъ въ мальчикѣ добраго товарища. Они сошлись съ перваго же дня знакомства.

Если помнитъ читатель, Верстанъ назначилъ Лапшѣ свиданіе ночью въ глухой части лѣса; планъ былъ основательно обдуманъ: онъ показывалъ въ старомъ нищемъ человѣка опытнаго въ такого рода продѣлкахъ. Въ случаѣ, если бъ Лапша вздумалъ кричать и сопротивляться, никто въ такую пору не могъ его услышать и подать ему помощь. Верстанъ имѣлъ также въ виду мальчика. Предполагая, что горе ребенка, при разставаніи съ отцомъ, не помѣшаетъ ему дѣлать наблюденія надъ дорогой, по которой поведутъ его, темнота ночи и лѣсная чаща должны были сбить его съ толку. Въ первомъ предположеніи Верстанъ, однакожъ, ошибся; увидя себя въ рукахъ его, Петя поднялъ такой крикъ, что Верстанъ выпужденъ былъ прибѣгнуть къ строгимъ мѣрамъ.

— Молчать! сказалъ онъ, схватывая его за воротъ рубашки и притягивая къ себѣ, — молчи, говорю, не то пришибу на мѣстѣ. Чего орешь? никто не услышитъ... Видишь никого нѣтъ...

Но слова эти усилили только отчаянье ребенка; они показали ему всю безвыходность его положенія; горе его было такъ велико, что вытѣсняло, казалось, ужасъ, внушаемый нищимъ; онъ рвался въ ту сторону, куда скрылся отецъ, и не переставалъ звать на помощь.

— Ахъ, ты, каторжный! Погоди же, я ти уйму, когда такъ... произнесъ Верстанъ, обхватывая шею мальчика и приподымая надъ нимъ свой посохъ.

Петя сдѣлалъ отчаянное движеніе и вывернулся изъ рукъ его, но ноги его подогнулись сами собою; онъ упалъ на траву и закрылъ лицо руками.

— Слышь, волчья снѣдь ты этакая, добромъ говорю: уймись лучше! проговорилъ Верстанъ, стуча дубиной по

стволу дерева,— вставай! заключилъ онъ грозно, потряхивая своей огромной кудрявой головою.

— Дѣдушка! добрый дѣдушка! воскликнулъ мальчикъ, крѣпко ударяя себя кулакомъ въ грудь и бросаясь потомъ обнимать ноги будущаго своего властителя,— дѣдушка, пусти меня, буду за тебя Бога молить... вѣкъ молить буду... отпусти къ матери! Она всего тебѣ дастъ... отпусти только къ матери!..

— Что ей съ тобой дѣлать? Вишь, она тебя сама отдала, сказалъ нищій.

— Нѣтъ, нѣтъ, она не отдавала! вскрикнулъ Петя, снова ударяя себя кулакомъ въ грудь и горько всхлипывая,—она ничего этого не знаетъ, дѣдушка. Взмилуйся, отпусти Христа ради...

— Ладно; потомъ поговоримъ; теперь недосугъ; вставай!.. Да ну же, ну, вставай, говорятъ, вставай! промолвилъ Верстанъ, приподымая мальчика на ноги и схватывая его за руку.

Видя, что нѣтъ уже никакой надежды умолить нищаго, Петя сталъ защищаться: онъ неожиданно припалъ зубами къ рукѣ, которая его держала; но въ ту же секунду нищій схватилъ его за волосы и, высводивъ руку, нанесъ ему нѣсколько ударовъ.

— Это такъ только тебѣ, для перваго разу, сказалъ Верстанъ, схватывая его опять за руку,—со мной расправа короткая: пикни только—не такъ отдѣлаю! Я ти покажу, какой я такой дѣдушка! Нутка-сь, укуси-ка теперь, попробуй... Ахъ ты, волчья снѣдь ты этакая! Да ну, пошевеливай ногами-то, пошевеливай, полно валандаться!..

Петя понялъ, что сопротивленіе напрасно; онъ перестал упираться ногами и пошелъ за нищимъ, заслоняя лѣвою рукою лицо, въ которое били вѣтки кустарниковъ. Грудь его разрывалась на части отъ усилій подавить рыданія; онъ ничего не зналъ о томъ, куда его ведетъ нищій и для какой цѣли — неизвѣстность наполняла страхомъ встревоженную душу мальчика. Каждый разъ, какъ Верстанъ останавливался, чтобъ сообразиться съ дорогой, сердце Пети билось такъ сильно, что захватывало ему дыханіе; ему тотчасъ же представлялось, что нищій хочетъ убить его и высматриваетъ удобное мѣсто. Но Верстанъ продолжалъ путь; ужасъ ребенка разсѣивался и снова уступалъ мѣсто отчаянью; онъ старался понять, что̀ могло заставить отца и мать отдать его нищимъ? что̀ онъ

сдѣлалъ такое? чѣмъ провинился?—и ничего не могъ придумать. Настоящая цѣль и будущее его назначеніе не приходили ему въ голову; а если и представлялась мысль жить съ нищими, то она казалась ему хуже самой смерти. Вздрагивая всѣмъ тѣломъ и не переставая горько, но тихо плакать, Петя почти бѣжалъ за нищимъ, который ускорялъ шаги, какъ только выбрался изъ лѣса.

Отъ лѣса до Чернева, куда направились они, было версты четыре, не больше; но Верстану хотѣлось видно сократить путь: онъ вскорѣ бросилъ проселокъ и пошелъ цѣликомъ, полями. Онъ не боялся сбиться съ пути, хотя шелъ этими полями всего во второй разъ; сорокъ лѣтъ бродячей жизни изощрили его зрѣніе и сдѣлали его наблюдательнымъ; болѣе или менѣе возвышающаяся линія мѣстности надъ горизонтомъ, кустъ, чернѣющій въ сторонѣ, межа—все это было замѣчено имъ, когда онъ шелъ въ лѣсъ, и служило теперь вѣрнымъ маякомъ. Такъ достигъ онъ большой черневской дороги; влѣво, всего въ ста саженяхъ, начинались избы Чѐрнева, окутанныя какой-то мрачной, угрюмой темнотою. Было такъ тихо, что можно было думать, деревня необитаема. Съ этой стороны Верстану не предстояло опасности; онъ не пошелъ, однакожъ, улицей, а пересѣкъ дорогу и продолжалъ путь, придерживаясь прямого направленія. Немного погодя, онъ и спутникъ его очутились на краю обрыва. Звѣзды, покрывшія небо, мигали кое-гдѣ на днѣ обрыва и давали знать, что тамъ вода.

— Дѣдушка, куда ты ведешь меня?.. Дѣдушка! касатикъ! я все сдѣлаю... все сдѣлаю! только ты не топи меня! замирающимъ голосомъ произнесъ мальчикъ, припадая къ нищему, который все еще держалъ его коренастою своею рукою.

— Кабы топить тебя была надобность, такъ бы далеко не велъ, возразилъ Верстанъ успокоительно.

Сказавъ это, онъ началъ спускаться, ощупывая землю концомъ палки; другая рука его продолжала держать мальчика. По прошествіи нѣсколькихъ минутъ, онъ уже стучалъ въ низенькую дверь знакомой намъ мазанки. Надо полагать, Грачиха была предупреждена касательно такого поздняго посѣщенія. Она застучала деревяннымъ засовомъ и отворила дверь, какъ только услышала голосъ нищаго. Ей, повидимому, извѣстна также была цѣль ночной его прогулки: увидя мальчика, она не выказала ни малѣйшаго удивленія.

— Слышь, тетка... что̀, тотъ, ну, знаешь? здѣсь онъ?

— Нѣтути, спровадила! отвѣчала Грачиха.

— Ну и ладно, не пущай его... ну его совсѣмъ! сказалъ Верстанъ, толкая мальчика въ избу.

Грачиха выглянула за дверь, съ минуту постояла на порогѣ, какъ бы прислушиваясь къ чему-то извнѣ, потомъ вернулась въ сѣни и плотно задвинула деревянный засовъ. Изъ избы слышался уже козлячій голосъ и дребезжащій хохотъ слѣпого Фуфаева. Онъ поспѣшилъ выйти навстрѣчу товарищу. Кромѣ него, въ первой половинѣ избы находились также дядя Мизгирь и Миша; послѣдній сидѣлъ въ темномъ углу и съ любопытствомъ смотрѣлъ на приведеннаго мальчика, который стоялъ ни живъ, ни мертвъ.

— Ну, паренёкъ-то не то, чтобъ очепно... малый-то невеличекъ, сказалъ Фуфаевъ, быстро ощупывая ладонью заплаканное лицо Пети.

— Ничего, годится! грубо вымолвилъ Верстанъ.

— Знамо годится, подрастетъ!.. проговорилъ Мизгирь, осклабляя свои беззубыя десны.

— Вѣстимо подрастетъ, подхватилъ, смѣясь, Фуфаевъ,— особливо коли Верстанъ станетъ его вытягивать... я чай ужъ небось вытянулъ?

— Такой-то пропастный, кричать было зачалъ...

— Это съ радости, что тебя увидалъ! Слышь, малый: „на то, скажи молъ, дѣдушка, и голосъ данъ человѣку, чтобъ кричать на радостяхъ!“ А то какъ же? Ничего, точно: невеличекъ паренекъ; и то надо сказать: цѣна ему невеличка; будь онъ съ мизинецъ, и то своей цѣны сто̀итъ. Ну, паренекъ, ступай! примолвилъ, посмѣиваясь, Фуфаевъ, — нечего тебя много ощупывать: даровому коню въ зубы не смотрятъ.

— Только у меня, смотри ты, смиренъ будь! перебилъ Верстанъ, пропустивъ мимо ушей замѣчанія товарища и обращаясь къ Петѣ, который, казалось, замеръ на своемъ мѣстѣ,—я шутить не люблю...

— Вретъ, вретъ, паренекъ, не вѣрь ты ему, воскликнулъ Фуфаевъ, — дѣдушка у насъ добрый; добрѣе его въ цѣломъ свѣтѣ нѣтути... Что̀ хошь дѣлай, за все угощать тебя станетъ; угощенье-то знатное какое: ноньче угоститъ изъ двухъ полѣнцевъ яичницей, завтра дастъ отвѣдать дубовыхъ пирожковъ съ жимолостнымъ масломъ...

— А бѣжать вздумаешь, продолжалъ Верстанъ, не обра-

щая вниманія на Фуфаева, — бѣжать вздумаешь... вотъ вишь тетка эта: у ней есть, примѣрно, ступка такая, сядетъ на нее, ударитъ пестомъ — хошь на край свѣта бѣги, догонитъ... Этого ты и не думай!.. Ну, пошелъ, лягъ вонъ поди на скамью! да смирно у меня! заключилъ онъ, бросая въ уголъ палку и направляясь за перегородку къ Грачихѣ, которая возилась подлѣ печки.

Примѣру его немедленно послѣдовали дядя Мизгирь и Фуфаевъ. Оставшись одинъ, Петя боязливо оглянулся вокругъ, но глаза его до того полны были слезъ и притомъ такъ темно было въ избѣ (лучина, вынесенная за перегородку, сообщала слабый полусвѣтъ въ первую половину мазанки), что онъ сначала не замѣтилъ маленькаго товарища, все еще сидѣвшаго въ углу своемъ. Петя робко подошелъ къ лавкѣ, прижался къ стѣнкѣ и крѣпко зажалъ ладонью ротъ, чтобъ не слышно было его рыданій. Онъ ни о чемъ не думалъ; въ минуты, какія переживалъ онъ, мысли являются въ неопредѣленномъ, непослѣдовательномъ видѣ, быть-можетъ, потому именно, что ихъ тогда слишкомъ много.

Уже нѣсколько времени находился онъ въ этомъ положеніи, когда почувствовалъ прикосновеніе чьей-то руки на плечѣ своемъ. Онъ быстро привсталъ, не сомнѣваясь, что то былъ его хозяинъ, и устремилъ кверху испуганные глаза. Передъ нимъ никого, однакожъ, не было; грубый голосъ Верстана раздавался за перегородкой; на задней стѣнѣ, ярко освѣщенной лучиною, мелькала тѣнь исполинской головы его. Петя оглянулся направо—и тамъ никого не было.

— Это я, шепнулъ слѣва подъ самымъ его ухомъ чей-то слабый голосокъ.

Петя обернулся и почти носъ къ носу встрѣтился съ блѣднымъ лицомъ Миши.

— Ты меня не бойся, сказалъ послѣдній, видя, что Петя откинулся въ сторону,—я тебѣ худа не сдѣлаю.

Такія слова и еще болѣе тщедушный видъ собесѣдника нѣсколько успокоили Петю; но когда онъ осмотрѣлся въ лицо и узналъ въ немъ того самаго мальчика, который наканунѣ приходилъ къ нимъ въ избу; когда, вмѣстѣ съ этимъ открытіемъ, воображенію Пети, и безъ того уже устремленному къ родному дому, представился вчерашній вечеръ со всею его счастливою обстановкой; когда онъ вспомнилъ, что̀ было съ нимъ вчера и что̀ теперь—

сердце его снова наполнилось тоскою и отчаяньемъ; онъ хотѣлъ превозмочь себя, но напрасно: и закрылъ обѣими руками лицо и такъ горько заплакалъ, что слезы въ одинъ мигъ показались между его пальцами. Миша между тѣмъ подсаживался къ нему то съ одного боку, то съ другого; задумчивые глаза мальчика не покидали товарища. Наконецъ, онъ подсѣлъ ближе и тихо взялъ его за обѣ руки, стараясь отвести ихъ отъ лица.

— Полно, ты лучше не плачь, право не плачь, шепнулъ онъ, снова наклоняясь къ уху товарища,—слышь? какъ тебя звать-то—ась?

Петя проговорилъ свое имя.

— Слышь, Петя, не плачь: услышитъ твой-то, хуже вѣдь будетъ! добрѐ сердитъ, не любитъ онъ этого; хуже его нѣтъ у насъ... ужъ такой-то злющій!.. Мой смирнѣе, да и то другой разъ за вихоръ таскаетъ, коли заплачешь... Право, перестань, услышатъ... Али тебѣ жаль кого?

— Мать жаль, жаль ее. Она ничего не знаетъ, что меня увели, проговорилъ Петя, тяжело вздыхая и прерываясь на каждомъ словѣ.

— Стало силой тебя отнялъ? спросилъ Миша, кивая головою на тѣнь Верстана.

— Силой...

— А меня такъ отдали, проговорилъ Миша съ дѣтскимъ простодушіемъ,—мачиха отдала; отца уговорила—онъ послушалъ да и отдалъ... То-то житье-то было худое! хуже, кажись, здѣшняго! подхватилъ онъ, потряхивая головою,—мой, покрайности, вотъ слѣпой-то, видѣлъ?.. этотъ хоть не дерется, смиренъ; а мачиха-то, бывало, нѣтъ такого дня, чтобъ не прибила. Разъ такъ кулакомъ вотъ сюда, въ грудь, ударила... до сихъ поръ больно...

И, какъ бы въ подтвержденіе сказаннаго, мальчикъ закашлялся какимъ-то глухимъ, хриплымъ кашлемъ, похожимъ на шелесть сухихъ осеннихъ листьевъ.

Петя началъ уже дѣлаться внимательнѣе, какъ вдругъ въ сѣняхъ раздался шумъ; точно кто-то прыгнулъ съ вышины на полъ. Звукъ этотъ дошелъ даже за перегородку, потому что Грачиха тотчасъ же показалась въ дверяхъ. Она промелькнула мимо ребятишекъ, прижавшихся другъ къ дружкѣ, и быстро прошла въ сѣни.

— Кого надо? окликнула сердито колдунья.

Но въ эту самую секунду что-то прошмыгнуло у ея ногъ, и не успѣла она очнуться, какъ деревянный засовъ

щелкнулъ, и въ сѣняхъ показался Филиппъ; изъ-за дверей, которыя захлопнулись, вышелъ Степка. Старуха разразилась проклятіемъ; но прежде, чѣмъ броситься къ разбойнику и удержать его, она окинула глазами стропила; клочокъ синяго звѣзднаго неба, свѣтившійся въ крышѣ, объяснилъ ей появленіе Степки и потомъ отца его. Она вцѣпилась въ тулупъ разбойника и загородила ему дорогу.

— Эй, пусти лучше, до грѣха! проговорилъ Филиппъ задыхающимся голосомъ, между тѣмъ какъ Степка, изъ опасенія, вѣрно, чтобъ гнѣвъ старухи не зацѣпилъ и его, поспѣшно спрятался за отцовской спиною,—пусти, говорю; неровенъ часъ! бѣшено подхватилъ Филиппъ.

Но такъ какъ колдунья продолжала держать его, то онъ схватилъ ее за руки и такъ сильно отпихнулъ, что она стукнулась спиною объ стѣну. Бѣшенство душило Грачиху; но не посмѣла она, однакожъ, повторить нападенія и ограничилась ругательствами и проклятіями. Дѣйствительно, въ настоящую минуту несовсѣмъ было бы безопасно подступать къ Филиппу; Грачиха убѣдилась въ этомъ окончательно, когда свѣтъ изъ-за дверей перегородки освѣтилъ лицо разбойника. Черные волосы его, торчавшіе въ безпорядкѣ, тряслись заодно съ головою; свинцовая блѣдность лица еще рѣзче выдавала шершавыя, судорожно согнувшіяся брови; каждая черта его какъ будто заострялась; тонкій погибъ носа побѣлѣлъ; губы сузились; ноздри раздувались такъ сильно, что перегородка, раздѣлявшая ихъ, выглядывала наружу.

Видъ Филиппа пробудилъ въ Верстанѣ мысль объ осторожности; онъ сохранилъ, повидимому, свое положеніе, но поспѣшно выдвинулъ изъ-подъ стола ноги, какъ бы готовясь подняться при первой надобности; онъ отодвинулъ немного столъ и, какъ бы для пробы, раза два пожалъ исполинскими своими кулаками. Появленіе Филиппа весело подѣйствовало на одного лишь Фуфаева; это потому, можетъ быть, что онъ не могъ его видѣть.

— А! здорово, тёзка! какъ васъ Богъ милуетъ? по добру ли, по здорову? Соскучились мы по васъ совсѣмъ!.. крикнулъ онъ, какъ только услышалъ его голосъ.

— Слушай ты! сказалъ Филиппъ, обращаясь къ Верстану и дѣлая усилія, чтобъ подавить на время бѣшенство, которое коробило его черты,—разви такъ дѣлаютъ?.. ась? Помнишь, ты на самомъ этомъ мѣстѣ сказывалъ:

отдашь за мальчика тринадцать рублевъ... а вмѣсто того что̀ сдѣлалъ?

— Чего надо? грубо возразилъ Верстанъ.

— А то надо, что деньги подай! вотъ что̀ надо!

— А рази мальчикъ-то твой? промолвилъ Верстанъ, ставя оба кулака свои на столъ.

Филиппъ отступилъ два шага и отдавилъ ноги Степкѣ; Степка крикнулъ; отецъ далъ ему треуха и снова обратился къ нищему, но ужъ безъ прежней запальчивости.

— Нѣтъ, мальчикъ не мой; онъ мнѣ племянникъ, отецъ его братъ родной: стало, все единственно, сказалъ онъ,— потому больше и послалъ васъ туда, деньги были нужны... Коли такъ, на обманъ хотѣлъ взять—долженъ былъ сказать объ этомъ...

— Эхъ, тёзка, тёзка! Кто жъ, слышь, такъ дѣлаетъ: пошелъ на базаръ, всему міру сказалъ! перебилъ, посмѣиваясь, слѣпой,—такъ николи не водится! Эхъ, тёзка, жаль мнѣ тебя: маху, братъ, далъ; бражку пить пошелъ—воду нашелъ!..

— Чего присталъ? отваливай! сказалъ Верстанъ, поворачиваясь къ Филиппу и нахмуривая сѣдыя брови.

— Деньги подай, подай деньги, что̀ посулилъ! крикнулъ Филиппъ, къ которому снова возвратилось бѣшенство.

— Отстань, говорю; отдалъ я ему—чего еще?

— Врешь, лѣшій, не отдавалъ! заголосилъ Филиппъ, дѣлая шагъ впередъ и плотно становясь на лѣвую ногу.

— Усь, усь, усь! произнесъ Фуфаевъ, надрываясь отъ смѣха,—усь, усь... ну-кась, ребятушки! Слово за словомъ, тукманка въ голову да плевокъ въ бороду, тычокъ за тычкомъ, оплеуха за тузомъ—валяй, ребята! качай во здравіе!

— Ты, смотри, не пуще стращай! пробасилъ Верстанъ, неожиданно подымаясь изъ-за стола,—у меня у самого кулаки-то крѣпки. На, смотри, коли хошь! добавилъ онъ, выставляя на видъ сложенные свои пальцы.

— Хорошенько его, дядя! хорошенько его, разбойника! неожиданно крикнула Грачиха, становясь подлѣ нищаго, который съ рѣшительнымъ видомъ засучивалъ рукава,— бей его, окаяннаго!

— Ты что̀, вѣдьма? проговорилъ Филиппъ, дико озираясь, какъ волкъ настигнутый стаей собакъ,—такъ-то ты за добро платишь? Ладно!..

— Ничего, не робѣй, тёзка! смѣялся, между тѣмъ, Фуфаевъ,—вотъ тутъ-то и стой, гдѣ кисель густой...

— Вонъ ступай! Одно слово: вонъ! чтобъ духа твоего здѣсь не было! трещала Грачиха, ободряемая исполинскимъ ростомъ своего защитника,—гоните его, братцы! взашеи его, проклятаго!

Неувѣренность въ своей силѣ, страхъ, злоба и бѣшенство боролись въ душѣ разбойника; онъ не столько, можетъ быть, боялся кулаковъ Верстана, сколько старой колдуньи: ей стоило только добѣжать до Чèрнева, чтобъ погубить его; онъ зналъ ее, и зналъ, что она давно замышляла предать его.

— Хорошо же, когда такъ! произнесъ онъ, яростно грозя кулаками и отступая къ двери,—съ тобой мы еще встрѣнемся, такъ посмотримъ, чья возьметъ, который котораго одолѣетъ...

— Эй, не хвались лапти сшить, не надравши лыкъ! замѣтилъ Фуфаевъ.

— А тебѣ, касатушка, подхватилъ Филиппъ, бросая свирѣпый взглядъ на старуху,—тебѣ я это припомню! все за одинъ разъ вспомяну, всѣ твои дѣла со мною...

— Не мнѣ тебя бояться, разбойникъ! завопила старуха, подталкивая Верстана,—ты бойся! До Марьинскаго всего восемь верстъ; пошлю вотъ только къ кузнецу Пантелею—онъ тебя больно любитъ... Ступай лучше вонъ, окаянный, отселева!

— Ну, смотри же, заруби ты этотъ день себѣ на носу!.. воскликнулъ Филиппъ съ какимъ-то растеряннымъ видомъ,—я попадусь—не радуйся, вѣдьма: самоё потащутъ, самоё выдамъ; самъ пропаду, да ужъ и тебѣ не миновать плети!.. Сюда! заключилъ онъ, выходя въ первую половину избы.

Послѣднее слово обращалось къ Степкѣ.

Степка прильнулъ къ отцовскому полушубку; но, проходя мимо Пети и Миши, которые оставили скамью и стояли недалеко отъ двери, чтобъ удобнѣе разсматривать все происходившее, Степка далъ каждому изъ нихъ тумака. Грачиха, слѣдившая, какъ коршунъ, за каждымъ движеніемъ рыженькаго мальчика, воспользовалась этой минутой; она налетѣла на него съ кочергою и, нѣтъ сомнѣнія, плохо пришлось бы головѣ Степки, если бъ отецъ не обернулся. Грачиха отступила. Филиппъ ринулся было на нее, но ее заслонилъ Верстанъ. Филиппъ схватилъ

Степку за руку и, пославъ нѣсколько страшныхъ проклятій колдуньѣ и гостямъ ея, исчезъ въ сѣняхъ. Ужъ давно не слышны были шаги Филиппа, но Грачиха все еще стояла у наружной двери мазанки и прислушивалась: ей хотѣлось узнать, въ какую сторону направлялся бродяга. Знаніе это, все равно, ни къ чему бы не послужило колдуньѣ: Филиппъ очень хорошо зналъ, съ кѣмъ имѣлъ дѣло; отойдя шаговъ триста, онъ вдругъ перемѣнилъ направленіе и пошелъ совсѣмъ въ противоположную сторону.

Если вѣрить, что у человѣка горитъ лѣвое ухо, когда его заглазно ругаютъ, лѣвое ухо Филиппа должно было сильно досаждать ему въ эту ночь: его ругали всѣ безъ исключенія въ избѣ Грачихи; даже Петя и Миша дѣлали о немъ не совсѣмъ лестныя заключенія. Наконецъ розсказнямъ пора было смолкнуть. Грачиха отправилась на печь, нищіе расположились кто куда могъ; маленькіе вожаки легли рядомъ на лавку; немного погодя, въ мазанкѣ все стихло. Не могъ хорошенько заснуть одинъ только Петя: онъ безпрестанно пробуждался, вздрагивалъ и каждый разъ тогда ближе прижимался къ маленькому товарищу: онъ ужъ чувствовалъ, что Миша служилъ ему единственною подпорою въ его горькомъ одиночествѣ.

Весь слѣдующій день нищіе безвыходно пробыли у Грачихи; она не изъявила ни малѣйшаго сопротивленія: надо полагать, они заранѣе съ нею условились. Петя и Миша, предоставленные во весь этотъ день на собственный произволъ во второй половинѣ избы, сошлись окончательно; хотя Петя часто принимался плакать, но товарищъ такъ хорошо умѣлъ приласкать его, что горе казалось ему не такъ ужъ великимъ, какъ накапунѣ. Съ наступленіемъ ночи нищіе простились съ колдуньей и отправились въ дорогу. Мы ужъ сказали, что они не считали нужнымъ торопиться и совершали свой путь со всевозможнымъ комфортомъ. Тѣмъ не менѣе, съ того дня, какъ покинули они мазанку, до настоящей минуты пройдено было большое пространство. Никто теперь не могъ бы сказать даже приблизительно, съ какой именно стороны горизонта находится Марьинское и сколько до него верстъ; вѣрно было то лишь, что верстъ очень много: заснешь прежде, чѣмъ сосчитаешь.

Мы застаемъ теперь нищихъ у входа или у выхода небольшой деревушки; они расположились отдохнуть за ригой, которая выходитъ угломъ на дорогу; никто помѣ-

шать имъ не можетъ: кругомъ тишина мертвая; полдень; солнце такъ и жжетъ. Верстанъ, дядя Мизгирь и слѣпой Фуфаевъ выбрали это мѣсто ради тѣни, которую бросалъ выступъ кровли; подмостивъ подъ голову мѣшки свои, они сладко раскинулись и такъ же сладко заснули. Надо полагать, они лежали ужъ нѣкоторое время. Чтобъ разоспаться до такой степени одеревянѣнія, требовалась, вѣрно, не одна минута; тѣнь кровли падала ужъ теперь косякомъ по другую сторону риги; солнце плашмя падало на ихъ раздувшіяся, загорѣлыя лица; но это повидимому не безпокоило ихъ; не безпокоили также и мухи, которыя роями кружились надъ ихъ головами и садились имъ на носъ, на щеки—словомъ, всюду, гдѣ сквозь прорѣхи и бородастыя заплаты проглядывало тѣло; казалось, напротивъ, не столько мухи тревожили Верстана, сколько Верстанъ тревожилъ мухъ: онъ время отъ времени подымалъ такой густой храпъ, что всѣ мухи разомъ подымались и, какъ испуганныя, метались по воздуху. Всякій разъ, какъ раздавался этотъ храпъ, изъ-за угла показывалось личико Пети; онъ и маленькій товарищъ его расположились лицомъ къ дорогѣ; оба сидѣли рядышкомъ, прислонившись спиною къ плетневой стѣнѣ риги.

— Нѣтъ, ничего, Миша; это онъ такъ... спитъ! говорилъ Петя, — ты бы, право, Миша, легъ лучше... усни маленько... Вотъ ложись на меня... вотъ на ноги...

— Нѣтъ, вѣдь ужъ пробовалъ, не спится что-то, возразилъ тотъ, — добрѐ ужъ оченно я усталъ, добре пуще грудь болитъ у меня; мнѣ такъ-то лучше; лягу—кашель больно одолѣваетъ.

— Вѣдь вонъ, вонъ! ты и то кашляешь, даромъ что сидишь! подхватилъ Петя, поглядывая на товарища, который обхватилъ худенькими ручонками грудь и едва переводилъ духъ отъ кашля.

Несмотря на напряженія, которыя онъ дѣлалъ, чтобъ откашляться, лицо его оставалось блѣднымъ; на немъ не было слѣда загара. Благодаря страшной худобѣ лица, черные, задумчивые глаза мальчика казались теперь вдвое больше; темная кайма окружала его рѣсницы.

— Далеко очень шли, усталъ очень; оттого больше... сказалъ онъ, переводя духъ и поглядывая на ладонь, которая прижимала губы: на ней были слѣды крови.

— Попросимъ ихъ, чтобъ маленечко повременили; ишь какъ жарко—смерть! сказалъ Петя.

— Нешто они послушаютъ! Они знаютъ свое: имъ бы только поспѣть къ ярманкѣ... они рази насъ жалѣютъ?

— Знамо, мы имъ не родные, а все бы въ толкъ надо взять... Мнѣ ничего — я здоровъ, хоша и добре́ тяжко такъ-то по жарѣ идти; а вотъ о тебѣ нѣтъ имъ нуждышки... Ты, Миша, какъ пойдемъ, дай мнѣ свой мѣшокъ, я понесу его...

— Не осилишь; и съ своимъ-то насилу управляешься... Вотъ какъ, Петя, подхватилъ вожакъ Фуфаева,—какъ шли мы это сюда, такъ, кажись, еще бы одну версту—тутъ бы и смерть моя; такъ грудь заломило, такъ заломило... ужъ очепно добрѐ замучился...

— Ты, Миша, потерпи еще маленько, перебилъ Петя, взглянувъ за уголъ и понижая голосъ,—вотъ, маленечко еще подрастемъ... вотъ теперь лѣто... а тамъ зима, а тамъ опять лѣто, тогда мы ужъ большіе выростемъ, подхватилъ онъ съ оживленіемъ,—помнишь, о чемъ мы съ тобой говорили... то и сдѣлаемъ; они насъ тогда не догонятъ. Станешь вездѣ спрашивать: я вѣдь деревню-то свою помню—Марьинское прозывается... Прійдемъ домой... у меня мать—то-то добрая!.. Ну и станемъ жить вмѣстѣ... Потерпи только до другого лѣта.

Миша тоскливо опустилъ голову и провелъ нѣсколько разъ ладонью по лбу, покрытому крупными каплями пота.

— Можетъ, ты ужъ тогда одинъ... безъ меня пойдешь, сказалъ онъ, задумчиво глядя на пыльную, обожженную солнцемъ дорогу.

— А ты-то что жъ? Нѣтъ, я одинъ безъ тебя ни за что не пойду; идтить, такъ ужъ вмѣстѣ! возразилъ Петя.

— Ну, а какъ я умру? вымолвилъ Миша.

Петя посмотрѣлъ на него съ удивленіемъ.

— Мнѣ и такъ все думается, продолжалъ Миша протяжнымъ, слабымъ голосомъ,—иду такъ-то съ вами и думаю: „ну, какъ они меня бросятъ... ну, какъ умру я одинъ на дорогѣ?...“ Другой разъ насилу ноги волочу, а какъ вспомню объ этомъ, такъ даже душа вся затрясется... А можетъ, и лучше помереть-то, право: вѣдь ужъ хуже теперешняго не будетъ; стало, все одно... Я чай, ты, Петя, обо мнѣ тогда пожалѣешь?..

Петя схватилъ его за руку, но въ самую эту минуту ему послышался шорохъ за угломъ и онъ поспѣшилъ заглянуть туда.

— Миша, сказалъ онъ, дергая товарища за руку,—

глянька-сь, глянь... Вѣдь Верстана-то нѣту, и дядя Мизгирь также всталъ; оба ушли.

Миша приподнялся и посмотрѣлъ за уголъ. На томъ мѣстѣ, гдѣ лежали Верстанъ и Мизгирь, виднѣлась только стоптанная трава и мѣшки, служившіе подушкой старымъ нищимъ. Шорохъ, слышанный Петей, произведенъ былъ, вѣроятно, головою Фуфаева, которая скатилась съ мѣшка; раскрытый ротъ и выраженіе сладостнаго замозабвенія на багровомъ лицѣ его, усѣяпномъ мухами, показывали, что онъ не думалъ даже пробуждаться.

— Куда жъ тѣ-то ушли? чудно что-то! прошепталъ Миша.

Петя подмигнулъ ему и погрозилъ пальцемъ, давая знать, чтобъ онъ молчалъ. И оба, припавъ къ плетневой стѣнѣ, стали пробираться на другую сторону риги, но не съ того бока, гдѣ лежалъ Фуфаевъ, а съ противоположнаго. Такъ достигли они угла, который отвѣчалъ углу, за которымъ они сидѣли; притаивъ дыханіе и крѣпко прижимаясь другъ къ дружкѣ, оба мальчика выглянули за уголъ. Тѣнь, падавшая съ кровли, разсѣкала пополамъ сморщенную, сгорбленную фигуру дяди Мизгиря, такъ что одна половина фигуры оставалась въ тѣни, другую ярко охватывало солнце; онъ сидѣлъ, разставивъ ноги; передъ нимъ лежала тряпка; на ней сверкали пригоршни двѣ мѣдныхъ и серебряныхъ монетъ, которыя старикъ разложилъ маленькими столбиками: гривенники съ гривенниками, пятаки съ пятаками и т. д.; двѣ старыя, замасленныя пятирублевыя ассигнаціи покоились на лѣвомъ колѣнѣ нищаго; онѣ, казалось, особенно его занимали; выставивъ впередъ дрожащіе, скорченные пальцы лѣвой руки, онъ не переставалъ загибать ихъ указательнымъ пальцемъ правой руки, поминутно сбивался, начиналъ снова, пожималъ губами и заботливо потряхивалъ головою, не обращая вниманія на солнце, которое било ему въ самое темя.

Миша и Петя никогда не видали столько денегъ; то, что̀ находилось въ платкѣ и на колѣнѣ старика, казалось имъ неисчислимымъ сокровищемъ. Они считали до сихъ поръ дядю Мизгиря самымъ бѣднымъ изъ трехъ нищихъ; онъ казался такимъ жалкимъ и несчастнымъ, безропотно сносилъ всегда насмѣшки Фуфаева, терпѣлъ съ покорностью грубое обращеніе Верстана, онъ вѣчно молчалъ, и если говорилъ когда, такъ для того развѣ, чтобъ жа-

ловаться на бѣдность. Какъ ни были удивлены мальчики, любопытство ихъ не столько было, однакожъ, возбуждено старикомъ и его сокровищемъ, сколько присутствіемъ Верстана за спиною дяди Мизгиря.

Верстанъ оставался, повидимому, въ томъ самомъ положеніи, въ которомъ подползъ къ товарищу. Упершись ладонями въ траву, выставивъ надъ плечомъ старика огромную свою голову, покрытую сѣрыми, взбудораженными кудрями, онъ съ такою жадностью выкатывалъ глаза на деньги, что надъ зрачками его виднѣлись даже окраины бѣлковъ. Лицо его было такъ страшно въ эту минуту, что Петя почувствовалъ холодъ въ спинѣ. Невольный ужасъ, въ которомъ не могли они дать себѣ яснаго отчета, овладѣлъ обоими мальчиками; они поспѣшно припали къ плетню, такъ же поспѣшно возвратились на прежнее свое мѣсто и несказанно обрадовались своей поспѣшности: не успѣли они сѣсть, какъ за угломъ раздался голосъ Верстана; минуту спустя, онъ вышелъ къ нимъ и велѣлъ имъ надѣвать мѣшки и брать палки. Когда оба мальчика явились на мѣсто, выбранное нищими для отдыха, дядя Мизгирь еще не показывался.

— Ну, вставай, отряхивайся, полно нѣжиться-то, время идти! говорилъ Верстанъ, толкая Фуфаева.

Фуфаевъ раскрылъ глаза, обвелъ направо и налѣво бѣлыми зрачками своими, снова закрылъ глаза и, сладко улыбнувшись, перевалился на другой бокъ.

— Ишь его, собака, какъ разоспался! не растолкаешь никакъ! Да ну же, ну! забасилъ Верстанъ, перекатывая Фуфаева съ боку на бокъ, какъ кубышку.

— У-у-у-а! промычалъ Фуфаевъ, закинулъ руки за спину, потянулся, раскрылъ глаза, чихнулъ, сказалъ: „бывайте здоровы!“ и усѣлся на траву.

Въ это самое время изъ-за угла выступилъ дядя Мизгирь, сохранявшій теперь болѣе, чѣмъ когда-нибудь, жалкій, несчастный, униженный видъ.

— Гдѣ былъ? По деревнѣ, что ли, бродилъ? спросилъ Верстанъ, сопровождая слова эти взглядомъ, который заставилъ Петю и Мишу переглянуться.

— Да, такъ ходилъ; думалъ, не подадутъ ли хлѣбушка... ничего не дали! промямлилъ старикашка, тоскливо качая лысою головою.

— Вретъ, вретъ; а ты и повѣрилъ? воскликнулъ, смѣясь,

Фуфаевъ;—чай, за угломъ сидѣлъ, деньги считалъ... Я, примѣрно, сонъ такой видѣлъ...

— Полно ты, окаянный! Ну, что присталъ? какія деньги?.. злобно пробормоталъ дядя Мизгирь, скорчиваясь и пожимаясь, словно жарили его на сковородѣ.

— Ладно, дядя, знаемъ! подхватилъ Фуфаевъ.—Чуръ смотри только, коли помрешь—а помирать тебѣ скоро надыть, не миновать—смотри, мнѣ кладъ-отъ оставь!

При этомъ слѣпой ударилъ въ ладоши, вскочилъ на ноги, направился по голосу къ старику и, ударивъ его по плечу, разразился отчаянно веселымъ смѣхомъ.

— Ну, полно балясничать-то, полно! промолвилъ Верстанъ, надѣвая суму,—надо къ завтраму вечеру поспѣть на ярманку. Ну, братцы, пойдемъ!

Немного спустя, нищіе вышли на дорогу и начали удаляться отъ деревушки. Дорога шла гладкими, какъ ладонь, полями; вправо только, на дальнемъ горизонтѣ, мѣстность оживлялась синеватою лѣсистою каймою, которая тянулась и пропадала въ неоглядномъ просторѣ. Хотя солнце нѣсколько уже склонилось, но все еще пекло невыносимо; ни одна тучка, ни одно дуновеніе не освѣжали воздуха; пыль, подымаемая ногами нищихъ, вытягивалась длинными полосами и почти недвижно висѣла надъ дорогой. Зной и духота не дѣйствовали только на Фуфаева. Хохотъ, послѣдовавшій за его пробужденіемъ, служилъ какъ будто выраженіемъ его расположенія духа на весь остальной день; неугомонная, задорливая веселость его не прерывалась ни на минуту. Главнымъ возбудителемъ неумолкаемой болтовни его былъ, по обыкновенію, дядя Мизгирь. Наглумившись надъ нимъ до̀-сыта и истощивъ съ этой стороны весь запасъ своего остроумія, онъ перешелъ къ двумъ вожакамъ, прося ихъ убѣдительно идти какъ можно шибче, увѣряя, что это лучшій способъ для освобожденія отъ стужи, которая, по словамъ его, была невыносима. Но такъ какъ Миша сталъ жаловаться на жаръ и усталость, то Фуфаевъ поспѣшилъ обратиться къ Верстану.

Верстанъ шелъ позади всѣхъ; онъ до сихъ поръ хранилъ упорное молчаніе и только изрѣдка косился на старика Мизгиря. Хотя Верстанъ никогда не отличался разговорчивостью, однакожъ, Фуфаевъ нашелъ, что молчаніе товарища не предвѣщало ничего добраго: оно служило несомнѣннымъ знакомъ нравственнаго разстройства. Всему

была виною зазнобушка, которую оставила въ сердцѣ Верстана Грачиха. Фуфаевъ совѣтовалъ не томить себя, совѣтовалъ засылать скорѣй сватовъ: онъ не сомнѣвался въ успѣхѣ. Сватомъ поѣдетъ дядя Мизгирь на тройкѣ пѣгихъ, которую дадутъ въ первой деревнѣ; самъ Фуфаевъ вызывался быть дружкой. Но такъ какъ предложеніе это заслужило ему только тычокъ отъ будущаго жениха, то онъ отложилъ свадьбу на неопредѣленное время и принялся разсказывать сказку:

— Шли три мужика, три Прокопа мужика, три Прокопьевича; говорили они про мужика, про Прокопа мужика, про Прокопьевича...

— Отойди! досадливо крикнулъ Верстанъ и толкнулъ его такъ сильно, что чуть было съ ногъ не сшибъ.

Фуфаевъ остановился какъ будто въ недоумѣніи, почесалъ затылокъ, минутъ пять шелъ молча, какъ бы раздумывая о чемъ-то веселомъ; потомъ тряхнулъ мѣшкомъ и, не обращая уже теперь никакого вниманія, затянулъ козлинымъ своимъ голосомъ:

У славнаго, добраго молодца
Много цвѣтного платья поношено,
Подъ оконью лаптей старыхъ попрошено...
И сахарнаго кỳса поѣдено,
У собакъ корокъ отымано;
На добрыхъ коняхъ поѣзжено,
На чужія дровни присѣдаючи,
Ко чужимъ дворамъ приставаючи...
Голиками глаза выбиты...
Дубиной плеча поранены...

— Что жъ ты, Мишутка, не подтягиваешь? закричалъ вдругъ Фуфаевъ, выкидывая колѣнцо.

Но бѣдному Мишѣ было не до пѣсенъ. Блѣдный, покрытый пòтомъ, онъ едва передвигалъ усталыми ногами по пыльной, обожженной солнцемъ дорогѣ; спасибо еще Петѣ, который шелъ подлѣ: онъ время до времени придерживалъ суму на спинѣ товарища и такимъ образомъ, хоть сколько-нибудь, облегчалъ ему невыносимо тяжкій путь, путь, который очевидно долженъ былъ скоро привести Мишу къ преждевременной, одинокой могилѣ.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

I.

Не выдержали.

Александра Константиновна только-что откушала утренній чай и расположилась въ мягкое кресло подлѣ окна. Почти въ ту же минуту въ спальню вбѣжала Мери, сопровождаемая гувернанткой. Мери бросилась на шею матери; француженка откинула назадъ лѣвую ногу, сдѣлала книксенъ и пожелала Бѣлицыной добраго утра.

— Пожалуйста, не смѣйтесь, chère m-elle Louise: не только нельзя ждать хорошаго, но врядъ ли даже можно надѣяться на сносное утро, воскликнула по-французски Бѣлицына.—Voyez!.. примолвила она дѣтски-плачевнымъ тономъ и указала на окно.

Погода была, точно, скверная; тяжелою сѣрою пеленою окутывалось небо; шелъ мелкій, но частый дождь, одинъ изъ тѣхъ дождей, который насквозь пропитываетъ землю, которому такъ радуется простолюдинъ, но который приводитъ всегда въ отчаяніе дачниковъ и помѣщицъ, пріѣзжающихъ въ деревню съ исключительною цѣлью наслаждаться природой; такимъ дождямъ обыкновенно конца нѣтъ. Вѣтеръ уныло гудѣлъ въ старыхъ деревьяхъ сада; гибкія вѣтви акацій, растущихъ за окномъ, били по рамамъ и мокрые листья прилипали къ мокрымъ стекламъ.

— Oh! c'est une horreur! произнесла француженка съ такимъ видомъ, какъ будто за окномъ нежданно появилось привидѣніе.

— Именно: une horreur! подхватила Александра Константиновна.—Бѣдная моя Меринька, тебѣ даже побѣгать

нельзя; вотъ уже четвертыя сутки, какъ льетъ этотъ гадкій дождикъ.

— Les beaux jours viendront, madame Bélissine, elle ratrappera le temps perdu!..

— Да, намъ съ вами хорошо говорить, но каково ей, бѣдному ребенку! Я нарочно привезла ее сюда, чтобъ она пользовалась моціономъ и свѣжимъ воздухомъ. Въ ея возрастѣ это главныя условія... Кстати, скажите мнѣ, что̀ вы сегодня дѣлаете?

— Мы читаемъ Sandfort et Merton, maman, весело сказала дѣвочка.

— C'est de Berquin, madame, l'ami des enfants! подсказала гувернантка.

— Успѣете еще, посидите немножко со мною. Эта погода... все это мнѣ ужасно скучно! произнесла Александра Константиновна, опускаясь на спинку креселъ и гладя по головѣ Мери. — Если бъ я знала, что изъ десяти дней, проводимыхъ здѣсь, придется пять дней сидѣть безвыходно въ комнатѣ, я взяла бы, по крайней мѣрѣ, съ собою побольше книгъ... je n'ai que ça! примолвила она, указывая на два жиденькіе романа, изъ которыхъ одинъ былъ Гондрекура, другой Ксавье де-Монтепена.— Но кто зналъ, что придется жить какъ въ тюрьмѣ? Теперь, разумѣется, этого не случится; будущее же лѣто я привезу съ собою цѣлую маленькую библіотеку.

— Comment, madame Bélissine, vous pensez encore revenir ici l'été prochain?

— Hélas, il le faut bien! возразила Бѣлицына, взглядывая въ окно и слегка пожимая плечами.

Черные глаза бордоской уроженки изобразили удивленіе. Она постичь не могла такого принужденія. Къ чему: il le faut?.. зачѣмъ: il le faut?.. Décidément, les seigneurs d'ici, ne savent, ne veulent pas jouir de leur position! Она ставила себя на мѣсто Бѣлицыной. Стала бы она, какъ же! ѣздить въ деревню, когда тамъ скука невыносимая! Получай она доходы Бѣлицыныхъ, будь у нея вѣрный приказчикъ, каковъ Karassin, она порхала бы, какъ свободная птичка, изъ Петербурга въ Парижъ, изъ Парижа на Рейнъ и т. д. Нѣтъ, она рѣшительно не постигала Александру Константиновну, — быть богатой, car vous l'êtes enfin! страшно скучать въ деревнѣ и ѣхать опять въ эту деревню—зачѣмъ? къ чему?..

— Que voulez-vous! сказала Бѣлицына, улыбнувшись го-

рячей вспышкѣ собесѣдницы,—впрочемъ, вамъ легко такъ думать, прибавила она, возвращая милому, доброму лицу своему серьезное и даже нѣсколько озабоченное выраженіе. — Вы говорите, мы не умѣемъ пользоваться нашимъ положеніемъ; говорите, что если бъ были на моемъ мѣстѣ, то ни за что̀ не стали бы жить въ деревнѣ, когда вамъ тамъ скучно; но знаете ли, это самое положеніе, la position du seigneur, налагаетъ своего рода обязанности... да, великія обязанности, можно даже сказать, священныя обязанности! Земли, доходы—все это само по себѣ; управитель такой, какъ Karassin, которому я и мужъ вполнѣ довѣряемъ, также само по себѣ... Но у насъ есть также крестьяне, которые для насъ трудятся, работаютъ; мы должны, слѣдовательно, лично наблюдать за ихъ благосостояніемъ; l'oeil du seigneur... vous savez!.. Хотя я знаю, имъ и безъ насъ нѣтъ никакихъ отягощеній, но при насъ все-таки имъ какъ будто веселѣе; они насъ такъ любятъ! наше присутствіе ихъ ободряетъ... et puis, comme de raison, cela flatte leur amour propre—за что̀ же лишать ихъ этого удовольствія? Ils le méritent bien!.. Нѣтъ, нѣтъ, мы не можемъ располагать собою, какъ бы хотѣли... il faut soumettre à certaines conditions — это необходимо! Повѣрьте, chère m-elle Louise, и въ нашемъ положеніи tout n'est pas couleur de rose, повѣрьте!..

На этомъ мѣстѣ Александра Константиновна была прервана стукомъ въ дверь.

— Это ты, Serge?

— Я. Можно войти?

— Войди, войди! весело сказала жена,—но что̀ съ тобою? подхватила она, пристально всматриваясь въ полное лицо Сергѣя Васильевича, которое хотя и не теряло своего обычнаго добродушія, но казалось, однакожъ, сильно недовольнымъ и нахмуреннымъ.

Сергѣй Васильевичъ молча поцѣловалъ жену въ лобъ, поцѣловалъ Мери, поклонился гувернанткѣ и, закинувъ руки за спину, принялся ходить по комнатѣ.

— Что̀ съ тобою, мой другъ? повторила Бѣлицына.

— Ахъ! это ужасно! это невыносимо! это... это просто — я уже самъ не знаю, что̀ дѣлать, у меня рѣшительно руки отнимаются! произнесъ Сергѣй Васильевичъ, какъ бы разговаривая самъ съ собою и еще значительнѣе ускоряя шаги.

— Но что̀ же такое? спросила жена, тревожно слѣдя за движеніями мужа.

— Не безпокойся, мой другъ, ничего не произошло особеннаго... я такъ, меня возмущаетъ... Представь себѣ, подхватилъ Сергѣй Васильевичъ, — представь: опять этотъ мужикъ! опять онъ!.. это ужъ, наконецъ, дѣйствительно хоть кого возмутитъ!.. Опять онъ, опять этотъ мужикъ! заключилъ Сергѣй Васильевичъ, бросаясь на диванъ и досадливо подпирая голову ладонью.

— Но что̀ же такое случилось? снова спросила Александра Константиновна.

— Oh, je suis horriblement ennuyé, ennuyé et découragé, въ одно и то же время! воскликнулъ помѣщикъ, мотая головой.—Это въ самомъ дѣлѣ ужасно: опять онъ! опять тотъ же мужикъ!..

— О комъ ты говоришь? Я, право, не понимаю, какой мужикъ?

— Да все тотъ же! тотъ! Неужели ты не помнишь? Это, кажется, не такъ, однакожъ, давно случилось... Однимъ словомъ, помнишь, недѣли полторы назадъ, когда мы ходили гулять въ любимую мою рощу...

— Ну, да, да!

— Помнишь, мы поймали мужика, нашего марьинскаго мужика, который рубилъ огромную березу.

— Ахъ, да, да! онъ еще такъ испугался...

— При тебѣ, кажется, дѣло было, съ жаромъ подхватилъ Сергѣй Васильевичъ,—помнишь, какъ бросался мнѣ въ ноги, какъ просилъ, какъ умолялъ, чтобъ я простилъ его, какъ клялся и распинался, что никогда, во вѣки вѣковъ съ нимъ этого не случится... Я простилъ его. Помнишь, какъ даже я мягко, ласково, можно сказать, съ нимъ обошелся... я даже не бранилъ его; напротивъ, я всячески старался внушить ему... Я даже сжалился надъ нимъ, когда онъ сказалъ мнѣ, что рѣшился рубить это дерево потому, что не было у него денегъ на лучины, я далъ ему цѣлковый... Кажется, довольно — а? Что жъ, ты думаешь, онъ сдѣлалъ — а? Ну, какъ, какъ ты думаешь?

— Право, не знаю...

— Je vous le donne en cent, je vous le donne en mille!

— Что же онъ такое сдѣлалъ?

— А вотъ что̀ сдѣлалъ: сегодня, не далѣе, какъ часъ назадъ, онъ снова попался — и въ чемъ? гдѣ? какъ ты

думаешь? Онъ снова рубилъ дерево! подхватилъ съ возрастающею горячностью помѣщикъ,—рубилъ березу, и что всего ужаснѣе, рубилъ подлѣ самаго того дерева, у котораго мы поймали его!

Александра Константиновна сложила руки и подняла прекрасные глаза свои къ небу. Француженка всплеснула руками.

— Quelle ingrrrratitude! сказала она.

Даже маленькая Мери, слушавшая отца съ любопытствомъ, свойственнымъ ея возрасту, и та даже получила, казалось, самое невыгодное мнѣніе о душевныхъ свойствахъ марьинскаго крестьянина.

— Comme il est vilain cet homme! сказала она, надувая губки.

— Не правда ли! воскликнулъ Сергѣй Васильевичъ,— это въ самомъ дѣлѣ ужасно! это значитъ: нѣтъ въ человѣкѣ ни стыда, ни совѣсти! Поступокъ этотъ возмутилъ меня до нельзя...

— Полно, Serge; ты все это принимаешь слишкомъ къ сердцу... cela t'échauffe, ласково сказала жена,—по-моему, сердиться рѣшительно не стóитъ. Я бы, на твоемъ мѣстѣ, распорядилась вотъ какъ: приказала бы старостѣ и еще другимъ старшимъ взять этого мужика, отвести его въ рощу и, на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ онъ срубилъ дерево, заставить его своими руками — да, своими руками посадить три березы—вотъ и все. Чтò съ ними церемониться! онъ этого не стòитъ!.. Да и береза не стòитъ, чтобы ты сердился.

— Вотъ всѣ вы, женщины, таковы! всѣ вы поверхностно такъ судите! произнесъ Сергѣй Васильевичъ.— Неужто, ты думаешь, въ этомъ дѣлѣ меня сердитъ то, что срублена какая нибудь береза? Дѣло вовсе не въ березѣ; дѣло въ моральной сторонѣ вопроса. Насажай теперь этотъ мужикъ хоть сто, тысячу березъ — фактъ, фактъ его безстыдства и недобросовѣстности все-таки будетъ существовать! И, главное, знаешь ли чтò? больно, что такіе факты не исключеніе! подхватилъ онъ тономъ разсудительнымъ, хотя огорченнымъ,—да, не исключеніе! На каждомъ шагу почти встрѣчаешь поводъ къ разочарованію! Я совсѣмъ почти разочаровался! Не странно ли, въ самомъ дѣлѣ, что чѣмъ больше выказываешь снисхожденія, чѣмъ ласковѣе, внимательнѣе обходишься, тѣмъ хуже: все это обращается тебѣ же во зло... Горько со-

знаться, а это такъ! Особенно больно встрѣчать эту неблагодарность... потомъ это ханжество. Посмотри, напримѣръ: мужикъ работаетъ на барщинѣ, работаетъ онъ вяло, неохотно, точно по принужденію какому-то... ты показался, онъ сейчасъ принимаетъ другой видъ, хлопочетъ, суетится—словомъ, желаетъ показать, что радъ для тебя работать—и все такъ! вездѣ это притворство, это явное равнодушіе къ пользѣ барина, который, между тѣмъ, только и думаетъ, чтобъ сказать имъ что-нибудь ласковое. Я не требую отъ нихъ невозможнаго, не требую, напримѣръ, деликатности: деликатность есть уже слѣдствіе утонченнаго образованія, и смѣшно даже было бы ее требовать! Но не въ правѣ ли я ждать благодарности? Это чувство такъ натурально: оно уже, такъ сказать, въ самой природѣ человѣка; но даже этого чувства, именно, благодарности, я нигдѣ не встрѣчаю! А, кажется, послѣ того, что̀ я для нихъ дѣлаю... Но, впрочемъ, что̀ говорить! Дѣло въ томъ, что это ужасно! Я совершенно разочаровался! Я, право, начинаю даже падать духомъ, заключилъ Сергѣй Васильевичъ, приподымаясь съ дивана и снова принимаясь расхаживать по комнатѣ.

Александра Константиновна не возражала; къ великому сожалѣнію, она не находила ни одного факта, который, по силѣ своей, могъ бы смягчить мрачное воззрѣніе Сергѣя Васильевича и примирить его нѣсколько съ сельской жизнью; ей хотѣлось, однакожъ, его разсѣять; но какъ и чѣмъ разсѣять? Она сама хандрила, сама скучала; благодаря несносной дождливой погодѣ, сельская жизнь, о которой она такъ горячо мечтала въ Петербургѣ, начинала ей самой казаться невыносимою; она только скрывала это отъ мужа и всячески даже старалась ободрять его. Воспользовавшись минутой, когда Сергѣй Васильевичъ, продолжавшій ходить по комнатѣ, сталъ къ ней спиною, она мигнула Мери и указала ей на отца; дѣвочка тотчасъ же соскочила со стула, подбѣжала къ отцу и начала къ нему ласкаться. Сергѣй Васильевичъ остановился, но только на минуту; онъ разсѣянно провелъ рукою по головѣ ребенка, потрепалъ его за подбородокъ, раза два вздохнулъ, подошелъ къ окну и задумчиво сталъ глядѣть на дворъ.

— Serge, ты, кажется, посылалъ вчера на почту? торопливо спросила Александра Константиновна. Цѣль этого вопроса заключалась въ томъ, чтобы какъ можно ско-

рѣе оторвать мужа отъ мрачной картины двора, обмываемаго дождемъ.

— Да, я посылалъ на почту, сказалъ Сергѣй Васильевичъ, продолжая смотрѣть въ окно,—человѣку давно бы даже слѣдовало вернуться изъ города, но, вѣроятно, его задержала погода, можетъ-быть даже, благодаря милому нашему климату, самая почта запоздала: эти проселки, это ужасно!..

— Oh, j'en sais quelque chose! неожиданно воскликнула гувернантка. Она замѣтила, что во Франціи проселки вовсе не существуютъ; по словамъ ея, тамъ, гдѣ не было шоссе, или желѣзной дороги, всѣ дороги обсажены тополями, величественными кленами или виноградниками; ѣдешь какъ словно въ раю!

— Э!.. произнесъ Сергѣй Васильевичъ.

Восклицаніе было очевидно вызвано печальнымъ видомъ двора и мыслью объ окрестныхъ проселкахъ, которые еще рѣзче выставили прелесть французскихъ дорогъ, по которымъ онъ когда-то ѣздилъ. Онъ махнулъ рукою, нетерпѣливо повернулся спиною къ окну и встрѣтился съ горничной Дашей, иначе lady Furie, которая держала въ рукахъ нѣсколько конвертовъ.

— Ба! письма! вымолвилъ внезапно-оживившійся Сергѣй Васильевичъ.

— Письма! письма! des lettres! воскликнули въ одинъ голосъ остальные и радостно окружили Бѣлицына.

— Y-a-t'il quelque chose pour moi? спросила гувернантка.

— Non... Но вотъ тебѣ два письма, а вотъ мнѣ также два.

— Allons, Méry, ne dérangeons pas papa et maman...

Француженка подала руку Мери, и обѣ отправились читать Sandford et Merton. Сергѣй Васильевичъ и Александра Константиновна расположились на разныхъ диванахъ, поспѣшно сломили печати и приступили къ чтенію.

— Представь себѣ, Serge, Нина Лушковская живетъ на той самой дачѣ, которую мы занимали прошлое лѣто! сказала Бѣлицына, взглядывая на мужа.

— Неужто?.. Помнится мнѣ, Лушковскіе собирались жить на Каменномъ острову. Впрочемъ, они отлично сдѣлали, что перемѣнили намѣреніе. Я былъ всегда того мнѣнія, что для лѣта трудно найти что-нибудь лучше Петергофа...

— Еще бы! Я рѣшительно завидую Нинѣ: что̀ за пре-

лесть! Одно это море чего стòитъ! Надо согласиться, однакожъ, что если можно гдѣ-нибудь жить пріятно—все равно, какое бы ни было время года—такъ это въ Петергофѣ!.. Помнишь нашу петергофскую дачу? утромъ жили мы какъ въ деревнѣ: купались, гуляли; вечеромъ ѣздили въ Верхній садъ на музыку... всегда кого-нибудь встрѣтишь. Я никогда не забуду прошлаго лѣта! довершила Александра Константиновна, задумчиво поглядывая на окно, за которымъ шумѣлъ дождь и свистѣлъ вѣтеръ.

— Да, лѣто было прекрасное, замѣтилъ Сергѣй Васильевичъ, — можно даже сказать, замѣчательное было лѣто! Помнится, всего разъ только шелъ дождь, заключилъ онъ, углубляясь въ чтеніе письма.

— Кто это тебѣ пишетъ? спросила, послѣ минуты молчанія, Александра Константиновна.

— Сергѣй Сергѣичъ.

— Какой?

— Завадскій.

— Ахъ, да! ну чтò онъ дѣлаетъ? гдѣ онъ?

— Чтó ему дѣлается! Живетъ себѣ припѣваючи, веселится. Переѣхалъ въ Павловскъ...

— Что, кàкъ Павловскъ нынѣшнее лѣто?

— Оживленнѣе, чѣмъ когда-нибудь! пишетъ Завадскій. Княгиня Карнòвичъ давала, говоритъ, удивительный балъ, toute la société y a été... въ восторгѣ отъ Китти Курбской! Пишетъ, что завтра ѣдетъ на балъ къ Шестовымъ. Никогда, говоритъ, такъ весело не проводилъ лѣта... Впрочемъ, чтó же ему и дѣлать, если не веселиться? Вообще говоря, это одинъ изъ самыхъ положительно счастливыхъ людей: молодъ, богатъ, а главное то, что онъ не помѣщикъ. Это, по-моему, одно изъ самыхъ первыхъ условій, чтобъ быть счастливымъ—право, такъ! подхватилъ Сергѣй Васильевичъ какимъ-то апатическимъ тономъ, который даже безъ всего предыдущаго ясно могъ показать, что ему сильно прискучило Марьинское,—да, всѣ эти заботы помѣщика, зависимость его отъ какихъ-нибудь дождей и неурожаевъ, всѣ эти хозяйственныя, скучныя дрязги, наконецъ самый моральный вопросъ: отвѣтственность касательно благосостоянія крестьянъ... заботы, попеченія... заботы никогда почти не вознаграждаемыя, потому что вездѣ почти встрѣчаешь одну неблагодарность, грубость... да, все это не существуетъ для Завадскаго!.. Вотъ еще новость: Пѣтуховъ сдѣланъ камеръ-юнкеромъ! заключилъ

Сергѣй Васильевичъ глухимъ голосомъ, и снова углубился въ чтеніе письма.

Александра Константиновна не сдѣлала ни малѣйшаго замѣчанія касательно послѣдней новости; она была очень ею недовольна; письмо Завадскаго уже само по себѣ должно было усилить хандру Сергѣя Васильевича: онъ такъ привыкъ къ Петербургу, такъ любилъ его! (Александра Константиновна судила по собственнымъ своимъ чувствамъ). Очень нужно еще было писать объ успѣхахъ Пѣтухова! Впрочемъ, добродушное, бѣлокурое лицо Сергѣя Васильевича, склоненное надъ письмомъ, достаточно выражало состояніе его мыслей; оно ясно говорило о положеніи человѣка, вынужденнаго закабалить себя въ глуши и терять драгоцѣнное время. Опечаленная своими наблюденіями, Александра Константиновна рѣшилась ни слова не говорить мужу о второмъ письмѣ. Оно также было отъ молоденькой свѣтской дамы, пріятельницы Бѣлицыныхъ; свѣтская дама называла Бѣлицыныхъ пустынниками, отшельниками, описывала въ самыхъ соблазнительныхъ краскахъ дачную петербургскую жизнь, говорила, что общій голосъ ихъ кружка̀ тотъ, что для полнаго удовольствія недостаетъ только Бѣлицыныхъ; очень мило смѣялась надъ морковью, горохомъ и капустой, которыя, по словамъ ея, должны были сѣять съ утра до вечера Бѣлицыны; убѣдительно упрашивала ихъ бросить всю эту дрянь и ѣхать въ Петербургъ, чтобъ полюбоваться блескомъ мѣсяца въ Финскомъ заливѣ. Жизнь свѣтской дамы не проходила, однакожъ, въ однихъ удовольствіяхъ (такъ значилось въ концѣ ея письма); она занималась также дѣломъ: разъ въ недѣлю покидаетъ она берега Невы, отправляется въ душную столицу и лично наблюдаетъ за передѣлкою парадныхъ комнатъ въ своемъ домѣ; особенно много хлопотъ сто̀итъ ей ея гостиная, во вкусѣ Людовика XV; архитекторъ отличился—это правда; но, благодаря именно строгому выполненію стиля гостиной, слѣдуетъ украсить ее саксонскими куклами, которыя такъ рѣдки теперь. Свѣтская дама совершенно измучилась, разъѣзжая по магазинамъ. „Представьте себѣ, chère Aléxandrine (этимъ заключалось письмо ея), хлопочу съ утра до вечера, когда бываю въ городѣ, и результатомъ этихъ хлопотъ бываетъ иногда всего одна какая-нибудь куколка, а ихъ надо не менѣе сорока! jugez de mon désappointement...“

Послѣднія строчки окончательно убѣдили Александру

Константиновну не сообщать мужу о письмѣ пріятельницы; это значило бы положить палецъ на больную рану Сергѣя Васильевича, который вотъ уже третій годъ обѣщаетъ женѣ отдѣлать гостиную именно во вкусѣ Людовика XV, и каждый разъ откладываетъ это намѣреніе. Къ счастію, Сергѣй Васильевичъ не полюбопытствовалъ даже спросить объ этомъ второмъ письмѣ; у него также было свое второе письмо и, какъ казалось, ему также не хотѣлось, чтобъ жена знала о его содержаніи; желаніе это такъ было сильно, что онъ не далъ ей опомниться и торопливо вышелъ изъ комнаты. Все это было совершенно въ порядкѣ вещей: ему писалъ пріятель, общій знакомый его и жены; пріятель извѣщалъ Сергѣя Васильевича, что только-что получилъ паспортъ и ѣдетъ вмѣстѣ съ женою, дѣтьми и гувернанткой за границу. Принимая въ соображеніе собственныя чувства и стремленія, Сергѣй Васильевичъ не сомнѣвался, что жена сильно скучаетъ въ Марьинскомъ; скука ея нѣкоторымъ образомъ лежала на его совѣсти; имъ, по настоящему, точно такъ же слѣдовало бы ѣхать нынѣшнее лѣто за границу; дѣло совсѣмъ даже было рѣшено, но — увы! карточныя увлеченія помѣшали поѣздкѣ, точно такъ же, какъ помѣшали они исполнить это намѣреніе прошлое лѣто и даже лѣто третьяго года; послѣдняя зима заставила даже Сергѣя Васильевича посѣтить Марьинское и прожить тамъ лѣто... Проникнутый всѣми этими соображеніями, онъ рѣшился солгать о содержаніи письма, въ случаѣ, если спроситъ о немъ Александра Константиновна. Весьма натурально, письма эти и мысли, ими возбужденныя, способствовали только къ тому, чтобъ усилить хандру марьинскаго помѣщика.

— Monsieur a quelque chose... замѣтила въ тотъ же вечеръ француженка.

— Il est très préoccupé, возразила Александра Константиновна, но подумала въ то же время: „Боже мой! что̀ бы такое сдѣлать, чтобъ его развѣять? Бѣдный мой S·rge скучаетъ, умираетъ отъ скуки!“ Съ той же минуты она являлась передъ нимъ не иначе, какъ съ веселымъ, улыбающимся лицомъ, и всячески старалась развлекать его. Побѣда Александры Константиновны надъ собою не ускользнула отъ Сергѣя Васильевича; скука поневолѣ дѣлала его наблюдательнымъ; онъ оцѣнилъ поступокъ жены, но эта самая оцѣнка, вмѣсто того, чтобъ его порадовать, отозвалась въ душѣ его мучительнымъ рас-

каяньемъ и внутренно, еще сильнѣе, расположила къ хандрѣ: ему не переставали приходить въ голову кой-какіе промахи и карточныя увлеченія, которыя заставили его закабалить жену въ скучную деревню, вмѣсто того, чтобъ везти ее за границу. Марьинское становилось день-ото-дня невыносимѣе Сергѣю Васильевичу; вмѣстѣ съ этимъ помѣщичья жизнь являлась передъ нимъ въ самомъ невыгодномъ свѣтѣ; онъ почти не выходилъ изъ кабинета своего прадѣда, хотя погода давно разгулялась и стояли ясные, прекрасные дни; катанье въ лодкѣ, уженье, прогулки въ рощѣ, чай въ лѣсу — словомъ, всѣ увеселенія, какія только придумывала Александра Константиновна, нимало не плѣняли Сергѣя Васильевича; онъ всегда отказывался, говоря, что обремененъ занятіями. Чтобъ оправдать слова свои, онъ, дѣйствительно, разъ двадцать въ день посылалъ за старикомъ Герасимомъ. Но, Боже, какая была разница между теперешними бесѣдами Сергѣя Васильевича съ управителемъ и прежними! Въ прежнихъ бесѣдахъ вездѣ выставлялся кипучій хозяинъ, который такъ вотъ и порывался къ дѣятельности и не зналъ ей предѣла; теперешнія бесѣды имѣли характеръ апатическій и вмѣстѣ съ тѣмъ раздражительный. Ничто не дѣлалось такъ, какъ хотѣлось Сергѣю Васильевичу; духъ недовѣрія и противорѣчія проглядывалъ въ каждомъ его словѣ. Объявлялъ ли Герасимъ о томъ, что сегодня скошено десять десятинъ луга, Сергѣй Васильевичъ находилъ, что это очень мало, что мужики, вмѣсто того, чтобъ косить, играли вѣрно въ свайку или въ бабки.

— Помилуйте, сударь, возможно ли это дѣло? говорилъ Герасимъ, быстро вращая за спиною большими пальцами руки, что̀, какъ извѣстно, дѣлалъ онъ, когда находился въ недоумѣніи.

— Очень возможно! возражалъ Сергѣй Васильевичъ,— мужики всегда такъ, когда на барской работѣ: это, разумѣется, не своя работа—барская, довершилъ онъ иронически, и все въ томъ же родѣ, такъ что Герасимъ Аѳанасьевичъ, возвращаясь къ своимъ дроздамъ и чижикамъ, разводилъ только руками и заботливо потряхивалъ сѣдою гладко обстриженною головою.

„Нѣтъ, папенька не таковъ былъ!“ разсуждалъ всегда самъ съ собою старикъ,—„не таковъ былъ папенька!.. Также вельможа былъ, а между тѣмъ насчетъ, то-есть, и въ хозяйствѣ толкъ зналъ!.. былъ, примѣрно, настоящимъ

хозяиномъ... Впрочемъ, этотъ еще молодъ! По молодости, выходитъ; къ тому же и не привыкъ... а главное, выходитъ, больше по молодости!" заключалъ старикъ, носившій когда-то Сергѣя Васильевича на рукахъ и потому считавшій его очень молодымъ даже въ тридцать семь лѣтъ.

Порѣшивъ такимъ образомъ съ дѣлами, Сергѣй Васильевичъ являлся въ гостиную или на террасу, куда обыкновенно собирались вечеромъ.

— Ты, кажется, усталъ, Serge, говорила Александра Константиновна, съ нѣжнымъ участіемъ глядя на мужа, который тяжело опускался въ кресло, утирая лобъ платкомъ, и уныло вращалъ глазами.—Tu devrais te reposer, mon ami! продолжала она,—право слѣдовало бы отдохнуть! Всѣ эти хлопоты, заботы—все это тебя утомило... ты даже похудѣлъ.

— Нельзя же, душа моя, возражалъ Сергѣй Васильевичъ, подпирая голову ладонью и вздыхая, — никакъ нельзя. Безъ хлопотъ ничего на свѣтѣ не бываетъ, и, наконецъ, мое положеніе этого требуетъ... c'est pour ainsi dire, mon devoir!..

— Милый! нѣжно подхватывала Александра Константиновна, протягивая мужу руку и пожимая ее,—но все-таки я нахожу, ты слишкомъ себя безпокоишь, слишкомъ принимаешь все это къ сердцу. Послѣ того, что̀ ты сдѣлалъ для имѣнья, ты, кажется, въ правѣ отдохнуть; тебѣ необходимы развлеченья, c'est plus sérieux que tu ne le pense—такая жизнь дѣйствуетъ даже на расположеніе твоего духа. Знаешь, Serge, мнѣ даже приходитъ въ голову иногда, что ты себя пересиливаешь... tu n'est pas apprécié—ты самъ это чувствуешь; тебѣ, кажется, самая эта деревня какъ будто надоѣла...

— Мнѣ? вотъ новости! напротивъ, съ принужденнымъ удивленіемъ перебивалъ Сергѣй Васильевичъ,—я и не думаю скучать; мнѣ даже скучать здѣсь некогда... И, наконецъ, мало ли что я тебѣ говорю: le devoir avant tout! Если есть обстоятельство, которымъ я недоволенъ, которое меня безпокоитъ, такъ это то, что я тебя завезъ въ эту глушь. Вотъ ты такъ скучаешь—это несомнѣнно, и я не понимаю только...

— Чего ты не понимаешь? перебивала жена съ замѣтнымъ волненіемъ и краснѣя.

— Не понимаю, зачѣмъ ты не говоришь мнѣ объ этомъ.

— Нѣтъ, ты рѣшительно хандришь! восклицала Але-

ксандра Константиновна, дѣлая надъ собою усиліе и смѣясь.—Да знаешь ли ты, что я въ совершенномъ восхищеніи отъ деревни? Нельзя же, согласись самъ, нельзя быть всегда веселой; но въ душѣ я совершенно счастлива и наслаждаюсь. Если есть у меня забота, такъ это одно только: мнѣ именно кажется, что *ты* здѣсь скучаешь, заключила она, между тѣмъ, какъ гувернантка суетливо отходила къ окну или спускалась въ садъ и, дѣлая видъ, что разсматриваетъ гвоздику, посмѣивалась въ платокъ.

Такого рода объясненія повторялись почти каждый день между супругами. Сергѣй Васильевичъ всячески старался убѣдить жену, что *она* скучаетъ; Александра Константиновна убѣждала мужа, что сельская жизнь *ему* въ тягость; и неизвѣстно, когда бы открылась истина, можетъ-быть даже Бѣлицыны продолжали бы страшно скучать тайно другъ отъ друга до глубокой осени, если бъ одно обстоятельство не развязало этой маленькой комедіи, которую разыгрывали мужъ и жена. Какъ-то утромъ (это было въ послѣднихъ числахъ іюля) пришла баба съ больнымъ ребенкомъ. Доложили Александрѣ Константиновнѣ. Бѣлицына, съ свойственною ей добротою, на которую нимало не дѣйствовала неблагодарность крестьянъ, поспѣшила выйти въ переднюю; она заботливо освѣдомилась о болѣзни ребенка: ребенокъ вотъ уже пятый день какъ не ѣстъ, не пьетъ, жалуется на боль въ глазахъ, чешется и кричитъ благимъ матомъ. Александра Константиновна приказала раскрыть его: ребенокъ былъ красенъ какъ ракъ, только что вынутый изъ кастрюли. Въ эту самую минуту, Сергѣй Васильевичъ, гулявшій съ сигарою по залѣ, вошелъ въ переднюю. Онъ въ это утро, казалось, особенно хандрилъ. Взглянувъ на ребенка, Сергѣй Васильевичъ испустилъ восклицаніе, схватилъ жену за руку и быстро отодвинулъ ее назадъ.

— Помилуй, что̀ ты дѣлаешь! проговорилъ онъ торопливо,—Бога ради!.. у этого ребенка, кажется, скарлатинъ! Вспомни о Мери: болѣзнь эта страшно прилипчива... Ахъ, Боже мой! Бога ради, моя милая, уходи скорѣе! примолвилъ онъ, выглядывая изъ дверей залы, гдѣ, вся въ страхѣ, стояла жена его.—Не бойся, моя милая, это ничего, ребенокъ твой выздоровѣетъ... я только боюсь, чтобъ болѣзнь его не пристала къ барышнѣ. Бога ради уходи только и успокойся; я сію же минуту пошлю за докторомъ. Quelle imprudence! заключилъ онъ, возвра-

щаясь къ женѣ, которая рѣшительно не знала, что̀ съ собою дѣлать.

Онъ успокоилъ ее, сказалъ, чтобъ Мери тотчасъ же увели наверхъ и не пускали на воздухъ, позвонилъ и велѣлъ, чтобъ немедленно верховой скакалъ за докторомъ.

— Надо убѣдиться, точно ли это скарлатинъ, говорилъ Сергѣй Васильевичъ озабоченнымъ тономъ и суетливо расхаживая по всѣмъ комнатамъ.—Quelle imprudence! Quelle imprudence!.. повторялъ онъ черезъ каждыя пять минутъ.

Предоставляю вамъ судить о безпокойствѣ, которое овладѣло Бѣлицыными, когда докторъ, осмотрѣвъ больного ребенка, объявилъ, что у него точно скарлатинъ.

— Болѣзнь дѣйствительно очень прилипчива и несовсѣмъ безопасна, сказалъ докторъ.—Нѣтъ теперь сомнѣнія, что дѣти вашей деревни переболѣютъ; впрочемъ, теперь лѣто и болѣзнь легче перенести.

— Ахъ, докторъ, что вы!.. что вы!.. это ужасно меня безпокоитъ, перебилъ Сергѣй Васильевичъ.

Онъ позвонилъ и сказалъ, чтобъ тотчасъ же попросили къ нимъ Луизу Карловну.

Je viens seule, Mery a un peu mal à la tête, сказала гувернантка, весело подпрыгивая передъ докторомъ.

Александра Константиновна упала на стулъ. Сергѣй Васильевичъ всплеснулъ руками. Минуту спустя, Бѣлицыны, докторъ и гувернантка были уже наверху и стояли передъ постелью Мери.

— О, это ничего, успокойтесь, сударыня, сказалъ докторъ,—рѣшительно ничего... нѣтъ даже признаковъ никакихъ, такъ, маленькій приливъ крови къ головѣ, примолвилъ онъ, обращаясь къ Бѣлицыной, которая сидѣла какъ растерянная.

Внезапно пухлое, добродушное лицо Сергѣя Васильевича просіяло, просіяло какъ словно потолокъ раскрылся, и черты его озарились лучомъ солнца.

— Докторъ, сказалъ онъ,—докторъ, можетъ ли она выдержать дальнюю дорогу? (Тутъ онъ указалъ на Мери). Ручаетесь ли вы, что она выдержитъ путешествіе...

— Безъ сомнѣнія! сказалъ докторъ.

— Aléxandrine, мы ѣдемъ, ѣдемъ мгновенно! воскликнулъ Сергѣй Васильевичъ и, не дожидаясь возраженія, побѣжалъ внизъ отдавать приказанія.

Вмигъ все засуетилось въ домѣ; изъ дома суета перешла въ лабиринтъ, гдѣ жили дворовые, оттуда суета пере-

летѣла въ деревню. Только и слышно было кругомъ: „Господа уѣзжаютъ... ѣдутъ господа... бары въ Питеръ ѣдутъ!“

Къ вечеру, маленькая Мери весело уже прыгала подлѣ гувернантки, которая водила ее по саду прощаться съ любимыми мѣстами; это обстоятельство тотчасъ же возвратило спокойствіе Александрѣ Константиновнѣ и она дѣятельно принялась наблюдать за укладкою. Сергѣй Васильевичъ, между тѣмъ, заперся въ кабинетѣ и бесѣдовалъ съ Герасимомъ. Сначала старикъ, ошеломленный поспѣшностью отъѣзда, заикнулся было о томъ, что не лучше ли Сергѣю Васильевичу подождать посѣва; онъ намекнулъ о необходимости привести къ окончанію кой-какія хозяйственныя постройки; но Сергѣй Васильевичъ ужасно разсердился. Онъ сказалъ, что здоровье дочери для него дороже всего на свѣтѣ и проч. Впрочемъ, сердце помѣщика такъ же быстро угомонилось, какъ и закипѣло. Онъ обнялъ старика, благодарилъ его за хлопоты, трепалъ по плечу, называлъ воркуномъ и дядей, и тутъ же сообщилъ ему нѣсколько проектовъ касательно устройства Марьинскаго, проектовъ, которые онъ намѣренъ привести въ исполненіе будущее же лѣто; теперь и деньги ему нужны, да и времени у него нѣтъ этимъ заняться.

Убѣдившись окончательно въ здоровьи дочери, не сомнѣваясь теперь, что она безъ всякой опасности можетъ пуститься въ путь, Сергѣй Васильевичъ повеселѣлъ уже въ такой степени, что каждый, казалось, кто подходилъ къ нему, дѣлался тотчасъ же веселъ. Благодаря этой веселости, самый образъ мыслей помѣщика, самое воззрѣніе на предметы стали яснѣе, радушнѣе и мягче. Онъ поручилъ Герасиму благодарить крестьянъ; сказалъ, что очень доволенъ своими марьинскими мужичками; каждый изъ мужиковъ, который подходилъ къ нему въ этотъ вечеръ, оставался въ полномъ удовольствіи: одному Сергѣй Васильевичъ приказывалъ дать ржи на посѣвъ, другого снабжалъ овсомъ—словомъ, выказалъ себя истинно-благодѣтельнымъ помѣщикомъ.

На другое утро, когда къ парадному крыльцу поданы были дормезъ и сопровождавшій его тарантасъ для повара и другихъ людей, на красномъ дворѣ повторилась опять прощальная сцена между дворовыми и господами. Какъ тогда, такъ и теперь, одно изъ главныхъ дѣйствующихъ лицъ этой сцены былъ опять-таки вертлявый дво-

ровый мальчикъ съ бѣлыми, какъ ленъ, волосами и веснушками, по красному, какъ огонь, лицу; какъ ни оттирали его въ толпѣ, окружавшей помѣщиковъ, сколько ни получалъ онъ толчковъ и треуховъ, онъ все-таки протискивался впередъ, и не могла Александра Константиновна протянуть руки безъ того, чтобъ этотъ мальчикъ не припалъ къ ней съ какимъ то остервенѣлымъ азартомъ. Наконецъ Бѣлицыны усѣлись въ экипажъ. Сергѣй Васильевичъ послалъ привѣтный знакъ Герасиму, сказалъ: „прощай, старикъ!"—и лошади тронули.

Снова передъ каждой избой Марьинскаго показался народъ (кромѣ, разумѣется, избы Лапши; она до сихъ поръ была не продана и стояла пустая); снова мелькнула на солнцѣ омбрелька Александры Константиновны и соломенная шляпка Мери, которой француженка не переставала говорить: „mais saluez donc! Mery, mais saluez donc!.." и снова Сергѣй Васильевичъ и жена его не переставали посылать поклоны, одинъ на правую сторону улицы, другая—на лѣвую. Когда экипажи выѣхали за околицу и стали подыматься въ гору, Сергѣй Васильевичъ и Александра Константиновна обернулись назадъ и бросили прощальный взглядъ на домъ и на марьинскій народъ, толпившійся у околицы. Веселость, сіявшая въ чертахъ ихъ наканунѣ и въ продолженіе всего нынѣшняго утра, какъ будто на минуту пропала; они казались растроганными.

— Ces braves gens! произнесла Александра Константиновна, торопливо вынимая батистовый платокъ изъ бокового кармана.

— Да, подхватилъ прищуриваясь, Сергѣй Васильевичъ,—грѣхъ сказать, въ нашемъ положеніи... la position du seigneur... есть много утѣшительнаго.

Послѣ этого оба выразительно пожали другъ другу руку и уже веселая бесѣда о Петербургѣ, объ островахъ, дачахъ и ожидавшихъ ихъ тамъ удовольствіяхъ не прерывалась во всю дорогу.

II.

Паромъ.—Тяжелый путь.

Полдень. Солнце жжетъ невыносимо. На небѣ, раскаленномъ и сверкающемъ, такъ что смотрѣть больно, ни облачка. Отблескъ отвѣсныхъ солнечныхъ лучей на глинистой пашнѣ невольно заставляетъ щуриться и отвора-

чиваться; но всюду, куда ни устремляются утомленные глаза, всюду стелется сыпучая раскаленная почва. Воздухъ недвиженъ. Хотя пора теперь самая рабочая и весь народъ, отъ мала до велика, въ полѣ, однакожъ окрестность погружена въ мертвое, тяжелое молчаніе; сколько ни прислушивайся — живого звука почти не услышишь. Все живущее какъ словно плашмя припало куда-то, забилось, завалилось и боится поднять голову, чтобъ не спалить волосъ и не обжечь носа. Слышно только время отъ времени, какъ въ ближайшихъ межахъ и по окраинѣ дороги лопаются назрѣвшіе стручья и пострѣливаютъ своими сухими, какъ дробь, зернами. Въ настоящее время житье однимъ лишь оводамъ да мухамъ; зной такъ силенъ, что даже лошадиные хвосты движутся вяло; оводъ безнаказанно можетъ припадать къ шкурѣ своей зеленой стеклянистой головкой и вонзать свое жало въ ребро, спину и ноздри животнаго; бѣдная кляча стоитъ недвижно: растопыривъ ноги, свѣсивъ костлявую голову къ пыльной, поблекшей травѣ, она ко всему безчувственна и ни о чемъ не думаетъ; равнодушіе ея не нарушается даже присутствіемъ двухъ-трехъ грачей, которые, какъ словно почуявъ скорую добычу, Богъ-вѣсть откуда вдругъ явились, плавно расхаживаютъ и такъ лоснятся на солнцѣ, что кажутся вспотѣвшими до послѣдняго перышка. Но если такъ злы мухи и оводы, то, наоборотъ, самыя свирѣпыя собаки (кромѣ бѣшеныхъ, разумѣется) смирны теперь какъ тёлки; забившись куда-нибудь подъ навѣсъ, да тамъ еще подъ телѣгу, онѣ безотрадно вращаютъ вокругъ глазами и переносятъ изъ стороны въ сторону длинный языкъ, съ котораго каплетъ слюна. Но не только тяжко дышать подъ навѣсами и въ клѣтушкахъ, не только сохнетъ языкъ и липнетъ рубаха въ самой глухой чащѣ лѣса, жаръ донимаетъ даже подлѣ воды, у береговъ рѣкъ и даже на самой рѣкѣ. Примѣромъ этого можетъ служить паромщикъ Власъ: онъ снялъ съ себя кафтанъ, снялъ сапоги, снялъ рубашку и сѣлъ, думая, авось легче будетъ, сѣлъ, свѣсивъ ноги зá-бортъ; пробовалъ онъ также соснуть, авось часа черезъ два жаръ сбудетъ — нѣтъ, не спится, добрѐ ужъ оченно пáритъ! Отъ нечего дѣлать, вынулъ онъ изъ бокового кармана шароваръ трубочку, длиною въ палецъ и величиною въ наперстокъ, насыпалъ туда свѣжей махорки, похожей на пыль, и запалилъ; но первый глотокъ дыма обжегъ его какъ огонь; онъ плю-

нулъ, выколотилъ пепелъ въ воду и обратился къ товарищу, который лежалъ въ полушубкѣ на днѣ парома, не то спалъ, не то нѣтъ, и представлялся какимъ-то совершенно развареннымъ человѣкомъ.

— Сѣвка, сыми, говорятъ, полушубокъ-то... лѣшій! сказалъ Власъ.

Сѣвка сдвинулъ только брови и оттопырилъ нижнюю губу, чтобъ отогнать муху, которая сѣла ему на носъ.

— Чортъ! сыми полушубокъ-то... вишь, такъ легче! повторилъ Власъ, шлепая себя ладонями по обнаженнымъ ребрамъ.

— А чево его сымать-то? вымолвилъ наконецъ Сѣвка,— все одново потѣть-то.

Не только воздухъ, но самая вода, казалось, сильно нагрѣта. Неподалеку отъ того мѣста, гдѣ стоитъ паромъ, изъ-за кустовъ выбѣжала какая-то баба, боязливо оглянулась направо и налѣво, и вошла въ рѣку; пригнувшись раза два грудью къ водѣ, она снова глянула направо и налѣво, вернулась въ кусты и, одѣвшись, пошла къ ближайшему полю ржи, которую насквозь, до самаго корня, пронизывало солнечными лучами. Тамъ жужжали одни кузнечики, скакавшіе съ травки на травку и падавшіе обыкновенно каждый разъ на спинку. Что жъ касается до людей, они всѣ лежали пластомъ, подкатившись къ самому краю сжатаго хлѣба, не трогали ни однимъ членомъ и приводили на память листья хрустальнаго деревца, покрытые сверху до низу сверкающими каплями.

Къ ручьямъ отдаленныхъ лощинъ пригнали стада; но и тамъ донимаютъ ихъ солнце и ядовитыя желтыя мухи; въ затишьи, подъ кустами лозняка, тамъ, гдѣ впадаютъ ручьи въ рѣчку и гдѣ роями носятся синія и изумрудныя „коромысла“ съ кисейными крыльями, тѣсно жмется рыба; по сосѣдству, залѣзли въ воду по самое брюхо лошади и стоятъ какъ окаменѣлыя; злачная, сочная трава заливныхъ луговъ, которую скосили часа два назадъ, хруститъ уже подъ ногами, подымается ворохомъ, пучится и торчмя становится; воздухъ, напитанный земляными и растительными испареніями, которыя усиленно тянетъ солнце, такъ тяжелъ, что пыль, задѣтая подошвой, сыплется какъ песокъ; она лежитъ увѣсистой периной и подняться не можетъ; а если и подымутъ ее телѣжныя колеса, она стоитъ неподвижнымъ золотымъ облакомъ, въ которомъ захватываетъ дыханье, помрачаются мысли и ослабѣваютъ члены.

и безъ того уже обезсиленные тяжкой духотою и зноемъ. Словомъ, такая жара — дѣваться некуда; залѣзъ бы, кажется, на дно колодца, обложилъ бы себя льдомъ и сидѣлъ бы тамъ до солнечнаго заката!

Ясно, что въ этотъ знойный полдень, одна горькая неволя или крайняя нужда могли заставить человѣка идти или ѣхать. Не знаю, та или другая причина понуждала знакомыхъ намъ нищихъ, но только именно въ эту пору можно было ихъ встрѣтить на дорогѣ къ большой рѣкѣ и парому, о которомъ мы вскользь упомянули. Они, впрочемъ, медленно подвигались; всѣ молчали; изрѣдка развѣ тотъ или другой перекидывался словомъ. Даже самъ весельчакъ, слѣпой Фуфаевъ, пріунылъ казалось; но не усталость и, еще менѣе, жаръ дѣйствовали на неутомимую веселость Фуфаева. Жаръ внутренній, который почти всегда поддерживалъ въ себѣ слѣпой съ помощью крѣпкихъ напитковъ (добываніе ихъ было, можно сказать, единственною цѣлью его существованія), жаръ этотъ былъ всегда такъ силенъ, что Фуфаевъ оставался уже нечувствителенъ къ наружному. Меланхолія Фуфаева (если только можно назвать этимъ словомъ настроеніе духа, возбуждавшее въ слѣпомъ неодолимое желаніе расплюснуть кулакомъ посъ Верстана), меланхолія его истекала изъ другихъ причинъ. Ему не шутя становилось жаль вожака своего Мишку, который изнемогалъ положительно. Бѣдный мальчикъ едва-едва передвигалъ ногами, а между тѣмъ, слѣпой съ утра еще освободилъ его отъ сумы и полушубка; Фуфаевъ несъ все это на плечахъ своихъ; нѣсколько разъ принужденъ онъ былъ брать въ охапку самого ребенка и нести его заодно съ мѣшками. Фуфаевъ съ самаго утра нещадно ругалъ Верстана, неоднократно убѣждалъ его обождать хоть одинъ день и принять въ разсужденіе ослабѣвшаго, хвораго мальчика—все было напрасно.

— Оставайся, пожалуй, говорилъ Верстанъ,—а мы пойдемъ: намъ недосугъ...

Фуфаевъ никакъ не могъ оставаться одинъ; что̀ сталъ бы онъ дѣлать безъ Верстана, да еще съ больнымъ вожакомъ? Не будь онъ слѣпъ, ну, тогда другое дѣло. Въ теперешнемъ положеніи его это было невозможно, тѣмъ болѣе невозможно, что и дядя Мизгирь былъ на сторонѣ Верстана.

— Ну, Мишка, говорилъ Фуфаевъ каждый разъ, какъ съ мальчикомъ дѣлалось что-то въ родѣ дурноты и онъ

вынужденъ былъ брать его на руки или взваливать на спину, при чемъ пухлое лицо слѣпого дѣлалось багровымъ и потъ лилъ ручьями,—ну, Мишутка, хошь тяжесть въ тебѣ не пуще велика, корка одна, въ чемъ только душа держитъ! и все одно, связалъ ты меня... шибко связалъ! будешь ли помнить мою родительскую заботу — а? будешь ли, пострѣлъ, поминать меня, какъ помру?

— Смотри, не тебѣ ли придется поминать его: это дѣло вѣрнѣе будетъ! примолвилъ Верстанъ, черты котораго, набитыя пылью, казались еще жестче и суровѣе. — Ну, ты, полно тебѣ оборачиваться-то, аль самъ упасть собираешься? я вѣдь не понесу, какъ разъ на дорогѣ брошу! заключалъ послѣ каждой рѣчи нищій, понукая Петю, который плелся впереди и время отъ времени останавливался, чтобъ обратить къ бѣдному, изнемогающему товарищу покрытое потомъ лицо (впрочемъ, трудно было разобрать, потъ или слезы такъ обильно текли по щекамъ Пети).

Во всей этой компаніи всѣхъ покорнѣе и спокойнѣе былъ дядя Мизгирь. Жаръ на него какъ будто не дѣйствовалъ; впрочемъ, и дѣйствовать было не на что: однѣ сухія кости, прикрытыя сухою кожей! Ходьба во всякое время года, во всякую пору — была ему въ привычку. И думать ему обо всемъ этомъ было даже некогда; мысли его неотлучно прикованы были къ онучѣ лѣвой ноги, скрывавшей драгоцѣнныя ассигнаціи и деньги, которыя такъ плѣняли Верстана и о которыхъ Верстанъ думалъ даже въ настоящую минуту; но дядя Мизгирь не подозрѣвалъ этого; онъ чувствовалъ только—и пріятно было ему это чувство—что серебряные рубли его сильно понагрѣло солнцемъ, даже сквозь онучи, и заключалъ изъ этого, что солнце, должно быть, припекло добрѐ дюжѐ.

— Дѣдушка! воскликнулъ неожиданно Петя, глядѣвшій нѣсколько минутъ въ бокъ по направленію къ Фуфаеву,—дѣдушка, Миша опять валится!..

— О, собаки васъ ѣшь! проворчалъ Верстанъ, досадливо стуча дубиной въ землю.

— Эй, слышь, стой! погоди! крикнулъ въ то же время Фуфаевъ, подхватывая Мишу, который безъ чувствъ упалъ ему на руки,—эка напасть!.. эй, слышь, Мишка... слышь, вставай!.. вѣдь я те взаправду брошу...

— Дѣдушка, касатикъ! дѣдушка, не бросай! мы вмѣстѣ его понесемъ... онъ скоро очнется... опять пойдетъ! закри-

чалъ Петя, забывая въ эту минуту весь страхъ, внушаемый Верстаномъ, и бросаясь къ Фуфаеву.

— Назадъ! сурово произнесъ Верстанъ.

Петя остановился, какъ вкопанный; глаза его, полные слезъ, съ мольбою устремились къ Верстану, но онъ ничего не посмѣлъ сказать ему; онъ не посмѣлъ даже громко заплакать и стоялъ, плотно сжавъ губы, которыя судорожно изгибались. Такъ какъ угроза оставить мальчика на дорогѣ, угроза, вырвавшаяся у слѣпого въ первую минуту досады, нисколько не подѣйствовала на то, чтобъ привести въ чувство Мишу, Фуфаевъ ощупалъ палкой окраину дороги и посадилъ на нее мальчика. Голова мальчика опрокинулась назадъ; онъ опустился на траву; мертвенная блѣдность покрывала лицо его, на которомъ не было признака жизни; однѣ тонкія ноздри слегка вздрагивали; зубы ребенка были плотно стиснуты; кой-гдѣ на губахъ виднѣлись слѣды запекшейся крови.

— Ну, что, долго ли намъ такъ стоять-то? произнесъ Верстанъ, выглядывая изъ-подъ шершавыхъ, мрачно нависшихъ бровей.

— Эхъ!.. эхъ-ма!.. слышь... какъ быть-то? вымолвилъ Фуфаевъ, который, быть-можетъ, первый разъ въ жизни не чувствовалъ потребности выкинуть какую-нибудь скоморошную штуку.

— Говорилъ, не бери! говорилъ: не по насъ малый-то! не осилитъ—ничего, молъ, нестоющій! сказалъ Верстанъ.

— Да кто жъ его зналъ! Эхъ, слышь, какъ быть-то? слышь, подхватилъ Фуфаевъ, — не бросить же его взаправду на дорогѣ... вѣдь христіанская душа-то!.. Сколько, сказывалъ ты, до ярманки, куда идти-то надо?

— Тридцать верстъ безъ малаго отъ перевоза...

— Мы, слышь, дядя, вотъ какъ сдѣлаемъ, быстро заговорилъ Фуфаевъ,—рѣку переѣдемъ, въ первой деревнѣ отдадимъ его. Можетъ, и такъ возьмутъ, а коли не возьмутъ, пожалуй, десять копеекъ отдамъ—послѣднія! отдамъ его, примѣрно, на сохраненіе. А мы, слышь, тѣмъ временемъ по окружности походимъ. Тридцать верстъ, не конецъ свѣта, поспѣемъ! и ярманка вѣдь не завтра... тѣмъ временемъ ему авось полегчитъ... мы, какъ идти намъ на ярманку, опять его возьмемъ—ладно что ли?

— Нѣтъ, не ладно; ладно по-твоему, а по-моему нѣтъ, возразилъ старый нищій,—ты жди, пожалуй, а намъ недосугъ...

— Намъ недосугъ, повторилъ съ крайне озабоченнымъ видомъ дядя Мизгирь, которому точно такъ же хотѣлось скорѣе попасть на ярмарку, чтобъ успѣть занять выгодное мѣсто на церковной паперти, куда обыкновенно стремятся нищіе и гдѣ жатва всего обильнѣе.

— Эхъ, лѣшій васъ ломай!.. А ты, старый хрычъ, пропадешь какъ собака!.. какъ собаку задавятъ за твои же деньги!.. крикнулъ Фуфаевъ, двигая своими бѣлыми зрачками, между тѣмъ какъ Петя, стоявшій на прежнемъ своемъ мѣстѣ, не отрывалъ глазъ отъ маленькаго товарища и рыдалъ теперь во весь голосъ.

— Чего ты?.. вишь жалостливъ больно! чего нюни-то распустилъ? ступай! сказалъ Верстанъ, толкая его впередъ.

Видя, что дѣлать было нечего, Верстана не усовѣстишь, не уломаешь, Фуфаевъ поднялъ Мишу на руки, крякнулъ и поплелся за товарищами, не переставая посылать проклятія дорогѣ, жарѣ, мальчику, нищимъ и даже—совершенно неизвѣстно за что — своей собственной особѣ. Такимъ образомъ, почти незамѣтно стали они приближаться къ рѣкѣ; близость ея сказывалась тѣмъ, что грунтъ дѣлался постепенно рыхлѣе, сыпучѣе и мѣстами превращался въ песокъ. Кое-гдѣ попадались исполинскія столѣтнія ветлы съ корнями, глядѣвшими изъ земли; эти корни и мелкія бѣлыя раковины, все чаще хрустѣвшія подъ ногами, говорили, что рѣка захватывала эти мѣста въ половодье; вмѣстѣ съ этимъ все выше и выше подымался отдаленный нагорный берегъ, казавшійся совершенно синимъ, и только снизу, у подошвы, принимающій бѣловатый отблескъ рѣки, которую скрывала линія ближайшаго горизонта. Фуфаевъ, все еще державшій мальчика, ускорилъ вдругъ шагъ и выровнялся съ Верстаномъ.

— Постой! сказалъ слѣпой, — слышь, никакъ телѣги ѣдутъ! подхватилъ онъ, оборачивая назадъ голову, — повремени маленько, я попрошу, чтобъ посадили Мишку...

— Чего его сажать-то... вотъ ужъ рѣка, почитай, видна, и такъ дойдешь! вымолвилъ Верстанъ.

— Песокъ, братъ... измаялся... инда не подъ силу... сказалъ, покрякивая, Фуфаевъ.

Верстанъ засмѣялся. Не дожидаясь другого отвѣта, слѣпой торопливо, но бережно опустилъ на землю Мишу, вѣки котораго начали вздрагивать и слегка открываться. Шумъ колесъ по дорогѣ, заслышанный чуткимъ ухомъ Фуфаева, начиналъ приближаться.

— Да это не телѣги, сказалъ онъ,—бубенчики гремятъ, должно-быть, бары...

При словѣ „бары“ Верстанъ, а за нимъ дядя Мизгирь устремили глаза на дорогу. Сначала видно было только густое, тяжелое облако пыли; минуты черезъ двѣ, однакожъ, явственно обозначились въ немъ лошади, форейторъ и два экипажа, слѣдовавшіе одинъ за другимъ.

— Шестерикъ! воскликнули на разные голоса и въ одно и то же время оба старика, — ну, ребятишки, становись, дружно смотри... А ты чего зѣваешь? примолвилъ Верстанъ, толкая Петю, который жадно слѣдилъ за каждымъ движеніемъ Миши, начинавшаго приходить въ чувство.

Каждый разъ, какъ съ Мишей дѣлалась дурнота, Петѣ не шутя представлялось, что онъ умираетъ; но зато, какъ только мальчикъ открывалъ глаза, Петей овладѣвала такая радость, какъ будто онъ получалъ увѣренность, что Миша окончательно уже выздоровѣлъ и теперь съ нимъ ничего больше не случится; увидя его сидящаго, съ открытыми глазами, Петя весело кивнулъ ему головою и поспѣшилъ ухватить конецъ палки, которую подавалъ Верстанъ, смотрѣвшій на приближавшіеся экипажи прищуренными глазами, готовыми сію же секунду закрыться. Дядя Мизгирь стоялъ подлѣ; сѣдая голова его свѣсилась на бокъ, спина согнулась подъ бременемъ пустого мѣшка, ноги перекосились; каждый, взглянувшій на него, не усомнился бы, что онъ, ко всей своей дряхлости, еще слѣпъ отъ рожденія. Путешественники были уже въ десяти шагахъ; но о приближеніи можно было заключить по топу и фырканью лошадей, хлестанью кнута и крику людей; все остальное — и люди, и лошади, и экипажъ, исчезали въ непроницаемомъ облакѣ пыли, надъ которымъ, однакожъ, какъ олимпійское божество совершенно новаго рода, подпрыгивалъ дюжій форейторъ.

— Начинай! шепнулъ Верстанъ.

> Отцы наши ми-и лостивцы!..
> Къ стопамъ ва-а-шимъ па-а-даемъ!
> Съ убожествомъ, съ немочью...

хватили нищіе всѣ хоромъ, въ которомъ особенно отличались козлячій голосъ Фуфаева и тоненькій, какъ свирѣль, голосокъ Пети.

Почти въ ту же секунду открылась шестерка заморенныхъ, едва переводящихъ духъ лошадей, припряженныхъ въ дормёзъ, и, какъ тотчасъ же оказалось, въ дормезъ

Бѣлицыныхъ. Но напрасно надрывались нищіе, захватывая при каждой нотѣ глотокъ ѣдкой пыли; окна дормёза были подняты; даже зеленыя тафтяныя шторы за окнами были опущены. Сергѣй Васильевичъ, Александра Константиновна, гувернантка и Мери не могли видѣть нищихъ; они слышали только какое-то дикое пѣніе и вовсе не любопытствовали узнать, что̀ это было такое: они задыхались отъ жара. Но болѣе всѣхъ очевидно страдала Даша, камеристка Александры Константиновны; она сидѣла въ наружномъ мѣстѣ, позади дормеза, и не переставала чихать и фыркать, при чемъ слои пыли, лежавшіе на ея шляпкѣ и прическѣ à la Margot, подымались клубами надъ ея аристократической головой. Видъ неряшливой одежды производилъ на нее непріятное дѣйствіе даже въ хорошемъ расположеніи духа; можете себѣ представить, какое впечатлѣніе производили на нее нищіе, когда она болѣе чѣмъ когда-нибудь оправдывала названіе lady Furie; она отвернулась даже съ отвращеніемъ. Нищіе ничего также не получили изъ тарантаса, гдѣ находились поваръ и два лакея; всѣхъ трехъ страшно растрясло, и они были сильно не въ духѣ.

— Ничего не подали? спросилъ Верстанъ, раскрывая глаза.

— Ничего! сказалъ Мизгирь, злобно слѣдя за проѣхавшимъ тарантасомъ.

— Бары? спросилъ Фуфаевъ.

— Бары.

— Ишь ихъ, въ какую пору поѣхали! Вотъ ужъ подлинно... замѣтилъ, потряхивая головою, Фуфаевъ.

— Вотъ что, братцы, заговорилъ вдругъ дядя Мизгирь,—пойдемте-ка скорѣе къ перевозу: можетъ, они тамъ подадутъ, можетъ вылѣзать станутъ на паромѣ-то...

— И то, пойдемте, подхватилъ Верстанъ,—неравно безъ насъ рѣку-то переѣдутъ, парома тогда не дождешься...

Сказавъ это, онъ сунулъ конецъ палки въ руку Пети и пошелъ ускореннымъ шагомъ, за нимъ поплелись и остальные, не выключая Миши, который немножко поправился силами. Когда они подошли къ берегу, гдѣ устроена была пристань, оба экипажа находились ужъ на паромѣ; дверца дормеза была открыта; на нижней подножкѣ стоялъ Сергѣй Васильевичъ и весело покуривалъ сигарку; знакомый намъ перевозчикъ, Власъ, хлопоталъ около причала; онъ былъ, разумѣется, въ рубашкѣ и даже, совершенно

неизвѣстно по какому поводу, надѣлъ наверхъ ея подобіе жилета, съ одной синей стеклянной пуговицей; товарищъ его, Савка, наоборотъ, стоялъ теперь безъ полушубка, въ одной рубашкѣ и шароварахъ; онъ держался за канатъ и готовился тянуть съ людьми Бѣлицыныхъ.

— Эй, братъ, погоди... Дай намъ стать-то! сказалъ Верстанъ, подходя къ самому плотику.

— Отваливай, отваливай! безъ васъ тѣсно... вишь, господа ѣдутъ, сказалъ Власъ.

— Пусти ихъ, пусти! они намъ не мѣшаютъ! ласково вымолвилъ Сергѣй Васильевичъ.

Такъ какъ нищіе снова ослѣпли, Петя привелъ каждаго поочередно на паромъ; поставивъ ихъ рядомъ на помостѣ онъ отошелъ къ Мишѣ, который сильно закашлялся.

— Трогай! сказалъ Сергѣй Васильевичъ.

Паро̀мъ оторвался отъ берега.

— Oh! les pauvres malheureux! воскликнули въ одинъ голосъ Александра Константиновна и гувернантка, выглядывая изъ кареты и устремляя глаза на нищихъ.

— Vois, maman, et ces petits garçons! сказала Мери, стоявшая между матерью и француженкой съ бомбоньеркою въ рукахъ.

Сергѣй Васильевичъ пустилъ на воздухъ клубъ дыма и посмотрѣлъ на нищихъ.

— Знаешь ли, Serge, нищіе эти невольно напоминаютъ мнѣ исторію съ этимъ мальчикомъ, котораго увели у насъ—помнишь? Мужика звали, кажется Тимоѳеемъ, сказала Бѣлицына, наклоняясь къ мужу.

— Oh, ce pauvre Timothée! où est-il? вздохнувъ и возведя глаза къ небу, спросила француженка.

— Timothée! mademoiselle, est plus heureux que nous à présent, весело отвѣтилъ Сергѣй Васильевичъ, пуская новый клубъ дыма.—Вотъ мы теперь печемся на солнцѣ, не знаемъ куда отъ жары дѣваться, а онъ—il hume l'air pur et frais des prairies!..

— Поговори съ ними, Serge, сказала Бѣлицына, прикасаясь къ рукѣ мужа и указывая на нищихъ.

— Откуда вы? спросилъ Сергѣй Васильевичъ.

— Пристанища у насъ нѣтути, касатикъ, отвѣчалъ Верстанъ жалобнымъ голосомъ, который такъ же шелъ къ нему, какъ розы къ медвѣдю,—ничего у насъ нѣтъ... отецъ милостивый!.. такъ ходимъ побираемся...

— Откуда у васъ эти мальчики? спросилъ Сергѣй Васильевичъ.

— Свои, кормилецъ, отвѣчалъ тѣмъ же тономъ Верстанъ, — одинъ, большенькій-то, внучекъ мнѣ, внучекъ, родимый!.. другой племянникъ... товарища... старичка слѣпенькаго...

— Какой маленькій, этотъ черненькій мальчикъ! сказала Бѣлицына, указывая на Петю, — tout à fait la tête du petit mendiant de Murillo...

— Который тебѣ годъ? вымолвилъ Сергѣй Васильевичъ, подставивъ ладонь подъ подбородокъ Пети.

— Десятый, кормилецъ... десятый... простоналъ дядя Мизгирь, лѣзшій изъ кожи, чтобъ возбудить состраданіе.

— Et l'autre!.. Ah mon Dieu, comme il a l'air souffrant, le pauvre!.. вымолвила гувернантка, кивая головю на Мишу, который, по всей справедливости, долженъ былъ бы прежде другихъ обратить на себя вниманіе сострадательной особы; но онъ былъ такой маленькій, тщедушный и некрасивый, что его легко можно было вовсе не замѣтить; онъ сидѣлъ на помостѣ парома, прислонивъ голову къ доскѣ; онъ собственно никуда не глядѣлъ, ни о чемъ не думалъ, хотя глаза его были полны блеска и мысли; болѣзненное, изнуренное лицо ребенка было серьезно, какъ словно онъ давно обдумалъ что-то и принялъ какую-то рѣшимость; закрой онъ глаза и перестань кашлять, его легко можно было принять за мертваго—такъ блѣдны были черты его и такъ сухи пальцы рукъ и босыя ноги.

— А этотъ мальчикъ у васъ, кажется, нездоровъ... что̀ съ нимъ? сказалъ Сергѣй Васильевичъ.

— А Господь вѣдаетъ, родимый... на грудь все жалуется... болитъ, стало-быть.

— Въ такомъ случаѣ не слѣдовало вамъ брать его, дома надо было оставить!.. сказалъ Бѣлицынъ,—охъ, да впрочемъ, я забылъ, что у васъ нѣтъ дома... Ну, все равно, надо было отдать его въ больницу, лѣчить надо. Вотъ то-то, всѣ вы такъ, не хотите лѣчиться, а потомъ плачете, довершилъ онъ.

— Слышь, баринъ, ваше благородіе, кабы слова помогали, мы бы давно его вылѣчили! хотѣнья-то нашего мало; за лѣкарство-то деньги требуютъ, совершенно неожиданно и скороговоркою произнесъ Фуфаевъ; вообще въ этотъ день онъ былъ особенно не въ духѣ.

— Ты ошибаешься, мой милый, назидательно подхва-

тилъ Сергѣй Васильевичъ,—не всегда требуютъ денегъ... Мало ли есть на свѣтѣ добрыхъ людей, которые всегда рады помочь бѣдному, неимущему.

— Знамо есть, баринъ, ваше благородіе, какъ не быть! не совсѣмъ учтиво перебилъ Фуфаевъ,—да гдѣ ихъ искать-то?.. Мы, вѣдь, слѣпые, проглядимъ, а сами не сказываются.

— Il m'a l'air fort grossier cet homme, сказала француженка.

— Oui, il a une mauvaise figure, особенно сравнительно съ лицами двухъ другихъ стариковъ, замѣтила Бѣлицына, между тѣмъ, какъ мужъ ея пощупывалъ деньги въ жилетномъ карманѣ.

— Нате вамъ, возьмите, вымолвилъ онъ, подходя къ троимъ нищимъ и давая каждому по полтиннику.

— Продли вѣки ваши...

— Продли вѣки ваши! и вашихъ дѣтокъ! быстро перебилъ дядя Мизгирь, какъ только ощупалъ полтинникъ,— создай вамъ Господь...

— Спасибо, спасибо! нѐ за что, мои милые... очень радъ, очень, проговорилъ Сергѣй Васильевичъ, стараясь, но тщетно, раскурить потухшую сигару.

Александра Константиновна замѣтила, что надо будетъ дать что-нибудь мальчикамъ; что деньги возьмутъ нищіе, а мальчикамъ отъ этого ровно ничего не прибудетъ. Мери торопливо предложила свои конфеты.

— Oh, cette chère enfant! умиленно проговорила бордоская уроженка.

— Что жъ, это очень хорошая мысль. Serge, дай имъ конфетъ... это пастилки à la Montpensier, cela leur rafraichira la bouche... теперь же такъ жарко, справедливо замѣтила Бѣлицына.

Сергѣй Васильевичъ далъ нѣсколько конфетъ мальчикамъ, съ наставленіемъ не грызть ихъ, а держать во рту, пока не растаетъ. Почти въ то же время паромъ коснулся нагорнаго берега. Сергѣй Васильевичъ подалъ руку женѣ, потомъ гувернанткѣ и поочередно высадилъ ихъ изъ экипажа; камердинеръ взялъ на руки Мери, всѣ трое стали пробираться по доскѣ, перекинутой вмѣсто моста между бортомъ парома и берегомъ.

— Maman, я пѣшкомъ побѣгу на эту гору, сказала Мери, какъ только поставили ее на землю.

— Помилуй, что ты! что ты! въ такую жару... il y a de quoi se rendre malade... rien que d'y penser!

— Не думаешь ли ты, что я тебя пущу пѣшкомъ! смѣясь, замѣтилъ Сергѣй Васильевичъ, обратясь къ женѣ,— нѣтъ, извольте-ка садиться. Ты взгляни только, что это такое... это ужасъ! Dieu, quelle route! quelle route! Садитесь, садитесь, все готово!

Сергѣй Васильевичъ усадилъ дочку, жену, гувернантку, самъ сѣлъ, дверцы захлопнулись, зеленыя шторки снова опустились, и дормезъ, подхваченный отдохнувшей немного шестерней, покатилъ въ гору въ сопровожденіи тарантаса.

Немного погодя онъ вовсе исчезъ за поворотомъ, оставивъ только послѣ себя клубъ пыли. Ступивъ на берегъ, нищіе ни минуты не останавливались для отдыха: довольно отдохнули на паромѣ. Они продолжали путь; къ тому же, не стоило останавливаться; по словамъ Власа, къ которому обратились они, до ближайшей деревушки была верста; какъ подымешься въ гору—тутъ тебѣ деревня и будетъ! Деревня была точно недалеко, хотя и не такъ близко, какъ говорилъ Власъ. Поднявшись на гору, нищіе (которые опять, разумѣется, прозрѣли, кромѣ Фуфаева) увидали вдалекѣ, на днѣ долины, соломенныя крышки избушекъ. Они ускорили шагъ. Пришли они, однакожъ, къ цѣли своей не такъ скоро, какъ думали: ихъ снова задержалъ Миша. Тяжелое ли подыманье въ гору замучило мальчика, или ужъ такъ, крѣпко очень заѣла его болѣзнь, но только едва поднялись они на гору, онъ зашатался и упалъ на дорогу.

— Стой! стой! неистово закричалъ Фуфаевъ. — Эхъ! ахъ!.. эка напасть!.. да что жъ это, право?.. эхъ, нелегкая тебя побери, право!.. вставай, не то брошу!

— Дѣдушка... слабымъ, едва внятнымъ голосомъ проговорилъ Миша, приподымая голову и возводя потускнѣвшіе, умоляющіе глаза на слѣпого,—дѣ-ду-ш-ка!..

— Дѣдушка! закричалъ, что было мочи, Петя, бросаясь къ Фуфаеву и обхватывая его руками,—дѣдушка!.. Онъ не могъ договорить и вдругъ громко, отчаянно зарыдалъ.

— Да что вы, проклятые, сговорились, что ли? сурово заголосилъ Верстанъ, подходя къ Фуфаеву,—что ты его слушаешь-то... возьми-ка, да хорошенько его.

— Оставь, незамай! вымолвилъ слѣпой, отталкивая нищаго.

Въ настоящую минуту Фуфаевъ никакъ бы не посмѣлъ

поступить такимъ образомъ съ Верстаномъ, если бъ помнилъ, что̀ дѣлалъ; онъ былъ страшно вспыльчивъ по природѣ и бѣшенство отуманивало его мысли. Отпихнувъ Верстана, онъ ударилъ себя съ такою силою обоими кулаками, что даже шапка его слетѣла; это обстоятельство доставило ему случай схватить себя за волосы. Этимъ и окончилась вспышка.

— Стой, дядя! вымолвилъ онъ, дѣлая шагъ къ нищему,—уговоръ лучше денегъ...

— Ну тебя совсѣмъ!..

— Да ты дай прежде сказать-то... слышь, полтинникъ, что̀ мнѣ дали бары...

Верстанъ сдѣлался внимательнѣе. Дядя Мизгирь, равнодушный зритель всего происходившаго, насторожилъ слухъ.

— Полтинникъ, слышь, что̀ бары дали, продолжалъ Фуфаевъ, — вамъ обоимъ отдамъ, пополамъ раздѣлите, по четвертаку, стало, на брата; пусть, значитъ, вамъ и ярманка вся, потому, больше не соберешь, и легче: ходить не надо... Мы лучше по округѣ походимъ денекъ-другой, а тѣмъ временемъ я вотъ парнишку, примѣрно, въ избу какую опредѣлю; онъ тѣмъ временемъ воздохнетъ... дюже добре́ хвороба-то его заѣла... ему, можетъ, завтра полегчитъ... Опять же, значитъ, ярманка отъ насъ не ушла, хошь и попозже, а все прійдемъ... ну, такъ, что ли?

— Ну, давай...

— Нѣтъ, погоди, экой прыткой какой!.. ты прежде по-моему сдѣлай, какъ я, примѣрно, сказывалъ.

— Ну, а какъ ты да не отдашь потомъ?

— Ну, нѣтъ, братъ, мое слово крѣпко, испытанное! Двадцать лѣтъ со мной знаешься, обчелъ ли я тебя на копейку—ась? То-то же и есть! Ну, такъ ладно стало?

— Ужъ что жъ, Верстанъ, сдѣлаемъ ему въ уваженье, промямлилъ Мизгирь голосомъ, который обсахаривался при мысли о добытомъ безъ труда четвертакѣ.

— Ну, ладно! произнесъ Верстанъ, при чемъ Петя, слушавшій все это съ мучительнымъ замираніемъ сердца, повернулся вдругъ спиной къ нищимъ и принялся скоро-скоро креститься мокрыми своими пальцами.

Минуту спустя, нищіе продолжали путь, подсобляя поочередно Фуфаеву нести больного, почти умирающаго мальчика. Не знаю, какія слова произносилъ Петя, когда, ставъ спиною къ нищимъ, такъ сильно прижималъ онъ пальцы къ груди своей, такъ пристально смотрѣлъ въ безоблач-

ное небо и такъ скоро-скоро крестился. Но какія бы ни были эти слова и какъ ни проста была мысль, ихъ внушавшая, мы не сомнѣваемся, что скорѣе многихъ другихъ мыслей дойдутъ они до престола Всевышняго... Мы твердо вѣримъ, что тѣмъ или другимъ способомъ, но скоро, скоро должна облегчиться горькая участь ребенка, за котораго такъ горячо, такъ усердно просилъ Господа другой ребенокъ, маленькій товарищъ Миши...

III.

Предчувствіе.

Деревня, куда направлялись нищіе и которая, по словамъ паромщика Власа, отстояла отъ перевоза всего съ версту, находилась, во-первыхъ, въ четырехъ верстахъ, а во-вторыхъ, была весьма незначительна. Ее составляли десятокъ избъ, криво и косо лѣпившихся по обѣимъ сторонамъ пустынной улицы. Низменное положеніе улицы на днѣ лощины должно было подвергать ее весною совершенному потопу: она превращалась въ одну огромную, стоячую лужу, въ которой, почти до исхода мая, весело барахтались утки и ребятишки. Теперь не было слѣда воды или грязи, но зато изъ конца въ конецъ лежалъ сплошной слой рыжеватой пыли.

Благодаря ли пыли, заглушавшей шаги, или тому, наконецъ, что народонаселеніе, отъ людей до животныхъ, находилось въ полѣ, нищіе не были встрѣчены лаемъ собакъ. Въ деревнѣ, которую, какъ оказалось потомъ по разспросамъ, прозывали „Пустой Кожухъ, Прокислово тожъ", царствовало мертвое молчаніе; перелетали развѣ воробьи, чиликавшіе за плетнями, или дѣлавшіе видъ, что купаются въ пыли; иногда появлялся общипанный, безхвостый пѣтухъ весьма гордаго, самонадѣяннаго вида; но и тотъ оставался недолго: сдѣлавъ два-три величественные шага, онъ со всѣхъ ногъ бросался вдругъ подъ ворота, какъ будто приходила ему неожиданно блестящая мысль, и онъ спѣшилъ сообщить ее курицамъ, глухо кудахтавшимъ въ сосѣднемъ огородѣ.

— Ну, здѣсь плохая пожива! Собакъ, и тѣхъ нѣтъ: всѣ, стало быть, въ полѣ, промолвилъ Верстанъ, оглядываясь кругомъ, что дѣлалъ и дядя Мизгирь, остававшійся повидимому очень недовольнымъ Пустымъ Кожухомъ, Прокисловымъ тожъ.

— Ужъ все кто-нибудь да есть; старика какого, либо старуху, все докличемся, сказалъ Фуфаевъ, отирая ладонью багровое лицо свое.—Ну, вотъ, Мишутка, вотъ и пришли! отлегло маненько—ась? подхватилъ онъ, обращая бѣлые зрачки свои къ мальчику, который полчаса какъ очнулся.

Миша стоялъ, уперевъ конецъ палки въ землю; обхвативъ другой конецъ обѣими руками, опустивъ голову, подогнувъ худенькія ноги, онъ дошелъ, казалось, до крайней степени изнеможенія. Услышавъ голосъ хозяина, онъ медленно поднялъ голову съ висѣвшими книзу волосами, устремилъ на него тусклый взоръ и хотѣлъ сказать что-то, но, вмѣсто словъ, опять послышался хриплый кашель, похожій на шуршуканье сухихъ листьевъ.

— Ну, ничего, вотъ теперь и воздохнешь... оно, слышь, и пройдетъ. Теперь недалеко, пойдемъ! вымолвилъ Фуфаевъ, направляясь по голосу къ Верстану.

Петя подвелъ Верстана къ крайней избѣ и, по приказанію его, постучалъ палкой въ оконную раму. Никакого не было отвѣта; стукъ повторился въ другой и третій разъ—и также безъ пользы: никто даже не шелохнулся. Верстанъ, конечно, не остановился бы на этомъ—онъ бы не прочь былъ заглянуть во дворъ, охотно проникъ бы въ клѣть, оттуда вошелъ бы въ избу и, нѣтъ сомнѣнія, не пропустилъ бы случая полюбопытствовать, не находится ли пригодной какой вещи въ сундучкѣ, подъ лавкой; но наобумъ, безъ толку, никакъ не хотѣлось соваться: легко могло быть, что въ которомъ-нибудь изъ противоположныхъ оконъ торчали чьи-нибудь глаза. Онъ велѣлъ Петѣ идти къ сосѣдней избѣ; но и здѣсь точно такъ же не добились они толку.

— Что за дьяволъ! куда они всѣ попрятались? проговорилъ нищій, толкая Петю, чтобъ онъ шелъ дальше.

— Погоди, идутъ... слышу! сказалъ Фуфаевъ, который былъ до того чутокъ, что слышалъ, какъ самъ онъ выражался, какъ пухъ о пухъ стукается.

Фуфаевъ не ошибался: за воротами, на крылечкѣ двора, дѣйствительно, послышались медленные шаги; немного погодя, зазвучало желѣзное колечко въ калиткѣ; калитка пронзительно взвизгнула и пропустила сѣдого какъ лунь, сгорбленнаго старика; сначала можно было думать, онъ согнулся въ три погибели, чтобъ пройти въ калитку, устроенную какъ бы для ребятишекъ, но старикъ такъ и

остался: онъ былъ сведенъ какою-то болѣзнью и всегда сохранялъ видъ человѣка, съ трудомъ проходящаго въ низенькую калитку.

— Чего надо? проговорилъ онъ писклйвымъ, заржавленнымъ голосомъ, — ступайте, ступайте, Богъ подастъ! подхватилъ онъ съ сердцемъ, какъ только различилъ, что это были нищіе, — у самихъ хлѣба-то нѣтути, сами побираемся.

— Мы, слышь, не затѣмъ, дядя... Вотъ, примѣрно, статья какая, вмѣшался Фуфаевъ,—у насъ мальчикъ одинъ занемогъ... больше отъ дороги, добрѐ уже пуще умаялся... хотѣли попросить, не возьмешь ли, примѣрно, денька на два: онъ бы тѣмъ временемъ воздохнулъ...

— Какой-такой мальчикъ? спросилъ старикъ, какъ бы не понимая еще, о чемъ шла рѣчь.

— Вотъ, дядя, вотъ... Мишка! да гдѣ жъ ты? подхватилъ слѣпой, торопливо обводя вокругъ руками.

— Онъ, дѣдушка, сѣлъ... нà-земь сѣлъ, подлѣ тебя, сказалъ Петя.

— Да вотъ онъ, вотъ паренёкъ-то... Такъ, слышь, возьми ты его денька на два; мы тѣмъ временемъ по окружности пòходимъ; назадъ пойдемъ — опять возьмемъ. Добрѐ ужъ очень измаялся сердечный! Слышь, возьми, дядя, пожалуйста.

— Ну васъ совсѣмъ! Говорятъ, самимъ ѣсть нечего.

— Хлѣба-то, пожалуй, и я дамъ; у тебя просить не станетъ; возьми только.

— Богъ съ нимъ и съ вами-то совсѣмъ! Куда мнѣ его?

— Мѣста, чтò ли, жаль? Не пролежитъ небось!

— Можетъ хвороба какая пристала... еще помретъ, пожалуй! Не надыть мнѣ его, не возьму! пискнулъ старикъ, повернулся и исчезъ въ калиткѣ.

— Ну, пёсъ съ нимъ! Не беретъ, такъ и не надо, пробасилъ Верстанъ, приказывая Петѣ идти далѣе.

— Эка напасть какая! съ досадою произнесъ Фуфаевъ, обшаривая вокругъ, чтобъ найти Мишку и помочь ему встать. Правая ладонь слѣпого случайно прильнула къ лицу мальчика и тотчасъ же была вымочена слезами; но ладонь была такъ груба, что ничего не почувствовала. Фуфаевъ приподнялъ Мишу и пошелъ за Верстаномъ, который стучалъ въ окно сосѣдней избы.

— Въ трехъ-четырехъ избахъ они опять не добились толку: никто не вышелъ. Наконецъ, Петя, начинавшій

терять надежду, остановился вдругъ передъ какими-то воротами и торопливо сталъ звать нищихъ. Ворота были настежь отворены; въ заднемъ концѣ двора, потопленномъ въ огненномъ блескѣ солнца, клонившагося къ западу, въ синеватой тѣни навѣса, сидѣла старушка; передъ ней торчалъ гребень съ насаженной въ него мычкой; она суетливо дергала нитку и такъ проворно управляла веретеномъ, что гудѣнье его, благодаря окрестной тишинѣ, дѣлалось слышнымъ даже на улицѣ. Шаги и голоса передъ воротами заставили ее приподнять голову.

— Богъ подастъ, касатики, Богъ подастъ! сказала она, не оставляя работы, но нѣсколько разъ торопливо кивая головою.

— Мы не затѣмъ совсѣмъ. Тетка, эй! подь-ка сюда! произнесъ Верстанъ.

— Чего вамъ?

— Подь-ка сюда, тетушка, дѣло есть такое, поговорить надо, подхватилъ Фуфаевъ.

— Охъ, ужъ недосугъ, касатики! недосугъ, отцы родные, право недосугъ! проговорила старушка, заботливо потряхивая головою, но тѣмъ не менѣе поспѣшно бросила работу и суетливо заковыляла къ воротамъ.

— Не отставай только; эта пуститъ, шепнулъ Верстанъ, поворачиваясь къ слѣпому.

Фуфаевъ поспѣшилъ передать старухѣ свою просьбу; на этотъ разъ онъ умолчалъ о томъ, что мальчикъ боленъ; по словамъ его, малый только усталъ, усталъ потому, что не успѣлъ еще хорошенько оправиться послѣ болѣзни; онъ просилъ подержать его всего два дня; хлѣбъ у нихъ свой, и посулилъ, если она согласится, дать ей десять копеекъ.

— О-охъ, касатикъ! Можетъ, ты это такъ только... можетъ, вы недобрые какіе... недовѣрчиво проговорила старушка.

— Эвна! что жъ мы нехристи, что ли?..

— Полно, тетушка! подхватилъ Фуфаевъ, — взмилуйся Христа ради! пусти! Чего сумлѣваешься? Намъ твоего ничего не надыть... вишь, сами даемъ. Пожалѣй хошь мальчёночка-то! Тебѣ Богъ воздастъ... Мы, слышь, пожалуй, сами у тебя останемся, переночуемъ. Ничего намъ не надо, пусти только... Смерть устали, касатушка... вишь жара какая... Право, пусти...

Недовѣріе старушки превратилось теперь въ нерѣши-

тельность; покачивая головой, вышла она за ворота и принялась посматривать направо и налѣво, какъ бы желая съ кѣмъ-нибудь посовѣтоваться. Но совѣтовать было некому: пыльная улица Прокислова, освѣщенная теперь яркими косыми лучами, оживлялась только безхвостымъ, общипаннымъ пѣтухомъ, который, сообщивъ, видно, курицамъ мысль свою, снова явился изъ-подъ воротъ и расхаживалъ величественнымъ, самонадѣяннымъ шагомъ.

— Мы бы, тетушка, утруждать тебя не стали, началъ Фуфаевъ, смягчая по возможности козлячій свой голосъ,— да какъ быть-то? Стучали, почитай, по всей деревнѣ— никого дома нѣтъ...

— И то никого нѣтъ, рожòной; я да еще два старичка старенькихъ — только и есть! словоохотливо заговорила старуха,—всѣ на покосѣ, касатикъ, на покосѣ всѣ. У насъ луга-то дальные; на три дня уѣхали всѣ... завсегды такъ!

При этомъ извѣстіи Фуфаевъ еще настойчивѣе приступилъ къ старухѣ; къ нему присоединились два другіе товарища, которые хотя и не были въ его обстоятельствахъ, но также устали и рады были отдохнуть. Старуха все еще колебалась; она ничѣмъ, впрочемъ, не оправдывала своихъ опасеній.

— О-охъ, рожòные! Можетъ, у васъ чтò на разумѣ... не переставала повторять она, — дѣло мое бабье... одна, касатики, все думается: худо какое сотворите...

Чтобъ убѣдить старуху, Фуфаевъ сказалъ, что всѣ трое оставятъ, пожалуй, мѣшки свои въ ея избѣ, въ видѣ заклада; пускай запретъ она мѣшки на запоръ до завтрашняго утра: имъ требуется только какой-нибудь сараишка для ночлега. Но послѣднее это предложеніе окончательно, казалось, напугало старушку. Видя, что разговорами тутъ не поможешь, Верстанъ рѣшился взять напролòмъ; онъ тряхнулъ сумою, сунулъ конецъ палки въ руку Пети и вошелъ на дворъ.

— Что жъ это ты, касатикъ? куда жъ ты? проговорила старуха, потряхивая головою съ видомъ упрека, но нимало не препятствуя нищему подвигаться къ заднимъ воротамъ навѣса, глядѣвшимъ на огородъ и гумно.

Верстанъ ускорилъ только шагъ къ сараямъ.

— Ну, всѣ повалили! воскликнула старуха, провожая глазами двухъ другихъ нищихъ и Мишу, которые тотчасъ же послѣдовали за Верстаномъ.

— Ничего, тетка, не сумлѣвайся; перемелется, все мука

будетъ! сказалъ повеселѣвшій Фуфаевъ, проходя мимо.— Намъ, слышь, твоего ничего не надо; переночуемъ — и только, а десять копеекъ, что̀ посулилъ, отдамъ, ей-Богу отдамъ!..

Нищіе, одинъ за другимъ, вошли въ старенькій, ветхій сарай съ провалившейся кровлей. Верстанъ снялъ тотчасъ же суму, сѣлъ на́-земь и сталъ разуваться; дядя Мизгирь и Фуфаевъ сдѣлали то же самое.

— О-охъ, касатики! да что жъ это такое будетъ-то? произнесла старуха, остановившаяся въ воротахъ и перенося недоумѣвающіе глаза отъ одного къ другому.

— А вотъ погоди, тетка, сказалъ Верстанъ,—вотъ теперь разуемся, тамъ мѣшки подъ голову положимъ; тамъ заснемъ... Завтра утромъ всѣ встанемъ, тебѣ спасибо скажемъ, да и опять въ путь-дорогу...

— Только и будетъ?

— А ты думала что̀? присовокупилъ Фуфаевъ.

— Да вы издалече ли, родимые? неожиданно и совершенно кстати спросила старуха.

— А верстъ не считали, родная, отвѣтилъ Верстанъ,— сдается не близко; вишь лапти-то какъ поизмялись...

— Эй, слышь, тетка! деревню *Ду́рову* знаешь? спросилъ вдругъ Фуфаевъ.

— Нѣтъ, рожоный, не слыхала, касатикъ.

— Ну, мы оттедова. Идемъ теперь въ *Простоволосово*— такъ, значитъ, село прозывается.

— И этого не слыхала, рожоный; не слыхала, кормилецъ, добродушно возразила старуха.

Фуфаевъ, къ которому снова начала возвращаться веселость, безъ сомнѣнія, пошелъ бы далѣе въ объясненіяхъ своихъ со старухой, если бъ со стороны улицы не послышались блеянье овецъ и топотъ возвращающагося стада. Старуха мгновенно бросила гостей и суетливо побѣжала къ избѣ. Первымъ ея дѣломъ, однакожъ, какъ только подоила она корову и заперла овецъ, было снова вернуться къ сараю; нищіе только-что поужинали и готовились спать.

— Чего ты, тетка? спросилъ Верстанъ.

— Ничего, кормилецъ; я такъ. Все словно думается, касатикъ.

— Эка у тебя голова-то думчивая какая! смѣясь произнесъ Фуфаевъ, опуская собственную свою голову на мѣшокъ и потягиваясь.

Старуха постояла-постояла, поглядѣла-поглядѣла и пошла въ избу. Она сама не могла дать себѣ отчета въ своихъ переминаньяхъ, касательно пребыванія гостей, а между тѣмъ ее такъ вотъ и подмывало идти къ сараю. Полежитъ немножко въ клѣтушкѣ, ужъ засыпать начнетъ— придутъ въ голову нищіе; смотришь, опять плетется къ нимъ по огороду. Разъ направилась она туда даже среди ночи. Черная, непроницаемая тьма потопляла окрестность; земляныя испаренія, поднятыя во время дня, такъ сгустились, что скрывали звѣзды; зги не было видно; подойдя къ сараю, старуха могла только услышать густое храпѣнье, повторявшееся на три разные тона; это, повидимому, нѣсколько успокоило ее, и она снова вернулась въ клѣтушку.

Какъ только смолкли шаги ея, Петя приподнялъ голову и вытянулъ шею въ ту сторону, гдѣ лежалъ его маленькій товарищъ (нищіе раздѣляли двухъ мальчиковъ). Петя сильно усталъ, но онъ до сихъ поръ всѣми силами старался превозмочь дремоту и выжидалъ удобнаго случая, чтобъ присоединиться къ Мишѣ; храпѣнье стариковъ наполняло сарай, но ему казалось почему-то, что Миша не спалъ. Минуту спустя, Петя былъ подлѣ него и прислушивался къ его дыханію.

— Миша... спишь? шепнулъ онъ.

— Нѣтъ... нѣтъ... произнесъ едва внятно мальчикъ.

Голосъ его прерывался сдавленными рыданіями. Петя пригнулся къ нему еще ближе; нѣсколько капель упали ему тотчасъ же на лицо.

— Полно, Миша, полно; о чемъ ты плачешь?.. Вишь, вѣдь, они какіе... ничего, вѣдь, не сдѣлаешь. Вотъ теперь пришли; здѣсь побудемъ... тебѣ, можетъ статься, полегчитъ, проговорилъ Петя, напрягая всѣ силы ума, чтобы утѣшить товарища. Но утѣшенія слабо дѣйствовали; казалось, напротивъ, съ приходомъ Пети и по мѣрѣ того, какъ онъ говорилъ, горе Миши усилилось; онъ не могъ даже теперь владѣть собою и иногда такъ громко всхлипывалъ, что Петя того только и ждалъ, что кто-нибудь изъ нихъ проснется.

— Ахъ, Миша, Миша!.. Да ты перестань только... перестань... о чемъ ты?.. болитъ у тебя что-нибудь, а?.. шепнулъ Петя, снова пригибаясь къ товарищу.

Прошла минута молчанія, которую, съ одной стороны,

прерывало храпѣнье трехъ нищихъ, съ другой—горькія, тщетно подавляемыя рыданія ребенка.

— Меня... меня они оставить хотятъ... одного здѣсь! проговорилъ наконецъ Миша.—Я слышалъ, они говорили... оставить хотятъ...

— Экой ты какой! А пускай оставляютъ — тебѣ же легче, вишь, вѣдь ты насилу дошелъ: ты отдохнешь тѣмъ временемъ...

— Нѣтъ... нѣтъ, они ужъ за мною не придутъ... совсѣмъ здѣсь оставятъ... Я слышалъ, знаю... я умру, Петя... умру одинъ...

— Да рази ты добрѐ ужъ оченно боленъ?.. простодушно спросилъ Петя.

— Идти не могу... возразилъ тотъ едва внятно,—ноги трясутся... а пуще тутъ добрѐ ломитъ...

Темнота была такъ непроницаема, что Петя проворно ощупалъ товарища, чтобъ понять, куда тотъ указывалъ: худощавые пальцы мальчика прижимались къ впалой груди его. Петя снова почувствовалъ, какъ нѣсколько слезъ капнуло ему на руки; онъ откинулся назадъ, присѣлъ на корточки и нѣсколько секундъ молчалъ, какъ бы соображая что-то. Внезапно онъ подсѣлъ къ Мишѣ съ такою живостью, что, надо было думать, онъ нашелъ вѣрное средство къ его облегченію.

— Вотъ что, Миша... началъ онъ скороговоркою, по возможности понижая голосъ,—слышь, пускай здѣсь оставляютъ—не плачь. Мы вотъ что̀ сдѣлаемъ, подхватилъ онъ, очевидно увлекаясь своею мыслью и, для бо̀льшаго поясненія, принимаясь размахивать руками, что̀ было совершенно напрасно, во-первыхъ, потому, что Миша ничего не могъ видѣть, а во-вторыхъ, онъ почти даже не слушалъ и продолжалъ плакать; но темнота не дала Петѣ замѣтить этого и онъ продолжалъ съ прежнимъ воодушевленіемъ.—Слышь, ты здѣсь останешься, смотри только, не уходи никуда! Вотъ мы и пойдемъ отселева; куда ни пойдемъ, слышь, а я всю дорогу стану примѣчать, ни одного перекрестка не прогляну, ни одной деревни... всякая деревня, какъ она прозывается, все это я буду помнить... Ну, какъ отойдемъ мы такъ-то подалѣе, ночь переночуемъ, другую, третью; увижу, а они назадъ не ворочаются за тобою: знамо тогда, оставить хотятъ; я ночью извернусь, да и убѣгу отъ нихъ; да все по дорогѣ-то, все по дорогѣ, отъ деревни къ деревнѣ... къ тебѣ

и приду. Смотри только, ты не трогайся отселева, а ужъ я приду...

— Нѣтъ, ужъ врядъ мнѣ быть здѣсь, проговорилъ Миша какимъ-то разслабленнымъ голосомъ, котораго Петя не слыхалъ прежде.

— А что?

Миша замолкъ. Казалось, ему трудно было удовлетворить товарища отвѣтомъ; наконецъ онъ сказалъ:

— Я умру, Петя... умру... подхватилъ онъ и снова заплакалъ, но такъ тихо на этотъ разъ, что Петя даже не услышалъ.

— Тебѣ что̀ ни говори, ты все свое!

— Право, умру, продолжалъ Миша,—я рази не вижу? Вотъ и Верстанъ сказалъ хозяину... и тотъ старикъ, который не пустилъ насъ ноньче, сказалъ... А какъ, Петя, умирать-то не хочется... Петя!.. Охъ, тяжко!..

— Знамо, кому хочется? Да ты не умрешь, не умрешь! съ увѣренностью подхватилъ Петя,—не умрешь ты!.. Съ чего тебѣ умереть-то? Ты добрѐ усталъ, оттого больше... Вотъ полежишь день-другой, опять встанешь... Я какъ приду сюда, то-то мы съ тобой тогда закатимся — прямо домой пойдемъ... Я знаю, какъ и деревню-то мою зовутъ: Марьинское прозывается...

Но Миша опять не слушалъ товарища; онъ какъ-будто навѣрное зналъ, что мечты эти были для него неисполнимы. Давъ Петѣ наговориться до̀-сыта, онъ сказалъ, какъ бы раздумывая самъ съ собою:

— Была у меня, Петя, сестра... Махонькой я былъ, а помню... тогда еще у насъ мачихи не было... мать жила тогда... Вотъ также ей, сестрѣ-то, передъ смертью все чудилось...

— Что жъ ей чудилось-то?..

— Чудилось: по полямъ да по лугамъ все ходитъ... такіе сады все чудились ей... и пташки, говоритъ, поютъ...

— Ну, такъ что жъ? нетерпѣливо перебилъ Петя.

— Вотъ и мнѣ стало все чудиться, проговорилъ Миша тономъ раздумья, — какъ только закрою глаза, особливо коли одинъ сижу, закрою глаза, вижу: заря занимается... солнце встаетъ... а самого меня точно подхватитъ кто... точно крылья у меня... и я лечу къ солнцу... да скоро такъ, скоро... инда духъ захватываетъ...

— Эка чудно какъ! Что жъ это я ничего не вижу?

Вотъ и закрою глаза, вотъ... нѣтъ, ничего не видать, темнота одна, вымолвилъ Петя, между тѣмъ какъ Миша вдругъ закашлялся: кашлю этому конца не было.

Когда ему отлегло немного, онъ опять хотѣлъ заговорить, но, вмѣсто словъ, изъ груди его выходило глухое какое-то клокотанье; онъ неожиданно ухватился обѣими руками за руки Пети, безсильно опустился на-земь и снова горько заплакалъ. Петя прильнулъ къ нему и съ удвоеннымъ стараніемъ сталъ утѣшать его; онъ говорилъ, что черезъ три-четыре дня они опять увидятся, что нищихъ уже тогда не будетъ; говорилъ о томъ, какъ будутъ они идти вдвоемъ въ Марьинское; говорилъ, какъ придутъ, какъ мать имъ обрадуется, какъ сестра, Маша, обрадуется, какъ всѣ обрадуются (Петя не забылъ даже упомянуть о маленькомъ братѣ, пучеглазомъ Костюшкѣ); мало-по-малу, однакожъ, рѣчь Пети стала замедляться и путаться; онъ словно пріискивалъ слова и не находилъ ихъ; промежутки эти повторялись все чаще и чаще; лицо Пети все ближе и ближе склонялось къ лицу Миши; наконецъ онъ вдругъ замолкъ. Петя не поднялъ ужъ головы и не чувствовалъ даже на щекахъ своихъ слезъ, которыя не переставали между тѣмъ обильно капать изъ глазъ маленькаго товарища...

IV.

Извѣстіе.—Спѣшная дорога.

Заря только что занималась, когда Петя внезапно былъ пробужденъ голосомъ, который, показалось ему, прозвучалъ въ самыхъ ушахъ его. Онъ быстро поднялъ голову, но въ первую минуту, которая потребовалась, чтобъ очнуться и совершенно прійти въ себя, онъ ничего не могъ сообразить; передъ нимъ смутно и какъ бы передвигаясь мелькнули дальній темный уголъ сарая и ворота, пропускавшія дневной свѣтъ; потомъ увидѣлъ онъ трехъ нищихъ, лежавшихъ рядомъ, а между тѣмъ голосъ, пробудившій его, продолжалъ какъ будто раздаваться подлѣ, хотя слабѣе прежняго. Первымъ движеніемъ Пети, какъ только пришелъ онъ въ полное сознаніе, было обернуться и взглянуть на Мишу; но видъ товарища поразилъ его такимъ ужасомъ, что онъ такъ же быстро откинулся назадъ, какъ, за минуту передъ тѣмъ, быстро поднялъ голову. Миша сидѣлъ на землѣ, опершись спиною въ пле-

тень; лицо его, съ разсыпавшимися по сторонамъ длинными черными волосами, было блѣдно, какъ известь, и усиленно какъ-то вытягивалось впередъ; худощавые пальцы рукъ, на которыхъ можно было пересчитать всѣ суставчики, судорожно ловили воздухъ; глаза неподвижно смотрѣли на одну точку; все существо его, до послѣдней жилки, находилось въ напряженномъ состоянiи и тянулось куда-то; безцвѣтныя губы бормотали слова безъ смысла и порядка.

„Солнце, солнце!“ повторялъ онъ, вытягиваясь все болѣе и болѣе впередъ: „облака ходятъ... ближе... держите меня... Петя!.. Охъ, такъ тяжко!.. держи... заря... заря!..“

Но страхъ Пети продолжался всего секунду; онъ подумалъ: Мишу давитъ тяжелый сонъ, поспѣшилъ взять его за руку и нѣсколько разъ назвалъ его по имени. Мальчикъ закрылъ глаза и дрогнулъ, словно неожиданно оборвался въ пропасть; но вмѣстѣ съ этимъ, силы, напрягавшiя его жилы, разомъ исчезли; костлявыя руки упали, туловище опустилось, голова свѣсилась на-бокъ. Петя обхватилъ его и бережно положилъ на-земь. Лицо мальчика въ одну эту ночь такъ измѣнилось, такъ осунулось и даже постарѣло, что, казалось, со вчерашняго вечера до сегодняшняго утра онъ пережилъ тяжкую, изнурительную болѣзнь, продолжавшуюся цѣлый годъ; онъ лежалъ какъ мертвый, и только губы его продолжали двигаться; но ужъ такъ тихъ былъ звукъ его голоса, что Петя съ трудомъ могъ разслышать слова: „солнце... Петя... заря...“

— Миша, очнись! заговорилъ Петя, снова прикасаясь къ рукѣ его.—Какое солнце?.. тебѣ такъ чудится; солнца нѣтъ; погляди-ка, открой глаза-то... заря только занимается...

На этомъ мѣстѣ Петя остановился и робко припалъ къ товарищу: онъ увидѣлъ, какъ пошевелился Верстанъ.

— Гдѣ солнце? рази ужъ встаетъ? забасилъ вдругъ старый нищiй, озираясь на стороны мутными глазами.—И то, ужъ заря! Экъ проспали! Вставай, ребята! Дядя Мизгирь, вставай!.. Ну, ты, слѣпой чортъ, полно тебѣ прохлаждаться-то, пора: вишь, на дворѣ забѣлѣло! Вставай! подхватилъ онъ, толкая Фуфаева.

Дядя Мизгирь не заставилъ себѣ повторять два раза: онъ точно наканунѣ условился съ Верстаномъ встать до зари и не мѣшкать. Оба принялись обуваться съ замѣтною поспѣшностью. Дѣло не касалось, повидимому, одного

Фуфаева: онъ хотя и сидѣлъ, но глаза его были закрыты, вздернутый носъ храпѣлъ немилосердно и туловище раскачивалось изъ стороны въ сторону, какъ бы изловчаясь повалиться на-земь. Верстанъ принужденъ былъ снова толкнуть его въ бокъ. Толчокъ этотъ, способный продавить лубочный кузовъ, подѣйствовалъ только, казалось, на носовое храпѣнье Фуфаева, которое изъ басистаго перешло въ тоненькое и жалобное.

— Да ну, лѣшій! долго ли съ тобой возиться-то? подхватилъ Верстанъ, встряхивая его за плечи,—вишь свѣтло! Хочешь, небось, старухи дождаться... Коли прійдетъ, самъ поди возись съ нею: она ни за что мальчишку-то не оставитъ. А намъ куды съ нимъ! насилу ноги волочитъ... самъ знаешь...

Послѣднія слова эти подѣйствовали на Фуфаева сильнѣе толчка и потряхиванья: онъ раскрылъ глаза, потянулся и такъ громко зѣвнулъ, что двѣ ласточки, существованія которыхъ никто и не подозрѣвалъ, выскочили вдругъ откуда-то и, сдѣлавъ нѣсколько зигзаговъ подъ стропилами сарая, порхнули въ ворота.

— Петрушка, гдѣ ты? живо на ноги... одѣвайся! Вотъ я ти протру глаза-то! сказалъ Верстанъ, поворачиваясь спиною къ слѣпому, который такъ вдругъ заторопился, что подалъ надежду быть готовымъ прежде другихъ.

Петя возвратился на прежнее свое мѣсто, гдѣ осталась его сума и лаптишки; минуту спустя, онъ былъ на ногахъ.

— Пошелъ, стань у воротъ, сказалъ ему Верстанъ,— коли увидишь идетъ кто, скажи. Смотри въ оба глаза, не прозѣвай!

Почти въ то же время Миша раскрылъ глаза. Тоска, испугъ, отчаяніе изобразились въ каждой чертѣ лица его, когда увидѣлъ онъ, что нищіе совсѣмъ готовы въ путь; онъ хотѣлъ встать, но могъ только, и то съ трудомъ, приподняться на локоть.

— Дѣдушка!.. крикнулъ онъ.

Никто не обернулся. Онъ понялъ, что его не слышали, собралъ всѣ свои силы и прокричалъ отчаянно:

— Дѣдушка, не уходите!.. возьмите Христа ради! я съ вами пойду!..

— Молчать! чего ты визжишь? сурово сказалъ Верстанъ, подымаясь на ноги и поворачиваясь къ нему,— чего орешь? Вотъ ходить не твое дѣло—сейчасъ раскисъ и ноги подкосились, а голосить куда шустёръ...

— Дѣдушка Верстанъ! голубчикъ, Христа ради, примолвилъ Миша голосомъ, въ которомъ слышны были слезы, отчаянная мольба, нѣжность (онъ не обращался къ Фуфаеву и дядѣ Мизгирю: онъ зналъ, что всѣхъ суровѣе и безжалостнѣе былъ старый нищій, что̀ стоитъ только ему согласиться — и всѣ согласятся), — дѣдушка Верстанъ, я буду идти, я скоро пойду... я совсѣмъ отдохнулъ.

— Какъ же! есть время съ тобою возиться! Было ужъ! Идти хочетъ, идти! а самъ встать не можетъ—рази не вижу?

— Дѣдушка, я встану... не уходи только, погоди, сейчасъ встану, дѣдушка!

Но отчаянье, съ какимъ боролся бѣдный мальчикъ противъ страшной боли въ груди и собственнаго безсилія, ни къ чему не повело: ноги не держали его и онъ снова опустился на-земь. Закрывъ лицо руками, онъ такъ горько вдругъ заплакалъ, что даже Верстанъ, казалось, сдѣлался снисходительнѣе.

— Ну, о чемъ плачешь-то? Э, глупый! право глупый! сказалъ онъ, очевидно смягчаясь,—черезъ два дня опять прійдемъ... опять возьмемъ съ собою...

— Погоди; что вы тамъ? Не плачь, Мишутка, сейчасъ! проговорилъ неожиданно Фуфаевъ, который только что прикрѣпилъ лапоть и накинулъ мѣшокъ,—погоди, иду! подхватилъ онъ, пробираясь по плетню.

Онъ ощупалъ Верстана, отслонилъ его рукою и нагнулся къ Мишѣ.

Лицо мальчика какъ будто озарилось надеждой и просвѣтлѣло, хотя слезы ручьями текли по исхудалымъ щекамъ его.

— Вотъ что̀, Миша, вымолвилъ слѣпой,—побудь, слышь, здѣсь день-другой. Ты воздохнешь тѣмъ временемъ... ничего... какъ быть-то! Вотъ я тебѣ, вишь, сколько хлѣба-то оставлю; вишь, не жалѣю! присовокупилъ онъ, высыпая изъ мѣшка почти всѣ свои корки.

Верстанъ между тѣмъ кинулъ мѣшокъ за спину, потомъ подозвалъ дядю Мизгиря и Петю.

— Ну, слышь, случится, пить захочешь, продолжалъ Фуфаевъ,—попроси хозяйку... вотъ что̀ насъ пустила сюда: она тебѣ дастъ.

Верстанъ дернулъ его за руку, давая знать, что время идти. Движеніе это не ускользнуло отъ Миши.

— Нѣтъ, нѣтъ! вы меня бросить хотите. Я здѣсь умру,

одинъ. Дѣдушка... миленькій... родной... Христа ради, погоди, я тебѣ что̀ скажу! кричалъ Миша, дѣлая тщетныя усилія, чтобъ обхватить ноги Фуфаева, который покрякивалъ и, безъ сомнѣнія, дался бы въ руки мальчику, если бъ видѣлъ, чего ему хотѣлось.

— Да нѣтъ же; экой какой!.. Ну, вѣришь ты въ Бога? ну, ей-Богу прійду! Будь я анаѳема, коли не прійду! разрази меня на мѣстѣ...

Верстанъ не далъ ему договорить, схватилъ его за руку и повелъ къ воротамъ. Въ сараѣ послышался не то крикъ, не то рыданія, звукъ котораго болѣзненно защемилъ сердце Пети, и слезы брызнули изъ глазъ его; онъ бросился было въ ту сторону, но Верстанъ какъ будто ждалъ этого и остановилъ его за воротъ.

— Куда? Я ти дамъ рыскать!.. я ти порыскаю! сказалъ онъ, толкая его впередъ и быстро поворачивая за уголъ вмѣстѣ съ товарищами,—вотъ твоя дорога: впередъ, а не назадъ.

Онъ заключилъ эти слова новымъ толчкомъ и, оглянувшись на стороны, удвоилъ шагъ, чтобъ скорѣе скрыться изъ виду. За сараемъ тотчасъ же начинался лугъ, который составлялъ дно долины, гдѣ расположена была деревушка. Пройдя шаговъ двѣсти, Петя улучилъ минуту и посмотрѣлъ назадъ; но сарай, гдѣ провели они ночь, успѣлъ исчезнуть за откосомъ; отъ Прокислова оставались верхушки ветелъ да макушки двухъ-трехъ соломенныхъ кровель. Петя пересталъ уже плакать; къ толчкамъ Верстана, какъ они ни были жёстки, онъ успѣлъ привыкнуть; что же касается до Миши, ему, конечно, было жаль его, больно жаль было, но онъ утѣшался тѣмъ, что черезъ два-три дня, если нищіе не вернутся къ мальчику, онъ убѣжитъ, убѣжитъ непремѣнно и соединится съ маленькимъ товарищемъ; мысль эта осушала его слезы: онъ бодро подвигался впередъ, какъ будто ни въ чемъ не бывало.

Немного погодя, нищіе миновали лугъ; дорога пошла берегомъ маленькой рѣчки, заключенной въ глубокихъ, почти отвѣсныхъ берегахъ; мѣстами, тамъ, гдѣ земля осыпалась, берега пробуравлены были безчисленнымъ множествомъ дырокъ; шаги путниковъ, глухо отдаваясь въ рыхлой почвѣ, будили стрижей, которые, какъ пули, вылетали изъ дырокъ и какъ угорѣлые сновали надъ рѣкою, подернутой бѣловатымъ, клубящимся паромъ. Другихъ

птицъ не было еще видно; въ лѣсахъ и на пашняхъ, спускавшихся къ рѣкѣ по скатамъ долины, все пока безмолвствовало. Хотя сѣдой паръ, наполнявшій долину и принимавшій издали видъ глубокихъ озеръ, замѣтно разсѣвался, не подымаясь кверху, такъ что можно было ясно различать предметы, по день, по-настоящему, только что занимался; горизонтъ со стороны востока чуть-чуть окрашивался зарею.

— Намъ, слышь, братцы, далеко ходить незачѣмъ, сказалъ Фуфаевъ, который до сихъ поръ не вымолвилъ слова, не выкинулъ ни одной шутки (вообще въ промежутокъ послѣднихъ дней онъ казался болѣе озабоченнымъ, чѣмъ веселымъ),—далеко ходить не къ чему, подхватилъ онъ,—лучше здѣсь по округѣ побродить... поближности.

— Вѣстимо, коли сходно будетъ, далеко не пойдемъ... Ну, а коли не подадутъ ничего? Здѣсь деревни-то бѣдныя! промолвилъ дядя Мизгирь.

— Охъ, ужъ ты, жидовина! досадливо перебилъ Фуфаевъ. — Только у тебя и на разумѣ-то гроши одни... Смерть не люблю! Ужъ помяни ты меня: будетъ тебѣ за твои деньги! Задавятъ гдѣ-нибудь въ лѣсу, какъ собаку ледащую!..

Верстанъ нахмурилъ брови, кашлянулъ и перебилъ нетерпѣливо:

— У насъ не было этого въ уговорѣ, чтобъ куда итти. Ужъ и такъ черезъ тебя одну ярманку проглядѣли! Коли итти лѣнь, ты бы съ мальчишкой со своимъ остался... Куда намъ поволится, туда и пойдемъ, тебя не спросимъ, коротко и сухо заключилъ Верстанъ, дѣлая намекъ Фуфаеву на его слѣпоту и давая ему косвенно чувствовать, что онъ болѣе или менѣе находится теперь въ его зависимости.

— Я нешто о себѣ? По мнѣ пожалуй! возразилъ слѣпой, замѣтно сдерживая порывъ неудовольствія.—Я ходьбы не боюсь; пройду побольше вашего! Только, чуръ, братцы, примолвилъ онъ, окончательно смягчая голосъ, — чуръ, уговоръ лучше денегъ: два дня походимъ, пожалуй, что и всѣ трои сутки, тамъ назадъ: надо, примѣрно, мальчишку взять; при немъ я хошь однимъ глазомъ да вижу— безъ него рта не найду, куды корку сунуть...

На это ни Верстанъ, ни дядя Мизгирь слова не сказали; Фуфаевъ также замолкъ; каждому какъ будто запала крѣпкая дума въ голову, и каждый отдался ей одной. Съ

этой минуты одни лишь шаги нарушали тишину спавшей окрестности. Такимъ образомъ незамѣтно сдѣлали они нѣсколько поворотовъ по долинѣ, которая имѣла характеръ извилистый, какъ вообще всѣ долины, на днѣ которыхъ протекаетъ рѣка. Пройдя версты двѣ отъ деревни, а можетъ, и болѣе, нищіе услышали шумъ падающей воды. Спустя нѣсколько времени, изъ-за купы старыхъ, головастыхъ ветелъ, высунулась высокая, остроконечная кровля, а тамъ выступила и вся мельница, темная профиль которой съ одной стороны цѣликомъ перекидывалась въ рѣку, съ другой четко обрисовывалась на красноватомъ, разгоравшемся небѣ.

Но и здѣсь такъ же было тихо, какъ въ полѣ; шумѣла только вода, бившая фонтанами сквозь дыры плохо сколоченныхъ тварней. Ступивъ уже на плотину, куда поворачивала дорога, нищіе увидѣли молодого, рыжеватаго парня — надо полагать, батрака-мельника; онъ хотя и стоялъ на ногахъ, но, казалось, не совсѣмъ еще пробудился: закинувъ обѣ руки за голову, закрывъ глаза, онъ такъ зѣвалъ, что еще немножко, и онъ непремѣнно вывихнулъ бы себѣ челюсть. Тѣмъ не менѣе нищіе добились отъ него толку касательно расположенія сосѣднихъ деревень. Верстахъ въ семи отъ мельницы находилось село Бабурино, большое село; народъ достаточный, все больше горшечники; другихъ деревень по дорогѣ нѣтъ; дорога одна, битая: по ней бабуринскіе мужики ѣздятъ молоть на мельницу. Свѣдѣній этихъ пока было довольно, и нищіе пошли по указанному пути.

Спѣшить было некуда, какъ справедливо замѣтилъ Фуфаевъ. Къ тому же, хотя солнце только что показалось, въ воздухѣ начинала чувствоваться духота и тяжесть; солнце выплывало какъ изъ огня; багровый кругъ, словно изъ раскаленнаго желѣза, окаймлялъ его, и надъ горизонтомъ длиннѣе и длиннѣе вытягивались рыжія, тяжелыя полосы облаковъ. Все предвѣщало такой же знойный день, какъ и наканунѣ; самыя птицы пѣли какъ-то неохотно, но все-таки надъ обгорѣлыми полями, стлавшимися по обѣимъ сторонамъ дороги, неумолкаемо звенѣли жаворонки. Пѣніе жаворонковъ перенесло почему-то Петю къ оставленному товарищу; онъ не переставалъ думать о немъ; но теперь ему вдругъ какъ-то жалче стало Мишу. „Слышитъ ли Миша этихъ жаворонковъ?.. Нѣтъ, этихъ ужъ онъ не слышитъ! далеко очень! Что̀ онъ теперь дѣ-

лаетъ: плачетъ ли, сердечный, или такъ сидитъ, думаетъ?..“ Отъ Миши мысль его незамѣтно перешла къ тому времени, когда онъ бѣгалъ, бывало, съ братишками по полямъ и такъ же прислушивался къ жаворонкамъ — то-то время-то было! Мигомъ обрисовалась передъ нимъ широкая улица Марьинскаго, избушка, внутренность этой избы; ему, неизвѣстно почему, пришли вдругъ на умъ черныя брови отца, которыя то обѣ вмѣстѣ подымались и опускались, то подымется сначала одна бровь, а тамъ и другая; онъ вспомнилъ потомъ сестру Ма́шу, вспомнилъ полоумную тетку Дуню, вспомнилъ мать — и слезы сами собою закапали на его рубашонку; но, встрѣтивъ суровый взглядъ Верстана, онъ поспѣшилъ ихъ высушить и показалъ даже видъ, что это былъ потъ, а вовсе не слезы.

Пока нищіе дошли до Бабурина, наступилъ уже жаръ; они вошли въ деревню. Постучавъ, какъ водится, подъ каждымъ окномъ, что̀ заняло довольно времени, но принесло мало пользы, потому что бабуринскіе мужики хотя и занимались горшечнымъ производствомъ, но нисколько не были отъ этого богаче другихъ, нищіе рѣшились отдохнуть. Отдохнули; пообѣдали. Они уже раздумывали, куда бы теперь направить путь, когда случай вывелъ ихъ изъ затрудненія: хозяинъ, у котораго они остановились, сообщилъ имъ, что въ двѣнадцати верстахъ находится село „Новая-Отрада“... впрочемъ, такъ господа называютъ, замѣтилъ мужикъ; въ сущности село искони называлось „Старое Пронюхлово“; въ этомъ Пронюхловѣ завтра празднуется приходскій праздникъ. Такое извѣстіе подняло тотчасъ же на ноги Верстана и его товарищей. Фуфаевъ предложилъ, впрочемъ, переждать зной и отправиться ночью; но Верстанъ и дядя Мизгирь настояли на своемъ. Не знаю, лучше ли бы они сдѣлали, если бъ послушали слѣпого, во всякомъ случаѣ можно было не торопиться.

Часъ спустя послѣ выхода нищихъ изъ Бабурина, тучи, скоплявшіяся на горизонтѣ, стали выше подыматься, сгущались и, постепенно темнѣя, разливались все шире и шире по небосклону. Духота между тѣмъ дѣлалась нестерпимою. Время отъ времени пробѣгалъ порывъ вѣтра; онъ вырывался, казалось, изъ жерла раскаленной печки; наконецъ, вѣтеръ поднялся съ такою силой, что трудно стало впередъ двигаться. Глядя, какъ пробирались нищіе въ упоръ вѣтру, можно было думать, что они съ усиліемъ подымаются въ гору, или лѣзутъ на приступъ невидимой

какой-нибудь крѣпости; сила воздуха сказывалась также въ полетѣ птицъ: онѣ съ трудомъ боролись противъ теченія вѣтра и, несмотря на пугливое маханье крыльями, почти не двигались въ помутившемся небѣ, но зато какъ стрѣлы летѣли онѣ, лишь только поворачивались хвостомъ къ вѣтру. Въ какія-нибудь десять минутъ окрестность измѣнилась совершенно; лѣса приняли сумрачный цвѣтъ и зашумѣли вдалекѣ, какъ разъяренное море; макушки деревъ рвались, словно въ страхѣ какомъ-то, и силились какъ будто убѣжать отъ вихрей, которые вырастали вдругъ въ разныхъ мѣстахъ и, сверля землю, вертя воронкой придорожную пыль и листья, стремительно носились по полямъ. Уже съ утра раздавались по временамъ глухіе, отдаленные раскаты; они гремѣли теперь безъ умолку и приближались; вмѣстѣ съ ними надвигалась и туча, сдѣлавшаяся теперь зловѣщею, чернильнаго цвѣта; точно летѣла она навстрѣчу. Темнота на землѣ, а туча на небѣ съ каждой секундой захватывали все больше и больше пространства; слышно было, казалось, какъ посреди грохота бушевавшаго вѣтра шумѣла она, комкая нижніе слои облаковъ и сдавливая воздухъ. Не успѣли нищіе отойти къ опушкѣ лѣса и стать подъ дерево, она обняла изъ края въ край все небо. На секунду вся природа, какъ бы пораженная страхомъ, упала ницъ и смолкла... Сверкнула молнія, раздался страшный ударъ грома, за нимъ послѣдовалъ другой, сильнѣе перваго... Опять все какъ бы смолкло; крупныя, тяжелыя капли дождя зашлепали по дорогѣ, вѣтеръ закрутилъ деревьями, ударилъ ливень, и гроза заревѣла какъ бѣшеная... Промокнувъ до костей въ первую же минуту, нищіе согласились продолжать путь: больше ужъ вѣдь не вымокнешь; къ тому же, не ночи здѣсь дожидаться. Увязая на каждомъ шагу, скользя, оступаясь и падая (сколько разъ въ это время Фуфаевъ вспомянулъ вожака своего Мишку—одному Богу извѣстно!), добрались они кое-какъ къ ночи въ деревушку, лежавшую на перепутьи изъ Бабурина въ Новую-Отраду. Не слыша ногъ подъ собою, измученные, усталые, какъ пришли они, такъ и повалились кто куда попалъ.

Но неудача такого странствованія съ лихвою вознаградилась на другой день въ Новой-Отрадѣ, куда нищіе прибыли за часъ до обѣдни. Сборъ былъ отмѣнный: пришлось копеекъ по сорока на брата; но этимъ не кончилось: господа Новой-Отрады, въ ознаменованіе приходскаго празд-

ника, давали обѣдъ своимъ крестьянамъ; нищая братія, какъ водится по обычаю, была приглашена раздѣлить трапезу. Верстанъ, дядя Мизгирь и Фуфаевъ такъ усердно припали къ даровой баранинѣ, лапшѣ и кашѣ, что, вставъ изъ-за стола, почувствовали себя не въ силахъ идти далѣе. Такъ протянули они до вечера; вечеромъ не стоило пускаться въ дорогу: они остались ночевать въ Новой-Отрадѣ.

Въ продолженіе всего этого дня и даже ночью Петя не переставалъ думать о Мишѣ; ему стало казаться, не хотятъ ли нищіе въ самомъ дѣлѣ бросить больного мальчика: о немъ не было и помину. Онъ рѣшился бѣжать въ слѣдующую же ночь, если завтрашній день старики не отправятся въ Прокислово. Но Петя ошибся въ своемъ предположеніи: на другое утро ни Верстанъ, ни дядя Мизгирь не выразили ни малѣйшаго сопротивленія, слова даже не сказали, когда Фуфаевъ намекнулъ имъ о четвертакѣ и объ уговорѣ вернуться къ мальчику. Они опять пошли тѣмъ же путемъ. День былъ чудесный: воздухъ, освѣженный вечернею грозою, пріятно щекоталъ ноздри, дороги провяли — все способствовало къ легкой, быстрой ходьбѣ. Часамъ къ двумъ пополудни достигли они Бабурина, соснули немножко, перекусили и пошли дальше.

Нѣтъ никакого сомнѣнія, что къ часамъ пяти были бы они въ Прокисловѣ, если бъ не встрѣтилось обстоятельство, которое разомъ измѣнило ихъ намѣреніе. Верстахъ въ трехъ отъ знакомой намъ мельницы встрѣтили они бабу.

— Здравствуйте, родимые! сказала баба, повидимому не обративъ даже на нихъ большого вниманія.

— Здорово, тетка, коли нечего дѣлать! отозвался Верстанъ.

Нищіе прошли мимо, и баба прошла мимо. Пройдя, однакожъ, шаговъ двадцать, она неожиданно остановилась, повернулась къ нищимъ, которые продолжали подвигаться впередъ, съ минуту простояла въ раздумьи и вдругъ замахала руками.

— Эй, родимые! эй! крикнула она,—эй, дѣдушка! старичокъ, а старичокъ!..

Невниманіе „старичка“ привело ее, казалось, въ сильное волненіе; она крикнула еще громче.

— Чего тебѣ? спросилъ издали Верстанъ.

Онъ остановился; остановились и другіе. При этомъ

баба, суетливо поправивъ головной платокъ и продолжая размахивать руками, поспѣшила нагнать ихъ.

— Слышь, родимые, не вашъ ли тамъ мальчикъ? вымолвила она, указывая впередъ, въ ту сторону, гдѣ находилось Прокислово. — Не вы ли оставили его тамъ, въ деревнѣ-то?..

— А что̀? уклончиво спросилъ Верстанъ, предупреждая Фуфаева толчкомъ, а дядю Мизгиря и Петю взглядомъ.

— Поди ты, касатики, что надѣлали-то! воскликнула баба, — я только оттедова; поди ты какихъ дѣловъ надѣлали!.. ахти! ахти!..

— Ты толкомъ говори, тетка; тебя не разберешь никакъ. Какихъ дѣловъ надѣлали? кто? спросилъ Верстанъ, выразительно покашливая и предупреждая товарищей, которые отъ перваго до послѣдняго насторожили слухъ.

— Кто надѣлалъ? Знамо, недобрые люди, касатикъ... нищіе, сказываютъ... Онъ, мальчикъ-то, добре захворалъ у нихъ, они его и бросили... и было-то ихъ трое, родимый, вотъ сколько васъ, все едино. Бабу-то добре жаль, касатикъ, старуху-то: поди ты какъ убивается... такъ и кричитъ, голосомъ кричитъ, касатикъ...

— Какая тамъ еще баба? нетерпѣливо спросилъ Верстанъ.

— А какъ же! а старуха-то, у которой они мальчика-то оставили! съ живостью подхватила баба, — теперь я чай пропадетъ, сердечная!.. То-то вѣдь грѣхъ какой!.. Весь судъ собрался, становой Миколай Миколаичъ пріѣхалъ; сказывали, допросъ, вишь, какой-то учиняютъ...

— А что, развѣ мальчикъ-то померъ? спросилъ Верстанъ, суетливо озираясь на стороны.

— Померъ, касатикъ, то-то и есть, что померъ! въ тотъ же день, какъ они его оставили у старухи-то, въ тотъ день и померъ...

Извѣстіе это произвело на каждаго изъ присутствующихъ различное дѣйствіе: Фуфаевъ, раскрывъ бѣлые зрачки, притупленно устремилъ ихъ въ землю и тяжко покрякивалъ, какъ будто его били сзади палкой; сморщенное лицо дяди Мизгиря скорчилось и выразило явное безпокойство; Верстанъ съ суровой заботливостью почесалъ затылокъ. Что жъ касается до Пети, который до того времени впивался глазами въ лицо бабы и съ тяжкимъ замираніемъ сердца прислушивался къ каждому ея слову, онъ забылъ при этомъ извѣстіи весь страхъ, вну-

шаемый Верстаномъ, выпустилъ палку, закрылъ лицо, бросился на межу и зарыдалъ во весь голосъ. Верстанъ выхватилъ палку изъ рукъ остолбенѣлаго Фуфаева и быстро повернулся къ Петѣ; но благоразуміе удержало его.

— Ахти, родимый, что̀ это съ нимъ? жалостливо вымолвила баба, указывая на Петю.

— Должно-быть, мать вспомнилъ, возразилъ Верстанъ,— недавно взятъ... все о ней сокрушается... Ну, тетка, прощай; намъ пора, добавилъ онъ, толкая Фуфаева.

— Такъ, стало, мальчикъ-то не вашъ... не вы его оставили? спросила баба.

— Вотъ! рази мы оттедова! Вишь идемъ отколѣ... издалече идемъ, родимая, издалече!.. торопливо промолвилъ Верстанъ, подходя къ Петѣ и приказывая ему встать тотчасъ же на ноги.

Но такъ какъ Петя не разслышалъ приказанія и продолжалъ рыдать попрежнему, то Верстанъ ухватилъ его за воротъ, поставилъ на дорогу и повелъ ускореннымъ шагомъ впередъ по направленію къ мельницѣ. Дядя Мизгирь и Фуфаевъ, все еще словно ошеломленный извѣстіемъ, торопливо заковыляли по стопамъ его. Баба постояла минуты двѣ на мѣстѣ, раза два покачала головою, раза два поправила платокъ на головѣ, и пошла своею дорогой. Верстанъ, должно-быть, слѣдилъ за нею глазами: едва успѣла она скрыться изъ виду, онъ тотчасъ же остановился. Онъ такъ былъ озабоченъ, что забылъ даже объ обѣщаніи выколотить изъ Пети послѣднія слезы, лишь только уйдетъ баба: онъ не смотрѣлъ на него, хотя Петя продолжалъ такъ же горько плакать.

— Ну, ребята, дѣло плохо! проговорилъ Верстанъ, не отрывая глазъ отъ горизонта и останавливая товарищей,— теперь думать нечего; долго думать — тому же быть... Того и смотри, рыскаютъ теперь понятые... на нихъ наткнешься; надо убираться. Смотри, ребята, не отставать! Что̀ скажу, то и дѣлайте.

На томъ мѣстѣ, гдѣ они стояли, дорога окаймлялась съ обѣихъ сторонъ высокою рожью, которая колосилась; справа, въ полуверстѣ какой-нибудь, за полемъ, синѣла роща. Верстанъ указалъ въ ту сторону; онъ велѣлъ только выбирать межи, а не ломиться прямо въ рожь.

— Какъ есть, значитъ, слѣдъ оставимъ... все единственно: написать, значитъ, куда, примѣрно, пошли, сказалъ онъ, пропуская поочередно товарищей въ поле и

наблюдая, чтобъ рожь какъ можно была меньше смята въ этомъ мѣстѣ.

Полчаса спустя, они миновали рощу и снова пошли полями, которыя тянулись во всѣ стороны на неоглядное пространство. Такъ шли они нѣсколько верстъ безъ отдыха и очутились совершенно неожиданно на крутомъ пустынномъ берегу маленькой рѣчки.

— Смотри, не та ли это, гдѣ мельница, чтó намедни проходили?.. Не назадъ ли идемъ?.. отрывисто промолвилъ Фуфаевъ, не сказавшій слова до настоящей минуты.

— Ужъ ты только иди; не прозѣваю, небось! грубо возразилъ Верстанъ, толкая Петю впередъ и подставляя палку слѣпому.

Край берега служилъ имъ теперь дорогой; Верстанъ увѣрялъ, что вода непремѣнно куда-нибудь да приведетъ. Само собой разумѣется, каждый разъ, какъ показывалась деревня въ отдаленіи, или мельница, или виднѣлся человѣкъ, нищіе сворачивали въ сторону; они тщательно избѣгали встрѣчъ и вообще обходили всякое жилое мѣсто. Пройдя еще нѣсколько верстъ, Верстанъ замѣтилъ, что скаты долины, заключавшей въ себѣ рѣку, стали расходиться и вмѣстѣ съ тѣмъ подымались все выше и выше. Онъ предложилъ идти вéрхомъ: ему удобнѣе было обозрѣвать мѣстность. Немного погодя, въ отдаленіи, между щеками долины, сверкнуло большое водное пространство, а за нимъ открылись плоскіе берега, уходившіе въ неизмѣримую глубину, потопленную послѣдними лучами солнца. Уже сумерки ложились на землю, когда нищіе достигли вершины нагорнаго берега, круто спускавшагося къ широкой рѣкѣ. Верстанъ сказалъ, что это была Ока. Весь этотъ скатъ покрытъ былъ на значительное пространство мелкимъ дубнякомъ и орѣшникомъ; забравшись въ эту чащу, нищіе могли считать себя внѣ всякой опасности: не только понятые, но самъ становой Миколай Миколаичъ не могъ бы теперь отыскать ихъ. Но Верстанъ все-таки не удовольствовался: ему крѣпко хотѣлось переѣхать рѣку и попасть скорѣе на луговой берегъ, принадлежавшій уже другому уѣзду.

Слѣва, немного подальше впаденія маленькой рѣчки въ Оку, раздавались голоса, привлекавшіе вниманіе Верстана и его товарищей, какъ взошли они на хребетъ берега: то кричали паромщики, тянувшіе канатъ. Чего бы, кажется, лучше? Перевозъ былъ подъ рукою; но

осторожность, внушенная многолѣтнимъ опытомъ, говорила Верстану, что на паромъ никакъ не слѣдовало соваться: пристань мѣсто приточное, людное, бойкое; какого-какого народа тамъ не бываетъ! Легко могло статься, что становой Миколай Миколаичъ сдѣлалъ тамъ свои распоряженія касательно остановки всякаго, кто хоть сколько-нибудь похожъ на нищаго. Нѣтъ, о паромѣ и думать нечего. Не лучше ли направиться въ противоположную сторону, къ рыбацкимъ лодкамъ, которыя мелькали, какъ черныя крапины, на свѣтлой поверхности рѣки, отражавшей послѣднюю, блѣдную вспышку заката? Не близко, конечно; къ тому жъ и дорога не совсѣмъ ладная: вездѣ обрывы, да овраги, того и гляди повихнешь голову, ноги поломаешь; но вѣдь и то сказать: бѣда за плечами не малая! Нѣтъ, ужъ лучше въ дорогу! Всѣ согласились съ мнѣніемъ Верстана; коноводъ былъ опытный, сказать нечего!

Небо ужъ вызвѣздѣло, а на землѣ было темно, хоть глазъ выколи, когда нищіе приблизились къ челнокамъ, опрокинутымъ на песчаной отмели. Густое храпѣнье направило ихъ къ рыбаку, спавшему въ одномъ изъ челноковъ: они добудились его. Дѣло сладилось за два гроша; рыбакъ усадилъ ихъ всѣхъ въ одну лодку и повезъ черезъ рѣку. Дорогой не обошлось, разумѣется, безъ разспросовъ; но рыбакъ ничего не зналъ о происшествіи въ Прокисловѣ.

— А далеко ли Прокислово? сколько, примѣрно, верстъ отъ васъ считается? спросилъ Верстанъ.

— Верстъ пятнадцать... а не то и всѣ двадцать—не знаю, заключилъ рыбакъ.

Ступивъ на луговой берегъ, нищіе словно пріободрились, кромѣ, впрочемъ, Пети и Фуфаева. Первый уже не плакалъ; но лицо его попрежнему оставалось печальнымъ и глаза не отрывались отъ той стороны, гдѣ темною, зубчатою стѣною подымался нагорный берегъ. Фуфаевъ не прерывалъ молчанія; время отъ времени онъ снималъ шапку, свирѣпо почесывалъ затылокъ и снова надвигалъ ее съ какимъ-то нахмуреннымъ, вовсе не свойственнымъ ему видомъ.

— Что̀ это, братъ, тамъ за деревня? спросилъ Верстанъ, указывая къ лугу на огоньки, мелькавшіе въ отдаленіи.

— Село Болотово, лаконически возразилъ рыбакъ, отпихиваясь отъ берега.

Отъѣхавъ саженъ десять, рыбакъ положилъ весла въ челнокъ и посмотрѣлъ машинально на лугъ; но нищіе успѣли исчезнуть въ темнотѣ, потоплявшей весь берегъ· слышны были только шаги ихъ, постепенно слабѣвшіе, и наконецъ вовсе смолкшіе.

V.

Новый край.—Новыя лица.

А между тѣмъ Сергѣй Васильевичъ Бѣлицынъ и его семейство, пробывъ дней пять въ Москвѣ, чтобъ повидаться съ родственниками (нѣтъ, кажется, такого человѣка въ Россіи, у котораго не было бы въ Москвѣ родственниковъ, особенно пожилыхъ и женскаго пола), Сергѣй Васильевичъ и его семейство подъѣзжали къ Петербургу. Но мы оставимъ ихъ на послѣдней станціи желѣзной дороги. Что жъ дѣлать! Повѣрьте, мы почти противъ воли лишаемъ себя удовольствія ввести читателя въ изящный кругъ свѣтскаго столичнаго общества. Какъ ни прискорбно, но на этотъ разъ намъ снова предстоитъ принести Петербургъ—эту *Сѣверную Пальмиру*, какъ до сихъ поръ называетъ его одна газета,—должны принести его въ жертву скучнымъ деревушкамъ, засыпаннымъ пылью или потопленнымъ въ грязи; необходимо намъ промѣнять общество столицы на общество неумытыхъ мужиковъ и необтесанныхъ мѣщанъ, изящные туалеты—на неуклюжіе зипуны и полушубки, покрытые заплатами, Невскій проспектъ—на пустынныя, глухія проселочныя дороги. Предлагаемый романъ такъ ужъ несчастливо сложился, что „порядочные люди“ стали въ немъ на второмъ и даже на третьемъ планѣ. Основываясь на этомъ послѣднемъ обстоятельствѣ, было бы даже несправедливо говорить теперь о пріѣздѣ Сергѣя Васильевича и его семейства; дѣло подошло къ пріѣзду другого семейства, а именно — семейства Лапши. Оно и безъ того ѣхало слишкомъ долго; но мы нимало не виноваты въ этомъ: намъ слишкомъ хорошо извѣстно, что на проѣздъ какихъ-нибудь четырехсотъ верстъ вовсе не требуется столько времени, хотя бы даже проѣздъ этотъ совершался въ телѣгѣ и въ одну лошадь, съ малыми ребятишками, съ горшками и всякою домашнею рухлядью. Въ такомъ промедленіи вся вина сполна падаетъ на Лапшу—ни на кого болѣе, какъ на Лапшу.

Первые два перевала отъ Марьинскаго онъ шелъ очень хорошо, былъ веселъ и даже бодрился, несомнѣннымъ доказательствомъ чего служили его брови, которыя во все время рисовались черными, крутыми дугами на узенькомъ лбу его; на третьемъ перевалѣ лѣвая бровь какъ будто зашевелилась и стала опускаться; на четвертомъ обѣ вдругъ разомъ ослабли и опустились; вмѣстѣ съ этимъ самъ онъ какъ будто раскисъ и упалъ духомъ; слабость духа непосредственно, казалось, дѣйствовала у него на ноги—онъ объявилъ, что дальше никакъ не можетъ продолжать путь пѣшкомъ. Сколько ни усовѣщевала его Катерина, выставляя на видъ тяжесть подводы, плохой кормъ лошади и необходимость сажать на подводу малыхъ ребятъ, Лапша ничего не слушалъ: онъ легъ на возъ, и какъ ни безпокойно было ему лежать, потому что, несмотря на всѣ его старанія устроиться удобнѣе, одно корыто все-таки совало ему уголъ въ спину, а чугунокъ долбилъ его въ бокъ, онъ не вставалъ ужъ съ воза и спалъ непробудно отъ станціи до станціи.

Въ первый день, какъ разстались они съ Марьинскимъ, Лапша не переставалъ говорить о лугѣ. Бесѣдуя съ мужиками, у которыхъ останавливался, онъ толковалъ съ ними о цѣли своего путешествія, говорилъ, что баринъ посылаетъ его въ луга, какъ главнаго надсмотрщика, какъ управителя, описывалъ имъ богатство края, и при этомъ съ особеннымъ увлеченіемъ говорилъ объ арбузахъ, которые сѣялись тамъ все равно, что горохъ. Теперь ни о чемъ этомъ не было и помину; онъ, правда, охотно бесѣдовалъ съ мужиками и бабами, у которыхъ останавливался, но смыслъ рѣчей его былъ совсѣмъ другого рода: слово *арбузъ* словно изгладилось изъ его памяти; онъ не переставалъ жаловаться и плакаться на горькую свою долю; другого разговора не было, какъ то̀, что отправляютъ-де его въ незнамую, дальнюю сторонушку. За что̀ отправляютъ его? чѣмъ провинился онъ? Никакихъ, кажись, не было за нимъ ни художествъ, ни провинностей; жилъ онъ тихохонько въ родимой деревнѣ своей, Марьинскомъ, никого не трогалъ, никого не обижалъ, и было ему тамъ хорошее, привольное житье... Нажаловавшись такимъ образомъ до-сыта, что̀, повидимому, располагало его всякій разъ къ успокоенію, онъ забирался къ мужику на печку, или заваливался на сѣновалъ и, прокрякавъ, проохавъ тамъ нѣсколько времени, засыпалъ какъ мерт-

вый. На другой день, или вообще, когда приходилъ часъ отправленія, Катерина никакъ не могла его добудиться. Потягòта, спанье, разговоры да разныя проминанья—все это, конечно, сильно замедляло путь.

Нужно было имѣть терпѣніе Катерины, чтобъ не колотить такого мужа, не сбросить его съ воза и не оставить его на дорогѣ. Въ другое время она, можетъ быть, не дала бы ему такой потачки—не сталъ бы онъ у ней занимать на возу мѣсто, предназначенное дѣтямъ; но Катерина была замѣтно чѣмъ-то сильно озабочена. Горе дѣйствуетъ на иныхъ людей раздражительно; другіе дѣлаются кроткими, мягкими и снисходительными, когда тоска западаетъ на сердце. Она не переставала думать о Петѣ; сто разъ на дню поминала она Машѣ о немъ: „Гдѣ онъ теперь, сердечный? куда дѣлся, дитятко ненаглядное? живъ ли еще?“ Не такъ жалко было ей потерять другого мальчика, хоть бы Костюшку: Петя былъ ея любимый; но такъ, вѣроятно, казалось ей, потому что Костюшка находился на глазахъ ея, а Петя... Пети не было!

Другія думы не мало также занимали ее: ей жаль было Марьинскаго, жаль было родины, гдѣ прожила она вѣкъ свой, возрастила и вскормила дѣтей своихъ: но, съ другой стороны, не могла она не радоваться, что навсегда избавилась отъ злодѣя Филиппа, отъ нареканій и преслѣдованій міра, который вымещалъ на нихъ злобу, пробужденную дѣйствіями мужнина брата; она мысленно благодарила господъ, которые вникли въ ея положеніе и удалили ее отъ людской несправедливой ненависти. Она часто также думала о дочери Машѣ, и вмѣстѣ съ этою мыслью ей снова жаль было оставленной родины: вотъ дѣвка ужъ почитай что на возрастѣ, замужъ давно бы пора, и женишокъ ужъ навязывался, славный такой, почитай свой совсѣмъ, знакомый человѣкъ издавна; мастерство также у него хорошее: столярное дѣло всегда грошъ дастъ; кромѣ того, отъ дома, отъ семьи человѣка не отрываетъ. Ваня-столяръ обѣщалъ, впрочемъ, какъ прощался, навѣдаться въ степь; но вѣдь человѣкъ молодой, и рѣчи его, стало-быть, молодыя: долго-ль забыть ихъ? Въ этомъ послѣднемъ соображеніи Маша, казалось, раздѣляла мысли матери; во все продолженіе дороги она мало говорила, ни разу не улыбнулась, и часто мать заставала ее со слезами на глазахъ.

Одни только ребятишки да еще Волчокъ не унывали и

были веселы. Послѣдній во всю дорогу шествовалъ впереди лошади; онъ такимъ крутымъ кренделемъ закручивалъ хвостъ, сохранялъ такой важный видъ, что можно было думать, что кто-нибудь объяснилъ ему значеніе и отвѣтственность авангарднаго поста; онъ измѣнялъ роли въ тѣхъ только случаяхъ, когда путешественники подходили къ деревнѣ; не хотѣлось ли ему заводить новыхъ знакомствъ по дорогѣ, или вообще руководилъ имъ опытъ, говорившій, что стоитъ показаться въ любой деревнѣ чужой собакѣ, чтобъ туземныя принялись трепать ее изо всей мочи — неизвѣстно; но Волчокъ припускалъ тотчасъ же во всѣ лопатки и летѣлъ по задамъ. Миновавъ деревню, семейство Лапши находило его всегда сидящаго на дорогѣ съ круто завороченнымъ хвостомъ и висящимъ языкомъ.

Что жъ касается до безумной Дуни, несчастной жены Филиппа, она оставалась почти тою же, какою была въ Марьинскомъ. Такъ-какъ никто теперь не приставалъ къ ней, никто не дразнилъ ее, то она казалась спокойнѣе и вообще выказывала больше кротости и покорности: она шла, когда шли другіе, ложилась спать, когда приходило къ тому время. Раза два только возвращался къ ней припадокъ: она падала на̀-земь, начинала биться и отчаянно призывала Степку; но Катерина скоро уговаривала ее—и Дуня продолжала слѣдовать за подводой, снова убаюкивая свою палку или сбивая головки желтыхъ купавокъ, которыя росли въ изобиліи по межамъ.

Такимъ образомъ, переѣзжая изъ деревни въ деревню, изъ одного уѣзднаго городка въ другой, Катерина и ея семейство приблизились наконецъ къ цѣли своего путешествія. На послѣднемъ перевалѣ имъ сказали, что до хутора помѣщицы Ивановой или Иванихи (она была больше извѣстна подъ этимъ именемъ) оставалось всего двѣнадцать верстъ. Извѣстіе это подѣйствовало особенно на Тимоѳея; силы его разомъ воскресли; онъ не хотѣлъ даже отдыхать, поминутно заглядывалъ, подбираетъ ли лошадь кормъ, и не давалъ покоя женѣ, торопя ее въ дорогу. По словамъ его, не слѣдовало бы даже здѣсь останавливаться: лошадь, конечно, устала, но двѣнадцать лишнихъ верстъ не уморятъ ее; слѣдовало прямо ѣхать на хуторъ и тамъ уже отдохнуть хорошенько за всю дорогу.

Было прекрасное іюньское утро, и солнце только что взошло, когда семейство покинуло деревню. На протяже-

нiи послѣднихъ этихъ двѣнадцати верстъ Лапша ни разу не ложился на подводу: онъ шелъ впереди, вмѣстѣ съ Волчкомъ, высоко приподымалъ брови и такъ бодро поглядывалъ на стороны, какъ будто хотѣлъ сказать: „вотъ теперь лежать небось не стану, потому что цѣль достигнута, дѣло въ рукахъ; а есть чѣмъ заняться, есть надъ чѣмъ хлопотать; лежать теперь не время, хлопотать надо—да...“

Катерина, къ которой, повидимому, обращались эти рѣчи, не смотрѣла даже на мужа; но бодрившiйся Лапша не обижался ея невниманiемъ: напротивъ, онъ снисходительно ухмылялся въ жиденькую свою бороду и потряхивалъ головою съ видомъ человѣка, который привыкъ, чтобъ ему противорѣчили и чтобъ его не понимали. Онъ не переставалъ выхвалять степныя мѣста съ такимъ жаромъ, какъ будто неожиданно перескочилъ сюда прямо изъ Марьинскаго (оно отчасти такъ и было, потому что онъ спалъ всю дорогу), хвалилъ рожь, которая стлалась по обѣимъ сторонамъ и только что начинала колоситься, хвалилъ почву, хвалилъ траву; изъ словъ его дѣлалось очевиднымъ, что если бъ такую землю да въ Марьинское — ну, тогда другое было бы дѣло! было бы тогда изъ чего хлопотать и надъ чѣмъ трудиться. Онъ не только сталъ бы тогда обработывать свои двѣ нивы (что̀ такое двѣ нивы?—пустяшное, нестоящее дѣло!), но сталъ бы непремѣнно каждый годъ принанимать и примахивать цѣлыхъ десять, потому дѣло выходитъ такое, есть изъ чего хлопотать по крайности. Катерина на все это опять-таки ни слова не возражала, но лицо ея, время отъ времени обращавшееся къ мужу, ясно говорило: „дѣловой человѣкъ, мой батюшка, дѣлецъ, нечего сказать!..“

Какъ ни забавны были восторженныя рѣчи Тимоѳея, въ нихъ заключалась однакожъ частичка правды. Рожь была дѣйствительно несравненно выше, чѣмъ въ Марьинскомъ; цвѣты чаще и пестрѣе просвѣчивали между желтѣющими стволами хлѣба; тра́вы на межахъ казались и гуще, и разнообразнѣе; земля чернѣла какъ уголь и была словно насквозь пропитана желтоватымъ какимъ-то сокомъ; колеса телѣги оставляли по дорогѣ, омоченной утренней росою, глянцовитые, лоснящiеся слѣды. Производительная сила степного края еще замѣтнѣе выказывалась въ лѣсахъ: часто въ одной группѣ встрѣчались липа, вязъ и молодой кленъ, который выставлялъ свои лапчатые, сквоз-

ные листья изъ-подъ темной зелени стараго дуба—старшины сосѣднихъ деревъ; иногда попадались цѣлыя липовыя рощи; вообще, весь край принималъ характеръ плоскій, но широкій, просторный и размашистый; небосклонъ уходилъ дальше, горизонтъ дѣлался синѣе, и ярче окрашивались луга при солнечномъ закатѣ.

Но всѣ эти особенности, составлявшія характеристику и красоту края, встрѣчали самое полное равнодушіе со стороны всѣхъ нашихъ путешественниковъ безъ исключенія. Простолюдинъ смотритъ на природу своимъ особеннымъ взглядомъ. Береза для него самое лучшее дерево: и на верею хороша, и на лучину годится, и топливо самое жаркое; старая, раскидистая липа имѣетъ цѣны настолько, насколько можно надрать съ нея лубковъ и выпилить колодъ для пчелъ; смотритъ ли простолюдинъ на рѣку, красиво изгибающуюся по долинѣ, онъ думаетъ о рыбѣ; встрѣчаетъ ли дубъ, покрывающій тѣнью цѣлое стадо, ему кажется: вотъ срубить бы пора; такъ стоитъ—гніетъ безъ пользы, простоитъ еще годъ, другой — всю сердцевину выѣстъ, ни одной доски тогда не выпилишь; устремляется ли случайно взоръ его къ широкому простору, убѣгающему въ синюю, туманную даль, онъ восклицаетъ: „экъ, что̀ земли-то! земли-то что́!..“ и такъ далѣе; онъ всюду ищетъ пользы, но вовсе не изъ жадности — нѣтъ. Не потому ли происходитъ все это, что въ самомъ дѣлѣ много, много нуждъ у простолюдина? Посади-ка любого изъ насъ натощакъ въ темную и притомъ холодную избу: по прошествіи сутокъ насъ даже страшно бы раздражали поэтическіе восторги по поводу красоты изгибающейся рѣчки или живописности какой-нибудь березы: рѣчка гроша не стоила бы, если бъ нельзя въ ней тотчасъ же наловить налимовъ на уху; дрова и лучина сдѣлались бы прямымъ, единственнымъ назначеніемъ самаго живописнаго дерева. Поэтическое воззрѣніе на предметы истекаетъ, повѣрьте, не столько отъ болѣе или менѣе богатыхъ свойствъ души, сколько отъ матеріальнаго довольства вообще и сытаго желудка въ особенности...

Солнце высоко стояло въ безоблачномъ небѣ, когда переселенцы подъѣхали къ маленькой деревянной часовнѣ, поставленной на перекресткѣ нѣсколькихъ дорогъ; одна изъ нихъ прямо вела на хуторъ; оставалась теперь одна верста. Но хуторъ до сихъ поръ не показывался: онъ терялся въ складкѣ почвы; къ тому же рожь такъ высока

была подлѣ дороги, что невозможно было даже обозрѣвать мѣстность. Первое живое существо, встрѣтившееся путешественникамъ, была сѣрая собачонка съ желтыми, какъ янтарь, глазами и вострыми, стоячими ушами; она неожиданно выскочила изъ ржи; увидавъ Волчка, она остановилась, гордо подняла голову, на которой ясно, однакожъ, изобразилось пріятное удивленіе, и вдругъ скоро-скоро замахала мохнатымъ хвостомъ, торчавшимъ высоко надъ спиною; при этомъ Волчокъ, начавшій было пятиться, круче еще прежняго закрутилъ свой крендель и побѣжалъ къ незнакомцу дробнымъ, но бережнымъ шажкомъ. Ребятишки, а за ними Лапша, начали кричать, свистать и звать Волчка; никто не сомнѣвался, что сейчасъ же произойдетъ потасовка—ничуть не бывало; собаки съ минуту постояли другъ противъ дружки, какъ бы испытывая одна у другой самыя сокровенныя мысли, потомъ обѣ вдругъ подпрыгнули, потомъ замахали хвостомъ и, ставъ, наконецъ, рядомъ, дружелюбно побѣжали впередъ по дорогѣ.

Встрѣча эта послужила, казалось, хорошимъ предзнаменованіемъ: немного дальше, изъ ржи вышелъ мужичокъ средняго роста, среднихъ лѣтъ, но уже посѣдѣлый; загорѣвшее лицо его далеко не отличалось красотою, но ласковое, добродушное выраженіе съ лихвою выкупало правильность чертъ; самая улыбка, съ которой поглядѣлъ онъ вслѣдъ дружелюбно бѣжавшимъ собакамъ, сразу показала въ немъ незлобиваго, мягкаго человѣка. Улыбка быстро исчезла, однакожъ, когда увидѣлъ онъ приближавшихся людей и подводу; онъ точно съ перваго взгляда понялъ, что то были какіе-нибудь переселенцы. Сильная привязанность нашего народа къ родимой почвѣ всегда пробуждаетъ въ немъ состраданіе и сочувствіе къ переселенцу. Незнакомый мужичокъ первый приподнялъ шапку и поздоровался. Лапша, какъ уже сказано, выступалъ теперь бодрымъ шагомъ и высоко держалъ брови; послѣднее это обстоятельство и предшествующія слова его достаточно свидѣтельствовали, что переселеніе въ лугъ снова получало въ его мнѣніи высокое значеніе. Съ первыхъ же словъ, сказанныхъ имъ незнакомцу, проглянуло желаніе выставить себя чѣмъ-то въ родѣ надсмотрщика и управителя; но Катерина тотчасъ же перебила его и заговорила совсѣмъ въ другомъ духѣ: она вскользь, только мимоходомъ, упомянула о лугѣ. Привѣтливо обратившись къ мужичку, она принялась разспрашивать, не найдется ли

уголка въ хуторѣ, гдѣ бы можно было пріютиться ея семейству.

— Намъ, родной мой, хоть бы сараишка какой-нибудь, сказала она, — теперь лѣто, вездѣ можно помѣститься; хошь бы клѣтушку, и то не надолго, недѣльки на три, либо на четыре всего. Мы, батюшка, не то, чтобъ... не алаберные какіе: у насъ деньги есть; мы, какъ водится промежъ добрыхъ людей, за все разсчитаемся, заплатимъ. А насчетъ, что ребятъ оченно много, семья великая, это для хозяина послѣдняя будетъ забота. Вотъ у меня дочь большая: она за ребятишками присмотритъ, коли мнѣ недосугъ, а это у меня, примолвила она, указывая на Дуню, которая водила концомъ палки по дорогѣ:—эта хоша разумомъ повреждена, а смирная... ее не услышишь. Намъ бы только на короткое время, недѣльки на три; больше бы не обезпокоили...

Голосъ ли Катерины звучалъ прямотою, или вообще лицо ея способно было быстро располагать въ ея пользу, но незнакомый мужичокъ слушалъ ее съ выраженіемъ полнаго довѣрія.

— Что жъ! пожалуй, у меня остановитесь, коли по нраву, промолвилъ онъ, поглядывая на Лапшу, который (такъ показалось мужику) былъ словно чѣмъ-то недоволенъ.

Мужичокъ не зналъ еще, что когда Лапша бодрился и приподымалъ брови, женѣ никакъ не слѣдовало перебивать его; онъ не шутя тогда обижался, по нѣсколько часовъ слова не говорилъ и дулся. Замѣчено уже было выше, что, въ бодромъ настроеніи, Лапша считалъ Катерину вздорной, пустяшной бабой; если онъ молчалъ, то единственно потому, что проникался тогда сознаніемъ превосходства своего надъ нею.

— Можетъ, ты это такъ только, по своей по доброй душѣ говоришь, родной... можетъ, въ тяготу тебѣ насъ пустить? продолжала Катерина.

— Никакой тяготы не будетъ, съ спокойнымъ добродушіемъ возразилъ мужикъ,—была бы ваша охота, а мнѣ что̀? Я да жена—-насъ только двое и есть... да еще трое ребятишекъ махонькихъ, вотъ все равно, что̀ ваши... поровеночки должно быть. Былъ большой сынъ, да померъ. Что жъ мы стоимъ? пойдемте; дорогой поговоримъ. Какъ те звать-то? добавилъ онъ ласково, обратившись къ Лапшѣ.

Тимоѳей неохотно какъ-то объявилъ свое имя.

— А тебя какъ?

— Меня зовутъ Андреемъ.

— Ну, пойдемте.

— Пойдемте.

По мѣрѣ того, какъ они шли да бесѣдовали (разговаривали, впрочемъ, только Андрей и Катерина; Лапша продолжалъ дуться), хуторъ, окруженный со всѣхъ сторонъ полями ржи, началъ выступать наружу. Онъ такъ былъ незначителенъ, что лѣтомъ, когда колосилась рожь и высокою стѣною становилась кругомъ, легко было пройти мимо въ трехъ стахъ шагахъ и вовсе не замѣтить его. Было всего на все двѣ избы да три низенькія плетневыя мазанки—хорошія, впрочемъ, мазанки, приземистыя, плотныя; избы стояли рядомъ, а мазанки лѣпились насупротивъ; пространство между ними носило гордое названіе *порядка*, или улицы. Въ концѣ улицы сверкалъ, какъ зеркало, прудъ, который такъ былъ малъ, что одна старая дуплистая ветла наполовину покрывала его своею тѣнью; къ пруду однимъ бокомъ примыкалъ садъ, казавшійся густою, сплошною массою листьевъ, молодыхъ яблокъ, синихъ сливъ и грушъ; нѣкоторыя деревья повалили коегдѣ плетень, и вѣтви, отягченныя плодами, рвались впередъ, будто искали простора. Изъ-за сада робко выглядывали двѣ низенькія, какъ бы приплюснутыя, соломенныя крыши; надъ ними выставлялась третья съ приглаженной соломой и бѣлой трубой. Галки и воробьи, лютѣйшіе враги помѣщицы, у которой садъ и ягоды составляли главный источникъ дохода, стаями перелетали съ кровли на кровлю; иногда съ той стороны раздавались вдругъ восклицанія въ родѣ слѣдующихъ: „Кишь-ки-и-шь, ки-и-шь! Кишь, пострѣлы!“ и тогда птицы разомъ вскидывались всѣ на воздухъ, начинали водить торопливые круги надъ усадьбой, или стремительно, какъ градъ, сыпались на старую ветлу, осѣнявшую прудъ. За прудомъ шелъ небольшой мокрый лужокъ, сходившійся косякомъ между полями ржи, которая, разливаясь мягкими волнами, убѣгала въ необозримую даль, подернутую легкимъ паромъ, струившимся на солнцѣ. Во всѣ стороны хутора, куда ни кинешь взглядомъ, всюду бѣжали ровныя поля и желтѣла рожь, перехваченная лугами, которые сливались съ небосклономъ.

На хуторѣ считалось тридцать душъ по послѣдней ревизіи, и хуторъ назывался: *Панфиловка*. Названіе свое

получилъ онъ совершенно случайно; не купи его въ свое время покойный мужъ помѣщицы, котораго звали Панфиломъ, хуторъ могъ бы теперь называться Петровкой, Астафьевкой, Вафусьевкой, и т. д., смотря по имени владѣльца. Покойникъ служилъ въ ближайшемъ уѣздномъ городкѣ сначала протоколистомъ, потомъ канцелярскимъ служителемъ и, дослужившись черезъ тридцать лѣтъ до земскаго засѣдателя, пожелалъ отдохнуть и купилъ хуторокъ (въ то время можно еще было выслужившимся протоколистамъ покупать крестьянъ). Съ тѣхъ поръ много утекло воды, многое перемѣнилось. Земскіе засѣдатели, надо думать, были тогда гораздо бѣднѣе теперешнихъ; по всему видно, они были также скромнѣе нынѣшнихъ засѣдателей. Покойный Панфилъ Ивановъ до послѣдней своей минуты не переставалъ восхищаться хуторомъ; по цѣлымъ днямъ сидѣлъ онъ на дворѣ и гонялъ голубей, или ложился подъ густыми яблонями сада. Онъ говорилъ, что ему теперь ничего не надо, что Богъ благословилъ его, что живетъ онъ словно въ раю какомъ. Представьте же себѣ, я знаю теперь засѣдателя, который купилъ двѣ деревни и постоянно недоволенъ: бранитъ крестьянъ, бранитъ мѣстность — все бранитъ. Онъ, слышалъ я, недоволенъ даже прекрасной липовой рощицей, которая раскинулась передъ его домомъ; онъ хочетъ уничтожить ее и разбить на этомъ мѣстѣ паркъ въ англійскомъ вкусѣ... Но все это, естественнымъ образомъ, выходитъ, впрочемъ, изъ потребностей вѣка. Теперь все рвется къ просвѣщенію, и даже самые засѣдатели, какъ видите, разбиваютъ англійскіе парки въ своихъ помѣстьяхъ...

VI.

Продолженіе.

Мужичокъ Андрей, представлявшій нѣкоторымъ образомъ одну тринадцатую долю состоянія бывшей засѣдательши, помѣщался съ женою и дѣтьми въ мазанкѣ; но это рѣшительно ничего не доказывало: во-первыхъ, хорошая мазанка ничуть не хуже нашей обыкновенной избы, и, наконецъ, мазанка Андрея считалась чуть ли не лучшею въ околоткѣ. Между нею и ея хозяиномъ было даже что-то общее: она также не казиста была на видъ, но стоило взглянуть на нее, чтобъ понять сразу, что въ ней жилъ честный, трудолюбивый хозяинъ. Все лѣпилось не-

уклюже, если хотите, но было такъ хорошо, такъ плотно и чисто смазано; окна не отличались правильностью и пріятными размѣрами, но всѣ стекла были цѣлы; стропила кровли и гнилушки въ углахъ нигдѣ не просвѣчивали. Дворъ Андрея могъ служить образцомъ крестьянскаго двора; сани и зимнія снасти укладывались рядкомъ на верхнихъ балкахъ подъ крышкою навѣса; въ старыхъ голубоватыхъ плетняхъ мелькали кой-гдѣ свѣжіе зеленые прутья жимолости, вплетенные для поддержки; солома, назначенная для печенія хлѣбовъ, громоздилась въ углу, связанная въ снопы; словомъ, куда ни глянешь, всюду хорошо.

Ужъ самая наружность мазанки пришлась Лапшѣ не по-сердцу. Войдя во дворъ, онъ окончательно нахмурился. „Нѣтъ, это не свой братъ"... сказалъ самъ себѣ Лапша, и съ этой минуты лѣвая бровь его стала какъ будто опять клониться книзу. Бодрость и разговорчивость, такъ внезапно овладѣвшія Тимоѳеемъ на послѣдней станціи, получили бы, безъ сомнѣнія, сильное подкрѣпленіе, если бъ вошелъ онъ во дворъ къ разоренному крестьянину; но здѣсь ему было неловко.

„Нѣтъ, это не то... Это не свой братъ!.." мысленно повторялъ онъ, уныло поглядывая на стороны.

На стукъ въѣхавшей подводы выбѣжали, одинъ за другимъ, ребятишки Андрея; за ними явилась жена его, женщина немолодая, почти однихъ лѣтъ съ мужемъ. Съ первыхъ словъ, которыми помѣнялись они, видно было, что жили они хорошо и согласно. Участіе, которое тотчасъ же приняла хозяйка въ Дунѣ, быстро сблизило ее съ Катериной; онѣ разговорились; ребятишки Катерины жались подлѣ матери; ребятишки Андрея стояли насупротивъ и глядѣли на гостей во всѣ глаза. Наконецъ, ихъ оставили глазѣть другъ на дружку. Катерина и Прасковья (такъ звали хозяйку) присоединились къ Тимоѳею, Андрею и Машѣ; первые два, то-есть, больше, впрочемъ, Андрей, распрягали лошадь; вторыя развязывали возъ, чтобы вынуть чистыя рубашонки, въ которыхъ сильно нуждались братья. Ребятишки, предоставленные собственному произволу, минуты двѣ стояли молча; у каждаго указательный палецъ находился во рту; потомъ начали они слегка подталкивать другъ друга локтемъ, и, наконецъ, всѣ шестеро побѣжали на улицу. Когда, по прошествіи часа, хозяева и гости сошлись къ обѣду, мальчуганы окончательно уже

сдружились; оказалось даже, что Костюшка далъ тумака Васькѣ, а Гараська подставилъ ногу Авдюшкѣ.

За обѣдомъ хозяинъ и хозяйка приступили съ разспросами: имъ хотѣлось узнать подробнѣе, въ чемъ именно заключалась главная цѣль переселенія. Катерина передала имъ, какъ могла, объясненія и наставленія, полученныя ею въ Марьинскомъ. Какъ только заговорила она, Лапша замолкъ, но улыбка легкаго пренебреженья бродила на губахъ его; онъ во все время потряхивалъ головой, какъ бы мысленно опровергая каждое ея слово.

— Воля твоя, тетка, а я все-таки въ толкъ не возьму, сказалъ Андрей, когда кончила Катерина, — не стóитъ, воля ваша, не стòитъ изъ-за этого строиться... не стòитъ переселять, да тратиться—воля ваша! Вѣдь лугу-то всего триста десятинъ какихъ-нибудь, и тѣхъ, можетъ, не наберется; кто ихъ мѣрилъ!..

— Мы этого, родной, ничего не знаемъ.

— А коли не знаешь, такъ не говори, неожиданно перебилъ Лапша тономъ человѣка, вступающаго въ разговоръ такъ только, изъ снисхожденья, — и не говори лучше. Стало-быть, знаютъ, чего лугъ-то стòитъ, коли послали...

— Что жъ онъ стòитъ-то по-твоему? спросилъ посмѣиваясь Андрей.

— А то стòитъ, произнесъ Лапша, глубокомысленно насупливая брови,—у насъ десятину-то луга за четыре рубля въ наемъ отдаютъ... Ну и сосчитай, чего триста-то десятинъ стòятъ.

— Да то, вѣдь, говоришь ты, у васъ. У насъ поди-ка отдай по четыре-то рубля—тебѣ глаза высмѣютъ. Знамо дѣло, кабы да этотъ лугъ перенести въ ваши мѣста—ну, тогда было бы изъ чего хлопотáть; а до васъ верстъ-то съ полтысячи: поди-тка перевези туда сѣно-то!.. Дай намъ половину, хоть одну третью долю дай той цѣны, чтò говоришь, у насъ тогда денегъ куры бы не клевали! А почему у насъ ни у кого денегъ нѣтъ? почему? потому что Господь посылаетъ намъ всего вволюшку, да сбыть-то некому! Вотъ хошь бы у меня теперь: весь домъ обыщи, копейки не найдешь, а глянь на гумно: позапрошлый хлѣбъ, и того много.

Лапша заикнулся-было о гуртовщикахъ и воловьихъ стадахъ, которыя прогоняли по лугамъ, но замѣчаніе его возбудило только смѣхъ Андрея. „Да, какъ же! гуртов-

щики такіе дураки, что станутъ гонять на авось скотину! У каждаго гуртовщика, гоняющаго скотъ большими партіями, луга сняты заранѣе по всей дорогѣ, сняты на многіе годы и по контракту.“ Андрей привелъ въ примѣръ богатаго мѣщанина, гуртовщика Карякина, который жилъ отъ нихъ въ четырехъ верстахъ: у него было своихъ, коренныхъ, полторы тысячи десятинъ; онъ тутъ даже и поселился; кромѣ этого, Карякинъ принанималъ еще луговъ у сосѣднихъ помѣщиковъ, въ томъ числѣ и у Ивановой. Андрей помнилъ хорошо, что Иванова отдавала лугъ Бѣлицыныхъ рублей за сто ассигнаціями Карякину.

— А все же, слышь, сто рублей! перебилъ радостно Лапша.

— Ну такъ что жъ?

— А то же, что сто рублей! повторилъ Лапша, какъ бы поддерживая Андрея.

— Ну, хорошо, сказалъ тотъ,—возьми-ка сосчитай теперь, что̀ будетъ стоить вамъ построиться на этомъ лугѣ— это разъ; потомъ, чего стоило перевезти васъ—выходитъ, когда жъ вы поверстаете прибыль-то на убытки, а? Ну, то-то же и есть!.. Ну, да это дѣло господское; такая, значитъ, ихняя была воля. А вотъ теперь другое пойдетъ дѣло, примолвилъ Андрей, обращаясь къ женѣ,—то-то, я чай, расходится наша Анисья Петровна, какъ провѣдаетъ обо всемъ этомъ... Шутка! почитай десять лѣтъ лугомъ-то ихнимъ владѣетъ!

— Я и то сижу такъ-то да думаю, сказала Прасковья,— думаю: шибко больно разобидится; пожалуй, что на насъ осерчаетъ: зачѣмъ, скажетъ, ихъ къ себѣ пустили!

— Вотъ!.. Надо же гдѣ-нибудь имъ остановиться; не у насъ, такъ у другого. Не въ полѣ же имъ жить, не цыгане—она сама, чай, знаетъ. И то сказать, сердце ея не долгое: покричитъ, покричитъ, да и уймется: у ней все такъ.

— А что, родные, какая она у васъ? спросила Катерина, которой хотѣлось вообще разузнать о нравѣ помѣщицы прежде, чѣмъ къ ней представиться.

— Ничего, живемъ, по милости Господней, отвѣчалъ Андрей,—ни въ чемъ пока не нуждаемся, всякаго жита есть у насъ, да и у всякаго, кто не любитъ лежать сламши руки. Ничего; помѣщица хорошая; одно развѣ: ужъ оченна хлопотлива, во всякую, самую нестоющую мелочь, до всего сама доходитъ; у ней нѣтъ этого: позвала кре-

стьянина или бабу, сказала: „то, молъ, и то дѣлай“— сама идетъ! Пахать рано выйдешь, съ солнцемъ выѣдешь— а поля наши не ближнія, смотришь—она тамъ тебя дожидаетъ! И женщина ужъ не молодая, да тучная, ражая такая, а ничего нѣтъ этого въ ней, никакой, то-есть, устали не знаетъ! Особливо дивимся мы въ жнитво: такъ съ поля тогда почитай и не сходитъ; прійдетъ на зарѣ, вечеромъ уходитъ: да какъ, братецъ ты мой, добро бы сидѣла да поглядывала, какъ жнутъ—сама жнетъ! Возьметъ это серпъ: „эхъ, скажетъ, какія вы бабы слабыя да лѣнивыя! вотъ, говоритъ, какъ надо!“ станетъ впереди всѣхъ и почнетъ жать, и почнетъ... никто за ней не угонится! Въ полдень даже, и то воздохнуть не дастъ; тутъ же у бабы у какой-нибудь, возьметъ хлѣбца, хлебнетъ кваску и опять пошла... Диковинное дѣло, какъ осиливаетъ! Такъ бабы-то за ней и валятся съ устали, а она ничегохонько! Оботретъ только потъ, и опять, и опять... Вотъ хозяйка моя теперь даже, и то спину-то почесываетъ. Подлинно сказать: жутко приходится въ жнитво бабамъ: опосля жнитва-то недѣли двѣ не разогнешь спины-то...

Хотя Лапша не принадлежалъ Анисьѣ Петровнѣ, однакожъ разсказъ о непосильной работѣ невольно перенесъ его мысли къ Марьинскому: онъ снова вспомнилъ о немъ съ сожалѣніемъ. Тамъ, правда, мужики были очень бѣдны—ни у кого еще зимою не нашлось бы лѣтошняго хлѣба, но зато, благодаря старости и снисходительности Герасима Аѳанасьевича, каждый могъ лежать на печи сколько вздумается.

— Ну, а что? какъ она въ разговорѣ-то? сердита? кричитъ? спросилъ Лапша, стараясь улыбнуться, но, въ сущности, не безъ смущенія помышляя о предстоящемъ свиданіи съ помѣщицей.

— Да ништо-таки: покричать любитъ, любитъ покричать... Знамо, дѣло женское: другимъ чѣмъ нельзя взять, онѣ голосомъ! философически замѣтилъ Андрей.—Ужъ на что: воробьевъ, либо галокъ начнетъ гонять у себя по двору, у насъ даже и то слышно! А ужъ какъ осерчаетъ, не уймешь никакъ, такъ съ дуба и рветъ: добрè голосиста, такъ инда вся даже покраснѣетъ... Вотъ услышишь: она, чай, сильно на васъ напустится... Знамо, вѣдь почитай лугъ-то своимъ считали, десять лѣтъ владали...

Лапша, у котораго обѣ брови начали приближаться къ носу, вдругъ тяжко закашля[illegible].

— Что̀ ты, батюшка? спросила хозяйка.

— О-охъ! простоналъ Лапша, раскашлясь окончательно,—грудь добрѐ пуще схватило... о-охъ! усталъ оченно съ дороги-то... о-охъ! шутка, сотъ пять верстъ прошли...

Катерина, изъ опасенія, вѣроятно, чтобъ хозяева не смекнули, въ чемъ дѣло, поспѣшила сказать, что мужъ давно жалуется грудью; причиною того было паденіе его въ оврагъ. Паденіе это мигомъ перенесло ее къ той несчастной ночи, когда она лишилась Пети. Грусть, изобразившаяся на лицѣ ея, не ускользнула отъ Прасковьи; слово за словомъ, Катерина повѣдала ей свое горе. Въ разсказѣ этомъ Лапша находился почти въ сторонѣ, а если являлся дѣйствующимъ лицомъ, то, по словамъ Катерины, игралъ роль жертвы страшнаго обмана. Не знаю, что̀ чувствовалъ въ это время Лапша, но онъ силился какъ бы подтвердить слова жены и показывалъ присутствующимъ, насколько способенъ вообще быть жертвой, если не обмана, то усталости. Когда пришло время идти къ помѣщицѣ съ письмомъ Сергѣя Васильевича, Лапша до того закашлялся, что едва могъ перевести духъ; онъ пробовалъ было подняться на ноги и пойти за женою, но никакъ не осилилъ.

— Нѣтъ, ужъ сходи-ка ты одна, промолвилъ онъ, садясь на лавку и тоскливо покачивая головою,—все одно, и ты письмо-то отдашь... О-охъ, такъ инда даже къ самому сердцу подкатило!..

Прасковья взялась проводить Катерину до господскихъ хоромъ. Почти въ воротахъ встрѣтили они маленькую, суетливую бабенку; она сказала, что барыня прислала ее развѣдать поскорѣе, какіе такіе пріѣзжіе остановились у Андрея. Бабенка эта вся, казалось, состояла изъ суеты, болтливости и любопытства; имя ея было Пелагея; но барыня, а за нею и весь хуторъ, звали ее Пья̀шка. „Пьяшка, поди-ка сюда! Эй, Пьяшка! Пьяшка!“ Пьяшка засыпала Катерину вопросами: откуда? зачѣмъ? какъ да почему? Хозяйка Андрея оставила съ ней Катерину и пошла домой. На протяженіи шестидесяти шаговъ, отдѣлявшихъ домъ Анисьи Петровны отъ крестьянскихъ жилищъ, Пьяшка такъ уже сблизилась съ Катериной, что стала разсказывать ей всю подноготную изъ житья-бытья барыни.

Они вошли на маленькій, но чистенькій дворикъ, покрытый мелкою травою съ протоптанными въ разныя стороны дорожками; плотный плетень окружалъ его; надъ

плетнемъ съ одного бока весело выглядывалъ садъ, съ другого гумно, съ третьяго амбарчики, съ четвертаго флигелекъ и крылечко дома, который почти всѣми своими окнами смотрѣлъ въ садъ. Подлѣ амбара стояли хорошенькія бѣговыя дрожки, въ которыя впряжена была статная сѣрая лошадь, обратившая вниманіе Катерины. Пьяшка поспѣшила сообщить, что лошадь и дрожки принадлежали сыну богатаго гуртовщика Карякина; отецъ почитай-что круглый годъ живетъ въ Саратовѣ по своимъ дѣламъ; сына здѣсь опредѣлилъ. Вотъ онъ, сынъ-атъ, и ѣздитъ къ Анисьѣ Петровнѣ; знамо, не даромъ ѣздитъ; сватается, говорятъ, за племянницей; она тутъ же, у тетки живетъ. Изъ себя, нà-тко, красива; очненно только нравомъ пронзительна; а онъ, Ѳедоръ-то Иванычъ, Карякинъ-то, женихъ-то, красавецъ; только врядъ женится; такъ только время провождаетъ; къ тому же не таковскій, чтобъ жениться ему: очненно охотникъ къ бабамъ подольщаться—и-и, такой-то, бѣда! сущій прйпертень!.. Тутъ Пьяшка подвела Катерину къ крылечку и замолкла; но, взамѣнъ ея голоса, изъ сада послышались гнусливыя, пронзительныя взвизгиванья: „Кишь, кишь, пострѣлы! кишь!..“

— Это барыня воробьевъ гоняетъ, пояснила Пьяшка.

— Поди, доложи обо мнѣ, сказала Катерина.

— Зачѣмъ? Этого у насъ не водится. Иди, ступай прямо, валяй! ничего небось! лихо проговорила Пьяшка и однимъ прыжкомъ скакнула на верхнюю ступеньку.

Обѣ вступили въ маленькій не то чуланчикъ, не то прихожую; у окна на конникѣ сидѣлъ, сгорбившись, босой старикашка, занимавшійся плетеніемъ сѣтки для вишневыхъ деревъ. Пьяшка сообщила, что его зовутъ Дрòномъ; Дронъ—имя такое. Катерина узнала, сверхъ того, что Дронъ и Пьяшка составляютъ всю дворню Анисьи Петровны. Былъ еще одинъ мальчишка, лѣтъ семи, бѣгавшій вѣчно въ прорванной рубахѣ, но Пьяшка почему-то умолчала о немъ. Одна половина дверей была открыта и позволяла обозрѣвать слѣдующую комнату.

Стѣны ея—за исключеніемъ портрета покойника, у котораго ротъ изображенъ былъ въ видѣ сердца и какъ бы собирающимся свистнуть—стѣны вплотную увѣшаны были мѣшечками съ сѣменами и надписями; на одномъ означено было: *рошъ*, на другомъ: *чечевиця*, на третьемъ: *семя отъ дыни*, и т. д. Сѣмена и тpàвы разложены были по всѣмъ окнамъ и сушились на столикѣ у печки. Но не это при-

влекало вниманіе Катерины: въ задней стѣнѣ была еще дверь, которая открывалась въ садъ, жарко освѣщенный солнцемъ; прямо противъ этой двери, спиною къ Катеринѣ, стояла, нагнувшись, Анисья Петровна; она перебирала какія-то сѣмена, разостланныя на ряднѣ по дорожкѣ сада; занятіе такъ поглощало ее, что Пьяшка три раза принуждена была крикнуть: „Анисья Петровна!“ прежде чѣмъ та разогнула спину и обернулась.

— А? что? чего ты, дура? что лѣзешь, мать моя... а? баба! да! произнесла вдругъ Анисья Петровна.

Она такъ гнусила, что въ первую минуту Катеринѣ показалось, что это происходило отъ натуги или отъ слишкомъ долгаго наклоненія головы къ землѣ.

Увидѣвъ изъ сада чужую бабу, Анисья Петровна молодецки подбоченилась и стала взбираться на ступеньки садовыхъ дверей, которыя пискнули, какъ будто въ одинъ голосъ запросили пощады. Владѣлицѣ Панфиловки было уже лѣтъ подъ-шестьдесятъ; но такъ много еще было у нея силы, жира, мяса и крови, что ей слѣдовало непремѣнно или умереть сегодня же вечеромъ, или прожить еще полсотни лѣтъ. Волосы ея почти посѣдѣли; они прикрывались бѣлымъ коленкоровымъ, давно нестираннымъ чепцомъ, съ какими-то узенькими оборочками; издали, ни дать ни взять, сѣдая голова стараго, гладко остриженнаго солдата. Красное и какъ бы дутое лицо ея, съ вздернутымъ носикомъ, украшалось маленькими, зелеными глазами, которые захлебывались въ жирѣ и дѣлали неимовѣрныя усилія, чтобъ выкарабкаться оттуда. Но болѣе всего обратили на себя вниманіе Катерины руки помѣщицы. Руки дѣйствительно были замѣчательны: о нихъ многіе даже говорили за десять верстъ въ окружности; особенно хорошо были онѣ знакомы покойнику и хохлу его (въ то время носили еще хохлы; по портретъ снятъ былъ, вѣроятно, незадолго до его смерти, потому что хохла не было, а шла во всю голову одна лысина); покойникъ считалъ даже лишнимъ защищаться; въ этихъ случаяхъ онъ прижимался только къ стѣнѣ и на всякое новое потряхиваніе супруги приговаривалъ: „Зачѣмъ за сердитаго шла? зачѣмъ шла за сердитаго?..“ Впрочемъ, Анисью Петровну боялся не только покойникъ, но боялись даже всѣ мелкопомѣстные ея сосѣди; она была бѣдовая *баба-гроза*, какъ называли ее нѣкоторые: мало-мало что̀, сейчасъ прошеніе да въ судъ, гдѣ, вѣроятно, по старой па-

мяти къ засѣдателю, всѣ, начиная отъ протоколистовъ до судьи, были ей кумовья и строчили ей просьбы за самую сходную цѣну; словомъ, по наружности своей Анисья Петровна напоминала всѣмъ извѣстную греческую Бобелину, а по внутреннему устройству была настоящая русская мелкопомѣстная вдова.

— Здравствуй, мать моя, прогнусила она, пытливо поглядывая на Катерину и все еще стоя подбоченясь.—Ты что торчишь здѣсь, дура полоротая? аль дѣла нѣтъ? пошла хлѣбы мѣсить! подхватила она, обращаясь къ Пьяшкѣ, которая впивалась въ Катерину, какъ будто хотѣла вскочить ей въ глаза и въ ротъ въ одно и то же время.— Откуда Богъ принесъ, мать моя—а? откуда?

Съ такими словами Анисья Петровна отнеслась къ незнакомкѣ. Катерина поклонилась, сказала откуда пріѣхала и подала письмо.

— Это что̀ такое?.. отъ кого, мать моя—а? отъ кого?..

— Нашъ помѣщикъ, Сергѣй Васильевичъ, велѣлъ отдать...

— Да я его не знаю, мать моя... никого такого не знаю... Зачѣмъ мнѣ его письмо?.. Ты мнѣ просто скажи, зачѣмъ пріѣхала?

— Тутъ, стало-быть, сударыня, о лугѣ писано...

— О какомъ лугѣ? а? какой лугъ? съ горячностью проговорила помѣщица,—какой лугъ, мать моя?.. что̀ за лугъ за такой?.. чего надобно?.. Ты толкомъ говори, какой лугъ?

— Тамъ, сударыня, все сказано...

— Да что̀ мнѣ, сказано! что̀? *Ты* говори! загнусила Анисья Петровна, раскидывая въ стороны полы ситцеваго капота, еще весною требовавшаго мытья.

Катерина нимало не сробѣла и разсказала въ короткихъ словахъ, въ чемъ дѣло.

— Ахъ, батюшки! ахъ, они разбойники! воскликнула Анисья Петровна, всплескивая руками и багровѣя вся какъ зобъ у индѣйскаго пѣтуха,—ахъ, отцы вы мои! какой же это лугъ? ужъ не Кудлашкинскій ли? Ахъ, они разбойники, грабители окаянные! ахъ, отцы мои! подхватила она, снова всплескивая могучими своими ладонями и таращa глаза во всѣ стороны.—Батюшка, Ѳедоръ Иванычъ, заговорила она вдругъ, поворачиваясь къ третьей двери, выходившей въ сосѣднюю комнату,—Ѳедоръ Иванычъ, полно тебѣ на гитарѣ-то царапать! тринь-тринь-

тринь, а толку никакого; подь сюда, дѣло есть... Ахъ, батюшки!..

Съ самаго появленія помѣщицы, изъ сосѣдней комнаты слышалось бряцанье гитары, сопровождавшееся шопотомъ. Раза два горловой теноръ пропѣлъ даже первыя слова цыганской пѣсни:

Скинь-ка шапку, скинь-ка шапку
Да пониже поклонись!

При первомъ восклицаніи Анисьи Петровны все смолкло. Изъ дверей выскочилъ, потряхивая волосами, молодой человѣкъ, лѣтъ двадцати-восьми, въ синемъ красивомъ казакинѣ, застегнутомъ на крючки, и нанковыхъ, непомѣрно широкихъ шароварахъ. Черные, кудрявые волосы его ниспадали правильнымъ каскадомъ по обѣимъ сторонамъ тщательно прохваченнаго пробора и закладывались за уши; лоскъ волосъ и правильныхъ коричневыхъ усиковъ обличалъ, что ихъ часто смазывали, можетъ даже быть, помадой изъ губернскаго города. Молодой Карякинъ, изъ уваженія къ красотѣ своей, старался всѣми силами ее поддерживать. Красота его была, впрочемъ, изъ тѣхъ, которыя служатъ образцомъ художникамъ, пишущимъ вывѣски для цырюльниковъ и портныхъ третьяго разбора; но лучше было бы, если бъ Ѳедоръ Ивановичъ, изъ уваженія къ красотѣ своей, велъ жизнь болѣе правильную. Бойкость сѣрыхъ глазъ, окруженныхъ коричневою тѣнью, быстрота и юркость въ выраженіи нѣсколько осунувшагося лица, сразу показывали одного изъ тѣхъ записныхъ уѣздныхъ кутилъ, которые всюду являются на ярмаркахъ, проводятъ сутки съ цыганами, выпиваютъ по нѣсколько дюжинъ цымлянскаго, а потомъ, возвратившись въ усадьбу, развлекаютъ скуку, гоняясь съ двумя борзыми за зайцами, или бѣгая за бабами. Выскочивъ изъ двери, онъ быстро взглянулъ на бабу, потомъ на помѣщицу, поставилъ въ уголъ гитару и сказалъ съ развязностью:

— Что̀ случилось, Анисья Петровна? что̀ такое?

— Охъ, батюшка! вѣдь зарѣзали меня, разбойники, зарѣзали! воскликнула Анисья Петровна, выразительно тыкая себя въ грудь указательнымъ пальцемъ, — ограбить хотятъ, мошенники!.. На-ка, прочитай, что̀ они пишутъ, подхватила она, подавая письмо,—я вѣдь безъ очковъ не вижу. (Анисья Петровна даже въ очкахъ плохо разбирала грамоту).

Карякинъ снова быстрымъ взглядомъ окинулъ Кате-

рину, сломилъ печать и два раза шлепнулъ по письму, чтобъ его расправить. Въ ту же минуту изъ сосѣдней комнаты вышла молоденькая дѣвушка съ бѣлокурыми, круто гофрированными волосами и полными, румяными щеками. Вообще, вся она, отъ пухлаго, но добраго лица и до оконечности пальцевъ, представлялась, даже подъ ситцевымъ платьемъ, какимъ-то туго-налитымъ огурчикомъ; словомъ, это было то, что̀ называется *сдобная лепешка.* Этотъ избытокъ здоровья былъ, можно сказать, одною изъ главныхъ причинъ, по которымъ тетка спѣшила выдать ее замужъ. „Вишь вѣдь она здоровенная какая!“ говорила всегда тетка,—„кровищи-то одной хватитъ на пять дѣвокъ! Какъ взыграется кровь-то—кто за нее поручится! Богъ съ ней совсѣмъ! лучше ужъ замужъ поскорѣй!“ Анисья Петровна очень радовалась посѣщеніямъ Карякина: человѣкъ богатый; ей самой, какъ на племянницѣ женится, помогать станетъ. Не дворянинъ, конечно; да вѣдь и племянница не Богъ вѣсть княжна какая: мать однодворчиха, такая же, какъ была Анисья Петровна до замужества...

Войдя въ комнату, Наташа (такъ звали дѣвушку) остановилась у печки и уже съ этой минуты не отрывала темныхъ, голубоватыхъ глазъ отъ Карякина; даже Катерина смекнула, что дѣвку не шутя вѣрно приворожилъ парень. Өедоръ Ивановичъ читалъ между тѣмъ письмо. Сергѣй Васильевичъ въ изысканныхъ, деликатныхъ и даже нѣжныхъ выраженіяхъ высказывалъ неотъемлемыя права̀ свои на владѣніе лугомъ. Но едва только объяснилось, что переселяемое крестьянское семейство тотчасъ же должно поселиться и завладѣть лугомъ, Анисья Петровна вырвала письмо, плюнула въ него, скомкала и швырнула на полъ.

— А! такъ вотъ васъ зачѣмъ сюда прислали! вскрикнула она, напускаясь неожиданно на Катерину,—вонъ, негодяи! вонъ! Ахъ ты... вонъ пошла, говорю!..

Катерина не трогалась съ мѣста.

— Ахъ ты, дерзкая тварь ты этакая! взвизгнула Анисья Петровна, вспѣниваясь и плескаясь какъ квашня, взболтанная весломъ,—ахъ ты...

Карякинъ поспѣшилъ взять ее за одну руку, Наташа за другую...

— Полноте, успокойтесь... не извольте ничего себѣ тре-

возиться... Баба глупая, обращенья никакого не имѣетъ... сказалъ онъ, комически подмигивая Наташѣ.

— Успокойтесь, тетенька; вамъ это вредно, произнесла Наташа.

— Охъ, знаю, что вредно, мать моя... знаю... Я и то затмилась совсѣмъ... Охъ, батюшки!.. простонала старуха, какъ бы срѣзанная очевидностью факта.

Она опустилась на стулъ, но, секунду спустя, снова встала и снова заплескалась и запѣнилась.

— Нѣтъ, да что жъ это я дура глупая? чего испугалась?.. Я въ судъ пойду, я имъ покажу, разбойникамъ! Я десять лѣтъ ужъ лугомъ-то владѣю!.. Десять лѣтъ прошло: стало-быть, онъ мой... что жъ это я?.. Ахъ ты, мать моя!..

— Позвольте, Анисья Петровна, это вы напрасно изволите... проговорилъ Карякинъ, рисуясь.—Въ письмѣ сказано: съ сорокъ восьмого года; стало-быть, вы не владѣете десять лѣтъ лугомъ; законъ на ихъ сторонѣ... Къ тому же возьмите въ разсужденіе: люди сильные! задарятъ больше вашего... лучше бросьте, право... А насчетъ, то-есть, выгодъ, какія они думаютъ получить черезъ эсто дѣло, я могу сдѣлать вамъ въ уваженье...

— Охъ... охъ, отцы мои... охъ!.. простонала сряду Анисья Петровна, снова опускаясь на стулъ,—охъ!.. Чѣмъ же ты меня обрадуешь, отецъ родной? присовокупила она, оправляясь,—вступись за вдову, батюшка!.. Ограбили, разбойники!..

— А вотъ извольте видѣть, началъ Карякинъ, охорашиваясь,—мы теперь этотъ лугъ держимъ; мы откажемся отъ него... вотъ и будутъ имъ, значитъ, выгоды...

— Да мнѣ-то что̀ отъ этого?

— А то же, что будете въ своемъ удовольствіи: и вамъ ничего, да ужъ и имъ зато ничего... Чего же ты стоишь, матушка? Ступай себѣ... Отдала письмо и ступай! довершилъ Карякинъ, поворачиваясь къ Катеринѣ, умное лицо которой сохранило выраженіе грустной задумчивости.

Она подняла голову, смѣло посмотрѣла на барыню и сказала:

— Мы, сударыня, въ этомъ не виноваты: наше дѣло подначальное.

— Вонъ! вонъ гоните ее!.. произнесла Анисья Петровна, нетерпѣливо потрясая головою.

— Осмѣлюсь васъ обезпокоить, сударыня, продолжала,

нимало не робѣя, Катерина,—позвольте вашему мужичку, Андреемъ звать, позвольте, если милость ваша будетъ, подсобить намъ строиться... Мы мàзанокъ никогда не дѣлали...

— Какъ? вскричала Анисья Петровна, порываясь изъ рукъ Карякина и племянницы, которые ее удерживали,—какъ? чтобъ я позволила вамъ строиться? Вы же меня разорять пришли, мошенники, да я же позволь крестьянину своему... ахъ ты!..

— Позвольте, Анисья Петровна, перебилъ Карякинъ, снова перемигиваясь съ Наташей,—почему же бы и не позволить? Дѣло все равно сдѣлается, такъ не лучше ли вашъ мужичокъ подсобитъ имъ?.. Все какой-нибудь авантажъ получитъ онъ черезъ эсто—вамъ же лучше. Ступай, голубушка; барыня пришлетъ отвѣтъ, ступай! заключилъ Карякинъ, махая рукою бабѣ.

Катерина прошла мимо стараго Дрона, который продолжалъ плести свои сѣти и, повидимому, оставался несокрушимо равнодушнымъ слушателемъ всего происходившаго. Минуту спустя, она была на улицѣ. Благодаря, видно, стараніямъ Пьяшки, которая успѣла и мѣсить хлѣбы, и подслушать весь разговоръ, все народонаселеніе хутора знало уже о причинѣ прибытія чужого семейства. Бабы и мужики дожидались у воротъ, чтобъ взглянуть на Катерину. Всѣ зашептали, какъ только она показалась. Шагахъ въ десяти отъ мазанки, Катерина встрѣтила Андрея: онъ также словно дожидался ее; лицо его было озабочено.

— Послушай, тетка, сказалъ онъ, вводя Катерину къ себѣ во дворъ,—вишь ты вѣдь какая! Ты сказывала, прислали васъ лугъ стеречь, а намѣсто того...

— Что̀ такое? спросила встревоженная баба.

— Тоже... воля твоя... Мы видимъ, ты человѣкъ хорошій, подхватилъ Андрей, — полюбилась ты намъ... и рады бы въ чемъ пособить тебѣ, да послѣ того оченно опасаемся... своей барыни...

— Да объ чемъ ты говоришь, родной? Я все въ толкъ не возьму...

— Да вѣдь вы всѣмъ вишь хуторомъ владѣть хотите... всѣ и луга, и земли, и насъ баринъ вашъ отымаетъ у нашей помѣщицы...

— Кто тебѣ сказалъ?

— Мужъ твой обо всемъ этомъ повѣдалъ, какъ ты ушла...

Краска стыда и негодованія покрыла загорѣвшія щеки Катерины.

— Гдѣ онъ? спросила она.

— Въ избѣ сейчасъ былъ...

Катерина, нахмуривъ брови, вошла въ мàзанку. Прасковья сказала ей, что мужъ только что вышелъ. Катерина обошла дворъ и, услышавъ шорохъ подъ навѣсомъ, глянула туда. Лапша только что легъ; близость знакомыхъ шаговъ заставила его поспѣшно закрыть глаза и притвориться спящимъ. Первое движеніе Катерины не обѣщало Лапшѣ ничего хорошаго; но она въ ту же секунду остановилась, съ досадой отвернула голову, плюнула и пошла назадъ въ мазанку.

Черезъ минуту Андрей и жена его узнали дѣло въ настоящемъ его свѣтѣ. Вранье мужа она уже не оправдывала; два-три слова хозяевъ показали Катеринѣ, что они сразу поняли и раскусили Лапшу; но они поняли также и Катерину. Какъ Прасковья, такъ и Андрей не переставали выказывать ей знаки истинной пріязни и добродушнаго расположенія. И онъ, и она сожалѣли только, что барыня вѣрно не позволитъ имъ подсоблять Катеринѣ строиться, можетъ даже быть, запретитъ имъ держать у себя переселенцевъ. Къ вечеру явилась, однакожъ, Пьяшка и разрѣшила всѣ сомнѣнія: Анисья Петровна позволила Андрею устроить мазанку для пріѣзжающихъ: „Велѣла только подороже съ нихъ взять!“ примолвила Пьяшка.

— Лишь бы только сама она не входила въ это дѣло, а то что̀ тамъ о цѣнѣ толковать! Сойдемся какъ-нибудь, сказалъ Андрей.

Рѣшено было на другой же день отправиться въ Кудлашкинскій лугъ и высмотрѣть тамъ удобное мѣсто для колодца и мазанки.

VII.

Встрѣча.

Дневной свѣтъ давно разогналъ ночныя тѣни. Солнце поднялось въ огненномъ небосклонѣ, исполосованномъ золотистыми, багровыми полосами; но чѣмъ выше оно подымалось, тѣмъ чаще и чаще оно заслонялось большими облаками, которыя медленно, лѣниво передвигались, сходились и расходились. Западъ синѣлъ какъ безбрежное море; тамъ, далеко-далеко мелькали кое-гдѣ косыя дожде-

выя полосы; быстро перебѣгающія тѣни облаковъ приводили какъ будто въ движеніе самую мѣстность: тутъ совершенно неожиданно загоралась вдругъ роща; она словно бѣжала навстрѣчу и вдругъ останавливалась и снова погружалась въ сизый сумракъ; тамъ яркимъ золотомъ охватывался клинъ поля, между тѣмъ какъ примыкавшая къ нему вѣтряная мельница чернѣла краснымъ привидѣніемъ. Мѣстность можно было сравнить съ огромнымъ лицомъ, которое то радостно улыбалось, то собиралось въ морщины и нахмуривалось.

Въ это самое утро, часовъ около шести, Верстанъ, дядя Мизгирь, Фуфаевъ и Петя остановились у околицы довольно значительной деревни; у околицы сходились и расходились нѣсколько дорогъ. Верстанъ и Мизгирь тянули прямо противъ деревни; Фуфаевъ, держа за одну руку Верстана, за другую Мизгиря, тянулъ въ деревню.

— Полно, глупый, чего взаправду присталъ! Экъ его разбираетъ! говорилъ Верстанъ.—Я нарочно сказалъ: никакого кабака нѣтъ; ну право же нѣтъ.

— Анъ врешь, оба вы врете, не обманете; поздно очецно, дружки, спохватились! затрещалъ слѣпой своимъ козлячьимъ голосомъ и еще плотнѣе обхватилъ руками товарищей.—Врете: есть кабакъ! видать—не вижу, да носъ сказываетъ! довершилъ онъ, поворачивая лицо къ деревнѣ и обнюхивая воздухъ.

Дѣйствительно ли чуялъ Фуфаевъ запахъ вина, но только его не могли разувѣрить касательно отсутствія кабака, или *Ивана-ёлкина*, какъ онъ выражался. Шагахъ въ сорока отъ околицы возвышалась грязная изба, съ прицѣпленною къ двери сухой, покраснѣвшей сосновой вѣткой.

— Да что ты, волкъ тебя ѣшь, деньгами, что ли, разбогатѣлъ? кладъ, что ли, нашелъ? съ грубымъ смѣхомъ произнесъ Верстанъ,—али ужъ такой разстрой вдругъ сдѣлался, что обождать нельзя? Всего пять верстъ до села-то осталось: тамъ выпьешь!

— Да чего ждать-то! ждать нечего! почти умоляющимъ голосомъ проговорилъ слѣпой,—тамъ что̀ еще будетъ! дѣло впереди, въ дорогѣ; здѣсь при сопутности, само въ руки просится!.. Да о чемъ, братцы, ваша забота? Чего уперлись? Твои, что̀ ль, аль ваши деньги пропиваю? Вашихъ не прошу, не надыть! Самъ угощаю, самъ всѣхъ пою, всѣхъ пою; такая, знать, моя охота!

— Было бы на что угощать-то! насмѣшливо перебилъ Верстанъ.—Угощать-то ужъ не на что: весь, какъ есть, давно пропился; платьишко, какое было, и то даже все зарѣзалъ...

Въ самомъ дѣлѣ, съ того самаго села Болотова, въ виду котораго оставили мы нищихъ послѣ переѣзда черезъ Оку, Фуфаевъ почти не отрезвился совершенно. Имъ точно одурь какая-то овладѣла. На памяти Верстана, бродившаго вотъ уже скоро лѣтъ пять съ Фуфаевымъ, всего разъ пять прорывало такимъ образомъ слѣпого. Сначала Фуфаевъ молчалъ три дня сряду, и какъ только приходилъ на отдыхъ, ложился и засыпалъ сномъ непробуднымъ. Случайно нищіе зашли какъ-то въ кабакъ; слѣпой выпилъ и уже съ этой минуты загулялъ безъ удержу безо всякаго. Онъ пропилъ всѣ деньги, пропилъ новую рубашку, купленную на базарѣ, пропилъ новые лапти и старые, пропилъ шапку, липовую чашку для подаяній, которая составляетъ необходимую принадлежность всѣхъ нищихъ, такъ что у рѣдкаго не найдете вы ее въ сумѣ; наконецъ, Фуфаевъ пропилъ полушубокъ, служившій столько лѣтъ и имѣвшій такой видъ, что превращалъ своего владѣльца въ какого-то пѣгаго человѣка. Теперь у Фуфаева оставались пустой мѣшокъ да еще бабій зипунъ, подаренный ему наканунѣ сострадательной помѣщицей. Верстанъ нѣсколько разъ покушался удерживать порывы товарища, когда находилъ въ этомъ расчетъ — все было напрасно. Фуфаевъ, какъ истинный философъ, говорилъ, что ему изъ одежды ничего теперь не надо, благо время теплое; о зимѣ загадывать нечего: зима за горами—можетъ еще и не доживешь: полушубокъ и все остальное такъ же напрасно пропадутъ, лучше же теперь при *живности* употребить ихъ себѣ въ удовольствіе. Или же, когда товарищи слишкомъ ужъ сильно приставали, онъ говорилъ коротко и ясно: „Ну, да ладно! слова только теряете: чернаго кобеля не вымоешь до-бѣла; такимъ, стало, уродился!“

Отъ села Болотова до настоящей минуты онъ не переставалъ пѣть пѣсни, плясалъ, выкидывалъ разныя скоморошныя штуки, разсказывалъ притчи и сказки, и вообще съ той минуты, какъ впервые попалъ ему хмель въ голову, находился въ неукротимомъ припадкѣ веселости; измѣнялъ же ему и даже приходилъ въ яростное раздраженіе тогда только, когда упоминали ему о вожакѣ

Мишкѣ: онъ объявилъ наотрѣзъ, что не хочетъ, чтобъ говорили ему объ этомъ. Не будь у Фуфаева зипуна, подареннаго помѣщицей, Верстанъ, весьма вѣроятно, не послушалъ бы слѣпого; но зипунъ склонилъ Верстана на сторону товарища.

— Что съ нимъ будешь дѣлать! сказалъ онъ, поворачиваясь къ дядѣ Мизгирю,—такъ ужъ и быть, надо уважить; ну, пойдемъ!

— Вотъ люблю! вотъ молодцы! Слышь, дядя, какъ къ ручью либо къ рѣчкѣ прійдемъ, вымой руки да мнѣ скажи, я ихъ поцѣлую! право поцѣлую! воскликнулъ Фуфаевъ, выпустилъ изъ своихъ рукъ руки нищихъ, вскинулся на воздухъ и, хлопнувъ ладонью надъ кудрявою своею головою, сказалъ Петѣ, чтобъ онъ велъ его „къ *аптекѣ*, гдѣ вылѣчиваются всѣ болѣзни и даже выгоняются всѣ двѣнадцать сестеръ лихоманокъ".

Улица деревни давно уже оживлялась народомъ; бабы шли за водою къ пруду или возвращались оттуда; старики, сидя на завалинкахъ или стоя въ воротахъ, протирали заспанные глаза; заботливые хозяева возились съ лошадьми. Фуфаевъ чуть не наткнулся на одного мужика, гнавшаго лошадей съ водопоя.

— Экъ тебя разбираетъ! Чуть свѣтъ, ужъ носъ насандалилъ! Да видно и этого мало: опять туда же, сказалъ мужикъ.

— А что? аль завидно тебѣ? крикнулъ Фуфаевъ и, подогнувъ колѣни, такъ скоро засѣменилъ ногами, что Петя, который велъ его, чуть не выпустилъ палки изъ рукъ.

Почти въ то же время изъ дверей кабака вышла дюжая, плечистая баба, весьма похожая на штофъ, налитый краснымъ виномъ; къ довершенію сходства, голова ея повязана была желтоватымъ платкомъ: издали совершенная пробка. Въ каждой рукѣ, между пальцами, держала она четыре пустые штофа, по три штофа находилось у ней подъ мышками. За нею выступилъ рыженькій, вскосмаченный мальчикъ съ ковшомъ воды въ одной рукѣ, каждый палецъ другой руки воткнутъ былъ въ горлышко пустого штофа; изо рта мальчика торчала корка хлѣба, которую пережевывалъ онъ путемъ-дорогой. Цѣловальничиха принялась полоскать штофы, не обращая вниманія на приближавшихся нищихъ. Она, какъ тотчасъ же, впрочемъ, оказалось, была баба сговорчивая. Съ ея сто-

роны не было ни малѣйшаго препятствія къ пріобрѣтенію зипуна, если только онъ годенъ; она молча взяла его, помяла въ рукахъ и разставила противъ свѣта, при чемъ изъ прорѣхи посрединѣ спины зипуна лучъ солнца ударилъ прямехонько въ лицо цѣловальничихи.

— Чего долго держишь насъ? не *хапа̀ный товаръ* (не краденый), барыня вечоръ подарила: добро, стало-быть, хорошее, вымолвилъ Фуфаевъ.

— Это не наше дѣло разбирать... много оченно будетъ... много васъ здѣсь шатуновъ ходитъ, проворчала баба, продолжая свой осмотръ.

— Довольно ужъ, довольно наглядѣлась, пробасилъ Верстанъ,—говорятъ тебѣ, не *слѣпой* зипунъ-атъ! (не тайно продаваемый).

— Какой слѣпой, весь въ дырьяхъ! проговорила баба.

— Ничего, тетка, сойдетъ! воскликнулъ съ живостью Фуфаевъ,—вещь, примѣрно, такая ходовая, всѣмъ нужная. Ну, говори, что даешь?..

— Десять копеекъ.

— Э! да ты крещеная ли?

— Больше не дамъ. Отваливай, значитъ; некогда...

— Братцы! да вѣдь тутъ на косушку не будетъ... что жъ это она! заговорилъ Фуфаевъ съ сокрушеннымъ видомъ, — слышь, Верстанъ, вотъ что: идетъ, али нейдетъ?..

— Ну, говори...

— Слышь, тетка, началъ Фуфаевъ, обращаясь къ бабѣ, которая принялась за полосканье штофовъ, между тѣмъ, какъ рыжій мальчикъ, сверля пальцемъ носъ, продолжалъ жевать корку,—есть въ пяти верстахъ отъ васъ село Андреевское?

— Есть...

— Есть тамъ ноне приходскій праздникъ?

— Есть...

— Много тамъ народу собирается?

— Отстань! Ступай, ступай! проворчала баба, потерявъ терпѣніе.

— Вотъ что̀, Верстанъ, подхватилъ Фуфаевъ, — всѣ деньги, которыя получу нонче въ Андреевскомъ, всѣ твои, дай только полтину...

— Несходно, промолвилъ Верстанъ,—тучи собираются... чай, народу будетъ немного; дождь пойдетъ, полтины не соберешь...

— Ну, два дня: нонче что̀ подадутъ на мою долю, да завтра?

— Недѣлю, пожалуй, можно...

— Какъ? полтину за недѣлю!

— Меньше не хочу...

— За недѣлю-то... пожалуй, и я ему дамъ, промямлилъ дядя Мизгирь, подходя ближе.

Петя далеко не былъ веселъ; онъ не могъ, однакожъ, удержаться отъ смѣха, взглянувъ на рожу, которую скорчилъ въ эту минуту дядя Мизгирь.

— Эхъ вы, жиды окаянные! воскликнулъ Фуфаевъ.— Ну, да что съ вами дѣлать! Какіе вы ни на есть, врагъ-то, видно, сильнѣе васъ! Иду въ кабалу—пропадай моя голова! Давай! присовокупилъ онъ рѣшительно.

Цѣловальничиха взяла деньги, внимательно пересмотрѣла каждую копейку, подняла зипунъ, сказала „три косушки...“ и, пихнувъ рыжаго мальчика, зѣвавшаго на нищихъ, вошла въ кабакъ. Минуту спустя, она вынесла штофъ и толстый зеленоватый стаканчикъ. Фуфаевъ отлилъ немного въ стаканъ, попробовалъ: „знатно!“ Онъ налилъ Верстану, потомъ Мизгирю, а остальное все залпомъ выпилъ, отплюнувъ послѣдній глотокъ. На минуту онъ ошалѣлъ какъ будто; лицо его, окруженное мелкими, спутанными кудрями, какъ шерсть у киргизскаго барана, сдѣлалось багровымъ и склонилось на грудь; бѣлые, широко раскрывшіеся зрачки неподвижно смотрѣли въ землю; въ чертахъ его промелькнуло какъ будто недовольное, тоскливое чувство, но это продолжалось нѣсколько секундъ. Онъ пощупалъ Петю, взялъ у него конецъ палки, сказалъ: „веди меня, наслѣдникъ!“ (онъ звалъ его съ нѣкоторыхъ поръ своимъ наслѣдникомъ) и велѣлъ скорѣе идти къ околицѣ.

— Ну, не удержишь теперь! Куда те несетъ, бѣшеный?.. погоди насъ! смѣясь, вымолвилъ Верстанъ.

Но Фуфаевъ не убавилъ шагу, даже не обернулся: онъ точно ничего не слышалъ. Миновавъ околицу, онъ отряхнулся, отчаянно закинулъ назадъ голову, и запѣлъ вдругъ такъ громко, какъ будто хотѣлъ, чтобъ въ головѣ его звенѣло еще громче:

Какъ на дру̀жкѣ-то кафтанъ
Гармишѐлевый;
Какъ на дружкѣ-то штаны
Черны-бархатны;

Какъ на дружкѣ-то чулки
Бѣлы-шелковые;
Есть смазные сапоги,
Красна оторочь;
Есть и шляпа со перомъ
И перчатки съ серебромъ...

— Эхъ, эхъ! воскликнулъ неожиданно Фуфаевъ, давъ себѣ сильнаго тумака въ затылокъ и по двѣ оплеухи на каждую щеку.

Послѣ этого онъ закинулъ голову еще выше и запѣлъ еще звонче и отчаяннѣе.

По мѣрѣ того, какъ нищіе подвигались къ Андреевскому, мѣстность, которая теперь почти не освѣщалась солнцемъ, стала замѣтно подыматься въ гору. Они отошли уже версты три отъ околицы, какъ въ воздухѣ неожиданно прозвучалъ колоколъ.

— Слышь, ужъ къ обѣднѣ звонятъ! произнесъ Верстанъ, подталкивая товарищей и ускоряя шагъ, — а все черезъ тебя. Говорилъ, не надо останавливаться...

Звуки колокола, то удалявшіеся, то приближавшіеся, смотря по тому, какъ подувалъ вѣтерокъ, стали раздаваться чаще и слышнѣе. Мало-по-малу надъ извилистой линіей ближайшаго откоса выглянули синеватые лѣса, тамъ выступили пашни, потомъ луга съ извилистой рѣчкой, отражавшей гладкое, сѣрое небо; тамъ, одна за другою, высунулись избы, показался крестъ, кровля колокольни и, наконецъ, какъ только нищіе подошли къ откосу, открылось цѣликомъ село Андреевское, расположенное на берегу рѣчки. Колоколъ звучалъ теперь громко и безъ отдыха; но, несмотря на то, даже съ этой высоты можно было слышать глухой говоръ народа, обступавшаго чернымъ пятномъ церковь и запружавшаго обѣ улицы села. Нищіе поспѣшили спуститься съ кручи и перейти мостъ. У схода съ моста, уткнувшись лицомъ въ траву, лежалъ раскинувшійся во всѣ стороны человѣкъ, какъ бы нарочно положенный сюда съ тѣмъ, чтобъ сдѣлать извѣстнымъ всякому прохожему, что сегодня въ Андреевскомъ храмовой праздникъ.

— Мотри, не раздави... своего брата раздавишь! сказалъ Верстанъ, толкая Фуфаева.

— Здорово, кумъ! крикнулъ наобумъ слѣпой.

Пьяный поднялъ голову, началъ было смѣяться глупымъ смѣхомъ, но голова его упала снова, и смѣхъ заглохъ въ травѣ.

Нищіе вступили въ улицу, одинъ конецъ которой спускался къ рѣчкѣ, другой, постепенно расширяясь, обнималъ кладбище, къ которому примыкала церковь; улица вплотную была заставлена подводами, съ притянутыми кверху оглоблями; вездѣ жались бабы, лошади, мужики, ребятишки; все это тискалось, сновало взадъ и впередъ, безъ всякой видимой цѣли, и наполняло безтолковымъ говоромъ все Андреевское. Пробравшись съ трудомъ мимо первыхъ подводъ, нищіе натолкнулись на бѣлокураго человѣка съ желтымъ лицомъ и туго перевязанною щекою; выраженіе лица его ясно показывало страданія отъ сильной зубной боли; на немъ былъ поношенный сюртучишка, картузъ съ козырькомъ и черный галстукъ; правая рука его, съ изъѣденными до крови пальцами, повертывала хлыстикъ.

— Куда лѣзете, дьяволы? крикнулъ онъ, пихая Фуфаева,—экъ васъ нонче набралось сколько!..

— Тѣсно, что ли, тебѣ? возразилъ Фуфаевъ, сторонясь.

— Ахъ ты, бестія! воскликнулъ съ негодованіемъ подвязанный господинъ, который былъ не кто другой, какъ писарь становаго,—ахъ ты, негодяй!.. довершилъ онъ, вытягивая хлыстомъ по спинѣ Фуфаева.

Фуфаевъ только нагнулся и сказалъ: „разъ!“ Онъ бы, безъ сомнѣнія, сказалъ и два, и три, и четыре, если бъ не вступился Верстанъ.

— Слѣпой, ваше благородіе!.. промолвилъ онъ униженно,—слѣпой, ничего не видитъ...

— Я ему дамъ слѣпой!.. Много васъ здѣсь шляется... Надо бы съ васъ по пятаку за мѣсто — вотъ что!.. добавила подвязанная щека и какъ бы изъ милости пропустила нищихъ.

Послѣ этого онъ запустилъ руку въ карманъ, въ которомъ было ровно столько же десятикопеечныхъ монетъ, сколько стояло возовъ въ Андреевскомъ. Зубную боль не столько проклиналъ самъ писарь, сколько мужики, собравшіеся къ торгу; писарь привязывался къ нимъ съ какимъ-то остервенѣніемъ: у того вѣсы были невѣрны; другого гналъ съ мѣста ни за что, ни про что; третьяго грозилъ связать, если только осмѣлится продать хоть одинъ огурецъ; но десятикопеечная монета, попавъ въ карманъ его, дѣлала рѣшительно чудеса: вѣсы получали вѣрность, мѣсто очищалось, огурцы дѣлались до того годными къ употребленію, что писарь тутъ же съѣдалъ дю-

жину и запрятывалъ другую въ неизмѣримые карманы панталонъ, о вмѣстимости которыхъ зналъ очень хорошо самъ становой.

Нищіе продолжали протискиваться въ шумный лабиринтъ телѣгъ, наполненныхъ картофелемъ, рѣпой, „падалью“ и орѣхами; падаль, то-есть зеленыя, недозрѣвшія яблоки (писарь, зная запрещеніе, лежавшее на этой торговлѣ, съ особеннымъ остервенѣніемъ напалъ на торгашей; внушивъ имъ опасность, которой они подвергаются, онъ взялъ съ нихъ вдвое больше, чѣмъ съ другихъ, послѣ чего падаль пошла въ ходъ и стала даже продаваться лучше всего другого); падаль эта и орѣхи попадались чаще всего; такая шла щелкотня кругомъ, что, казалось, черезъ каждые три воза стояла пылавшая печь и орѣхи бросались туда цѣлыми пригоршнями.

Такъ какъ на церковной паперти не оказалось свободнаго мѣстечка, то Верстанъ и товарищи его поспѣшили занять мѣсто подлѣ дороги. Тутъ сидѣло уже до двадцати нищихъ; они расположились въ кружокъ, вытянувъ ноги къ центру и держа на колѣняхъ липовыя чашки для принятія подаяній. Всѣ дожидались окончанія обѣдни. Наконецъ, зазвонили во всѣ колокола, и народъ повалилъ изъ церкви; нищіе приподняли чашки и, какъ бы сговорившись, разомъ грохнули, такъ что на минуту весь шумъ и гамъ Андреевскаго покрытъ былъ словами:

Жилъ себѣ сла-а-венъ богатъ человѣкъ...
Пилъ, ѣлъ сладко, кормилъ хорошо.
Ле-е-житъ Лазарь, лежитъ весь изра-а-ненъ,
Съ убожествомъ, съ немочью...

Въ чашки стали попадать яблоки, картофель, обглодки хлѣба, иногда мѣдныя деньги; въ послѣднемъ случаѣ бо̀льшая часть нищихъ раскрывала глаза, которые жадно устремлялись на чашку съ деньгами, но глаза такъ же быстро опять закрывались. А между тѣмъ въ толпѣ, валившей изъ церкви мимо нищихъ, показались господа: красная, среднихъ лѣтъ барыня, въ розовомъ тарлатановомъ платьѣ, мальчикъ, двѣ другія дамы и маленькій, красненькій, очень живой кавалеръ, прочищавшій дорогу: это были мелкопомѣстные дворяне, пріѣхавшіе къ обѣднѣ. Красная дама не столько, казалось, негодовала на давку, сколько на общество мужиковъ и дворовыхъ, посреди которыхъ поневолѣ должна была пробираться. Желая, вѣроятно, показать разницу между собою и ими, она заго-

ворила вдругъ на какомъ-то неизвѣстномъ нарѣчіи, понятномъ только двумъ другимъ дамамъ, кивавшимъ одобрительно головою; вмѣстѣ съ этимъ она не переставала звать сына; но имя мальчика, которое старалась она произнести по-французски, никакъ не выходило: Nicolas! Nicolas! кричала дама, а выходило всегда русское: „Никòля, Никòля!“

— Посторонись! долой, болванъ! чего лѣзешь, дура? кричалъ между тѣмъ красненькій кавалеръ, прочищая дорогу.

Но какъ ни пѣтушился онъ, сколько ни подскакивалъ кверху, усилія его не произвели никакого дѣйствія, сравнительно съ тѣмъ, чтò произошло, когда явился становой. Онъ выступалъ, однакожъ, ровнымъ, спокойнымъ шагомъ и, кромѣ чувства внутренняго достоинства, ничего не было на благородномъ лицѣ его; онъ старался не замѣчать, чтò вокругъ дѣлалось; замѣтно даже отворачивался, когда попадался на глаза писарь. Успѣхъ становового въ толпѣ, которая быстро раздавалась, укололъ, повидимому, красненькаго кавалера.

— Я сейчасъ встрѣтилъ вашего писаря, сказалъ онъ, подходя къ нему и рисуясь передъ дамами,—послушайте, остановите его; онъ просто со всѣхъ тащитъ взятки! Это... это ни на чтò не похоже!..

Становой обернулся къ дамамъ и, въ знакъ уваженія, выставилъ впередъ правую ногу; широкое, благородное лицо его переполнилось ангельскою добротою и кротостью.

— Помилуйте, сударыня! вымолвилъ онъ, обращаясь и къ красненькому кавалеру, и къ дамѣ,—нельзя ему и не взять; жалованья на писарей не полагается... человѣкъ бѣдный... шестеро дѣтей—посудите сами...

— Анна Васильевна! барышня! Нилъ Герасимычъ и Зосимъ Степанычъ! перебила неожиданно расфранченная попадья, выскакивая откуда-то и разомъ обращаясь ко всѣмъ,—прошу дерзнуть, мы васъ ожидаемъ... чайку выкушать, пирожка закусить...

— Мы и такъ шли къ вамъ, *тѣмъ болѣе, что, кажется, дождикъ собирается...* тономъ высокаго покровительства, но не безъ колкости проговорила красная дама, въ душѣ ненавидѣвшая попадью за то, что она была богаче и ѣздила въ бричкѣ, тогда какъ у помѣщицы былъ старенькій, годный только въ ломъ, тарантасъ.

Помѣщики исчезли въ толпѣ, шумъ которой все еще

заглушался пѣснею Лазаря; она гудѣла какъ исполинскій шмель, летавшій надъ деревней. Время выхода изъ церкви — самое выгодное для нищихъ, и потому они не щадили горла; одни, мрачно уткнувъ подбородокъ въ грудь, выводили густыя ноты; другіе кричали, какъ будто снимали съ нихъ кожу; третьи такъ надсажались, что мальчишки, стоявшіе позади кружка, могли перечесть у нихъ во рту всѣ зубы, не выключая даже коренныхъ; но все-таки, посреди этого оглушающаго оранья, сильнѣе другихъ давалъ себя чувствовать козлячій, дребезжащій голосъ Фуфаева. Наконецъ, пѣсня Лазаря смолкла. Капли дождя, падавшія время отъ времени, превратились въ мелкій, тоненькій дождикъ, который какъ бы потушилъ послѣднія вибраціи нищенской пѣсни.

— Куда бы теперь укрыться? сказалъ Верстанъ, забирая у Фуфаева всю пòдань, на что тотъ не выказалъ ни малѣйшаго сопротивленія, — въ каждой избѣ теперь гулянка, никто не пуститъ.

— Есть такое мѣсто, можно; пойдемъ укажу, вымолвилъ нищій съ лицомъ, изрытымъ оспою, и соколиными глазами, плутовски глядѣвшими изъ-подъ высокой мѣховой шапки. Онъ сидѣлъ подлѣ Верстана и, повидимому, давно къ нему подбирался.

— Ну, веди, произнесъ Верстанъ.

Фуфаевъ, Мизгирь и Петя послѣдовали за Верстаномъ. Рябой нищій, прозвище котораго было Балда́й (впрочемъ, онъ откликивался также на прозвище Цапля), повелъ ихъ мимо кладбища, мимо церкви, на другую половину Андреевскаго. Вторая улица, точно такъ же, какъ первая, шла по откосу къ рѣкѣ и соединялась съ тѣмъ берегомъ плотиной мельницы, шумѣвшей за ветлами. Здѣсь подводъ было меньше, но зато столпилось столько же народу, если еще не больше, чѣмъ въ первой половинѣ. Толпа особенно сильно напирала къ промежутку между двумя избами, гдѣ слышался бой барабана, взвизгиваніе скрипки и ревъ медвѣдя. Проходя мимо, Петя очень желалъ посмотрѣть на медвѣдя; но сколько ни поднимался онъ на цыпочки, могъ только видѣть лицо „козылятника“, который, припавъ щекою къ скрипкѣ, быстро подергивалъ смычкомъ и еще быстрѣе передергивалъ бровями.

— Чего зѣваешь? пошелъ! я те позѣваю! вымолвилъ Верстанъ, толкая его концомъ палки въ плечо.

Какъ ни привыкъ Петя къ толчкамъ, но на этотъ разъ

толчокъ былъ силенъ и ему стало больно; онъ приподнялъ голову и вдругъ раскрылъ широкіе глаза, раскрылъ ротъ и обомлѣлъ совершенно; выраженіе боли на лицѣ его мигомъ смѣнилось выраженіемъ радости: на возу, шагахъ въ десяти, сидѣлъ дѣдушка Василій, тотъ самый старый торгашъ, который весною пріѣзжалъ въ Марьинское, подарилъ Петѣ образокъ и такъ много ласкалъ его. Весь тотъ вечеръ, вся семья Пети, все Марьинское и вмѣстѣ съ тѣмъ лучъ какой-то неясной надежды на возвращеніе этого прошлаго разомъ освѣтили душу мальчика; сердце его такъ вдругъ заколотило, что на секунду стѣснило дыханіе; забывъ Верстана, онъ рванулся впередъ и крикнулъ, что̀ было мочи: „дѣдушка!“

— Чего?.. кто тамъ еще?.. ахъ ты!.. вымолвилъ Верстанъ, и, мигомъ смекнувъ дѣло, пустился по слѣдамъ вожака и крѣпко схватилъ его за воротъ.

Но старый торгашъ узналъ уже мальчика; онъ суетливо соскочилъ съ воза и, поправляя шапку, которая, попрежнему, лѣзла на глаза, когда старикъ спихивалъ ее на затылокъ, подошелъ къ нищимъ.

— А! ласковый! ласковый!.. какъ ты сюда попалъ? какимъ-такимъ манеромъ?

Петя вырвался изъ рукъ нищаго и, зарыдавъ вдругъ, самъ не зная отчего, бросился къ торгашу и крѣпко обхватилъ его шею.

— Дѣдушка!.. могъ только вымолвить рыдавшій мальчикъ,—дѣдушка!..

— Здравствуй! ласковый! что ты?.. что? какимъ-такимъ манеромъ?.. Ахъ ты, сердечный...

— Оставь малаго-то, отваливай, отваливай! сурово сказалъ Верстанъ, протягивая коренастую руку, чтобъ снова ухватить Петю, который началъ отчаянно кричать и отбиваться.

— Нѣтъ, погоди, братъ! постой! драться тебѣ не показано!.. я драться-то вѣдь не дамъ! Не пуще мнѣ страшенъ! вымолвилъ старикъ, защищая одною рукою Петю, другою отталкивая руку нищаго.

— Дѣдушка... не давай... силой увели! хотѣлъ-было шепнуть Петя на ухо старику, но голосъ измѣнилъ ему; онъ произнесъ эти слова такъ громко, что не только нищіе услышали, но даже народъ, начинавшій сбираться вокругъ.

— Силой увели? какъ такъ? воскликнулъ дядя Василій,

впервые пристально оглядывая нищихъ,—да какъ же это такъ?..

— А не твое дѣло, вотъ какъ! перебилъ Верстанъ, ноздри котораго раздувались.

— Знамо не его дѣло, промямлилъ дядя Мизгирь.

— Отдай малаго, говорю! крикнулъ Верстанъ, бѣшено потряхивая сѣрыми кудрями.

— Да что ты, стращать меня, что ли, выдумалъ? крикнулъ въ свою очередь разгорячившійся старикъ и еще крѣпче ухватилъ мальчика,—не пуще силенъ, не боюсь! Мы еще посмотримъ, кто кого осилитъ, коли на то пошло—да!.. Здѣсь становой недалеко, мы еще къ нему сходимъ—да!.. Погоди орать-то—да!.. Мы спросимъ, какимъ-такимъ маneромъ мальчикъ-то у васъ—да!.. Братцы! подхватилъ старикъ, обращаясь къ окружавшимъ, которые какъ бараны лѣзли другъ на дружку,—братцы, заступитесь! вѣдь мальчика-то силой увели!.. Онъ мнѣ знакомый... я весь родъ-то его знаю, всю семью, и мать, и отца, и деревню знаю... насильно увели, братцы!

Въ толпѣ послышался глухой говоръ и восклицанія:

— Къ становому ихъ!

— Тащи знай! что̀ съ ними разговаривать-то!

— Веди ихъ!

— Они, знамо, всѣ такіе разбойники, только слѣпыми прикидываются.

— Тащи, старикъ... ничего не бось... мы ти дорогу укажемъ, веди знай!

Какъ только заговорили въ толпѣ, Верстанъ бросилъ мѣшокъ на-земь и, ругаясь на всѣ бока, сталъ торопливо въ немъ рыться. Воззваніе стараго торгаша не успѣло произвести окончательнаго дѣйствія, какъ уже Верстанъ вытащилъ отпускную марьинскаго управителя, данную Лапшѣ на имя сына.

— Кто здѣсь грамотный? произнесъ нищій, обводя глазами собраніе, начинавшее волноваться, — чего онъ присталъ? кто его уводилъ насильно? вотъ отпускная; читай, кто умѣетъ...

— Что̀ взялъ? крикнулъ рябой нищій, разражаясь смѣхомъ.

Десять рукъ протянулось впередъ; одна рука была длиннѣе другихъ и схватила грамоту. Выступилъ какой-то толстенькій человѣкъ въ нанковомъ изсѣченномъ дождемъ казакинѣ и довольно бѣгло прочелъ отпускную.

— Изъ чего жъ ты, старина, хлопочешь? Все какъ слѣдуетъ, въ аккуратѣ, сказалъ казакинъ, поглядывая на торгаша, который пожималъ губами и потряхивалъ шапкой съ видомъ недоумѣнія.

Присутствующіе такъ же быстро перешли на сторону нищаго, какъ за минуту передъ тѣмъ стояли за старика.

„Ну, что жъ ты, ступай къ становому-то!“—„Эй, плѣшакъ, поправь шапку-то, на спину съѣхала свиней пасти!“—„Чего жъ онъ вправду горло-тодралъ?“ — „Охота стало напала!“—„Слышь, ужъ не ты ли уродилъ его, дядя, на себя глядя... вишь какъ вступился!“—„Самъ не расчухалъ, да туда же становой!“ сыпалось со всѣхъ сторонъ, и особенно съ той, гдѣ стоялъ рябой нищій, начинавшій было отступать, но теперь голосившій громче другихъ. Самъ дядя Мизгирь раза два ругнулъ торгаша. Одинъ Фуфаевъ слова не вымолвилъ; онъ поглаживалъ курчавую свою голову, вымоченную дождемъ, и даже какъ будто посмѣивался.

— Ну, довольно; теперь отваливай! Не отстанешь, по-свойски раздѣлаюсь, сказалъ Верстанъ, дѣлая шагъ впередъ.

Петя, дрожа отъ страха, отчаянно вцѣпился въ тулупчикъ торгаша. Онъ сталъ кричать и отбиваться ногами.

— Да что вы, въ самомъ дѣлѣ, какъ собаки напали! говорилъ, между тѣмъ, дядя Василій, обращаясь то къ одному, то къ другому,—вы хошь въ разумъ-то возьмите... особливо ты, братъ, точно, право, некрещеный какой! Стало-быть, не хочется ему съ вами идти! стало-быть, хорошо ему съ вами! Пойми; онъ еще невеличекъ, махонькій... что тутъ! Погодите маленько, дайте хошь слово сказать... Я весь родъ знаю, и мать, и отца... Что̀ вы, какъ собаки, право. Полно, ласковый, подхватилъ старикъ, стараясь уговорить Петю,—не плачь, потерпи маленько. Я вотъ и то въ вашу сторону сбирался... я обо всемъ этомъ дѣлѣ поразспрошу, какимъ-такимъ манеромъ... Ахъ, ты сердечный... право, жаль тебя до смерти!.. Ахъ ты, поди дѣло-то какое!

— Ладно, тогда назадъ и возьмешь! сказалъ Верстанъ, хватая за руку Петю.

— Экъ его, сердечный! воскликнула какая-то баба,—какъ паренекъ-то убивается... погляди-тка... ишь, какъ убивается, горькій...

— Эй, старикъ! старикъ! неожиданно крикнулъ рябой

нищій, забѣжавшій за спину Василья,—погляди-ка, весь товаръ твой дождемъ вымочило.

Старикъ обернулся; Петя снова припалъ было къ нему, но пальцы Верстана какъ клещи впились въ руку мальчика; онъ приподнялъ его и быстро потащилъ впередъ. Старикъ тотчасъ же нагналъ его.

— Бога ты не боишься, вымолвилъ онъ, загораживая дорогу.—Ну что ты такъ тиранствуешь-то—а? Грѣхъ какой на душу принимаешь... Бога хоть побойся! вѣдь грѣхъ! Вишь, какъ онъ убивается, бѣдненькій...

— Отваливай... а не то... проворчалъ Верстанъ, замахиваясь свободною рукою.

Видя, что силой и убѣжденіями не возьмешь, хуже еще, можетъ статься, навлечешь грозу на мальчика, дядя Василій остановился.

— Я, пожалуй, слышь, пожалуй дамъ что-нибудь... Эй, слышь, скажи, гдѣ ночуете?.. Вишь, дождь; чай, здѣсь остановитесь?..

Верстанъ не обернулся даже и сталъ тащить Петю.

— Эй, слышь, дядя! крикнулъ рябой нищій, поворачиваясь къ торгашу,—далече идемъ, село Завалье знаешь? И онъ засмѣялся во всю глотку.

— Эй, старикъ! эй, бусы! бусы! бусы почемъ? крикнула какая-то баба съ воза.

Дядя Василій глянулъ назадъ, потомъ глянулъ впередъ на нищихъ, которые быстро удалялись, ударилъ ладонями объ полы своего полушубка и пошелъ къ возу, поправляя шапку, которая окончательно выходила изъ повиновенія.

— Ну, ужъ погоди, пострѣлъ, окаянный ты этакой! теперь я съ тобой раздѣлаюсь! сказалъ Верстанъ, когда послѣднія избы Андреевскаго остались назади,—я тебѣ покажу дѣдушку!

Фуфаевъ, державшій руку на плечѣ Верстана, не пропускалъ ни одного его слова и движенія. Онъ ощупалъ голову Пети, перенесъ руки на плечо мальчика, слегка подтолкнулъ его впередъ и, дѣлая видъ, какъ будто кашляетъ, скороговоркою шепнулъ ему: „не бойся, ничего... наслѣдникъ... выручу... не бойся“. Но заступничество Фуфаева мало утѣшило мальчика. Отчаянныя рыданія продолжали надрывать грудь его, на которую потоками текли слезы и сыпался мелкій встрѣчный дождикъ; бѣдный мальчикъ казался обезумѣвшимъ отъ горя. Сознаніе пришло

къ нему не прежде, какъ когда ноги нищихъ застучали на мельничной плотинѣ; первою его мыслью было броситься въ воду, но Верстанъ, вѣроятно, опытный въ продѣлкахъ, какія отчаяніе внушаетъ иногда маленькимъ вожакамъ, предупредилъ намѣреніе Пети: онъ снова крѣпко взялъ его за воротъ.

— Эй, слышь, куда жъ ты насъ ведешь? спросилъ онъ, обратившись къ рябому Балдаю, который шелъ шагахъ въ десяти.

— А вотъ погоди, пройдемъ мельницу, сарай такой будетъ... Отселѣва не видать, за косогоромъ! Тамъ прежде кирпичи обжигали... Мѣсто знатное! Мы завсегда тамъ ночуемъ... Ступайте только, добавилъ онъ, сворачивая къ мельницѣ.

Пройдя мельницу и длинные мельничные навѣсы, Балдай вдругъ остановился, схватился за бока и залился смѣхомъ. Нищіе поспѣшили нагнать его. Задняя часть навѣсовъ составляла глухой уголъ съ клѣтью и амбаромъ мельника; въ этомъ глухомъ углу, глядѣвшемъ на открытое, пустое поле, нищіе увидѣли старенькаго лысаго старичка, который быстро сѣменилъ ногами, откидывался въ сторону, билъ надъ головою въ ладоши и откалывалъ самаго отчаяннаго трепака. Онъ былъ совершенно одинъ; единственнымъ зрителемъ всего происходившаго, кромѣ нищихъ, была шапка старика; онъ не отрывалъ отъ нея глазъ, кружился надъ нею, прищелкивалъ пальцами и приговаривалъ задыхавшимся отъ усталости голосомъ: „Ахъ, ахъ! что ты? что ты—ахъ!“ Узнавъ причину всеобщаго хохота, Фуфаевъ прыгнулъ впередъ, крикнувъ: „ходи знай, люблю!“ и засѣменилъ въ свою очередь ногами, налетая поминутно на старика, который ничего какъ будто не замѣчалъ и продолжалъ откалывать самыя удивительныя колѣнца передъ своей шапкой.

— Экой онъ у васъ весельчакъ, этотъ слѣпой! сказалъ Балдай, надрываясь со смѣху пуще прежняго.

— Веселъ, да некстати, сурово промолвилъ Верстанъ, котораго, повидимому, мало развлекало все это.—Ну, ступай, полно тебѣ бѣситься-то... дьяволъ! Вишь, дождь идетъ! добавилъ онъ, толкая Фуфаева.

Пройдя шаговъ триста, нищіе вошли въ оврагъ и увидѣли полуразрушенную кровлю заброшеннаго кирпичнаго сарая.

— Ну, вотъ и пришли! радостно кричалъ Балдай.

— Ладно... вижу... Ну, братъ, теперь я съ тобою раздѣлаюсь, присовокупилъ Верстанъ, поглядывая на Петю изъ-подъ нахмуренныхъ, шершавыхъ бровей своихъ.

Фуфаевъ украдкою дернулъ Петю за рукавъ. Нищіе вошли въ сарай, гдѣ тотчасъ же закрыла ихъ густая, непроницаемая тѣнь.

VIII.

Знакомство.

Дождикъ, который зарядилъ, какъ видно, на цѣлыя сутки (небо представляло теперь одинъ сѣрый сплошной куполъ), перенесъ мало-по-малу веселье съ улицъ Андреевскаго въ избы; гамъ, носившійся надъ селомъ, замѣтно стихалъ, и улицы пустѣли; народъ, явившійся поглазѣть на праздникъ и не имѣвшій въ Андреевскомъ сродственниковъ, кумовьевъ и сватовъ (такого народу было очень мало), поплелся домой. По всѣмъ дорогамъ, уходившимъ отъ Андреевскаго, мелькали сквозь сѣть дождя красные платки бабъ и дѣвчонокъ, и видно было даже издали, какъ скользили онѣ и увязали въ грязи. Кое-гдѣ раздавался скрипъ удалявшагося воза. Съ той стороны, гдѣ былъ мостъ, вотъ ужъ скоро полчаса, какъ какой-то голосъ отчаянно звалъ на помощь: то былъ торговецъ падалью; возъ его лежалъ вверхъ колесами подлѣ воды; весь товаръ уплылъ; на поверхности рѣки оставались всего два несчастныя гнилыя яблока, отъ которыхъ какъ будто отказались остальные уплывшіе товарищи. Многіе въ Андреевскомъ слышали голосъ торгаша, но никто не тронулся. „Время праздничное, разсуждалъ каждый,—всѣ шибко подгуляли; можетъ, онъ такъ кричитъ; можетъ, шальной какой-нибудь, спьяна легъ да и кричитъ!“

Несмотря на усиливающійся дождикъ, народъ не покидалъ одного только мѣста—именно, промежутка между двумя избами, тамъ, гдѣ плясалъ медвѣдь; оттуда все еще слышались бой барабана, бряцанье цѣпи и судорожное визжанье скрипки. Наконецъ, промокшій насквозь барабанъ отказался совершенно отъ употребленія: палочки били какъ по войлоку, струны скрипки растянулись, вмѣстѣ съ этимъ растянулось и самое лицо козылятника; оно оживало, надо полагать, не иначе, какъ когда припадало лѣвой щекой къ скрипкѣ; едва скрипка исчезла въ мѣшкѣ, желтое лицо козылятника приняло выраженіе ноющей

тоски и глубокой меланхоліи; дождь, лившій съ его мѣховой шапки и капавшій съ длиннаго носа, окончательно придалъ козылятнику видъ человѣка, удрученнаго невыносимою внутреннею скорбію.

— Шабашъ! кончай! полно! произнесъ товарищъ его, дюжій, плечистый и очень веселаго вида нижегородецъ.

Онъ тряхнулъ въ послѣдній разъ цѣпью, сказалъ: „ну, Матрена Ивановна, поворачивайся!" кинулъ за спину барабанъ и оглянулъ присутствующихъ, которые всѣ поспѣшили отброситься назадъ; многіе, стоявшіе въ заднихъ рядахъ, обратились даже въ бѣгство, какъ будто тотчасъ же спустятъ на нихъ медвѣдя или ухватятъ за воротъ и насильно потребуютъ денегъ за медвѣжью пляску. Изъ всей толпы одна баба подала вожаку два яйца. Нижегородецъ началъ разспрашивать ее, не найдется ли избы, куда бы пустили ихъ переждать дождь, а, можетъ, и переночевать, коли дождь не уймется до утра.

— Врядъ, касатикъ, возразила баба,—вишь праздникъ, вездѣ гости, не пустятъ. Вы бы на мельницу сходили, попытали; тамъ мѣста много... сараи-то большущіе, не то, что крестьянскіе...

Сказано — сдѣлано; но прежде нижегородецъ предложилъ зайти въ кабакъ и взять вина. На сборъ нынѣшняго дня, вообще говоря, грѣхъ было жаловаться: было что̀ приберечь, было изъ чего повеселить душу. На дорогѣ къ кабаку, который находился при выходѣ изъ Андреевскаго со стороны мельницы, вожакъ и меланхолическій его товарищъ услышали за собою хляскъ копытъ и яростные, бѣшеные крики:

— Посторонись! прочь съ дороги, канальи! прочь! дави ихъ! дави!..

Медвѣжатники увидѣли маленькаго, но очень красненькаго господина, сидѣвшаго на козлахъ тарантаса рядомъ съ сѣдымъ, сгорбленнымъ кучеромъ; тарантасъ, по словамъ нижегородца, который отошелъ въ сторону съ медвѣдемъ, едва ли могъ переѣхать десять верстъ: лошади были, очевидно, крестьянскія и давно не кормленныя. Изъ тарантаса выглядывали розовыя шляпки двухъ дамъ и голубая шляпка Анны Васильевны, той самой дамы въ розовомъ тарлатановомъ платьѣ, у которой изъ французскаго имени: Nicolas выходило всегда русское: *Нико́ля.*

— Дави ихъ, негодяевъ! продолжалъ кричать между тѣмъ красненькій господинъ, хотя давить уже было не-

кого, потому что медвѣжатники давно стояли въ сторонѣ, но красненькій господинъ такъ разгорячился, что ничего, казалось, не видѣлъ и не соображалъ: онъ топалъ ногами и размахивалъ руками, какъ будто тарантасъ скатывался въ бездонную пропасть и предстояла неминуемая гибель сидѣвшимъ въ немъ дамамъ.

— Ахъ, Нилъ Герасимычъ! намъ, право, совѣстно... васъ дождь вымочитъ, притомъ вы такъ безпокоитесь... проговорила Анна Васильевна.

— Помилуйте, сударыня, это моя обязанность... на то мы мужчины! возразилъ красненькій господинъ, выламывая спину и съ живостью обращаясь къ дамѣ.

— Ахъ, какъ глупа эта попадья — не правда ли?.. Боже, какъ глупа... Хи-хи-хи... Слышали, mesdames, какъ говорила она: „удостойте подойти къ пирогу!..“ хи-хи-хи...

— Хи-хи-хи... засмѣялись въ одинъ голосъ розовыя шляпки.

Нилъ Герасимовичъ находился въ нерѣшимости, смѣяться ли ему, или привстать на козлы и снова крикнуть на медвѣжатниковъ; но послѣдніе находились уже въ десяти шагахъ за тарантасомъ. Нилъ Герасимовичъ засмѣялся.

— Вишь про пироги какіе-то разговаривали! вымолвилъ нижегородецъ, кивая головою на отъѣзжающихъ,—и я бы ништó, поѣлъ бы теперь пирожка-то...

Впрочемъ, не надо думать, чтобъ Анна Васильевна и двѣ розовыя шляпки пренебрегли пирогомъ попадьи, надъ которой такъ язвительно посмѣивались: отъ пирога остался только кусочекъ нижней корки, да и то потому, что слишкомъ ужъ крѣпко прилипъ къ блюду; если бъ пошарить въ карманахъ Nicolas, который крѣпко спалъ на колѣняхъ матери, можно бы даже найти тамъ десятка три мятныхъ пряничковъ, которыми, сверхъ пирога и чая, угощала гостей своихъ радушная попадья. Но мы рѣдко заглядываемъ въ карманы помѣщиковъ и еще рѣже въ ридикюли помѣщицъ, и потому оставимъ этотъ предметъ.

Нижегородецъ остался въ кабакѣ ровно на столько, на сколько потребовалось, чтобъ продраться сквозь пьяную, кричащую толпу; онъ хотѣлъ сначала купить штофъ, но видъ окружающаго веселья разохотилъ его; онъ запрокинулъ назадъ шапку, крикнулъ:—„э! была не была!“, купилъ еще штофъ и, присоединившись къ меланхолическому козылятнику, продолжалъ путь. Еще на плотинѣ

услышали они пѣсни, крикъ и пронзительный визгъ бабы, раздававшіеся въ избѣ мельницы; у воротъ сидѣлъ смуглый дѣтина, съ бѣлыми, какъ кипень, зубами; онъ сохранялъ невозмутимое равнодушіе ко всему, что̀ происходило внутри мельницы, и, слегка посвистывая, наигрывалъ на гармоніи. Какъ только узналъ онъ, зачѣмъ пришли медвѣжатники, онъ наотрѣзъ объявилъ, что на это надѣяться нечего.

— Хозяинъ теперь загулялъ, сказалъ онъ,—какъ загуляетъ такъ-то, лучше не подходи... Онъ вотъ жену бьетъ теперича, съ самаго утра все бьетъ ее...

— Да какъ же, братецъ ты мой, куда жъ намъ дѣваться-то? возразилъ нижегородецъ, придерживая локтемъ штофъ (другой штофъ выглядывалъ изъ-за пазухи),—вишь время какое... дождь! Совсѣмъ размокропогодилось...

Козылятникъ безотраднымъ взглядомъ обвелъ окрестность, дальніе планы которой исчезали за дождемъ, какъ за сѣрымъ густымъ крепомъ.

— Я вотъ здѣшній батракъ, а обѣдать и то нейду. Добрѐ ужъ очень расходился нонче хозяинъ-то, добрѐ лютъ! спокойно сказалъ батракъ, продолжая наигрывать на гармоніи.—Да что вамъ здѣсь останавливаться? подхватилъ онъ.—Ступайте вотъ по этой дорогѣ, прійдете, такой сарай будетъ, кирпичи сперва обжигали... отсель не видать, за косогоромъ—тамъ и остановитесь... завсегда стоятъ тамъ медвѣжатники, коли у насъ бываютъ. Это у тебя медвѣдь, дядя, или медвѣдица? заключилъ батракъ.

— Медвѣдица... не подходи, не любитъ! проговорилъ вожакъ.—Да можетъ это далеко, гдѣ ты говоришь?

— Какой далеко! Вотъ тутъ сейчасъ за косогоромъ.

Цѣпь зазвенѣла, медвѣдица поднялась на ноги и пошла за своими хозяевами. Минутъ десять спустя, они увидѣли въ лощинкѣ крышу сарая.

— Э! да тамъ ужъ никакъ есть кто-то! сказалъ нижегородецъ.—Слышь: голоса!

— А Богъ съ ними! мы ихъ не трогаемъ... Мѣста много, они обижаться нами не станутъ, съ невыразимою грустью произнесъ козылятникъ, тяжело вздохнулъ и снова повѣсилъ голову.

Постройка, къ которой они приблизились, была попросту длинный-предлинный полусгнившій навѣсъ, прислоненный верхнимъ краемъ къ обрыву, нижнимъ краемъ упиравшійся въ столбы, кое-гдѣ обнесенные ветхимъ плет-

немъ; какъ ни ветхи были кровля и плетни, они давали, однакожъ, больше темноты, чѣмъ свѣта; нижегородцу и его товарищу нужно было съ минуту хорошенько поосмотрѣться, чтобы разглядѣть лица находившихся тамъ людей.

На самомъ видномъ мѣстѣ сидѣлъ Верстанъ; онъ былъ ужъ разутъ и только принялся за ѣду: нѣсколько корокъ лежало на его толстыхъ колѣняхъ; подлѣ него, съ одной стороны, находился дядя Мизгирь, съ другой—рябой Балдай; первый, по причинамъ, очень хорошо извѣстнымъ Верстану, никогда не разувался: дядя Мизгирь лежалъ врастяжку и дремалъ; Балдай сидѣлъ, поджавъ подъ себя длинныя ноги; онъ не отрывалъ отъ Фуфаева соколиныхъ, быстрыхъ глазъ; стоило Фуфаеву повернуть голову, крякнуть, сдѣлать самое простое движеніе, или сказать самое незначащее слово, чтобъ возбудить въ длинномъ, рябомъ Балдаѣ припадокъ истерическаго смѣха. Кромѣ Фуфаева, расположившагося немного поодаль прямо противъ Пети, никто не обращалъ вниманія на мальчика. Петя сидѣлъ, прислонившись спиною къ глиняному обрыву; лицо его, закрытое обѣими ладонями, лежало на колѣняхъ, по которымъ разсыпались его волосы; онъ тихо плакалъ; подавляемыя рыданія переливались въ груди его и горлѣ; видно было по движеніямъ головы и худенькаго туловища, какихъ неимовѣрныхъ усилій стоило мальчику превозмочь свое горе. Нижегородецъ остался какъ будто очень доволенъ и компаніей, и помѣщеніемъ. Онъ дернулъ цѣпью, поднялъ медвѣдицу на заднія ноги и провозгласилъ торжественно:

— А ну-ка, Матрена Ивановна, поклонись всей честной компаніи, да въ ноги, хорошенько!.. Спроси: не потѣснимъ ли васъ, дескать?.. а потѣснимъ, на томъ, скажи, и дѣлу конецъ!.. дѣваться больше некуда! заключилъ вожакъ и, безъ дальнѣйшей церемоніи, отправился въ дальній уголъ привязывать Матрену Ивановну; меланхолическій скрипачъ пошелъ туда же съ своей козой и скрипкой.

Балдай осклабилъ зубы и съ какою-то хищною жадностью впился въ Фуфаева, какъ бы выжидая отъ него какой-нибудь выходки. Балдай не ошибся: хотѣлось ли слѣпому разсмѣшить Петю, котораго до сихъ поръ тщетно утѣшалъ онъ словами, или попросту пришла ему охота скоморошничать, онъ сталъ на четвереньки, тяжело поднялся на ноги, дико заревѣлъ и началъ представлять

медвѣдя, что было ему нетрудно: самъ онъ, всей своей фигурой, похожъ былъ на шершаваго медвѣжонка. Балдай закатился нескончаемымъ смѣхомъ. Нижегородецъ, возвращающійся изъ дальняго угла съ своими штофами, остановился передъ Фуфаевымъ и также засмѣялся.

— Ништо, знатный медвѣдь! Маленечко вотъ только поломать бы надо! сказалъ онъ.—А что, хошь я тебя возьму? Годикъ округъ колеса у меня походишь, тамъ ноздри тебѣ прожжемъ, цѣпь пропустимъ, да кажинный день разовъ по пяти палкой по спинѣ—всю науку произойдешь! Жалованье платить стану... А ну-тка-сь, ну: „а какъ малые ребятишки горохъ воровали?"... ну...

Фуфаевъ грохнулся на-земь и заревѣлъ во сколько хватило силы. Нижегородецъ съ удивленіемъ глянулъ на рябого Балдая, который чуть не лопался со смѣху. Онъ сѣлъ недалеко отъ Фуфаева. Къ нему присоединился меланхолическій товарищъ съ котомкой, гдѣ видны были яйца и ломти хлѣба.

— Глянька-сь, Зинзивѣй: въ лѣсъ не ходили, а звѣря нашли! сказалъ нижегородецъ, толкая локтемъ козылятника.—Да звѣрь-то какой, совсѣмъ почитай обученый... Къ тому и ручной совсѣмъ; хлопотъ меньше: зубовъ пилить не надыть...

— Да и глазъ-то выжигать не стать! вишь: готово дѣло сдѣлано! воскликнулъ Фуфаевъ, подымаясь на ноги, комически потряхивая головою и вращая бѣлыми своими зрачками.

— Зинзивѣй, смотри: слѣпой! право слѣпой!.. Вотъ поди жъ ты, слѣпъ человѣкъ, а какъ потѣшается!

Зинзивѣй испустилъ вздохъ, какъ бы соболѣзнуя о несчастномъ, послѣ чего разбилъ яйцо на угловатой головѣ своей и смиренно принялся лущить скорлупу.

— Ай да слѣпой! Ну, братъ, впервинку такого вижу! сказалъ вожакъ.—Да ты, видно, шутникъ! Поди ты какія штуки выдѣлываетъ!..

— А ужъ такой-то любопытный! такой-то... Я самъ впервые вижу такого! воскликнулъ, смѣясь, Балдай.

Онъ заговаривалъ теперь съ вожакомъ точно такъ же, какъ заговаривалъ въ Андреевскомъ во время обѣдни съ Верстаномъ. Одно изъ свойствъ егозливой, подленькой природы длиннаго Балдая было подольщаться ко всякому; въ поспѣшности его сближаться проглядывало какъ будто желаніе развѣдать чужія дѣла, обстоятельства, нравы и

мысли; быстрые соколиные глаза рябого нищаго подтверждали, что имъ въ этихъ случаяхъ управляло не одно пустое любопытство.

— О чемъ это у васъ мальчикъ-то плачетъ? спросилъ вдругъ нижегородецъ, оборачиваясь къ Петѣ.

— А въ два смычка на спинѣ поиграли, объ томъ видно! смѣясь, сказалъ Балдай.

— Да за что жъ такъ?

— Стало-быть надо было, буркнулъ Верстанъ, пережевывая свои корки.

— Вишь ты: призналъ этта онъ нонче на праздникѣ какого-то вишь своего знакомца изъ своей деревни! словоохотливо заговорилъ Балдай.

— Ну такъ что жъ, что призналъ?..

— А вотъ старикъ сказывалъ (Балдай указалъ на Верстана), такой вишь точно случай вышелъ съ однимъ нищимъ: пришелъ онъ лѣтось также вотъ на праздникъ, съ мальчикомъ приходилъ. Возьми мальчикъ-то да и признай мать, либо тетку, что ли. Сталъ такъ же плакаться, говоритъ: „житье, говоритъ, добрѐ нехорошо!“ Она возьми да къ становому... такъ и такъ, говоритъ... Что бы ты думалъ? вѣдь мальчика-то у нищаго отняли! А онъ, слышь, той же матери деньги отдалъ за парнишку, хлопоталъ надъ нимъ, возрастилъ его—взяли да и отняли; такъ ни при чемъ и остался!..

— Черезъ то, значитъ, глупый человѣкъ былъ, черезъ то больше и отняли! вмѣшался Верстанъ. — Былъ, вотъ, сказывалъ я имъ, былъ у меня другой знакомый, также изъ нашей братіи: такъ у того, бывало, ребяты-то, небось, никого не признавали, безъ опаски вездѣ ходилъ... Какой ни подвернется ему парнишка... (тутъ Верстанъ обратился къ Петѣ и умышленно возвысилъ голосъ) какой ни подвернется, онъ каждому возьметъ да глаза-то и выколетъ... Съ ними видно и все такъ-то надо дѣлать: дѣло тогда вѣрнѣе...

Съ тѣхъ поръ, какъ нищіе находились въ кирпичномъ сараѣ, Верстанъ раза ужъ три намекнулъ на собрата, который держался обычая ослѣплять вожаковъ своихъ; каждый разъ при этомъ Верстанъ пристально поглядывалъ на Петю и возвышалъ голосъ. Несмотря на заступничество Фуфаева, получившаго даже нѣсколько ударовъ, предназначавшихся Петѣ, Верстанъ больно, очень больно побилъ мальчика, но Петя согласился бы претерпѣть втрое,

вчетверо больше побоевъ, лишь бы Верстанъ не грозилъ лишить его зрѣнія. При первомъ намекѣ, все замерло въ бѣдномъ мальчикѣ; онъ не сомнѣвался, что все теперь кончено, что пришелъ, видно, смертный часъ; послѣдній намёкъ стараго нищаго окончательно убѣдилъ его въ намѣреніи Верстана. Какъ ни крѣпился онъ, но на этотъ разъ не могъ одолѣть отчаянья—бросился лицомъ на́-земь и громко зарыдалъ.

— Эхъ ты, плакуша! съ глупымъ смѣхомъ крикнулъ Балдай.

— А ну-ка-сь, дай-ка я тебѣ буркалы-то вырву! небось смѣяться станешь—а? дерзко возразилъ Фуфаевъ.—Полно, *наслѣдникъ*, не плачь! подхватилъ Фуфаевъ, не сомнѣвавшійся, что исторія съ нищимъ была разсказана только для острастки мальчику (онъ не могъ прямо разувѣрить Петю, боясь ссоры съ Верстаномъ), — не плачь! плакать не годится: дѣвки будутъ смѣяться!.. Парню слѣдъ быть пригожему, веселливому, привѣтливому, покорливому, гулливому — вотъ какъ! „Я, скажи, буду и безъ глазъ живъ; было бы брюхо!" На меня смотри: рази я сокрушаюсь? Эхъ-ма! подбавилъ Фуфаевъ, выкидывая колѣнце, при чемъ всѣ засмѣялись, кромѣ Верстана и меланхолическаго козылятника,—ты норови всегда по-нашему: будь безъ хвоста да не кажись кургузъ — вотъ это значитъ человѣкъ есть! А то убивается, какъ горькая кукушечка... а о чемъ? Полно, *наслѣдникъ*, дѣвки смѣяться станутъ; полно, говорю...

Нижегородецъ, которому, замѣтно, столько же не нравился Балдай, сколько полюбился Фуфаевъ, подсѣлъ къ нему и расположился закусывать, предложивъ слѣпому два яйца и давъ ему еще одно для мальчика.

— Вотъ мы, братцы, здѣсь сидимъ, а дождичекъ-то все покапываетъ, сказалъ онъ, ломая хлѣбъ и поглядывая на стороны, — вишь кругомъ обложило, какъ есть! Не скоро, знать, перестанетъ. Ночевать нѐчего, хорошо; какова только завтра будетъ дорога! Вишь какъ наволакиваетъ; время не пуще много, а совсѣмъ ужъ сумерки.

— О-хо-хо! вздохнулъ Зинзивѣй.

Онъ съѣлъ уже послѣднее яйцо и съ выраженіемъ тоскливаго ожиданья глядѣлъ на штофы товарища.

— А что̀ ты думаешь, братецъ, взаправду, можетъ сумерки! сказалъ Фуфаевъ, который силою запихнулъ два яйца Петѣ за пазуху и возвратился на прежнее мѣсто,—

на мои глаза все ночь; сужу, примѣрно, по времени; время такое подходитъ, къ жнитву, примѣрно; скоро первый Спасъ — дни убывать начали. Э! э, э... задребезжалъ вдругъ тоненькимъ козлячимъ голоскомъ Фуфаевъ,—да у тебя, землякъ, никакъ винцо?.. Фу, фу, эхъ знатно, духовито какъ попахиваетъ! Нѣтъ, землякъ, такъ въ честной компаніи не водится... Рѣжь да ѣшь, ломай да и мнѣ давай—слыхалъ ты это?

— Изволь, землякъ, посмѣиваясь, сказалъ нижегородецъ, — мы съ нашимъ удовольствіемъ; дай только напредки товарищу отпить: надо знать прежде, который которому принадлежитъ.

— Ладно, ладно... То-то, братъ, землячокъ, я бы ужъ давно поднесъ, да винца-то купить не на что; у меня въ карманѣ-то Иванъ-тощій... право слово, Иванъ-тощій!..

— Разсорилъ, стало-быть?..

— Всѣ деньги, которыя были, всѣ рѣшилъ—фю! свистнулъ Фуфаевъ и махнулъ рукою.

Балдай снова закатился. Нижегородецъ подалъ штофъ Зинзивѣю, который началъ такъ пить, какъ будто поднесли ему самаго горькаго лѣкарства; тѣмъ не менѣе штофъ оказался наполовину пустымъ, когда возвратился къ товарищу; послѣ этого Зинзивѣй подмостилъ себѣ подъ голову тулупчикъ, испустилъ три глубокіе вздоха и завалился спать.

— Ну ужъ, братъ, и меня угости, произнесъ заигрывающимъ голосомъ Балдай, когда штофъ перешелъ изъ рукъ вожака къ Фуфаеву.

— А за что тебя угощать? что зубы-то скалишь?..

— Нѣтъ, такъ, для компаніи, ухмыляясь, съ какою-то неловкостью сказалъ Балдай.

— Для компаніи мы будемъ пить вотъ съ кѣмъ! вымолвилъ вожакъ, похлопывая по плечу Фуфаева.

— Ну, Богъ съ тобой... на, пей! отдуваясь, произнесъ слѣпой, подавая Балдаю штофъ, до того осушенный внутри, что, казалось, вино въ немъ было огнемъ выжжено.

Всѣ засмѣялись, не выключая даже дядя Мизгиря. Вожакъ отказалъ Балдаю потому собственно, что ему хотѣлось *срѣзать* эту *шитую рожу*, какъ назвалъ онъ его потомъ. Чтобъ доказать, что онъ вина не жалѣетъ, онъ подалъ новый, полный штофъ Балдаю, но промолвилъ:

— Смотри, братъ, знай только честь!

Онъ передалъ штофъ, но ужъ безъ замѣчанія, Верстану,

дядѣ Мизгирю, и наконецъ самъ сталъ потягивать. Дождь, между тѣмъ, продолжалъ идти своимъ чередомъ; сгущавшіяся тучи замѣтно ускоряли сумерки; углы сарая давно наполнились мракомъ; теперь исчезъ даже Петя; вожакъ могъ только видѣть ноги Верстана и Мизгиря, которые сидѣли противъ; туловища ихъ и головы опутывались сумракомъ; онъ едва уже начиналъ различать черты Балдая и лицо самого Фуфаева, присѣвшаго противъ него на корточкахъ. Но для Фуфаева была всегдашняя ночь или вѣчный день, какъ говорилъ онъ: солнце свѣтило тогда лишь, когда хмель попадалъ въ голову—онъ веселѣлъ съ каждымъ новымъ глоткомъ. Получивъ штофъ уже въ третій или четвертый разъ, онъ нѣжно прижалъ его къ груди и сталъ укачивать, какъ ребенка, приговаривая: „у кота-кота колыбель хороша! баю-баюшки, баю, красоулюшку люблю!“ потомъ онъ сказалъ, чтобъ глядѣли, какъ онъ перекинется оборотнемъ, превратится изъ матери въ ребенка, и принялся сосать вино.

— Вотъ вы, ребятушки, потѣшаетесь, сказалъ онъ, отымая штофъ отъ рта и переводя духъ,—ладно; а знаете ли, отколь это винцо-то взялось, что̀ попиваемъ теперича—ась? Небось, не знаете...

— Нѣтъ, не знаемъ; разскажи...

— Ой-ли? Ладно; дай сперва̀-на́перва горло промочить. Онъ хлебнулъ,—это присказка, а сказка впереди... Прозывается она, примѣрно, такой ужъ обычай, прозывается: *горькуха*...

— Слыхали ужъ! произнесъ Верстанъ.

— Слыхали! повторилъ дядя Мизгирь.

— Ну да мало ли что̀! я не слыхалъ! возразилъ вожакъ.—Разсказывай, братъ, разсказывай... примолвилъ онъ, подпираясь локтемъ и заранѣе расправляя бороду, чтобъ ничто не мѣшало смѣяться.

— И я послушаю... о-о! зѣвнулъ Балдай, который началъ съ нѣкоторыхъ поръ потягиваться и терять свою прыткость.

Верстанъ пробормоталъ что-то подъ носъ и улегся; Мизгирь послѣдовалъ его примѣру; Балдай прислонился спиною къ плетню; нижегородецъ припалъ плечомъ къ столбу. Фуфаевъ хлебнулъ и началъ.

IX.
Сказка. — Освобожденіе.

— Жилъ, братцы вы мои (заговорилъ Фуфаевъ), жилъ-поживалъ на бѣломъ свѣтѣ сермяжникъ одинъ, мужикъ по-нашему; звали его *Тюря*—такое прозвище было; имѣлъ онъ капиталъ не то чтобъ малый, капиталъ былъ дюжій: ребятишекъ дюжину да бабу-жену лихую! Мелочи вотъ только никогда у него не вàживалось: значитъ, то-есть, не было хлѣбушка, капустки, рѣпки и всякой тамъ другой потребы, чтò этотъ вотъ кошель набиваютъ (присовокупилъ Фуфаевъ, хлопая себя по животу), ничего этого не было. Да ну ихъ, куда бы ни шло! нипочемъ было ему ходить съ пустымъ брюхомъ: привыкъ сызмаленьку! Главная причина, женой пуще обижался; онъ слово—она десять; онъ два слова — она его за волосы, за виски да ò-земь!.. Такъ колотила, братцы — ходитъ, бывало, Тюря весь синій, совсѣмъ синій человѣкъ ходитъ... въ одинъ синякъ всего избивала, проклятая!.. Ну, хорошо... Вотъ приходитъ разъ такъ-то время весеннее, подулъ вѣтеръ утренній, запѣли пташки-малиновки... Взялъ Тюря послѣднюю корку хлѣба, которая была, взялъ, сунулъ за пазуху и пошелъ въ поле; время такое къ самой пахотѣ приспѣло. Ладно. Пашетъ онъ часъ, пашетъ другой, поѣсть захотѣлось. „Нѣтъ, говоритъ—такъ, примѣрно, самъ съ собой разговоръ ведетъ — нѣтъ, обожду, говоритъ; поѣмъ, какъ пуще проголодаюсь!" Взялъ, положилъ корку на межу и пошелъ опять къ сохѣ ко своей; пошелъ къ сохѣ, а самъ и не видитъ, чтò на межѣ-то на той творится, гдѣ корку-то оставилъ; отколь ни возьмись, прыснулъ чортъ, облапилъ корку, взялъ да подъ кустъ и схоронился... Любо ему, анаѳемѣ, поглядѣть, какъ человѣкъ голодать станетъ!.. Ладно. Вотъ приходитъ Тюря къ межѣ, хвать-похвать, искать-поискать—нѣтъ корки! индо страхъ взялъ, за кожей подираетъ, въ глазахъ митўситъ, шапчонка какая была на ёмъ, и та набекрѐнь... Ну, сталъ поогеряться. „Чтой-то за диво — самъ съ собою опять разговоръ повелъ—никого кажись не было, а корку стибрили!.. А ну, говоритъ, на здоровье ему!" Сотворилъ молитву, перекрестился и поѣхалъ домой. А чортъ тѣмъ временемъ въ адъ шаркнулъ разсказывать про всѣ дѣла свои; разсказалъ, гдѣ рыскалъ, примѣрно, чтò видѣлъ, не забылъ упомя-

нуть сатанѣ объ мужиковой коркѣ, а самъ, анаѳема, такъ вотъ и заливается, грохочетъ — очепно, значитъ, забавляется. Какъ крикнетъ набольшій сатана, даже стеклы въ аду задрожали: „Чего ты, кричитъ, дьявольское отродье, потѣшаешься? молчать, говоритъ; разсказывай толкомъ: что̀, говоритъ, мужикъ сказалъ, какъ ты хлѣбъ-то у него отнялъ?“ Такъ и такъ, говоритъ, сказалъ: „а ну ему, говоритъ, на здоровье!“ — „Ахъ вы пострѣлы! закричалъ опять набольшій чортъ (осерчалъ добрѐ): вотъ всѣ вы такъ, кричитъ, натворите дѣлъ безъ толку безо всякаго, а я за васъ потомъ отвѣчать должо̀нъ. Лети, кричитъ, лети на землю скорѣй къ мужику тому и сослужи ему чѣмъ ни на есть!“ Отправился малый чортъ на землю, согнулся въ три погибели, прикинулся смирячкомъ такимъ, пришелъ къ Тюрѣ и просится въ батраки. „Гдѣ мнѣ нанимать! говоритъ Тюря: вишь, самъ голодаю!“—„Ничего, молвилъ бѣсъ, будемъ голодать вмѣстѣ; платы, говоритъ, не полагается — не надо; служилъ я за плату, говоритъ, а самъ вишь въ заплатахъ; по-моему все одно: есть копейка, нѣтъ ея—все единственно“, говоритъ. Сталъ жить чортъ у Тюри; пашетъ онъ ниву, дивуется мужикъ: навозу на лопату взять нечего, а онъ унавозилъ все поле; хлѣбъ растетъ словно лѣсъ какой; колосъ пошелъ, почитай, съ самаго корня! Ну, сталъ это маненько словно оправляться Тюря; хлѣба стало вдосталь, и жена словно присмирѣла... знамо, съ сытаго-то брюха! Вотъ чортъ и говоритъ разъ Тюрѣ: „слышь, говоритъ, хлѣба у насъ съ залишкомъ; чѣмъ его такъ держать, давай, говоритъ, засѣемъ болото“. Тюря въ надеждѣ былъ, что такой батракъ нанялся, не сталъ перечить. Выѣхали на болото; пашетъ чортъ болото, а оно такъ и сохнетъ подъ сохою; взборонилъ, засѣялъ, а жара не унимается—хлѣбъ растетъ словно на степной пашнѣ. Сначатія-то больно смѣялись сосѣди: „и то, молъ, и сё“; а какъ видятъ, жара не унимается, хлѣбъ на болотѣ выросъ лѣсомъ, стали себя попрекать, зачѣмъ, дескать, не придумали прежде... на ту же статью норовили... Убралъ Тюря хлѣбъ, разбогатѣлъ пуще прежняго. Жена не токма̀ бить, стала къ нему ластиться; а онъ ей нонѣ коты, завтра платокъ врозь-концы, послѣ-завтра калачъ: пуще задобриваетъ, чтобъ смирнѣй была. Приходитъ опять весна, мужики кинулись на болото, а чортъ тащитъ Тюрю на горы. „Не замай, оставь!“ говоритъ. Тюря опять перечить не сталъ. Погодили недѣльку-другую, подули

вѣтры сиверные, полили дожди ливмя: на поляхъ лужи, на болотахъ потопъ; батракъ, сирѣчь чортъ, началъ пахать пески да горы; вспахалъ и засѣялъ. Дожди не перестаютъ, вѣтры не унимаются; на поляхъ всходы плохи, въ болотахъ пропало зерно — у Тюри хлѣбъ родился на диковинку, дѣвать некуда! Вотъ и думаетъ чортъ, самъ про себя такъ-то мерекаетъ: „за корку, что̀ стибрилъ тогда у Тюри, отслужилъ я ему на-порядкахъ; надо, говоритъ, ему всучить бы волчка теперича! Служба службой, бѣсъ бѣсомъ“, говоритъ. Вотъ разъ сидятъ оба на заваленкѣ; чортъ и говоритъ: „придумалъ я, слышь, затѣю: хлѣба у тебя въ достаткѣ; сваримъ-ка, говоритъ, пивца!“—Ладно, говоритъ Тюря (простой такой былъ), служилъ ты вѣрно, перечить не хочу; дѣлай, какъ поволится!“ Принялся чортъ за новую работу; затиралъ брагу, подхмеливалъ, гналъ, перегонялъ, умудрялся всякими бѣсовскими манерами; къ утру приноситъ Тюрѣ: „на, говоритъ, попробуй!“ а у самого рожа-то такъ на сторону и лѣзетъ, насмѣхается надъ мужикомъ: хлебнулъ Тюря: „у-ва! горько!..“

Тутъ Фуфаевъ поднесъ штофъ къ собственнымъ губамъ, щелкнулъ языкомъ, наклонилъ голову и сталъ прислушиваться къ звонкому храпѣнью Верстана и дяди Мизгиря; ему показалось, какъ будто храпѣлъ и Балдай.

— Ребята! да вы никакъ всѣ заснули? вымолвилъ онъ.

— Они всѣ спятъ, а я ничего... Разсказывай знай, разсказывай! проговорилъ нижегородецъ, распяливая глаза, которые начали часто ужъ что-то прищуриваться; впрочемъ, въ сараѣ было такъ темно, что, все-равно, можно было сидѣть съ закрытыми глазами.

— Никакъ и мальчикъ-то заснулъ, наслѣдникъ-то мой?.. Эй, Балдай, спишь? крикнулъ Фуфаевъ, поворачиваясь въ ту сторону.

— А?.. Нѣтъ... я... ничего... добрѐ ужъ оченно-любопытно... добрѐ... сонливо провертѣлъ языкомъ рябой Балдай.

— Разсказывай знай, разсказывай! повторилъ нижегородецъ.

— Ну, вотъ, братецъ ты мой (началъ снова Фуфаевъ, присѣдая на корточки), какъ попробовалъ Тюря этой горькухи-то, что̀ чортъ сварилъ, больно она ему не понравилась, даже плевать началъ. „Ничего, говоритъ чортъ: и пиво горько, и соль солена; пей, ѣшь кисло да солоно, говоритъ, на томъ свѣтѣ не сгніешь! Чего ты опасаешься? Это такъ только спервака̀ не по скусу; тотъ же вѣдь

хлѣбъ, только пожиже, говоритъ; качай, говоритъ, починъ дороже денегъ!“ Сталъ его такъ-то присударивать; знамо, чортъ на свое тянетъ, подольщается. Взялъ Тюря посудинку, опять хлебнулъ: „Ништо, говоритъ, горька-то горька, а ништо!“ — „А хвати-ка еще!“ присталъ опять чортъ. Хватили вмѣстѣ. „Словно какъ и не горька“, говоритъ Тюря.—„То-то не горька! Оно такъ тебѣ сперва̀ка показалось; знатное дѣло, братецъ ты мой, говоритъ чортъ: а нука-сь еще!“ Опять тяпнули по чаркѣ. „Нѣтъ, не горька, говоритъ Тюря, право-слово не горька!“—„И по моему не горька, молвилъ чортъ: такъ индо горло смазываетъ, по животику расходится да по косточкамъ!“ Тутъ ужъ Тюря самъ тяпнулъ не дожидаючи. „Слышь, хозяинъ, заговорилъ опять чортъ: что̀ тебѣ задается? ничего не задается — ась?“—„Сдается, говоритъ Тюря, еще бы хватить маненько!“ — „И то дѣло; качай во здравіе!“ Качай да качай, только и разговору было. „Стой, кричитъ опять чортъ: слышь, хозяинъ, что̀ тебѣ задается? ничего не задается?“ — „Сдается, говоритъ Тюря, словно изба кругомъ пошла... стой, держи! закружитъ, завертитъ, проклятая... да еще уйдетъ пожалуй... пру... пру... безъ избы останемся на зиму!..“—„Не замай, не уйдетъ, говоритъ чортъ, она отъроду никуда не хаживала; побоится идти по незнакомой дорогѣ!“ Лѣзло имъ обоимъ такимъ манеромъ то то̀, то другое; повалились оба и заснули. Проснулись; сталъ Тюря на голову жалиться; не подымешь никакъ; чортъ опять горькухи принесъ. „Нѣтъ, не по могутѣ“, говоритъ Тюря, а самъ даже стонетъ: „не могу“, говоритъ. „Да ты, братецъ, разомъ только; завсегда такъ водится: клинъ клиномъ выгонять надыть. Я ужъ выпилъ—отлегло!“ Послушалъ мужикъ, выпилъ бычкомъ—и то словно отлегло... „А ну-ка, говоритъ, принеси-ка еще!“ Еще выпили — и пошла у нихъ лей-перелей гулянка! Варятъ горькуху, пьютъ, словно въ бочку наливаютъ! Жена вступилась-было — Тюря ее въ ухо; ребятенки пристали — онъ кого о̀-земь, кого объ уголъ, а самъ кричитъ, горло деретъ: „вари, кричитъ, вари, батракъ, горькуху на весь міръ крещеный, на всю деревню; всѣхъ, кричитъ, угощать хочу!“ Позвали сосѣдей. Пришли всѣ. Сначатія никто не пьетъ, тамъ одинъ попробовалъ, тамъ другой, подъ конецъ всѣ втравились, запили знатно—и пошелъ разгулъ, такой разгулъ, что не видано отъ-роду. Андрей пѣсенъ не пѣвалъ — запѣлъ во всю глотку, схватимшись за оба уха;

Власъ подтыкалъ полы за поясъ, засучилъ рукава: „выходи, кричитъ, выходи—только и жилъ!“ Никита голоситъ, плачется внуку: „нѣтъ-де у меня ни отца, ни матери!“ Селифанъ бьетъ кулакомъ въ печку: „дорогу, говоритъ, давай!“ Михѣшка ходитъ, у всѣхъ прощенья проситъ... То-то была потѣха! Плакали, плясали, пѣли, бились, а подъ конецъ всѣ съ ногъ сгорѣли, повалились и заснули; кто гдѣ стоялъ, тутъ и повалился! Чортъ былъ при этомъ при всемъ. Вотъ и ждетъ онъ другого утра. Стала у всѣхъ голова болѣть; стали всѣ жаловаться: „опоилъ ихъ Тюря бѣсовскимъ зельемъ!“ а чортъ и говоритъ: „ничего, говоритъ, ребята, не печалуйся! клинъ клиномъ выгоняй!“ Всѣмъ поднесъ горькухи, и опять всѣ загуляли... Видитъ это чортъ, возьми да каждому нà-ухо и разскажи, повѣдай всѣмъ, какъ ее дѣлаютъ, горькуху-то, и пошла она послѣ того, окаянная, гулять по свѣту по бѣлому...“

Фуфаевъ остановился.

— Эй, землякъ! крикнулъ онъ.

Отвѣта не было. Въ дальнемъ углу слышалось только побрякиванье цѣпи, а кругомъ раздавалось храпѣнье, переливавшееся на пять разныхъ ладовъ.

— Эхва! а я-то тутъ стараюсь! языкомъ бью, плетни выплетаю! вымолвилъ слѣпой, потряхивая головою. Онъ допилъ остающееся вино и ощупью подобрался къ Петѣ, подлѣ котораго прежде еще выбралъ себѣ мѣсто.

— Ну, и этотъ захрапѣлъ! проворчалъ Фуфаевъ, нагибаясь къ мальчику, который въ самомъ дѣлѣ началъ храпѣть, — ну да этотъ пущай его спитъ; нонѣ день такой выпалъ сердягѣ, либо спать, либо плакать! заключилъ слѣпой, укладываясь на голую землю. Онъ крякнулъ и повернулся на другой бокъ, крякнулъ опять и снова перевалился, какъ кадушка, на другую сторону; послѣ этого онъ крякнулъ еще разъ, но ужъ не перевертывался, а захрапѣлъ еще звончѣе товарищей.

Но Петя не спалъ—не до сна ему было: онъ только прикидывался спящимъ. Съ той минуты, какъ забыли о немъ нищіе, до настоящей, въ головѣ его созрѣла мысль, которую могли только породить одинъ безграничный страхъ, одно отчаянье. Онъ рѣшился бѣжать, бѣжать въ эту же ночь. Но куда бѣжать? къ кому? что̀ съ нимъ будетъ, когда убѣжитъ? Ни о чемъ этомъ онъ не думалъ. У него была одна мысль: уйти отъ Верстана, который, вѣрно, не далѣе, какъ завтра, улучивъ минуту, приведетъ въ

исполненіе свое страшное намѣреніе. Минутъ десять послѣ того, какъ захрапѣлъ Фуфаевъ, Петя продолжалъ, однакожъ, лежать пластомъ и не трогался съ мѣста—такъ великъ былъ его страхъ; сердце такъ въ немъ и замирало. Ночь была сырая, но потъ прохватывалъ его насквозь, выступалъ на лбу и на лицѣ, закрытомъ ладонями, прижатыми къ землѣ. Наконецъ, задерживая дыханіе, тихо-тихо поднялъ онъ голову. Нищіе и медвѣжатники, исчезавшіе въ непроницаемомъ мракѣ, храпѣли; кромѣ этихъ звуковъ было такъ тихо, что Петя могъ пересчитать число людей по храпѣнью и дыханью. Онъ снова сталъ прислушиваться. Время отъ времени, въ дальнемъ углу брякнетъ цѣпь--и только; извнѣ мѣшался мѣрный, однообразный шумъ дождя и хлесканье капель, которыя, скатываясь съ кровли, падали въ лужи.

Петя бережно поднялся на руки и попробовалъ перевернуться на другой бокъ. Все храпѣло попрежнему; это ободрило его; онъ очень хорошо помнилъ гдѣ кто расположился: ему легко было пройти къ выходу сарая и не задѣть никого. Но тутъ овладѣвалъ имъ страхъ пуще прежняго; колѣни его стучали другъ о дружку; онъ долженъ былъ прижать грудь руками и открыть ротъ, чтобъ перевести дыханіе, которое спиралось въ пересыхавшемъ горлѣ. „Сейчасъ хватится Верстанъ, сейчасъ хватится и крикнетъ!“ думалъ онъ. Петя вспомнилъ вдругъ, что прежде, въ Марьинскомъ, живучи дома, когда случалось ему вскидываться со сна, мать подбѣгала къ нему и начинала крестить его... Онъ торопливо, нѣсколько разъ сряду перекрестился и пустился бѣжать со всѣхъ ногъ. Онъ бѣжалъ почти безсознательно; въ первыя минуты имъ управлялъ одинъ инстинктъ, одно чувство самосохраненія, внушавшія ему удаляться отъ Андреевскаго. Самъ не замѣчая этого, выбрался онъ изъ лощины и очутился посреди пустынныхъ полей, гдѣ шумѣлъ только дождь. Но страхъ, овладѣвавшій имъ, повидимому, все сильнѣе и сильнѣе, по мѣрѣ того, какъ онъ удалялся, привязывалъ крылья къ ногамъ его; онъ ни на минуту не останавливался. Не чувствуя тяжести платья, насквозь пропитаннаго дождемъ, не чувствуя усталости, онъ бѣжалъ впередъ и впередъ, самъ не зная, какъ перескакивалъ межи, дождевыя промоины, какъ перелѣзалъ овраги, перемежавшіе иногда путь. Усталость скоро, однакожъ, взяла свое; онъ остановился и поспѣшилъ припасть къ

землѣ, хотя въ трехъ шагахъ можно было пройти мимо и не замѣтить его. Сердце его билось такъ сильно, что, казалось, слышалось ему, какъ стучало оно; но, кромѣ этого звука и шума дождя, онъ ничего не слышалъ. Онъ подумалъ, что рано еще останавливаться: слишкомъ близки нищіе; превозмогъ усталость и снова пошелъ впередъ. Такъ шелъ онъ всю ночь, изрѣдка останавливаясь, чтобъ перевести духъ.

Утро застало его на возвышенномъ мѣстѣ, посреди неоглядныхъ полей, мѣстами покрытыхъ колосившеюся рожью, мѣстами голыхъ или усѣянныхъ кустарникомъ. Дождь пересталъ на минуту; кругомъ открылось неоглядное пространство; кой-гдѣ выглядывали деревушки, бѣлѣла церковь, или темно-синимъ пятномъ раскидывался лѣсъ. Петя не имѣлъ никакого опредѣленнаго плана, кромѣ того развѣ, чтобъ, въ случаѣ, если увидитъ бѣгущихъ за нимъ нищихъ, броситься тотчасъ же въ рѣку. Мысли бѣднаго мальчика были такъ встревожены, что онъ не задавалъ себѣ даже вопроса, что́ дѣлать ему, если въ такомъ случаѣ не найдется рѣчки подъ рукою. Рѣчка должна быть—вотъ и все тутъ! Онъ побоялся, однакожъ, войти въ одну изъ деревень, попадавшихся кой-гдѣ на дорогѣ; по соображеніямъ его, Верстанъ былъ еще близко: легко можно было натолкнуться на него въ жиломъ мѣстѣ. Мысль, что въ настоящую минуту Верстанъ уже пробудился, можетъ даже ищетъ его, заставила его забыть усталость; онъ продолжалъ подвигаться впередъ, снялъ даже лапти для облегченія ходьбы, и самъ подивился, какъ не придумалъ этого прежде: они смерть его измучили. Пройдя шаговъ двадцать, Петя вернулся назадъ и поспѣшилъ закопать лапти въ землю, чтобъ не оставить слѣда за собою.

Къ полудню опять зарядилъ дождь; земля такъ замѣсилась послѣ суточнаго ненастья, что трудно стало двигаться. Послѣ каждаго шага приходилось вытаскивать ногу изъ вязкой, глинистой почвы. Петя усталъ страшно; ноги его подламывались сами собою, грудь болѣла, и въ плечахъ ныло невыносимо; сверхъ всего этого, голодъ начиналъ томить его. Онъ вспомнилъ о двухъ яйцахъ, засунутыхъ ему за пазуху Фуфаевымъ, и, вмѣсто нихъ, вытащилъ какія-то двѣ безобразныя лепешки, перемѣшанныя съ скорлупою. Какъ ни скудно было такое подкрѣпленіе, однакожъ Петя мысленно поблагодарилъ Фу-

фаева и назвалъ его самымъ добрымъ изъ всѣхъ нищихъ, какихъ только встрѣчалъ во время своей бродячей жизни. Неподалеку отъ того мѣста, гдѣ находился теперь Петя, начиналось поле ржи; онъ рѣшился забраться туда поглубже и отдохнуть. Но едва успѣлъ онъ растянуться на сырой землѣ, какъ почувствовалъ сильный позывъ ко сну. Онъ старался превозмочь себя, но не могъ; пока призывалъ онъ на помощь всѣ соображенія, что безопаснѣе было бы дождаться ночи, сонъ овладѣлъ имъ совершенно.

Когда онъ проснулся, дождь снова пересталъ, но сумерки замѣтно начали покрывать дальнюю мѣстность. Изъ-за поля выглядывалъ уголъ лѣса. Петя рѣшился пройти лѣсъ и вступить въ первую деревню, которая попадется: можетъ, найдется тамъ какая-нибудь старушка, которая сжалится надъ нимъ, дастъ ему хлѣбца и позволитъ отдохнуть. Оживленный такой надеждой, Петя почти бодро вошелъ въ лѣсъ. Онъ шелъ ужъ довольно долго, а лѣсъ все не кончался; все выше и выше подымались деревья, гуще и гуще разрастались кусты, глушившіе мшистые стволы деревъ; чаща листьевъ усиливала мракъ и безъ того ужъ позднихъ сумерекъ; вскорѣ въ лѣсу совершенно стемнѣло. Петя думалъ уже вернуться назадъ, но позади такъ же было все темно и глухо; кромѣ этого, онъ прошелъ много по лѣсу; легко теперь было заблудиться. Страхъ снова напалъ на него. Въ Марьинскомъ сколько разъ приводилось ему ѣздить въ ночную и проводить ночь въ лѣсу; но онъ ѣздилъ тогда не одинъ: ихъ такъ много тогда ребятишекъ собиралось; теперь онъ былъ одинъ-одинешенекъ, въ лѣсу, да еще въ лѣсу незнакомомъ! Ему пришли въ голову волки, но онъ сталъ тотчасъ же ободрять себя: онъ взлѣзетъ на дерево. Ну, а какъ медвѣдь?.. Петя перекрестился и вдругъ заплакалъ. Снова послышалось ему, какъ стучало его сердце, но теперь къ этому звуку примѣшивался не шумъ дождя— нѣтъ, дождя не было, примѣшивался... (Петя явственно это слышалъ) примѣшивался трескъ вѣтокъ и шорохъ въ кустахъ... (вѣтра также не было). Петя началъ снова креститься и, дрожа отъ страха, замирая душою и сердцемъ, припалъ къ стволу стараго дерева. Все какъ будто на минуту смолкло... И вдругъ онъ еще явственнѣе услышалъ теперь: раздалось неподалеку медленное какое-то шипѣнье, похожее на тяжелое дыханье приближавшагося

человѣка или звѣря... Прошла еще минута, и вдругъ что-то страшно загудѣло въ вершинахъ деревъ; раздался страшный трескъ ломавшихся сотнями вѣтвей, и что-то тяжелое рухнуло вдругъ на землю. Петя не успѣлъ придти въ себя, какъ нѣсколько человѣкъ, шагахъ въ пяти отъ него, проскочили мимо.

— Держи, ребята! вотъ они, мошенники! Здѣсь, сюда... тутъ срубили дерево, тутъ повалилось. Хватай ихъ! кричали голоса, которые съ дикими перегулами загрохотали по лѣсу.

Петя не слыхалъ, что̀ произошло дальше: какъ только люди пронеслись мимо, онъ бросился бѣжать въ другую сторону, и бѣжалъ до тѣхъ поръ, пока земля не оборвалась подъ ногами и онъ не покатился въ оврагъ. Земля была такъ рыхла и смочена дождемъ, что онъ нимало не ушибся, хотя оврагъ былъ очень глубокъ и самъ онъ долго катился. Оправившись отъ испуга, онъ всталъ на ноги и оглянулся вокругъ. Голоса совсѣмъ пропали; вверху небо было такъ же почти черно, какъ верхушки деревъ, обступавшихъ окраины пропасти. На днѣ оврага, въ вязкой глинѣ, кой-гдѣ усѣянной камнями, журчалъ ручей. Петя опустилъ руку въ ручей: въ какую сторону бѣжала вода? Вода все куда-нибудь да приведетъ, говорили ему; а онъ усталъ и проголодался, и ему очень хотѣлось придти куда-нибудь поскорѣе. Петя присѣлъ, перевелъ духъ, перекрестился и снова отправился въ путь...

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

I.

Бродяга.

Петя боялся провести ночь въ оврагѣ: страшно было ему находиться въ этой мрачной глубинѣ, окруженной глухимъ лѣсомъ. Спотыкаясь о камни, завязая въ тинѣ и поминутно перескакивая ручей, изгибавшійся по дну оврага, онъ спѣшилъ выбраться на просторъ. Тамъ, все равно, была такая же ночь, но чувствовалось ему, что тамъ, на просторѣ, все-таки легче и какъ-то отраднѣе сердцу. Петя шелъ, шелъ, а оврагъ не кончался; онъ тянулся такъ же долго, какъ лѣсъ, куда наканунѣ забрался мальчикъ.

Начинало свѣтать, когда Петя замѣтилъ, что края пропасти стали понижаться; вмѣстѣ съ этимъ, рѣдѣлъ лѣсъ, ее обступавшій, и деревья дѣлались мельче. Ноги мальчика подламывались отъ усталости; онѣ были до крови изсѣчены камнями. Онъ ускорилъ, однакожъ, шагъ, думая теперь о томъ только, какъ бы скорѣе добраться до какой-нибудь деревушки: голодъ томилъ его. Послѣ трехъ-четырехъ поворотовъ, неожиданно открылась передъ нимъ луговина, освѣщенная косымъ лучомъ восходящаго солнца. Мальчикъ очутился посреди лѣсистой, широкой долины; слѣва дѣлала она крутой поворотъ и заслонялась скатомъ, справа убѣгала мелкими извилинами въ неоглядную даль, наполненную утреннимъ туманомъ и сизыми тѣнями, которыя бросали облака. Въ небѣ мѣстами проглядывали свѣтлыя лазоревыя пятна; солнечные лучи весело озаряли тотъ или другой бокъ долины... Но это продолжалось мгновенье: набѣгала туча и начиналъ сѣяться мелкій

дождь, между тѣмъ какъ въ другомъ концѣ долины, гдѣ за минуту стояла сизая тѣнь, все разомъ обнималось солнцемъ и оживлялось радугой; словомъ, была погода, о которой говорятъ въ простонародьѣ *мать ссорится съ дочкой:* то солнышко проглянетъ, то дождикъ засѣется.

Трава такъ была высока, а Петя такъ былъ малъ ростомъ, что онъ замѣтилъ рѣчку не прежде, какъ когда приблизился къ ея берегу. Онъ бросилъ въ воду сухую вѣтку и пошелъ по теченію. Рѣчка эта привела ему на память другую рѣчку, чрезъ которую проходилъ онъ съ нищими въ то утро, когда оставили они больного Мишу. Сколько прошло послѣ того времени! Гдѣ теперь Миша? онъ уже давно-давно лежитъ въ землѣ... „Коли умираютъ хорошія, смирныя дѣти, они превращаются въ ангеловъ и живутъ съ Богомъ, гдѣ имъ и хорошо жить, и весело“, часто говорила Петѣ Катерина.

„Мишѣ лучше, стало-быть, моего теперь; по крайности, онъ не голодаетъ, а мнѣ ѣсть хочется до самой до смерти!“ подумалъ Петя, утирая слезы, которыя поминутно заслоняли передъ нимъ дальнюю мѣстность, куда жадно устремлялись глаза его, въ надеждѣ увидѣть деревушку.

Петя зналъ, очень хорошо зналъ, что не было при немъ куска хлѣба; при всемъ томъ, каждые десять шаговъ онъ останавливался и торопливо обшаривалъ себя кругомъ... нѣтъ, не отыскивалось ни малѣйшей крошечки!

Пѣтушій крикъ, раздавшійся за дальнимъ откосомъ, быстро осушилъ его слезы. Собравъ остатокъ силъ, рванулся онъ въ ту сторону и, безъ сомнѣнія, припустилъ бы даже въ бѣжки, если бъ не мѣшала высокая трава, путавшаяся между ногами и обдававшая его съ пояса до пятокъ дождевыми каплями. Обогнувъ откосъ, Петя увидѣлъ деревню. Долина въ этомъ мѣстѣ широко расходилась; въ одномъ изъ ея углубленій располагалась деревня; она смотрѣла на долину задами. Прежде всего Петя прошелъ мимо огорода; за огородомъ шла дорога, которая вела на улицу мимо крестьянскихъ ригъ и сараевъ.

Миновавъ огородъ, Петя не посмѣлъ идти далѣе: посреди самой дороги сидѣли двѣ огромныя собаки съ красными, высунутыми языками. Икры бѣднаго мальчика слишкомъ хорошо знали, какъ больно кусаются деревенскіе псы, которыхъ обыкновенно никогда не кормятъ, а такъ пускаютъ, на авось: живетъ—хорошо, издохла съ голоду—и того лучше: шкуру можно продать кошатнику; къ тому

же Петя былъ беззащитенъ... Онъ рѣшился подождать, пока не уйдутъ собаки; но собаки не уходили; онѣ точно приставлены были сторожить у входа въ деревню. Наконецъ, одна изъ нихъ подняла голову, насторожила уши и тявкнула; другая тотчасъ же стрѣлою полетѣла къ огороду; первая, распустивъ хвостъ, пустилась за нею. Еще минута — и Петя получилъ бы новое и совершенно лишнее доказательство, какъ злы и голодны деревенскія собаки; но этой минуты довольно было ему, чтобъ скакнуть черезъ дорогу, схватиться руками за плетневую стѣну ближайшаго сарая и проворно вскарабкаться на крышу. Но тутъ послѣдовало съ нимъ другое несчастіе: едва сталъ онъ на крышу, солома быстро ушла подъ его ногами; ухватиться было не за что̀; онъ провалился во внутренность сарая и чуть не упалъ на голову какому-то мужику, обметавшему токъ.

Лицо мужика, съ большими глазами навыкатѣ, какъ у рака, постоянно сохраняло выраженіе тупого удивленія: можно судить, что̀ изобразилось на немъ, когда чуть не на голову свалился ему мальчикъ! Въ первую минуту ему представилось, что это былъ чортъ. Петя дѣйствительно хоть кому могъ показаться теперь чертенкомъ: лицо его исчезало подъ слоемъ глины и грязи; волосы торчали во всѣ стороны; одежда, руки и ноги были одного цвѣта съ лицомъ; ротъ, раскрывшійся отъ испуга, поднятыя руки и вся фигура его, въ высшей степени озадаченная и какъ бы потерянная, сильно напугала мужика, который, бросивъ метлу свою, жался въ уголъ и крестился. Яростный лай собакъ и царапанье лапами по плетню навели его, однакожъ, на истину. Онъ метнулся со всѣхъ ногъ и схватилъ метлу.

— Ахъ ты окаянный!.. я ти дамъ баловать! Экъ ихъ, озорники, повадились! воскликнулъ онъ, подходя къ Петѣ.

— Я невзначай, дядюшка, ей-Богу невзначай! торопливо заговорилъ Петя,—шелъ мимо, собаки бросились... добрѐ ужъ очень испужался... Я, дядя... я починю крышу-то... ей-Богу починю!..

— Э! да это не нашъ! произнесъ мужикъ, останавливаясь и до того выкатывая глаза, что Петѣ пришла теперь очередь испугаться.

— Нѣтъ, дядюшка, я не здѣшній... я издалече... второй день иду... проговорилъ мальчикъ.

— Да ты отколѣ?

Такой вопросъ поставилъ Петю въ сильное затрудненіе: откуда онъ—онъ самъ не зналъ этого.

— Я съ нищими ходилъ, спохватился онъ,—у нищихъ вожакомъ былъ... да ушелъ отъ нихъ... Они, дядюшка, хотѣли мнѣ глаза выжечь...

— О! э!.. да ты бродяга?

— Нѣтъ, дядюшка, право нѣтъ! воскликнулъ мальчикъ, неоднократно слышавшій, что бродягъ ловятъ и сажаютъ въ острогъ,—они меня, дядюшка, силой у отца отняли... у меня и мать есть, и братья...

— Такъ что жъ ты къ нимъ не шелъ?

— Радъ бы пойти... да куда я пойду? я дороги не знаю...

— А къ намъ небось нашелъ дорогу-то—а? Ну, нѣтъ, братъ, ты что-то бабушку-рѣпку путаешь! произнесъ мужикъ, какъ бы удивляясь на этотъ разъ своей находчивости.

— Нѣтъ, дядюшка, ей-Богу всю правду сказалъ... вели какъ хочешь побожиться... дай только вздохнуть маленько... кусочекъ хлѣбца дай... я тебѣ все разскажу... все, дядюшка... взмилуйся только... всю ночь шелъ, не ѣлъ ничего... добрè... добрè...

Рыданія прервали голосъ его; онъ поднялъ умоляющіе глаза на хозяина риги и увидѣлъ еще другого мужика, входившаго въ ворота. Насколько мужикъ съ выскакивающими глазами былъ преисполненъ тупого удивленія и безтолковой суетливости, настолько вошедшій казался сонливымъ, вялымъ и апатичнымъ. Владѣтель риги мигомъ разсказалъ ему обо всемъ случившемся.

— Знамо, бродяга! произнесъ мужикъ, не взглянувъ даже на мальчика.

— Э! молодецъ! да ужъ ты не воровать ли ко мнѣ залѣзъ?.. произнесъ удивленный владѣлецъ риги.

— Дядюшка, какъ передъ Господомъ Богомъ... сейчасъ помереть!.. Я тебѣ сказывалъ: собакъ испужался! отчаянно воскликнулъ Петя.

— Да что̀ съ нимъ разговаривать-то? сонливо проговорилъ вновь вошедшій,—веди его къ старостѣ. Пожалуй еще прибьетъ, коли узнаетъ, скажетъ: зачѣмъ не словили! ихъ ловить велѣно...

— Ну, пойдемъ...

— Дѣдушка, Христа-ради... помилуй меня! Я уйду... право уйду... пусти меня; я ничего худого не сдѣлалъ...

я невзначай зашелъ... помилуй, дядюшка!.. кричалъ Петя, бросаясь въ ноги то одному мужику, то другому.

— Ладно, ладно; пойдемъ-ка; тамъ все разскажешь... Вставай... Да чего ты? о чемъ плачешь-то? рази что̀ худое сдѣлалъ? Тебѣ ничего не будетъ, только спросятъ. Сватъ Стегнѣй, хватай его, мотри крѣпче держи: извернется, уйдетъ!..

— Небось, вишь онъ махочкой какой... одинъ и то справишься, промолвилъ Стегнѣй, почесывая затылокъ.

Мольбы Пети ни къ чему не послужили. Если бъ мужикъ съ удивленнымъ лицомъ и безтолковою суетливостью дѣйствовалъ изъ страха къ старостѣ, или изъ уваженія къ долгу, онъ, весьма вѣроятно, далъ бы мальчику подзатыльника и отпустилъ бы его; но онъ былъ любобытенъ: ему вдругъ захотѣлось узнать, что̀ станетъ говорить мальчикъ, когда староста постращаетъ его, и какъ потомъ староста будетъ производить допросъ? Не взирая на просьбы ребенка, онъ крѣпко взялъ его за руку и повелъ изъ риги по узенькой тропинкѣ, протоптанной въ высокомъ коноплянникѣ.

Они вошли въ проулокъ, а оттуда на небольшую, тѣсную улицу. По той сторонѣ улицы, прямо противъ переулка, красовалась рѣшетка съ выглядывавшими надъ нею акаціями и маленькимъ барскимъ домомъ; закрытыя ставни и безпорядокъ садика показывали, что хозяева не жили здѣсь, или находились въ отсутствіи. У воротъ, на скамейкѣ, сидѣлъ бѣлокурый человѣкъ; онъ былъ босикомъ и съ прорванными локтями; но бритая, недѣли двѣ назадъ, борода и нанковые шаровары сразу обличали въ немъ двороваго; онъ, должно-быть, только-что поѣлъ рѣдьки и луку; на лицѣ его безпрестанно являлось выраженіе горькаго вкуса, и онъ каждый разъ прикладывалъ ладонь ко рту. Мужикъ, державшій Петю, прямо пошелъ къ нему и спросилъ, гдѣ староста. Онъ въ короткихъ словахъ разсказалъ дворовому исторію мальчика и снова поспѣшилъ освѣдомиться о старостѣ. Въ отвѣтъ на это дворовый громко засмѣялся.

— Чего ты, Яковъ Васильичъ?.. спросилъ мужикъ.

— Поди-ка, поди-ка къ старостѣ-то... онъ ти дастъ!..

— А что̀?

— А то же, шею накостыляетъ—вотъ что!

И Яковъ Васильевичъ, воображеніе котораго мигомъ

нарисовало сцену, какъ староста костыляетъ мужичью шею, снова засмѣялся.

— Да за что̀ жъ? спросилъ мужикъ, распяливая глаза.

— Зачѣмъ привелъ мальчика-то—а? вымолвилъ Яковъ Васильевичъ, перемѣняя тонъ, — чѣмъ бы прогнать его скорѣй съ нашей земли, а ты обрадовался, взялъ да привелъ. Ахъ ты шушера, умная голова!

— Да какъ же? вѣдь велѣно...

— Что̀ велѣно-то—а? что̀ велѣно? Велѣно бродягъ ловить—такъ, проговорилъ Яковъ Васильевичъ, прикладывая ладонь къ губамъ, при чемъ выраженіе горькаго вкуса снова скривило лицо его, — ну, хорошо; поймалъ бродягу на своей землѣ, значитъ, вести надо къ становому на фатеру; значитъ, разспросы пойдутъ, допросы; значитъ, расходоваться надо — вотъ что̀ ты надѣлалъ теперича. Ну, ступай къ старостѣ, ступай... онъ ти спасибо скажетъ, ступай!..

Мужикъ быстро выпустилъ Петю, который ничего не понималъ изъ того, что̀ говорилось. Несмотря на голодъ, онъ думалъ, какъ бы поскорѣе убѣжать изъ деревни.

— Ступай, ступай... скорѣй... вотъ я ти! у! у-у!.. вскричалъ вдругъ мужикъ, напускаясь на мальчика; но Яковъ Васильевичъ остановилъ его.

Онъ снова приложилъ руку къ губамъ, но, вмѣсто обычнаго выраженія горечи, лицо его оживилось вдругъ необыкновенною веселостью.

— Погоди, сказалъ онъ,—постой! Знаешь, Ѳедулъ, пошлемъ его къ Лыскову...

Не дожидаясь возраженія, Яковъ Васильевичъ подозвалъ Петю и, едва сдерживая смѣхъ, сказалъ ему:

— Слышь, мальчикъ, вишь вонъ крайнюю избу? Ступай туда; собакъ нѣтъ; небось, не укусятъ; повернешь за уголъ, увидишь направо барскій домъ... крыльцо такое будетъ. Баринъ тебѣ всего дастъ, знатно накормитъ. Смотри, не сказывай: мы-де послали, скажи: самъ, молъ, пришелъ; скажешь: мы послали — мы тогда оба, какъ ты пойдешь изъ деревни, то оба такъ-то тебя высѣчемъ, и-и... больно высѣчемъ!.. Ну, пошелъ скорѣй... ступай!..

Тутъ ужъ Яковъ Васильевичъ не могъ долѣе владѣть собою и, не давъ Петѣ отойти десяти шаговъ, залился веселымъ смѣхомъ.

— Смотри, Яковъ Васильичъ, сказалъ мужикъ, оправляясь отъ смущенія,—провѣдаетъ Лысковъ, добрѐ осерчаетъ.

— Вотъ! что за важность! пускай серчаетъ! возразилъ Яковъ Васильевичъ, и когда воображеніе нарисовало ему, какъ серчаетъ Лысковъ, онъ снова засмѣялся.—Подѣломъ ему, подхватилъ онъ, — помнишь, лѣтось, напалъ онъ на своей землѣ на пьянаго мужика; покажись ему мужикъ-то померъ; онъ возьми, да на нашу землю скорѣй и снесъ его. „Нате, молъ, вамъ, отдѣлывайтесь, какъ знаете!“ Ладно! А мы теперь ему бродягу всучили—пускай возится съ нимъ да везетъ къ становому!.. Экъ, братъ, Ѳедулъ, что̀ ты сдуру-то надѣлалъ!.. А вѣдь надо бы, по-настоящему, съ тебя на табакъ... право, надо бъ.

Во время этого разговора Петя успѣлъ повернуть за уголъ. Ему во всякомъ случаѣ нельзя было миновать этой второй улицы, чтобъ выбраться изъ деревни. Улица такая же была маленькая, какъ первая; разница заключалась въ томъ, что посреди ея, ни къ селу, ни къ городу, возвышалось какое-то неуклюжее зданіе—не то сарай, не то кухня, не то простая изба; передъ зданіемъ находился барскій домикъ, о которомъ говорили ему; позади зданія, саженяхъ въ двухъ, красовался другой очень чистенькій барскій домикъ. Деревушка принадлежала тремъ владѣльцамъ: помѣщику Бабакину, помѣщику Лыскову и дѣвицѣ Тютюевой. Бабакинъ никогда не жилъ въ деревнѣ; Лысковъ и дѣвица Тютюева проживали здѣсь безвыѣздно и считались въ околоткѣ непримиримѣйшими врагами. Дѣвица Тютюева отличалась сентиментальностью, свойственною ея полу въ извѣстномъ періодѣ жизни: она любила сидѣть вечеркомъ у окна и смотрѣть, какъ возвращаются барашки съ поля; этого было довольно, чтобъ Лысковъ, которому, какъ нарочно, принадлежала земля передъ окнами Тютюевой, поспѣшилъ заслонить ей улицу вышепомянутымъ зданіемъ... Но всего не перескажешь. Вниманіе Пети приковано было домикомъ, глядѣвшимъ на улицу. На крыльцѣ сидѣлъ среднихъ лѣтъ господинъ съ черномазой физіономіей, хотя безъ особеннаго выраженія. Онъ былъ въ халатѣ, пилъ чай и курилъ трубку. За спиною его стоялъ лакей съ прищуренными глазами и оплывшимъ, жестоко скучающимъ лицомъ.

— Что̀ это за мальчишка? Эй, мальчикъ! мальчикъ! крикнулъ господинъ въ халатѣ (который былъ не кто другой, какъ помѣщикъ Лысковъ),—эй, мальчикъ... Митька! (тутъ обратился онъ къ лакею, стоявшему за спиною),— Митька, что̀ это за мальчикъ? — а? Поди сюда, маль-

чикъ!.. Митька! (онъ снова обратился къ лакею),—Митька! зови его...

— Эй ты! ступай сюда... неохотно заголосилъ Митька, высовываясь впередъ.

Петя взглянулъ на длинныя ноги лакея и понялъ, что бѣгство невозможно. Онъ робко подошелъ къ крыльцу. За исключеніемъ случая, когда онъ встрѣтилъ на паромѣ Бѣлицыныхъ, ему никогда не приводилось разговаривать съ господами: онъ сильно оторопѣлъ.

— Ты чей? спросилъ Лысковъ, прихлебывая чай,—что̀ на меня такъ глаза-то выпучилъ—а?.. Митька, что̀ онъ на меня глаза таращитъ—а? Ты, можетъ, на хлѣбъ смотришь—а? обратился онъ снова къ мальчику,—тебѣ бѣлаго хлѣбца захотѣлось?.. Ну, на̀, на̀! заключилъ Лысковъ, бросая ломоть.

При этомъ Петя забылъ страхъ; онъ съ жадностью схватилъ ломоть и принялся ѣсть. Лысковъ, котораго, по-видимому, забавляло обжорство мальчишки, бросилъ ему второй ломоть.

— Митька! сказалъ онъ,—трубку!

— Да полно вамъ, сударь, курить-то; вы и то все безперечь!.. Только встали, а ужъ пятую, никакъ, выкуриваете...

— А что̀, табакъ весь? съ безпокойствомъ спросилъ Лысковъ.

— Табаку много; я такъ говорю: много оченно курите—не годится! проговорилъ Митька.

— Не разговаривай, не терплю! ступай! крикнулъ Лысковъ.

Митька неохотно принялъ чубукъ съ наконечникомъ изъ краснаго сургуча и, бормоча что-то подъ носъ, удалился. Помѣщикъ, между тѣмъ, видя, что Петя съѣлъ второй ломоть, подалъ ему третій, за который мальчикъ такъ же охотно принялся, какъ за первый. Полминуты спустя, явился Митька, сильно потягивая изъ чубука и безпечно пуская струи дыма во всѣ стороны.

— Вотъ, сударь, вы тутъ потѣшаетесь, вымолвилъ онъ, подавая Лыскову почти выкуренную трубку,—хлѣбомъ еще кормите его... вы бы лучше спросили, откуда; можетъ, бродяга какой-нибудь...

— Какъ бродяга?..

— А какіе обыкновенно бываютъ, что безъ пачпорта шляются...

— Ты откуда?.. откуда ты?.. Митька, спроси его, откуда онъ, заговорилъ Лысковъ, обнаруживая вдругъ суетливость.

— Что жъ ты молчишь? Слышь, баринъ спрашиваетъ, откуда? крикнулъ Митька.

— Я не знаю... пролепеталъ испуганный мальчикъ.

— Куда ты идешь — а? куда? крикнулъ, въ свою очередь, Лысковъ.

— Не знаю, сказалъ Петя, думая уже броситься въ ноги и просить пощады.

— Вотъ то-то же и есть, сударь! произнесъ Митька съ замѣтнымъ самодовольствіемъ, — а еще хлѣбомъ кормить изволили!.. Вотъ теперича извольте хлопотать, извольте вести его къ становому: ихъ вѣдь представлять велѣно...

— Ступай! пошелъ скорѣе, пошелъ! пошелъ!.. заголосилъ сильно оторопѣвшій помѣщикъ, — скорѣй пошелъ!.. Митька, гони его!.. Или нѣтъ, стой! подхватилъ онъ, неожиданно оправляясь и даже проявляя на быстромъ лицѣ своемъ признаки непомѣрнаго удовольствія и веселости, — мальчикъ, поди сюда, скорѣй ступай ко мнѣ... сюда!

— Полноте, сударь; гоните его взашеи!

— Нѣтъ, нѣтъ... Мальчикъ, сюда!... Митька, знаешь что̀? выкипуть надо штуку Тютюевой... ха, ха, ха!... Она вчера еще напустила индѣекъ въ мой садъ; третьягодня поймали ея лошадей на моей ржи... подѣломъ ей, пускай напляшется...

— Что жъ? это можно! проговорилъ Митька, которому также, видно, улыбнулась мысль выкинуть штуку Тютюевой.

Въ радости своей Лысковъ не дождался, пока подойдетъ мальчикъ. Торопливо запахивая халатъ, онъ сбѣжалъ съ крыльца и, оглядываясь на стороны, проговорилъ скороговоркою:

— Ступай, мальчикъ, скорѣй вонъ туда, вишь (Лысковъ указалъ на домъ Тютюевой), обойди кругомъ вотъ эту избу — сейчасъ садъ будетъ, рѣшетка; прійдешь къ калиткѣ... живетъ тутъ помѣщица, добрая такая, она тебѣ всего дастъ... всего... Да вотъ что̀ (тутъ лицо Лыскова приняло умышленно грозный видъ), — если скажешь, я прислалъ — бѣда будетъ!.. Скажешь или нѣтъ — а?

— Нѣтъ, проговорилъ Петя, едва сдерживая слезы.

— Смотри же: бѣда будетъ! засѣку тебя! Ну, ступай... ступай! заключилъ Лысковъ, поворачивая мальчика на дорогу и быстро направясь къ крыльцу, гдѣ ожидалъ его Митька съ новой трубкой.

Петѣ смерть хотѣлось убѣжать скорѣй изъ деревни; онъ бы, можетъ, и сдѣлалъ это, но, обернувшись, увидѣлъ, что помѣщикъ и лакей наблюдали за нимъ: оба махали руками, давая знать, чтобъ онъ шелъ по указанному пути.

Какъ уже сказано, домикъ Тютюевой почти примыкалъ переднимъ своимъ фасомъ къ зданію, воздвигнутому Лысковымъ. Съ тѣхъ поръ, какъ Лысковъ загородилъ любимыя окна помѣщицы, она перенесла свое мѣстопребываніе на другой фасъ дома, глядѣвшій окнами въ садъ. Петя миновалъ зданіе Лыскова, миновалъ домъ и очутился противъ рѣшетки, за которой располагался садикъ, разбитый весь на маленькія клумбы; садъ замыкался маленькимъ, но очень чистенькимъ домикомъ; ставни и родъ галлерейки со столбиками и тремя ступеньками для схода въ садъ были выкрашены краской. Все это, и домикъ, и галлерея, и клумбы, и ставни, и столбики, отличалось такими малыми размѣрами, что, казалось, сооружено было для дѣтской потѣхи. Дѣло въ томъ, что сорокалѣтняя дѣвица, Ольга Ивановна Тютюева, любила, чтобъ у ней все было маленькое; она жила совершенно одинокою; сверхъ того, сама она была такая маленькая, что по субботамъ мылась въ корытѣ и свободно въ немъ умѣщалась. Немного погодя, она вышла на галлерею съ крошечной зеленой лейкой въ рукѣ. Петя принялъ-было ее сначала за дѣвочку и только, когда взглянулъ на лицо ея, похожее на печеное яблоко, понялъ, что это была пожилая уже барыня. На этомъ печеномъ яблокѣ умѣщался, впрочемъ, такой избытокъ добродушія, котораго стало бы на десять лицъ, шириною въ арбузъ. Петя поклонился. Барыня не замѣтила его и принялась поливать цвѣты. Петя снова поклонился. Наконецъ она подняла голову.

— Что ты, мой миленькій — а? ласково сказала она, поглядывая маленькими своими глазками на мальчика,— опять видно за яблочкомъ — а?.. Нѣтъ, яблочки теперь зелены; ѣсть не годится: брюшко заболитъ.

Говоря такимъ образомъ, Ольга Ивановна поставила лейку и подошла къ ребенку, который съ перваго взгляда понравился ей, потому, можетъ-быть, что самъ былъ малъ и миніатюренъ.

— А, да это не нашъ! произнесла она, оглядывая Петю съ ногъ до головы.—Экой ты, мальчикъ, чумазый какой, немытый... Ты развѣ не здѣшній?

Доброе лицо барыни, а пуще всего ея ласковое обра-

щеніе и голосъ обнадежили Петю; но надежда эта, вмѣсто того, чтобъ сдѣлать его добрымъ, веселымъ и смѣлымъ, произвела совершенно другое дѣйствіе. Онъ вдругъ горько заплакалъ.

— Ахъ, Боже мой!.. ахъ, что съ тобою? что̀ это? о чемъ ты? заговорила Ольга Ивановна, поспѣшно отворяя калитку сада. — Поди сюда, мальчикъ. Не бойся, батюшка, не бойся... что ты? Тебя, вѣрно, прибилъ кто-нибудь?.. Откуда ты? добавила она, вводя мальчика въ садъ.

— Я не здѣшній... проговорилъ Петя, рыдая.

— Откуда же ты? спросила Ольга Ивановна, стараясь обласкать его.

— Я былъ у нищихъ, началъ Петя, горько всхлипывая,—силой у отца отняли... больно били меня... хотѣли глаза выколоть... Я убѣжалъ... убѣжалъ, да не знаю, куда идти къ матери... дороги не знаю!..

— Ахъ, Боже мой!.. ахъ, бѣдняжечка! Какъ же это такъ?.. Не плачь, батюшка... перестань; можетъ-быть, мы отыщемъ, и мать, и отца. Ахъ, бѣдненькій!.. Авдотьюшка! Авдотьюшка! закричала вдругъ помѣщица, обращаясь къ галлереѣ.

Въ дверяхъ, подъ навѣсомъ галлереи, показалась женщина, повязанная по-бабьему и сильно хромавшая на лѣвую ногу; это не помѣшало ей, однакожъ, скоро спуститься съ лѣсенки и подойти къ барынѣ. Ольга Ивановна передала ей отъ слова до слова все, что̀ говорилъ мальчикъ.

— Пожалуйста, Авдотьюшка, примолвила она, между тѣмъ, какъ баба пожимала губами и качала головою,— пожалуйста, веди его скорѣй къ себѣ на кухню и прежде всего обмой хорошенько... Можешь даже взять корыто, въ которомъ я обыкновенно моюсь по субботамъ. Потомъ надо будетъ накормить его, одѣть... видишь, на немъ одни лохмотья... Впрочемъ, за этимъ я ужъ присмотрю; ты поди сначала обмой его... Ступай, голубчикъ, съ нею, не бойся, поди, довершила Ольга Ивановна, поспѣшно направляясь въ домъ, тогда какъ Авдотья повела мальчика въ кухню.

Ольгѣ Ивановнѣ не трудно было найти въ одномъ изъ сундуковъ своихъ свертокъ холста (она была вообще запаслива); еще легче было ей скроить для мальчика рубашонку и штанишки; она имѣла къ этому дѣлу большой навыкъ, потому что держалась обыкновенія обшивать съ

головы до ногъ своихъ деревенскихъ крестниковъ, которыхъ было великое множество, что̀ доставляло Лыскову новый неисчерпаемый источникъ для насмѣшекъ; но дѣвица Тютюева не обращала на это вниманія. Отдавъ скроенные куски дѣвкѣ Палашкѣ и приказавъ приняться за шитье какъ можно скорѣе, Ольга Ивановна подошла къ кухонной двери; она не посмѣла отворить дверь, боясь увидѣть мальчика, стоящаго совершенно голымъ въ корытѣ. Спросивъ, скоро ли кончится *маскарадъ* и получивъ утвердительный отвѣтъ, она велѣла хорошенько накормить мальчика и привести его къ себѣ. Послѣ этого Ольга Ивановна замѣтно успокоилась, возвратилась въ садикъ и снова принялась за поливку цвѣтовъ. Такъ провела она четверть часа. Ольга Ивановна думала уже пойти въ домъ и спросить о мальчикѣ; съ этимъ намѣреніемъ поставила она на̀-земь крошечную свою лейку, какъ вдругъ передъ калиткой явилась долговязая плѣшивая фигура съ крупными губами и сумрачнымъ носомъ, выпачканнымъ табакомъ.

— А! Никитушка!.. чего тебѣ? спросила Ольга Ивановна, нѣсколько удивленная появленіемъ своего управителя въ такую пору.

На привѣтствіе госпожи Никитушка фыркнулъ носомъ и съ видомъ крайне-недовольнымъ и озабоченнымъ вошелъ въ садикъ.

— Помилуйте, Ольга Ивановна, что̀ это вы, сударыня, дѣлать изволите? Это, выходитъ, сударыня, то-есть, никакъ невозможно... никакимъ, то-есть, манеромъ нельзя...

— Что ты, Никитушка? произнесла помѣщица, знавшая очень хорошо, что нахмуренныя брови и воркотня Никитича были такъ же безвредны для крестьянъ ея, какъ табакъ для его носа.

— А что же, сударыня, подхватилъ управитель, выставляя впередъ, для лучшаго поясненія, исполинскій большой палецъ лѣвой руки, на ноготь котораго сыпалъ онъ всегда табакъ, прежде чѣмъ поднести его къ носу,— что же! Былъ я сейчасъ на кухнѣ... кого изволили вы къ себѣ принять?..

— Мальчикъ... начала-было Тютюева, но Никитичъ перебилъ ее.

— Мальчикъ ли, дѣвочка ли — все единственно, сударыня; главная статья: изволили пустить къ себѣ бродягу.

— Какъ, Никитушка?..

И Ольга Ивановна принялась разсказывать исторію мальчика; но управитель выставилъ опять палецъ и снова перебилъ ее:

— Бродяга, сударыня, больше ничего! Сейчасъ спрашивалъ его: путается во всѣхъ отвѣтахъ и ничего не сказываетъ. А вы изволили къ себѣ пустить! Что съ нимъ теперь дѣлать? Одно: къ становому везти надо. Шутка дѣло: двѣнадцать верстъ, сударыня; лошади всѣ въ полѣ; время самое рабочее... потомъ на поруки прійдется брать; своихъ ребятъ дѣвать некуда... Хлопотъ-то какихъ надѣлали... Эхъ, сударыня!..

Во время этого монолога, доброе лицо помѣщицы, и безъ того уже похожее нѣсколько на печеное яблоко, какъ будто перепеклось окончательно. Никитичъ не на шутку перепугалъ ее; она рѣшительно не знала, что дѣлать. Въ эту самую минуту на галлереѣ показались Авдотья и Петя. Баба не только вымыла его, но даже и причесала. Миловидное личико мальчика сначала какъ будто удивило помѣщицу, потомъ замѣтно, казалось, ее успокоило.

— Поди сюда, мой миленькій, сказала она съ обычнымъ своимъ добродушіемъ, — какъ же ты ничего не сказалъ мнѣ, откуда ты? Говоришь: есть у тебя отецъ, мать, а вмѣсто того ты... это не хорошо. Я тебя такъ обласкала... велѣла обмыть, хотѣла тебѣ подарить рубашку... Это очень нехорошо!..

Петя поднялъ глаза на помѣщицу, потомъ на управителя и снова потупилъ ихъ въ землю.

— Вотъ тоже и мнѣ, сударыня, ничего путнаго не сказываетъ, сумрачно вымолвилъ Никитичъ.—Начнешь дѣло спрашивать, посмотритъ, такъ-то потомъ упрется въ землю и молчитъ... Напрасно, сударыня, изволили только пустить его. Ничего онъ не стоитъ, этихъ вашихъ милостей. Прогоните его, сударыня; право, прогоните поскорѣе.

— Нѣтъ... всю правду... скажу... *вамъ* я все скажу! вскричалъ вдругъ Петя, снова залившись слезами. — Я оченно боялся... они сказывать не велѣли... высѣчь... высѣчь хотятъ!..

— Кто они? спросили въ одинъ голосъ барыня, Никитичъ и Авдотья.

— Тутъ вотъ баринъ такой... онъ послалъ меня сюда... сказывать не велѣлъ, подхватилъ Петя, указывая рукою по направленію къ дому Лыскова.

— Такъ и есть, сударыня! ихъ дѣло: они его подослали! воскликнулъ Никитичъ, оживляясь при этомъ извѣстіи до послѣдняго суставчика.—Постой, братъ, гдѣ же они тебя нашли? подхватилъ онъ, выставляя свой палецъ, который раздѣлялъ, казалось, волненіе самого Никитича и двигался самъ собою, какъ огромная пружина,— откуда ты къ нимъ-то зашелъ, а? Надо, сударыня... тутъ онъ обратился къ помѣщицѣ,—надо повести дѣло мимо Лыскова. Плюньте на нихъ, сударыня! Надо, примѣрно, обойти ихъ... лучше будетъ.

— Да, лучше если бъ не связываться!.. проговорила взволнованная Ольга Ивановна.—Скажи мнѣ, мой милый, не бойся, тебя никто здѣсь не тронетъ — скажи, откуда ты къ нимъ пришелъ?

— А вотъ оттуда... сказалъ мальчикъ, указывая на конецъ деревни.

— Земля Бабакина! произнесъ Никитичъ съ нѣкоторою торжественностью.

— Бабакинская! подтвердила Авдотья.

— Что жъ? тамъ тебя и нашелъ этотъ баринъ-то, а? спросилъ Никитичъ.

— Нѣтъ, возразилъ нѣсколько успокоенный Петя, — я собакъ запужался, въ ригу попалъ къ мужику, вонъ тамъ... съ краю... у огорода первая... Онъ взялъ да привелъ меня въ деревню; къ старостѣ вести хотѣлъ... да другой не пустилъ... они меня къ барину-то послали... а баринъ сюда.

— Позвольте, сударыня, не извольте ничего... то-есть, примѣрно, никакихъ, то-есть, сумлѣній. Я сейчасъ все дѣло развѣдаю, суетливо говорилъ управитель и поспѣшно заковылялъ вонъ изъ сада.

Полчаса спустя—время, которое употреблено было Ольгой Ивановной, чтобъ окончательно обнадежить и успокоить мальчика—Авдотья доложила, что Никитичъ ждетъ въ саду съ бабакинскимъ старостой. Ольга Ивановна велѣла Петѣ слѣдовать за собою и поспѣшила выйти. Никитичъ обо всемъ развѣдалъ. Прежде всего онъ бросился въ ригу, указанную мальчикомъ, и такъ напугалъ мужика, что тотъ тотчасъ же во всемъ признался; потомъ Никитичъ пустился къ старостѣ. Староста, узнавшій обо всемъ случившемся черезъ бабу, которая, въ свою очередь, провѣдала о бродягѣ отъ Якова Васильевича, принялъ сначала Никитича очень грубо и отъ всего отпирался. Ни-

китичъ началъ съ того, что выставилъ на видъ сознаніе мужика, а потомъ сказалъ, что хуже будетъ, хуже затаскаютъ и старосту, и всѣхъ бабакинскихъ мужиковъ, когда барыня подастъ прошеніе въ судъ: бабакинскимъ мужикамъ тогда не отдѣлаться; барина нѣтъ; ихъ просто заѣдятъ тогда; Ольга Ивановна ужъ начала писать прошеніе; всѣ улики налицо: и мальчикъ, и мужикъ, къ которому зашелъ онъ въ ригу. Бабакинскій староста подался на эти послѣдніе резоны; онъ позвалъ удивленнаго Ѳедула, позвалъ Якова Васильевича и сталъ ихъ допрашивать; сначала оба напрямикъ во всемъ отклепались: „и знать не знаемъ, и вѣдать не вѣдаемъ!“ потомъ тутъ же, въ одинъ голосъ, сознались во всемъ. Дѣлать было нечего. Бабакинскій староста пошелъ къ Ольгѣ Ивановнѣ, чтобы взять бродягу и вести его къ становому. При этомъ извѣстіи Петя отчаянно бросился въ ноги доброй барынѣ.

— Нѣтъ, нѣтъ, сказала Ольга Ивановна, обратившись къ бабакинскому старостѣ,— я его не отпущу съ тобою. Скажи человѣку, котораго пошлешь къ становому съ мальчикомъ, чтобъ онъ лучше за нимъ сюда заѣхалъ. Я вамъ обоимъ дамъ за это на калачи. Поди, староста, распорядись такъ, какъ я тебѣ сказала...

Староста сказалъ: „слушаюсь, сейчасъ велю запрягать“ и удалился. Но Петя продолжалъ обнимать ноги доброй барыни и рыдалъ еще громче прежняго. Онъ умолялъ ее совсѣмъ оставить его у себя, говорилъ, что баринъ непремѣнно его высѣчетъ, когда узнаетъ, что онъ разсказалъ обо всемъ; говорилъ, что становой посадитъ его въ острогъ. Ольга Ивановна придумала все, что̀ могла, чтобъ только вразумить какъ-нибудь бѣднаго мальчика; онъ оставался неутѣшенъ. Наконецъ, она обратилась къ Никитичу, который стоялъ въ десяти шагахъ и не переставалъ обнюхивать свой большой палецъ, хотя на немъ давно не было ни зернышка табаку. Она спросила, нельзя ли что-нибудь сдѣлать, чтобъ спасти мальчика отъ судьбы, которая ожидаетъ всѣхъ пойманныхъ на дорогѣ безъ паспорта и непомнящихъ родства или прежняго мѣста жительства.

— Да что̀ сдѣлать, сударыня? возразилъ, снова нахмуриваясь, Никитичъ,— одно развѣ: взять его на поруки... Куды намъ его, сударыня? У насъ и своихъ много...

— Ну, это не твое дѣло, Никитичъ! нетерпѣливо про-

говорила помѣщица, выказывая первый разъ такую твердость передъ управителемъ.—Не плачь, мой милый, обратилась она къ Петѣ, который сдѣлался внимательнѣе, хотя продолжалъ плакать,—я возьму тебя на поруки; въ острогъ тебя не посадятъ, не бойся. Пойдемъ со мною, заключила она, уводя его въ домъ.

Она такъ сумѣла обнадежить его и обласкать, что, по прошествіи часа, когда пріѣхала телѣга, назначенная къ становому, Петя не обнаружилъ большого смущенія. Лошадью правилъ знакомый намъ дворовый Яковъ Васильевичъ; ему поручено было везти мальчика. Веселое лицо Якова, а главное слова барыни, которая поручала сказать становому, что беретъ мальчика на поруки, если тотъ захочетъ сажать его въ острогъ, окончательно ободрили Петю. Онъ сѣлъ въ телѣгу, и тогда только, какъ въ послѣдній разъ простился съ доброй барыней, двѣ-три слезы капнули на его рубашонку.

— Ничего, милый, не плачь, лихо покатимъ! произнесъ Яковъ, заламывая назадъ картузъ безъ козырька.—Ну ты, Котёнокъ! фю-и-и! добавилъ онъ, стегнувъ лошадь, которая побѣжала крупною рысью!

Попасть на дорогу къ становому можно было не иначе, какъ проѣхавъ мимо дома помѣщика Лыскова. Но Лыскова не было уже на крылечкѣ: тутъ стоялъ одинъ Митька. Какъ только проѣхала телѣга (Яковъ Васильевичъ на этомъ мѣстѣ съ особеннымъ усердіемъ погналъ лошадь), Митька вошелъ въ прихожую, гдѣ Лысковъ ожидалъ его съ замѣтнымъ нетерпѣніемъ.

— Провезли! сказалъ Митька,—только повезъ зачѣмъ-то бабакинскій Яшка; должно быть, наняла Тютюева-то: свои всѣ въ полѣ.

— Подѣло̀мъ ей! воскликнулъ Лысковъ, быстрое лицо котораго прыгало отъ радости,—подѣломъ: вчера индюковъ въ садъ ко мнѣ напустила; третьяго дня ея лошадей на моемъ полѣ поймали—наша взяла!.. Митька, трубку! заключилъ Лысковъ, запахнулъ халатъ, свистнулъ и закатился смѣхомъ, дребезжащимъ отъ радостнаго чувства, наполнявшаго грудь его.

II.

Новый хозяинъ.

Дворовый Яковъ Васильевъ не сдержалъ своего обѣщанія лихо прокатить Петю: онъ пересталъ стегать лошадь,

какъ только миновалъ домъ помѣщика Лыскова; а проѣхавъ околицу, Яковъ забылъ даже, повидимому, о существованіи маленькаго спутника, прицѣпилъ вожжи къ перекладинѣ телѣги, вынулъ изъ кармана цѣлковый и весь погрузился въ созерцаніе этой монеты, данной ему старостой съ наставленіемъ: „сунь имъ тамъ бѣлякъ-то: дѣло вѣрнѣе будетъ; авось ослобонятъ какъ-нибудь". Наставленіе ли старосты, или видъ цѣлковаго (послѣднее вѣрнѣе) замѣтно пробуждали въ дворовомъ человѣкѣ пріятныя мысли и вмѣстѣ съ тѣмъ какое-то нетерпѣливое чувство; онъ безпрестанно ухмылялся и жадно устремлялъ глаза впередъ по дорогѣ. Наконецъ показалась кровля, а тамъ выступила одинокая изба съ елкой надъ дверью. Подъѣхавъ къ избѣ, Яковъ попросилъ близъ стоявшаго мужика поглядѣть за лошадью и мальчикомъ и торопливо вошелъ въ дверь, осѣненную древесною вѣткой. Минуту погодя, онъ снова явился, держа въ ладони мелочь, которая не имѣла уже свойствъ внушать ему пріятныхъ мыслей: Яковъ поглядѣлъ на нее съ видомъ озабоченнымъ, и указательнымъ пальцемъ лѣвой руки сильно чесалъ переносицу.

— Ты, слышь, малый, коли назадъ пріѣдемъ, не сказывай, что я въ кабакъ ходилъ, произнесъ Яковъ, обратившись къ Петѣ,—заходилъ деньги размѣнять: цѣлковый тяжелъ оченно, того и гляди карманъ прорветъ... потому больше. Смотри же, не сказывай...

— Хорошо, возразилъ Петя, которому въ голову не пришло бы посѣщеніе кабака, если бъ Яковъ не надоумилъ его. Петя, обласканный, обнадеженный доброй барыней, думалъ о томъ только, какъ бы поскорѣе къ ней вернуться; онъ такъ ужъ много слышалъ о становыхъ, что перспектива лично увидѣть становаго нимало его не занимала.

Вино, выпитое Яковомъ, съ тою единственною цѣлью, чтобъ размѣнять цѣлковый, не вызывало на лицѣ его выраженія горькаго вкуса, какъ это было, когда завтракалъ онъ лукомъ и рѣдькой — нѣтъ, вино располагало его къ задумчивымъ улыбкамъ и замѣтно склоняло ко сну. Вскорѣ мальчикъ, порученный дворовому человѣку, могъ бы убѣжать, не встрѣтивъ малѣйшаго сопротивленія со стороны надсмотрщика: Яковъ заснулъ, какъ убитый, на днѣ телѣги; но Петя не убѣжалъ: онъ будилъ Якова всякій разъ, какъ попадалась деревня.

— Оставь... ну!.. не то, бормоталъ Яковъ,—будутъ двѣ бѣлыя церкви—тамъ! заключилъ онъ, тыкаясь лицомъ въ сѣно.

Наконецъ, надъ горизонтомъ мелькнули двѣ бѣлыя церкви. Яковъ долго не вѣрилъ этому. Онъ поднялъ голову, раскрылъ глаза и взялъ вожжи тогда уже, когда телѣга подъѣхала къ огромному селу, раскинутому между красивыми рощами и неоглядными пастбищами. Становой помѣщался по самой серединѣ села; онъ занималъ родъ флигеля, весьма похожаго на домы станціонныхъ смотрителей въ отдаленныхъ губерніяхъ; сбоку прилѣплено было крылечко, устланное соломой. Подлѣ крыльца стояла телѣга съ сидѣвшей въ ней молодой бабой, которая убивалась (плакала), иногда принималась даже кричать голосомъ. Ее всячески усовѣщевалъ и уговаривалъ высокій, молодой мужикъ съ подбитымъ глазомъ.

— Полно, дура, говорилъ онъ,—что̀ ты ревешь?.. Ничего, говорю, не будетъ—ужъ я знаю... Экъ ее... не уймешь никакъ! Слышь, говорятъ, ничего не будетъ! развѣ впервые... Ужъ я знаю!..

Дворовый Яковъ Васильевъ, привязавшій уже лошадь, но остановившійся чтобъ послушать, какъ плачетъ баба, толкнулъ Петю и сказалъ:

— Должно-быть, сѣчь хотятъ... Она и убивается! мужа жалѣетъ... То-то, братъ, ты здѣсь насмотришься! оченно любопытно. Ну, пойдемъ!..

На нижней ступенькѣ крылечка сидѣлъ, пригорюнясь, сѣденькій старичокъ лѣтъ восьмидесяти; подъ ногами его лежалъ коробъ, въ которомъ суздальцы носятъ обыкновенно товаръ свой; на коробѣ пестрѣлъ свертокъ лубочныхъ картинъ, которыя на секунду обратили вниманіе Пети. Яковъ и мальчикъ вошли въ небольшую бревенчатую комнату о двухъ запыленныхъ окнахъ. Тутъ находилось человѣкъ пять мужиковъ, пришедшихъ для прописки, а можетъ быть, присланныхъ господами и для другихъ надобностей; всѣ они тѣснились передъ маленькой дверью, тщательно запертою изнутри. Почти въ одно время съ Яковомъ вошелъ и мужикъ съ подбитымъ глазомъ. Немного погодя, изъ двери выставился письмоводитель становаго, человѣкъ уже почтенныхъ лѣтъ, съ лысой головой, похожей на дыню, обращенную завиткомъ къ публикѣ; завитокъ этотъ былъ его носъ, имѣвшій даже какой-то зеленоватый оттѣнокъ.

— Антонъ Антонычъ... сдѣлайте милость, нельзя ли!.. заговорили въ одинъ голосъ мужики, стоявшіе у двери.

— Ахъ, отстаньте, пожалуйста! говорятъ, некогда; обождать можно... вымолвилъ Антонъ Антоновичъ нетерпѣливо, но безъ всякой злобы.

На дынномъ лицѣ его изобразилось даже удовольствіе, когда онъ взглянулъ на мужика съ подбитымъ глазомъ; онъ подошелъ къ нему, какъ къ старому, доброму знакомому. Петя, глядѣвшій во всѣ глаза на мужика и думавшій, что его тотчасъ начнутъ сѣчь, увидѣлъ, что Антонъ Антоновичъ, подходя къ нему, сдѣлалъ изъ ладони правой руки своей какое-то подобіе чашечки, а подойдя еще ближе, принялся тыкать этой чашечкой мужика въ ногу; отъ вниманія мальчика не ускользнула большая монета, тотчасъ же упавшая въ чашечку, которая быстро закрылась, какъ листъ *не-тронь-меня*, когда въ него попадаетъ муха.

— Ужъ сдѣлайте милость, Антонъ Антонычъ, проговорилъ въ то же время мужикъ съ подбитымъ глазомъ, подавая письмоводителю красивенькую записочку, запечатанную голубой облаткой съ готическимъ гензелемъ, — ослобоните, пожалуйста; мы будемъ въ надеждѣ...

— Хорошо, хорошо; все это можно, произнесъ Антонъ Антоновичъ, мигая и чмокая губами, — подожди только... можно!..

Мужикъ съ подбитымъ глазомъ низко поклонился. Антонъ Антоновичъ подошелъ къ Якову.

— Откуда? спросилъ письмоводитель, мгновенно теряя всю свою пріятность.

— Помѣщика Бабакина... бродягу на землѣ на нашей поймали, приставить велѣно, сказалъ Яковъ.

Петя такъ смутился, что не замѣтилъ, какъ изъ ладони письмоводителя снова сдѣлалась чашечка, какъ затыкала она Якова въ ногу, и какъ закрылась потомъ, когда попалъ въ нее двугривенный.

— Хорошо, братъ, сказала лысая дыня,—подожди; теперь некогда. Твое дѣло не къ спѣху! заключилъ письмоводитель, направляясь къ двери.

— Антонъ Антонычъ... заговорили опять въ одинъ голосъ пять мужиковъ.

— Отстаньте, говорю, послѣ... Фу, ты! пристали! Слышь, зоветъ!..

Изъ сосѣдней комнаты раздался свѣтлый голосъ, про-

износившій букву *р* такимъ образомъ, что, казалось, выбивали дробь на барабанѣ.

— Антонъ Антонычъ, куда вы запррррропастились... Ступайте скорѣй; дѣлъ множество... не перрредѣлаешь.

— Иду-съ! проговорилъ письмоводитель, вырываясь изъ толпы мужиковъ, какъ изъ омута, и быстро исчезая въ дверяхъ комнаты, гдѣ становой чинилъ судъ и расправу. Становаго звали Соломонъ Степановичъ: онъ точно самой судьбою предназначенъ былъ къ своей должности.

— Читай, Антонъ Антонычъ, что̀ тамъ еще?.. Фу, какая прррпропасть! пробарабанилъ Соломонъ Степановичъ.

Письмоводитель глухо кашлянулъ и приступилъ къ чтенію. Странное дѣло! Антонъ Антоновичъ говорилъ съ мужиками ясно, такъ что легко было понять каждое его слово; но какъ только принялся онъ читать (правда, по множеству бумагъ, онъ торопился), изо рта его послышались звуки, весьма похожіе на то, когда бутылку, налитую водою, опрокидываютъ горлышкомъ книзу; тѣмъ не менѣе, при большой привычкѣ, можно было разобрать слѣдующее:

„Его благородію, почтенному человѣку Соломону Степановичу Цыпкину отъ города Суздаля мѣщанина Григорія Носкова всеслезное прошеніе.

„Ваше благородіе, истинный благодѣтель человѣчества!

„Торгую я разнымъ собраніемъ промысловъ, „Судомъ страшнымъ", „Долбилой и Гвоздилой", „Мудростію Соломоновою", разукрашенныхъ и золотомъ украшенныхъ, и разными такими, и въ листъ и менѣе листа, для славы и забавы православнаго народа, нужнаго для часа смертнаго. Пришелъ я въ село Малицы и взятъ былъ въ полицію бурмистромъ, который есть самый пропащій человѣкъ, за продажу оныхъ. А за что̀ онъ взялъ и по какому праву? Почему всеслезно прошу васъ, истинный благодѣтель человѣчества, оное достояніе мнѣ отдать и чтобъ я по малой цѣнѣ продавалъ его, и христіанамъ была отъ того польза. Все сіе писалъ города Суздаля мѣщанинъ Григорій Носковъ руку приложилъ"...

— Ну, чорррть съ нимъ! отпусти его! послышался голосъ становаго, — да скажи ему, чтобъ дерррждалъ ухо востро, то-есть не насчетъ пррродажи картинъ, а насчетъ писанія просьбъ... Навострrится, всѣмъ стррррочить станетъ; пожалуй и къ губерррнатору напишетъ — я этого не люблю! Ну, что̀ тамъ еще?..

— Письмо помѣщицы Хрюшкиной, Авдотьи Павловны, съ большою ясностью проговорилъ на этотъ разъ Антонъ Антоновичъ.

— Фу ты прррпасть, какъ пахнетъ! точно духами пишетъ, а не чернилами! И облатка голубая... Модница, нечего сказать... Читай, Антонъ Антонычъ...

Стоявшимъ въ прихожей снова показалось, какъ будто бутылку съ водою опрокинули горлышкомъ книзу.

„Милостивый государь, Соломонъ Степанычъ (забормоталъ письмоводитель), посылаю къ вамъ крестьянина моего Акинѳія съ покорнѣйшею просьбою наказать его хорошенько. Не описываю вамъ причинъ моего неудовольствія, потому что описаніе это еще больше взволновало бы меня и разстроило мое слабое здоровье. Надѣюсь, милостивый государь, вы, какъ всегда, уважите просьбу дамы, которая имѣ^ет^ъ честь быть вашей слугою

Авдотья Хрюшкина“.

— Фу, чорррть возьми, да что же это она въ самомъ дѣлѣ? прозвучалъ голосъ Соломона Степаныча, — что жъ она думаетъ, намъ только и дѣла-то сѣчь ея мужиковъ! На недѣлѣ разъ пять посылаетъ...

— А пускай ее посылаетъ, Соломонъ Степанычъ, пускай посылаетъ; это ничего... съ какою-то мягкостью произнесъ письмоводитель и вдругъ, понизивъ голосъ, началъ шептать что-то.

Петя испуганными глазами поглядѣлъ на мужика съ подбитымъ глазомъ; но, къ великому удивленію мальчика, лицо мужика оставалось такъ же весело и беззаботно, какъ и прежде; изрѣдка развѣ тѣнь неудовольствія пробѣгала по немъ, но это было въ тѣхъ случаяхъ, когда вой бабы у крыльца раздавался звонче обыкновеннаго. А между тѣмъ шопотъ продолжался во второй комнатѣ, гдѣ засѣдалъ становой.

— Ну, хорошо, произнесъ наконецъ тономъ примирительнымъ Соломонъ Степановичъ, — пускай убирается къ чорррту, пусть его идетъ когда такъ... Хорошо!.. Можетъ домой ѣхать, скажи ему! да чтобъ языкъ держалъ на привязи.

— Скажу-съ... Ему не впервòй-съ, вымолвилъ Антонъ Антоновичъ, и съ этими словами снова явился въ прихожую.

— Антонъ Антонычъ, сдѣлайте милость, батюшка... за-

говорили опять, насовываясь другъ на дружку, мужики, стоявшіе у двери.

— Да что вы въ самомъ дѣлѣ? Сказалъ: погоди... Прочь! чуть не крикнулъ дыневидный письмоводитель, принимаясь толкать мужиковъ, изъ чего можно было заключить, что чашечка его тщетно тыкалась въ ихъ ноги.

Мужики повѣсили голову, а Антонъ Антоновичъ поднялъ свою нѣсколько раскраснѣвшую тыкву и прямо пошелъ къ подбитому глазу.

— Ступай съ Богомъ, Акинѳій, произнесъ онъ, понижая голосъ, который опять получилъ ясность и мягкость,— поѣзжай, братъ, домой. Смотри только... понимаешь? (тутъ онъ выразительно приложилъ указательный палецъ къ губамъ и быстро потомъ перенесъ его къ спинѣ).

— Помилуйте, Антонъ Антонычъ, нешто мы этого не знаемъ! намъ не въ первой! возразилъ подбитый глазъ, какъ бы гордившійся своими визитами въ становую квартиру.

— Ну, то-то же! Ступай съ Богомъ... ступай! кротко сказалъ письмоводитель.

Акинѳій поблагодарилъ, поклонился и вышелъ.

Не прошло минуты, дверь на крыльцо снова отворилась и пропустила высокаго, статнаго и очень еще красиваго человѣка, несмотря на то, что ему было уже подъ пятьдесятъ. Въ правильныхъ чертахъ его и во всей осанкѣ проглядывало какое-то достоинство; уже по одному спокойствію, съ какимъ вошелъ онъ, можно было догадаться, что онъ явился по собственному дѣлу, и притомъ такому дѣлу, которое не имѣло большой важности. Столкнувшись почти носъ къ носу съ письмоводителемъ, онъ не кланялся униженно, а сказалъ попросту: „здравствуйте батюшка!“ и принялся разглаживать окладистую бѣлокурую бороду.

— Зачѣмъ пожаловалъ? спросилъ Антонъ Антоновичъ, любезно выставля впередъ свою дыню.

— А такъ, надобность своя есть; Соломона Степаныча надо видѣть, возразилъ безцеремонно мужикъ, разделилъ обѣими руками бороду на двѣ равныя половины и отвелъ свѣтлые глаза въ сторону. Взглядъ его упалъ случайно на Петю и, казалось, мужичка удивило присутствіе такого мальчугана въ квартирѣ становаго.

— Эй, Антонъ Антонычъ! что ты опять застррряль? Кто тамъ еще? крикнулъ становой.

— Никаноръ Иванычъ, подрядчикъ! отозвался письмоводитель, просовывая въ пріемную свою дыню.

— А, Никаноръ Иванычъ! добро пожаловать, братецъ... Ступай сюда, весело крикнулъ Соломонъ Степановичъ.

Подрядчикъ, нимало не торопясь, потеръ подошвами сапоговъ объ полъ и вошелъ во вторую комнату, гдѣ тотчасъ же раздались громкія восклицанія и быстрая барабанная дробь станового. Антонъ Антоновичъ хотѣлъ было войти за подрядчикомъ, но Яковъ Васильевъ остановилъ его.

— Сдѣлайте милость, Антонъ Антонычъ! нельзя ли какъ... намъ долго ждать не велѣно... пожалуйста!.. произнесъ онъ, отвѣшивая маховой поклонъ.

— Экой братецъ ты какой! вишь народъ! Сказалъ: обожди; чего жъ тебѣ еще?.. Со всѣми вдругъ не справишься.

Приведя такой резонъ, Антонъ Антоновичъ прошелъ мимо пятерыхъ мужиковъ, которые было забормотали; Антонъ Антоновичъ быстро повернулъ къ нимъ дынный завитокъ свой, мужики откинулись назадъ, стукаясь головами, и письмоводитель скрылся въ пріемной. Подрядчикъ Никаноръ заставилъ, казалось, станового забыть объ остальныхъ посѣтителяхъ, дожидавшихся въ прихожей. По прошествіи десяти минутъ, языкъ Соломона Степановича усталъ, однакожъ, выбивать мелкую дробь, и онъ снова спросилъ:

— Что̀ тамъ еще, Антонъ Антонычъ?

— Помѣщика Баба̀кина человѣкъ-съ; на ихней землѣ бѣглаго поймали-съ... привели-съ...

— Фу, какъ надоѣли!.. Ну, веди его!..

Увидя входящаго Антона Антоновича, мужики стоявшіе подлѣ дверей, не тронулись уже съ мѣста: они, какъ видно, потеряли теперь всякую надежду.

— Ступай, братъ, сказалъ письмоводитель, обратившись къ Якову Васильеву.

Яковъ Васильевъ взялъ Петю за руку и ввелъ его во вторую комнату.

— А! произнесъ Соломонъ Степановичъ.

Въ этомъ восклицаніи не было ничего особеннаго; тѣмъ не менѣе Петя задрожалъ всѣми своими худенькими членами; все помутилось и завертѣлось въ глазахъ его, которые тотчасъ же наполнились слезами; онъ не смѣлъ поднять ихъ, не смѣлъ пошевелить рѣсницами, боясь вы-

давить накопившіяся слезы и закапать полъ, что было бы дѣйствительно лишнее, потому что въ этомъ мѣстѣ, противъ стола становаго, на полъ и безъ того уже падало много слезъ. Но страхъ мальчика происходилъ, надо думать, отъ врожденной трусости; онъ ни на чемъ не основывался: какъ въ голосѣ, такъ и въ наружности Соломона Степановича не было ничего страшнаго. Соломонъ Степановичъ представлялъ изъ себя человѣка лѣтъ тридцатипяти, съ полнымъ, румянымъ лицомъ, которое могло даже нравиться женщинамъ; его бѣлые, сверкающіе зубы, черные глаза и черные густые волосы, прохваченные мастерскимъ проборомъ, возбуждали зависть уѣзднаго судьи, стряпчаго и другихъ значительныхъ лицъ уѣзда, у которыхъ, какъ нарочно, были плѣшивыя головы и весьма скверные зубы. Соломонъ Степановичъ съ замѣтнымъ удовольствіемъ запахивался новенькимъ халатомъ изъ *термаламы* (классическая матерія провинціальныхъ халатовъ), подареннымъ ему, мѣсяцъ назадъ, тещею.

Петѣ не только не слѣдовало дрожать и плакать, но слѣдовало бы радоваться и благодарить судьбу, что его привели къ становому въ настоящее время, а не прежде или послѣ. Весь этотъ мѣсяцъ Соломонъ Степановичъ находился въ веселомъ, снисходительномъ, самомъ мягкомъ и пѣвучемъ расположеніи духа, такъ что весь подвѣдомственный станъ его не могъ достаточно имъ нахвалиться. Такая внезапная перемѣна объясняется сама собою. Видано ли было когда-нибудь, чтобъ человѣкъ, проживающій первый медовый мѣсяцъ супружества, не былъ веселъ и вообще не выказывалъ значительнаго расположенія къ снисхожденію и мягкости? Соломонъ Степановичъ только что женился и былъ до-нельзя счастливъ. Одно то, что жена принесла ему въ приданое восемь душъ крестьянъ и дала ему такимъ образомъ возможность самому сдѣлаться помѣщикомъ, что было всегда любимѣйшею его мечтою; сверхъ того, жена его была молоденькая, хорошенькая и имѣла, какъ оказывалось (съ каждымъ днемъ онъ убѣждался въ этомъ), весьма кроткій, любящій и нѣжный нравъ. Не далѣе, какъ вчера, сидя на колѣняхъ мужа, она назвала его *Пипочкой*; ласки жены и нѣжныя имена такъ понравились Соломону Степановичу, что молодая дала себѣ слово звать мужа не иначе, какъ уменьшительнымъ именемъ; въ тотъ же вечеръ изъ Соломона сдѣлала она „Салиньку“... становой былъ въ восхищеніи. Но Петя

не подозрѣвалъ всего этого, и потому продолжалъ замирать отъ страха и дрожалъ всѣмъ тѣломъ. Самому Якову Васильевичу было какъ будто неловко; онъ безпрестанно мигалъ Антону Антоновичу съ видомъ взаимнаго соучастія, и хотя тотъ не смотрѣлъ на него, но, все равно, миганье съ письмоводителемъ ободряло Якова Васильева.

— Ладно, Никаноръ Иванычъ, мы еще поговоримъ, сказалъ становой, обратясь къ подрядчику. — Садись, брррратецъ.

— Покорно васъ благодарю; я постою, возразилъ подрядчикъ.

— Садись, садись...

— Помилуйте, зачѣмъ же это?.. мое дѣло такое... я могу постоять. Не извольте безпокоиться, я постою.

— Ну, какъ знаешь, брррратецъ, какъ знаешь, весело произнесъ становой и обратился къ Якову.—Когда поймали? спросилъ онъ, кивая головою на Петю:

— Нынче утромъ-съ... въ ригу зашелъ къ крестьянину.

— А! гм! ррраненько, братъ, началъ! Что̀ ты, какъ быкъ, въ землю-то смотришь? подыми голову!

Такъ какъ Петя не повиновался, то Яковъ Васильевъ торопливо взялъ его одною рукою за подбородокъ, другою за макушку головы и показалъ становому блѣдное, потерянное лицо мальчика, исполосованное потоками слезъ.

— Гм! раненько, братъ, началъ, раненько! повторилъ становой.

— Малъ еще, сударь, по глупости, можетъ статься, сказалъ подрядчикъ, съ замѣтнымъ состраданіемъ поглядывая на мальчика,—можетъ-быть, нарочно угналъ кто-нибудь... Гдѣ еще ему бродяжничать по своей охотѣ?

— Откуда ты? спросилъ становой, пристально взглядывая на бродягу.

— Не... не знаю... пролепеталъ мальчикъ, котораго Яковъ Васильевъ, повинуясь знакамъ письмоводителя, все еще держалъ за голову.

— Ты у меня, смотри, не ври, говори всю правду, а то я тебя заставлю говорить по-своему... Говори, гдѣ былъ передъ тѣмъ, что пришелъ въ ригу? подхватилъ Соломонъ Степановичъ.

— Я у нищихъ... былъ... произнесъ, рыдая, мальчикъ,— они хотѣли мнѣ глаза выколоть... я убѣжалъ...

— Когда жъ ты ушелъ отъ нихъ — а?... да смотри, не врать у меня! промолвилъ Соломонъ Степановичъ съ тѣмъ

видомъ, какой былъ у него до женитьбы и до названія „Са̀линька“.

— Нѣтъ, всю... всю правду скажу...

— Ну!

— Я... я двѣ ночи бѣжалъ... да еще день бѣжалъ, проговорилъ Петя, который побоялся броситься въ ноги становому и просить у него пощады.

— Хорошо; ну, а до нищихъ гдѣ ты находился? Гдѣ они тебя взяли?...

— Я жилъ у матери... съ отцомъ...

— Должно-быть, Соломонъ Степанычъ, вмѣшался опять подрядчикъ, — должно быть, родные нищимъ его отдали на срокъ... это бываетъ...

— Нѣтъ, нѣтъ, перебилъ Петя, горько всхлипывая, — нѣтъ! они меня силой у отца отняли... въ лѣсу...

— Ну, это, братъ, что-то хитро̀! Смотри, не врешь ли ты? смотри! Тутъ что-то не такъ, Никаноръ, а? какъ ты думаешь — а?

— Все можетъ случиться, Соломонъ Степанычъ, спокойно-разсудительнымъ тономъ проговорилъ подрядчикъ,— можетъ, отецъ въ ту пору пьянъ былъ, мѣсто было глухое... Эти нищіе, доложу вамъ, сударь, часто такія бестіи бываютъ, что хуже иного разбойника... Обманывать васъ онъ побоится. Надо думать, та́къ ему случилось, какъ онъ разсказываетъ.

— Я всю правду сказалъ, началъ Петя, прерываясь на каждомъ словѣ, — ничего не утаилъ... всю правду сказалъ...

Миловидное, кроткое лицо мальчика, его отчаянье, звукъ его голоса — все подтверждало искренность его показаній. Самъ Соломонъ Степановичъ, казалось, смягчился и превратился снова въ „Са̀линьку“.

— Ну, а какой ты губерніи?... какого уѣзда? ты этого не помнишь? спросилъ онъ.

— Ма̀рьинское... Ма̀рьинское прозывается, вымолвилъ Петя, рѣшаясь поднять глаза.

— Гм! Ма̀рьинское... пробормоталъ становой, потирая лобъ и какъ бы отыскивая въ памяти своей такую губернію или уѣздъ.—Да, можетъ-быть, такъ село прозывается, гдѣ жилъ отецъ твой?

— Да̀, Ма̀рьинское... деревня, гдѣ мать и отецъ; они оттуда увели меня, сказалъ Петя и снова заплакалъ.

— Что жъ мнѣ съ нимъ дѣлать, я, право, не знаю? Гдѣ

ее отыскивать, эту деревню? Антонъ Антонычъ, помѣть деревню „Марьинское“ на всякій случай для отправки съ нимъ въ Земскій Судъ: можетъ, какъ-нибудь тамъ и отыщется, какъ пропечатаютъ объявленіе о поимкѣ; а до того времени одно остается сдѣлать: записать его въ списокъ „непомнящихъ родства“.

— Жаль, Соломонъ Степанычъ; мальчикъ-то, кажется, смирный... Такъ пропадетъ, ни за что, произнесъ подрядчикъ.

— Да что жъ съ нимъ дѣлать-то, братецъ? дѣлать-то больше нечего...

— Можно на поруки отдать кому-нибудь; коли доброму человѣку попадется — не пропадетъ!

— Да кто жъ его возьметъ? кому онъ нуженъ? Вишь, слабый, маленькій, кому онъ нуженъ?

— Пожалуй, я возьму, сказалъ подрядчикъ, поглаживая бороду.

— Возьми, братецъ, возьми; я очень радъ; ты всѣхъ насъ избавишь отъ лишнихъ хлопотъ... Только, знаешь, Никаноръ, надо будетъ, какъ по закону слѣдуетъ, оставить расписку въ томъ, что такъ-и-такъ, обязуешься выучить его мастерству какому-нибудь, а не держать такъ, зря, какъ собаку...

— Помилуйте, сударь, мы вѣдь также въ церковь ходимъ и въ Бога вѣруемъ! съ достоинствомъ промолвилъ подрядчикъ. — Какъ, примѣрно, сами по плотничной части занимаемся, такъ все равно и его тому же обучать станемъ. Пожалуй, я хоть сейчасъ распишусь въ чемъ сказать изволили...

Соломонъ Степановичъ, подумавъ, что подрядчикъ дѣлаетъ это, имѣя въ виду какія-нибудь выгоды, могъ бы привязаться къ случаю и не упустить собственныхъ выгодъ; но, какъ ужъ сказано, онъ въ этотъ мѣсяцъ былъ особенный человѣкъ; къ тому жъ, одною изъ отличительныхъ добродѣтелей становового было чувство благодарности: онъ помнилъ, что, передъ свадьбой, Никаноръ поднесъ ему пару славныхъ гусей, а послѣ свадьбы, для поздравленія, подарилъ двухъ отличныхъ утокъ, изъ которыхъ селезень былъ заводскій хохлатый шипунъ. Соломонъ Степановичъ не сдѣлалъ, слѣдовательно, ни малѣйшихъ прижимокъ подрядчику касательно мальчика; онъ велѣлъ дать бумагу и самъ даже продиктовалъ Никанору обязательство, требуемое закономъ.

Во все это время Петя не отрывалъ глазъ отъ подрядчика. Лицо Никанора не пугало его, но онъ все продолжалъ еще плакать. Припоминалъ ли онъ добрую барыню, которая такъ обласкала его, хотѣлось ли ему къ ней возвратиться, или неизвѣстность того, что̀ ожидало его у новаго хозяина, стѣсняла его сердце, только слезы сами собою текли по щекамъ его и свободно теперь капали на полъ становой квартиры, что̀, какъ извѣстно, было ужъ совершенно лишнимъ.

— Ступай, братецъ, скажи, что хорошо; мальчика взяли на поруки, проговорилъ становой, обратясь къ Якову Васильеву.

Яковъ Васильевъ взглянулъ на дынное лицо Антона Антоновича; Антонъ Антоновичъ выразительно мигнулъ. Дворовый человѣкъ поклонился Соломону Степановичу, сдѣлалъ шагъ впередъ и положилъ на край стола полтинникъ.

— Что это? съ улыбкой удивленья спросилъ становой.

— Отдать велѣно...

— Нѣтъ, братецъ, нѣтъ, возьми назадъ, мнѣ не надо этого, съ благородствомъ во всѣхъ чертахъ проговорилъ Соломонъ Степановичъ.—А вотъ если они хотятъ отблагодарить меня за то, что избавилъ ихъ, скажи... скажи, чтобъ лучше прислали возочекъ муки; а это, подхватилъ онъ, отдавая назадъ полтинникъ,—это возьми назадъ...

Яковъ Васильевъ поклонился еще разъ и вышелъ, думая: „Экой, братъ, ловкій какой! Вѣдь мука-то теперь девять съ полтиной... Ловокъ, нечего сказать... ловокъ!“

Дѣло, по которому Никаноръ явился къ становому, задержало его не надолго; спустя немного, онъ вышелъ съ мальчикомъ на улицу. Телѣги съ плачущей бабой ужъ не было; старичокъ, продающій лубочныя картинки, также исчезъ. Яковъ Васильевъ уѣхалъ. Послѣдній побоялся, видно, чтобъ полтинникъ не проткнулъ ему кармана въ шароварахъ, снова поспѣшилъ размѣнять его. Петя вспомнилъ добрую барыню, которой онъ даже не послалъ поклона, и опять заплакалъ. Никаноръ Ивановичъ обласкалъ его и помогъ ему усѣсться хорошенько на телѣгу. Послѣ этого онъ самъ сѣлъ подлѣ мальчика и слегка постегалъ сытую, сѣрую свою кобылку, которая скоро вывезла ихъ вонъ изъ села.

— Ты, паренёкъ, не плачь; зачѣмъ плакать? плакать не годится, сказалъ онъ, ласково поглядывая на Петю,—

мы ничего худого тебѣ не сдѣлаемъ: ты, я вижу, мальчикъ хорошій, добрый; станешь слушаться, тебѣ хорошо будетъ. Обижать тебя никто не станетъ; а пуще, надо стараться не лѣниться, къ работѣ привыкать; кто сызмаленьку привыкаетъ, тому потомъ все легче да легче пойдетъ. Ты охотникъ ли работать-то—ась? шутливо присовокупилъ онъ.

— Да... буду... я, дядюшка, буду работать... со вздохомъ проговорилъ Петя, переставшій плакать.

— Ну, вотъ и хорошо! подхватилъ тѣмъ же добродушнымъ тономъ Никаноръ Ивановичъ. — Работать хорошо будешь—мы изъ тебя человѣка сдѣлаемъ, не то что, примѣрно, шалопая какого—нѣтъ, настоящаго! А тамъ возрастешь, самъ большой будешь... Тогда, статься-можетъ, какъ-нибудь, съ Божею милостью, и родныхъ найдешь... То-то имъ весело-то будетъ, какъ увидятъ тебя большого такого, съ пилой за плечами, съ топоромъ за поясомъ. Самъ избу тогда имъ поставишь—вотъ какъ!..

Мало-по-малу Петя пересталъ вздыхать, а къ концу дороги довѣрчиво уже смотрѣлъ въ свѣтлые глаза Никанора Ивановича и внимательно слушалъ его добрыя, ласковыя рѣчи.

III.

Радость и горе.

Между тѣмъ, какъ Петя переходилъ такимъ образомъ изъ рукъ въ руки и велъ самую кочевую, неопредѣленную жизнь, семья его обзаводилась домкомъ и обстраивалась на новомъ своемъ мѣстѣ. Нечего сказать, мужичокъ Андрей, изъ Панфиловки, мастеръ былъ строить мазанки. Онъ, правда, не гнался за красотою, не любилъ ни рѣзныхъ, узорчатыхъ подзоровъ, ни пѣтуховъ на макушкѣ кровли, ни ставней, расписанныхъ цвѣточными горшками: все это называлъ онъ пустяшнымъ дѣломъ, нестоящею мелкотою; но зато постройки его отличались плотностью необыкновенной: солнцемъ не пропекало, вѣтромъ не продувало, зимой не промерзало. Образцомъ такой постройки могла служить мазанка Тимоѳея: плотно и прочно; одно слово сказать, что плотно. Однимъ немножко обижалась Катерина: подлѣ мазанки не только не находилось деревца, но даже хворостинки; кругомъ разбѣгалась неоглядная луговая степь, сливавшаяся съ небосклономъ.

Съ той только стороны, гдѣ находился хуторокъ Анисьи Петровны (до него считалось версты четыре), жнивье убранныхъ ужъ полей обозначалось блѣдно-желтою полосою, которая нѣсколько разнообразила зеленое море травы. Снятая рожь позволяла теперь вѣрно указать на то мѣсто, гдѣ располагался хуторъ; онъ отмѣчался темной, неопредѣленной точкой: то была макушка старой ветлы, осѣнявшей прудокъ Панфиловки. Нѣсколько лѣвѣе, въ двухъ-трехъ мѣстахъ, мелькали другіе маленькіе хутора; наконецъ, ближе къ мазанкѣ, тамъ, гдѣ кончилось ужъ жнивье и начинались луга, выглядывала темнымъ пятномъ усадьба богатаго гуртовщика Карякина. До послѣдней, если итти все прямо, было не болѣе двухъ верстъ. Весь остальной кругозоръ обозначался волнистыми, постепенно убѣгающими линіями луговой степи. Такому обилію травы особенно должна была радоваться рыжая корова, только что купленная Катериной; корова стоила дорого; но безъ нея обойтись нельзя при множествѣ ребятишекъ: тѣмъ вѣдь только и живы, какъ въ накрошенный хлѣбъ, либо въ кашу, молочка подольешь. Шагахъ въ двадцати отъ мазанки находился водопой и колодезь. Андрей и два другіе мужика, два мастака въ дѣлѣ отыскиваній, по примѣтамъ, неглубокихъ подземныхъ источниковъ, бились надъ нимъ пять дней; они, вѣроятно, бились бы долѣе, если бъ не подстрекалъ ихъ и не ободрялъ Лапша. Самъ онъ, къ сожалѣнію, не могъ подсоблять лопатою: въ эти пять дней одышка, поперхота и ломъ въ груди не давали ему покоя.

Въ одномъ только случаѣ переселенцы отступили отъ плана, начертаннаго Сергѣемъ Васильевичемъ Бѣлицынымъ: они не построили огромныхъ навѣсовъ, долженствовавшихъ защищать отъ ненастья гурты воловъ, которые будутъ прогоняться черезъ лугъ: во-первыхъ, лѣсъ такъ былъ дорогъ, что недостало бы денегъ у Катерины; во-вторыхъ, изъ словъ мѣстныхъ жителей оказалось, что гурты ходятъ такими большими партіями, что не закроешь ихъ никакими навѣсами; какъ скотъ, такъ и гуртовщики, его сопровождающіе, привыкли ночевать въ лугахъ подъ открытымъ небомъ и не боятся никакой погоды передъ ярко-пылающимъ костромъ; ни одинъ изъ нихъ полушки не дастъ, чтобъ постоять подъ навѣсомъ: они предпочтутъ отнести деньги въ кабаки, которые разсыпаны въ изобиліи по всѣмъ степнымъ дорогамъ. Въ полуторѣ верстѣ

отъ карякинской усадьбы, по дорогѣ къ Панфиловкѣ, находился также кабакъ. „Какъ же, пойдутъ къ вамъ гуртовщики! Жди хоть годъ, ни одинъ не заглянетъ!" утвердительно говорилъ Андрей изъ Панфиловки. Обо всемъ этомъ отписала Катерина въ Марьинское управителю Герасиму Аѳанасьевичу. Недалеко было ей ходить за грамотнымъ: у Карякина проживалъ какой-то хромой и горбатый человѣчекъ, по имени Егоръ, который за двугривенный приходилъ къ кому угодно съ листикомъ сѣрой бумаги, съ пузырькомъ, замѣнявшимъ чернильницу; онъ ловко строчилъ письма и просьбы; за послѣднія онъ бралъ, впрочемъ, дороже: „не велѣно", говорилъ онъ въ свое оправданіе. Андрей предупредилъ Катерину, что этотъ Егорка великій негодяй, но Катеринѣ съ нимъ не дѣтей было крестить: написалъ письмо, деньги взялъ, и ступай по-добру по-здорову. Въ письмѣ своемъ Катерина спрашивала о Петѣ и снова просила Герасима Аѳанасьевича отослать мальчика въ степь по пересылкѣ, въ случаѣ, если онъ нашелся.

Десятидневное пребываніе въ степи, а еще болѣе бесѣды съ Андреемъ и его женою, окончательно убѣдили Катерину, что трудно будетъ ей жить на новомъ мѣстѣ. Хлѣбъ, конечно, втрое дешевле здѣсь, чѣмъ въ Марьинскомъ, но все же надо покупать его, тогда какъ въ Марьинскомъ онъ добывался съ поля. Корова поглотила почти всѣ деньги, которыми могла располагать Катерина для себя собственно; о пріобрѣтеніи лошади, для обработки двухъ-трехъ десятинъ луга, нечего было и думать. Къ тому жъ, какъ только дѣло коснулось пахоты, Лапша объявилъ наотрѣзъ, что пахать не силахъ. Неизвѣстно, что̀ разслабляло Лапшу: переѣздъ ли съ мѣста на мѣсто, доставившій ему, впрочемъ, случай спать мѣсяцъ сряду, перемѣна ли воздуха, тоска ли по родинѣ, или, наконецъ, расшибленная грудь, которая, въ первое время послѣ паденія въ оврагъ, долго не сказывалась и не такъ сильно мучила Лапшу, какъ теперь, по прошествіи нѣсколькихъ мѣсяцевъ—дѣло въ томъ, что Лапша замѣтно хирѣлъ. Въ двадцать лѣтъ замужества Катерина такъ хорошо изучила мужа, что не могла ужъ поддаваться его охамъ, вздохамъ и жалобамъ; но она сама теперь замѣтила въ немъ перемѣну; въ кашлѣ Лапши не было теперь ничего притворнаго: кашель начинался иногда ночью (въ прежнее время Лапша кашлялъ только днемъ; ночью спалъ какъ убитый,

особенно когда хорошо ужиналъ); теперь кашлялъ онъ всю ночь напролетъ, вплоть до зари. Въ первый день, какъ ставили мазанку, Лапша хлопоталъ и усердствовалъ больше всѣхъ, но, по прошествіи часа, такъ выбился изъ силъ, такъ умаялся, что отказался отъ обѣда: послѣднее убѣдило Катерину, что силы дѣйствительно оставили мужа.

Хотя мужъ не былъ для Катерины надежнымъ помощникомъ, но хворость его все-таки прибавляла ей лишнюю заботу: у нея и безъ того ужъ было ихъ такъ много! Кромѣ хлѣба, приходилось еще прикупать конопель, пряжу, пшено, соль; мало ли нуждъ въ большой семьѣ, при малыхъ ребятахъ! Чтобъ удовлетворить частью всѣмъ этимъ требованіямъ, Катерина рѣшилась согласиться на просьбу Андрея: отпустить къ нимъ Машу въ видѣ работницы. Люди были хорошіе, честные, извѣданные: обижать не станутъ. Катерина надѣялась одна справиться съ домашними хлопотами; она нашла, что у нея останется еще много свободнаго времени, и просила Андрея и жену его посылать къ ней окрестныхъ мужиковъ и бабъ, нуждавшихся въ шитьѣ; она мастерица кроить и шить рубахи, поддёвки, выдѣлывать всякіе узоры на кичкахъ и полотенцахъ; о заплатахъ и говорить нечего: Катерина такъ крѣпко ставила заплаты, что онѣ переживали долѣе, чѣмъ сосѣднее, повидимому, даже здоровое мѣсто. Три мальчугана Катерины (мы не упоминаемъ о четвертомъ, который только и дѣлалъ, что спалъ или сосалъ грудь), три мальчугана были такъ еще малы, что ни въ чемъ не могли пособить матери; они рыскали съ утра до вечера по лугамъ, всюду сопровождаемые вѣрнымъ Волчкомъ. Сумасшедшая Дуня также пропадала въ лугахъ по цѣлымъ днямъ; иной разъ она не являлась даже къ обѣду, что̀, съ одной стороны, пробуждало безпокойство Катерины, съ другой—невольное чувство радости: оставалось больше хлѣба на завтра.

Несмотря, однакожъ, на всѣ эти работы, хлопоты и стѣсненія, Катерина чувствовала, что ей здѣсь несравненно покойнѣе жить, чѣмъ въ Марьинскомъ. Ей недоставало только Пети: тогда она была бы совершенно даже счастлива и охотно провела бы здѣсь остатокъ дней своихъ. Житье было точно спокойное, тихое: въ недѣлю раза два-три заглядывали Андрей, его жена и дочь Маша. Кромѣ этихъ лицъ, да еще хромого и горбатаго Егорки, который явился всего два раза, чтобъ писать письмо, ни

одно живое существо не показывалось въ лугахъ, окружавшихъ мàзанку. Безмолвіе степи точно такъ же ничѣмъ не нарушалось; только вечеромъ, при солнечномъ закатѣ, когда весь этотъ просторъ охватывался огненнымъ заревомъ и, постепенно блѣднѣя, убѣгалъ лиловыми линіями въ неоглядную даль, тогда только все вокругъ оживлялось криками дергачей, перепеловъ и шумомъ стрепетовъ, которые перелетали съ мѣста на мѣсто; но все это опять умолкало съ наступленіемъ ночи. Степь закутывалась въ темно-синій плащъ и сама какъ будто засыпала. Послѣднія вспышки заката угасали; во всѣ стороны величественно раскидывалось небо съ миріадами сверкающихъ звѣздъ. Наступало мертвое, непробудное молчаніе самой глухой пустыни. Изрѣдка, далеко-далеко раздастся ревъ отставшаго быка. До сихъ поръ одни только эти звуки, весьма рѣдкіе, впрочемъ, напоминали жителямъ мàзанки о существованіи гуртовъ: Катерина, по крайней мѣрѣ, не видала ни одного быка на своемъ лугу. Это происходило потому, вѣроятно, что Ѳедоръ Ивановичъ Карякинъ, согласно обѣщанію *обрадовать* чѣмъ-нибудь Анисью Петровну въ ея горѣ, отказался отъ луга Бѣлицыныхъ, какъ только поселились на немъ мужики ихъ; но такое обстоятельство не мѣшало, однакожъ, нашимъ переселенцамъ проводить благополучно дни и ночи.

Разъ (это случилось недѣли три послѣ окончательнаго переселенія въ степь) семья Лапши находилась у входа мàзанки. Было часовъ шесть утра. Солнце давно уже поднялось въ ясномъ, безоблачномъ небѣ и начинало даже припекать. Семейство переселенцевъ расположилось у входа мàзанки, потому что съ этой стороны падала длинная, прохладная тѣнь. Катерина сидѣла на травѣ; она спѣшила приставить дюжины полторы заплатъ къ коротайкѣ, которую, два дня назадъ, поручилъ ей одинъ изъ мужичковъ Панфиловки. Лохмотья, предназначенныя для заплатъ, и лохмотья самой коротайки лежали на ея колѣняхъ; въ правой рукѣ ея, на старомъ тулупчикѣ, валялся послѣдній ея ребенокъ; слѣва, между моткомъ нитокъ и ножницами, виднѣлся ломоть хлѣба, къ которому, время отъ времени, прибѣгала она. Подлѣ—три мальчугана кричали и прыгали съ ломтемъ хлѣба въ рукахъ; Волчокъ переходилъ отъ одного къ другому, усаживался на свой крендель, устремлялъ на каждаго страстно-нетерпѣливые глаза и невообразимо быстро дви-

галъ хвостомъ, когда который-нибудь изъ мальчугановъ подносилъ хлѣбъ къ губамъ. Лапша помѣстился позади всѣхъ, на порогѣ мазанки; онъ не принималъ участія ни въ завтракѣ, ни въ болтливой бесѣдѣ между матерью и ребятёнками. Уперевъ угловатые локти въ костлявыя колѣни, положивъ голову между ладонями, онъ глядѣлъ съ видомъ тоски и изнеможенія въ степь, которая разстилалась передъ его глазами; узенькій, сухой лобъ его какъ будто не въ силахъ уже былъ поддерживать такихъ огромныхъ черныхъ бровей: брови лежали пластомъ, какъ двѣ мертвыя піявки. О чемъ думалъ Лапша—этого онъ вѣрно и самъ не могъ растолковать; но все равно, каковъ бы ни былъ ходъ его мыслей, онѣ поминутно прерывались тяжкимъ кашлемъ, который душилъ его. Катерина замѣтила, что кашель мужа не прерывался теперь даже съ зарею. Для пополненія семейства недоставало Пети, Маши и безумной Дуни. О Петѣ мы знаемъ только, что онъ отправился съ подрядчикомъ Никифоромъ, который взялъ его на поруки; Маша жила въ работницахъ у Андрея. Что жъ касается Дуни, она ушла до солнечнаго восхода въ степь съ горбушкой чернаго хлѣба и палкой, которую не переставала убаюкивать, какъ младенца.

Какъ только ломти хлѣба исчезли изъ рукъ мальчугановъ, Волчокъ сдѣлался тотчасъ же спокойнѣе, но, наоборотъ, мальчики обнаружили больше подвижности и живости. Они сказали, что побѣгутъ въ степь за Дуней, и стали звать Волчка; но Волчокъ слушать не хотѣлъ; усѣвшись на свой крендель, какъ на резиновый кружокъ, который подкладываютъ подъ себя нѣкоторые господа, онъ не переставалъ облизываться и задумчиво смотрѣлъ по направленію къ хутору.

— Волчокъ! Волчокъ! крикнули снова мальчики.

Волчокъ не трогался съ мѣста: вниманіе его очевидно занято было какимъ-то предметомъ. Секунду спустя, онъ насторожилъ уши, вскочилъ на ноги, отбѣжалъ впередъ шаговъ на десять, вытянулъ шею и залаялъ.

— Мама, никакъ кто-то идетъ!.. крикнулъ Костюшка, пускаясь за Волчкомъ.

Братишки также побѣжали за нимъ.

— Кому идти? сказала Катерина, подымая глаза и обращая ихъ къ хутору,—Машѣ не время: они нынче послѣдній овесъ подбираютъ. Погляди-ка, Тимоѳей, взаправду кто-то пробирается.

Но Тимоѳей не поднялъ даже головы, не обернулся.

Человѣкъ, котораго издали увидѣлъ Волчокъ, замѣтно приближался; онъ шелъ, повидимому, очень скоро. Немного погодя, мальчики, бѣжавшіе за Волчкомъ, могли даже разсмотрѣть черты его. Вдругъ всѣ трое припустили во весь духъ и закричали въ одинъ голосъ: „Ваня! Ваня!..“ Катерина бросила нà-земь лохмотья, встала и, поправляя головной платокъ, пошла навстрѣчу. Не успѣла она сдѣлать десяти шаговъ, какъ ужъ человѣкъ сошелся съ мальчиками и началъ цѣловаться. Тогда Катерину встрѣтили прежде всего широкія губы, которыя улыбались отъ праваго уха до лѣваго. Минуту спустя, губы эти чмокали ужъ Катерину въ обѣ щеки.

— Ахъ, Ваня, Ваня! Вотъ не чаяла, не гадала! Какъ же это ты такъ, батюшка? Ну, здравствуй, родной, здравствуй! Когда ты пришелъ?

— Да ноньче, тетушка Катерина, ноньче, возразилъ Иванъ, раздвигая еще шире свою улыбку,—ноньче! Прошелъ на хуторъ, спрашиваю о васъ; говорятъ: четыре версты... Эвна, думаю, только-то! не пуще устанешь! чтò ждать-то? думаю. Ужъ оченно добрѐ васъ повидать хотѣлось... Струментъ отдалъ мужику на хуторѣ, а самъ къ вамъ. Оченно ужъ обрадовался, тетушка Катерина!.. Вѣдь вы мнѣ, какъ родные... знамо, обрадуешься!

Во время этого разговора, прерывавшагося радостными криками мальчиковъ и лаемъ Волчка, подскакивавшаго къ самому локтю гостя, Катерина и Иванъ успѣли подойти къ мазанкѣ. Лапша не тронулся съ мѣста; онъ только приподнялъ голову и говорилъ разслабленнымъ голосомъ: „здравствуй, Ваня, здравствуй“. Но Ивану и этого было достаточно; онъ бросился обнимать и цѣловать Лапшу съ такимъ усердіемъ, что, казалось, губы его видимо припухали.

— Чтò съ тобой, дядюшка Тимоѳей? вымолвилъ Иванъ, замѣтивъ, наконецъ, съ какою холодностью Тимоѳей отвѣчалъ ему на всѣ его привѣтствія,—можетъ статься, я въ чемъ помѣшалъ тебѣ?

Въ отвѣтъ Лапша замоталъ головою и закашлялся.

— Что-то опять на грудь сталъ все жаловаться, подхватила Катерина,—нездоровится все... Вотъ ужъ двѣ недѣли такъ-то мается...

— О-охъ! простоналъ Лапша,—что ужъ тутъ!.. Пришло, стало, время... умирать надыть, Ваня...

— Вишь, отмѣны никакой въ немъ нѣту-ти, перебила жена, стараясь улыбнуться,—все жалуется да пустое городитъ. Умирать! Рано собрался!.. Съ чего умирать-то?.. Съ нами еще поживешь...

— Нѣтъ... проговорилъ Лапша, опуская безсильно голову,—нѣтъ... чую смерть близко, помереть надо...

— Знамо, всѣмъ умирать надо; смерти-то никто не минуетъ, да только говорить-то о ней, впередъ-то загадывать не годится; все это во власти Божіей. Подь, порадуйся лучше дорогому гостю, что пришелъ... Ахъ, Ваня, Ваня! заключила Катерина, похлопывая его по плечу.

Ваня, поощренный этою новой лаской тетушки Катерины, снова бросился обнимать ее и цѣловать до опухоли. Какъ только Катерина пришла въ себя, первый вопросъ ея былъ, разумѣется, о Петѣ. О мальчикѣ до сихъ поръ не было ни слуху, ни духу; но Иванъ просилъ Катерину не сомнѣваться: Герасимъ Аѳанасьевичъ лично сообщилъ ему, что объявленіе о пропажѣ мальчика давнымъ-давно послано куда слѣдуетъ—мальчикъ непремѣнно отыщется. Но такъ какъ все это мало утѣшало Катерину, Иванъ поспѣшилъ развлечь ее другими новостями изъ Марьинскаго. Все обстоитъ пока благополучно: господа уѣхали; кузнецъ Пантелей приказалъ долго жить; сгорѣлъ — не отъ огня, сгорѣлъ, сказывали, вина много перепилъ; по воскреснымъ днямъ, какъ и прежде, передъ амбарнымъ навѣсомъ собирается хороводъ, въ которомъ больше всѣхъ отличаются востроглазая бабенка да Матрена; скотница Василиса живетъ ни на что̀ не похоже, обворовываетъ господъ безъ милости; но управитель не смѣетъ смѣнить ее: сама барыня приставила ее къ должности и велѣла даже прибавить ей по два пуда мѣсячины.

Разсказывая обо всѣхъ этихъ новостяхъ, Иванъ точно черпалъ ихъ изъ дверей мазанки, куда то и дѣло забѣгали маленькіе глаза его. Катерина, подумавъ, что глаза Вани устремляются съ такою жадностью на коровай, лежавшій на столѣ, и который можно было видѣть въ раскрытую дверь, поспѣшила войти въ мазанку; немного погодя она вынесла гостю добрый сукрой хлѣба и молока; все это принято было Иваномъ съ великою благодарностью: аппетитъ столяра вполнѣ соотвѣтствовалъ размѣру его рта; завтракъ исчезалъ съ неимовѣрною быстротою.

— Ну, Ваня, разскажи мнѣ, родной, какъ же ты жить-то станешь? промолвила Катерина, весело поглядывая на

гостя и вмѣстѣ съ тѣмъ покачивая головою съ озабоченнымъ видомъ.—Вотъ мы здѣсь почитай ужъ мѣсяцъ живемъ, а нѣтъ того, чтобъ слышали, надобность есть по рукомеслу по твоему... Надо все это обсудить; ты не алаберный человѣкъ, самъ разсудить можешь: надо жить чѣмъ-нибудь; надо также объ оброкѣ подумать...

Въ настоящую минуту Иванъ думалъ только, казалось, о двери мазанки. Такъ какъ онъ былъ столяръ, то въ этомъ ничего и не могло быть удивительнаго.

— Какъ же, какъ же, тетушка Катерина, я ужъ объ этомъ обо всемъ непремѣнно разсудилъ. Такъ, знамо, нельзя... Оброкъ и все такое... возразилъ Иванъ. — Вотъ маленько осмотрюсь, узнаю, какіе такіе здѣсь помѣщики, и всѣхъ обойду, тетушка Катерина... всѣмъ рамы тамъ, или столы, комоды—все это я могу... А здѣсь работы не будетъ, въ городъ пойду: городъ, сказывали мнѣ на хуторѣ, верстъ сорокъ...

— То-то же, родной, надо за дѣло приниматься, сказала Катерина, — побудь съ нами денекъ-другой, да съ Богомъ! Ты, я знаю, самъ прохлаждаться не любишь... Что̀ на мазанку-то на нашу смотришь—ась? аль понравилась? Вишь какъ устроились... хорошо, что ли?

— Да, хорошо, тетушка Катерина... хорошо; крѣпкія должны быть стѣны-то, да и крыша того... да!.. Слышь, тетушка, примолвилъ Иванъ съ меньшею разсѣянностью,— слышь, что жъ это я не вижу... гдѣ жъ у васъ... Дуня-то?..

— А въ лугъ ушла, родной... ушла до солнца... Все попрежнему, такая же смирная; а нѣтъ этого, чтобъ въ разумъ входила... нѣтъ... такая же...

— Ну, а гдѣ жъ Маша-то? спросилъ Иванъ, сдерживая улыбку, которая, несмотря на старанія, разсѣкала пополамъ добродушное лицо его.

Катерина объяснила, гдѣ была Маша. По поводу дочери, она распространилась объ Андреѣ и женѣ его. Она съ первыхъ же словъ умѣла, видно, возбудить къ нимъ сочувствіе Ивана: онъ выразилъ желаніе познакомиться съ ними и увидаться какъ можно скорѣе. Стоило взглянуть на лицо его, чтобъ убѣдиться, какъ сильно было въ самомъ дѣлѣ это желаніе и какъ хотѣлось ему отправиться на хуторъ: маленькіе глаза Ивана такъ же нетерпѣливо посматривали теперь въ ту сторону, какъ прежде устремлялись на дверь мазанки. Поговоривъ о томъ о семъ, онъ вдругъ всталъ и сказалъ, что пора отправляться.

— Куда жъ ты, Ваня? спросила Катерина,—я думала, ты здѣсь отдохнешь да пообѣдаешь...

— Нѣтъ, тетушка, вотъ чтò: я маленечко къ вамъ поторопился, взялъ да струментъ-то свой первому мужику отдалъ на хуторѣ; теперь сумлѣнье беретъ: ну, какъ пропадетъ! Безъ струмента я совсѣмъ, какъ есть, пропащій человѣкъ.

Катерина побранила его за опрометчивость, но не удерживала болѣе. Иванъ объявилъ, что нынче же вечеромъ или завтра утромъ снова заглянетъ, и простился съ переселенцами. Три мальчугана взялись провожать его до хутора. Сдѣлавъ шаговъ двадцать, Иванъ быстро, однакожъ, вернулся назадъ.

— Слышь, тетушка Катерина! дядя Тимоѳей, слышь! сказалъ онъ, становясь между мужемъ и женою,—я забылъ вамъ сказать, вѣдь я дорогой-то, какъ сюда шелъ, Филиппа встрѣлъ... право, встрѣлъ...

При этомъ извѣстіи порогъ, на которомъ сидѣлъ Тимоѳей, точно подломился; Катерина опустила руки и поблѣднѣла.

— Какъ? гдѣ? когда? спросили въ одно время Катерина и Лапша, который поднялся вдругъ на ноги, хотя ноги слабѣе теперь поддерживали его, чѣмъ полчаса назадъ.

— Да какъ вамъ сказать? торопливо началъ Иванъ, не замѣчая сотой доли того вліянія, которое производили слова его; онъ больше поглядывалъ на хуторъ, чѣмъ на собесѣдниковъ,—какъ сказать?.. верстъ пятьдесятъ отселѣва встрѣлъ. Онъ меня не видалъ, а я его призналъ... сейчасъ призналъ; съ нимъ и мальчикъ его былъ, Степкато... на большой дорогѣ встрѣлись... Иду я по одной сторонѣ, они по другой идутъ... О чемъ это ты, дядя Тимоѳей? Ты не сумлѣвайся: они, можетъ, не сюда... примолвилъ Иванъ, видя, что Лапша повалился на траву, застоналъ и заохалъ.

Тутъ Иванъ принялся точно такъ же утѣшать и обнадеживать Катерину; но слова его еще менѣе дѣйствовали на нее, чѣмъ на мужа: вѣсть о Филиппѣ сразила ее совершенно; точно туча набѣжала вдругъ и бросила мрачную тѣнь свою на лицо бабы, за минуту еще передъ тѣмъ такой веселой. Судорожно скрестивъ руки на груди, склонивъ къ землѣ блѣдное лицо съ вздрагивающими ноздрями, она слова не слышала изъ того, чтò говорилъ теперь Иванъ, и только шептала:

— Знать, надоумили, опять наслали погубителя нашего!.. Господи, Творецъ милостивый! подхватила Катерина, всплескивая руками,—ослобони Ты насъ, Господи, отъ напасти такой, отъ человѣка лихого! Знать, много мы провинились предъ Тобою: за грѣхи за наши посылаешь...

Лапша твердилъ между тѣмъ, что „умирать время“ — вотъ все, что можно было разобрать посреди его стоновъ и оховъ и вздоховъ. Иванъ и самъ ужъ каялся, что повѣдалъ имъ обо всемъ этомъ. Одно то, что тетушка Катерина заставила его повторить со всѣми подробностями о встрѣчѣ съ Филиппомъ, что̀ сильно задерживало его, тогда какъ все сильнѣй и сильнѣй влекло его убѣдиться въ цѣлости инструмента; съ другой стороны, ему жаль было видѣть, какъ убивались Лапша и Катерина. Удовлетворивъ желаніе послѣдней и снова присовокупивъ къ этому нѣсколько утѣшительныхъ догадокъ, Иванъ не замедлилъ направиться къ хутору. Мальчуганы снова ввязались провожать его. Напрасно Иванъ убѣждалъ ихъ остаться, увѣряя, что дѣло у него самое спѣшное и онъ пойдетъ очень скоро: они не хотѣли отстать. Пробѣжавъ вприпрыжку четверть версты, они сами увидѣли, наконецъ, что не осилятъ, и вернулись домой.

Если бъ сказали Ванѣ, что въ настоящую минуту къ его инструменту подходитъ воръ, онъ и тогда, кажется, не могъ бы идти съ бо̀льшею поспѣшностью. Чрезъ полчаса онъ входилъ къ мужику, у котораго остановился; но вмѣсто того, чтобъ освѣдомиться о цѣлости инструмента, онъ освѣдомился, гдѣ находилась мазанка Андрея. Ворота мазанки были заперты; на стукъ его никто не откликнулся; онъ постучался въ окно, но и оттуда не послѣдовало отвѣта.

— Кого тебѣ, батюшка? спросила баба, вышедшая изъ сосѣднихъ воротъ.

Узнавъ, чего надо, она сказала, что Андрей и вся семья его ушли въ поле убирать послѣдній овесъ. Такъ какъ незнакомцу была самая крайняя надобность видѣть Андрея, то баба разсказала, какъ пройти въ поле.

Отъ зари до настоящей минуты Ваня прошелъ безъ малаго верстъ тридцать; онъ такъ бодро пустился снова въ путь, что, можно было думать, его держали взаперти три мѣсяца сряду; улыбка на лицѣ его и веселые взгляды, устремленные во всѣ стороны, краснорѣчиво подтверждали такое предположеніе. Ваня находился уже въ пятистахъ

шагахъ отъ хутора, когда услышалъ за собою дребезжанье экипажа и спѣшный топотъ лошадиныхъ копытъ; вмѣстѣ съ этимъ слухъ его пораженъ былъ щелканьемъ бича и пѣснею, которую тянули тоненькою, визгливою фистулою. Обернувшись, онъ увидѣлъ статную сѣрую лошадь, запряженную въ бѣговыя дрожки; лошадью правилъ красивый молодой человѣкъ въ картузѣ, щегольскомъ казакинѣ и широкихъ казацкихъ шароварахъ.

„Должно быть, здѣшній помѣщикъ“, подумалъ Ваня, снялъ шапку и отошелъ немного въ сторону, хотя до лошади оставалось еще далеко.

Ваня не понялъ сначала, какъ баринъ, у котораго закрытъ ротъ, могъ пѣть такъ громко; секунду спустя, дѣло объяснилось: за спиною барина сидѣлъ человѣкъ, котораго Ваня принялъ сначала за мальчика. Онъ былъ горбатъ и спереди, и сзади; бѣлокурые, рыжеватые волосы его закладывались за уши, какъ у барина, что̀ придавало угловатому лицу горбуна и большому носу его окончательное сходство съ тонко заостреннымъ клиномъ; на заднемъ горбу красовалась гитара, державшаяся помощью шнурка, перекинутаго черезъ плечо, и качавшаяся изъ стороны въ сторону при каждомъ скачкѣ дрожекъ. Крѣпко ухватившись обѣими руками за нижнія перекладины экипажа, горбунъ выкрикивалъ пѣсню, слова которой ясно ужъ теперь разбиралъ Иванъ:

„...Внизъ спустяся къ ручеечку,
Близъ зеленаго лужка,
Вижу: баринъ ѣдетъ съ поля,
Двѣ собачки впереди.
Лишь онъ встрѣтился со мною,
Бросилъ взоромъ на меня.
Здравствуй, милая красотка!
Изъ котораго села?
Вашей милости крестьянка,
Отвѣчала ему я!..“

Хотя Иванъ посторонился и лошадь ни въ какомъ случаѣ не могла зацѣпить его, но господинъ, сидѣвшій на дрожкахъ, счелъ необходимымъ прокричать во все горло:

— Посторонись! прочь съ дороги! раздавлю!..

— Өедоръ Иванычъ, Өедоръ Иванычъ! пискнулъ горбунъ, высовывая изъ-за плеча его свою заостренную мордочку, — по ногамъ его арапникомъ... по ногамъ хорошенько!

Но Ѳедоръ Ивановичъ ограничился тѣмъ, что щелкнулъ арапникомъ по воздуху, засмѣялся и сказалъ:

— Ну, Егорка, пой... Пой, увеселяй меня—ну!

Егорка снова ухватился за ребра дрожекъ и снова затянулъ фистулою:

„...Отвѣчала ему я!..
Хоть родилась ты крестьянкой,
Можешь быть и госпожей,
И во всемъ новомъ нарядѣ
Будешь вдвое хороша!..“

Дребезжанье быстро удалявшихся дрожекъ заглушило слова пѣсни. Впрочемъ, Ваня къ ней и не прислушивался: его такъ сильно занимала дорога, ведущая въ поле Андрея, что онъ забылъ, казалось, и Егорку, и самого Ѳедора Ивановича.

Вскорѣ показалась часовня, о которой говорила баба. Онъ свернулъ влѣво на поле и пошелъ межою. Немного погодя, увидѣлъ онъ вдалекѣ мужика и бабу, которые накладывали на телѣгу снопы овса. Иванъ догадался, что то̀ были, вѣроятно, Андрей и жена его; трое ребятишекъ, скакавшихъ подлѣ телѣги, убѣждали его даже въ томъ, что онъ не ошибался; но онъ не пошелъ почему-то къ нимъ, а продолжалъ держаться межи. Шаговъ черезъ двадцать попались ему двѣ бабы, которыя вязали снопы и вѣрно наняты были Андреемъ; но онъ опять-таки не обратилъ на нихъ вниманія. Такъ какъ вниманіе его исключительно принадлежало небольшой части поля, гдѣ овесъ не былъ еще сжатъ и длинными, неправильными клиньями возвышался надъ жнивьёмъ, то онъ не замедлилъ увидѣть тамъ голову лошади, хватавшей справа и слѣва овсяные гроздья. Сдѣлавъ еще шаговъ десять, Ваня увидѣлъ Ѳедора Ивановича, а подлѣ него... Но такъ ли онъ видѣлъ? Не просмотрѣлъ ли какъ-нибудь? Нѣтъ: подлѣ Ѳедора Ивановича стояла Маша, дочь Катерины. Она не могла замѣтить Вани, потому что стояла къ нему спиною. Около нея вертѣлся, прихрамывая, горбунъ. Не было никакой возможности разобрать, что̀ говорилъ Ѳедоръ Ивановичъ и что́ отвѣчала Маша: оба говорили вполголоса; къ тому же Егорка не переставалъ брянцать на гитарѣ и, подвертываясь на хромой ногѣ то къ Ѳедору Ивановичу, то къ дѣвушкѣ, тянулъ во всю фистулу свою:

„Что ты, Маша, пріуныла,
Воздохнула тяжело?

Я въ любезнаго влюбилась,
На злодѣевъ не гляжу...
Взвейся, взвейся, сизъ голубчикъ,
Прилети сюда, ко мнѣ...“

Ваня не успѣлъ еще хорошенько протереть глаза, какъ вдругъ Ѳедоръ Ивановичъ подскочилъ къ дѣвушкѣ, обнялъ ее и поцѣловалъ. При этомъ на лицѣ Вани появилась такая улыбка, какъ будто онъ собрался разразиться неистовымъ хохотомъ. Онъ не засмѣялся, однакожъ...

— Помѣщикъ... помѣщикъ!.. вотъ все, что̀ могъ проговорить Ваня.

Онъ свѣсилъ руки, поболталъ ими съ такимъ видомъ, какъ будто самъ не зналъ, что̀ дѣлалъ, потомъ опустилъ голову, потомъ повернулся и пошелъ къ хутору еще скорѣе, чѣмъ шелъ оттуда. Голоса двухъ бабъ, на которыхъ не обратилъ онъ прежде вниманія, остановили его на минуту.

— Кажиный день такъ-то, касатка, говорила одна изъ нихъ,—она въ поле, и онъ въ поле... Стало-быть, полюбилась! Сказываютъ, вишь, сколько-то денегъ далъ...

— Куда ему деньги-то дѣвать?—милліонщикъ! Знаю, касатка, всю озолотитъ, и то останется, возразила другая баба.

Иванъ не дослушалъ дальше и продолжалъ отхватывать къ хутору еще скорѣе прежняго. Войдя къ мужику, у котораго остался инструментъ, Ваня спросилъ только: „гдѣ сѣновалъ?“ и, получивъ отвѣтъ, тотчасъ же туда отправился. Часовъ пять или шесть спустя послѣ этого (время уже приближалось къ вечеру), мужикъ, принявшій къ себѣ столяра, видя, что тотъ не возвращается, пошелъ провѣдать его на сѣновалъ. Ваня крѣпко спалъ на сѣнѣ. Лицо его нѣсколько какъ будто припухло, вѣки были красны, но улыбка попрежнему разсѣкала лицо его почти на двѣ равныя части.

„Экой, право, чудно̀й какой!.. право, чудно̀й! произнесъ мужикъ, ухмыляясь,—и спитъ, кажется, крѣпко спитъ, а все смѣется!..“

IV.

Встрѣча въ лугахъ.

Но не въ послѣдній разъ привелось Ивану такъ крѣпко спать на сѣновалѣ. Дни проходили за днями—Иванъ все еще проживалъ на хуторѣ. Каждое утро отправлялся онъ

въ луга провѣдать тетушку Катерину, и каждый разъ находилъ новое оправданіе въ томъ, что такъ долго заживался въ Панфиловкѣ: сегодня онъ точитъ инструментъ, завтра ему приходитъ благая мысль переждать до исхода сентября: дѣло вѣрнѣе будетъ — послѣ уборки всегда больше работы и у крестьянъ, и у помѣщиковъ; послѣзавтра онъ рѣшительно идетъ въ городъ и явился прощаться съ тетушкой Катериной. Но проходилъ назначенный день, Ваня снова навѣдывался къ жителямъ мáзанки, и снова готово было новое оправданіе. Онъ чувствовалъ, что тетушка Катерина догадывается, въ чемъ дѣло, но слова не говоритъ ей объ этомъ: и хотѣлось бы сказать, да какъ-то языкъ не ворочается: все ограничивалось, какъ всегда, однѣми улыбками.

Житье Вани въ Панфиловкѣ было, однакожъ, слѣдствіемъ тайной рѣшимости. Рѣшимость явилась послѣ свиданія съ Машей, которое произошло вечеромъ того дня, какъ онъ впервые увидѣлъ ее на полѣ вмѣстѣ съ Карякинымъ и Егоромъ. Онъ теперь не сомнѣвался въ Машѣ: увѣренъ былъ въ ея расположеніи; но уйти изъ Панфиловки все-таки не было возможности. Начать съ того, что послѣ каждаго разговора съ Машей, возникала самая крайняя необходимость переговорить еще разъ. Кромѣ этого, преслѣдованія молодого Карякина смущали, надоѣдали и безпокоили Машу. Все это: и надобность бесѣдовать съ дѣвушкой подъ-вечеръ, и ея безпокойство, и волокитство Карякина, ясно доказывали Ванѣ, какъ важно присутствіе его въ Панфиловкѣ.

Карякинъ сильно возмущалъ столяра. Иванъ все бы не такъ, кажется, смотрѣлъ на него, если бъ тотъ былъ дворянинъ, или помѣщикъ. „Вѣстимо, сталъ бы тогда больше оберегать себя—сталъ бы опасаться, крестьянъ своихъ совѣститься, думалъ Иванъ, — а этотъ чтò? такъ, шушера! только въ казакинѣ ходитъ, да на сотенной лошади ѣздитъ!.. Кого ему совѣститься? да и совѣсти-то откуда быть?.. Того и гляди выкинетъ недобрую какую штуку... Отъ него все станется... Главная причина: денегъ оченно много; начнетъ ими сыпать... всѣхъ переманитъ на свою сторону. Эхъ!..“ заключалъ всегда Иванъ, нахмуривая лобъ и какъ бы негодуя на улыбку, которая совершенно некстати являлась вдругъ на губахъ его. „Знамо, совѣсти нѣтъ! подхватывалъ онъ каждую минуту, — вотъ, вѣдь, ѣздитъ въ домъ къ помѣщицѣ: племянницу, ска-

зываютъ, сватаетъ — чего еще надо? Нѣтъ, мало, стало быть: къ дѣвкѣ деревенской подольщается, всякими манерами къ себѣ заманиваетъ. Какая послѣ этого совѣсть... Эхъ!..“

Ивана столько же, впрочемъ, если не больше, возмущалъ горбатый Егоръ, приспѣшникъ и помощникъ Карякина въ дѣлахъ волокитства. Узнавъ отъ Маши въ первый же вечеръ о продѣлкахъ Егора, онъ тогда еще высказалъ неодолимое желаніе пощупать ему оба горба. Егоръ не выходилъ у него изъ головы; даже ночью, когда лежалъ Иванъ на сѣновалѣ, стоило вспомянуть горбуна— кулаки его страшно сжимались и такая улыбка раздвигала губы, какъ будто лежалъ онъ не на сѣнѣ, а на Егорѣ и наколачивалъ ему третій горбъ. Егоръ въ самомъ дѣлѣ не давалъ прохода дѣвушкѣ: онъ заглядывалъ раза по два, по три въ день на хуторъ, ловилъ ее въ полѣ и на дорогѣ, задобривалъ ее всячески, говорилъ льстивыя рѣчи, приносилъ подарки—словомъ, ухищрялся всѣми способами, чтобъ склонить въ пользу Карякина. Преслѣдованія эти были такъ явны, что Андрей и жена его неоднократно усовѣщевали Егора.

Узнавъ о послѣднемъ, Иванъ тотчасъ же явился къ Андрею. Андрей, Прасковья и столяръ такъ много слышали другъ о другѣ отъ Маши и Катерины, что знакомство было дѣломъ минуты: они сошлись очень скоро. Къ концу бесѣды Иванъ предложилъ свои услуги и отправился съ ними въ поле. Онъ такъ усердно жалъ, косилъ и вязалъ снопы, что къ солнечному закату уборка овса приведена была къ окончанію. Иванъ трудился столько же для себя, впрочемъ, сколько для Андрея: онъ думалъ отрѣзать Карякину способъ видѣться съ Машей. Теперь Карякинъ могъ встрѣтиться съ нею не иначе, какъ на улицѣ хутора, а это далеко не такъ удобно, какъ въ полѣ.

Но Егору некого было опасаться въ Панфиловкѣ: онъ ни на комъ не сватался. Егоръ приплелся на другой же день послѣ уборки на хуторъ и, улучивъ минуту, когда Маша вышла за водою, началъ къ ней подвертываться. Откуда ни возьмись, выскочилъ Иванъ и сталъ между ними. Такъ какъ первыя слова столяра встрѣчены были насмѣшкой, то онъ прибѣгнулъ къ угрозамъ и, безъ сомнѣнія, привелъ бы въ дѣйствіе обѣщаніе свое пощупать горбъ Егора, если бъ не удержали его Маша и Прасковья, которая, къ счастію, подоспѣла. Какъ ни хорохорился

Егоръ, однакожъ, послѣ этого онъ словно въ воду канулъ: о немъ не было ни слуху, ни духу. По прошествіи четырехъ дней, Маша созналась Ивану, что вчера встрѣтила Егора за околицей: онъ поджидалъ ее тамъ. Сначала онъ задобривалъ ее и такъ и этакъ, потомъ началъ грозить. Въ чемъ заключались эти угрозы — Егоръ не сказывалъ, но только страшно грозилъ—грозилъ подвести и дѣвушкѣ, и ея заступнику такую механику, что оба жизни не будутъ рады. Иванъ рѣшился сопровождать дѣвушку всюду, куда бы ни пошла она за предѣлы Панфиловки. Случай скоро представился. Прасковья попросила Машу снести въ сосѣдній хуторъ вязку льна, который брала взаймы. Узнавъ объ этомъ наканунѣ, столяръ выбрался ни-свѣтъ-ни-заря изъ сѣновала, миновалъ поле, обступавшее хуторъ, залегъ въ траву и сталъ дожидаться; но прошелъ часъ, другой, третій—Маша не показывалась. Наконецъ, Иванъ, терявшійся уже въ догадкахъ, увидѣлъ дѣвушку: она была не одна; ей сопутствовалъ кто-то; Ивану не трудно было узнать Егорку.

„Опять!..“ пробормоталъ парень сквозь стиснутые зубы и сдѣлалъ уже нетерпѣливое движеніе, чтобъ вскочить на ноги; но тотчасъ же, однако, пришла ему мысль запасть снова въ траву и дать время горбуну отойти подальше отъ хутора. „Увидитъ меня—сейчасъ припуститъ назадъ; нагонишь только въ хуторѣ... а тамъ ничего не сдѣлаешь. И безъ того худо говорить стали о дѣвкѣ-то“, подумалъ Иванъ, съ досадой отслоняя траву, которая мѣшала ему смотрѣть на дорогу. Видно было, что дѣвушка съ жаромъ убѣждала въ чемъ-то горбатаго своего спутника; она замѣтно ускоряла шагъ, чтобъ пройти какъ можно поспѣшнѣе пространство, отдѣлявшее ее отъ хутора до хутора. Послѣднее обстоятельство смягчило нѣсколько досаду Ивана; въ улыбкѣ его проявилось даже что-то насмѣшливое при видѣ, какъ горбунъ, выбиваясь изъ силъ, чтобъ поспѣть за дѣвушкой, закидывая хромой ногой, подвертывался къ ней то съ одного бока, то съ другого. Такъ было до тѣхъ поръ, пока Егоръ не вынулъ изъ кармана краснаго платка и не подалъ его дѣвушкѣ. При этомъ негодованіе овладѣло Иваномъ пуще прежняго. Какъ испуганный чибисъ, выскочилъ онъ изъ травы и пустился вдогонку за Егоромъ, который въ ту же секунду обратился въ бѣгство, крича во всю фистулу свою: „караулъ!“ и размахивая краснымъ платкомъ, который

забылъ впопыхахъ спрятать въ карманъ. Маша кричала, между тѣмъ, Ивану, прося его оставить это дѣло; она хотѣла даже удержать его, но Иванъ быстро вывернулся и, сказавъ: „ступай своей дорогой, ничего не бойся!" полетѣлъ снова вдогонку. Фистула Егора и крики „караулъ!" ни къ чему не послужили: ихъ нельзя было слышать изъ хутора. Какъ ни работала хромая нога его, какъ ни размахивали руки — все это мало также принесло пользы: въ ста шагахъ отъ Маши, которая быстро удалялась, Иванъ поймалъ Егора за воротъ и съ одного маха бросилъ на-земь. Упавъ на спину, Егоръ подставилъ тотчасъ же впередъ здоровую ногу; но нога послужила Ивану рычагомъ, чтобъ снова повернуть Егора спиною кверху. Началась жестокая свалка. Какъ ни былъ малъ горбунъ, однакожъ, съ нимъ не такъ легко было справиться: за слабостью рукъ онъ лихо защищался зубами; наконецъ, столяръ все-таки скрутилъ врага и отбарабанилъ ему порядочную тревогу по горбу и по шеѣ.

— Теперь ступай, жалуйся! сказалъ Иванъ, поспѣшно приподымаясь, между тѣмъ, какъ Егоръ продолжалъ лежать на спинѣ въ скорченномъ положеніи съ приподнятою ногою, — ты своему хозяину обо всемъ разскажешь, а я Анисьѣ Петровнѣ, барынѣ, обо всемъ разскажу... обо всѣхъ вашихъ дѣлахъ ей повѣдаю...

Видя, что дѣло пошло на разговоръ, горбунъ опустилъ ногу и всталъ; блѣдное лицо его покрыто было пòтомъ и пылью. Онъ началъ оправляться и чиститься съ такимъ видомъ, какъ будто съ нимъ не произошло ничего особеннаго; взглянувъ на него, можно было думать, что онъ попросту споткнулся и упалъ, а Иванъ подбѣжалъ къ нему и помогъ ему подняться на ноги. Выраженіе поблѣднѣвшаго лица сильно, однакожъ, противорѣчило тому, что̀ хотѣлъ показать Егоръ; онъ, кажется, такъ бы вотъ и прыгнулъ и вцѣпился въ столяра, если бъ хватило смѣлости. Злобу Ивана, наоборотъ, какъ рукой сняло.

— Вишь, братъ, произнесъ онъ увѣщевательно, — говорилъ, отстань! говорилъ, не приставай къ ней!... Вотъ теперича...

— Ну, да ладно, ладно... сквозь зубы проговорилъ Егоръ, у котораго руки, ноги и голова дрожали, — ладно... Погоди... мы еще съ тобою раздѣлаемся...

— Что̀ жъ ты, опять стращать началъ?.. крикнулъ Иванъ, мгновенно разгорячась.

— Нѣтъ... ничего... вымолвилъ Егоръ, понижая голосъ и бросая на противника ненавистные взгляды,—ничего... я говорю только: погоди!..

Съ этими словами Егоръ пріосанился, заложилъ за уши растрепавшіеся волосы, надѣлъ картузъ, принадлежавшій когда-то Карякину, и, припадая на хромую ногу, не безъ достоинства направился въ обратный путь. Иванъ, у котораго не совсѣмъ еще улеглось сердце, засмѣялся ему вслѣдъ, какъ бы желая дать знать, во что̀ ставилъ его угрозы.

— Эй! крикнулъ онъ,—эй! забылъ платокъ-атъ взять!.. Поди подыми! подхватилъ столяръ, подбрасывая носкомъ сапога платокъ, предназначавшійся Машѣ и забытый Егоромъ на травѣ.

Егоръ далъ Ивану отойти, медленно, какъ бы прогуливаясь, вернулся назадъ, поднялъ платокъ, тряхнулъ имъ по воздуху и положилъ въ карманъ. Послѣ этого онъ продолжалъ путь къ дорогѣ, которая соединяла Панфилово съ усадьбой Карякина. Егоръ рѣшился почесать горбъ и шею не прежде, какъ когда Иванъ не могъ этого видѣть. Побои для него были послѣднимъ дѣломъ: въ веселыя минуты, особенно подъ пьяную руку, онъ сознавался, что ему случалось иногда по цѣлымъ часамъ *проживать на кулакахъ;* но кулаки кулакамъ рознь. Кулаки, попавшіе на горбъ Егора, принадлежали большею частью лицамъ значительнымъ, богатымъ купцамъ или помѣщикамъ, къ которымъ переходилъ онъ изъ рукъ въ руки, въ качествѣ потѣшника, шута и скомороха. Въ огромномъ числѣ кулаковъ, сыпавшихся на Егора, находились, конечно, такіе, которые составляли неотъемлемую собственность мѣщанъ, лакеевъ и даже мужиковъ. Но потому ли, что онъ забылъ о нихъ, или потому, наконецъ, что эти лакеи, мѣщане и мужики, несмотря на низость званія, все-таки имѣли больше значенія въ глазахъ Егора, чѣмъ какой-нибудь двадцатилѣтній мальчишка, никогда еще не чувствовалъ онъ себя столь оскорбленнымъ, какъ въ настоящую минуту.

Мало-по-малу, однакожъ, угловатыя, отвратительныя черты его стали оживляться улыбками: онъ какъ будто что-то придумалъ, и плутовское, радостное выраженіе лица ясно показывало, что онъ оставался доволенъ своей выдумкой. Какъ ни былъ Егоръ ничтоженъ и презрѣненъ, отъ него можно было ожидать весьма многаго: никто не

подозрѣвалъ, и тѣмъ менѣе помѣщики, щелкавшіе его по носу, сколько пронырства, лукавства и злобы таилось въ маленькомъ горбунѣ. Первыя проявленія этой злобы дорого, впрочемъ, ему стоили. Еще въ младенческомъ возрастѣ онъ такъ больно укусилъ грудь матери, что та не удержала его и выронила на̀-земь—онъ сдѣлался горбатымъ; десяти лѣтъ, онъ сталъ въ упоръ какой-то лошади и началъ бить ее палкой по мордѣ; лошадь опрокинула его и провезла колесо черезъ его ногу. Благодаря, вѣроятно, фистулѣ своей, онъ выбранъ былъ бариномъ въ пѣвчіе. Съ первыхъ же дней товарищи возненавидѣли его; онъ не столько выкрикивалъ нотъ на новомъ своемъ поприщѣ, сколько испускалъ жалобъ подъ лозами и пинками пѣвчихъ. Баринъ умеръ; пѣвчіе получили свободу. Егоръ сталъ переходить изъ одного хора въ другой, но нигдѣ не проживалъ болѣе мѣсяца: его выгоняли или за пьянство, или за какую-нибудь мерзость. Наконецъ, Егоръ бросилъ церковное пѣніе и занялся гражданскимъ: послѣднее больше отвѣчало его наклонностямъ. Вооружившись гитарой, онъ сталъ тогда, какъ мы уже замѣтили, переходить отъ купца къ купцу, отъ помѣщика къ помѣщику. У насъ до сихъ поръ еще много помѣщиковъ, которые жить не могутъ безъ шутовъ и приживальщиковъ. Егорка съ лихвою вознаграждалъ ихъ за хлѣбъ, за водку и за кровъ: онъ пѣлъ пѣсни, плясалъ, брался передавать платки и серьги молодымъ бабамъ; смотря по уговору, сдѣланному заранѣе съ помѣщикомъ, онъ выпивалъ три графина квасу, или пролѣзалъ подъ амфиладу изъ дивановъ и стульевъ, когда проигрывалъ въ дурачки; когда же помѣщикъ оставался въ дуракахъ, что̀ происходило очень часто, Егоръ получалъ деньги или водку. Какъ ни забавлялись помѣщики, однакожъ, они никогда не держали его болѣе недѣли. Егорка выкидывалъ какую-нибудь мерзость—и его выгоняли вонъ. Такъ попалъ онъ, наконецъ, къ Карякину. Молодой мѣщанинъ билъ его, можетъ-быть, и чаще, и больнѣе многихъ другихъ, но Егоръ оставался имъ чрезвычайно доволенъ; онъ сразу смекнулъ, что Ѳедоръ Ивановичъ простоватъ, мотоватъ, любитъ пѣсни, любитъ завихриться, любитъ бабенокъ — словомъ, такой малый, какого давно искалъ Егоръ. Благодаря склонности Ѳедора Ивановича къ гульбѣ, благодаря непомѣрной скукѣ, которую терпѣлъ онъ, благодаря его простотѣ и крайнему снисхожденію въ нравственномъ от-

ношеніи, Егоръ думалъ вѣкъ свѣковать въ усадьбѣ гуртовщика. Одно не нравилось Егору: именно, намѣреніе Карякина жениться на племянницѣ Анисьи Петровны. Нимало не сомнѣваясь, что тогда прости-прощай привольное житье, онъ не пропускалъ ни одной мало-мальски смазливой бабенки, чтобъ не обратить на нее вниманіе Карякина и не отвлечь его этимъ способомъ, хотя временно, отъ племянницы помѣщицы.

Послѣ всего сказаннаго, яснымъ сдѣлается, что Егоркѣ не столько были чувствительны колотушки Ивана, сколько появленіе въ степи столяра и вмѣшательство его въ дѣло, которое (такъ, по крайней мѣрѣ, казалось горбуну) начинало итти весьма успѣшно. Никто еще, изъ простыхъ, не нравился такъ Карякину, какъ Маша. Неужто всѣмъ хлопотамъ Егорки пропадать теперь даромъ? Нѣтъ; онъ придумалъ славную штуку! Какъ ни вертись, а ужъ Маша будетъ въ усадьбѣ гуртовщика! Сама Катерина пошлетъ ее туда — вотъ какъ!.. Чѣмъ больше думалъ горбунъ о придуманной имъ штукѣ, тѣмъ меньше сомнѣвался въ успѣхѣ.

V.

Хмель.—Старый знакомый.

Соображая свой планъ, Егоръ вышелъ къ мѣсту, гдѣ дорога изъ Панфиловки развѣтвлялась на два пути: одинъ путь велъ на усадьбу гуртовщика, другой къ кабаку; усадьба и кабакъ, находившіеся не въ дальнемъ разстояніи другъ отъ друга, располагались на большой дорогѣ, по которой гоняли гуртъ, или *товаръ*, какъ принято называть быковъ между гуртовщиками. Горбунъ пошелъ прямо къ кабаку; онъ не имѣлъ прежде такого намѣренія, но всему виною былъ платокъ, о которомъ онъ случайно вспомнилъ. Платокъ новенькій и шелковый; сколько стòитъ онъ Карякину — неизвѣстно; цѣловальникъ, вѣрнò, однакожъ, знаетъ цѣну; какъ человѣкъ знакомый, онъ, конечно, ужъ не обсчитаетъ.

Горбунъ заковылялъ съ такою поспѣшностью, что кабакъ видимо почти выросталъ передъ его глазами. То было длинное, бревенчатое зданіе, одиноко торчавшее посреди степи. Въ одной половинѣ помѣщались цѣловальникъ и его семейство; другая предназначалась для гостей; между тѣмъ и другимъ отдѣленіями находились узенькія,

темныя сѣни, загроможденныя пустыми бочками. Посѣтителей было мало: всего-на-все сидѣло четыре человѣка, если считать одного мальчика и не считать цѣловальника, представлявшаго изъ себя жирнаго мужичину, съ широкой черной бородою, разсыпавшейся вѣеромъ по красной рубахѣ. Два погонщика, пригнавшіе на зарѣ быковъ въ усадьбу Карякина, сидѣли рядомъ за особымъ столомъ; далѣе, черезъ два стола, помѣщался черноволосый, кудрявый человѣкъ, лѣтъ сорока; онъ былъ оборванъ до крайней степени, хуже даже слѣпого Фуфаева въ послѣднее время; подлѣ него, болтая босыми ногами, сидѣлъ мальчикъ, лѣтъ одиннадцати, съ рыжими, почти красными волосами и вздернутымъ кверху носомъ.

Мы уже сказали въ началѣ этого разсказа, что есть лица, въ которыхъ поражаетъ не столько самое выраженіе, сколько какая-нибудь черта или особенность: такія лица узнаются изъ тысячи.

Такъ и теперь: стòило взглянуть на черноволосаго, оборваннаго человѣка, стоило обратить вниманіе на его тонкій носъ съ горбинкой посерединѣ и подвижными, приподнятыми ноздрями, открывавшими съ обѣихъ сторонъ часть носовой перегородки, чтобъ сразу узнать въ немъ Филиппа, брата Лапши. Онъ сильно, однакожъ, измѣнился въ эти четыре-пять мѣсяцевъ: щеки осунулись; болѣзненный цвѣтъ кожи превратился въ свинцовый; глаза впали; въ нихъ замѣтно было больше энергіи и отваги, чѣмъ прежде. Перемѣна въ Степкѣ была еще значительнѣе: онъ такъ вытянулся въ этотъ короткій промежутокъ времени, что казался вдвое выше; если бъ не верхняя губа его, разсѣченная пополамъ, и не рыжіе волосы, торчащіе косяками и напоминавшіе артишокъ, нужно было долго всматриваться, чтобъ признать въ немъ мальчугана, досаждавшаго черневской знахаркѣ, Грачихѣ.

Но Егоръ не обратилъ даже вниманія на Филиппа и мальчика: ему, главное, хотѣлось показать себя передъ погонщиками, которыхъ видѣлъ онъ утромъ на дворѣ Карякина.

— Здорово, Софронъ! пискнулъ Егоръ, бросая картузъ на сосѣднюю лавку и обѣими ладонями разглаживая волосы.—Вишь, тебя не забываю, помню! Нутка-съ шкаликъ пѣннаго, самаго лучшаго, чтобъ первый сортъ былъ...

— Деньгами, что ли, разбогатѣлъ? посмѣиваясь, спросилъ цѣловальникъ.

Онъ стоялъ опершись локтемъ на огромную бочку съ пивомъ, которая лежала подлѣ двери; надъ бочкой висѣла на гвоздяхъ дюжина жестяныхъ заржавѣлыхъ кружекъ; подлѣ лежали еще двѣ бочки съ виномъ; въ углу торчали жестяныя трубки для вытягиванія вина.

— Деньгами разбогатѣлъ? вопросительно пискнулъ горбунъ.—Мы всегда въ аккуратѣ...

— У Карякина выманилъ, а?..

— Выманилъ? У насъ этого нѣтъ, чтобъ выманивать: бери сколько требуется...

— Не много ли? насмѣшливо проговорилъ Софронъ.

— Да вѣдь и денегъ-то у Ѳедора Иваныча много! поспѣшилъ перебить Егоръ, молодцуя передъ присутствующими. — Мнѣ всѣ эти дѣла его... всѣ счеты... обо всемъ этомъ сказываетъ потому, какъ онъ есть мнѣ пріятель, все единственно, ни въ чемъ, значитъ, не таится! заключилъ онъ, гордо поглядывая на погонщиковъ.

Но тѣ какъ будто и не замѣчали его: они молча попивали вино, которое, повидимому, поглощало все ихъ вниманіе; слова горбуна нашли, однакожъ, усерднаго слушателя въ Филиппѣ: плутовскіе глаза его съ любопытствомъ остановились на горбунѣ.

— Теперича, который послѣдній гуртъ въ Москву гоняли, пятнадцать тысячъ получилъ Ѳедоръ Иванычъ! продолжалъ Егоръ.—Пятнадцать тысячъ—вмѣстѣ считали...

— Не всѣ же его; чай, отцу пошлетъ.

— Отцу? Тамъ когда еще пошлетъ! пока у насъ! Вотъ намедни въ городъ ѣздилъ—то-то гуляли! фа-а! Погляди: вотъ платокъ мнѣ купилъ. Носи, говоритъ, братъ, Егоръ, носи отъ меня на память!.. Такой душа малый! Каждый день даритъ: дѣвать некуда! Вотъ теперича хошь бы этотъ платокъ, куда мнѣ его, даромъ шелковый...

— Отдай мнѣ, коли лишній; намъ дѣло подходящее! сказалъ Софронъ.

— Возьми, пожалуй! произнесъ Егоръ, становясь спиною къ посѣтителямъ и выразительно мигая цѣловальнику. — У насъ этого добра-то, тряпокъ-то, сундукъ полный... На, бери...

Софронъ взялъ платокъ и, усмѣхаясь, вышелъ въ сѣни. Егоръ высоко поднялъ голову и сталъ прохаживаться мимо посѣтителей, насвистывая удалую пѣсню. Немного погодя, Софронъ явился и поставилъ на пустой столъ штофъ вина и стаканъ. Егоръ поднесъ вино къ губамъ,

хлебнулъ и поморщился, еще хлебнулъ и еще поморщился.

— Полно ломаться-то, пей! Оченно ужъ разборчивъ! сказалъ Софронъ, снова прислоняясь локтемъ къ пивной бочкѣ.

— Будешь разборчивъ: я вотъ сейчасъ такую рябиновку пилъ, первый сортъ: помѣщица Иванова потчивала...

— Ты развѣ оттуда?

— Да; посылала за мной лошадь, безъ запинки проговорилъ Егоръ, допивая стаканъ,—посовѣтоваться насчетъ, то-есть, какъ просьбу писать.

— Это насчетъ чего?

— О лугѣ тягаться хочетъ... что лугъ отняли, которымъ десять лѣтъ владала.

— Ну, братъ, пиши не пиши, твоя просьба не поможетъ, вымолвилъ Софронъ. — Сказываютъ, господа, что̀ крестьянъ-то на лугъ на этотъ поселили, добрѐ богаты... Гдѣ ей съ ними тягаться! Только деньги разсоритъ. У нихъ, у тѣхъ господъ-то, сколько-то тысячъ душъ, сказываютъ.

— Ничего! Мы свое дѣло справимъ съ Ѳедоромъ Иванычемъ. Ѳедоръ Иванычъ держитъ ея руку... У тѣхъ господъ дӯши, можетъ, еще дӯши-то голыя: у Ѳедора Иваныча деньги...

— Ну, нѣтъ, братъ, у твово Карякина руки коротки съ ними мѣриться! Ему и въ дѣло входить не изъ чего... Станетъ онъ, какъ же, станетъ сорить деньгами для Ивановой!

— То-то и есть, что станетъ. У меня спроси: все знаю...

— Что̀ спрашивать! я и самъ не нонче пришелъ... А хошь и вступится, все ничего не возьметъ, подхватилъ Софронъ,—у тѣхъ господъ денегъ-то еще больше; ужъ это по тому одному видно, какъ они наградили крестьянина, котораго сюда выселили; сказываютъ: четыре сотни дали...

Извѣстіе это, сверхъ всякаго ожиданія, не произвело ни малѣйшаго дѣйствія на Филиппа; онъ только что успѣлъ побывать у Лапши, вывѣдалъ всѣ дѣла его, и зналъ, что слова Софрона ни на чемъ не основывались. Егоръ подтвердилъ такое мнѣніе: услышавъ о четырехстахъ рубляхъ переселенцевъ, онъ допилъ второй стаканъ и залился звонкимъ смѣхомъ... Онъ объявилъ Софрону, что знаетъ дѣла переселенцевъ такъ же вѣрно, какъ каря-

кинскія дѣла. У переселенцевъ не только четырехсотъ рублей, гроша нѣтъ.

— Вотъ какъ! подхватилъ онъ, подсмѣиваясь, — раза два письма имъ писалъ, просили очень, такъ даже гривенника не нашли... бились, бились, всего восемь копеекъ сколотили. Мнѣ, знамо, наплевать... я такъ съ нихъ, для смѣха требовалъ. Не токмà денегъ, хлѣбомъ и тѣмъ скучаютъ — вотъ какъ господа наградили! Деньги, точно, были бы у нихъ, да только не черезъ господъ, а черезъ моего Ѳедора Иваныча, черезъ меня—все единственно...

— Какъ такъ?

— А такъ! Меня послушаютъ, въ небольшомъ разстояніи капиталъ наживутъ... Есть, примѣрно, такая механика... подвести можно!.. мигая, произнесъ Егоръ и налилъ третій стаканъ.

Филиппъ сдѣлался внимательнѣе.

— Вишь ты, братецъ ты мой, началъ Егоръ, у котораго языкъ развязывался съ каждымъ глоткомъ,—есть у этого мужика... у той бабы, Катериной звать, есть у нихъ дочка, живетъ у Андрея въ Панфиловкѣ. Вотъ мы съ Ѳедоромъ Иванычемъ около ней теперь хлопочемъ: оченно, значитъ, ему полюбилась... Извѣстно, богачъ! всю можетъ озолотить, коли захочетъ; и мать, и отца, всѣхъ озолотитъ... Да вотъ, поди жъ ты! то-то, значитъ, дура-то деревенская, счастья своего не видитъ...

— Что? не поддается?..

— Чего? крикнулъ Егоръ, прихлебывая.—Нѣтъ, это, братъ, шутишь! не таковскихъ видали, да и тѣ не отвертывались... Отъ насъ не отвертишься! подхватилъ онъ, мигая и подбочениваясь.—Не то, братецъ, не то. Дѣвка не прочь, да есть тутъ одинъ такой человѣчекъ... онъ причиной... дѣло все портитъ...

— Что жъ это за человѣкъ? спросилъ Софронъ, который потѣшался надъ горбуномъ.

— Такъ, сволочь самая, а туда же! куда мы, туда и онъ! Пришелъ, вишь ты, изъ ихнихъ мѣстъ, откуда дѣвка-то, парень такой, столяръ, сказываетъ... Провѣдай обо всѣхъ этихъ нашихъ дѣлахъ съ Ѳедоромъ Иванычемъ, возьми да и вступись: а та, дура, руку его держитъ... Да нѣтъ, это онъ вретъ, не удастся ему! Дай срокъ, дѣвка не отвертится, это само собою... А онъ... подвернись только, мы ему покажемъ, всѣ кости пересчитаемъ! подхватилъ горбунъ, разгорячаясь болѣе и

болѣе,—мы ему покажемъ, какъ съ кулаками лазить!.. Ужъ погоди! подсмолю такую механику, будешь, собака, помнить!..

Смѣхъ Софрона перебилъ его.

— Видно, братъ, ты не изъ-за дѣвки одной на него серчаешь?.. сказалъ цѣловальникъ,—ужъ онъ не поколотилъ ли тебя—а?..

— Меня поколотилъ? меня? Нѣтъ, братъ, руки коротки; семь верстъ не доѣхалъ меня колотить-то!..

— Ужъ будто тебя никто и не бивалъ? А Карякинъ-то? Самъ намедни признался...

— Самъ признался... самъ признался! перебилъ горбунъ, передразнивая позу и голосъ Софрона, при чемъ Степка закатился во все горло; за нимъ засмѣялись погонщики и Софронъ.

Егоръ оглянулъ всѣхъ ихъ шальными глазами, допилъ третій стаканъ и сѣлъ къ порожнему столу между погонщиками и Филиппомъ, лицо котораго, во все продолженіе послѣдняго разговора, то оживлялось, то дѣлалось мрачнымъ. Хмель сильно шумѣлъ въ головѣ Егора; онъ помнилъ, однакожъ, все, что̀ сказано было цѣловальникомъ. Желая, вѣроятно, оправдаться въ мнѣніи присутствующихъ, онъ объявилъ, прежде всего, что Карякинъ бить его не можетъ, потому что они пріятели; они часто борются, такъ, въ шутку, силу пробуютъ: вотъ о чемъ говорилъ намедни Егоръ и что дало поводъ Софрону думать, будто Карякинъ бьетъ его. Затѣмъ горбунъ, языкъ котораго начиналъ путаться, снова перешелъ къ дѣвушкѣ. По его мнѣнію, Маша ничего не стоила; на мѣстѣ Ѳедора Ивановича, онъ плюнулъ бы на нее послѣ первой неудачной попытки. Надо знать себѣ цѣну: Ѳедоръ Ивановичъ красавецъ, молодъ; нравомъ малый-душа, богатъ, какъ чортъ, всю семью ея озолотить можетъ; а она еще ломается! Она того не знаетъ, дура полоротая, не знаетъ она, каковъ есть такой человѣкъ Ѳедоръ Ивановичъ! Ужъ если кто понравился ему—надо быть первой въ свѣтѣ долбяжкой, чтобъ его не слушать. Недавно еще одной мѣщанкѣ, такъ изъ себя, даже не очень красивой, понравилась только — отсыпалъ цѣлую тысячу; прошлаго года цыганка полюбилась—въ три-четыре мѣсяца передалъ ей тысячъ десять, да тысячъ на пять шалей, платковъ, серегъ, колецъ...

Софронъ, не перестававшій смѣяться, выразилъ сомнѣ-

ніе въ цифрахъ, приводимыхъ горбуномъ; онъ зналъ, что все, разсказанное Егоромъ, была отчасти правда, за исключеніемъ, впрочемъ, расходовъ, которые тотъ преувеличивалъ въ сорокъ разъ. Задѣтый за живое, Егоръ принялся по пальцамъ высчитывать доходы Ѳедора Ивановича. По словамъ его, Ѳедоръ Ивановичъ никогда не считаетъ денегъ: какъ только получитъ сумму, сейчасъ броситъ мѣшокъ, или бумажникъ, на столъ, позоветъ Егора и говоритъ: „считай, братъ; потомъ скажешь сколько". Щедрость Ѳедора Ивановича извѣстна цѣлому свѣту. Чтобъ окончательно убѣдить въ этомъ Софрона и присутствующихъ, Егоръ началъ разсказывать о гулянкахъ и попойкахъ, которыя они задавали въ уѣздномъ городѣ: тамъ происходило разливанное море; нужна была Карякину дружба Егора, чтобъ не разориться въ пухъ и прахъ. Вотъ теперь Карякинъ получилъ за послѣдній гуртъ пятнадцать тысячъ; ихъ давно бы ужъ не было, всѣ бы разсорилъ, кабы не Егоръ: онъ удерживаетъ Ѳедора Ивановича, потому что пятнадцать тысячъ деньги не малыя.

Софронъ, находившій удовольствіе раззадоривать охмелѣвшаго горбуна, выразилъ снова сомнѣніе. Егоръ вызвался сосчитать передъ нимъ деньги: коли копейкой выйдетъ меньше пятнадцати тысячъ, онъ позволялъ Софрону переломить ему здоровую ногу. Вслѣдствіе этого, Егоръ приглашалъ Софрона въ усадьбу, когда не будетъ Карякина, и обѣщался занять цѣловальника на столько, на сколько требуется времени, чтобъ сосчитать сотенными бумажками пятнадцать тысячъ. Войти же во вторую комнату, гдѣ лежала шкатулка, взять ключъ, который находился въ ящикѣ письменнаго стола, отворить шкатулку—все это дѣло одной минуты...

— Ты этакъ, смотри, братъ, не очень разсказывай! перебилъ цѣловальникъ, смѣясь во все горло.— Теперь всѣ, сколько насъ здѣсь ни есть, всѣ знаемъ, гдѣ деньги у Карякина: кому потребуется, пошелъ да и взялъ... дѣло подходящее! присовокупилъ онъ, какъ бы нечаянно взглядывая на Филиппа, который поспѣшно отвелъ глаза къ окну.

Въ отвѣтъ на такое замѣчаніе Егоръ посмотрѣлъ на присутствующихъ, какъ бы вызывая ихъ въ свидѣтели, что Софронъ былъ дуракъ неотесанный... Обокрасть Карякина! А развѣ Егора ни во что̀ ставили? Онъ не отлучается отъ усадьбы. Развѣ ни во что ставили двухъ ба-

траковъ, неотлучно находящихся при домѣ? А самъ Ѳедоръ Ивановичъ? а два пистолета, висящіе на стѣнѣ? а двѣ собаки, заплаченныя сто рублей каждая?.. Сунься только—костей не соберешь! При этомъ Егоръ, ни съ того, ни съ сего, запѣлъ вдругъ пѣсню, потомъ заговорилъ о Машѣ, потомъ перешелъ къ столяру, разразился страшными проклятіями и угрозами, застучалъ кулаками по столу и вдругъ снова запѣлъ было, но, не дотянувъ первой ноты, прислонился спиною къ стѣнѣ, сталъ жаловаться на головную боль, опустился на лавку и заснулъ, бормоча что-то подъ-носъ. Когда онъ проснулся, погонщики уже ушли; Филиппа и Степки не было; въ кабакѣ оставался одинъ Софронъ, который лежалъ на лавкѣ и хлопалъ сонными глазами. Онъ, какъ видно, потерялъ ужъ расположеніе смѣяться. На просьбу Егора, вынести стаканчикъ для похмелья, Софронъ промычалъ что-то и закрылъ глаза. Егоръ заикнулся о платкѣ, выставляя на видъ, что платокъ шелковый и, слѣдовательно, дороже стоитъ одного штофа вина; на это Софронъ сказалъ „ладно“ и погрозилъ свести счеты на спинѣ Егора, въ случаѣ, если онъ не отстанетъ. Егоръ, сдѣлавшійся несравненно снисходительнѣе безъ посѣтителей, удалился.

Солнце стояло на самомъ полуднѣ, когда онъ вышелъ изъ кабака. Платокъ, который, по мнѣнію его, попросту украденъ былъ Софрономъ, мигомъ перенесъ его къ встрѣчѣ со столяромъ; при этомъ досада, чувствуемая противъ цѣловальника, выскочила изъ головы Егора, чтобъ уступить мѣсто соображеніямъ о механикѣ, которую придумалъ онъ утромъ послѣ того, какъ Иванъ поколотилъ его. Торопливое ковылянье лѣвой ногой и улыбка ясно показывали, что горбунъ не сомнѣвался въ успѣхѣ своей выдумки. Пройдя шаговъ сто, онъ встрѣтился съ двумя погонщиками, которыхъ видѣлъ въ кабакѣ и которые гнали теперь воловъ, предназначенныхъ для отправки въ Москву. Егоръ подбоченился и гордо освѣдомился, дома ли Ѳедоръ Ивановичъ.

— Лошадь велѣлъ запрягать... ѣхать собирается, возразилъ одинъ изъ погонщиковъ, между тѣмъ, какъ другой звонко посвистывалъ, подгоняя быковъ.

Егоръ пустился чуть не въ бѣжки. Десять минутъ спустя, онъ приближался уже къ усадьбѣ, которая находилась отъ кабака всего въ полуверстѣ. Она занимала десятину луга; все это мѣсто обнесено было небольшой кана-

вой и валомъ; при входѣ въ усадьбу находился небольшой бревенчатый домъ, глядѣвшій переднимъ фасадомъ на дорогу; немного далѣе, по одной линіи, помѣщались: экипажный сарай, конюшня и длинная мазанка, въ которой жили работники Карякина и останавливались погонщики, пригонявшіе скотъ; на противоположномъ концѣ усадьбы возвышалось долговязое бревенчатое зданіе, служившее складочнымъ мѣстомъ для кожъ, сала, воловьихъ роговъ и другихъ предметовъ въ этомъ же родѣ, которыми торговалъ отецъ Карякина. Собаки, о которыхъ упоминалъ Егоръ, помѣщались въ конурѣ, одна—при входѣ въ домъ, другая — подлѣ долговязаго амбара. Онѣ, надо думать, дѣйствительно были очень злы: не задерживай ихъ цѣпь, онѣ бросились бы даже на Егора, хотя онъ считался домашнимъ человѣкомъ. Егоръ прошелъ мимо лошади, которую запрягалъ батракъ въ бѣговыя дрожки, и вошелъ въ домъ заднимъ крыльцомъ. Ѳедоръ Ивановичъ совсѣмъ уже готовъ былъ, чтобъ ѣхать къ Анисьѣ Петровнѣ; онъ только что напомадилъ волосы и вытиралъ жирные пальцы рукъ о старый халатъ, валявшійся на стулѣ.

— Что ты, каналья, такъ долго шлялся—а? спросилъ Карякинъ, не поворачиваясь къ горбуну и принимаясь расчесывать свои кудри передъ маленькимъ зеркальцемъ, стоявшимъ на столѣ.

Такое привѣтствіе со стороны пріятеля и „человѣка-души“, какъ называлъ его горбунъ, сильно ему не понравилось.

— Ну, Богъ съ вами! когда такъ, пускай все пропадаетъ! произнесъ онъ, махая рукою.—Для васъ хлопочу, какъ собака бѣгаю, языкъ высунувъ... Богъ съ вами!..

— Ну тебя! крикнулъ Карякинъ, топнувъ ногой, потому что проборъ не удавался. — Гдѣ платокъ? Отдалъ? Что̀ она сказала? примолвилъ онъ, ласково поглядывая въ зеркало.

— То-то платокъ... теперь: платокъ!.. да вы послушайте...

— Ну? (Карякинъ обернулся.)

— Платокъ—фю! вотъ гдѣ платокъ! вымолвилъ Егоръ, дѣлая движеніе, какъ-будто разрываетъ что-то на тысячи кусковъ.

Онъ разсказалъ Карякину о встрѣчѣ своей съ Иваномъ, разсказалъ, кто былъ Иванъ, когда пришелъ въ Панфиловку, и какой имѣлъ интересъ вступиться за Машу.

— Какъ же онъ смѣлъ платокъ разорвать?..

— Такъ, взялъ да и разорвалъ! „Плевать, говоритъ, мнѣ на васъ!“

Θедоръ Ивановичъ разразился ругательствами; онъ поклялся измочалить арапникъ на плечахъ Ивана при первой съ нимъ встрѣчѣ.

— Ну, Θедоръ Иванычъ, теперь вотъ какая штука! вымолвилъ Егоръ, двигая бровями и подмигивая, — что́ вы скажете, коли да эта Маша будетъ здѣсь завтра же вечеромъ, а, можетъ, и утромъ—а?

— Ахъ ты, каналья! крикнулъ Карякинъ, думая, что Егоръ надъ нимъ потѣшается.

— Нѣтъ, вы позвольте, Θедоръ Иванычъ... позвольте: настоящее говорю... завтра будетъ! Такую ужъ механику подсмолилъ, Θедоръ Иванычъ! примолвилъ онъ съ комическимъ униженіемъ.—Θедоръ Иванычъ, прикажите дать опохмелиться...

— Ничего не дамъ! сказалъ Карякинъ, который былъ щедръ въ тѣхъ только случаяхъ, когда хмель шумѣла въ головѣ его; къ тому же онъ думалъ что горбунъ хвастаетъ, вретъ по своему обыкновенію. Высказавъ ему свое мнѣніе, Θедоръ Иванычъ объявилъ, что водки давать не́ за что.

Егоръ клялся, между тѣмъ, что сдержитъ свое обѣщаніе; онъ позволялъ бить себя три мѣсяца сряду, просилъ выгнать изъ усадьбы, если завтра Маша не прійдетъ къ Карякину. Онъ просилъ только предоставить ему это дѣло и не разспрашивать о средствахъ.

— Ну, хорошо! сказалъ Карякинъ,—будетъ по-твоему, каждый день по графину водки и десять цѣлковыхъ награжденья.

— Ладно! по рукамъ! крикнулъ Егоръ, протягивая руку, которую Карякинъ оттолкнулъ.

Онъ повторилъ свое обѣщаніе; но такъ какъ Егоръ снова присталъ съ водкой, Карякинъ шлепнулъ его по лбу ладонью, надѣлъ картузъ, вышелъ, посвистывая, на крыльцо, сѣлъ на дрожки и, хлопая арапникомъ, полетѣлъ къ Анисьѣ Петровнѣ на хуторъ.

— Погоди жъ ты, поганый купчишка! дай срокъ... мы съ тобою за все сквитаемся! проговорилъ горбунъ, прищуриваясь на облако пыли, которое оставляли за собою карякинскія дрожки.

Онъ заложилъ волосы за уши, плотно надѣлъ картузъ

и направился въ луга, въ ту сторону, гдѣ находилась мазанка переселенцевъ.

VI.
Выходка Ивана и выдумка Егора.

Какъ только у Ивана отошло сердце (что произошло прежде еще, чѣмъ прибитый имъ горбунъ успѣлъ скрыться изъ вида), онъ понялъ, какъ поступилъ глупо и необдуманно, давъ волю кулакамъ своимъ. Не лучше ли было бы оставаться въ сторонѣ и вполнѣ довѣриться Машѣ? Онъ, конечно, проучилъ горбуна: горбунъ не станетъ теперь бѣгать за дѣвушкой; но такъ какъ Маша не потакала Егору, не слушала его рѣчей, не принимала подарковъ, онъ мало-по-малу самъ бы отсталъ; за нимъ отсталъ бы наконецъ и Карякинъ. Оба увидѣли бы, что здѣсь взятки гладки. Заступничествомъ своимъ Иванъ дастъ только огласку; о ней теперь пройдетъ худая слава по всему околотку—ужъ это вѣрно; Егоръ сильно объ этомъ постарается. Пожалуй, еще слухи дойдутъ до Катерины... Этотъ Егорка плутъ первой руки, всѣ говорятъ: отъ него все станется... Онъ и безъ того наканунѣ грозилъ чѣмъ-то дѣвушкѣ: что значили эти угрозы?

Иванъ легъ въ траву и положилъ голову въ ладони. Но чѣмъ больше соображалъ онъ обо всемъ случившемся, чѣмъ больше обдумывалъ послѣдствія, тѣмъ яснѣе видѣлъ, какую сдѣлалъ оплошность. „То-то вотъ, давно слѣдовало бы послушать Катерину, давно слѣдовало бы опредѣлится къ работѣ, къ мѣсту: ничего бы этого не было. Одно изъ двухъ: или довѣрять Машѣ, или нѣтъ; если довѣряешь, такъ чего же еще тутъ вступаться?.. Эхъ, худо дѣло! хуже всего то, не знаешь теперь, какъ исправить!“ повторялъ Иванъ, которымъ съ каждой минутой сильнѣй и сильнѣй овладѣвало смущеніе и безпокойство.

Онъ думалъ, думалъ и, наконецъ, придумалъ открыться во всемъ племянницѣ Анисьи Петровны. Племянница разскажетъ теткѣ о продѣлкахъ Карякина; тетка, вѣрно, разсердится па Машу и выгонитъ ее вонъ изъ хутора; Маша вернется къ матери... Иванъ отправится въ луга, повинится во всемъ передъ Катериной, уйдетъ въ тотъ же день въ городъ и начнетъ работать какъ лошадь. Иванъ не сомнѣвался, что помощь, которую можетъ получить черезъ него семейство Лапши, будетъ гораздо значитель-

нѣе той, которую доставляла Маша, живя батрачкой; семейство не останется, слѣдовательно, въ накладѣ — за это онъ ручался; кромѣ того, сама Катерина скажетъ ему спасибо, когда узнаетъ причину, которая вынудила его прибѣгнуть къ племянницѣ Анисьи Петровны. Этимъ способомъ Карякину и Егору окончательно отрѣзаны будутъ всѣ пути къ заманиванію дѣвушки. Поди-ка попробуй, сунься въ мазанку Катерины! Рѣшившись на такой подвигъ, Иванъ, не медля ни минуты, отправился въ Панфиловку. Дорогой онъ принялся обсуживать, какъ бы удобнѣе привести въ дѣйствіе свое намѣреніе: для того необходимо было проникнуть на барскій дворъ, или въ садъ, выждать тамъ барышню и наединѣ переговорить съ нею... Все это тотчасъ же оказалось невозможнымъ: Пьяшка портила все дѣло.

— Ужъ отъ нея не уйдешь!.. ничѣмъ не отдѣлаешься, подумалъ Иванъ.

Надо замѣтить, что въ послѣднее время Пьяшка преслѣдовала столяра съ бо̀льшею еще настойчивостью, чѣмъ Егоръ преслѣдовалъ Машу. Егоръ ловилъ Машу, Пьяшка ловила Ивана. Стоило Ивану показаться подлѣ дома помѣщицы, Пьяшка выростала предъ нимъ какъ изъ травы. Преслѣдованія Пьяшки, по всему видно, не были, однакожъ, внушаемы чувствомъ ненависти: черные, маслистые глазки ея ласково устремлялись на молодого столяра; при встрѣчахъ съ нимъ, въ рукахъ ея всегда появлялись обломокъ лепешки, кусокъ пирога, огурецъ, или яйцо; вступая въ разговоръ съ молодымъ парнемъ, она какъ бы нечаянно совала ему въ руку эти припасы. Предчувствіе не обмануло Ивана: едва поровнялся онъ съ маленькимъ флигелькомъ помѣщицы, Пьяшка показалась на порогѣ. Она держала обѣими руками суповую чашку; къ подолу ея цѣплялся семилѣтній оборванный мальчикъ, о которомъ она никогда не упоминала; мальчикъ поражалъ, однакожъ, сходствомъ съ Пьяшкой. Увидѣвъ Ивана, она тотчасъ же остановилась и принялась покручивать головой, украшенной на затылкѣ пучкомъ волосъ величиною съ грецкій орѣхъ. Отступить было поздно; Иванъ подошелъ къ ней и поздоровался.

— Здравствуй, Ваня, здравствуй... заговорила Пьяшка, толкая ногой мальчика, который такъ дергалъ ее за подолъ, что супъ въ мискѣ началъ плескаться, — куда это ты шелъ, Ваня? примолвила она, поглядывая на парня радостными, свѣтящимися глазками.

— Такъ... мимо шелъ.

— Что̀ жъ это ты, Ваня, никогда не зайдешь покалякать? Обѣщалъ, а ңе зайдешь... Приходи нонче вечеромъ, какъ скотину пригонятъ. У насъ никого нѣтъ, одинъ Дро̀нъ... да тотъ ничего... почитай глухой совсѣмъ.

— Недосугъ... право недосугъ... Есть... есть одно такое дѣло... переминаясь, произнесъ Иванъ.

— А что̀ такое? что̀ такое? какое-такое дѣло? проговорила Пьяшка съ такимъ оживленіемъ, что супъ снова расплескался.

— Пьяшка! Пьяшка!.. раздался въ эту минуту изъ дома гнусливый голосъ Анисьи Петровны.

— Сейчасъ сѣли обѣдать... сказала Пьяшка.—Ты, Ваня, погоди... голубчикъ, погоди!.. постой здѣсь; я мигомъ прійду...

Пьяшка быстро перенесла миску въ лѣвую руку, правой рукой дала три проворные плеска мальчику и, освободившись отъ него такимъ образомъ, поспѣшила въ домъ. Черезъ минуту Пьяшка снова вернулась.

— О чемъ же это хотѣлъ ты сказать, Ваня?.. Скорѣй говори, голубчикъ... Вишь требуютъ то-и-дѣло...

Ваня почувствовалъ въ то же время въ рукѣ прикосновеніе чего-то холоднаго; онъ посмотрѣлъ и увидѣлъ огурецъ, который какъ будто самъ собою попалъ ему въ ладонь.

— Куды мнѣ его? Мнѣ этого не надо, проговорилъ онъ.

— Ничего, Ваня, возьми, возьми; намъ это наплевать! Ну, такъ что жъ? говори скорѣй, голубчикъ...

— Да ты сдѣлаешь ли, о чемъ я попрошу?

— Скажи только, произнесла Пьяшка, быстро оглядываясь во всѣ стороны безъ всякой видимой причины,— скажи: для тебя я все, Ваня, сдѣлаю... Что̀ скажешь, то̀ и сдѣлаю, примолвила она съ такимъ взглядомъ, который не оставлялъ сомнѣнія въ ея готовности исполнить просьбу молодого парня.

— Ты не скажешь, о чемъ я попрошу тебя? Побожись.

— Отсохни руки и ноги... провалиться мнѣ стамши... лопни мои глаза...

— Пьяшка! Пьяшка!.. заголосила опять изъ дому Анисья Петровна.

— Ишь ее, неугомонная какая! Ты, Ваня, погоди... касатикъ, погоди! произнесла Пьяшка почти съ умоляющимъ видомъ,—я сейчасъ... И она стрѣлою понеслась въ домъ.

Ваня повертѣлъ огурцомъ и подалъ его оборванному мальчику, который тотчасъ же взялъ, откусилъ половину и, прикрикивая, побѣжалъ на улицу.

— Фу, батюшки, совсѣмъ затормошили! фу! проговорила Пьяшка, подскакивая къ столяру. — Ты, Ваня, не сумлѣвайся, сказала: сдѣлаю—стало, сдѣлаю... ну...

— Вотъ что̀... Пелагеюшка... проговорилъ Иванъ, запинаясь, — какъ бы такъ... сдѣлать?.. надо бы мнѣ съ барышней повидаться...

Пьяшка, очевидно, не ожидала такой просьбы: маленькіе глазки ея расширились; лицо изобразило удивленіе.

— Барышню?.. Зачѣмъ тебѣ барышню?

— Такъ... дѣло есть одно... до нея касающееся... дѣло такое.

— Что̀ жъ? что?

— Я тебѣ все разскажу потомъ... теперь, вишь, не время!.. все разскажу... ты только вызови ее...

— А барыня-то?

— Знамо, одну барышню надобно. Вызови ее въ садъ... тамъ, подлѣ пруда, есть мѣсто такое... никто не увидитъ!..

— Зачѣмъ тебѣ?.. зачѣмъ?..

— Случай такой вышелъ... все разскажу, только не теперь; вызови ее, Пелагеюшка, сдѣлай милость!..

— Ну, хорошо, проговорила Пьяшка, подпрыгивая отъ нетерпѣнія.—Стой тамъ у пруда, я приведу, какъ пообѣдаютъ... Провалъ бы тебя взялъ, право! совсѣмъ замучили...

Послѣднія слова относились, кажется, къ Анисьѣ Петровнѣ, голосъ которой снова раздался въ домѣ. На этотъ разъ Иванъ не дожидался уже возвращенія Пьяшки: онъ поспѣшилъ пройти стороною мимо двора, миновалъ гумно и, придерживаясь къ плетню, обогнулъ дальнюю часть сада; подойдя къ пруду, оглянулся онъ на стороны, улучилъ минуту и перемахнулъ черезъ плетень. Садъ былъ такъ густъ, что, глядя въ него изъ дома, не было возможности видѣть, что̀ происходило въ десяти шагахъ. Мѣсто, выбранное Иваномъ, приходилось уже къ концу сада: оно было совершенно безопасно. Иванъ притаился въ кусты малины и сталъ дожидаться.

Часъ спустя послѣ того, какъ Пьяшка разсталась съ Иваномъ, на крылечкѣ барскаго домика показалась Наташа. Полное, свѣжее лицо ея дышало оживленіемъ; грудь волновалась; свѣтлые глаза съ любопытствомъ устремлялись къ саду. При всемъ томъ, идя по двору, она за-

мѣтно задерживала шагъ; глядя на нее изъ дома, могло казаться, что она такъ себѣ ходитъ по двору и сама еще не знаетъ, идти ей въ садъ или на гумно. Но Пьяшка, сопровождавшая Наташу, сильно ее выдавала: Пьяшку съ ногъ до головы подергивало отъ нетерпѣнья; она то и дѣло подталкивала барышню подъ локоть и такъ выразительно кивала ей на калитку сада, что самъ полуслѣпой Дронъ (единственное мужское лицо въ дворнѣ Ивановой) могъ бы заподозрить и барышню, и Пьяшку въ какомъ-нибудь заговорѣ.

— Пьяшка, я, право, боюсь... проговорила Наташа.

— Вотъ! чего бояться? Идите знайте, идите...

— Да ты мнѣ скажи только, кто тамъ? кто дожидается?

— Ничего не скажу... идите только — сами увидите!.. Поскорѣй теперь завертывайте въ калитку... скорѣй! теперь никто не смотритъ.

— Пьяшка! Пьяшка! неожиданно прокричала Анисья Петровна, высовываясь изъ окна.

Въ эту минуту Пьяшкѣ легче бы, кажется, было получить ударъ палкой; скрыться, или показать видъ, что не слышитъ, не предстояло возможности: Анисья Петровна стояла въ окнѣ; Пьяшка сдѣлала отчаянный жестъ и поплелась къ крыльцу.

Наташа отворила калитку и вошла въ садъ. Она подвигалась еще медленнѣе, хотя тетка не могла теперь ее видѣть. Наташа далеко не была нѣжной, нервозной дѣвушкой, способной обмирать отъ впечатлѣній, подобныхъ тому, котораго ожидала; но впечатлѣніе было для нея ново, и ею невольно овладѣвали робость и смущеніе. Она шла опустивъ глаза въ землю; въ походкѣ ея проглядывала умышленная вялость и сонливость: ей, очевидно, показать хотѣлось, что она ничего не подозрѣваетъ, а идетъ къ пруду, потому что ей такъ вздумалось. Шорохъ въ кустахъ заставилъ ее приподнять голову. Увидавъ Ивана, она раскрыла удивленные глаза и отступила: видно было, она ожидала встрѣтить совсѣмъ не столяра; въ первую минуту она даже нѣсколько испугалась, но улыбка на лицѣ парня ободрила ее.

— Что ты? спросила она.

— Такъ-и-такъ... къ вашей милости, проговорилъ Иванъ, покашливая въ руку.

Онъ казался еще болѣе смущеннымъ и испуганнымъ, чѣмъ сама барышня.

— Такъ-и-такъ, сударыня... сдѣлайте вашу милость... заступитесь! повторилъ Иванъ, низко кланяясь и ободряя себя новымъ кашлемъ.

— Чего тебѣ? Если можно, я рада сдѣлать.

— Можете, сударыня! все это въ вашей власти! Затѣмъ собственно васъ и утруждаемъ...

— Ну, чего тебѣ? произнесла Наташа, выказывая нетерпѣніе обманутаго чувства.

— Вамъ извѣстно, сударыня, сюда, въ лугъ, крестьянъ недавно переселили.

— Да, знаю...

— Такъ вотъ у той бабы... Катериной звать... дочка находится... живетъ она въ батрачкахъ у вашего мужичка Андрея...

— Знаю... хорошенькая такая...

— То-есть... гм!.. не то, чтобъ... гм! какъ вамъ, впрочемъ, будетъ угодно... Такъ-и-такъ, сударыня, сдѣлайте вашу милость, заступитесь...

— Да въ чемъ же заступиться? Я, право, не понимаю...

— Очень, то-есть, обижены... сродственники, то-есть, дѣвушки этой... оченно обижаются. Я изъ ихнихъ же мѣстъ, такъ они мнѣ все это, примѣрно, сказывали: очень, говорятъ, обижены Карякинымъ...

— Ѳедоромъ Иванычемъ? съ живостью спросила Наташа.

— Ѳедоромъ Иванычемъ, сударыня... Сдѣлайте такую Божескую милость, запретите... вамъ стòитъ сказать ему—онъ все это сейчасъ, то-есть, для васъ оставитъ.

— Да что жъ сказать-то?

— Да чтò, сударыня, проходу не даетъ дѣвкѣ! Обольщаетъ ее всякими манерами... подсылаетъ къ ней этого Егора горбатаго... то-есть такія дѣла...

— Лжешь! быть не можетъ! Ѳедоръ Иванычъ не сдѣлаетъ этого! воскликнула дѣвушка.

Она тщетно старалась скрыть свое волненіе; щеки ея пылали; въ мягкихъ, добрыхъ глазахъ блеснула искра негодованія; но глаза ея такъ же скоро потухли и помутились, когда Иванъ началъ клясться, что все сказанное имъ была совершенная правда.

— Помилуйте, сударыня! Осмѣлился ли бы я говорить вамъ, коли бы не такъ было? подхватилъ онъ, слѣдуя за барышней, быстрыми шагами направлявшейся къ забору, чрезъ который перелѣзъ Иванъ,—сдѣлайте такую Божескую милость, поговорите ему: онъ васъ послушаетъ...

— Хорошо, хорошо; ступай! глухимъ голосомъ проговорила Наташа, останавливаясь у плетня и не поворачивая головы.

Въ это самое время со двора послышалось дребезжанье экипажа и топотъ лошади. Почти въ ту же минуту изъ дому раздался голосъ Анисьи Петровны:

— Наташа, гдѣ ты? Наташа! Өедоръ Иванычъ пріѣхалъ.

При этомъ извѣстіи Иванъ бросился въ кусты и побѣжалъ вонъ изъ сада. Наташа припала головою къ плетню и зарыдала. Такъ прошло минутъ десять. По прошествіи этого срока, неподалеку отъ мѣста, гдѣ стояла дѣвушка, показался Өедоръ Ивановичъ.

— Наталья Васильевна, гдѣ вы? Наталья Васильевна! покрикивалъ онъ, озираясь на стороны.

Наташа поспѣшила отереть слезы; она сдѣлала шагъ, чтобъ скрыться въ кустахъ, но Карякинъ замѣтилъ ее; она успѣла только отвернуться.

— Здравствуйте, Наталья Васильевна... вымолвилъ онъ, ускоряя шагъ и охорашиваясь. — Но, что̀ это съ вами? примолвилъ онъ, удивленный такимъ привѣтствіемъ.

Вмѣсто отвѣта, Наташа повернулась спиною и пошла впередъ.

— Позвольте узнать, какая такая причина? говорилъ онъ, слѣдуя за нею, — мы прежде не такъ встрѣчались... Сдѣлайте ваше одолженье, скажите, Наталья Васильевна!

Наташа продолжала идти. Карякинъ оглянулся назадъ: подлѣ никого не было; онъ взялъ ее за руку — она съ сердцемъ отдернула руку и остановилась.

— Оставьте меня! какъ вы смѣете? проговорила она, не поворачивая головы.

— Что̀ жъ это все значитъ-съ?..

— Значитъ то: отстаньте! я васъ знать не хочу!

— Помилуйте, за что̀ жъ? промолвилъ онъ, все еще какъ бы пошучивая.

— Я съ вами говорить даже не хочу—понимаете? произнесла она, на секунду поворачиваясь къ нему и показывая раскраснѣвшееся, заплаканное лицо, — отстаньте, убирайтесь—вотъ и все!..

— Какъ я васъ долженъ понимать?

— Понимайте, какъ знаете—мнѣ все равно! возразила она и снова пошла впередъ ускореннымъ шагомъ.

— Какъ вамъ будетъ угодно-съ! произнесъ Өедоръ Ивановичъ обиженнымъ тономъ.

Онъ пересталъ за нею слѣдовать, пощипалъ свои усики и направился къ дому.

— Когда такъ, такъ и не надо! Мы вѣдь очень гоняться-то не станемъ... Но что̀ за причина? Умирала обо мнѣ, а теперь... что̀ за причина? повторялъ Карякинъ вплоть до той минуты, какъ вошелъ въ домъ.

Онъ встрѣтился съ теткой въ дверяхъ прихожей. Анисью Петровну начинала тревожить мысль, что Карякинъ и племянница находятся наединѣ въ саду. Хотя Наташа не подавала повода дѣлать о ней дурныхъ предположеній, хотя тетка увѣрена была въ ея нравственности, но Анисья Петровна, какъ уже сказано, смотрѣла на дѣвушекъ своимъ особеннымъ взглядомъ: ее до смерти пугала полнота и дородство Наташи... Она ужъ послала Пьяшку отыскивать молодыхъ людей и сама готовилась за нею слѣдовать, когда показался Карякинъ.

— Ну, а Наташа-то гдѣ? развѣ ты не нашелъ ее? спросила она.

— Какъ же-съ! нашелъ! Онѣ въ саду-съ прогуливаются... Я пришелъ проститься съ вами, Анисья Петровна, отвѣтилъ онъ съ особеннымъ удареніемъ.

— Какъ проститься? Что̀ это ты, батюшка? только пріѣхалъ, да ужъ и прощаться!

— Я всегда съ моимъ великимъ удовольствіемъ, Анисья Петровна — вы сами знаете... но, воля ваша, оставаться теперь не могу-съ... никакимъ, то-есть, манеромъ.

— Это почему?

— Не знаю, что̀ такое случилось съ вашей племянницей... она прогнала меня чуть не взашеи... Обошлась самымъ дерзкимъ манеромъ-съ.

— Ахъ, она дура этакая! воскликнула старуха, мгновенно вспѣниваясь. — Ахъ, она... Нѣтъ, погоди, Ѳедоръ Иванычъ...

— Нѣтъ, воля ваша, мнѣ послѣ этого оставаться ужъ не приходится-съ...

— Да что жъ это она, съ ума, что ли, спятила? заплескалась Анисья Петровна и, поправивъ чепчикъ, дѣлавшій ее похожею на сѣдого обстриженнаго солдата, подбѣжала къ окну и стала звать племянницу.

Карякинъ воспользовался этимъ случаемъ и быстро исчезъ. Чѣмъ больше кричала Анисья Петровна, тѣмъ больше, казалось, могучее горло ея прочищалось и голосъ получалъ силы; но такъ какъ это не помогло, потому что

Наташа все-таки не являлась, тетка спустилась съ крылечка и направилась въ садъ, пыхтя и пѣнясь. На поворотѣ къ малиннику, увидѣла она племянницу: Наташа стояла у плетня и горько плакала. Но въ первую минуту горячности Анисья Петровна обыкновенно ничего не разбирала, ничего не видѣла: ей надобно было всегда хорошенько выплескаться прежде, чѣмъ прійти въ себя.

— Ахъ, ты дурища ты этакая! Съ ума, что ли, ты сошла? закричала она, накидываясь на дѣвушку.—Кого это ты, мать моя, гонять-то вздумала, изъ чужого-то дома, а? Да я сама тебя выгоню! Ахъ, ты, осина ты этакая глупая... тварь неблагодарная! Я бьюсь, какъ окаяпная какая-нибудь, за добраго человѣка, все для нея же, а она гонять его вздумала! Мало, что ли, стòитъ онъ мнѣ? Одного чаю да сахару чтò пошло! Сѣна да овса лошади его сколько отпустила!.. Ты, что ли, отдала мнѣ? Все для нея хлопочу! Отцы вы мои! Думала, вотъ человѣкъ пріискался, женихъ хорошій...

— Я за него не пойду, тетенька, хоть убейте, не пойду! рыдая, перебила Наташа.

Слова племянницы окончательно ошеломили старуху; она нѣсколько разъ раскрывала ротъ, какъ бы задыхаясь, и не могла произнести слова.

— Какъ! замужъ не пойдешь?.. Ахъ вы, отцы мои! Да она и то никакъ рехнулась! Сама съ нимъ амурилась, меня даже въ страхъ вводила, а теперь „не пойду!“ Нѣтъ, мать моя, пойдешь! пойдешь! Не вѣкъ мнѣ съ тобой возиться... Какого тебѣ еще надо, а? Да сама-то ты что? Только въ платьѣ-то ходишь, а мать-то была однодворчиха... Ахъ, ты, неразумная ты этакая!.. Ахъ, ты...

Анисья Петровна уставила кулаки въ бока и остановилась.

— О чемъ же ты ревешь, глупая? Ревешь о чемъ? спросила она, какъ бы внезапно смягчаясь.

Наташа слова не могла выговорить: рыданія заглушали ея голосъ.

— Да, можетъ, онъ что-нибудь сдѣлалъ? пристала Анисья Петровна.—Ты говори мнѣ, все сказывай!

— Онъ, тетенька... онъ самый дурной человѣкъ... я ни за что не пойду, лучше въ монастырь запрусь... проговорила, всхлипывая, Наташа.

— Да что жъ онъ сдѣлалъ-то такое, а? Что онъ сдѣлалъ? Я и ему потачки не дамъ! Ѣздилъ, ѣздилъ въ домъ,

закружилъ дѣвкѣ голову, а теперь бы такъ взялъ да уѣхалъ? Нѣтъ, это онъ вретъ! Ужъ не думаетъ ли онъ на попятный? произнесла старуха, какъ бы разсуждая сама съ собою. — Ахъ, вы, отцы мои! Да попробуй онъ только! Ахъ, онъ, мошенникъ! подхватила она, закипая снова, но ужъ теперь перенося негодованіе свое на Карякина.—Ахъ, онъ, поганецъ! Нѣтъ, мы еще поглядимъ, какъ онъ ѣздить-то не станетъ!.. Онъ самъ намекалъ, жениться, вишь, хочетъ!.. Отцу даже, говоритъ, написалъ объ этомъ! Что жъ онъ думаетъ, суда на него нѣту? Ахъ, онъ, разбойникъ! Ахъ, онъ, поганецъ!... Да я сейчасъ сама къ нему поѣду, сейчасъ... Ахъ, ты, мать моя!..

Наташа бросилась умолять тетку, чтобъ она ничего не дѣлала, просила дать ей нѣсколько успокоиться и обѣщала ей обо всемъ разсказать. Тетка мало-по-малу простыла, взяла племянницу и повела въ домъ.

Въ то время, какъ садъ Анисьи Петровны, этотъ скромный уголъ, гдѣ, въ продолженіе тридцати лѣтъ, тишина нарушалась только пѣніемъ соловьевъ, криками иволги и пискомъ ссорившихся воробьевъ, дѣлался свидѣтелемъ таинственныхъ переговоровъ, слезъ и волненій, въ ригѣ Андрея, другомъ, не менѣе мирномъ углу Панфиловки, раздавались крики, проклятія, лились горькія слезы и произносились рѣчи, которыя вчужѣ тяжко было слушать. Все это, какъ гроза, пронеслось надъ владѣніями Андрея. Когда, послѣ бѣгства изъ сада, Иванъ подошелъ къ ригѣ съ цѣлью выждать Машу и предупредить ее о бесѣдѣ своей съ барышней, тамъ слѣда уже не оставалось отъ всего случившагося. Ворота риги были настежь растворены; Иванъ увидѣлъ Андрея и Прасковью, которые раскладывали на токъ снопы овса и собирались молотить; Иванъ удивлялся, что Маши не было съ ними. Онъ вошелъ и поздоровался.

— Откуда ты, Иванушка? спросили въ одинъ голосъ мужъ и жена.

— Такъ... на лугъ ходилъ, возразилъ Иванъ, переминаясь.

— Въ какую сторону?

Иванъ неопредѣленно указалъ рукою, но въ тотъ край, однакожъ, гдѣ находилась мазанка.

— Не встрѣчалъ Катерины?

— Нѣтъ; а что?..

— Маленько только не засталъ ея, сказалъ Андрей.—

Оно, можетъ, и лучше, что не засталъ ея, примолвилъ онъ.—Катерина сюда приходила...

— Зачѣмъ?..

— То здѣсь было... не знаешь ужъ, какъ и сказать! произнесъ Андрей, переглядываясь съ женою.

— Да что жъ такое, дядя Андрей? Скажи... Ты знаешь, я имъ не чужой... какъ сродственникъ имъ — все одинаково; скажи пожалуйста, проговорилъ столяръ, которымъ овладѣло вдругъ сильное безпокойство.

— Знаю, знаю; да дѣло-то такое... не знаемъ, право, какъ въ толкъ взять, началъ Андрей. — Прибѣжала къ намъ Катерина, схватила дочь, давай ее бить, колотить... „до смерти убью!" кричитъ.

— Погоди, Андрей, перебила Прасковья, подходя къ Ивану, который улыбался, но тѣмъ не менѣе чувствовалъ, что ноги его подламываются, а сердце вздрагивало отъ невыносимаго волненія.—Стою я, батюшка, дома, у печки, ничего такого не чаю... вдругъ входитъ ко мнѣ Катерина... смотрю: растерянная такая... лица нѣтъ... „Гдѣ дочь?" говоритъ... А сама, такъ инда дрожитъ вся... „Что ты, молъ, говорю, Христосъ съ тобою!" а она все одно: „Гдѣ дочь? говоритъ, дочь гдѣ?" — „Въ ригѣ, говорю, снопы убираетъ". Она туда какъ кинется... Что, думаю, такое?.. Пошла за нею; слышу, крикъ такой, гляжу, такъ дочь-то и таскаетъ по ригѣ... Я давай скорѣй мужа звать... Прибѣжали, унимаемъ — ничего не слушаетъ! Таскаетъ ее, бьетъ... „Совсѣмъ убью!" говоритъ... Никакъ даже не отымешь дочь-то... даже страхъ взялъ.

— Что такое, думаемъ: баба смирная, добрая такая, къ дѣтямъ горячая... что съ ней?.. перебилъ Андрей. — Пуще всего рѣчамъ ея подивились: гонитъ ее, слышь, дочь-то, гонитъ къ Карякину! Сама бьетъ, проклинаетъ, а къ Карякину гонитъ!.. Мы и такъ и сякъ къ ней приступаемъ—нѣтъ, ничего не сдѣлаешь! Она все свое: „ступай къ Карякину!" кричитъ, „не то убью до смерти!"

— Что жъ такое?.. Что жъ такое?.. проговорилъ столяръ, кидая вокругъ растерянные взгляды.

— Что ты будешь дѣлать? Не уймешь никакъ! продолжала Прасковья.—Добрѐ ужъ очненно дѣвку-то жаль... такъ, сердечная, по земи-то и катается!.. А мать, какъ бѣшеная, такъ и рветъ ее... такъ и рветъ: кричитъ свое: „пошла къ Карякину! Ходила къ нему, кричитъ; была его полюбовницей, опозорила мать и семью свою — ступай къ

нему теперича!“ Видимъ, ополоумѣла баба совсѣмъ; насказалъ кто-нибудь!.. Слава Богу, дѣвка живетъ у насъ шесть недѣль: было время узнать ее... Ничего такого за ней худого не примѣчали; скромница дѣвка, одно слово сказать, что скромница... Да и ходить-то ей когда къ Карякину? Весь день на глазахъ у насъ; пошлешь куда, сами дивимся, какъ скоро она все это сдѣлаетъ... Мы опять приступили къ Катеринѣ; давай ее усовѣщевать да уговаривать... насилу въ толкъ взяла.

— То-то вотъ и есть, произнесъ Андрей, пожимая губами и покачивая головой, — не надо было пускать къ себѣ этого мошенника Егора. Я и прежде говорилъ о немъ Катеринѣ; онъ ко мнѣ николи не ходитъ... Отъ него ужъ не жди хорошаго!.. Не знаю только, съ чего онъ все это надѣлалъ?.. Потому больше, должно-быть, Маша завсегда прочь его гоняла, не слушала его... онъ взялъ да и сдѣлалъ...

— Что жъ онъ сдѣлалъ такое? спросилъ Иванъ такимъ голосомъ, какъ будто въ горлѣ его колъ засѣлъ.

— А то сдѣлалъ, пришелъ нонче въ обѣдъ къ Катеринѣ, да и говоритъ ей... Сама намъ подъ конецъ обо всемъ этомъ разсказала: „Маша“, говоритъ... такъ, къ примѣру, зачалъ стращать Катерину, „Маша, слышь ты, была у Карякина, а теперь заспесивилась, идти больше не хочетъ... Такъ вотъ, Карякинъ-то добрѐ осерчалъ на дѣвку; послалъ, слышь ты—это все Егоръ разсказываетъ— послалъ, слышь, его, Егора, къ Катеринѣ съ такими словами: „такъ-и-такъ, говоритъ, дочь двоя приходила ко мнѣ; чего жъ она, говоритъ, теперь спесивится? Теперь ужъ дѣла, говоритъ, не поправишь; такъ пускай ужъ лучше ко мнѣ ходитъ... Ты, говоритъ, заставь ее; по-крайности, дѣло тогда промежъ нами останется, никто объ этомъ не узнаетъ... А коли не заставишь, говоритъ, хуже будетъ: я, говоритъ, разславлю, по всей округѣ разславлю, кто у тебя дочь-то была...“ Та, какъ услыхала, сюда бѣжать, да, не разобрамши-то дѣла, и давай дочь таскать.

— Гдѣ жъ Маша?.. спросилъ Иванъ.

— Увела съ собою.

— Совсѣмъ?

— Нѣтъ, возразила Прасковья, — на три дня увела... Дѣвка ужъ добрѐ убивается очень, потому и взяла къ себѣ.

— Что жъ это такое, родные вы мои? что жъ это?.. Гдѣ жъ правда-то?.. воскликнулъ Иванъ, отчаянно махая руками.—Гдѣ жъ это онъ!.. я убью его!..

— Кого убьешь?

— Егора.

Надо думать, лицо Ивана, несмотря на улыбку, которая раскривила его пополамъ отъ праваго уха до лѣваго, показалось Андрею и женѣ его несовсѣмъ благонадежнымъ. Оба подскочили къ столяру и схватили его за руки.

— Что ты, глупый? перекрестись лучше... сказалъ Андрей.—Оставить надо все это дѣло.

— Да тебѣ-то что? Братъ ты, что ли, али сродственникъ?.. проговорила Прасковья.

— А хошь бы и братъ былъ — все одно; коли разумъ въ головѣ есть, надо оставить!.. Найдется и безъ тебя кто проучитъ за всѣ лихія дѣла... Что ты? что ты? очнись! Не твое дѣло совсѣмъ... лучше молчи, да виду не подавай никакого...

Андрей и жена его долго уговаривали Ивана. Дѣйствіемъ ли разумныхъ рѣчей ихъ, или благодаря собственнымъ размышленіямъ и мягкости нрава, Иванъ мало-помалу угомонился; онъ подъ конецъ далъ даже клятву слова не сказать Егору, если случай приведетъ съ нимъ встрѣтиться. При всемъ томъ Андрей и жена его не пускали Ивана отъ себя во весь вечеръ и пригласили даже остаться у нихъ на ночь.

VII.

Филиппъ и Степка.

Въ эту ночь, часамъ къ одиннадцати, долженъ былъ показаться полный мѣсяцъ; но тучи такъ сгустились къ этому времени, что не было возможности замѣтить, какъ взошелъ онъ и какъ, потомъ, закатился. Ночь была очень черна: нельзя было различать даже тѣхъ предметовъ, которые возвышались въ степи надъ линіею горизонта; небо и степь были одинаково черны. Изрѣдка, въ той или другой сторонѣ вспыхивали отдаленныя молніи, или, вѣрнѣе, зарницы, потому что за ними не слѣдовало громовыхъ ударовъ. Воздухъ былъ недвижимъ и душенъ. Малѣйшій звукъ слышался на далекомъ разстояніи. Но такъ какъ на десять верстъ кругомъ находились всего три-четыре хуторка и одно небольшое село, то все ограничивалось

лаемъ собакъ и стукомъ въ деревянныя караульныя доски. Разъ, далеко за Панфиловкой, прозвучалъ колоколъ; въ той сторонѣ располагалось село, куда жители окрестныхъ хуторовъ ходили къ обѣднѣ; но звуки колокола скоро замерли, и степь снова погрузилась въ непробудное молчаніе. Не было возможности опредѣлить съ точностью часа; но, принимая въ соображеніе давность заката, можно было думать, что было близко уже къ полуночи.

Около этого времени Филиппъ и Степка подходили къ дорогѣ, которая пролегала отъ знакомаго намъ кабака къ усадьбѣ Карякина. Они шли, впрочемъ, не отъ кабака, а съ противоположной стороны. Имъ оставалось версты полторы отъ усадьбы; дорога представляла самый кратчайшій и вмѣстѣ съ тѣмъ самый вѣрный путь; но они или не торопились, или, по расчетамъ Филиппа, слѣдовало имъ избѣгать дороги: они шли степью; изрѣдка Филиппъ посылалъ Степку къ дорогѣ, чтобъ увѣриться, точно ли идутъ они по одному направленію съ нею. Чѣмъ ближе придвигались они къ усадьбѣ, тѣмъ болѣе голосъ того и другого понижался. Если Степкѣ случалось засмѣяться, или пугнуть ночную птицу, которая близко пролетала, Филиппъ осыпа́лъ его бранью, или давалъ тумака; послѣднее, впрочемъ, случалось рѣдко: отецъ убѣдился, что тумаки подстрекали только мальчика дѣйствовать наперекоръ его приказаніямъ. Такое расположеніе мальчика къ противорѣчію вынудило подъ конецъ отца совсѣмъ прекратить тумаки; планъ, задуманный имъ, требовалъ, казалось, большой осторожности; онъ часто останавливался и прислушивался къ малѣйшему звуку. Разъ они дали огромный крюкъ въ цѣлую версту, чтобъ избѣжать встрѣчи съ гуртомъ, который лежалъ на отдыхѣ подлѣ дороги. Пройдя еще нѣсколько времени, Филиппъ остановился и сталъ прислушиваться долѣе обыкновеннаго, хотя на этотъ разъ ни одинъ звукъ не нарушалъ молчанія степи. Онъ тихо подозвалъ Степку.

— Э! отозвался мальчикъ.

— Тише... дьяволъ! прошепталъ отецъ, оглядываясь вокругъ,—теперь близко... Ты рази не видалъ, какія тамъ собаки-то?.. Можетъ, на ночь-то спущены: какъ разъ сцапаютъ!.. Заверни штаны повыше колѣнъ, а я пока лапти сыму, заключилъ Филиппъ, садясь на траву.

— Аль жаль лаптей-то? спросилъ мальчикъ, стоявшій уже съ засученными выше колѣнъ штанишками.

— Здѣсь бросить надо—вотъ что̀, возразилъ отецъ,—безъ нихъ легче... ноги не такъ шумятъ.

Степка ощупалъ грудь, которая сильно выпучивалась отъ чего-то засунутаго ему за пазуху и что̀ громко хрустѣло; послѣ этого онъ бросился на траву, перевернулся на спину и поднялъ кверху обѣ ноги.

— Тише... сатана! прошепталъ сквозь стиснутые зубы Филиппъ,—говорятъ, собаки услышатъ...

Степка вскочилъ на ноги и подошелъ къ отцу.

— Батя... ну, а какъ я не пойду съ тобою? произнесъ онъ такимъ голосомъ, какъ будто хотѣлъ поддразнить его.

— Э! глупый... право глупый! возразилъ отецъ задобривающимъ голосомъ, хотя въ сердцѣ его кипѣло негодованіе и онъ радъ бы былъ, кажется, тутъ же на мѣстѣ уходить своего спутника.

— Ну, а что̀ дашь, коли пойду, коли все по-твоему сдѣлаю? спросилъ Степка.

— Вѣдь сказалъ, сапоги куплю, рубаху новую — красную, шапку... опричь того, денегъ дамъ — покупай, что̀ полюбится!

— Да денегъ-то, можетъ, еще не найдемъ... можетъ, горбунъ-то прихвасталъ.

— Рази я на его слова полагаюсь? Ты, стало, не слыхалъ, что цѣловальникъ-то сказывалъ?.. „О себѣ, говоритъ, много нахвасталъ, а у купца у этого, говоритъ, точно денегъ множество. Недавно гуртъ продалъ — всѣ деньги дома... и лежатъ, говоритъ, точно, гдѣ горбунъ указывалъ...“ стало быть такъ...

— Да вѣдь вотъ онъ сказывалъ также, и у дяди Лапши денегъ-то много... намъ бы лучше туда сходить: тамъ не такъ опасливо... Я вѣдь про нихъ не теперича знаю все... подхватилъ Степка, снова какъ бы поддразнивая отца.

Безцеремонность и безстрашіе, которое замѣтно было въ обращеніи Степки съ Филиппомъ, объяснялось тѣмъ, что мальчикъ посвященъ уже былъ во всѣ тайны отца. Это произошло совершенно случайно. Вскорѣ послѣ переселенія семейства Лапши изъ Ма̀рьинскаго, самая отчаянная крайность застигла Филиппа: нужно было или лѣзть въ опасность и подвергнуться быть пойманнымъ, или подавить въ себѣ злобу противъ Грачихи и къ ней отправиться. Онъ избралъ послѣднее. Филиппъ явился очень

кстати; ворожба чернѐвской колдуньи какъ-то пріостановилась на это время: Грачиха пустила Филиппа; ей извѣстно было, что никто ловче его не уведетъ лошади, которую потомъ придутъ къ ней же отыскивать. Начались переговоры. Степка, какъ и всегда въ подобныхъ случаяхъ, отправленъ былъ въ сѣни. Но Степка подросъ; подросло также и его любопытство. Онъ отворилъ дверь съ такимъ искусствомъ, что ни Филиппъ, ни Грачиха этого не замѣтили: прокравшись къ перегородкѣ, мальчикъ услышалъ весь разговоръ: онъ узналъ прежде всего, что у него былъ дядя Лапша и тетка Катерина, которыхъ отецъ обкрадывалъ, стращая ихъ поджогами; узналъ, что сродственники эти отправлены господами въ степь; услышалъ, какъ отецъ, узнавъ, что Лапшѣ даны были деньги на переселеніе, тотчасъ же высказалъ желаніе послѣдовать за ними. Въ продолженіе этой бесѣды, Филиппъ и Грачиха часто не сходились, ссорились. Благодаря упрекамъ и угрозамъ, которыми чернѐвская колдунья осыпала тогда Филиппа, Степка узналъ о многихъ продѣлкахъ отца. Но любопытство дорого стоило Степкѣ: онъ зазѣвался, попался отцу и чуть не поплатился ребрами, а можетъ, и жизнью; но онъ вышелъ невредимъ изъ-подъ отцовскихъ кулаковъ и пинковъ Грачихи...

Степка какъ будто предвидѣлъ, какъ будто предчувствовалъ, какую выгоду принесетъ ему это подслушиванье. Съ того же самаго дня отецъ сдѣлался къ нему гораздо снисходительнѣе. Филиппъ начиналъ даже побаиваться сынишку: одна мысль, что этотъ ребенокъ, который бродитъ съ нимъ всюду, все знаетъ, все видитъ, и который однимъ словомъ, однимъ крикомъ, однимъ неосторожнымъ поступкомъ или дѣйствіемъ каприза можетъ выдать его съ руками и ногами, склоняла Филиппа къ снисхожденію; онъ иногда даже льстилъ ему и подлаживался всячески: другого способа не было управляться съ пострѣломъ. Филиппъ начиналъ грозить—и Степка начиналъ грозить. Только лаской да потачкой—какъ ни тяжело было Филиппу, какъ ни кипѣло его сердце—но этимъ только можно было купить себѣ безопасность. Мы видѣли изъ приведеннаго выше образчика, какъ ловко пользовался Степка новымъ своимъ положеніемъ.

Снявъ лапти, Филиппъ засучилъ точно такъ же, какъ Степка, штаны выше колѣнъ.

— Ну, Степка, пойдемъ! ласково вымолвилъ онъ, при-

падая губами къ уху мальчика.—Время!.. смотри... тихо подбирайся!..

Онъ пощупалъ карманъ, туго чѣмъ-то набитый, далъ мальчику руку, и оба вышли на дорогу. Шагахъ въ двадцати чернѣлъ ужъ домъ Карякина. Притаивъ дыханіе, едва касаясь земли, Филиппъ и мальчикъ прошлись нѣсколько разъ взадъ и впередъ мимо дома. Но все—и домъ, и дворъ, и принадлежавшія имъ зданія, хранили мертвое молчаніе; можно было подумать, что на пространствѣ десяти верстъ кругомъ не находилось живого существа.

— Ложись... теперь ползкомъ; сейчасъ канава будетъ, едва внятно шепнулъ Филиппъ.

Степка растянулся подлѣ отца, и оба поползли черезъ дорогу; немного погодя, руки ихъ нащупали край канавы. Канава была не глубока, но Степка могъ въ ней укрыться съ головою. Какъ ни бережно спускались они, но трескъ сухихъ стеблей на скатахъ и днѣ канавы тотчасъ же разбудилъ собаку. Шагахъ въ пятнадцати за валомъ раздалось неистовое бряцанье цѣпи и яростный лай.

— Ничего, привязана! шепнулъ Филиппъ.

Онъ быстро вытащилъ изъ кармана ломоть хлѣба, содралъ мякишъ и, помѣсивъ его между ладонями, сунулъ Степкѣ; потомъ, съ тою же быстротою, вынулъ кусокъ трута и спичку.

— Держи шапку; присядь къ землѣ... Надо скорѣй, пока не проснулись.

Въ сгущенномъ воздухѣ пронесся запахъ горящаго трута. Филиппъ взялъ изъ рукъ Степки приготовленный имъ мякишъ, положилъ трутъ, сдѣлалъ изъ мякиша подобіе маленькой гранаты съ отверстіемъ, чтобъ не погасалъ въ ней зажженный трутъ, и подалъ этотъ снарядъ Степкѣ.

— Смотри, ловчѣе, не промахнись!

Съ этими словами Филиппъ подсадилъ малаго, такъ что голова его и руки пришлись выше вала.

Собака рвалась какъ бѣшеная; другая собака, у отдаленнаго долговязаго амбара, вторила ей дружно. Въ сторонѣ, гдѣ-то подъ навѣсомъ, послышался сонливый голосъ:

— Чего развозились!.. цыцъ... вотъ я васъ!..

Филиппъ дернулъ Степку за ногу. Мальчикъ укрѣ-

пился колѣнями къ землѣ, размахнулся и бросилъ за валъ снарядъ.

— Взяла, шепнулъ онъ, быстро скатываясь внизъ.

Собака перестала вдругъ лаять; слышалось только брязканье цѣпи; потомъ она раза два взвизгнула и замолкла. Подруга ея, не слыша больше лая, тотчасъ же угомонилась.

— Ладно... одно дѣло справили, шепнулъ Филиппъ, выходя изъ канавы и вытаскивая Степку.

Онъ ощупалъ грудь мальчика, и убѣдившись, что пазуха его была плотно набита, далъ ему руку; оба пустились впередъ, придерживаясь края канавы. Достигнувъ мѣста, гдѣ канава дѣлала поворотъ вправо, они поспѣшно свернули за уголъ. Тутъ они остановились. Опять явился мякишъ; опять Степка присѣлъ къ землѣ съ шапкой и опять пронесся запахъ горящаго, тлѣющаго трута. Оба проворно прыгнули въ канаву и стали подбираться къ амбару, черная профиль котораго едва примѣтно отдѣлялась на темномъ небѣ. Шагахъ въ двадцати отъ него, услышали они, какъ собака рванулась изъ конуры и залаяла.

— Съ этой легче будетъ справиться; она ближе къ валу... произнесъ Филиппъ.—Ну! И онъ снова подсадилъ мальчика.

— Чтò? спросилъ онъ, слыша, что собака не унимается.

— Добрè вертится... промахнешься! возразилъ Степка.

— Валяй... ничего, ну?..

— Сцàпала! радостно отозвался Степка.

Лай дѣйствительно прекратился; его смѣнили чваканье, потомъ фырканье, потомъ раздалось протяжное жалобное стенанье, сопровождаемое звукомъ цѣпи, которую какъ будто судорожно встряхивали на землѣ; наконецъ все смолкло, и цѣпь, и собака.

Минуты три Филиппъ и его спутникъ не трогались ни однимъ членомъ и прислушивались; но кругомъ царствовала теперь такая же непробудная тишина, какъ въ то время, когда они подходили къ усадьбѣ. Филиппъ снова подсадилъ мальчика на валъ, потомъ самъ туда вскарабкался, и оба бережно стали подползать къ задней части амбара.

— Помнишь ли, Степка, какъ я тебѣ сказывалъ?.. шепнулъ Филиппъ.

— Ну!..

— Какъ только всѣ къ амбару къ этому кинутся, я въ домъ, а ты стой вотъ у этого угла, чтò сюда ближе... тутъ и притаись... Да мотри, не зѣвай: мало-мальски чтò—духомъ ко мнѣ, сейчасъ дай знать!.. Ты ничего не бойся: имъ не до насъ будетъ... Пуще всего не робѣй!..

Но предостереженіе это было, казалось, лишнее; ободряя мальчика, Филиппъ какъ будто себя ободрялъ. Степка вовсе не нуждался въ подкрѣпленіи смѣлости: онъ и въ усъ не дулъ; его, повидимому, сильно даже занимали эти продѣлки; объ одномъ лишь очень сожалѣлъ мальчикъ: темнота ночи не позволяла ему наблюдать, какъ снарядъ отца дѣйствовалъ на собакъ, какъ онѣ корчились и издыхали.

— Теперь не время объ этомъ разговаривать, молчи только, произнесъ Филиппъ, заглядывая подъ амбаръ, который возвышался на коротенькихъ столбахъ,—полѣзай туда... примолвилъ онъ, наклоняя мальчика.

Въ мгновенье ока Степка очутился подъ амбаромъ.

— Смотри, солому-то крѣпче въ уголъ запихивай...

— Не-бось не вывалится!..

— Тсс... пострѣлъ... Нà спички, бери...

Спичка чикнула; на секунду подполье амбара освѣтилось и, минуту спустя, дымъ повалилъ оттуда клубами. Но Филиппъ и Степка были уже на другой сторонѣ вала и стремглавъ полетѣли въ обратный путь. Шагахъ въ тридцати отъ входа въ домъ оба они бросились въ канаву и, присѣвъ въ траву, стали дожидаться...

ЧАСТЬ ПЯТАЯ.

I.

Неудавшееся преступленіе.

Если только читатель помнитъ Пьяшку, представительницу панфиловской дворни, онъ вѣрно не забылъ, что Пьяшка, въ послѣднемъ объясненіи съ Иваномъ, приглашала его прійти вечеромъ покалякать. Таинственный разговоръ его съ барышней, неожиданный, скорый отъѣздъ Карякина, слезы Наташи—все это, какъ каждый догадается, сильнѣйшимъ образомъ возбуждало любопытство Пьяшки; тѣмъ нетерпѣливѣе ждала она Ивана, что тотъ обѣщалъ разсказать ей обо всемъ. Иванъ слова, однакожъ, не промолвилъ о томъ, что придетъ вечеромъ, но Пьяшка все равно ожидала его; въ нетерпѣніи своемъ, она считала невозможнымъ, несбыточнымъ, чтобъ Иванъ не вникнулъ въ ея положеніе и не поспѣшилъ ее успокоить. Но вотъ давно ужъ пригнали стадо, давно сѣло солнце, давно Анисья Петровна поужинала и легла спать—Иванъ все не являлся. Пьяшка каждую минуту выбѣгала на улицу, устремляла глаза во всѣ стороны, прислушивалась—все было тщетно. Шорохъ приближавшихся шаговъ не радовалъ ея слуха. Панфиловка, окутанная непроницаемою темнотою ночи, хранила глубокое молчаніе; но Пьяшка не теряла надежды. Ужъ полночь наступила, Пьяшка все еще стояла у флигелечка, поглядывала на улицу и прислушивалась...

Нѣтъ сомнѣнія, она прождала бы до зари, если бъ не произошло слѣдующее обстоятельство: поднявъ глаза къ небу (вѣроятно, съ тѣмъ, чтобъ призвать его въ свидѣтели жестокости Ивана), Пьяшка увидѣла красноватое

зарево; не успѣла она присмотрѣться, когда, верстахъ въ двухъ за Панфиловкой, сверкнуло пламя. Пьяшка остолбенѣла; но это продолжалось секунду: каждый ея суставчикъ, каждая жилка получили вдругъ прыткость необыкновенную; она выскочила на улицу, потомъ метнулась къ барскому дому, снова вернулась на улицу, прокричала нѣсколько разъ сряду: „пожаръ! батюшки, пожаръ! касатики, пожаръ!“ и снова стрѣлою понеслась къ барскому дому.

Крикъ Пьяшки прежде всего услышалъ Иванъ; многосложныя происшествія дня наполняли его тревогой и не давали заснуть. Съ первымъ возгласомъ о пожарѣ, Иванъ выскочилъ изъ сѣнника Андрея и выбѣжалъ за ворота. Пламя было едва замѣтно; но зарево, которое быстро разгоралось и трепетно вздрагивало, служило несомнѣннымъ знакомъ, что огонь получалъ съ каждою секундою больше силы; съ той стороны слышался уже глухой, безпокойно волнующій сердце шумъ, которымъ сопровождается пожаръ даже въ тихую погоду; съ противоположнаго конца степи понеслись вдругъ зачащенные удары колокола: то били набатъ въ приходскомъ селѣ. Иванъ кинулся будить Андрея. Въ одну минуту вся Панфиловка была на ногахъ; крики „пожаръ!“ раздавались теперь изъ конца въ конецъ улицы и увеличивали суматоху; ворота скрипѣли, калитки хлопали, испуганныя дѣти плакали; какая-то баба ударилась даже выть голосомъ; всѣ бѣжали къ барскому флигелечку, откуда виднѣе было и пламя, и зарево.

— Ахъ, батюшки! ахъ, отцы мои! ахъ! да вѣдь это Ѳедоръ Иванычъ горитъ! неожиданно прозвучалъ голосъ Анисьи Петровны.

Голосъ Пьяшки, которая сопровождала барыню, не переставалъ отчаянно кричать и звать на помощь, какъ будто горѣли ея собственный подолъ и рубашка.

— И то, матушка, Ѳедоръ Иванычъ горитъ! Онъ, онъ! его усадьба! отозвалось нѣсколько голосовъ изъ толпы, стоявшей у флигелечка.

Въ эту самую минуту на улицѣ явилась Анисья Петровна.

Она въ чемъ спала, въ томъ и прибѣжала — надѣла только башмаки; но ночь была черна и никто не могъ видѣть ея костюма.

— Ахъ вы, мошенники! ахъ вы, разбойники! восклик-

нула она, накидываясь съ поднятыми кулаками на мужиковъ и бабъ, глазѣвшихъ на пожаръ, — что̀ жъ вы здѣсь стоите-то — а? Ахъ вы, окаянные! Я васъ! Скорѣй садись всѣ на лошадей! всѣ туда... Я васъ! Ахъ вы!..

— Тетенька, проговорила взволнованнымъ голосомъ Наташа, явившаяся почти въ то же время, — велите взять ведра, багры, топоры...

— Ведра берите... топоры, разбойники!.. багры, мошенники! подхватила, плескаясь и пѣнясь, помѣщица, преслѣдовавшая мужиковъ и бабъ, которые спѣшили исполнить ея приказаніе.

Достигнувъ средины улицы, она наткнулась на мужика, который зазѣвался. Анисья Петровна замахнулась; оторопѣвшій мужикъ вывернулся, отскочилъ, и Пьяшка, вертѣвшаяся подлѣ, получила полновѣсную оплеуху. Но не время было разбирать праваго и виноватаго; помѣщица, сопровождаемая Наташей (Пьяшка отстала теперь и замолкла), пошла далѣе. У какой-то избы она услышала торопливый говоръ и топотъ выводимыхъ изъ воротъ лошадей.

— Кто это? спросила Анисья Петровна, останавливаясь, чтобъ перевести духъ.

— Я, сударыня, Андрей. Со мной еще Иванъ, столяръ. Ну, Ваня, живо садись на лошадь, подхватилъ Андрей,— ведра взялъ? топоръ взялъ?.. все взялъ?..

— Взялъ, дядя Андрей. Держи лошадь-то, авось поспѣемъ! суетливо проговорилъ Иванъ, гремя ведрами.

— Ахъ вы, отцы мои! ахъ, батюшки! воскликнула Анисья Петровна, поглядывая на зарево и всплескивая могучими своими ладонями,—да что̀ жъ это вы? скоро ли, пострѣлы? внезапно подхватила она, устремляясь къ другимъ избамъ, — я васъ поразомну!.. Вотъ вѣдь Андрей поспѣлъ: стало, и вамъ можно!.. Ахъ ты, мать моя!.. Наташа, посмотри-ка, какъ разгорается-то! Ужъ не подожгли ли — помилуй Богъ?.. Андрей, Андрей! разспроси, отчего загорѣлось... спроси, отчего все это... заголосила она, снова направляясь къ мазанкѣ.

Но Андрей не могъ слышать порученія барыни: онъ скакалъ во весь духъ съ Иваномъ по направленію къ усадьбѣ Карякина.

Не спуская глазъ съ огня, который вспыхивалъ иногда такъ ярко, что освѣщалъ имъ дорогу, они прямо подскакали къ долговязому амбару. Пламя сосредоточивалось

пока во внутренности зданія и пожирало товаръ, въ немъ заключавшійся; оно начинало, однакожъ, сильно бить изъ оконъ и, бѣгая какъ пороховой стопйнъ по конопаткѣ, пробиралось къ кровлѣ. Карякинъ, два работника и Егоръ кричали и суетились безъ толку; послѣдній особенно изъ себя выходилъ: фистула его не переставала выкрикивать ругательства, которыя относились къ работникамъ, таскавшимъ ведра съ водою. Егоръ предоставилъ себѣ распорядительную часть; онъ выхватывалъ ведра изъ рукъ работниковъ, подавалъ воду Карякину или самъ плескалъ ею куда ни попало; изрыгая брань и проклятія на лѣнь и медленность помощниковъ, онъ, очевидно, выставлялъ свою собственную дѣятельность. Ясно можно было заключить изъ словъ и дѣйствій Егора, что если бъ ведра съ водою являлись безостановочно, онъ затушилъ бы пожаръ въ десять минутъ. Поскакавъ къ амбару, Андрей велѣлъ Ивану вести лошадей на дворъ, а самъ перелѣзъ черезъ канаву и побѣжалъ къ Карякину.

— Сейчасъ еще будетъ народъ; Анисья Петровна послала! Эхъ, Ѳедоръ Иванычъ, совсѣмъ не то вы дѣлаете! воду только зря теряете! подхватилъ Андрей, вырывая ведра съ водою у Егора и ставя ихъ на-земь,—тутъ водой ничего не сдѣлаешь: добре ужъ сильно разгорѣлось! надо растащить амбаръ-то. Эй, ребята!.. Егоръ! закричалъ онъ, обращаясь къ горбуну и работникамъ,—живѣй лѣстницу... да веревокъ... лѣстницу!..

Работники побѣжали; Егоръ пустился за ними; но, сдѣлавъ шаговъ двадцать, онъ остановился, крикнулъ, чтобъ несли скорѣе веревки и лѣстницу, и вернулся назадъ. Встрѣтившись съ Иваномъ, который, привязавъ лошадей, направлялся бѣгомъ къ амбару, горбунъ откинулся въ сторону.

— Съ чего жъ это загорѣлось-то? спрашивалъ между тѣмъ Андрей, осматривая зданіе и выискивая удобное мѣсто для постановки лѣстницы, — здѣсь, кажись, никто не живетъ; съ чего жъ такъ?

— Подожгли, возразилъ нетвердымъ голосомъ Карякинъ,—подожгли—это вѣрно; вотъ и собака отравлена.

— Что вы, батюшка? можетъ ли быть?

— Тамъ еще другая собака, никакъ и та отравлена! подхватилъ Иванъ, останавливаясь подлѣ Андрея, — сейчасъ мимо шелъ, лежитъ не ворохнется...

Въ эту минуту явились веревки и лѣстница. Андрей

приставилъ ее къ углу пылавшаго зданія, сунулъ за поясъ веревки и быстро полѣзъ къ кровлѣ.

— Ваня! крикнулъ онъ,—возьми топоръ, полѣзай скорѣй за мною... прежде всего стропилы подрубить надо: легче будетъ бревна растаскивать... А вы (тутъ онъ обратился къ остальнымъ),—какъ только кину веревку, тащите бревно въ какую сторону укажу...

Едва Иванъ очутился подлѣ Андрея, Егоръ подвернулся къ Карякину и началъ ему что-то нашептывать; глаза горбуна не переставали кивать на Ивана, который, между тѣмъ, работалъ за четверыхъ и то заслонялся дымомъ, то освѣщался пламенемъ. Вниманіе Карякина скоро, однакожъ, отвлекли новые мужики, прискакавшіе изъ Панфиловки; по степи кое-гдѣ слышался торопливый топотъ коней и приближавшіеся голоса; набатъ все еще звучалъ въ отдаленіи.

— Ребята! нѣтъ ли лома? прокричалъ Андрей.

Но дѣло обошлось безъ лома; стропила, подгорѣвшія въ однихъ углахъ, въ другомъ мѣстѣ подрубленныя Андреемъ и Иваномъ, рухнули съ ужаснымъ трескомъ во внутренность зданія, увлекая съ собою драни и доски. Черный дымъ и хлопья пепла повалили отовсюду; усадьба погрузилась въ темноту, которая казалась чернѣе самой ночи; но пламя, подживленное новымъ матеріаломъ и не встрѣчая теперь препятствія, вскорѣ поднялось высокимъ столбомъ надъ амбаромъ и снова ярко озарило усадьбу.

— Нѣтъ, моченьки нѣтъ, больно жарко! крикнулъ Андрей, тщетно старавшійся обвязать веревкой конецъ верхняго бревна,—очень ужъ донимаетъ... ничего не сдѣлаешь!.. Иванъ даже всѣ волосы сжегъ... Надо будетъ ломать съ середины... народу теперь много... Шабашъ, Ваня!..

Съ этими словами Андрей, а за нимъ Иванъ, спустились на-земь. Андрей размѣстилъ полдюжины панфиловскихъ молодцовъ по угламъ зданія и велѣлъ имъ рубить, не жалѣя рукъ; остальныхъ послалъ за водою; самъ онъ и вмѣстѣ съ нимъ Иванъ присоединились къ первымъ и лихо застучали топорами.

— Вотъ что, Ѳедоръ Иванычъ, заговорилъ Андрей, когда нѣсколько пылавшихъ бревенъ сорвано было наземь,—никакъ вѣтеръ подымается... дуетъ отъ насъ къ дому... видите, куда дымъ-то повалилъ?.. Возьмите-ка съ собой двухъ молодцовъ да проведите ихъ на крышу дома.

Захватите только веревки, братцы! какъ станете на крышу, бросьте намъ веревки-то, мы вамъ подадимъ ведра съ водою... Смотри не зѣвать: упадетъ галка, либо огонь швырнетъ, сейчасъ заливай!.. А вы, братцы, чѣмъ глазѣть, полѣзай на другія крыши; даромъ далеко, а все вѣрнѣе, коли народъ будетъ стоять съ водою.

Такое распоряженіе было какъ нельзя основательнѣе; вѣтеръ дѣйствительно подувалъ отъ амбара къ жилому строенію; огненный столбъ, начинавшій уменьшаться, снова закручивался въ воздухѣ и острыми, длинными жилами рвался къ дому; нѣсколько горячихъ головешекъ упали даже на середину двора. Ѳедоръ Ивановичъ, бѣгавшій изъ конца въ конецъ и очевидно не знавшій за что̀ взяться, выбралъ трехъ человѣкъ и направился къ дому. Егоръ сопровождалъ его; горбунъ то и дѣло забѣгалъ впередъ и тушилъ ногами попадавшія головешки даже тогда, когда на нихъ не было огня. Андрей, Иванъ и оставшіеся мужики продолжали растаскивать бревна и поливать ихъ водою.

Минутъ пять спустя послѣ того, какъ исчезъ Каря̀кинъ, онъ снова явился. Онъ бѣжалъ теперь какъ потерянный; языкъ его не ворочался, но взамѣнъ руки и ноги его дрожали; вся фигура его, ярко освѣщенная пламенемъ, выказывала сильнѣйшее замѣшательство. Мужики, которыхъ онъ взялъ съ собою, также вернулись; они бросали испуганные взгляды во всѣ стороны. Егоръ, скрывавшійся за спиною Карякина, не переставалъ дергать его за рукавъ и торопливо что-то нашептывалъ, не обращая вниманія на толчки, которыми отвѣчалъ ему гуртовщикъ.

— Ребята! крикнулъ наконецъ Ѳедоръ Иванычъ, сильно размахивая руками, — ребята, меня обокрали!.. подожгли и обокрали! Бросьте все это, чортъ съ нимъ, пускай горитъ!.. Шкатулку съ деньгами вытащили! присовокупилъ онъ, бѣшено отталкивая локтемъ Егора, который снова началъ ему нашептывать, между тѣмъ какъ глаза его отыскивали кого-то въ толпѣ работающихъ.

При этомъ извѣстіи всѣ присутствующіе оставили дѣло и мигомъ окружили Карякина.

— Обокрали? когда?... Ахъ ты, Господи!... заговорили всѣ въ одинъ голосъ.

— Ѳедоръ Иванычъ, можетъ, тебѣ такъ... со страха-то... въ суетѣ почудилось. Кому обокрасть?... Вишь мы всѣ здѣсь налицо... никто въ домѣ не былъ... вымолвилъ Андрей.

— Нѣтъ, въ домъ залѣзли, унесли шкатулку!... кричалъ Карякинъ, выказывая жалкое отчаянье. — Пока мы сюда бросились, они въ домъ вошли... нарочно зажгли, чтобъ отвести насъ... и собакъ отравили... Ребята! подхватилъ онъ задыхающимся отъ волненія голосомъ, — что̀ теперь дѣлать? ка̀къ быть?... Много оченно унесли. Пособите, ребята! всѣмъ заплачу; пособите только!

— Намъ денегъ твоихъ не надобно... дѣло такое, можно и такъ сдѣлать! съ живостью перебилъ Андрей; — коли такъ, время терять не́чего, Өедоръ Иванычъ, садись скорѣй на лошадь и мы всѣ, которые побойчѣе, всѣ сядемъ... Надо въ погоню гнаться. Далеко не ушли; въ степи схорониться некуда... Слава Тебѣ Господи, что рано хватились! Вы, ребята, человѣкъ пятокъ, останьтесь здѣсь съ Иваномъ, амбаръ разбирайте, а вы, молодцы, съ нами...

Сказавъ это, Андрей, а за нимъ шестеро мужиковъ бросились къ лошадямъ; Өедоръ Ивановичъ выводилъ уже своего сѣраго жеребца. Минуты черезъ двѣ вся эта кавалерія выѣхала изъ околицы, замыкавшей усадьбу, и полетѣла вразсыпную по степи.

Въ этомъ преслѣдованіи Өедоръ Ивановичъ дѣйствовалъ сначала самымъ безразсуднымъ образомъ. Замѣшательство, въ которое ввергала его пропажа денегъ, отняло у него остатокъ разума; онъ скакалъ зря, самъ не зная куда; имъ овладѣлъ теперь какъ-будто какой-то дикій азартъ, какое-то бѣшенство, которое, за неимѣніемъ другой жертвы, вымещалъ онъ на лошади: онъ билъ ее кулакомъ и колотилъ каблуками безъ милосердія. Надо замѣтить, молодой Карякинъ вовсе не былъ такъ щедръ, какъ разсказывалъ Егорка. Если ему случалось иногда бросать деньги, онъ дѣлалъ это изъ хвастовства, изъ тщеславія. Оба эти качества, благодаря молодости лѣтъ, брали пока еще верхъ надъ скаредностью; но въ домашней и частной жизни молодой купчикъ начиналъ сильно напоминать отца, скупого старика, дрожавшаго надъ копейкой. Прокутивъ сотню-другую, Өедоръ Ивановичъ возвращался въ усадьбу, и тамъ никто уже не выманилъ бы у него гривенника на водку; какъ бы испугавшись, что такъ много истратилъ денегъ, онъ ѣлъ и пилъ не лучше своихъ батраковъ. То, что̀ говорилъ онъ объ отцѣ, и то, что̀ онъ чувствовалъ къ нему, отличалось почти такимъ же противорѣчіемъ, какъ его кутёжъ. Говоря объ отцѣ, онъ страшно хорохорился и выказывалъ въ отношеніи къ нему непо-

мѣрную смѣлость; на самомъ же дѣлѣ онъ страшно его боялся; трехмѣсячная экономія послѣ суточнаго кутежа позволяла Ѳедору Ивановичу сводить концы съ концами въ отцовскихъ счетахъ; онъ рѣдко ему попадался, но кой-какія продѣлки все-таки дошли до старика, который не разъ грозилъ сыну лишить его наслѣдія и пустить по-міру, если онъ не остепенится. Не было сомнѣнія, что старикъ припишетъ пропажу денегъ безпутству и неусмотрѣнію сына. Уже довольно того, что сгорѣлъ амбаръ и сберегаемыя въ немъ кожи; конечно, все это случилось не виною сына, тѣмъ не менѣе Ѳедоръ Ивановичъ, думая обо всемъ случившемся и безпрестанно обращая мысли свои къ отцу, терялъ голову. Благодаря, можетъ-быть, этому самому страху, внушаемому отцомъ, мысли Карякина пришли, однакожъ, скоро въ порядокъ. Онъ обсудилъ, что скакать безъ толку совершенно безполезно; прежде всего дѣло требовало вниманія и осмотрительности. Онъ пересталъ бить лошадь, поѣхалъ шагомъ, и черезъ каждыя пять минутъ останавливался и прислушивался.

Въ разныхъ концахъ степи слышался топотъ лошадиныхъ копытъ; звуки эти то удалялись, то приближались, къ нимъ примѣшивались иногда человѣческіе голоса. Карякинъ каждый разъ быстро обращалъ глаза въ ту сторону, откуда раздавался голосъ, но дальность разстоянія скрадывала слова; хотя небосклонъ, особенно со стороны востока, замѣтно уже дѣлался свѣтлѣе горизонта, но все не было еще возможности различать предметы далѣе двадцати саженъ. Карякинъ продолжалъ пробираться шагомъ и прислушиваться. Немного погодя, онъ снова услышалъ въ отдаленіи голосъ; голосъ показался ему на этотъ разъ особенно громкимъ; крикъ повторялся теперь безъ умолку. Ѳедоръ Ивановичъ повернулъ лошадь и поѣхалъ рысцою по тому направленію.

Вскорѣ сдѣлалось яснымъ, что кто-то звалъ на помощь.

— Сюда... сюда... эй... эй! кричалъ голосъ.

При этомъ прежній азартъ мгновенно овладѣлъ Ѳедоромъ Ивановичемъ; онъ припалъ къ шеѣ лошади, гикнулъ и, не переставая дѣйствовать кулаками и каблуками, полетѣлъ туда стрѣлою.

Огненный столбъ въ томъ краю, гдѣ находилась усадьба, видимо между тѣмъ уменьшался; зарево также блѣднѣло въ свѣтлѣющемъ небѣ. Мужичокъ Андрей, изъ Панфиловки, ловко распоряжался въ началѣ пожара; но безъ

него Иванъ также не тормозилъ рукъ; онъ теперь болѣе всѣхъ способствовалъ къ скорому прекращенію опасности; имъ точно такъ же, какъ Карякинымъ, овладѣлъ азартъ; но этотъ азартъ былъ совсѣмъ другого рода: онъ не зажигалъ въ немъ бѣшеной, безтолковой злобы; азартъ Вани исключительно обращался къ пылающимъ бревнамъ; онъ помогъ ему забыть Карякина; Ваня видѣлъ одну только опасность, одну необходимость въ помощи, и лѣзъ въ огонь, такъ что передъ присутствующими поминутно мелькали обгорѣлая голова столяра и его улыбка. Дѣятельность Ивана мѣшала ему также замѣтить Егора, который хотя и не показывался подлѣ амбара, но перебѣгалъ отъ одного угла дома къ другому, покрикивалъ на работниковъ, или, притаившись за собачьей конурой, выглядывалъ оттуда на столяра. Наконецъ, опасность совсѣмъ миновала, послѣднее бревно стащено было на̀-земь и полито водою. Прійдя немного въ себя, Иванъ ни въ какомъ случаѣ не могъ ужъ замѣтить Егора, несмотря даже на то, что занимавшаяся заря начинала разсѣвать сумракъ. Егоръ пропалъ и нигдѣ теперь не показывался. Иванъ и остальные мужики сидѣли на обгорѣломъ бревнѣ и бесѣдовали обо всемъ случившемся, когда раздались глухіе, но постепенно продолжавшіеся говоръ и крики.

— Ужъ не поймали ли разбойника? Пойдемъ, братцы! сказалъ одинъ изъ мужиковъ, вскакивая на ноги.

Всѣ послѣдовали его примѣру и торопливо пошли къ дому. Поровнявшись съ нимъ, они увидѣли, какъ горбунъ шмыгнулъ въ околицу и, ковыляя, побѣжалъ по дорогѣ. Дневной свѣтъ быстро распространился надъ степью; тучи, скоплявшіяся наканунѣ, разсѣялись; небо было ясно. Выйдя за околицу, Иванъ и товарищи его увидѣли нѣсколькихъ человѣкъ, которые, сбившись плотною кучкой, приближались по дорогѣ; позади вели лошадей. Впереди всѣхъ выступалъ Андрей и еще мужикъ; они держали за руки какого-то человѣка, который упирался ногами и отчаянно отбивался. Карякинъ поминутно подскакивалъ къ нему, хваталъ его за воротъ рубахи и начиналъ бить, при чемъ тотъ огрызался, какъ звѣрь, и произносилъ страшныя проклятія; подлѣ мужикъ велъ рыженькаго мальчика; шагахъ въ двухъ шелъ другой мужикъ, мазавшій слюною окровавленную руку. Крикъ и гамъ слышались непомѣрные.

Первымъ дѣломъ Егора, какъ только встрѣтился онъ

съ толпою, было броситься на разбойника; но такъ какъ въ эту минуту въ рубаху разбойника снова вцѣпился Карякинъ, то Егоръ подбѣжалъ къ мальчику и, ловко подобравшись къ нему бочкомъ, схватилъ его за волосы.

— Полно вамъ, Ѳедоръ Иванычъ! деньги свои получили, чего вамъ еще? Въ судѣ лучше вашего разсудятъ! говорилъ Андрей, давая знакъ мужику, который держалъ мальчика, чтобъ онъ отогналъ горбуна.

— Въ судѣ, тамъ какъ знаютъ, а я по-своему съ нимъ расправлюсь! вскричалъ Карякинъ, въ которомъ одинъ видъ разбойника пробуждалъ неукротимую ярость. Онъ снова бросился было на него съ поднятыми кулаками, но Андрей остановилъ его:

— Когда такъ, сами ведите его, сказалъ онъ съ досадою, — мнѣ ужъ не подъ-силу съ нимъ бороться; я и такъ измучился.

По мѣрѣ приближенія къ усадьбѣ, разбойникъ началъ выказывать столько сопротивленія, что двумъ человѣкамъ дѣйствительно трудно было тащить его.

— Ваня, подь скорѣй сюда!.. скорѣй! крикнулъ Андрей столяру, который, вмѣстѣ съ другими мужиками, стоялъ шагахъ въ десяти отъ околицы.

Иванъ побѣжалъ навстрѣчу къ Андрею и вдругъ остановился; улыбка пропала на губахъ его, которыя раскрывались отъ удивленья; лицо его вытянулось и поблѣднѣло. Толпа между тѣмъ приблизилась.

— Ваня, что̀ жъ ты?—а?.. спросилъ Андрей, подходя совсѣмъ близко.

Иванъ какъ будто онѣмѣлъ; онъ пялилъ глаза на разбойника, который силился отвернуть голову.

— Филиппъ!.. какъ это ты? крикнулъ Иванъ, отступая съ ужасомъ. Всѣ остановились и обратили глаза на парня.

Не успѣлъ Иванъ произнести этихъ словъ, какъ Егоръ крѣпко обхватилъ его сзади руками.

— Ребята, вяжи его! раздалась въ то же время проницательная фистула горбуна.—Ѳедоръ Иванычъ! я вамъ сказывалъ, не хотѣли меня слушать! что̀? — а? А! попался, мошенникъ!.. попался, разбойникъ! Они заодно дѣйствуютъ... заодно... Ѳедоръ Иванычъ!.. сюда!

— Хватай его, ребята! крикнулъ въ свою очередь Карякинъ, бросаясь на столяра съ поднятыми кулаками, но въ самую эту минуту Ивану удалось высвободить руку; Карякинъ отступилъ; Иванъ воспользовался случаемъ и

началъ бить на-отмахъ горбуна, который продолжалъ держать его въ-обхватъ и колотилъ въ спину головою.

Все это произошло такъ быстро, что Андрей едва успѣлъ передать Филиппа въ другія руки.

— Стой, братцы! произнесъ онъ мужикамъ, которые, переминаясь, подходили къ столяру, — я все это дѣло знаю... Погоди, Ѳедоръ Ивановичъ, ты спроси прежде! Ты что̀, собака? прочь! заключилъ Андрей, разнимая руки Егорки и посылая его кубаремъ за пять шаговъ.

— Ты что̀ здѣсь распоряжаешься?.. Какъ ты смѣешь!.. Ахъ, ты!.. вымолвилъ Карякинъ, подходя къ Андрею съ угрожающимъ жестомъ,—вяжи его, ребята! присовокупилъ онъ, указывая на Ивана.

— Никто не тронь! крикнулъ Андрей, становясь передъ Ваней и защищая его обѣими руками. — Самъ ты, Ѳедоръ Иванычъ, много берешь на себя; тебѣ не показано вязать встрѣчнаго и поперечнаго—да! Что ты этого подлеца-горбуна, собаку эту, слушаешь!.. Ты спроси прежде, развѣдай... Нѣтъ, этакъ не приходится, какъ ты дѣлаешь—да!.. Ты, стало-быть, забылъ, что этотъ парень, котораго вязать хочешь не спросимши, обгорѣлъ весь, добро твое спасаючи.

— Мало ли что! видали мы это!.. Онъ, можетъ, дѣлалъ для виду... отвести хотѣлъ отъ себя... знаемъ мы!..

— Не слушайте ихъ, Ѳедоръ Иванычъ, пискнулъ Егоръ, высовываясь впередъ и снова скрываясь, какъ только повернулся къ нему Андрей, — они заодно, всѣ заодно! другъ дружкѣ руку держатъ!..

— Ну, слушай же, Ѳедоръ Иванычъ, подхватилъ Андрей,—я хлопоталъ для тебя, я и разбойника-то поймалъ и деньги тебѣ твои выручилъ... Коли ты помнишь добро, выслушай, что̀ скажу: все это дѣло мнѣ хорошо знакомо; Иванъ мнѣ обо всемъ сказывалъ: онъ и вотъ этотъ (Андрей указалъ на Филиппа), они изъ одной деревни; онъ у нихъ бѣглый, никакъ пятый, никакъ шестой годъ бѣгаетъ.

Андрей съ помощью столяра, который немного оправился, разсказалъ въ короткихъ словахъ исторію Филиппа. Разбойникъ между тѣмъ отъ всего отпирался, клялся и божился, что въ первый разъ видитъ Ивана и въ первый разъ слышитъ о Ма̀рьинскомъ, о мужикѣ Тимоѳеѣ и о бабѣ Катеринѣ. Егоръ не переставалъ кричать, что всѣ умышленно путаютъ дѣло, съ цѣлью отвести подозрѣніе другъ отъ дружки, но его никто не слушалъ; присутствую-

щіе были на сторонѣ Андрея и столяра. Самъ Ѳедоръ Иванычъ взялъ въ толкъ, наконецъ, что столяръ не могъ быть соучастникомъ Филиппа.

— А все-таки я его не пущу и свяжу, сказалъ онъ,— надо его въ судъ представить...

— Это ужъ само собою... возразилъ Андрей, — онъ и самъ знаетъ, что суда теперь не минуетъ... такая, знать, доля его. А вязать его не къ чему, онъ и такъ пойдетъ, примолвилъ Андрей, обращаясь къ Ванѣ и начиная его всячески успокоивать.

Первымъ распоряженіемъ Карякина, какъ только всѣ пришли въ усадьбу, было тотчасъ же послать верхового къ становому приставу, который, къ счастью, находился верстахъ въ восьми. Требовалось прежде всего на самомъ мѣстѣ преступленія снять всѣ показанія какъ отъ разбойника, такъ отъ свидѣтелей и лицъ, знавшихъ его прежде. Филиппа и Стёпку, связанныхъ по рукамъ и по ногамъ, посадили врозь, одного въ домъ, другого въ конюшню, подъ присмотромъ мужиковъ, которымъ Карякинъ обѣщалъ щедро заплатить за хлопоты. Во все это время Андрей не покидалъ Ивана; онъ ободрялъ его и обнадеживалъ, говоря, что за Катерину и семью ея также нечего опасаться; по словамъ Андрея, скорѣе слѣдовало радоваться, чѣмъ приходить въ отчаянье, плакать и падать духомъ: по крайней мѣрѣ, семья навсегда освободится теперь отъ разбойника, который отымалъ у нея покой столько лѣтъ. Что жъ касается Маши и ребятишекъ Лапши, которыхъ, безъ сомнѣнья, въ судъ не потребуютъ, Андрей бралъ ихъ на свое попеченье на все время отсутствія родителей.

Переговоривъ такимъ образомъ съ Иваномъ, Андрей, частью дѣйствуя по собственному желанію, частью повинуясь просьбамъ столяра, направился къ Катеринѣ, чтобъ заблаговременно предупредить ее о томъ, что̀ ее ожидало.

Въ полдень пріѣхалъ становой приставъ, и начался допросъ. Истребованы были тотчасъ же Лапша, Дуня и Катерина. Но мы не станемъ описывать допроса станового. Зная всѣхъ лицъ, исчисленныхъ нами выше, зная отношеніе ихъ другъ къ другу, читатель легко пойметъ, что̀ должно было происходить въ этотъ день въ домѣ гуртовщика Карякина. Къ вечеру всѣ показанія были отобраны, нанесены на бумагу и скрѣплены свидѣтелями. Въ ту же

ночь, всѣ лица, сопричастныя дѣлу, усажены были на подводы, нанятыя гуртовщикомъ, и отправлены въ уѣздный городъ; туда поѣхали также становой и Карякинъ.

II.
Дружелюбныя объясненія.

Три недѣли прошло послѣ пожара. Часа въ два пополудни, въ ясный сентябрьскій день, въ околицѣ Панфиловки показался сѣрый жеребецъ Карякина, показались бѣговыя дрожки и самъ Ѳедоръ Ивановичъ въ своемъ новомъ казакинѣ. Онъ наканунѣ только вернулся изъ уѣзднаго города, куда ѣздилъ раза четыре во все время, какъ продолжалось слѣдствіе. Въ первую же поѣздку написалъ онъ отцу письмо, въ которомъ подробно объяснилъ обо всемъ случившемся. Ожиданіе отвѣта повергало Ѳедора Ивановича въ сильную тревогу. Вообще, событія этихъ трехъ недѣль: пожаръ, покража денегъ, можетъ быть даже, видъ судей и самый ходъ строгаго судопроизводства, порастрясли, какъ говорится, мозги молодому Карякину. Имъ овладѣло что-то въ родѣ тоски, какое-то недовольство самимъ собою, чего прежде съ нимъ не бывало. Онъ не зналъ, за что̀ взяться и что̀ дѣлать. Проведя такимъ образомъ цѣлый день, Карякинъ рѣшился ѣхать въ Панфиловку. Къ такой рѣшимости содѣйствовала, быть можетъ, привычка; нельзя, впрочемъ, поручиться, чтобъ не было также и другой причины. Волокитство за встрѣчными бабенками и дѣвчонками ровно еще ничего не доказывало въ такомъ человѣкѣ, какъ Карякинъ; безнравственность могла быть плодомъ невоспитанія, дурного примѣра и, наконецъ, привычки; это не мѣшало гуртовщику имѣть далеко не злобное сердце. Хотя Егоръ утверждалъ, что Ѳедору Ивановичу никто не нравился больше Маши, но Егору, какъ извѣстно, нельзя было вѣрить; что до меня касается, я готовъ прозакладывать что̀ угодно, что до сихъ поръ Карякинъ никѣмъ такъ не прельщался, какъ полной, румяной Наташей. Лучшимъ доказательствомъ, какого былъ онъ о ней мнѣнія, могло служить письмо его къ отцу. Онъ говорилъ, между прочимъ, что готовъ хоть сію минуту исполнить давнишнее желаніе старика, готовъ жениться и остепениться. Онъ не называлъ Наташи по имени, но ясно намекалъ на нее, говоря, что находится по сосѣдству такая

дѣвица—и скромница, и нравомъ добрая, и хозяйка большая, и очень даже изъ себя красива. Трехнедѣльная разлука послѣ ежедневнаго почти свиданія, тоска, тяготившая Карякина въ это время, придали Наташѣ еще больше цѣны въ глазахъ и сердцѣ молодого купчика.

Справедливость всего сказаннаго нами подтверждается радостнымъ чувствомъ, которое овладѣло молодымъ человѣкомъ, когда онъ придумалъ средство примириться съ Наташей и снова расположить къ себѣ тетку. Въѣзжая на дворикъ Анисьи Петровны, онъ возблагодарилъ судьбу, которая посылала ему такихъ славныхъ сосѣдей. Вдовствующая засѣдательша сидѣла одна въ комнатѣ, обвѣшанной мѣшечками съ сѣменами и украшенной портретомъ покойнаго. Она сначала сухо и какъ-то принужденно отвѣтила на поклонъ и привѣтствіе гостя.

— Вы меня извините, Анисья Петровна; я, можетъ, помѣшалъ вамъ? произнесъ Карякинъ, не зная еще, съ которой бы стороны подойти ловче, но на всякій случай спѣша задобрить старуху почтительнымъ, любезнымъ обхожденьемъ. — Вы такъ изволили безпокоиться... людей своихъ послали ко мнѣ на помощь... сами заѣзжали два раза... я почелъ своимъ долгомъ благодарить васъ...

— Ты никакъ, батюшка, три раза пріѣзжалъ изъ города-то... можно было давно пріѣхать ко мнѣ... Спесивъ сталъ, отецъ родной, спесь-то одолѣла...

— Помилуйте, Анисья Петровна! это вы совершенно изволите напрасно... Не ѣхалъ я къ вамъ потому... никакимъ, то-есть, манеромъ нельзя было... дѣловъ собралось множество... а главное-съ: вся эта оказія причинила такое разстройство, что я думалъ, вы меня извините за мое, то-есть, невѣжество...

— Садись, мой батюшка... что̀ жъ ты стоишь, какъ скворечница какая... садись...

— Съ моимъ великимъ удовольствіемъ, проговорилъ гость, располагаясь подлѣ старухи,—теперича, подхватилъ онъ,—теперича, благодаря Богу, все это дѣло благополучно окончено; но ужасти, что̀ было такое, Анисья Петровна! Повѣрите ли, до сихъ поръ не могу даже очувствоваться...

— Да скажи же, отецъ мой, какъ же это такъ? Стало-быть, эти поганцы... ну вотъ, что на лугъ-то переселили, стало-быть, они ни въ чемъ этомъ не замѣшаны?.. Мнѣ Андрей сказывалъ, ихъ опять на лугъ отослали... Какъ

же такъ?.. Вѣдь разбойникъ-то приводится имъ братъ родной...

— Точно такъ-съ; только найдено было, они ко всѣмъ дѣламъ его непричастны. Въ тотъ же день, какъ привезли ихъ, посланы были справки въ ихъ деревню; черезъ недѣлю отвѣтъ получили: дѣйствительно, говорятъ, такой-то шестой годъ въ бѣгахъ; всѣ примѣты его показаны, и мальчика также упоминаютъ... обо всѣхъ дѣлахъ его разсказываютъ, все точь-въ-точь, какъ показала Катерина, брата его жена... Ну, а родня его, говорятъ, ни въ чемъ такомъ не была замѣчена... самые, говорятъ, смирные, хорошіе люди... Все это можетъ быть, Анисья Петровна; только ужъ я вамъ доложу: зато братъ этотъ, что поджегъ-то меня, ужъ это, я вамъ скажу, такой плутъ, какого въ мірѣ подобнаго нѣтъ! Я какъ только увидалъ его, сейчасъ, съ первой точки увидѣлъ, какая это продувная бестія!.. Позвольте спросить, какъ находится въ своемъ здоровьѣ Наталья Васильевна? неожиданно присовокупилъ Карякинъ, глаза котораго все чаще и чаще устремлялись на дверь сосѣдней комнаты.

— Что̀ ей дѣлается! Къ осени-то еще никакъ поприпухла...

— Это очень пріятно слышать-съ...

— Наташа! Наташа!.. загнусила Анисья Петровна,— что ты тамъ, мать моя, сидишь какъ макура какая-нибудь!.. Поди сюда!..

Карякинъ всталъ, поправилъ волосы и, расшаркиваясь, пошелъ къ дѣвушкѣ, которая показалась въ дверяхъ.

— Какъ вы въ своемъ здоровьѣ?.. давно не имѣлъ удовольствія васъ видѣть...

— Да-съ... очень давно, возразила Наташа, не подымая глазъ. Что вамъ, тетенька, угодно?..

— Что̀ ты, мать моя, затворницей-то сидишь? И здѣсь мѣсто есть... Поди посиди съ нами.

Черезъ минуту Наташа снова вошла въ комнату съ платкомъ, который начала обрубать, и расположилась подлѣ тетки.

— Да что это ты сидишь какъ заспанная какая? Встряхнись, мать моя, встряхнись! проговорила старуха, поглядывая своими маленькими, заплывшими глазками на племянницу и украдкою переводя ихъ на Карякина, который старался казаться развязнымъ.

Полныя щеки дѣвушки покрылись румянцемъ; по вмѣ-

сто того, чтобъ встряхнуться, какъ говорила тетка, она еще ниже опустила глаза къ работѣ.

— Да-съ, я вамъ доложу, это ужаснѣйшій плутъ, братъ этого переселенца, вымолвилъ Карякинъ, думая разсказами занять дѣвушку и обратить на себя ея вниманіе.— Представьте себѣ, Анисья Петровна, ужъ на что вѣдь, кажется, на мѣстѣ поймали, даже деньги всѣ за пазухой нашли, всѣ улики налицо—такъ нѣтъ, повѣрите ли, отъ всего отпирается! „Знать, говоритъ, не знаю, вѣдать, говоритъ, не вѣдаю; шелъ, говоритъ, мимо, на меня напали, сунули, говоритъ, деньги за пазуху... все, говоритъ, занапраслину!“ Ну, тутъ, знаете, его маленечко того... прикрутили... Онъ ничего этого не испугался—никакого, тоесть, дѣйствія!.. Отпирается отъ своей деревни, также и отъ родныхъ: „Впервòй, говоритъ, вижу, не знаю, говоритъ, чтò за люди за такіе!“ А самъ, такъ самъ въ глаза имъ и смотритъ!.. Они ему всю подноготную разсказываютъ о его жизни, а онъ свое разсказываетъ: „Такой-то губерніи, говоритъ (совсѣмъ другую губернію показываетъ), двѣнадцати лѣтъ, говоритъ, отданъ былъ въ ученье въ Москву, потомъ пошелъ съ богомолками въ Кіевъ. Въ Кіевѣ, говоритъ, поступилъ въ ученье къ бочару, прожилъ тамъ двадцать лѣтъ; потомъ, говоритъ, случай такой вышелъ, отправился въ Одесту на привольное жительство...“ Вы послушали бы только, какъ все это онъ расписывалъ! даже судья, и тотъ подивился!.. „Ну, говоритъ, жилъ я въ Одестѣ пока не сгрустнулось по родинѣ; отправился тогда, говоритъ, въ Воронежскую губернію... тутъ, говоритъ, дорогой, съ мальчикомъ повстрѣчался... взялъ его, примѣрно, съ собою...“ Вотъ, знаете, судья-то его и спрашиваетъ: „Что жъ это, говоритъ, за городъ такой Одеста?“—„Городъ, говоритъ, какъ всѣ города“.— „Что жъ тамъ, спрашиваетъ, рѣка чтò ли есть какая?“— „Обыкновенно, говоритъ, города нѣтъ безъ воды“.—„Рѣка, что ли?“ присталъ опять судья.—„Гдѣ намъ, говоритъ, этимъ заниматься! Пробавлялся, говоритъ, рукомесломъ своимъ, добывалъ деньги, жилъ хорошо, а о званіи и пашпортѣ меня никто не спрашивалъ...“ А самъ, я вамъ говорю, такъ всѣмъ въ глаза и смотритъ. Хорошее, должно быть, ремесло, какимъ онъ занимался! Это, значитъ, какъ говорится: занимался практическимъ упражненіемъ! примолвилъ Карякинъ съ цѣлью разсмѣшить слушательницъ.

Наташа дѣйствительно улыбнулась. Ободренный этимъ,

а также вниманіемъ Анисьи Петровны и ея восклицаніями, Карякинъ продолжалъ съ большею еще противъ прежняго развязностью:

— Да-съ, скажу вамъ: это человѣчекъ, ужъ можно сказать, что человѣчекъ! Случай только не тотъ былъ, а то бы онъ, пожалуй, на цѣлый годъ завелъ матерію; пожалуй, совсѣмъ бы отбился... да жаль, случай не тотъ былъ-съ! Съ одной стороны, знаете, мальчикъ-то выдавалъ его, потомъ сродственники, а тамъ письмо пришло съ ихнихъ мѣстъ... Ну, видитъ, знаете, кругомъ обступили, ступить некуда, началъ поддаваться... На прошлой недѣлѣ въ концѣ, во всемъ признался: „такъ-и-такъ, говоритъ, мое дѣло!“ И не то, чтобъ, этакъ, совѣстился—нѣтъ, просто разсказываетъ, какъ по писанному... Разсказалъ, какъ бѣжалъ, какъ укралъ у матери мальчика, какъ лошадей воровалъ по округѣ своей деревни, какъ купца ограбилъ; разсказалъ даже такія дѣла, о которыхъ никто не зналъ прежде. У нихъ, видите ли, подлѣ деревни, по сосѣдству, жила какая-то старуха, ворожбой занимались, такъ она, говоритъ, пуще всего его подольщала... Все повѣдалъ, какъ жилъ у нея, какъ они вмѣстѣ воровали, и все такое... Потомъ всѣхъ этихъ своихъ родныхъ призналъ, жену призналъ, мальчика...

— Какую же это, отецъ, жену-то? Это вотъ сумасшедшую-то, что къ намъ шлялась? спросила старуха.

— Точно такъ-съ, та самая! Я совсѣмъ забылъ разсказать вамъ о ней. Вотъ, поглядѣли бы вы Анисья Петровна, что̀ тамъ такое было-съ, какъ въ первый-то разъ привели ее! подхватилъ разсказчикъ, обращаясь теперь къ дѣвушкѣ, которая время отъ времени подымала глаза и вообще выказывала меньше невниманія,—какъ только, знаете, привели ее, какъ только увидѣла, это, она мужа и мальчика, такъ замертво и покатилась—страсти даже было глядѣть! насилу отлили ее водою, два раза кровь кидали... Сейчасъ, знаете, отнесли, это, ее въ больницу... да нѣтъ! третьяго дня, какъ уѣзжалъ изъ города, сказывали мнѣ, горячка такая у нея сдѣлалась, что никакимъ манеромъ пережить невозможно... А ужъ какъ только, какъ, кабы вы только видѣли, какъ ухаживала за ней Катерина, такъ даже, повѣрите ли, всѣхъ въ чувствіе привела... Тотъ, разбойникъ, мужъ-то, стоитъ себѣ какъ словно не его дѣло, совсѣмъ не до него касающееся... а эта Катерина такъ вотъ и заливается... Мы даже всѣ подивились, какъ

простая этакая баба, мужичка, а какое чувствіе показала—право-съ! Надо думать, Анисья Петровна, они дѣйствительно, то-есть вся эта семья, окромѣ разбойника-брата, всѣ дѣйствительно люди хорошіе...

— А мнѣ, батюшка, Богъ съ ними! Богъ съ ними! Богъ съ ними! снисходительно проговорила старуха,— только бы какъ-нибудь отъ нихъ-то ослобониться... насчетъ луга-то. Лугъ-то кудлашкинскій заняли, собаки— вотъ что! Кабы не это, отецъ, мнѣ бы Богъ съ ними!.. Посуди: вѣдь девять лѣтъ лугомъ-то владала! сто рублей въ годъ получала... Совсѣмъ вѣдь разорили, разбойники!..

— Вы на этотъ счетъ не извольте ничего себѣ безпокоиться; я могу сдѣлать вамъ въ уваженіе... уладить какъ-нибудь...

— Охъ, батюшка, по гробъ жизни стану благодарить тебя!.. посуди, отецъ: вѣдь сто рублей!.. сто рублей, батюшка! Какъ же ты сдѣлаешь-то?

— Извольте видѣть: этотъ лугъ для насъ самые, выходитъ, пустяки, бездѣлица, малое дѣло-съ. Мы его у тѣхъ у помѣщиковъ купимъ-съ, Анисья Петровна; я въ той надеждѣ, батюшка согласится—это, можно сказать, безъ всякаго сомнѣнья... А тамъ, Анисья Петровна, по сосѣдству, какъ-нибудь съ вами сдѣлаемся...

Этимъ обѣщаніемъ Карякинъ окончательно примирилъ съ собою старуху; она позвала Пьяшку и велѣла принести свѣженькихъ моченыхъ яблокъ. Карякину оставалось теперь смягчить сердце дѣвушки, оправдаться передъ нею, и снова возвратить ее къ прежнимъ отношеніемъ. Отозвавшись съ большою похвалою о моченыхъ яблокахъ, Ѳедоръ Иванович кашлянулъ, украдкою взглянулъ на Наташу, но, не встрѣтивъ съ этой стороны поощренія, обратился опять къ старухѣ.

— Вотъ я вамъ разсказалъ теперича обо всемъ, что случились, Анисья Петровна, то-есть, каковъ гусь этотъ разбойникъ, и что было въ этомъ городѣ; но знаете ли, ничего бы этого не было: ни пожара, ни покражи денегъ, ни суда, кабы не замѣшался тутъ еще одинъ человѣкъ— право такъ; его въ судъ не водили... я самъ разсудилъ его... Не случись онъ, ничего бы этого у меня не было— право такъ-съ!..

— Ахъ, батюшки!.. воскликнула Анисья Петровна, потряхивая головою, обтянутою знаменитымъ чепцомъ.

Наташа подняла глаза, и на лицѣ ея точно такъ же выразилось удивленье.

— Да-съ, извольте-ка догадаться, кто бы это былъ такой? сказалъ Карякинъ, взглянувъ на тетку и улыбаясь племянницѣ, которая тотчасъ же потупила голову.

— Охъ, отецъ, ужъ не изъ моихъ ли? Не пугай, батюшка, скажи.

— Нѣтъ-съ, не извольте сомнѣваться: не изъ вашихъ! промолвилъ разсказчикъ, радуясь успѣшному обороту рѣчи, которая возбуждала любопытство дѣвушки и заставила ее снова приподнять голову.

— Да кто же, батюшка? Ахъ онъ разбойникъ, окаянный!.. Кто же это?

— А больше никто-съ, какъ Егорка...

— Вы знаете, тетенька, проговорила, краснѣя Наташа,—горбатый такой... хромой...

— Ахъ, батюшка!

— Точно такъ, Наталья Васильевна, онъ самый-съ! подхватилъ Ѳедоръ Ивановичъ, оживляясь,—да-съ, онъ всему этому дѣлу заглавіе, всему, можно сказать причиной... Я давно хотѣлъ его прогнать, потому, какъ онъ есть негодяй, мнѣ держать его не приходится... да знаете, все какъ-то жалѣлъ его—право-съ. А тѣмъ временемъ этотъ случай вышелъ... Пошелъ онъ, знаете, въ кабакъ—человѣкъ былъ пьющій; на него современемъ такая, знаете, линія находила, — напился да и давай хвастать моими деньгами, которыя получилъ я изъ Москвы, тысячи три... Все спьяну-то и разскажи въ кабакѣ: гдѣ лежать и все такое, а разбойникъ-то, что поджегъ, тутъ сидѣлъ; ему, знаете, и пришло на мысль... Самъ говорилъ: „кабы не горбунъ этотъ", говоритъ, „мнѣ бы въ голову не вкинулось; онъ надоумилъ". Разумѣется, ему никакимъ манеромъ нельзя было знать, гдѣ деньги и какъ въ домъ пройти... Этакой мошенникъ!

— Да какъ же, отецъ, ты его въ судъ-то не представилъ, разбойника? Ахъ, онъ!.. воскликнула Анисья Петровна, начиная плескаться и пѣниться.

— Дѣло такъ обошлось, безъ суда-съ, посмѣиваясь перебилъ Карякинъ,—я самъ съ нимъ расправился: поучилъ его хорошенько, а потомъ выгналъ взашеи-съ... Впрочемъ, я давно къ нему подбирался... Вы представить себѣ не можете, Анисья Петровна, что̀ это былъ за плутъ...

Тутъ Карякинъ остановился и кашлянулъ; съ мину-

ту онъ какъ будто переминался и соображалъ съ мыслями.

— Да-съ, жаль, я поздно узналъ обо всѣхъ его штукахъ, какія онъ со мною дѣлалъ: онъ бы не такъ еще дешево отбоярился! произнесъ Ѳедоръ Ивановичъ, стараясь принять нахмуренный видъ.—Знаете ли, Анисья Петровна, этотъ мерзавецъ чуть было даже меня съ вами не поссорилъ—ей-Богу... Вотъ Наталья Васильевна такъ даже на меня разсердились... въ послѣдній разъ не хотѣли даже говорить... Всему этому неудовольствію онъ былъ причиной...

— Что жъ это такое, отецъ мой? Наташа! о чемъ это онъ говоритъ? Я, батюшка, ничего не знаю, проговорила старуха, которая до сихъ поръ не могла развѣдать отъ племянницы о причинѣ ея слезъ и о скоромъ отъѣздѣ Карякина.

— Я ничего не знаю, тетенька, о чемъ они говорятъ... прошептала Наташа, вспыхивая какъ піонъ.

— Помилуйте, Наталья Васильевна, припомните, какъ вы на меня разсердились...

— Да ты полно, батюшка, ломаться-то, скажи за что̀ жъ это она съ тобой говорить-то не хотѣла...

— Извольте, Анисья Петровна, готовъ вамъ сдѣлать всю откровенность, произнесъ Ѳедоръ Ивановичъ, возвращая лицу своему веселый, беззаботный видъ.—Надо вамъ сказать, этотъ Егорка, хоша и горбатъ, а большой былъ волокита, очень, то-есть, любилъ къ дѣвушкамъ подольщаться; только, знаете, всѣ эти свои шашни—потому что, разумѣется, ему часто за нихъ доставалось—все это онъ на меня сваливалъ... Случится, попался—такъ, чтобъ отвертѣться, знаете, сейчасъ и скажетъ: „Мое дѣло сторона, говоритъ, меня, говоритъ, Ѳедоръ Иванычъ послалъ!" То-есть, я вамъ скажу, такую обо мнѣ молву пустилъ...

— Намъ-то что до этого, батюшка? Ни мнѣ, ни Наташѣ серчать за это не за что... Мы тебѣ не укоръ; вольный казакъ, батюшка, человѣкъ ничѣмъ не обвязанный... Безобразничай, пожалуй... только ужъ извини, ко мнѣ не ходи послѣ этого...

— Ну, вотъ то-то же и есть! поспѣшилъ перебить Ѳедоръ Ивановичъ, слегка краснѣя.—Сами говорите: въ домъ не ходи! Я къ тому и говорю вамъ, Анисья Петровна: кому же пріятна слава, которую онъ про меня пущалъ?.. Какъ узналъ я объ этомъ, повѣрите ли, даже все сердце

во мнѣ закипѣло... Случай вышелъ черезъ дѣвушку, что у вашего Андрея живетъ въ работницахъ... Вы ее знаете: она дочь той самой Катерины...

— Охъ, отцы мои! куда ни ткнись, все они да они, точно бѣльмо на глазу, а ты еще хвалишь!.. Должно-быть, вся семья у нихъ одинъ въ однова̀, вся семья-то разбойническая... Вотъ, право, наслалъ Господь!..

— Богъ дастъ, скоро избавитесь, Анисья Петровна; мы, какъ этотъ лугъ-то купимъ, ихъ ужъ тогда не будетъ-съ! промолвилъ Ѳедоръ Ивановичъ. — Позвольте я вамъ доскажу, какой случай вышелъ: этотъ бестія горбунъ давай ухаживать за этой дѣвкой, а къ тому времени пришелъ молодой парень изъ ихней деревни, откуда переселенцевъ-то выслали. Ужъ я не знаю, сродни ли онъ имъ, или женихъ, можетъ, даже такъ, изъ зависти одной, возьми онъ вступись за дѣвку, сталъ, вѣрно, стращать горбуна, а тотъ и скажи ему, какъ онъ прежде это дѣлалъ: „я, говоритъ, рази для себя, для Ѳедора Иваныча, говоритъ, онъ посылаетъ!“ Тотъ, знаете, малый-то, ничего не спросимши, не развѣдамши, бросился къ Натальѣ Васильевнѣ и насказалъ имъ про меня Богъ вѣсть что такое... Наталья Васильевна всему этому повѣрили... и разсердились... промолвилъ онъ, дѣлая головою укорительные знаки дѣвушкѣ, которая не могла скрыть своей радости и смотрѣла на него такими глазами, въ которыхъ самый неопытный человѣкъ могъ прочитать прощенье. — Да-съ, Наталья Васильевна всему этому повѣрили, взяли да и разсердились, присовокупилъ Карякинъ, къ которому тотчасъ же возвратилась вся его увѣренность,—потому, разумѣется, нельзя и не разсердиться, Анисья Петровна; вы сами говорите: „коли безобразничать хочешь, такъ въ домъ не ходи“, никакой нѣтъ пріятности въ компаніи такого человѣка... это ужъ само собою-съ...

Но Анисья Петровна была не такъ довѣрчива, какъ племянница: голубиная невинность Карякина казалась ей очень сомнительною. Многія даже продѣлки его по части волокитства были ей извѣстны черезъ Пьяшку, которая не могла держать въ себѣ тайнъ, точно такъ же, какъ горшокъ съ пробитымъ дномъ не можетъ держать воды. Все, что узнавала Пьяшка, узнавалось тотчасъ же всей Панфиловкой, начиная отъ Анисьи Петровны и кончая послѣдней бабенкой; единственный предметъ, до котораго не касалась Пьяшка, былъ семилѣтній оборванный маль-

чикъ, бѣгавшій по двору; но это потому, можетъ-быть, что въ происхожденіи его ничего уже не было таинственнаго: всѣ знали о немъ очень хорошо. Если до сихъ поръ Анисья Петровна въ разговорахъ съ племянницей умалчивала о волокитствѣ Карякина; если она грозила Пъяшкѣ раздавить ее какъ муху, въ случаѣ, когда она проболтается Наташѣ; если она выставляла всегда Карякина съ самой выгодной стороны, то дѣлала это, имѣя въ виду расположить къ нему племянницу и склонить ее выйти за него замужъ. Какъ уже извѣстно, здоровье дѣвушки, ея полнокровіе, служили главнымъ поводомъ такому желанію тетки: „Боюсь, мать моя, кровища-то въ ней взыграется", повторяла она все чаще и чаще, „не совладаешь тогда, мать моя! Пожалуй еще изъ дому убѣжитъ... осрамитъ совсѣмъ!.. Лучше ужъ съ рукъ долой... замужъ бы... все было бы тогда покойнѣе..." Сохраняя все ту же безпокойную мысль и радуясь душевно прибытію гуртовщика, она, конечно, не думала обличать его передъ Наташей; но ей хотѣлось, однакожъ, дать ему почувствовать, что ее не такъ легко провести, какъ глупую восемнадцатилѣтнюю дѣвку.

— Ужъ ты, отецъ, полно смирячкомъ-то прикидываться! шутливо проговорила она, — не такіе глаза у тебя. Можетъ, взаправду за той дѣвкой ухаживалъ, а? Можетъ, такъ говоришь только, самъ, чай, засылалъ Егорку-то, а?.. прибавила она, посмѣиваясь, но устремляя сѣрые, пытливые глазки на молодого человѣка.

— Помилуйте, Анисья Петровна, что это вы!.. перебилъ Карякинъ, пожимая плечами и покручивая головой, между тѣмъ, какъ Наташа снова вспыхнула и вся превратилась въ безпокойное ожиданіе. — Вы меня обижаете, Анисья Петровна... потому, я на этотъ счетъ всегда содержалъ себя въ аккуратности... Возьмите теперь въ другую сторону: когда мнѣ заниматься этими пустяками?.. Къ тому же, сдѣлаю вамъ всю откровенность... У меня мысли не къ тому совсѣмъ... Есть, примѣрно, такой... совсѣмъ другой предметъ, о которомъ я думать долженъ-съ... присовокупилъ Карякинъ, бросая томный, многозначительный взглядъ дѣвушкѣ, которая тотчасъ же начала улыбаться.

Но Анисья Петровна не удовольствовалась такимъ оправданіемъ; пожиманье и переминанье молодого человѣка вызывали лукавую улыбку на толстыхъ губахъ ея; заплывшіе, но пытливые глазки не переставали щуриться

на купчика; наконецъ, они съ живостью обратились къ двери.

— Пьяшка, Пьяшка! загнусила вдругъ Анисья Петровна.

Пьяшка, стоявшая за дверьми (любимое мѣстопребываніе Пьяшки, когда въ комнатѣ шелъ о чемъ-нибудь разговоръ), Пьяшка не замедлила явиться.

— Пошла, глупая, позови-ка Андрея ко мнѣ, да скажи, чтобъ сейчасъ шелъ, а то я сама, скажи, пойду за нимъ.

— Это вы зачѣмъ-съ? промолвилъ Карякинъ не безъ внутренняго безпокойства.

— Велю сейчасъ же прогнать ему эту дѣвку, о которой ты говоришь-то, возразила старуха, подозрительность которой быстро, казалось, перешла къ племянницѣ.

Но лицо Карякина ясно говорило, что ему было совершенно все равно, останется ли Маша въ хуторѣ, или вовсе ея не будетъ. Онъ даже оправдалъ намѣреніе помѣщицы: онъ зналъ изъ вѣрныхъ источниковъ, что Андрей вовсе даже не нуждался въ работницѣ и держалъ у себя Машу единственно для того, чтобъ помогать ея семейству. Такъ какъ переселенцы избавлены теперь отъ сумасшедшей Дуни, такъ какъ стало у нихъ однимъ ртомъ меньше, то возвращеніе Маши къ роднымъ не будетъ для нихъ большимъ стѣсненіемъ. Лицо Ѳедора Ивановича оставалось точно такъ же веселымъ и безпечнымъ во все время, когда помѣщица передавала Андрею свою волю; Карякинъ раза два вмѣшался даже въ разговоръ, выставляя Андрею на видъ всю тягость держать безъ надобности работницу, съ чѣмъ, однакожъ, Андрей, повидимому, не соглашался.

По уходѣ мужика, сѣрые, пытливые глазки Анисьи Петровны перемѣнили направленіе; они исключительно обращались теперь къ саду и высматривали воробьевъ и галокъ, которые пугливо вскидывались каждый разъ, какъ Анисья Петровна вскрикивала: „Кишь, пострѣлы!.. кишь, кишь, окаянные!.. Ахъ ты мать моя! кишь, бестіи!..“ Карякинъ пользовался этими случаями, чтобъ томно поглядывать на дѣвушку, прижималъ руку къ груди, шепталъ клятвы — словомъ, выказывалъ знаки страстной любви и привязанности, чему Наташа, не перестававшая краснѣть, но мягко смотрѣвшая теперь своими добрыми глазами, охотно вѣрила, и что̀, несомнѣнно, пробуждало въ ней сильную радость.

III.

Однимъ лучше, другимъ хуже.

Послѣ окончанія уборки, Андрей и Прасковья въ самомъ дѣлѣ могли очень хорошо обойтись безъ работницы; правда, они платили ей недорого: платили хлѣбомъ, котораго было достаточно, но все же хлѣбъ этотъ чего-нибудь да стоитъ; при всемъ томъ, какъ Андрею, такъ и женѣ его крѣпко не хотѣлось разстаться съ Машей; но дѣлать нечего: Анисья Петровна приказала — надо было повиноваться.

Для Маши разлука эта была еще тягостнѣе; каждый членъ семейства прощался съ ней съ одною и жалѣлъ о ней одной; ей приходилось жалѣть каждаго изъ нихъ: ей приходилось прощаться съ нѣсколькими человѣками, къ которымъ она привыкла и привязалась. Проводы происходили въ тотъ же вечеръ, какъ Андрей выслушалъ волю помѣщицы. Прощаясь въ мазанкѣ съ дѣтьми и хозяевами, Маша вполнѣ владѣла собою, но, подойдя къ воротамъ, куда вся семья вышла провожать ее, она не въ силахъ была побѣдить тоску и заплакала. Андрей, котораго доброе и честное лицо сохраняло во все время задумчивое выраженіе, поспѣшно отошелъ къ ближайшему навѣсу двора.

— Маша, подь-ка сюда... одна поди: надо переговорить, есть дѣло такое, произнесъ онъ, дѣлая знаки головою.

Маша передала узелокъ свой одному изъ ребятишекъ, отерла слезы и пошла къ навѣсу.

— Вотъ что, Маша, сказалъ Андрей, отводя дѣвушку почти къ заднимъ воротамъ и понижая голосъ, — слышь, ту муку, которую я впередъ далъ твоей матери, ты, слышь, ничего объ этомъ не сомнѣвайся: мы теперь не нуждаемся, хлѣба въ достачу... Вишь, какое сотворилъ Господь рожденье! промолвилъ онъ, кивая на двѣ огромныя скирды ржи, которыя заслоняли ригу. — Такъ и матери скажи, ни въ чемъ этомъ чтобъ она не сомнѣвалась... Да вотъ что, коли случай такой выйдетъ... надобность у васъ встрѣнется... ну, тамъ мучицы ли, крупицы ли потребуется, скажи ей, мнѣ бы только словцо замолвила — мы этимъ, скажи, обижаться не станемъ.

— Благодарствуй, дядюшка Андрей... Господь...

— Ну, что тамъ! Самое это выйдетъ для насъ пустяш-

ное дѣло, перебилъ мужикъ, направляясь съ бывшей своей работницей къ женѣ и дѣтямъ.

Началось опять прощанье. Хотя слова Андрея по-настоящему должны были бы обнадеживать дѣвушку и совершенно успокоить ее касательно стѣсненій ея семейства, но слезы ея продолжали литься и оставляли слѣды на щекахъ бывшихъ ея хозяевъ, съ которыми она цѣловалась. Они готовились уже выйти на улицу, какъ вдругъ Прасковья торопливо вернулась во дворъ; она точно забыла въ мазанкѣ какой-то предметъ, въ которомъ встрѣтилась теперь самая крайняя надобность. Секунду спустя, изъ низенькихъ дверей надворныхъ сѣней показалось лицо ея.

— Маша, Маша! крикнула она съ озабоченнымъ видомъ.

Маша, завладѣвшая узелкомъ своимъ, снова передала его мальчику и пошла къ хозяйкѣ.

— Ты, Маша, смотри, заходи къ намъ, почаще заходи, и матери скажи, чтобъ заходила, вымолвила Прасковья, увлекая дѣвушку въ дальній уголъ, какъ будто все сказанное ею и то, что впереди предстояло, требовало величайшей тайны,—она какъ послѣдній разъ къ намъ приходила, Катерина-то, очненно сокрушалась насчетъ пряжи, подхватила хозяйка Андрея,—такъ скажи ей, касатушка, льномъ, скажи, теперь раздобылись... Пущай придетъ, возьметъ. Ну, вотъ также, коли потребуется до̀нецъ и веретена — у насъ все это есть; скажи, либо сама зайди; либо ее пришли, касатушка... дѣло наше такое сосѣдское, въ чемъ я ей послужу, въ чемъ она мнѣ.

— Спасибо, тетушка Прасковья, вѣкъ, кажись, должны мы тебя помнить, вымолвила Маша, стирая ладонью слезы.

— Такъ-то, родная! Ну, Господь съ тобою! Смотри же, скажи обо всемъ матери-то... Да сама-то, смотри, заходи къ намъ.

Прасковья и ребятишки проводили Машу за околицу; тутъ они простились еще разъ, наказали дѣвушкѣ заглядывать къ нимъ почаще и оставили ее одну на дорогѣ къ степной мазанкѣ.

Вечеръ былъ чудесный, одинъ изъ тѣхъ ясныхъ, блестящихъ вечеровъ, которые являются въ исходѣ осени передъ порою дождей и ненастья. Куда ни обращаешь взоръ, всюду какъ будто встрѣчаешь быстро удаляющійся образъ лѣта, которое, время отъ времени, оборачивается назадъ и бросаетъ прощальную, меланхолически-задумчи-

вую улыбку. Воздухъ, освѣженный холодными утренниками и зорями, освобожденный отъ земныхъ испареній первыми легкими морозцами, получаетъ остроту и звонкость и живительно возбуждаетъ нервы; небо уходитъ какъ будто выше въ глубину и не омрачается ни одной тучкой; поблѣднѣвшее солнце свѣтитъ какъ-то бокомъ, но косвенные, похолодѣвшіе лучи его сообщаютъ всѣмъ предметамъ необыкновенный блескъ и яркость, особенно по вечерамъ, когда лучи дѣлаются еще наклоннѣе; деревья, съ пожелтѣвшими листьями, стоятъ отъ маковки до корня, всѣ золотыя, какъ въ сказкахъ; блѣдно-желтое жнивье принимаетъ янтарный отливъ; поля и степь охватываются пурпуромъ и темною, густою лазурью. Кровли отдаленныхъ избушекъ, черныя, сухія вѣтви дубовъ, опустѣлыя скворечницы и колодезные шесты—четкими линіями обозначаются теперь въ чистомъ небѣ, какъ бы проникнутомъ зеленоватою сквозниною. Яркость красокъ замѣняетъ теперь звуки, замѣняетъ оживленіе и дѣятельность природы. Большая часть птицъ уже улетѣла; по дорогамъ между полями не раздается скрипа телѣгъ, тяжело навьюченныхъ снопами; къ нему не присоединяются ни ржаніе жеребенка, ни голоса и пѣсни возвращающихся жницъ и косарей. Земля какъ будто кончила свое дѣло, отдала посильные дары свои человѣку и отдыхаетъ. Тишина на землѣ и въ небѣ ничѣмъ не нарушается; изрѣдка въ ясной глубинѣ небеснаго свода покажется линія чуть видныхъ, двигающихся къ югу точекъ, журавлиный крикъ разнесется далеко въ звонкомъ воздухѣ, въ отвѣтъ ему изъ ближайшей деревушки раздадутся радостныя дѣтскія восклицанія, и снова оживленная на мигъ окрестность погружается въ сонливое, задумчивое молчаніе. Но Маша оставалась совершенно равнодушною къ чудному вечеру, который обнималъ степь; она ни разу не взглянула на ясное небо, ни разу не обернулась, чтобъ полюбоваться солнечнымъ закатомъ: она охотно промѣняла бы теперь всю прелесть природы на мѣру картофеля, на куль муки, въ которыхъ такъ крѣпко нуждалось ея семейство.

Не спѣшите заключать, о мои читательницы, перелистывающія теперь страницы этой повѣсти вашими нѣжными пальчиками, не спѣшите заключать, что молоденькой мужичкѣ во всякомъ случаѣ свойственнѣе думать о мукѣ и картофелѣ, чѣмъ устремлять мысли къ предметамъ болѣе возвышеннымъ, къ такимъ предметамъ, которые

васъ только однѣхъ занимать могутъ! Я не сомнѣваюсь въ поэтическихъ свойствахъ вашей души и вашего воображенія; но не сомнѣваюсь также и въ томъ, что поэзія эта не столько составляетъ принадлежность исключительно одаренной природы, сколько, попросту, находится въ зависимости отъ обстоятельствъ, или счастливой обстановки жизни. Если вы восхищаетесь солнечнымъ закатомъ, если устремляете къ небу прекрасные глаза и такъ мило произносите: Oh, que c'est beau! повѣрьте, это доказываетъ только, что вамъ нечего думать о недостаткѣ муки и картофеля: ваши близкіе, или ваши дѣти здоровы и сыты, сердце ваше спокойно или радостно бьется, вамъ очень пріятно гулять по полю послѣ чая, или очень удобно сидѣть на балконѣ въ ожиданіи чая съ отличнымъ бѣлымъ хлѣбомъ и привлекательными картинками — право такъ! Не спѣшите, слѣдовательно, дѣлать заключенія о грубыхъ душевныхъ свойствахъ такого-то человѣка или сословія; справьтесь прежде объ обстоятельствахъ человѣка или сословія: тогда ужъ и заключайте...

Маша не могла принести домой даже слова утѣшенія; она судила о матери по себѣ: готовность Андрея и жены его подсоблять ея семейству, конечно, могла обнадежить Катерину; но вмѣстѣ съ тѣмъ готовность эта не открывала ли бѣдной женщинѣ, какъ, въ самомъ дѣлѣ, велики были ея нужды, какъ сильно застигли ее тяжкія обстоятельства! Нельзя поручиться, чтобъ мысли молоденькой дѣвушки исключительно принадлежали ея семейству: онѣ уносились, и даже очень часто, въ сторону, совершенно противоположную той, гдѣ находилась мазанка. Она напрягала воображеніе, стараясь представить себѣ уѣздный городъ; дѣло было довольно трудное, потому что она не бывала въ городѣ. Городъ самъ по себѣ нисколько не занималъ ее, но она мысленно бродила по улицамъ, заглядывала по дворамъ и въ домы, останавливалась передъ окнами. Сколько ни работало, однакожъ, воображеніе Маши, мысленный взоръ ея все-таки не отыскивалъ знакомаго лица, нигдѣ не встрѣчалъ широкой улыбки столяра Ивана. Онъ точно въ воду канулъ; Маша знала, что ему возвратили свободу послѣ перваго допроса. Онъ согласился даже вернуться изъ уѣзднаго города вмѣстѣ съ Лапшою и Катериной, но послѣдніе передъ отправленіемъ своимъ не нашли Ивана: онъ вдругъ пропалъ. Нужно было имѣть каменное сердце, чтобъ не трево-

житься. Сердце же Маши отличалось мягкостью, и притомъ Иванъ былъ такой добрый парень, такой давнишній знакомый (они игрывали еще ребятишками на улицѣ Марьинскаго), что неизвѣстность о немъ, весьма естественно, увеличивала грусть дѣвушки.

Она шла очень скоро; почти незамѣтно миновала она пространство, отдѣлявшее хуторъ отъ мазанки. Подлѣ дома, который отъ макушки до основанія освѣщался заходящимъ солнцемъ, никого не было; гдѣ-то, въ отдаленіи, слышались возгласы трехъ мальчугановъ и лай Волчка; безъ этихъ криковъ и лая можно было думать, что версты на четыре кругомъ не было живого существа—такъ тихо было въ степи и въ мазанкѣ. Маша оставила у порога узелокъ и вошла въ домъ. Первый предметъ, попавшійся ей на глаза, былъ отецъ; онъ лежалъ въ углу на лавкѣ; лучъ солнца врывался въ окна мазанки и, падая на печь, разливалъ такой свѣтъ въ уголъ, гдѣ лежалъ Лапша, что легко было разсмотрѣть лицо его. Оно сильно измѣнилось съ тѣхъ поръ, какъ мы его не видѣли: даже Маша, бывшая дома дней пять назадъ, нашла въ отцѣ перемѣну. Всѣ черты его усиленно тянулись теперь книзу; выступающіе углы щекъ, лба и подбородка заострились; на рукахъ оставалась только кожа; густыя брови безсильно свѣшивались надъ глазными впадинами, которыя казались совершенно черными, и еще рѣзче выступала между ними бѣловатая, тонко заостренная переносица. Лапша не охалъ теперь, не стоналъ и не жаловался; быть-можетъ, онъ сознавалъ даже всю безполезность возбуждать къ себѣ состраданіе; состраданіе невольнымъ образомъ вырывалось у каждаго, кто видѣлъ Лапшу; успѣхи его болѣзни, его безсиліе и изнеможеніе были слишкомъ очевидны. Извѣстіе обо всемъ случившемся въ усадьбѣ Карякина, поимка Филиппа не такъ еще дѣйствовали на Лапшу, какъ то, что его самого потребовали къ допросу; все это вмѣстѣ такъ потрясло его, такъ напугало, что Катерина не чаяла уже привести его живого домой. Съ тѣхъ поръ Лапша переставалъ охать и не вставалъ съ лавки. Онъ не повернулъ даже головы при входѣ дочери.

Увидя Машу, Катерина, сидѣвшая неподалеку отъ мужа и кормившая послѣдняго своего ребенка, раскрыла удивленные глаза. Она съ перваго взгляда поняла, что съ дочерью случилось что-нибудь особенное, иначе ей не зачѣмъ было являться домой въ рабочій день и въ

такую пору. Не давъ Машѣ выговорить слова, она кивнула головою на отца и выразительно указала глазами на дверь. Узелокъ, оставленный на порогѣ, убѣдилъ Катерину, что догадки не обманули ее. Лицо Катерины во все время, какъ слушала она объясненіе дочери, сохраняло выраженіе грустнаго раздумья и вмѣстѣ съ тѣмъ какого-то спокойствія и покорности. Она не произносила слова негодованія или жалобы противъ судьбы, которая въ этотъ послѣдній годъ посылала ей, одинъ за другимъ, такіе жестокіе удары; еще менѣе думала она упрекать дочь. Если бъ удаленіе изъ Панфиловки произошло даже по винѣ Маши, и тогда, кажется, Катерина выслушала бы ее снисходительно. Послѣ несправедливыхъ подозрѣній и побоевъ — словомъ, послѣ сцены съ дочерью въ ригѣ Андрея, Катерина обращалась съ ней ласковѣе, чѣмъ когда-нибудь: ей какъ будто хотѣлось загладить жестокое обращеніе съ дочерью; это стараніе не ускользало отъ вниманія дѣвушки, но было совершенно излишне: дочь давнымъ-давно забыла материнскіе побои, несправедливыя проклятія и подозрѣнія. Вообще говоря, послѣднія происшествія съ Филиппомъ, болѣзнь мужа, мысль о Петѣ и сцѣпленіе тяжкихъ обстоятельствъ замѣтно надломили энергію, которою до сихъ поръ отличалась Катерина. Она казалась постарѣвшею десятью годами.

— Вотъ до чего дожили! вымолвила она, когда дочь передала ей слова Андрея и Прасковьи.—Кабы не люди добрые, не знать бы намъ, что̀ и дѣлать...

Она не договорила. Подперевъ ладонью голову, она съ минуту глядѣла на степь, потомъ провела пальцами по глазамъ и сказала, перемѣнивъ вдругъ голосъ:

— Не слыхала ли чего-нибудь о нашей Дунѣ?.. Можетъ, кто изъ города приходилъ, сказывалъ...

— Нѣтъ, матушка, никто не былъ, возразила Маша, прикладывая ладонь ко лбу и поворачиваясь къ хутору. Съ нѣкоторыхъ поръ, въ той сторонѣ немолчно раздавалась пѣсня.

— Ну, и о Ванѣ также ничего не сказывали? никакихъ нѣтъ слуховъ? спросила мать.

— Нѣтъ, матушка, проговорила Маша, не обращая теперь вниманія на пѣсню, которая между тѣмъ становилась звонче и замѣтно приближалась.

— Ужъ Богъ знаетъ, какъ и думать! продолжала Катерина,—хоть бы слухъ о себѣ подалъ... Все думается:

не случился ли грѣхъ какой, право; потому за нимъ нѣтъ этого, чтобъ онъ худыми дѣлами занимался: ни пьяница онъ, ни аладырный какой человѣкъ... Кабы работа напалась, либо нанялся гдѣ, все бы пришелъ къ намъ, въ городъ-то, все бы сказался... А то нѣтъ: ждали, ждали— нейдетъ да и полно... Право, даже сумлѣнье беретъ...

Голосъ, напѣвавшій пѣсню, заливался все ближе и ближе. На этотъ разъ и мать, и дочь обратились къ хутору; обѣ рѣшили, что кто-то направился въ ихъ сторону; но сколько ни щурились онѣ, сколько ни старались разсмотрѣть впереди себя, лучи солнца, которое прямехонько спускалось передъ глазами, мѣшали имъ удовлетворить любопытству. Нѣсколько минутъ спустя, пѣсня вдругъ замолкла, но, вмѣсто нея, Катерина и Маша явственно услышали, какъ тотъ же голосъ назвалъ ихъ по имени. При этомъ обѣ сдѣлали нѣсколько шаговъ впередъ. Грустное лицо Катерины какъ будто даже оживилось; щеки Маши вспыхнули: онѣ узнали голосъ. Вскорѣ всѣ сомнѣнья Маши и Катерины касательно столяра исчезли какъ дымъ: онъ стоялъ передъ ними.

Въ первую минуту Ваня не могъ слова выговорить; онъ едва переводилъ духъ отъ усталости. Ноги его, покрытыя пылью выше колѣнъ, свидѣтельствовали о дальнемъ пути и притомъ очень спѣшной ходьбѣ. Несмотря на свѣжесть воздуха, потъ струился по лицу его; волосы въ безпорядкѣ разсыпались изъ-подъ ветхаго картуза. Но безпорядокъ въ одеждѣ и суетливость въ чертахъ и движеньяхъ ни въ какомъ случаѣ не выражали теперь внутренней тревоги; совсѣмъ напротивъ, круглое лицо Ивана сіяло выраженьемъ самаго полнаго счастья и довольства; глаза его радостно блистали, улыбка расходилась въ обѣ стороны, дальше даже обыкновеннаго.

— Здравствуй, тетушка Катерина! здравствуй, Маша!.. Охъ!.. ухъ!.. какъ запыхался!.. все бѣжалъ!.. воскликнулъ онъ, бросаясь то къ одной, то къ другой.—Сейчасъ на хуторѣ былъ, подхватилъ онъ, дѣлая пояснительные жесты и самъ посмѣиваясь надъ усиліями, какія долженъ былъ дѣлать, чтобъ продолжать разговоръ,—пришелъ къ Андрею: онъ все разсказалъ о Машѣ... барыня велѣла... ничего! Все хорошо, тетушка Катерина, очень хорошо!.. Сейчасъ изъ города... Сорокъ оконныхъ рамъ... три сдѣлалъ; шесть цѣлковыхъ!.. по два за раму!.. Слава Богу... Ухъ! дайте духъ перевести...

Изъ всего этого Катерина и Маша поняли только, что онъ сейчасъ пришелъ изъ города и былъ въ Панфиловкѣ, гдѣ Андрей сообщилъ ему объ удаленіи Маши. Рамы, шесть цѣлковыхъ и болѣе всего радость Ивана, причину которой никакъ не могли онѣ истолковать себѣ, сбивали ихъ съ толку.

— Хотѣлось васъ провѣдать... порадовать хотѣлъ. Слышь: сорокъ рамъ!.. За три ужъ деньги получилъ, шесть цѣлковыхъ! Ничего, тетушка Катерина, что она дома жить станетъ, это все ничего, ты объ этомъ не думай: авось, Богъ дастъ, теперь всѣ поправимся...

— Да что жъ такое? я все въ толкъ не возьму, чему радуешься-то? спросила Катерина.

— Погоди... сейчасъ... Ухъ! смерть упыхался... все въ бѣжки да въ бѣжки, отъ самаго, почитай, отъ хутора.

Катерина подвела его къ колодцу, заставила сѣсть и сама сѣла. Маша остановилась передъ ними, закрывъ ладонью глаза отъ солнца, которое освѣщало повеселѣвшее лицо ея.

— Что жъ ты до сихъ поръ въ городѣ-то дѣлалъ? Хотѣлъ съ нами идти оттуда, до самаго вечера ждали; куда жъ ты дѣлся-то?.. Ничего я не разберу, что говоришь-то, сказала Катерина.

— А вотъ вишь ты, началъ Иванъ, выказывая веселость, которая замѣтно переходила также къ Машѣ (даже на губахъ Катерины время отъ времени появлялась улыбка),—вышло дѣло такое, никакимъ манеромъ нельзя было упредить васъ... Какъ вышелъ изъ суда-то, какъ спрашивать-то меня кончили... знамо, очень ужъ обрадовался, вонъ скорѣй... а тутъ у самыхъ дверей городничій стоитъ.

— Ты, говоритъ, братецъ, столяръ?—онъ еще прежде въ судѣ меня видѣлъ, такой ласковый... Какъ сказалъ я ему: „столяръ, говорю, сударь“—велѣлъ за собою идти. Пришли къ нему въ домъ; сталъ опять водить меня по всѣмъ комнатамъ... У него, значитъ, рамы худо запирались, такъ которую починить велѣлъ...

— Ужъ неужели тебѣ оторваться-то нельзя было?.. На минуту отпросился бы, все бы тогда знали о тебѣ, сумнѣваться не стали бы...

— То-то и есть, никакимъ манеромъ нельзя, тетушка Катерина, съ живостью перебилъ Иванъ. — Ты погоди только, все разскажу. Ну, вотъ, тѣмъ временемъ, какъ я

у городничаго-то, наѣзжаетъ къ нему помѣщикъ... Ты слушай только... Вотъ какъ увидѣлъ онъ меня,—а я тутъ же въ комнатѣ стоялъ, задвижку въ раму врѣзывалъ,—а онъ, слышь, затѣмъ и пріѣхалъ: оченно столяръ требовался... То-то поглядѣла бы ты, что̀ было-то! Помѣщикъ себѣ желаетъ, городничій себѣ — чудные право такіе!.. Спорили, спорили, помѣщикъ городничаго-то одолѣлъ, меня выпросилъ... Я и давай тогда проситься. „Такъ и такъ, говорю, ваше высокоблагородіе: у меня здѣсь сродственники, надо сказаться, дожидать станутъ, посулилъ вмѣстѣ въ деревню идти...“ Ничего этого не слушаетъ, я ему свое, онъ свое. „Ладно, говоритъ, уйдешь, гдѣ тебя искать!..“ Сейчасъ же велѣлъ сѣсть къ себѣ на козлы и повезъ въ деревню — торопыга такой! а, впрочемъ, во всемъ остальномъ ласковый; сулитъ: „работы, говоритъ, пропасть; я, говоритъ, тебя не обижу, будешь доволенъ!“ Ну, и точно: сейчасъ, это, какъ пріѣхали въ деревню, велѣлъ накормить меня, потомъ велѣлъ одну раму сдѣлать; какъ сдѣлалъ, онъ всѣ рамы со всего дома — а домъ у него новенькій, только что выстроенъ—всѣ рамы мнѣ отдалъ: сорокъ рамъ! По два цѣлковыхъ за штуку подрядился! Окромѣ того, другая еще работа будетъ, насчетъ, то-есть, мебели... Нанялся я у него до самой до зимы, тетушка Катерина!..

— Ну, слава Богу, Иванушка! слава Богу!

— Слава Богу! И я тоже говорю: слава Богу, тетушка Катерина! перебилъ Иванъ, которому очень трудно было усидѣть на мѣстѣ: радость такъ и подмывала его.—Сначатія-то, какъ сталъ я у него проситься къ вамъ сходить, осерчалъ маненько, а потомъ обошлось; деньги за три рамы, которыя сдѣлалъ, шесть цѣлковыхъ, отдалъ; велѣлъ приходить черезъ три дня. Я потому больше, васъ добрѐ хотѣлось провѣдать... Вотъ, тетушка Катерина, всѣ эти дѣла, которыя у васъ теперича, все это ничего... Надо надѣяться, справимся какъ-нибудь... Слышь: сорокъ рамъ! восемьдесятъ цѣлковыхъ! да тамъ другой еще работы наберется...

— Дай тебѣ Богъ... хорошо все это... промолвила Катерина.—Ну, а идучи городомъ-то, не заходилъ ли къ Дунѣ? Что она, сердечная?..

— Какъ же, тетушка, заходилъ! Меня къ ней не допустили; сказывали только: оченно плоха... а жива еще, жива!.. А насчетъ, то-есть, Филиппа, также сказывали:

въ Москву отправили, и мальчика отправили, тамъ судить будутъ... Ну, а у васъ какъ? все ли благополучно? Что дядя Тимоѳей? все нездоровится? Андрей сказывалъ: очень вишь разнемогся...

— Даже не встаетъ съ лавки... признать трудно, сказала Маша.

— Очень, очень плохъ, Ваня, примолвила Катерина,— сдается мнѣ, врядъ встать; совсѣмъ ужъ къ тому дѣло идетъ... право...

— Полно, тетушка Катерина, Богъ милостивъ! Будешь все такъ-то думать, хуже встоскуешься! Ты объ этомъ не думай, право; а пуще всего не думай объ этихъ обо всѣхъ дѣлахъ своихъ; теперь, авось, справимся.

— Ты, Иванушка, поужинай съ нами, перебила Катерина, приподымаясь съ мѣста и поглядывая на корову, возвращавшуюся домой сама собой,—угощать тебя не станемъ: нечѣмъ, касатикъ!.. Хлѣбецъ одинъ да молочка похлебаешь съ моими ребятишками...

— Вотъ! рази я гость у васъ? Я вѣдь все это знаю, тетушка Катерина; ты, право, напрасно говоришь все такое, ей-Богу! произнесъ Иванъ, поглядывая на мать и на дочь и выказывая на лицѣ своемъ въ одно и то же время и робость, и какую-то неловкость.

Онъ хотѣлъ еще что-то прибавить, но Катерина опять его не дослушала; она обратилась къ дочери и велѣла ей сходить за ребятишками, голоса которыхъ продолжали раздаваться въ отдаленіи. Маша, совсѣмъ уже развеселѣвшая, тотчасъ же отправилась. Катерина, между тѣмъ, подогнала корову къ колодцу и ушла въ мазанку.

Первымъ дѣломъ Ивана, когда онъ остался одинъ, было отряхнуть пыль, покрывавшую его ноги; потомъ, снявъ картузъ и пригладивъ волоса, онъ охорашивался съ такимъ видомъ, какъ будто передъ нимъ находилось огромное зеркало, въ которомъ онъ могъ осматривать себя съ головы до ногъ. Приведя такимъ образомъ въ порядокъ свою одежду и наружность, онъ вытащилъ изъ-за пазухи платокъ, развязалъ зубами крѣпко затянутый узелокъ и вынулъ, счетомъ, шесть цѣлковыхъ. Но деньги эти мгновенно исчезли съ его ладони, какъ только Катерина показалась на порогѣ мазанки съ горшкомъ въ рукахъ. Неловкость, начинавшая примѣшиваться къ радости молодого парня, еще замѣтнѣе овладѣла имъ, когда онъ подошелъ къ Катеринѣ: онъ, очевидно, затруднялся теперь

не только въ томъ, какъ повести рѣчь, но даже какъ бы удобнѣе подойти къ бабѣ: зайдетъ за ея спину — солнце бьетъ по глазамъ; повернется спиною къ солнцу—прямёхонько подвертывается на глаза Катерина, а ему не хотѣлось, чтобъ она замѣтила его неловкость; наконецъ онъ прислонился къ двери, такъ что Катерина, присѣвшая доить корову, могла видѣть одну половину его улыбки, другая же половина улыбалась степи и заходившему солнцу.

— Вотъ... я хотѣлъ попросить тебя, тетушка Катерина, началъ Иванъ, крѣпко сжимая деньги ладонью,—слышь, которыя я деньги получилъ, шесть цѣлковыхъ, побереги ихъ, пожалуйста; мнѣ они ненадобны, право-слово... теперича время такое... потому что у меня все есть... примѣрно... У того барина ни въ чемъ, значитъ, не нуждаюсь; возьми это, пожалуйста... схорони...

— Что жъ, пожалуй. Вотъ это хорошо, что бережешь деньги-то; завсегда отдавай мнѣ: у меня, не бойсь, не пропадутъ.

— Знаю, тетушка, знаю, а пропадутъ, ну такъ что жъ? все это, значитъ, ничего... У меня скорѣй унесутъ... Ну, тамъ, коли тебѣ что́ потребуется... ты, тетушка Катерина, возьми да купи... это, значитъ, все единственно.

— Ну, нѣтъ, Иванушка, это не годится: деньги твои, подъ сохраненіе далъ, я беречь должна... Нѣтъ, ты это напрасно...

— Нѣтъ, *ты* напрасно, тетушка Катерина... напрасно говоришь такъ... Что̀ за важность, коли ты истратишь— все это на дѣло пойдетъ... право, на дѣло самое настоящее... Къ тому, рази я вамъ чужой? Можетъ, еще... гм!.. коли Господь создастъ... гм!.. то-есть...

Тутъ Иванъ остановился и съ минуту вертѣлъ цѣлковыми.

— Мнѣ это ничего... право слово, ничего, тетушка Катерина, началъ онъ, производя такія улыбки, какихъ вѣрно еще никто не видывалъ, — я, вѣдь, настоящее говорю: вѣдь иные-то родные хуже чужихъ; значитъ, кому какіе нападутся... Вотъ хошь бы вы теперича: неужли жъ я скотъ какой? Я вѣкъ долженъ ваши добродѣтели помнить, потому съ самаго измалѣтства...

Говоря все это, Иванъ не переставалъ вертѣть и перевертывать свои цѣлковые; рѣчь его до того стала путаться и голосъ такъ измѣнился, что Катерина подняла голову.

— Это ты, тетушка, сколько дала за корову-то? Хороша оченно! Ужъ такая-то животина, лучше быть нельзя! вымолвилъ неожиданно Ваня, разглядывая животное.

Катерина невольно усмѣхнулась.

— Развѣ ты впервой ее видишь? сказала она, принимаясь снова за свое дѣло.—Что̀ это тебѣ вздумалось? она у насъ вотъ ужъ никакъ пятый мѣсяцъ.

— Нѣтъ, я такъ, тетушка Катерина, потому больше спросилъ, что въ городѣ, какъ шелъ къ вамъ, такую вотъ точно корову видѣлъ... точь-въ-точь... оченно ужъ дешево отдавали. Только мнѣ нѐ зачѣмъ! Я такъ говорю, къ случаю; потому, когда человѣкъ семейный, ну, ему тогда все это требуется. Безъ коровы, знамо, никакъ нельзя; а мнѣ зачѣмъ она? Другое дѣло, кабы... гм!.. то-есть... гм!.. Можетъ, Господь благословитъ... тогда я все это... Я такъ къ примѣру...

Иванъ снова сбился съ толку; чтобъ поправиться, онъ поспѣшилъ провести ладонью по лицу, на которомъ снова выступили капли пота; но это не помогло; онъ началъ кашлять, прищуривалъ глаза, раскрывалъ ихъ, опять кашлялъ, и опять-таки ничего изъ этого не вышло. Едва только языкъ его произносилъ первое слово изъ разговора, который такъ хорошо обдумалъ онъ доро̀гой, едва приходила ему мысль объ этомъ разговорѣ, его кидало тотчасъ же въ потъ, онъ путался и сбивался съ толку. Наконецъ онъ рѣшился отложить до завтра объясненіе съ тетушкой Катериной. Вмѣстѣ съ этой рѣшимостью почувствовалъ онъ вдругъ необыкновенное облегченіе: точно гиря свалилась съ плечъ; онъ заговорилъ съ прежней развязностью и непринужденіемъ; но бесѣда не могла долго продолжаться: голоса Маши и трехъ мальчугановъ, возвращавшихся домой, раздавались уже шагахъ во ста отъ мазанки. Иванъ пошелъ къ нимъ навстрѣчу — и, по прошествіи десяти минутъ, всѣ стояли подлѣ колодца, не выключая Волчка, который, желая, вѣроятно, выразить Ивану свою радость, подпрыгивалъ ему чуть не къ самому носу.

— Полно вамъ, полно! экіе шалага́ны, прости Господи! вымолвила Катерина, слегка похлопывая ребятишекъ, которые облѣпили плечи и спину Ивана, — прочь пошли! Маша, хошь бы ты заступилась... Шутка, вѣдь сорокъ верстъ ноньче прошелъ... Прочь пошли, баловники!

— Ничего, тетушка Катерина, это мнѣ ничего, право

слово; значитъ, мнѣ обрадовались, твердилъ Иванъ, сильно, однакожъ, покрякивая подъ бременемъ трехъ озорниковъ, изъ которыхъ ужъ одинъ, пучеглазый Костюшка, вѣсилъ безъ малаго полтора пуда.

— Эхъ ты, добрая душа! добрая душа! сказала Катерина, между тѣмъ, какъ Маша, забывъ всѣ свои горести, смѣялась звонкимъ, веселымъ смѣхомъ.—Ну, однако, время, ребятушки, время; пойдемте-ка ужинать, я, чай, и отецъ насъ дожидаетъ; мы совсѣмъ забыли его... Пойдемте ужинать, заключила она, подымая горшокъ съ молокомъ и направляясь къ двери мазанки.

Всѣ послѣдовали за нею. Солнце только-что скрылось за горизонтомъ; снопы золотыхъ лучей все шире и шире разбѣгались по чистому, слегка зарумяненному небу; все обѣщало назавтра ясный, хорошій день.

IV.

Петя отыскался.

Мы попросимъ теперь читателя переселиться въ огромное, великолѣпное село Сосновку. Переселеніе не можетъ быть сопряжено съ большими трудностями: село пользуется извѣстностью не только въ своемъ уѣздѣ, но даже въ бо̀льшей части того края. Стоитъ придти въ любой городъ губерніи и спросить: какъ пройти въ Сосновку?—вамъ тотчасъ же со всѣми подробностями разскажутъ дорогу. Такая извѣстность основывается на многихъ причинахъ: въ Сосновкѣ ежегодно происходитъ четыре ярмарки; по воскреснымъ днямъ и праздникамъ здѣсь бываютъ значительные базары; сюда стекаются за пятьдесятъ, за семьдесятъ верстъ, для покупки рабочихъ лошадей, для найма батраковъ, которые приходятъ изъ окрестныхъ деревень. Но собственно торговлей занимаются весьма немногіе; бо̀льшая часть народонаселенія (около двухъ тысячъ душъ) съ поконъ-вѣку занимается плотничнымъ ремесломъ; они собираются артелями, подъ предводительствомъ своего же сосновскаго подрядчика, и обходятъ почти всю Россіи: бываютъ на Дону, въ Астрахани, по берегамъ Волги, заходятъ иногда даже въ отдаленную часть Сибири. Промышленность края рождается всегда изъ мѣстныхъ условій. Сосновскія земли плохи; ихъ даже мало, относительно народонаселенія; богатство села и вообще той части губерніи составляютъ лѣса̀;

иногда верстъ тридцать, сорокъ, приходится ѣхать лѣсомъ, ничего не встрѣчая, кромѣ исполинскихъ елей, ничего не обоняя, кромѣ запаха смолы и дыма, который медленно тянется между стволами, когда въ сторонѣ гдѣ-нибудь гонятъ деготь.

Издали Сосновка представляется богато-заселеннымъ островомъ, кинутымъ посреди темно-синяго моря лѣса, которое, подобно настоящему морю, сливается съ горизонтомъ и точно такъ же шумитъ, даже въ тихую погоду. Большая почтовая дорога, пролегающая черезъ село, и Ока, омывающая одинъ бокъ его, значительно оживляютъ промышленность. Въ половодье вся поверхность рѣки покрывается плотами, которые гонятъ отсюда въ Москву; круглый годъ на берегахъ строятся расшивы, катаются бревна, пилится лѣсъ, громоздятся горы досокъ и правильными рядами лѣпятся по берегу длинныя-длинныя весла, служащія рулемъ, правѝломъ на баркахъ. Въ Сосновкѣ три каменныя церкви и дюжина каменныхъ домовъ, крытыхъ желѣзомъ. Въ церквахъ вы найдете нѣсколько большихъ ризъ и паникадилъ изъ чистаго серебра; въ одной церкви иконостасъ стоилъ девять тысячъ—все это усердныя приношенія зажиточныхъ сосновскихъ крестьянъ. Выѣзжая на улицу (ихъ всего пять; главная, по которой идетъ почтовая дорога и которая ведетъ къ мосту черезъ Оку, занимаетъ середину села), вы чувствуете какую-то необыкновенную легкость и радость на сердцѣ при видѣ здороваго, довольнаго, счастливаго человѣка. Прежде еще, чѣмъ узнаете вы источники богатства Сосновки, прежде, чѣмъ скажутъ вамъ, что село это находится подъ вѣдѣніемъ удѣловъ, вы невольно подумаете: „Нѣтъ, это не чета моей „Обсо̀совкѣ", или „Заложо̀нкѣ"—нѣтъ, не то, совсѣмъ не то!" Здѣсь на сто крышъ не встрѣтите одной, которая провалилась бы не отъ тяжести навьюченной на нее соломы—нѣтъ, напротивъ, оттого, что стропила, за недостаткомъ соломы, подгнили и обрушились. У васъ, въ „Обсо̀совкѣ", или „Заложо̀нкѣ" очень многіе *побираются*; здѣсь нѣтъ этого и въ поминѣ. Если попадается перекосившаяся избенка, она, вѣрно, принадлежитъ пьяницѣ, или тунеядцу. Въ большой семьѣ не безъ кривого или косого. Особенно поражаютъ сосновскія улицы въ воскресный день, когда весь сосновскій людъ пойдетъ въ церковь, или возвращается изъ церкви—просто гуляетъ! Синихъ кафтановъ

не перечтешь; при солнечномъ освѣщеніи васъ непремѣнно ослѣпитъ яркая пестрота шелковыхъ платковъ, ситцевыхъ юбокъ, синихъ, красныхъ и желтыхъ передниковъ и коротаекъ, изъ которыхъ очень много плисовыхъ и даже штофныхъ. Въ воскресный день пирогъ съ кашей или капустой въ Сосновкѣ вещь самая обыкновенная; здѣсь никто не удивляется щамъ съ бараниной; остановившись у любого сосновскаго мужика, попробовавъ его щей и посмотрѣвъ на его житье-бытье, вы никакъ не утерпите, чтобъ снова не сказать себѣ: „нѣтъ, это не чета моей „Обсосовкѣ“, или „Заложонкѣ!“

Но мы удалились отъ главной цѣли разсказа. Хотя описаніе Сосновки непремѣнно входило въ составъ цѣлей предлагаемаго романа—цѣлей, очень плохо достигнутыхъ и, вѣроятно, такихъ же безполезныхъ, какъ и всѣ остальныя—но все-таки лучше обратиться скорѣе къ главной цѣли: она заключается въ томъ теперь, чтобъ по возможности поспѣшнѣе избавить читателя отъ этой, безъ сомнѣнія, давно уже наскучившей ему повѣсти.

Сосновка является теперь передъ нами въ самомъ выгодномъ видѣ: день воскресный; часъ шестой вечера; улицы полны народомъ. Октябрьское солнце начинаетъ уже клониться къ горизонту; лучи его играютъ на куполахъ трехъ церквей, ярко окрашиваютъ макушки высокихъ сосновыхъ избъ и, врываясь кое-гдѣ между домами и проулками, проходятъ огненными полосами черезъ всю улицу, задѣвая на пути гдѣ лицо, гдѣ синюю спину, гдѣ красную шелковую шубейку, гдѣ цѣликомъ врѣзываются въ толпу и превращаютъ въ огонь всѣ лица и наряды. Въ Сосновкѣ теперь и людно, и шумно, и весело. У каждыхъ почти воротъ сидятъ старики и старухи съ ребятишками; въ разныхъ концахъ слышатся хороводныя пѣсни. Молодыя бабы стоятъ кучками то здѣсь, то тамъ, и звонко, немолчно тараторятъ. Подъ березами, лишенными уже листьевъ и возвышающимися подлѣ церковной ограды, нѣсколько бабъ, дѣвокъ и парней плотно обступили возъ съ краснымъ товаромъ; десятки вопросовъ и требованій осаждаютъ торгаша; надо удивляться, какъ одинъ человѣкъ можетъ въ одно и то же время удовлетворить любопытныхъ, поспѣвать вынимать требуемыя запонки, ножницы, иголки, бусы, гребенки и считать деньги.

Такая точно мысль занимала, кажется, знакомаго намъ подрядчика Никанора Ивановича, того самаго, который

взялъ Петю на поруки. Онъ сидѣлъ на лавочкѣ у воротъ своей избы, стоявшей прямо противъ церковной ограды, такъ что ему легко было слышать всякое слово изъ того, что̀ говорилось въ толпѣ, окружавшей торгаша. Рядомъ съ Никаноромъ сидѣла жена его, женщина лѣтъ сорока пяти. Насколько мужъ былъ сановитъ и статенъ, несмотря на свои пятьдесятъ лѣтъ, настолько жена была мала и незамѣтна; но разница въ ростѣ не мѣшала имъ жить очень ладно. Однимъ обижался Никаноръ: дѣтей Богъ не давалъ; но и это обстоятельство не нарушало согласія супруговъ. Оба дружелюбно теперь калякали и, наблюдая толпу и торгаша, посмѣивались надъ суетливостью послѣдняго. Иногда бесѣду нарушалъ сосѣдъ или другой, проходившій мимо, сосновскій житель: начинались разспросы о томъ, о семъ, при чемъ Никаноръ не пропускалъ случая дѣлать любимое свое движеніе: разсѣкалъ ладонью правой руки широкую свою бороду на двѣ равныя части, бралъ каждую часть порознь въ руку и какъ будто выжималъ изъ нея воду. Сосѣди кланялись, расходились, и Никаноръ съ женою снова принимались поглядывать на толпу и продолжали посмѣиваться надъ суетою торгаша.

Но потому ли, что торгашъ, возившійся два часа, выбился изъ силъ, или потому, наконецъ, что товаръ значительно уменьшился и не было уже возможности удовлетворять требованіямъ, онъ объявилъ, что торгъ конченъ. Толпа стала рѣдѣть вокругъ воза. Двѣ молоденькія бабенки настойчиво было приступили, одна съ ножницами, другая съ тесемкой, но торгашъ наотрѣзъ сказалъ, что нѣтъ у него ни того, ни другого и, безъ дальнихъ церемоній, принялся увязывать кожей подводу. Толпа окончательно расходилась; да и время приближалось къ ужину; солнце начинало садиться. Увязавъ возъ, торгашъ сѣлъ на облучокъ, поправилъ мѣховую свою шапку съ тяжеловѣсной макушкой, которая какъ будто двигалась сама собою (лѣзла на глаза, когда шапку отодвигали на затылокъ, и сползала на затылокъ, когда шапка наѣзжала на глаза), торгашъ началъ осматриваться во всѣ стороны широкой улицы. Вездѣ былъ народъ, но никто теперь не обращалъ на него вниманія: кто пѣлъ, кто бродилъ взадъ и впередъ, кто сидѣлъ передъ домомъ и разговаривалъ. Глаза торгаша встрѣтили, наконецъ, сановитую, важную фигуру Никанора и маленькое лицо жены его. Оба они

также на него смотрѣли. Торгашъ дернулъ вожжами и прямо къ нимъ поѣхалъ.

— А что, почтенный, вымолвилъ онъ, останавливаясь шагахъ въ трехъ отъ подрядчика и едва удерживая лошадь, которая лѣзла въ растворенныя ворота,—что̀, почтенный... гдѣ бы мнѣ постоять—а? Я чай, у васъ постоялые-то дворы есть?

— Какъ не быть! постоялыхъ дворовъ у насъ много, возразилъ Никаноръ.

— Далеко?.. Тпру... пру... экъ ее! ворота увидала, такъ и претъ. Пру... произнесъ торгашъ, удерживая лошадь.— Гдѣ жъ у васъ дворы-то?

— Больше все въ нижней слободѣ, у рѣки, сказалъ Никаноръ.

— Ну, а какъ, почтенный, у васъ, примѣрно, постоять можно? спросилъ торгашъ, лицо котораго вдругъ заслонилось макушкой шапки, которую сдвинулъ онъ на затылокъ.

Подрядчикъ и жена его вопросительно поглядѣли другъ на друга; глаза ихъ снова устремились къ торгашу, красное лицо котораго освободилось теперь отъ шапки; это былъ уже человѣкъ лѣтъ шестидесяти, сѣдой, какъ лунь, и, вдобавокъ, еще лысый; добродушная, ласковая наружность его внушала видно довѣріе, потому что Никаноръ тотчасъ же сказалъ ему:

— Остановись, пожалуй, у насъ; это можно; у насъ не постоялый дворъ, но все равно: есть гдѣ лошади постоять, есть гдѣ самому пріютиться.

— Ну, вотъ и ладно! сказалъ старикъ.—Вишь лошадь-то сама къ вамъ просится, не удержишь никакъ: ко двору, стало-быть...

— Ну, въѣзжай, когда такъ! въѣзжай! промолвилъ Никаноръ, вставая съ лавки.

Старикъ слѣзъ съ воза, взялъ лошадь подъ-уздцы и повелъ ее въ ворота.

— Не бойсь, умаялся—а? вымолвилъ Никаноръ, слѣдуя подлѣ торгаша съ одной стороны, тогда какъ жена шла съ другой.—Мы съ женою все время на тебя глядѣли; признаться, маленечко даже посмѣялись, какъ ты съ ними возился.

— Чего, братецъ ты мой! Вѣдь лѣзутъ, словно бѣшеныя, словно овцы какія, право! Ничего вѣдь не сдѣлаешь. Пуще всего эти бабы: одурь даже возьметъ; никакого въ нихъ постоянства нѣтъ, право, точно шальныя!..

— Слышь, Авдотья, какъ старина-то вашего брата обдѣлываетъ—а?..

Жена подрядчика засмѣялась.

— Я не объ тебѣ, касатушка, не объ тебѣ... ты ко мнѣ и не подходила, заговорилъ старикъ,—пуще всего эти вотъ молодыя бабы да дѣвки надоѣли: та „дѣдушка, подай“, другая „дѣдушка, подай“; другая сама не знаетъ чего надо, а лѣзетъ... Иной разъ своей торговлѣ не радъ, право: совсѣмъ затормошатъ; больше перероютъ, чѣмъ купятъ... така-то зрятина, право... Куда лошадь-то ставить?

— Вотъ сюда, сюда веди... сказалъ Никаноръ, указывая подъ широкій навѣсъ, державшійся на толстыхъ столбахъ.

Навѣсъ этотъ замыкалъ глаголемъ дворъ съ двухъ сторонъ; третья сторона занята была амшеникомъ, амбаромъ и клѣтью; изба и ворота, смотрѣвшія на улицу, составляли четвертую сторону двора. Изба была въ два этажа, подобно большей части сосновскихъ избъ; лѣстница, обшитая съ боковъ досками, вела на галлерею съ тесовымъ навѣсомъ, которая служила сѣнями второму этажу, гдѣ помѣщались хозяева.

— Ты, дѣдушка, откуда? спросила жена подрядчика, когда возъ въѣхалъ подъ навѣсъ.

— Теперича, то-есть?..

— Нѣтъ, спрашиваетъ, родомъ откуда? подхватилъ Никаноръ, подсобляя старику распрягать лошадь.

— Мы губерніи Ярославской, словоохотливо отвѣчалъ старикъ,—теперича пробираюсь въ теплыя мѣста; давно ужъ тамъ не былъ; побываю въ Тамбовской губерніи, въ Саратовской... а тамъ проѣду въ Воронежъ, угоднику поклониться, по обѣщанію...

— Бывалъ и я въ тѣхъ мѣстахъ; мѣста хорошія, привольныя. Только какъ же ты съ телѣгой-то справишься? Недѣль черезъ пять зима застанетъ...

— Ну, такъ что жъ? Первый снѣгъ выпадетъ, промѣняю телѣгу на сани, переложу туда товаръ и поѣду; мы и все такъ-то.

— Да, ну это другое дѣло. Авдотья! примолвилъ Никаноръ, поворачиваясь къ женѣ,—ты, пока мы здѣсь управляемся, ты сходила бы мальчика-то провѣдала. Ему хоша теперь и полегчало, а все ступить на ногу-то не осилитъ... Можетъ, ему надобность есть до тебя, сходи-ка; да ужъ заодно ужинать собирай: время!..

Авдотья направилась къ лѣстницѣ и, минуту спустя, застучала котами по ступенькамъ.

— Мальчикъ-то у васъ боленъ, стало-быть? спросилъ старикъ.

— Нѣтъ, болѣзни, слава Богу, никакой нѣтъ, да ногу только зашибъ, ступить не можетъ, возразилъ Никаноръ.— Мальчикъ-то хорошъ, оченно жаль. Главная причина, мнѣ угодить старался; черезъ эсто и случай весь вышелъ. Ставилъ я избу по сосѣдству, подхватилъ подрядчикъ, помогая старику управиться съ лошадью,— ужъ онъ мнѣ усердствовалъ, усердствовалъ... ну, знамо, къ дѣлу еще непривыченъ, недавно къ нашему ремеслу приставленъ— не доглядѣлъ какъ-то: ему бревномъ по ногѣ и попало; да слава Богу, нога-то цѣла, ничѣмъ не повредилась, только повихнулъ маленько. А все жаль: мальчикъ-то добрѐ занятный, усердный такой!

— Какъ не жалѣть! особливо коли одинъ у васъ. Сынъ онъ, али сродственникъ?

— Нѣтъ, совсѣмъ чужой. Взялъ я его на поруки; ходилъ онъ сперва съ нищими, да убѣжалъ отъ нихъ; потомъ поймали его, къ становому привели, въ бродяги записать хотѣли, а я тутъ случился; вижу, мальчикъ такой хорошенькій, ласковый, такъ и заливается, плачетъ, такъ и заливается... жаль стало. „Какой онъ, думаю, бродяга! такъ, чай, сирота брошенный...“ Я его на поруки и взялъ.

— Ахъ ты, Господи!.. да ужъ не онъ ли это? Эхъ ты, скажи на милость... какъ его имя-то? спросилъ вдругъ старикъ, оживляясь.

— Петрушей зовутъ-то; а что?

— Онъ и есть! воскликнулъ старикъ, опуская оглоблю, которую началъ было притягивать, чтобъ свободнѣе умѣстить распряженный возъ.

— Да тебя не Васильемъ ли зовутъ? спросилъ Никаноръ, оживляясь въ свою очередь,—онъ часто о тебѣ поминалъ, коли ты...

— Такъ, такъ; ну, онъ и есть, онъ самый! подхватилъ дѣдушка Василій, суетливо потряхивая шапкой, макушка которой раза три обѣжала вокругъ лысой головы его.

Въ самую эту минуту на галлереѣ второго этажа показалась Авдотья.

— Никаноръ! Никаноръ! подь скорѣй сюда! закричала она, размахивая руками,—и ты, дѣдушка, ступай, скорѣй; оба ступайте...

Никаноръ и дядя Василій торопливо перешли дворъ и стали подыматься по лѣстницѣ, между тѣмъ какъ Авдотья снова скрылась въ избѣ. Дверь избы на галлерею была отворена и позволяла обозрѣвать просторную десятиаршинную избу съ бѣлой, широкой печкой, съ сосновыми, широкими полатями; красный уголъ, обклеенный желтыми обоями, съ огромными красными разводами, украшался множествомъ образовъ и складней; кругомъ всей избы шли широкія лавки. На одной изъ нихъ, устланной войлокомъ, сидѣлъ Петя; онъ рвался встать на ноги, но Авдотья держала его крѣпко въ обхватъ обѣими руками и не пускала.

— Ступайте скорѣй... не удержишь его никакъ! говорила она, поглядывая на дверь.— Погоди, говорятъ, сейчасъ придутъ... слышь, по лѣстницѣ ужъ стучатъ. Такъ это, стало, тотъ самый старичокъ, о которомъ ты поминалъ намъ?.. Да нѣтъ же, не пущу, неугомонь ты этакой! говорятъ, хуже нога заболитъ... ступайте скорѣй!..

Никаноръ и дядя Василій показались въ дверяхъ.

— Дѣдушка! дѣдушка!.. закричалъ Петя, радостно протягивая руки.

— Ахъ, ласковый!.. Ну, онъ и есть. Ахъ ты, ласковый, ласковый!.. подхватилъ старикъ, спѣша къ мальчику и хлопая ладонями по поламъ своего тулупчика.

— По голосу узналъ тебя, дѣдушка; какъ услыхалъ голосъ твой, такъ весь даже затрясся. Онъ часто поминалъ намъ тебя, говорила Авдотья, между тѣмъ какъ старикъ обнималъ и ласкалъ мальчика.

— Вотъ случай-то, значитъ! Ну, думали ли мы объ этомъ, какъ на тебя съ женою глядѣли, какъ ты съ бабами-то возился? Вотъ ужъ подлинно не знаешь, гдѣ найдешь, гдѣ потеряешь... твердилъ въ то же время Никаноръ.

Пошли тотчасъ же спросы-разспросы. Никаноръ и жена его, перебивая другъ дружку, разсказали старику все слышанное ими отъ Пети о его странствованіяхъ. Петя поминутно вмѣшивался въ разговоръ и поправлялъ ихъ; изъ этого дѣдушка Василій окончательно убѣдился, какъ добры были хозяева мальчика: они повидимому даже баловали его. Дѣдушка Василій поспѣшилъ, въ свою очередь, передать мальчику послѣднія извѣстія о его семействѣ; онъ былъ въ Марьинскомъ мѣсяца два назадъ. Узнавъ, что отца, матери, сестры и братьевъ не было въ Марьинскомъ,

что ихъ выселили, Петя горько заплакалъ; онъ такъ много слышалъ во время бродячей жизни своей о ссылкахъ, о Сибири, о каторжныхъ; ему представилось уже, что семья его находилась теперь въ Сибири, и онъ никогда ее больше не увидитъ. Присутствующіе не замедлили, конечно, объяснить ему, въ чемъ состояло переселенье. Принимая въ соображеніе обстоятельства семьи Пети, дядя Василій не сомнѣвался, что всѣмъ имъ во сто разъ лучше въ степи, чѣмъ въ Марьинскомъ; онъ съ особенною заботливостью описалъ приволье степной жизни вообще и не пропускалъ случая намекать объ изобиліи арбузовъ, точь-въ-точь, какъ дѣлалъ это Сергѣй Васильевичъ Бѣлицынъ, когда склонялъ Лапшу къ переселенію.

— Мнѣ эти степныя губерніи хорошо извѣстны, сказалъ онъ, когда Петя утѣшился,—прежде, бывало, я часто туда ѣздилъ, живалъ тамъ по цѣлымъ лѣтамъ. Я даже и мѣсто-то знаю, гдѣ живутъ теперь твои родители. Какъ провѣдалъ я въ Марьинскомъ, куда ихъ выселили, я сейчасъ сказалъ: „ну, знаю!“ говорю; выходитъ это на самомъ рубежѣ къ Саратовской губерніи, будетъ Петровскъ городъ—такъ прозывается,—такъ, верстахъ въ тридцати будетъ онъ отъ того мѣста... Вотъ, поди жъ ты! Скажи на милость, случай какой! подхватилъ онъ, обращаясь къ Никанору и женѣ его,—точно кто надоумилъ меня остановиться противъ вашего дома, право; сама лошадь, и та даже какъ будто чуяла... такъ вотъ въ ворота къ вамъ и рвется. Совсѣмъ ужъ собрался вѣдь на постоялый дворъ ѣхать, право; вотъ и въ одной деревнѣ были бы, а все едино за тысячу верстъ... Ничегодки я этого не зналъ, что онъ, примѣрно, здѣсь у васъ находится.

— И я то же говорю, перебилъ Никаноръ,—не знаешь, гдѣ найдешь, гдѣ потеряешь. Все это, значитъ, во власти Господней; Онъ всѣмъ этимъ управляетъ.

— Подлинно, Господь управляетъ, подлинно... Да вѣдь случай-то какой, братецъ ты мой: какъ будто зналъ я обо всемъ этомъ, что въ тѣ-то мѣста собрался, гдѣ его родители находятся, хотѣлъ даже по пути ихъ провѣдать, потому, люди оченно, то-есть, хорошіе, особливо его мать, ужъ надо сказать, настоящая, выходитъ, женщина! Вотъ, чай, обрадуется теперича, какъ увидитъ-то! И-и-и! Одна бѣда, какъ намъ съ ногой быть теперича? Пріидется обождать, дѣлать нечего...

Никаноръ и Авдотья успѣли уже привыкнуть къ Петѣ.

Такъ какъ дѣтей у нихъ не было, они думали прикрѣпить его къ себѣ и усыновить современемъ, если въ немъ прокъ окажется. Имъ очень не хотѣлось разстаться съ мальчикомъ. Петя не плакалъ теперь, но и не смѣялся; сердце его и мысли сильно работали; онъ очень хорошо помнилъ житье у родителей; жизнь у подрядчика Никанора была во сто разъ лучше; подрядчикъ и жена его ласкали его и баловали больше даже, чѣмъ родители; при одной мысли разстаться съ ними, сердце Пети сжималось тоскою невыносимой; но это самое сердце сильно опять-таки рвалось къ матери, къ отцу, къ сестрѣ и братьямъ; онъ истолковать себѣ не могъ, какъ могло статься, что тамъ, у родителей, было и хуже, и лучше въ одно и то же время? Похвалы, которыя дядя Василій расточалъ Катеринѣ, разсказъ его о томъ, какъ она убивалась, когда нищіе увели Петю, какъ она его отыскивала, какъ писала управителю (обо всемъ этомъ старикъ слышалъ отъ жителей Марьинскаго)— все это показало Никанору и Авдотьѣ, что грѣхъ даже не способствовать къ скорѣйшему возвращенію малаго въ родную семью. За ужиномъ рѣшили распорядиться такимъ образомъ: дядя Василій поѣздитъ со своимъ возомъ недѣльку по окружности, чтобъ дать время Петѣ окончательно поправиться съ ногою; по прошествіи этого срока, старикъ вернется въ Сосновку. Никаноръ не могъ передать мальчика, не предупредивъ объ этомъ станового. Онъ сказалъ, что свезетъ къ нему дядю Василья, и увѣрилъ, что дѣло обойдется какъ нельзя лучше.

Все это происходило, если помнитъ читатель, въ воскресенье. Въ субботу, то-есть ровно черезъ шесть дней, старый торгашъ стучалъ ужъ въ ворота подрядчика. Петя свободно становился теперь на ногу и слегка только прихрамывалъ. Подрядчикъ и жена его придрались было къ этому обстоятельству, чтобъ задержать пріемыша еще на нѣсколько дней, но дядя Василій не далъ имъ договорить: во-первыхъ, не время было дожидаться; во-вторыхъ, онъ ни за что не дозволитъ мальчику съ больною ногою итти пѣшкомъ; Петя не посмѣетъ у него слѣзть съ воза. Мужъ и жена больше не настаивали. Никаноръ повезъ дядю Василья въ знакомую намъ становую квартиру.

Соломонъ Степанычъ, слѣдуя системѣ, обратившейся уже въ рутину—такъ она обыкновенна—началъ-было ломаться: требовалось списаться съ тѣмъ-то лицомъ, снестись съ такимъ-то мѣстомъ, и проч.; вообще Соломонъ

Степанычъ былъ не такъ уже сговорчивъ, какъ два мѣсяца назадъ; умягчающее вліяніе медоваго мѣсяца замѣтно проходило: уменьшительное имя Салиньки, казалось, не трогало его; словомъ, онъ превратился въ прежняго Соломона Степаныча, какимъ знали его до женитьбы. Но дядя Василій былъ такъ старъ и опытенъ, что не могъ не знать обычая; къ тому жъ, Никаноръ предупредилъ его. Выслушавъ Соломона Степаныча съ подобающимъ вниманіемъ, дѣдушка Василій поклонился ему отличными тульскими ножницами, которыя тотчасъ же какъ будто принялись за дѣло и начали подрѣзывать препятствія; чтобъ окончательно дорѣзать препятствія, торгашъ присовокупилъ къ ножницамъ перочинный ножикъ и гребенку изъ композиціи, долженствующую украсить голову супруги Соломона Степаныча. Дѣло приняло тотчасъ же другой оборотъ: оказалось вовсе ненужнымъ списываться и сноситься; торгашъ могъ взять мальчика и везти его къ роднымъ, или даже куда захочетъ.

Возвратившись въ Сосновку, подрядчикъ сталъ просить старика переждать воскресенье; но дядя Василій, суетившійся болѣе чѣмъ когда-нибудь, напрямикъ отказалъ въ такой просьбѣ: онъ и безъ того много истратилъ времени; наконецъ, переждать воскресенье, значило выѣхать въ понедѣльникъ, въ тяжелый день, чего ему никакъ не хотѣлось. Онъ обѣщалъ, впрочемъ, увѣдомить ихъ о мальчикѣ: если мать, а за нею господа, согласятся отдать Петю обучаться плотничному ремеслу, онъ тотчасъ же отпишетъ имъ объ этомъ. Въ тотъ же вечеръ, послѣ ужина, Никаноръ и Авдотья простились съ Петей, который долго обнималъ ихъ и нѣсколько разъ принимался плакать. Въ воскресенье, къ солнечному восходу, и дядя Василій, и Петя, спавшій на возу, были далеко отъ Сосновки.

V.

Въ дорогѣ.

Во всю дорогу со старикомъ и съ Петей ничего не произошло особеннаго, кромѣ встрѣчи, о которой намъ необходимо сказать нѣсколько словъ. Они находились уже верстахъ во ста отъ Сосновки. Они ѣхали большой дорогой и недавно покинули деревню, гдѣ отдохнули и пообѣдали. Сытая лошадка везла очень бодро, несмотря на то, что, въ придачу къ товару, на возу сидѣли дѣдушка Василій и мальчикъ.

— Дѣдушка, погляди-ка, никакъ солдаты идутъ?.. сказалъ Петя, правившій лошадью. — Слышь, чѣмъ это они гремятъ такъ?

Старикъ тряхнулъ шапкой и прищурился.

— Должно-быть, колодники... проговорилъ онъ.

Народъ, виднѣвшійся на дорогѣ, шелъ впередъ по одному направленію съ нашими путешественниками. Петя, движимый любопытствомъ, принялся легонько передвигать вожжами. Старикъ не ошибся: это были точно колодники. Ужъ можно было отличать мундиры солдатъ отъ одежды людей, которыхъ они сопровождали; мѣрный, однообразный звукъ цѣпей позволялъ даже считать шаги преступниковъ. Возъ не замедлилъ догнать конвой. Человѣкъ пятнадцать колодниковъ, въ оборванныхъ кафтанахъ и полушубкахъ, съ мѣшками за спиною, съ цѣпями на ногахъ, и шапкахъ, лѣпившихся криво и косо на бритыхъ головахъ, медленно подвигались между авангардомъ изъ трехъ и арьергардомъ изъ пяти солдатъ; въ числѣ послѣднихъ двое были верховые и держали пики. Въ обращеніи конвойныхъ и колодниковъ не было, казалось, ничего враждебнаго; они преспокойно разговаривали между собою; преступники разсказывали свои исторіи, солдаты— свои. Особенною разговорчивостью отличался одинъ изъ арьергардныхъ, произношеніе котораго обличало хохла; онъ шелъ рядомъ съ преступниками и велъ съ ними самую непринужденную бесѣду. Подъѣхавъ къ конвою, дѣдушка Василій и Петя, переставшій уже хромать, слѣзли съ воза; послѣдній побѣжалъ впередъ. Старикъ вынулъ изъ кармана нѣсколько копеекъ для раздачи преступникамъ, какъ вдругъ Петя пронзительно крикнулъ, бросился сломя голову къ торгашу и крѣпко обхватилъ его руками. Испугъ изображался въ каждой чертѣ поблѣднѣвшаго лица мальчика; въ первую секунду онъ слова не могъ выговорить.

— Дѣдушка!.. вымолвилъ онъ наконецъ измѣнившимся голосомъ и крѣпче еще прижался къ старику.—Верстанъ... Верстанъ... тутъ...

— Ой ли?..

— Поѣдемъ, скорѣй... поѣдемъ, дѣдушка!.. подхватилъ Петя, дрожа всѣмъ тѣломъ.

Все это происходило въ двухъ шагахъ отъ конвоя. Солдаты и колодники остановились и оглянулись.

— Ну, чого тамъ? Що не выдалы? проговорилъ хохолъ, какъ бы удивляясь любопытству, овладѣвшему това-

рищами.—Ступайте, братцы, упередъ... Пошелъ, пошелъ!.. чего сталы?

— Дай, братецъ, вздохнуть маленько; у меня и то ноги припухли... цѣпью добрѐ перетерло... смерть! сказалъ одинъ изъ преступниковъ.

— Мало що; меня самого ноги-то упухли... ступай, говорятъ, начальство не приказываетъ останавливаться! возразилъ хохолъ.

Конвой тронулся, и цѣпи снова загремѣли.

— Полно, ласковый, чего бояться? Онъ теперь не страшенъ, какъ цѣпью-то скрутили... Чего бояться? уговаривалъ между тѣмъ дѣдушка Василій. — Пойдемъ къ нимъ; вотъ я дамъ имъ копеечки... а тѣмъ временемъ спросимъ, что̀ за причина такая...

— Нѣтъ, дѣдушка, я лучше на возъ сяду... я не пойду... онъ убьетъ меня...

— Э, глупенькій! подхватилъ старикъ, — да какъ же ему убить-то?.. Не бойсь, не тронетъ теперича; говорю: не страшенъ!.. Пойдемъ-ка, пойдемъ...

Онъ взялъ лошадь подъ-уздцы, другую руку далъ мальчику, и минуты черезъ три они снова догнали солдатъ. Хохолъ шелъ теперь позади всѣхъ; къ нему обратился дѣдушка Василій:

— Вотъ, служба, сказалъ онъ, ободряя Петю, который началъ пятиться,—раздай-ка имъ по копеечкѣ; на дорогу пригодится... Слышь, промолвилъ онъ, указывая солдату на широкій, выбритый затылокъ, который возвышался надъ остальными,—этотъ намъ знакомый... Какъ нищимъ былъ, вотъ этого мальчика съ собою водилъ... Скажи, братъ, на милость, за какія онъ провинности?..

— За душегубство... словоохотливо возразилъ солдатъ, принимая деньги и передавая ихъ ближайшему преступнику съ наставленіемъ: „обдѣлы усѣхъ“, что̀ тотъ сейчасъ же и сдѣлалъ.—Съ нимъ такой старикъ ходивъ, продолжалъ солдатъ, — такой же нищій .. такъ у него грошей много было, онъ его и убывъ... съ товарищемъ его упечаталы... Вишь тутъ и товарищъ его идетъ... Може и его знаете?... Эй, Балдай! крикнулъ солдатъ,—знакомые тебя спрашиваютъ...

Торгашъ и Петя тотчасъ же узнали рябого Балдая; вмѣстѣ съ Балдаемъ обернулся также и Верстанъ; но какъ тотъ, такъ и другой не выразили даже удивленія при видѣ Пети и старика. Шершавыя, сѣдыя брови Верстапа

съ мрачною неподвижностью насупились надъ глазами; бросивъ холодный, равнодушный взглядъ на мальчика, Верстанъ и Балдай отвернулись, не проговоривъ ни слова.

— Пойдемъ, дѣдушка, пойдемъ! твердилъ Петя, дергая за рукавъ старика.

— Погоди, вымолвилъ тотъ, — надо узнать о слѣпомъ, котораго ты хвалилъ-то... что добрый такой былъ... какъ бишь его звали?..

— Фуфаевъ, дѣдушка...

— Слышь, служба, съ ними еще слѣпой ходилъ: куда жъ дѣлся?.. Спроси-ка; звали его Фуфаевъ...

— Какой що тамъ Хухаевъ?.. Съ нами нѣтъ... Эй, Балдай, присовокупилъ солдатъ, — спрашиваютъ Хухаева... съ вами ходывъ...

Но Балдай и Верстанъ не отвѣчали; они даже не обернулись.

— Не знаютъ, произнесъ словоохотливый хохолъ, — Хухаева съ ними не було...

Какъ ни безопасны были убійцы стараго Мизгиря, Петя не переставалъ жаться къ старику, пятился назадъ и дергалъ его за руку. Дядя Василій уступилъ наконецъ мальчику; онъ отсталъ отъ конвоя, помогъ Петѣ взлѣзть на возъ, самъ сѣлъ, взялъ вожжи и рысцою погналъ лошадь. Немного погодя они обогнали конвой и вскорѣ потеряли его изъ виду.

Во все продолженіе этого дня и даже весь слѣдующій день Петя ни о чемъ больше не думалъ, ни о чемъ не говорилъ, какъ о Верстанѣ, Балдаѣ и убитомъ дядѣ Мизгирѣ. На третій день, онъ только раза два о нихъ вспомнилъ; на четвертый, у мальчика только и рѣчи было, что о Никанорѣ, объ отцѣ, матери и степи, къ которой они приближались. Они ѣхали, однакожъ, очень долго. Дѣдушка Василій останавливался по пути почти въ каждой деревнѣ; раза два потребовалось прожить цѣлыя сутки въ уѣздныхъ городахъ, гдѣ старикъ забирался новымъ товаромъ. Къ замедленію пути не мало также способствовало время: стояла глухая осень; дожди лили безпрерывно, превращая дороги въ трясины и непроходимыя топи; потомъ дожди миновали и наступили морозы: дороги сдѣлались еще хуже, извилистыя колеи и глубокія котловины, скованныя холодомъ, превращались въ кремень— надо было ѣхать шагомъ. Дѣдушка Василій нетерпѣливо ждалъ перваго снѣга, чтобъ промѣнять телѣгу на сани;

но зима никакъ не хотѣла установиться; снѣгъ выпадалъ нѣсколько разъ, но, какъ нарочно, всякій разъ наступала оттепель, и снова приходилось колесить на телѣгѣ.

Но худо ли, плохо ли, они все-таки, однакожъ, подвигались. Въ послѣднихъ числахъ октября, пòдъ-вечеръ, прибыли они въ сельцо Васильевку, приходъ Анисьи Петровны Ивановой. Разспросивъ дорогу въ Панфиловку, они тотчасъ же туда отправились.

— Тамъ ужъ лучше переночуемъ, промолвилъ дѣдушка Василій, — дорога теперь хорошая, степью-то; къ тому и лошаденка не пуще, чтобъ устала, довезетъ... Ну, ласковый! прибавилъ онъ, обращаясь къ мальчику, который поминутно забѣгалъ впередъ и не отрывалъ глазъ отъ горизонта,—ну, завтра родителей увидишь. Радъ, чтò ли? а?..

Было уже совершенно темно, когда они въѣхали въ околицу маленькаго хутора. Торгашъ постучалъ въ первое окно; изъ него выглянулъ старикъ. Но прежде, чѣмъ попросить о ночлегѣ, дядя Василій освѣдомился о переселенцахъ. Узнавъ, что до мàзанки оставалось всего-на-все четыре версты, онъ тотчасъ же перемѣнилъ намѣреніе, сказалъ, что не стоило заночевать, и разспросилъ, какъ проѣхать къ переселенцамъ.

— Ну, котёнокъ, теперь недалеко; ну, понатужься маленько, ну, Богъ съ тобой! ну! вымолвилъ дядя Василій, снова поворачивая лошадь къ околицѣ.

Петя между тѣмъ бѣжалъ по дорогѣ и кричалъ:

— Сюда, дѣдушка, сюда! Я дорогу-то вижу, сюда ступай: я укажу тебѣ!..

VI.

Степная мазанка.

Усталость не замедлила, однакожъ, угомонить рѣзвость мальчика; онъ и безъ того ужъ, въ радости своей, такъ много скакалъ и прыгалъ въ этотъ день, что дѣдушка Василій не разъ совѣтовалъ поберечь ноги, говоря, что дороги впереди осталось еще порядочно. Петя усаживался тотчасъ же на возъ; но не проходило двухъ минутъ, онъ снова бѣжалъ по дорогѣ и даже подскакивалъ, думая скорѣе увидѣть мàзанку, чтò вызывало всегда улыбку на добродушно-суетливомъ лицѣ старичка. Такъ и теперь: узнавъ, что осталось четыре версты, онъ сказалъ, что это близёхонько, что онъ духомъ добѣжитъ, но на первой же

верстѣ шагъ его замедлился; на второй онъ присоединился къ старику. Если ноги Пети отказывались производить скачки, языкъ его, наоборотъ, получалъ съ каждымъ шагомъ впередъ все больше и больше развязности; онъ болталъ безъ умолку. Впрочемъ, дѣдушка Василій, который также, казалось, былъ очень веселъ, немного чѣмъ отставалъ отъ маленькаго своего товарища. Разговоръ ихъ, разумѣется, вертѣлся на одномъ предметѣ: оба бесѣдовали о предстоящемъ свиданіи.

Ночь была чудная. Мѣсяцъ не показывался, но въ небѣ блистало столько звѣздъ, такою бѣлизною сіялъ млечный путь, что въ степи, слегка посеребренной морозомъ, легко было разбирать дорогу. Морозъ былъ порядочный: градусовъ шесть или семь; холодъ не чувствовался, однакожъ, благодаря совершенной неподвижности воздуха. Промерзлая земля и звонкій морозный воздухъ, казалось, прислушивались и ждали звука, чтобъ разнести его далеко по всей окрестности; но безмолвіе, царствовавшее по всему видимому, необъятному кругозору, нарушалось только нашими путешественниками: сухое постукиванье колесъ, хрустѣнье ледяныхъ иглъ, ломавшихся подъ ихъ ногами, голоса старика и мальчика одни раздавались въ опустѣлой степи. Миріады звѣздъ, которыя мигали и какъ бы пересыпались надъ степью, сообщали какъ будто жизнь и движеніе синему небесному своду; часто въ той или другой сторонѣ одна звѣздочка зажигалась ярче, отрывалась отъ другихъ, и стремглавъ, какъ бы скользя по серебряной ниткѣ, летѣла къ далекому горизонту. Дѣдушка Василій каждый разъ торопливо крестился.

— Дѣдушка, во̀на, во̀на еще одна падаетъ! воскликнулъ Петя,—нѣтъ, потухла, дѣдушка, потухла!

Дѣдушка торопливо, однакожъ, обернулся и снова осѣнилъ себя крестнымъ знаменіемъ.

— Еще, дѣдушка! вишь, скоро, какъ скоро... Что̀ это онѣ падаютъ, дѣдушка. А ну, какъ на ригу другая упадетъ: вѣдь, чай, дѣдушка, загорится, небось, рига-то?.. вѣдь звѣзды-то изъ огня?

— Это, касатикъ, не звѣзды падаютъ.

— Какъ же такъ, не звѣзды?

— Нѣтъ, касатикъ, возразилъ старикъ,—это, значитъ, ангелы Божіи со свѣчами летаютъ... Какъ въ небѣ покажется такой огонекъ, значитъ, гдѣ ни на есть человѣкъ добрый умираетъ: вотъ ангелъ и летитъ на землю за душою

его христіанской; Господь его туда посылаетъ!.. Петя, Петя! подхватилъ вдругъ старикъ, перемѣняя голосъ,— Петя, взглянь-ка! заключилъ онъ, повертывая мальчика за плечи и указывая на огонёкъ, который сверкнулъ вдругъ въ степи,—вѣдь это въ мàзанкѣ, у твоихъ огонёкъ-то!.. Право, будто у твоихъ.

Петя началъ скакать, прыгать, вскрикивать и радостно бить въ ладоши; онъ тотчасъ же, однакожъ, угомонился, когда старикъ сказалъ, что надо подъѣхать потихоньку, чтобъ никто не догадался, и потомъ разомъ вдругъ показаться—веселѣе будетъ.

— И то, дѣдушка, и то! возразилъ Петя, съ трудомъ побѣждая нетерпѣніе.

— Ну, котёнокъ, ну, теперь близёхонько, понатужься еще маленько, ну! произнесъ старикъ, подергивая вожжами. Усталая лошадь, какъ бы почуявъ скорый отдыхъ, ободрилась и пошла ходче.

Огонёкъ замѣтно приближался; на свѣтломъ небѣ стала обозначаться темная профиль кровли; Петя и старикъ подъѣхали наконецъ къ колодцу.

— Тише... шт... нишкни! прошепталъ дядя Василій, привязывая лошадь и поворачивая голову къ Петѣ, которымъ овладѣли вдругъ и страхъ какой-то, и радость,— надо подойти потихоньку, чтобъ не слыхали. Должно быть, всѣ спятъ... диковинное только дѣло, зачѣмъ огонь горитъ.

Старикъ взялъ мальчика за руку и подошелъ къ двери; онъ готовился ужъ постучать, но дверь отворилась и пропустила человѣка, который, при видѣ постороннихъ, поспѣшилъ запереть дверь за собою. Старикъ пригнулся къ лицу человѣка, чтобъ разсмотрѣть его; но черты его были ему вовсе незнакомы. Незнакомецъ, съ своей стороны, пригибался и разсматривалъ прибывшихъ.

— Ваня! Ваня! закричалъ вдругъ мальчикъ, выпуская руку старика и бросаясь на шею незнакомца.

— Петя... Господи!.. онъ!.. Петя!.. крикнулъ, въ свою очередь, столяръ.

Въ мàзанкѣ, погруженной до сихъ поръ въ молчаніе, раздались торопливые шаги; дверь настежь вдругъ раскрылась и показалась Катерина; за ней бѣжала Маша. Первый же взглядъ объяснилъ Катеринѣ все дѣло; страшный, раздирающій крикъ вырвался изъ груди ея; какъ безумная, рванулась она къ мальчику, котораго подста-

вилъ ей Иванъ, подняла съ земли, бросила къ себѣ на грудь и крѣпко обхватила обѣими руками.

— Батюшка... батюшка мой... батюшка!.. проговорила она, зарыдавъ вдругъ такъ громко и такимъ голосомъ, что всѣ присутствующіе заплакали — точно ножомъ подрѣзали ей сердце.

Иванъ, Маша и старикъ поспѣшили подхватить Катерину подъ руки и усадили ее на́-земь; но она какъ будто ничего не замѣчала, что̀ съ ней дѣлали и что̀ вокругъ происходило; крѣпко обхвативъ голову мальчика и прижимая его къ груди, она продолжала страшно рыдать и повторяла:

— Батюшка!.. ненаглядный ты мой!.. батюшка мой!..

— Полно, тётка, перестань! О чемъ теперь плакать? сказалъ старикъ, останавливаясь передъ нею и потряхивая головой.—Не плакать, а радоваться надо, да Бога благодарить — вотъ что̀! Ну, о чемъ? о чемъ?.. Эхъ, неразумная твоя головушка, право! эхъ!..

— Оставь ее, дѣдушка, перебилъ Ваня, смекнувшій ужъ, что старикъ былъ тотъ самый, о которомъ такъ много говорила ему Катерина.—Ужъ это лучше теперь оставить ее, право; добре́ ужъ оченно это вдругъ-то, знаешь, добрѐ обрадовалась. Пойдемъ въ избу, примолвилъ онъ, понижая голосъ; — тамъ у насъ неладно: дядя Тимоѳей почитай умираетъ, никакой даже надежды нѣтъ; вечоръ причащали... Пойдемъ, она тѣмъ временемъ съ дочерью здѣсь останется; дай ей выплакаться хорошенько; оно пройдетъ! заключилъ онъ, слѣдуя за старикомъ, который торопливо заковылялъ къ ма̀занкѣ.

Ваня отворилъ дверь, и они вошли. Свѣтильня, прислоненная къ краю черепка, наполненнаго жиромъ, трепетно освѣщала край печи, на которой крѣпкимъ сномъ спали ребятишки; свѣтъ едва досягалъ до угла, гдѣ лежалъ умирающій. Дядя Василій подошелъ къ нему, бережно сѣлъ къ ногамъ Лапши и назвалъ его по имени. Лапша не откликнулся, даже не пошевелился. Старикъ покачалъ головой и шепнулъ Ванѣ на̀-ухо; тотъ взялъ черепокъ съ свѣтильней и поставилъ его на лавку въ двухъ шагахъ отъ умирающаго. Дядя Василій откинулся даже назадъ — та́къ сильно поразила его худоба Тимоѳея: онъ точно весь высохъ; самыя кости его какъ-будто засохли и сузились, впалая грудь, посреди которой изгибалась черная, глубокая тѣнь, едва примѣтно поднималась. Старика не

мало также удивили полураскрытые глаза Тимоѳея; они, повидимому, прямо на него устремлялись и между-тѣмъ ничего какъ-будто не видѣли. Старикъ опять пригнулся къ умирающему, опять окликнулъ его, и снова назвался, но Тимоѳей не подалъ знака сознанія или жизни: глаза его попрежнему остались безчувственны.

Дядя Василій всталъ, отвелъ Ваню въ противоположный уголъ и безнадежно какъ-то покачалъ головой. Ваня сообщилъ ему, что вотъ уже пятый день, какъ Тимоѳей находится въ такомъ положеніи, пятую ночь Катерина, Маша и самъ онъ проводятъ у его изголовья, боясь, чтобъ онъ не отошелъ, не имѣя подлѣ себя никого, кто бы закрылъ глаза ему: всѣ они страхъ измучились столько же отъ сомнѣнія, сколько отъ усталости. Разговоръ продолжался недолго, но все-таки настолько, что оба собесѣдника успѣли ознакомиться другъ съ другомъ. Иванъ направился распрячь лошадь и задать ей кòрма; дядя Василій послѣдовалъ за нимъ, частью, чтобъ помочь ему, частью, чтобъ провѣдать Катерину. Онъ уже готовился пройти въ дверь за столяромъ, когда встрѣтился съ Катериной и ея дочерью.

Лицо Катерины дышало необыкновеннымъ одушевленіемъ; слезы текли по щекамъ ея, но она не рыдала. Войдя въ мàзанку, она опустила нà-земь Петю, котораго держала на рукахъ, какъ маленькаго ребенка, и, бросившись къ старику, стала обнимать его и осыпàть благословеніями; потомъ она вдругъ остановилась; лицо ея сдѣлалось озабоченнымъ; она провела ладонью по мокрымъ щекамъ, взяла Петю за руку и повела къ отцу. Маша и дядя Василій послѣдовали за ними. Но мутные глаза Тимоѳея сохраняли все ту же напряженную неподвижность: они попрежнему ничего не различали. Слухъ его точно такъ же повидимому оставался безчувственнымъ къ словамъ жены, которая говорила о возвращеніи сына и просила мужа благословить мальчика: Тимоѳей не обнаружилъ признака сознанія. Все это, безъ сомнѣнія, возобновило бы слезы, которыя и безъ того уже много текли въ эти пятеро сутокъ надъ изголовьемъ умирающаго, если бъ Иванъ, вернувшійся къ этому времени, не поспѣшилъ отвлечь вниманіе присутствующихъ: по словамъ его, дядя Василій и Петя умирали съ голоду, и надо было позаботиться накормить ихъ.

Нѣсколько минутъ спустя, старикъ и мальчикъ усажены

были за столъ. Во время ужина Петя, по просьбѣ сестры и Вани, началъ-было разсказъ о своихъ похожденіяхъ, но мать ничего не хотѣла слушать; она говорила, что Петя здоровъ, живъ, возвратился и, слѣдовательно, не все ли равно, чтó прежде съ нимъ было; теперь надо только благодарить Господа Бога, надо думать, кàкъ бы посытнѣе накормить мальчика и уложить его спать. „Мальчикъ ногъ подъ собой не слышитъ: какіе тутъ разговоры! Завтра, Богъ дастъ, живы будемъ, наговоримся!" повторила она. Петя и старикъ увѣряли, что всю дорогу сидѣли почти на возу и нимало не устали; но Катерина опять-таки отказывалась слушать. Она сняла съ себя полушубокъ, велѣла Ванѣ принести скорѣе сѣна и принялась устраивать на лавкѣ двѣ постели. Сколько ни отнѣкивался Петя, сколько ни говорилъ, что спать еще не хочетъ, что хочется ему посидѣть со всѣми ими подлѣ отца, Катерина взяла его снова на руки, отнесла на лавку и, крѣпко обхвативъ руками, начала убаюкивать, какъ дѣлала это въ былое время.

Нежданно Катерина замолкла и подняла руку кверху: Петя заснулъ. Осѣнивъ его крестнымъ знаменіемъ и сама перекрестившись нѣсколько разъ сряду, она возвратилась къ старику и стала также уговаривать его пораспрaвить старыя косточки. Но такъ какъ дядя Василій напрямикъ отказался, и Катерина, съ своей стороны, не могла взять его на руки и уложить силой, то она больше не настаивала. Всѣ усѣлись опять къ столу: Катерина подлѣ дяди Василья, Маша подлѣ Ивана, и началась длинная-длинная бесѣда; но самой плохой слушательницей была Катерина: она поминутно отрывалась—то подходила къ мужу, то къ Петѣ, бережно садилась къ изголовью послѣдняго, засматривалась въ лицо его, цѣловала его въ голову, шептала непонятныя какія-то слова и крестилась.

Но Ваня поддерживалъ бесѣду съ такимъ усердіемъ, что вмѣшательство Катерины и даже лишнихъ трехъ разсказчиковъ ничего бы не могло прибавить. Онъ передалъ старику все житье-бытье, всѣ стѣсненныя и жалкія обстоятельства, которыя претерпѣли Катерина и семья ея со времени ихъ переселенія; передалъ о смерти Дуни, той безумной, которую старый торгашъ долженъ былъ помнить: извѣстіе о ея смерти получено было три недѣли назадъ. Затѣмъ перешелъ онъ къ повѣствованію о пожарѣ и происшествію съ Филиппомъ. До послѣдняго онъ коснулся,

однакожъ, мелькомъ; подробности, какъ видно, берегъ для объясненія старику своихъ собственныхъ обстоятельствъ.

Дядя Василій узналъ съ первыхъ же словъ, что столяръ считается уже въ семьѣ женихомъ Маши. Они ждали только дозволенія отъ управителя Герасима Аѳанасьевича, которому писано было по этому предмету въ Марьинское: дозволеніе не могло замедлить и не быть благопріятнымъ; письма этого ждали со дня на день: это собственно и заставило теперь Ивана понавѣдаться въ степь; самъ же онъ живетъ въ четырехъ верстахъ отъ уѣзднаго города (тутъ послѣдовала исторія о помѣщикѣ и о сорока оконныхъ рамахъ, изъ которыхъ тридцать уже сдѣланы и даже деньги за нихъ получены); изъ Марьинскаго ждали еще другого письма, которое легко даже могло измѣнить всю жизнь переселенцевъ. Гуртовщикъ Карякинъ (дядя Василій зналъ уже о немъ изъ исторіи о пожарѣ) получилъ согласіе отъ родителя купить лугъ, на которомъ жили переселенцы. Карякинъ писалъ объ этомъ еще прошлый мѣсяцъ въ Марьинское и также ждалъ со дня на день отвѣта. Легко могло статься, что отвѣтъ также будетъ благопріятенъ, то-есть господа согласятся на продажу луга, и тогда семья снова вернется на родину, въ Марьинское.

Послѣднее это извѣстіе дало поводъ къ разнымъ толкамъ и предположеніямъ: будетъ ли лучше тогда? будетъ ли хуже?.. Иванъ и Маша начали было утверждать, что непремѣнно лучше будетъ; но Катерина указала имъ на умирающаго—и оба замолкли. Разговоръ перешелъ тогда къ Лапшѣ и его болѣзни. Словомъ, бесѣда продолжалась далеко за полночь; она, вѣроятно, продлилась бы еще долѣе, если бъ дѣдушка Василій не сознался, наконецъ, что сильно позываетъ его соснуть часокъ-другой. Старикъ поднялся съ мѣста, распоясался, снялъ съ себя полушубокъ и началъ молиться передъ образомъ, поставленнымъ надъ головою умирающаго. Всякій разъ, какъ дядя Василій подымалъ голову послѣ земного поклона, глаза его встрѣчали заостренную профиль Тимоѳея и его впалую грудь, которая едва примѣтно теперь подымалась. Хотя старикъ утѣшалъ Катерину и семью ея, однакожъ, онъ не сомнѣвался, что смерть близка и стучитъ даже въ дверь мазанки. Онъ, кстати, положилъ нѣсколько лишнихъ земныхъ поклоновъ за упокой души раба Божія Тимоѳея.

Немного погодя, все стихло въ мазанкѣ. Дядя Василій

спалъ; Иванъ и Маша, оба прикурнули—одна въ головахъ отца, другой подлѣ, на сосѣдней лавкѣ; одна Катерина бодрствовала: скрестивъ на груди руки, опустивъ голову, она молча сидѣла у изголовья мужа.

Первые лучи восходящаго солнца били въ окно мазанки, наполняя ее золотымъ свѣтомъ, когда дядя Василій внезапно былъ пробужденъ криками и воплемъ.

Вся семья, отъ мала до велика, тѣснилась въ углу, гдѣ лежалъ Тимоѳей. Рыданья, крики и голошенье наполнили мазанку. Дядя Василій понялъ, что въ настоящую минуту утѣшенія ни къ чему не послужатъ. Онъ отозвалъ Ваню, велѣлъ ему запрячь лошадь и ѣхать въ приходское село переговорить съ священникомъ насчетъ похоронъ; самъ онъ вызвался остаться въ мазанкѣ и не покидать семьи во все это время. Дорогой къ приходу, Иванъ заѣхалъ въ Панфиловку извѣстить Андрея о кончинѣ Тимоѳея; онъ сообщилъ также о возвращеніи Пети.

— Ну, слава тебѣ Господи! все, значитъ, не оставилъ Онъ ее своею милостью: одного отнялъ, другого далъ; все не такъ тяжко ей будетъ, сказали въ одинъ голосъ Андрей и жена его.

— Вы пуще всего мальчика-то къ ней чаще на глаза пущайте, подхватила Прасковья, — мало ли она о немъ убивалась, горькая!.. Поглядитъ на него — все сколько-нибудь легче будетъ.

— Что жъ дѣлать-то? Къ тому ужъ дѣло шло, сказалъ Андрей.—Я, признаться, не говорилъ только, а послѣдній разъ, какъ былъ у васъ, какъ поглядѣлъ, не чаялъ ему живности... царствіе ему небесное! Когда же хоронить-то думаете?..

— Да послѣзавтра, возразилъ Иванъ.

— Врядъ можно, послѣзавтра священнику не время... рази ужъ рано утромъ.

— А что?

— Да рази ты не слыхалъ?

— Нѣтъ...

— Вѣдь послѣзавтра свадьба: вѣнчаютъ Ѳедора Иваныча съ нашей барышней. Отецъ Михаилъ не поспѣетъ управиться.

— Я къ нему теперь: онъ скажетъ, когда послободнѣе будетъ, произнесъ Ваня, дѣлая шагъ, чтобъ удалиться.

— Погоди, Ваня, сказалъ Андрей. — Вечоръ нашъ му-

жичокъ въ городъ ѣздилъ, два письма привезъ, Катеринѣ велѣлъ отдать. Одно, должно-быть, о лугѣ пишутъ. Вечоръ Пьяшка приходила, сказывала Ѳедоръ Иванычъ самъ, вишь, письмо получилъ съ вашихъ мѣстъ отъ управителя: вѣдь лугъ-то ему продали.

Прасковья принесла письма. Андрей сказалъ Ивану, чтобъ онъ, когда поѣдетъ назадъ, завернулъ къ нимъ на минуту. Отецъ Михаилъ подтвердилъ все сказанное Андреемъ касательно свадьбы Карякина и племянницы Анисьи Петровны. Онъ просилъ распорядиться похоронами на завтра, или переждать еще день. Иванъ не могъ дать положительнаго отвѣта; онъ сказалъ, что посовѣтуется съ Катериной и привезетъ къ нему отвѣтъ. Въ ожиданіи этого, онъ подалъ священнику письма, которыя тотъ прочелъ очень охотно. Оба письма были отъ Герасима Аѳанасьевича. Въ одномъ находилось позволеніе на бракосочетаніе Ивана съ Машей, въ другомъ объявлялось о продажѣ луга. Герасимъ Аѳанасьевичъ объявлялъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, чтобъ Катерина, по полученіи этого письма, приступила къ продажѣ мазанки и на вырученныя деньги немедленно отправлялась со всею своею семьею въ Марьинское—такова была воля господъ, прибавлялъ старый управитель.

Иванъ поспѣшилъ вернуться назадъ, чтобъ передать обо всемъ этомъ Катеринѣ. По пути, согласно обѣщанію, заѣхалъ онъ въ Панфиловку. Андрей и жена его переговорили, между тѣмъ, и рѣшили навѣстить переселенцевъ, проститься съ покойникомъ, и утѣшить по возможности Катерину. Они сѣли вмѣстѣ съ Иваномъ, и всѣ трое поѣхали къ степной мазанкѣ.

VII.

Заключеніе.

Въ тотъ годъ, какъ совершались происшествія, избранныя нами частью для развлеченія читателя, частью для назиданія (да простятъ намъ такую претензію!), зима въ Петербургѣ была особенно какъ-то богата увеселеніями. Итальянская опера была еще лучше, чѣмъ въ предыдущіе годы; двѣ-три европейскія знаменитости украсили сцену другихъ петербургскихъ театровъ; огромныя афиши безпрерывно возвѣщали о концертахъ и, что̀ достойно замѣчанія, въ этихъ концертахъ являлись иногда истинно за-

мѣчательные таланты; никто не помнилъ, чтобъ когда-нибудь давалось такое множество блестящихъ праздниковъ и великолѣпныхъ вечеровъ, какъ въ эту счастливую зиму.

Въ числѣ вечеровъ не послѣднюю роль игралъ вечеръ, данный Бѣлицыными. О немъ говорили три дня въ томъ обществѣ, къ которому принадлежали Сергѣй Васильевичъ и Александра Константиновна. Впрочемъ, вечеръ Бѣлицыныхъ обязанъ былъ своей renommée, какъ справедливо замѣтилъ одинъ молодой человѣкъ, числящійся съ недавняго времени въ Иностранной Коллегіи (и потому, вѣроятно, говорящій не иначе, какъ по-французски), renommée своей вечеръ не столько былъ обязанъ особенному великолѣпію, сколько гостиной, во вкусѣ Людовика XV, которую отдѣлалъ Сергѣй Васильевичъ, имѣвшій въ виду другіе петербургскіе вечера и другія гостиныя. Гостиная дѣйствительно очень удалась. Брюхастые комоды, зеркала въ старинныхъ рѣзныхъ рамахъ, стулья и кресла, привезенные по первому зимнему пути изъ Марьинскаго, явились очень кстати; очень кстати также присланы были Герасимомъ Аѳанасьевичемъ деньги, вырученныя за муку, овесъ, горохъ и другіе продукты Марьинскаго. Сергѣй Васильевичъ находился въ отличномъ расположеніи духа. Требовалось ему прикупить для бо̀льшаго эффекта гостиной множество фарфоровыхъ бездѣлушекъ, обтянуть штофомъ мебель, пріобрѣсти пастели Лату̀ра, которыя, какъ нарочно, явились въ это время въ одной антикварной лавкѣ и сами собою напрашивались, такъ сказать, въ гостиную стиля Людовика XV-го. Но что̀ могутъ значить жертвы, даже большія, даже непосильныя жертвы, когда имѣется впереди вѣрный, несомнѣнный успѣхъ? Всѣ были въ восхищеніи отъ гостиной, кромѣ, впрочемъ, архитектора, который не переставалъ утверждать, что сильно, сильно ошибся въ расчетѣ — не артистическомъ расчетѣ, а финансовомъ. Но на всѣхъ угодить невозможно—это уже дѣло давно извѣстное. Мы можемъ даже по этому случаю привести въ примѣръ самого Сергѣя Васильевича. Чего ему недоставало? Гостиная его произвела эффектъ; вечеръ удался даже сверхъ ожиданія, а между тѣмъ, онъ вдругъ, ни съ того, ни съ сего, впалъ въ ужаснѣйшую хандру. Хорошее расположеніе духа продолжалось всего три дня, то-есть ровно столько времени, сколько говорили о его вечерѣ и гости-

ной. По прошествіи этого срока, добродушное лицо его потеряло всю свою веселость; имъ овладѣло даже чувство, похожее на то, когда человѣкъ горько ошибается въ людской благодарности и видитъ вокругъ себя одну страшную пустоту и мелкое тщеславіе. Онъ рѣже сталъ посѣщать итальянскую оперу, въ концерты совсѣмъ пересталъ ѣздить, въ Англійскомъ клубѣ показывался рѣже и рѣже, и если показывался, то не садился уже играть въ карты, хотя, какъ извѣстно, имѣлъ къ этому полезному препровожденію времени большую склонность. Необыкновенная терпимость и та легкая, пріятная безпечность, отличавшія всегда Сергѣя Васильевича, стали измѣнять ему; онъ раздражался изъ-за каждой мелочи: поваръ, подавая ему счетъ въ концѣ мѣсяца, встрѣчалъ всегда барина съ нахмуренными бровями; книжки зеленщика и мясника возбуждали въ немъ какую-то безпокойную подозрительность; счетъ модистки положительно дѣйствовалъ на его нервы; словомъ, самая ничтожная бумажка съ изображеніемъ цифры усиливала его хандру. Разумѣется, онъ тщательно скрывалъ все это отъ жены: каждый разъ, какъ являлась Александра Константиновна, онъ спѣшилъ протянуть ей руку и старался улыбнуться, хотя, при всемъ стараніи своемъ, не могъ скрыть выраженія грусти и меланхолической задумчивости, которая тотчасъ же проглядывала въ чертахъ его. Во всю длинную зиму добродушное лицо Сергѣя Васильевича изобразило, можно сказать, только двѣ искренно веселыя улыбки. Въ первый разъ это случилось въ тотъ день, какъ получилъ онъ запросъ отъ марьинскаго управителя касательно продажи саратовскаго луга. Прочитавъ письмо, Сергѣй Васильевичъ даже оживился и, подъ вліяніемъ этого оживленія, немедленно написалъ отвѣтъ, смыслъ котораго заключался весь въ этихъ простыхъ, но выразительныхъ словахъ: „Продать, продать какъ можно скорѣе!..“ Онъ искренно повеселѣлъ еще въ тотъ день, когда Герасимъ прислалъ ему деньги, полученныя за лугъ отъ гуртовщика Карякина.

Хорошее расположеніе духа, овладѣвшее Бѣлицынымъ, было, однакожъ, очень непродолжительно, къ великому огорченію Александры Константиновны. Съѣздивъ дватри раза въ Англійскій клубъ и давъ въ своей новой гостиной маленькій thé dansant въ день рожденія Мери, Сергѣй Васильевичъ впалъ снова въ хандру. Александра

Константиновна прибѣгала ко всѣмъ возможнымъ средствамъ и мѣрамъ, чтобъ разсѣять, развлечь мужа—все было напрасно. Бѣлицына была такъ умна, что не могла не замѣтить усилій, какія дѣлалъ мужъ, чтобъ скрыть отъ нея причины своего разстройства; она была такою честною и доброю женою, что не могла этимъ не огорчаться. Такъ какъ Сергѣй Васильевичъ не переставалъ день-ото-дня все болѣе и болѣе ожесточаться противъ Петербурга, и такъ какъ, съ другой стороны, Александра Константиновна начала уже проникать въ тайну хандры мужа, она предложила ему ѣхать въ Марьинское.

Сергѣй Васильевичъ давно думалъ объ этомъ; онъ молчалъ до сихъ поръ единственно изъ чувства деликатности: онъ зналъ, что жена его согласится исполнить его желаніе, но ему не хотѣлось этимъ пользоваться, не хотѣлось подвергать ее деревенской скукѣ, не хотѣлось разлучать съ Петербургомъ и столичными увеселеніями, которыя, по его мнѣнію, были такъ же необходимы Александрѣ Константиновнѣ, какъ вода для рыбы, воздухъ для птицы. Сергѣй Васильевичъ, подобно многимъ супругамъ, имѣлъ слабость думать, что жены вообще несравненно легкомысленнѣе и тщеславнѣе мужей своихъ. Предложеніе Александры Константиновны, высказанное чрезвычайно просто, безъ натянутой радости и грусти, несказанно обрадовало мужа. Они согласились ѣхать какъ можно скорѣе. Наступленіе весны дѣлалось ощутительнымъ даже въ Петербургѣ. Три дня посвящены были на прощальные визиты, три другіе дня—на приготовленія и снаряженіе въ путь. Гостиная во вкусѣ Людовика XV-го завѣшена, наконецъ, чехлами, и Бѣлицыны, сопровождаемые бордоской гувернанткой, Мери, горничной Дашей, поваромъ и другими людьми, бывшими прошлый годъ въ деревнѣ, отправились въ путь.

Въ первыхъ числахъ мая на улицѣ Марьинскаго снова раздаются крики: „Господа ѣдутъ!..“ Народъ сломя голову бѣжитъ за ворота, кланяется господамъ и снова преслѣдуетъ знакомый намъ дормезъ, между тѣмъ, какъ барыня посылаетъ поклоны въ одну сторону, баринъ въ другую, а гувернантка снова повторяетъ: „Mais saluez donc, Mery, mais saluez donc!..“ Управитель Герасимъ попрежнему стоитъ у главныхъ воротъ и торопливо обдергиваетъ сюртукъ; Сергѣй Васильевичъ издали еще кричитъ ему: „Здо-

рово, старикъ!“, гувернантка восклицаетъ: „Voici Karassin!“, и дормезъ торжественно подъѣзжаетъ къ крыльцу, куда снова стремится дворня.

Хотя Сергѣй Васильевичъ не знаетъ, какъ освободиться отъ тѣсноты и лобызаній дворовыхъ, но радостное чувство наполняетъ теперь его помѣщичью грудь: онъ никого не хочетъ оскорбить отказомъ и охотно подставляетъ свои руки и щеки дворовымъ. Француженка кричитъ: „J'étouffe!“, Александра Константиновна опять подвергается особенному вниманію бѣлоголоваго мальчика съ краснымъ лицомъ и веснушками; мальчикъ снова проходитъ сквозь батальный огонь щелчковъ, снова ныряетъ въ толпѣ и съ дикимъ азартомъ въ сотый разъ припадаетъ къ прекрасной рукѣ барыни; однимъ словомъ, все происходитъ точно такъ же, какъ прошлаго года. Бѣлицыны обошли компаты прадѣдовскаго дома, размѣстились на прежнія половины, прошлись потомъ по саду и, нагулявшись до-сыта, вернулись на террасу, гдѣ пили чай, любовались солнечнымъ закатомъ и наслаждались свѣжимъ воздухомъ. Послѣ этого они предались отдыху и спали, какъ только спятъ послѣ долгаго пути.

Прошло нѣсколько недѣль послѣ пріѣзда Бѣлицыныхъ. Нельзя было не замѣтить, что образъ жизни Сергѣя Васильевича и даже самый взглядъ на вещи значительно измѣнились противъ того, какими были прошлаго года. Онъ такъ же добродушно и ласково разговаривалъ съ крестьянами, попрежнему разсуждалъ онъ, что помѣщику, который думаетъ только объ увеличеніи своихъ доходовъ и не обращаетъ вниманія на средства и способы, какими достаются эти доходы, такому помѣщику не слѣдовало бы имѣть крестьянъ (какъ честный и благородный человѣкъ, Сергѣй Васильевичъ не могъ иначе разсуждать); попрежнему отправлялся онъ по утрамъ въ кабинетъ и запирался часа на два съ Герасимомъ Аѳанасьевичемъ.

При всемъ томъ, какъ мы уже сказали, въ самой жизни, характерѣ и мысляхъ Бѣлицына произошла рѣзкая перемѣна. Онъ уже не выказывалъ той безтолковой суетливости, которая заставляла его прежде разомъ предпринимать двадцать дѣлъ; онъ несравненно меньше говорилъ, но несравненно больше прислушивался къ толкамъ стараго управителя, старостъ, и очевидно старался серьезно вникать въ дѣло. Довольно сказать, что Сергѣй Василье-

вичъ до сихъ поръ не подалъ ни одного проекта. Говорилъ ли Герасимъ о починкѣ кровель—Сергѣй Васильевичъ внимательно слушалъ, одобрялъ намѣреніе и внутренно даже сознавался, что это будетъ полезнѣе, чѣмъ тратиться на сооруженіе готической бесѣдки и распространеніе пруда, которые должны были бы придать саду великолѣпный видъ. Толковалъ ли Герасимъ о посадкѣ новыхъ яблонь—Сергѣй Васильевичъ не переносился теперь къ огромной липѣ, которая должна была придать красному двору англійскій характеръ; заводилъ ли Герасимъ бесѣду о полевыхъ работахъ—Сергѣй Васильевичъ дѣлался еще внимательнѣе и не стремился воображеніемъ къ фигурной рѣшёткѣ, и т. д. Сергѣй Васильевичъ такъ удивлялъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, радовалъ стараго своего управителя, что Герасимъ, возвращаясь въ свою комнату, забывалъ даже своихъ птицъ, которыхъ, между тѣмъ, развелось еще болѣе, чѣмъ въ прошлую весну.

Ясно, что такая перемѣна въ образѣ мыслей и дѣйствіяхъ Бѣлицына не могла произойти безъ причины. Вотъ что̀ случилось. На другой день послѣ пріѣзда въ Марьинское, Сергѣй Васильевичъ, разговаривая о томъ о семъ съ Герасимомъ, случайно вспомнилъ о переселенцахъ и спросилъ о нихъ. Въ это самое время въ кабинетъ вошла Александра Константиновна. Она видѣла, какъ управитель пошелъ къ мужу, и явилась именно затѣмъ, чтобъ разспросить его о своихъ protégés. Узнавъ о смерти Лапши, она взглянула на мужа и задумалась. Герасимъ сообразилъ вѣрно, что продолженіе разсказа будетъ не совсѣмъ пріятно господамъ; онъ началъ заниматься и наконецъ совсѣмъ остановился; но Сергѣй Васильевичъ и Александра Константиновна потребовали, чтобъ онъ передалъ имъ все, рѣшительно все, и ничего не утаивалъ. Старикъ разсказалъ тогда всю правду, все, что̀ зналъ о житьѣ-бытьѣ переселеннаго семейства. Въ наивной, простодушной рѣчи его такъ ясно выступала нелѣпость проекта Сергѣя Васильевича касательно луга, въ такихъ яркихъ краскахъ обрисовались лишенія и тягости, которыя претерпѣли Катерина и семья ея, что Сергѣй Васильевичъ и жена его, оставшись наединѣ въ кабинетѣ, долго сидѣли въ раздумьи и слова не говорили.

— О чемъ ты думаешь? спросилъ наконецъ мужъ, прикасаясь ладонью къ рукѣ жены.

— Я думаю объ этой бѣдной женщинѣ и ея дѣтяхъ,

думаю также о помѣщикахъ... такихъ, какъ мы... вымолвила Александра Константиновна.

Сергѣй Васильевичъ сильно потеръ лобъ ладонью и опустилъ голову.

— Надо сознаться, Serge, оба мы поступили непростительно опрометчиво, подхватила Александра Константиновна,—нѣтъ, мы живемъ совсѣмъ не такъ, какъ бы намъ слѣдовало!..

— Что ты хочешь этимъ сказать? краснѣя проговорилъ мужъ.

— Я хочу сказать, кротко возразила Бѣлицына,—что если ужъ существуетъ наше положеніе—положеніе помѣщика, оно налагаетъ на насъ, помѣщиковъ, обязанности... строгія, святыя обязанности—право, такъ! Это не пустое слово, не фраза. Сколько разъ думала я: если бъ владѣли мы только землями да лѣсомъ, наша безпечность была бы простительна, насъ можно было бы извинить за наше незнаніе; но вѣдь въ рукахъ нашихъ живые люди, мы имѣемъ сотни семействъ, судьба которыхъ въ нашемъ полномъ распоряженіи... съ горячностью подхватила она.— Какъ христіане, какъ граждане, наконецъ просто какъ честные люди, можемъ ли мы быть безпечными? Имѣемъ ли мы право бросить этихъ людей на произволъ судьбы, не знать ихъ жизни, ихъ потребностей?.. Наше равнодушіе, наше невѣжество въ отношеніи къ быту этого народа, который круглый годъ, всю свою жизнь для насъ трудится и проливаетъ потъ свой—наше равнодушіе и незнаніе постыдно и безчестно!.. Мы наряжаемся, пляшемъ, безумно тратимъ деньги, уважаемъ и принимаемъ за серьезное то, что̀ въ сущности вздоръ, и почти презираемъ то, къ чему обязываетъ насъ совѣсть, религія и всѣ человѣческія чувства... Сердце возмущается и страшно дѣлается, какъ подумаешь обо всемъ этомъ! Нѣтъ, мы живемъ не такъ, далеко не такъ, какъ бы слѣдовало!..

Но мы считаемъ лишнимъ досказывать то, что̀ говорила Александра Константиновна. Мысль, которая одушевляла ее, и безъ того понятна—мысль, по нашему мнѣнію, въ милліонъ разъ дороже самаго пылкаго, блестящаго краснорѣчія.

Во все время, какъ говорила Бѣлицына, Сергѣй Васильевичъ не поднялъ головы. Когда она кончила, онъ продолжалъ сидѣть въ томъ же положеніи. Видно было, однакожъ, что слова Александры Константиновны произ-

вели на него сильное впечатлѣніе. Доброе лицо его выражало столько грусти, что, взглянувъ на него, Бѣлицына быстро подошла къ мужу и взяла его за обѣ руки. Она подумала, не зашла ли ужъ слишкомъ далеко въ своемъ увлеченіи, не оскорбила ли какъ-нибудь нечаянно мужа, который, въ сущности, былъ главнымъ виновникомъ проекта о переселеніи и подалъ поводъ къ ея упрекамъ.

— О чемъ ты думаешь? спросила она съ ласковой улыбкой.

— О чемъ я думаю? вымолвилъ Сергѣй Васильевичъ, подымая голову, при чемъ жена увидѣла слезы на глазахъ его.—Я думаю, что ты во сто-тысячъ разъ умнѣе и честнѣе меня—вотъ что я думаю. Начинай же то дѣло, о которомъ ты говорила! подхватилъ онъ съ воодушевленіемъ.—Начинай это дѣло, съ Богомъ, и я твой вѣрный, неизмѣнный помощникъ!..

Такъ много слышали мы горячихъ рѣчей, вырывавшихся, казалось, изъ самой глубины сердца, но въ сущности зародившихся только на кончикѣ языка; такъ много видѣли мы благородныхъ порывовъ, которые ни къ чему не вели, что не дали бы мы ровно никакого значенія словамъ Бѣлицыной, если бъ она точно не нашла въ себѣ довольно энергіи, чтобъ примѣнить къ дѣйствительной жизни свои слова и благородныя убѣжденія. Не можемъ мы то же сказать о Сергѣѣ Васильевичѣ. Мелкое тщеславіе и безграничная пустота пустили въ него такіе глубокіе корни, что онъ не могъ отъ нихъ освободиться. Но, какъ человѣкъ незлобный и легко увлекающійся, онъ невольно поддался въ первое время вліянію жены своей.

Первымъ дѣломъ ихъ было заняться судьбою Катерины и дѣтей ея. Александрѣ Константиновнѣ стоило разъ серьезно вникнуть въ отчеты скотницы, чтобъ понять ея плутни: Катерина заступила мѣсто Василисы. Въ первый же мѣсяцъ все пошло иначе на скотномъ дворѣ. Герасимъ Аѳанасьевичъ не могъ нахвалиться; онъ положительно утверждалъ, и даже съ нѣкоторою гордостью, что черезъ годъ во всемъ уѣздѣ не будетъ такого скотнаго двора, какъ въ Марьинскомъ. Въ первое время, милости, которыми господа осыпали семью Катерины, возбуждали сильную зависть дворни; но такъ какъ Катерина, ни на кого не наговаривала, никого не трогала, и такъ какъ, съ другой стороны, господа входили теперь въ дѣла, дворовые раз-

судили, наконецъ, что несовсѣмъ безопасно давать волю страстямъ своимъ. Гибель Филиппа и смерть Лапши вскорѣ примирили съ Катериной самыхъ закоснѣлыхъ враговъ ея.

Маша оставлена была при матери, въ качествѣ ея помощницы. Мужъ маши, столяръ Иванъ, освобожденъ былъ отъ оброка до полнаго возраста сыновей Катерины. Петю, котораго часто ласкала Александра Константиновна, оставили при Иванѣ съ цѣлью обучаться столярному ремеслу. Добрыя начала, посѣянныя въ немъ матерью, были такъ прочны, что въ душѣ его не осталось слѣда отъ бродячей жизни: онъ вынесъ изъ нея только разсказы, и въ досужее время стоило появиться гдѣ-нибудь Петѣ, чтобъ тотчасъ же составилась вокругъ него толпа жадныхъ слушателей. Иногда, работая подлѣ Ивана, или даже въ самомъ оживленномъ мѣстѣ разсказа, веселое, миловидное личико Пети какъ будто омрачалось. Это бывало въ тѣхъ случаяхъ, когда, перебирая прошедшее, вспоминалъ онъ маленькаго своего товарища, вожака Мишу: воображеніе мигомъ переносило его въ отдаленную, глухую, никому невѣдомую деревушку, въ мрачный, обветшалый сарай; передъ нимъ, какъ наяву, выступало вдругъ блѣдное, изнеможенное лицо Миши, который простиралъ впередъ руки и усиленно тянулся къ восходящему солнцу, какъ бы предчувствуя, что видитъ солнце въ послѣдній разъ... Воображеніе Пети быстро влекло его тогда въ какой-то незнакомый, пустынный край. Онъ самъ не зналъ, почему именно представлялся ему этотъ край, когда думалъ онъ о могилѣ маленькаго товарища; но сколько ни напрягалъ онъ воображенія, могила Миши нигдѣ не отыскивалась; густая трава, усѣянная голубыми колокольчиками, застилала всѣ дороги, всѣ пути и, переливаясь изъ края въ край, какъ волны морскія, убѣгала въ необъятную даль отдаленнаго, невѣдомаго края...

Петя вообще мальчикъ славный; онъ обѣщаетъ сдѣлаться со временемъ отличнымъ столяромъ и, что̀ всего важнѣе, обѣщаетъ быть надежной подпорой матери въ ея преклонныя лѣта. Остальные ребятишки Катерины процвѣтаютъ попрежнему; съ утра и до вечера въ окрестностяхъ скотнаго двора раздаются веселые голоса ихъ и лай Волчка, который продолжаетъ быть неизмѣннымъ ихъ спутникомъ. Присутствіе ребятишекъ на скотномъ дворѣ дѣлается еще замѣтнѣе, когда, случается, заглянетъ туда

дядя Василій и дастъ каждому изъ нихъ по муравленому глиняному свистку, изображающему утку.

Привлеченный, вѣроятно, трескотнею этихъ свистковъ, зашелъ однажды на скотный дворъ слѣпой, оборванный нищій. Къ великому удивленію Катерины и совершенному недоумѣнію Ивана, который, страшно улыбаясь, подкидывалъ кверху трехмѣсячную дочь свою, Петя радостно крикнулъ и побѣжалъ навстрѣчу нищему. Дѣло тотчасъ же объяснилось: нищій былъ не кто другой, какъ Фуфаевъ. Александра Константиновна, проходившая мимо и знавшая Фуфаева изъ разсказовъ Пети, предложила слѣпому уголъ въ Марьинскомъ и вѣрный кусокъ хлѣба. Но Фуфаевъ напрямикъ отказался.

— Мое дѣло такое, барыня, добрая христіанская душа твоя! сказалъ Фуфаевъ, весело отдувая свои щеки.—Мое дѣло такое: подъ окошечкомъ выпрошу, подъ другимъ съѣмъ, подъ третьимъ высплюсь... Корочка-то сѣра̀, да волюшка-то своя—вотъ что!

Онъ часто, однакожъ, заходитъ въ Марьинское и всякій разъ уходитъ съ такою полною сумою, что считаетъ непремѣннымъ долгомъ зайти въ ближайшій кабакъ, чтобъ оставить тамъ половину.

Бѣлицыны проводятъ теперь ежегодно мѣсяцевъ восемь въ Марьинскомъ. Александра Константиновна продолжаетъ до сихъ поръ быть вѣрною благороднымъ своимъ убѣжденіямъ. Она занимается дѣлами, хозяйствомъ и судьбою ввѣренныхъ ей крестьянъ съ прежнею настойчивостью, съ прежнею твердостью. Она такъ умно распоряжается, что Сергѣй Васильевичъ не видитъ уже надобности подсоблять ей: онъ даетъ только совѣты, много гуляетъ, много ѣстъ, читаетъ романы и газеты (его сильно занимаетъ судьба африканскихъ племенъ и распоряженія англичанъ въ Индіи), дѣлаетъ болѣе или менѣе замысловатые проекты, обдумываетъ сложные политико-экономическіе вопросы и кушанья къ обѣду, и не пропускаетъ ни одного мужика, чтобъ ласково не поговорить съ нимъ.

Благодаря усиленному труду Александры Константиновны, дѣла Бѣлицыныхъ замѣтно улучшаются. Сергѣй Васильевичъ находится постоянно въ отличномъ расположеніи духа. Возвращаясь въ Петербургъ на зиму и являясь въ своемъ обществѣ, Александра Константиновна снова дѣлается одною изъ самыхъ милыхъ, образованныхъ

женщинъ большого свѣта; она точно никогда даже и не живала въ деревнѣ.

Сергѣй Васильевичъ, наоборотъ, возвращаясь въ Петербургъ, превращается вдругъ въ самаго закоренѣлаго помѣщика, который никогда какъ будто не покидалъ деревни. Онъ ни о чемъ больше не говоритъ, какъ о посѣвахъ, поляхъ, постройкахъ и разныхъ хозяйственныхъ улучшеніяхъ. Стоитъ только коснуться объ обязанностяхъ помѣщика, Сергѣй Васильевичъ разгорячается мгновенно. Такъ какъ мысли его по этому предмету совершенно сходятся съ мыслями жены, и такъ какъ Сергѣй Васильевичъ не надѣленъ большимъ краснорѣчіемъ, то онъ съ жаромъ и увлеченіемъ повторяетъ почти отъ слова до слова монологъ, произнесенный когда-то женою и который онъ на досугѣ изучилъ въ совершенствѣ. Въ обществѣ своемъ слыветъ онъ замѣчательнымъ агрономомъ, примѣрнымъ хозяиномъ и образцовымъ помѣщикомъ. Мнѣніе это доставляетъ неизъяснимое удовольствіе Сергѣю Васильевичу, но, повидимому, оно еще больше радуетъ Александру Константиновну, которая ласково слѣдитъ глазами за мужемъ и всегда весело ему улыбается. Она рѣдко вмѣшивается въ разговоръ и никогда слова не произноситъ о хозяйствѣ. Изъ этого свѣтъ заключаетъ, что Бѣлицына очень милая, добрая, но обыкновенная свѣтская женщина, которая ѣздитъ въ деревню для того только, чтобъ угождать агроному-мужу.

Мнѣніе свѣта всегда вѣрно, и мы поступили бы весьма неловко, если бъ не воспользовались случаемъ выразить наше глубокое уваженіе къ мѣткости его приговоровъ.

КОНЕЦЪ.

Оглавленіе VI тома.

Переселенцы.

(Романъ изъ народнаго быта.)

стр.

Часть первая.

I. Заѣзжій торгашъ 5
II. Лапша и его семейство 18
III. Ребятишки 28
IV. Бесѣда. 33
V. Притонъ 40
VI. 53
VII. Тѣсныя обстоятельства 64
VIII. Барскій домъ. Управитель. Пѣснь Лазаря . . 76
IX. Сдѣлка. 90
X. Открытіе.—Поиски 104

Часть вторая.

I. Пріѣздъ 117
II. Дѣловое утро 131
III. Планъ осуществляется. 148
IV. Препятствіе 160
V. Дѣло опять пошло на ладъ 168
VI. Разставанье 175
VII. Нищіе 184

Часть третья.

I. Не выдержали 201
II. Паромъ.—Тяжелый путь 216

стр.

III. Предчувствіе 230
IV. Извѣстіе.—Спѣшная дорога 239
V. Новый край.—Новыя лица 253
VI. Продолженіе. 262
VII. Встрѣча 275
VIII. Знакомство 291
IX. Сказка.—Освобожденіе 301

Часть четвертая.

I. Бродяга 310
II. Новый хозяинъ 325
III. Радость и горе. 338
IV. Встрѣча въ лугахъ 351
V. Хмель.—Старый знакомый 358
VI. Выходка Ивана и выдумка Егора 368
VII. Филиппъ и Стёпка 380

Часть пятая.

I. Неудавшееся преступленіе 387
II. Дружелюбныя объясненія 399
III. Однимъ лучше, другимъ хуже 410
IV. Петя отыскался 422
V. Въ дорогѣ 432
VI. Степная мазанка 436
VII. Заключеніе 444

Bayerische StaatsBibliothek
Münchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliothek

Grigorovič, Dmitrij Vasil'evič,

Polnoe sobranie sočinenij

Bd.: 6

1896

P.o.russ. 21 e-6
urn:nbn:de:bvb:12-bsb11819654-9